П Р О З А Р А З Н Ы Х

Л Е Т

С о ч и н е н и я в д в у х т о м а х

том первый

Историческая проза

Содержание

ВОССТАНИЕ НЕВИДИМОГО (роман)
СКРЫТЫЙ ХАН ИЛИ ЗАПИСКИ КОРРЕСПОНДЕНТА «С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ» ШТАБС-КАПИТАНА СУЛТАНА ВАЛИХАНОВА (роман)
ҚАЗАҚИ (роман)

УДК 821.512.122-161.1
ББК 84 (5 Каз-рус) 7-5
Ш 31

Выпущено по программе
«Издание социально важных видов литературы»
Комитета информации и архивов
Министерства культуры и информации
Республики Казахстан

Шахимарден (Кусаинов Шахимарден)
Ш Проза разных лет: Историческая проза 1-том. – Алматы: Нұрлы Press.kz, 2012. – 560 с.
ISBN 978-601-80288-1-6 (1-том)
ISBN 978-601-80288-0-9 общ.
© Ш. Кусаинов, 2012
© Нұрлы Press.kz, 2012

Роман «Скрытый хан» написан в жанре путевых заметок от лица исследователя история и мифов народов Центральной Азии XIX века Чокана Валиханова.

ШАХИМАРДЕН

Скрытый хан
или Записки корреспондента «С.-Петербургскихъ вѣдомостей» штабс-капитана султана Валиханова

Суета сует и всяческая суета: живем на гладком азиатском просторе – рвемся на Кавказ, хочется видеть Альпы, и горы нужны непременно демонические. А как бросит судьба в такой край – сначала восхищаемся, потом все это начинает надоедать: и «столпообразные руины», и «звонко бегущие ручьи». Опять хочется на свободу, на дол, на ровную степь, где растет и береза белая, и родная сосна. Здесь дыхание свободнее и мысли текут шире, здесь как-то привольнее... Все безгранично: желания, дела...

Угрюмые, дикие виды гор хотя и живописны, но все же заботят, отягощают вас. То поражает великолепный водопад и сердце начинает усиленно биться, то какая-нибудь пропасть устрашит, и голова начинает кружиться. Громадные скалы, ревущие реки – все сердито, во всем загадка, и вы, не желая того сами, настраиваетесь на лад какой-нибудь лихорадочной деятельности. Вам все чего-то недостает. Нет возможности жить в горах и быть народом веселым, беззаботным.

Только степняк может знать цену золотой лени, только он может жить без горя, без скорби мировой, не думая о дне завтрашнем. Только степняк может быть так лукаво счастлив, отдав себя лишь наслаждению покоем.

После утомительного и жаркого дня особенно приятно в ясный вечер лежать в юрте в свободной одежде и, подняв вокруг полог для освежающего течения ветра, наслаждаться истинно степным комфортом и делать кейф.

Француз Ларошфуко воспел «усладу ленивого покоя». Идите же к нам, маркиз, вот вам под локоть атласная подушечка, и забудьте о своих Альпах, требующих бесконечно бесконечных восхождений!

В горах могут воспитываться черкесы. Они рождаются в единоборстве с природой, и каждый шаг горца есть риск. Вокруг стоят сердитые скалы, внизу пенится, ревет, ворочает камнями какой-нибудь Терек. Вот его учителя. Какие примеры! Какое хищничество в зверях и птицах гор! Тяжелый орел терзает на отвесном каменном уступе окровавленный труп лани, безжалостный ястреб нападает на зазевавшегося фазана, а гриф с душераздирающим клекотом отнимает у него добычу.

Совсем другой ландшафт, другая природа окружает степняка. Здесь воля, гармония между зверьми и птицами божьими. Широкая река или необъятное озеро тихо плескает свои светлые воды; белогрудая чайка роскошно купается в лазури небес, гуси, лебеди гордо плывут на ласковой волне; поднимет и унесет легко кречет какую-нибудь уточку, но все дружно, величаво... Никто никому не мешает. Вся степь покрыта бескрайним разнотравьем, всюду жизнь: пчелы, бабочки порхают с цветочка на цветочек... Я сам степняк и увлекся степью. Но пора обратиться к предмету.

Случай привел меня в аул семиреченского султана Тезека, и вот уже месяц я скучаю. Положительно нельзя заняться делом – не позволяет степной этикет. Ничего не поделаешь, я тоже поневоле султан. Вопрос, мучавший века арабов: «Я эмир и ты эмир, а кто будет осла погонять?», – нисколько наше сословие не беспокоит. Конечно, можно восстать, но я серьезно намерен породниться с кланом султанов Старшей орды и вынужден вести себя благопристойно, говоря по-простецки: не позволить себе вспотеть. Положение до того отчаянное, что хоть пиши роман. А что, господа? Надеюсь, писание будет признано за мной как более-менее праздное занятие в силу огромного снисхождения ко мне как к особе искалеченной науками и государевой службой.

В ауле моей невесты, где я нынче пребываю, с некоторых, не известных мне времен завелось семейство котов. Чрезвычайно любопытные создания. Они составляют мой ежедневный предмет наблюдений. Среди них есть рыжая кошечка с длинными ресницами. Обязательно возле нее двое усатых ухажеров. Оба кота каждое утро отправляются в степь поискать полевых мышек, но добычу принимает она лишь у одного. Вот сегодня как раз таки этот кот-избранник не явился со своей охоты, зато второй уже стоит тут со своей мышкой в зубах и скромно предлагает ее кошечке. Она не берет. Ходит вокруг, потягивается, и все посматривает в ту сторону, куда убежал ее возлюбленный. Проходит час, второй. Я заснул, проснувшись, увидел все ту же картину. День уже склонился к вечеру. Видимо, того кота схватили лисы,

во множестве крутящиеся вокруг аула. Наблюдаю дальше. Голодная кошечка, промаявшись весь день, еще походила по аулу, ничего не выпросила у баб, и, вернувшись на место с недовольной физиономией, наконец, подошла ко второму терпеливому в своей любви коту и нехотя взяла из его лапок мышку. У кота тут же хвост стал трубой. Он ликовал, она же, скушав мышку, царапнула его по мордочке и исчезла!

Эта кошечка напомнила мне одну китаянку из западной провинции Поднебесной, где мне приходилось быть по делам иностранной коллегии.

Русская фактория в Кульдже основана в 1852 году для выгод азиатской торговли. Китайцы отвели для наших строений песчаный берег Или, считая его негодным для поселений. Надо отдать должное консулу И. И., что он сумел из такой местности сделать то, что представляла уже тогда наша обитель. Она состояла из огромного каменного с мезонином консульского здания, дома для секретаря и прислуги, гостиного ряда, бани и двух казарм. Все это, возведенное китайцами, было отмечено пестротой и смешением вкусов Запада и Востока. К примеру, на консульской крыше, поднятой согласно европейским канонам, сидели два страшных дракона. Впрочем, это было мило и имело свой неповторимый charme. Но главное – чистота! Дворец цзянцзюня, местного губернатора, по сравнению с нашими строениями, являлся ничем иным как калошей. Так что мы могли быть весьма довольны нашей жизнью. Но скука в дипломатическом бастионе была страшная: представьте, что вы заключены в четырех стенах, хоть и свободны, но не можете располагать собой. Некуда идти и нечем отвлечься. Единственным занятием были переговоры с китайскими чинами – мандаринами, на которых они изрядно шумели и пили чай. А некоторые мандарины так интересовались делом, что считали за лучшее – дремать за столом заседаний. Консул строго запрещал нам их тревожить, что ж, в Китае свои понятия о вежливости.

Пожалуй, я совсем отчаялся бы от скуки, если бы не отец Ион, побочный сын митрополита А. С ним у меня сложились сразу дружеские отношения, и мы условились, что я стану величать его просто Кит Яковлевичем, чтобы не смущать моих мусульманских ангелов-хранителей.

Отец Ион – Кит Яковлевич, будучи уже тогда членом-корреспондентом Российской Академии наук и членом Азиатского общества в Париже, предпочитал представляться заблудшим отроком сельского дьячка-чуваша и говорить на не вполне научные темы. Надо заметить, что отец Ион всю первую четверть своего архимандритства вел жизнь настолько разгульную и

буйную, что родитель его вынужден был ходатайствовать об отправлении своего чада в Пекин главою миссии православной церкви, надеясь, что там он среди чужого народа не будет иметь возможности шалить.

Переезд отца Иона в Китай составляет целую историю. Что стоит хотя бы его попытка перевезти в дипломатическом мешке через границу монашку, с которой он полюбил перед самым отъездом совершать некоторые интимные обряды! Китайские чины на границе самым безжалостным образом монашку изъяли, но ничего не могли поделать с жизнелюбием этого гостя в своей столице. Хотя самих китайцев не отнесешь к пуританам, отец Ион поразил их своей неуемностью по амурной канцелярии.

Всем известно, чем кончилась его китайское поприще – лишением сана и ссылкой в Волоколамский монастырь. Что только не предпринимали отцы церкви, чтобы отбить у него охоту богохульничать и словом и на деле: он не один год просидел на одном хлебе и воде, месяцами не видел ни одной души – все попусту. Между тем, значение его научных трудов, писание которых он не оставлял и во время своего заточения, возросло настолько в Европе, что держать его далее в изоляции становилось невозможным. Однако и отступиться от него не желали. В дни нашего знакомства еще при Министерстве иностранных дел, он хлопотал о снятии с него рясы, но прокурор и Синод упорствовали, Бог знает отчего, чем вводили его в изумление и полную растерянность, ибо время берет свое, и, как горько он признавался мне, силы его тают и, видимо, сокрушался он, попы добьются того, что он умрет в святости. Я не стану утверждать, что мы были неразлучны с отцом Ионой, это будет, по меньшей мере, нескромно, но так случалось, что мы часто оказывались рядом. Как-то во время переговоров мандарины привезли с собой обед, который состоял из ста блюд и напитков. Привезли и повара, свидетельствуя этим, что преподношение в духе Гаргантюа исключительно свежо и цело, надеясь, и вполне обоснованно, получить за тот ловкий дипломатический ход вознаграждение от своего начальства.

Китайцы вообще народ оригинальных понятий. Бог знает, что составляла собой та скатерть-самобранка: поросенок занимал первое место, к нему девяносто девять приправ, затем шли каракатицы и пауки, утка, излишне усыпанная перцем и луком, и так далее. Все это имело для меня такой неаппетитный вид, что я сказался больным и не имел удовольствия участвовать в этом застолье. Со мной удалился Кит Яковлевич, ничем не

объясняя своего ухода, что являлось одной из особенностей его характера, раздражавшего не только церковников.

Мы, побродив от бани к казармам, решили выехать из города. Нет никакой возможности дышать воздухом китайских городов. Кроме пыли, ничего не вдохнешь. Для прогулки мы выбрали берег Или. Ехали мы в седлах по береговым песчаным дюнам, и только свежесть воды удерживала нас на этих песках, на которых не росло ни стебелька зелени, если не считать голых и тощих кустов какого-то колючего растения вроде чертополоха.

Затем, ниже по течению, начались илистые луга, и только мы вступили на влажный грунт, как буквально утонули в высокой траве. А далее росли камыши, в которых по уверению Кита Яковлевича укрывались тысячи фазанов. Осока, молочай, что-то вроде астры, китайская конопля, мелкий кипец и солодка покрывали землю так густо, как борода покрывала лицо самого отца Иона.

Наконец, когда мы добрались до хижин рыбаков, Кит Яковлевич распорядился устроить бивак в живописной природной беседке из развесистого джидовника и ильма. Сопровождавшие нас казаки живо принялись за дело. Устроили небольшой очаг для приятного чая, очистили траву от гнилых сучьев. Стоявшие невдалеке от нас жилища рыбаков были сложены из сырого кирпича, и перед ними были устроены неизменные навесы. Над дверями и по бокам висели камышовые шторы. Множество корзин, больших и малых, разнокалиберных, валялось всюду. Жалкая таратайка с двумя колесами довершала эту бытовую картину.

Я прилег на расстеленную специально для нас циновку и рассеянно слушал, как мой ученый спутник рассказывает о рукописи архимандрита Каменского, написанной им по пути в Пекин, и называемой самим автором незамысловато «Мешок», ибо складывалось туда все беспорядочно, как в мешок. В этом хранилище мыслей было все о этом бренном мире и о потустороннем. К тому же коллега отца Ионы в досужий час перевел с китайского религиозную мистерию «Ин-Ян», что означало «Мужское и женское начало в природе». Труд сей, видимо, достоин всяческих похвал и был, надеюсь, написан самым высоким стилем, однако отец Ион предпочитал пересказывать мне его отчего-то стишками, и я, где-то между строчек «...Ин захочет, Ян и вскочит, Ин тому и рада, вот вам и отрада... « задремал, как турецкий султан на мягких диванах своего гарема, уткнувшийся в гладкие формы какой-нибудь розы наслаждения. Действительно, в недолгом сне мне грезилось нечто в этом роде. Я неудачно лег плечом на то место, где под

циновкой торчал из земли какой-то извилистый корень и мне казалось, что это какой-то мерзкий евнух пытается оттолкнуть меня от обнявшей меня красавицы. Сквозь сон я чувствовал все усиливающийся дневной жар, а воспринимал его как ароматическое горячее дыхание моей пассии. Нечего говорить, что мне было страшно досадно, когда меня разбудили дикие крики. Вопила какая-то китаянка. В остальном все оставалось как и прежде. Казаки спали в тени, чайник кипел над костром, а отец Ион занимался своим любимым делом – скучал. Я спросил у него: отчего так озлобленно кричит эта рыбачка, но от моего вопроса. Кит Яковлевич скис еще более и заговорил о приобретенной им когда-то у монгол скульптуре Будды, отлитой в редкостной грубочувственной позе, но выражающей высокую идею вечного блаженства.

– Что есть будущее, мой юный друг? – принялся лениво просвещать меня отец Ион. – И чему оно подобно? Если настоящему, то оно не существует, ибо подобное настоящему – есть настоящее. Если прошлому, то нет и настоящего, и будущего, и самого прошлого, ибо тогда время замыкается в кольцо, не имеющее ни изначального, ни конечного, ни связующего изначальное с конечным. Согласимся с постулатом, что жизнь есть блаженство, тогда будущее и прошлое, действительно, разделимы и представляют собственно отсутствие этого состояния. Прелюбопытно, что сам Шикья-Муни считал, что блаженство есть ничто, бытие-небытие, и в объяснении этой превыспренне хитрой идеи приводил причину в наглядном примере чувственного слития мужчины и женщины. В момент исхода spermatos, впадая в prostratio, мы забываемся, но в то же время не лишаемся сознания. Это что-то безотчетное, это и есть бытие-небытие. Бог тоже по толкованию Шикья-Муни есть Ничто, а, следовательно, prostratio. Безымянные авторы той фигуры Будды, следовательно, видели в выборе позы своего Бога свою логику.

Я не мог спорить с сочинителем капитальных трудов о Востоке, хотя имел что сказать о прелестях подобных отвлечений от жизненных реалий. Тем паче, что меня больше интересовало, отчего так вопит та китаянка и скоро ли она закончит свои крики, чтобы можно было снова немного вздремнуть. Приглядевшись, я заметил, что рыбачка не просто кричит, а ораторствует, окружив себя дюжиной своих товарок. Вдруг она замолкла. Уснуть же снова мне не удалось.

Я все же предпочитаю быть знакомым с мыслями отца Иона по его книгам, где его собственные мысли тяжелы и напоминают своими формами прагматические замечания к китайской летописи Тунцзянгакьму для вещего

назидания потомству. С ними можно, как с любыми научными выводами, соглашаться или не соглашаться. Живая же речь Кита Яковлевича как не была бы им облегчена и даже, как правило, составлена в комических фразах, всегда напоминала мне, как я малообразован, и как по-прежнему думаю по ранжиру. Казалось бы, его шутливые рассуждения о позах Будды годны разве что для развлечения, но они привели снова меня к мысли, что я совершенно не знаком с философией религии, с теологией. Что от того, читаю и говорю ли я на нескольких языках, если ученому рангом не ниже отца Иона следует знать не менее двух десятков? Эти неприятные выводы подняли меня с циновки, и я направился к рыбачьим хижинам, желая размять свой крайне ленивый скелет.

Около дверей одной из лачуг сидела та самая ораторша. Возле нее вертелся мальчик с плетеными рожками волос на висках. Женщина, усиленно работая руками, чинила сеть. Она не обратила никакого внимания на мой приход и не удостоила ответом подошедшего за мной отца Иона, который пожелал у ней осведомиться о чем-то на китайском, и продолжала свое дело с таким невозмутимым хладнокровием, будто никого рядом с ней не было. Отец Ион повторил свой вопрос и прибавил, кажется, какое-то нравоучение, что неприлично-де так встречать гостей. Китаянка, наконец, обратилась к нам, странно замахав руками, вскочила и начала что-то кричать, употребляя с особым ударением слова «мамаде пфи!». Мы были так озадачены этой выходкой рыбачки, что, говоря по-восточному, обратили все свои упования к Аллаху и терпеливо стали дожидаться, когда стихнет эта буря.

Рыбачка была весьма недурна собой и, главное, имела такие крохотные ножки, что обуянное гневом ее тело представлялось чуть ли не зависшим в воздухе, как у ангелочка. И это несоответствие так развеселило меня, что я едва сдержался от смеха.

Я решительно ничего не понимал из ее воплей, хотя по словам «мамаде пфи», значение которых мною с первого же дня знакомства с китайцами было постигнуто, догадался, что она бранит нас. Но за что? Этого я не мог представить даже при усиленном фантазировании.

Между тем, китаянка, довольная нашим смирением или своей храбростью, тем, что порядком осрамила этих русских, принялась мрачно вглядываться в дорогу, шедшую от города. Я счел возможным воспользоваться этой минутой и заметил, сколь несообразно женщине, особенно дочери древнейшего в мире государства как Срединная Империя, употреблять такое гадкое выражение. Имея в своем распоряжении также китайское слово «нюйжень» –

женщина и «хао» – хорошо, я решил их расположить так, чтобы она при помощи моих объяснительных жестов и умиленного выражения лица живо постигла бы мою незатейливую мысль. Вначале, принявши гордый вид оскорбленного человека, я начал: «нюйжень – хао...» , и, помолчав для выразительности немного, прибавил: «Нюйжень – тррр... бу хау». Этим я хотел сказать: «Ты, женщина, хорошая штучка, но бранишься». За неимением связующих слов я, как мне казалось, удачно все дополнил замысловатым подкручиванием пальцев. Не знаю, от нелепого сочинения моих слов или по другой причине, рыбачка разразилась таким звонким и веселым смехом и лицо осветилось таким приятным светом, что я почувствовал к ней особенное влечение, несмотря на то, что, когда она снова уселась на свою низенькую табуретку, бедра ее раскинулись, и, признаюсь, меня сильно смутили. Нижняя часть ее тела была удивительно округла и, должно быть, нежна и упруга.

Я стал подобен страдающему от жажды персу, увидевшему в чужом саду сладкий плод. В припадке нежности я совершенно забыл ее прошедшее поведение и приблизился к ней, чтобы пустить комплимент в китайском вкусе и окончательно задобрить ее в свою пользу. Но на этот раз словарь мой истощился, и я довольствовался единственным словом «хао», разумеется, произнося его очень умиленно и несчетное множество раз, да так, что пристроившийся рядом отец Ион одобрительно крякнул. И все же, одно «хао», как ни верти, все равно остается глупым «хао», и мне стало досадно. Хотелось как ни будь хитро и замысловато, но вместе с тем ярко и точно доказать ей свое расположение.

— Если вы, мой юный друг, желаете ей намекнуть, как говорят китайцы, насчет весенних мыслей, то я умоляю вас, как доброго товарища и благородного человека, не делать этого в моем присутствии, – влез в ситуацию отец Ион и вкрадчивым голосом продолжил. – Вы же знаете, какую я сейчас веду борьбу с соблазнами земными и как страдаю от таких богопротивных слов, как «хао нюйжень», – и так горько вздохнул, что мне стало действительно жаль старика.

Я приостановил свои маневры и спросил его, не будет ли он смущаться духом, если я перейду только на язык жестов. Ответ его был удовлетворительным, так как жесты могут быть случайны и непреднамеренны, и могут не являться богохульством. Тем более, что он может просто при этом отвернуться и тем самым спастись.

Придя к такому согласию, я уже было приподнял руку, чтобы еще более приоткрыть тайный занавес наших с нею бесед, как явился ее муж, рыбак.

Стоит ли говорить, что сей мужик разом разрушил все мои благие намерения. Впрочем, можно было и продолжить, так как рыбак этот шел вовсе не утомленный праведным трудом, а явно из города и был отчаянно пьян. Наверное, только художник, не раз изображавший войны и сражения, мог бы изобразить сейчас лицо моей китаянки – так оно изменилось в одно мгновение. Если в Китае самый упоминаемый символ дракон, то она являла собой теперь змеюгу по страшнее кобры. Муж ее имел на это другое мнение:

– Баба, – бормотал он, – дрянь, я – петух, – тыкал пальцем себе в грудь. – Я – другое дело, и знаю свет.

Засим, нисколько не обращая внимания ни на пришедшую в ярость жену, ни на нас, далеко необычных визитеров, он рухнул на землю.

Однако, господа, что тут началось! Прелестная китаянка подняла такой отчаянный визг и с таким гневом принялась притоптывать своими крохотными ножками около поверженного Бахусом супруга, что меня охватил настоящий ужас мужчины перед остервеневшей фурией, и я поспешил ретироваться. К счастью, один из казаков успел подвести к нам оседланных коней, и мы, не медля, вскочили в седла. И вовремя. К этому времени к месту происшествия сбежались еще несколько баб и подняли такой гвалт, что конь подо мной, нисколько не принуждаемый к этому, стал пятиться назад. Я удержал его, видя, что отец Ион не спешит отъехать, а с самым глубокомысленным видом наблюдает эту сцену, тем самым как бы и меня приглашая изучать предметно нравы местных жителей, коли я считаю себя натуралистом. Однако, при этом Кит Яковлевич и не думал мне помочь сориентироваться происходящих претензий. Можно было бы обратиться с просьбой к нему объяснить, что все-таки происходит и почему он так заинтересовался этой скверной сценкой, но он обязательно переврет, как давеча, цитаты из рукописи своего коллеги отца Каменского, да и привычки просить я не имел.

Сосредоточив все свое внимание на происходящее, на жесты и на мимики действующих лиц, вслушиваясь в каждое знакомое и не знакомое вовсе мне слово, я кое-что стал понимать.

Прежде всего, мне сразу удалось определить, что всех этих жительниц села объединяет какая-то общая беда. Вывод, на первый взгляд, кажется не оригинальным, но учитывая непредсказуемость женских натур и полное отсутствие логики в их совместных действиях, вы меня поймете. Этому

доказательством служило то, что валявшийся в отупении от винных паров рыбак бесил их всех одинаково, словно все они составляли его гарем. Это открытие позволило мне сделать вывод, что они кричат одно и тоже. От того, что часто произносилось слово «фу», стало ясно, что рыбачки дружно проклинают город или горожан, затем с особенной ненавистью произносилось словечко «хэ» – пить. Все это позволило мне прийти к печальному пониманию той беды, которая так их всех растревожила. Тем более, что появившиеся через некоторое время со стороны города качающиеся фигуры остальных рыбаков сделали картину окончательно ясной. Бабы ожесточились еще более, и теперь каждая накинулась на своего мужа.

Рыбачий поселок имел несчастье быть слишком близко расположенным у городских стен, за которыми, по мыслям этих простых женщин, и вполне справедливо, цвел разврат, с каждым днем все сильнее втягивавший их мужей в свою пасть. Видно, мужья с некоторого времени пристрастились ловить рыбу не на реке, а в городских кабаках. Я не без удовольствия, обратившись к отцу Иону, сделал несколько кратких замечаний по этому поводу и предложил ему ехать прочь от той вакханалии, так как события грозили приобрести еще более высокую температуру.

Среди скандаливших появился бохша – урядник из солонов, И принялся не менее увлеченно орать сам. Бохша был человек, судя по платью, зажиточный и неглупый, принимая во внимание замечательную толщину его живота.

В Китае вместилищем разума признается желудок: если у вас замечательной величины брюхо, то, очевидно, по мнению китайцев, у вас замечательный ум. Это факт, в истине которого ни один житель Поднебесной, со времен династии Цинь, не смел сомневаться, да и смешно было не верить тому, что 2х2=4.

Появившийся местный полицейский быстро разогнал хозяек по их лачугам и, наконец, очень гордясь своим «умом», обратил и на нас свой суровый взор. Дабы узнать степень нашей мыслительной силы, он нас осматривал не спеша и пристально, но, оценив наши поджарые фигуры, он презрительно отвернулся, из чего было ясно, что о нас, он составил мнение самое невыгодное.

Вообще непостижима уму самоуверенность китайца. Он никогда не похвалит то, что не китайское. Угостите его шампанским, и он от невозможности хулить сей чудесный напиток спросит вас: где вы купили их джу – рисовую водку.

Не снизойдя к нам разговором, этот бохша с солидно отвисавшим признаком своего интеллекта, а китайцы – великие мастера, когда надо не

замечать «левополых варваров», снова накинулся на обитательниц поселка, воспользовавшихся паузой и опять появившихся на улице. Он сделал знак двум рядовым солонам, и те с увесистыми палками бросились замахиваться на слабую половину имперского народа. Однако те не отступили и, построившись в каре под предводительством моей китаянки, пошли в самое настоящее наступление на представителя маньжурской власти. Видимо, поняв, что наскоками этих баб ему взять не удастся, урядник вынужден был вступить с ними в переговоры. Не так скоро, но мне удалось понять, что речь идет о том, что городской голова решил расширить какие-то укрепления своего все возрастающего города, и на этот раз жертвой такого строительства будет эта жалкая, в десяток лачуг, деревенька рыбаков.

Представьте себе, какой шум подняли эти жертвы строительства, когда услышали, что чудовище, поглотившее разум и силы их мужей, теперь готовится проглотить и их жилища. «Мы сами разрушим город!», – закричала предводительница рыбачек. На что бохша ответил не угрозой, а искренним удивлением тому, как можно идти против решения градоначальника. Мне показалось, что он даже растерялся, бедняга. Но его конфуз продолжался недолго, тем паче, что все та же наша рыбачка выкрикнула ему в физиономию страшную пекинскую брань – что-то вроде: «Ты внук черепахи в третьем колене!!!», и бросилась на него со сжатыми кулачками. Он ловко сбил ее с ног и принялся пинать. Да и солоны не дремали. Рыбачки бились отчаяннейшим образом, полагаясь только на самих себя, так как их мужья, как уже говорилось, были даже не в состоянии понять, что же происходит. Надо ли говорить, что полицейские одержали викторию.

Что бы ни происходило в этой чужой стране, мы вынуждены держаться нейтралитета, а потому, огорчившись такому ходу вещей, развернули своих коней и поехали прочь. Задержался только казак, которому следовало со–брать наш бивак, но вскоре и он нас догнал.

Кони наши шли шагом, мы молчали, и казак, видимо, мучаясь тем, что увидел, задержавшись у той деревушки, заговорил, сообщив нам, что солоны, круша одну из хижин, частью крыши прибили спавшего в доме годовалого ребенка. Мы не отвечали ему.

Возвращаться в пыльный город не хотелось, и мы еще проехали вдоль реки. Отцу Иону пришла счастливая мысль совершить небольшую экскурсию по китайским садам и загородным дачам. Они тянутся верст на десять по Сары-Булаку, Это прекрасно, но начиная от угла крепости,

упирающегося в поворот Или, до самых дальних садов берега реки буквально усыпаны могильниками, такими же частыми и мелкими, как оспинки на лбу шанхайского бродяги. Надо знать величину китайских могил, чтобы вполне понять эту бесчисленность. Китайцы зарывают своих покойников в землю в особенно уродливых гробах, окрашенных большей частью в красный цвет, вырыв прежде в земле ямку не более, чем мы для очага. Вкладывают туда гроб и над этой могилкой насыпают землю в виде конуса, а так как здесь песчаный грунт, то не удивительно, что эта насыпь сносится ветром, и обнаженные красные ящики торчат из земли до тех пор, пока весенним тающим снегом не размоется сам берег, и он не обрушится в поднявшуюся воду, унося с собой и тяжелый груз.

Не удивительно, что такой вид окончательно испортил нам прогулку, и мы вскоре повернули коней назад. Подъезжая к городским воротам, мы увидели, как к ним приближается быстро толпа баб с палками в руках, которыми они размахивали весьма усердно и зло. Это были наши рыбачки. Караульные поспешили прикрыть ворота, но больше не от страха, а от нежелания связываться с крикливым племенем. Это еще больше возбудило женщин, и они, осыпая всевозможными проклятиями город, принялись стучать палками и по глинобитным башням и по створкам ворот. Я выразил мнение, что эти разгневанные бабы в своем мстительном порыве могут действительно так разрушить город, на что Кит Яковлевич сказал:

– Вы знаете, как называют в Китае проституток? Разрушительницами городов.

История Семи городов Западной провинции Китая уходит корнями в древнейшие времена. Еще при государе Ву-ди китайцы уже знали Западный край и насчитывали в нем до тридцати шести владений. Эти земли прежде подчинялись хуннам, пока Чжанькань или Чжань-цзянь в 140 году до Р. Х. не проник сюда. Что за народ были первоначальные обитатели этого края, мы не знаем, ибо китайская история не дает никаких данных. И отец Ион в своем «Собрании сведений о народах» не исчерпывает полностью этого вопроса. Мы знаем, что каждое владение имело своего государя, ни нравом, ни языком они не походили на хуннов и усуней, имели при этом впалые глаза, высокий нос и густую бороду, исповедовали буддийскую веру. Письмо их походило на индийское. После династии Хань Западный край то отделялся от Китая, то подчинялся ему снова. Отец Ион называет их тюрками и в «Истории династии Суй» приводит, что они употребляли тюркское письмо.

Кстати, что касается синологии, то сами китайцы не имеют лучших исследователей своих документов истории, чем отец Ион. Но, к несчастью, он имел слабость впускать в текст свои мысли и догадки, не отделяя их от китайских данных. Об этом говорил и консул.

Прошло три месяца, и к концу нашего пребывания в Кульдже осень почти утвердилась: дни стали холодные, даже при солнце нельзя было ходить без теплой одежды. Китайцы с ног до шеи оделись в овчины – на каждом из них были короткие куртки. Горы вокруг города давно уже покрылись снегом до самых подножий и белели как сахарные головки. Под ними же ежевечерне жнецы на своих полях возжигали тысячи костров, и они сияли, как плошки на казарменных столах, но и их яркие, звездоподобные вспышки вскоре перестали нас увлекать.

Переговоры с китайской торговой палатой, которым, казалось, уже не будет конца, завершились удачно, бумаги были составлены и подписаны и теперь осталось самое неприятное: приемы. Особенно настойчиво зазывал в свой дом знакомый купчина Чжан Гу-да. И мы все вынуждены были отправиться к нему. Ехали мы весело – хорошенькие дети бегали по улицам и простодушно изъявляли свои мнения насчет нас. Мы имели редкое счастье нравиться этим наивным существам. «Русские едут!», – кричали мальчишки, вприпрыжку сопровождая нас. А какая-то маленькая девчушка, держа в своих руках еще более крошечную сестренку, спрашивала меня:

– Русский лоя, есть у тебя такая маленькая дочка?

Вообще простой народ обращал на меня более внимания, благодаря чудному блеску моих эполет, в противоположность черной рясе отца Иона, с которым мы по привычке ехали рядом. Они от удивления щелкали языками и громко одобряли меня словами: «хау лоя!» В смысле: хороший господин.

Позабавило меня и замечание одного шампаня каторжного вида, который, увидев металлические пуговицы моего фирменного сюртука, заметил своему товарищу: «Посмотри, сколько на русском лое монет», – проговорил он, шамкая. Чтобы не уронить столь высокого мнения о себе, я принял еще более бравый вид, подбоченился этаким фертом и представлял из себя такую фигуру, или, выражаясь по-персидски – руфаяна, что – маш аллах!

– Сам Гуань-лоя, по сравнению с вами, мой юный друг, ничто, – не преминул заметить отец Ион.

Мы разом расхохотались и въехали в ворота купеческого хуардана. Чжан Гу-да, хозяин, одетый по-праздничному, встретил нас у дверей и приглашал в комнаты. Однако мы решили несколько размяться в саду, тем более, что

среди обихоженных деревьев стояла храмина, окруженная стеной, с воротцами, разукрашенная надписями и фигурками. Своей таинственностью она влекла к себе чрезвычайно. Мы принялись просить показать нам божницу. Хозяин неохотно согласился.

Перед храмом стояли два столба, направо, у ворот, под навесом, был выставлен на пьедестале колокол, налево – бубен. Двое слуг палочками по знаку хозяина начали бить ими: один – в колокол, другой – в бубен, должно быть, для предупреждения богов о приходе гостей.

В самой божнице было три двери, завешанных занавесями, посреди стол с солью, чашкой, на резной полке прямо в нише сидел в широком шелковом халате бог Гуань-лоя с золотым лицом. Богом он стал после того, как прославился еще в эпоху Восьми царств, когда он в отличие от других китайских рыцарей прошлого, нападавших ночью или из-за угла, всегда предупреждал своего противника, уведомляя его, как Святослав: «Иду на вас». Особенно в ход пошел он после воцарения в Китае маньчжурского дома. Маньчжуры, его, как своего патрона, возвели в степень императора – хуан-ди, и он есть теперь бог военных людей и защитник фанз.

У ниши Гуань-лоя стояла белая узкоглазая богиня и держала в руках своих как-то особенно нежно меч. Там же устроился черный, как китайский кауговый сапог, божок с большими навыкате глазами и злобно улыбался, обнаруживая ряд гнилых и длинных, как у кабана, зубов. В правой руке пучеглазый фо держал алебарду, хитро раскрашенную, а левая рука его нахально уперлась в бедро. Одет он был в куртку и, вообще, был страшно дерзок. Богиня же, напротив, была вполне женственна, кроткое лицо ее хотело как бы спать, а меч, лежавший на ее руках, казалось, сильно ее тяготил. Между прочим на столе в этой храмине пристроился и любимец отца Иона бурхан Шикья-Муни. Он, нисколько не оглядываясь на боевитость своих коллег, наслаждался блудом: на коленях у него сидела женщина. Признаться, я ожидал от Кита Яковлевича его обычного балагурного комментария и готов был его поддержать шуткой или каламбуром, но отец Ион в этом вполне языческом храме повел себя на удивление сдержанно, а на приятеля своего Шикья-Муни и не взглянул.

После осмотра домашнего храма, настойчивому Гу-ду все-таки удалось затащить нас в комнаты. Он еще приветствовал нас, особенно при этом самым тщательным образом расспрашивал о состоянии наших желудков. Мы уселись на скамеечках за низкий столик, уставленный вазами с китайскими плодами и орехами лучи и жужубом. Какой-то малый принялся набивать

трубки и, прикуривая их на огне, подносить нам с поклоном. Согласно китайскому церемониалу, мы приняли трубки и начали курить. Между тем этот же малый снял с очага медный кувшин с чаем и наполнил фарфоровые чашки душистым напитком. К чаю же принесли арбуз. Пока мы пили чай и кушали фрукты, Чжан Гу-да вступил в таинственное совещание с нашим генеральным консулом. Мы без особого любопытства ожидали окончания этих переговоров и, зная немногословность консула, могли предположить, что они окончатся скоро.

Так оно и случилось. Консул отчего-то краснел, но кивал. Затем Чжан Гу-да обратился к нам, сказав, что ему хотелось бы угостить нас не просто, а как следует. Ему желалось, чтобы сердца наши были веселы, словом, он предлагает, как это делается у цивилизованных наций, чтобы на нашей трапезе присутствовали «разрушительницы городов». Как он уверял, это необходимо для того, чтобы у нас было более аппетита и более расположения к приятным разговорам. Принимая во внимание, что это нескрываемое желание хозяина не противоречит познавательному характеру членов нашей фактории, мы согласились, но при условии, что здесь будет только одна из них, пусть любимица хозяина. Купчина весьма обрадовался, видя такую беспредрассудность гостей. Он тут же выкрикнул несколько слов, и торчавшие в комнате лакеи забегали взад-вперед и исчезли в дверях. Прошло несколько минут, раздался звонкий смех и приятный голос, несомненно принадлежавший нежному существу. По мере того, как эти чудные звуки усиливались, Чжан Гу-да подмигивал нам все значительнее и, наконец, улыбнувшись хитро, шепнул: «Идет!» и кинулся за дверь, уже явившись снова в сопровождении китайской камелии.

Наш купчишка, хотя и был ужасным медведем, но в обращении с нюйжень показал себя истинным ши-ю (джентльменом). Он разговаривал с ней не иначе, как с тонкой улыбкой, и глаза у него при этом томно щурились, а голос делался слишком певучим.

Дама этого торговца приветствовала нас поклоном, встав на одно колено, а затем, подойдя уже ближе, принялась вопросительно озираться, делая, по-видимому, из вежливости мину, что якобы она конфузится. Чжан Гу-да, согнувшись в дугу, подскочил к ней и, указывая на свободное место за нашим столиком, что-то проворковал ей в ушко.

Чаого – Яблочко, таким оказалось имя этой сердцепохитительницы, обязанность которой заключалась в развлечении нас игрой на трехструнной лютне и в затевании игр, где про игравший обязан пить вино. Изгибаясь

станом и мелко семеня крошечными ножками, она, сказав каждому из нас: «ха-уле!» и еще какую-то любезность, присела между нами и начала с удивительным искусством исполнять свои обязанности, разливая из чайничка вино и сама поднося чашечки с вином каждому ко рту. Выпив сама несколько глотков, она оказалась дамой весьма веселого нрава. Совершенным отсутствием несносной застенчивости, она принялась осматривать не только наши лица, но и все статьи наших костюмов, при этом болтая всякую чушь и хохоча. Мы тоже имели возможность вглядеться в любимицу хозяина. Ей, видимо, было лет двадцать, но, несмотря на молодость, личико свое она покрыла множеством слоев грима. Признаюсь, она производила впечатление красавицы. Густые черные волосы были убраны назад и там ниспадали до пят роскошной и массивной косой. В прическу ее были искусно вплетены цветы, над которыми порхали ювелирные бабочки. Губы ее были густо намазаны помадой и краснели как коралл. Своими черными глазками она владела мастерски, то поднимая их к небу, то опуская к своим ножкам, которые, надо сказать, всегда были на виду. На ней была надета куртка без рукавов и воротника, на пуговицах этой куртки висел какой-то талисман и еще какие-то металлические привески, вроде зубочисток и иголок. Под курткой была шелковая рубашка, совершенно похожая покроем на верхний халат. Замечу, что вообще она была одета очень недурно, опрятно и дорого и весь вид ее подтверждал китайскую оценку: она напоминала тонкий рисовый колосок. Особенно у нее были хороши руки, они словно были выточены великим мастером из слоновой кости. Она сама, по-видимому, прекрасно понимала эти свои достоинства и занималась ими. Ногти на них были непомерно длинны и тщательно выкрашены в розовый цвет, а на мизинцах – позолочены. К довершению, надо заметить, что виски ее были украшены мушками. Налеплены они были симметрично, возможно, для красоты, но я достоверно знаю, что такие мушки прикрепляются к вискам из-за сильных, постоянных головных болей.

Единственный порок ее состоял в том, что она часто прибегала к платку и как-то особенно возилась со своим тонким носиком. Это обстоятельство заставило меня быть осторожным, и я мягко отказывался от ее внимания и не пожелал пить с ней из одной чашки. Это тут же заметил гостеприимный Чжан Гу-да и, поймав мой взгляд, грустно повел взглядом на милую ему Чаого и также грустно заметил, что она, несмотря на все счастье, которое он ей время от времени представляет, слезлива от невозможности быть с ним постоянно. Затем он, в

свою очередь, достал свой платок и приложил его к своим сухим векам, а потом и к ноздрям, как бы удаляя с них слезную влагу. При этом лицо его было отчаянно горестным.

Я еще раз внимательно оглядел Чаого и, наконец, узнал ее. Я оглянулся на Кита Яковлевича и угадал по его выражению лица, что он-то давно знает, кто сидит перед нами. Это была наша рыбачка.

Между тем, пришел какой-то разбитной господин с живыми манерами, в очках и оставшееся время говорил много и громко, пытаясь сделать относительно нас юмористические заметки. Видно было, что это столичный франт, щеголяющий перед местной губернской сволочью. Видно было и то, что хозяин в чем-то зависел от него, что и позволяло этому типу вести себя так в его доме. Остряк уподоблял нас англичанам, которых видел в Кантоне, и сказал, что от этого у него на голове огонь. Или я неправильно понял фразу или действительно в этом «огне» есть какой-то совершенно непонятный нам смешной намек, но, сказав это, он так захохотал, что очки его сползли с носа на губы. Тогда, в свою очередь, засмеялись мы. Это несколько отрезвило непрошеного визитера, и он обиженно засопел.

Трапеза заканчивалась, наш консул встал, поблагодарил от всех нас любезного Чжан Гу-да, а развлекавшей нас особе дал серебряную плитку в 4 ф. серебром, имевшую хождение в Китае. Чаого – Яблочко, с выражением живейшей благодарности начала припадать перед ним на колено, благодаря каждого из нас по рознь, но представьте наше удивление, когда эта потаскушка, после какого-то колкого замечания в ее адрес от господина из Кантона, бросила серебро обратно нашему шефу. Естественно, консул постарался не заметить такой выходки и, перешагнув через плитку, направился к выходу. Разбитной господин в очках хотел было добавить что-то с ехидной улыбкой, но в этот момент отец Ион, священнослужитель и почитаемый ученый, сунул ему под нос свой огромный кулак совсем как делают мужики в ярмарочных трактирах. Кантонский франт побледнел и уже умолк окончательно.

Провожаемые смутившимся хозяином, мы вышли в сад, где я еще раз увидел надувшую свои алые губки Чаого. Она гордо отвернулась от нас, совершенно убежденная, что такие варвары, как мы, недостойны теперь ее внимания, даже несмотря на то, что наши сердца уж обязательно навечно привязаны к ее изуродованным бинтами в детстве ножкам.

Проходя мимо нее, я тихо сказал ей: «Иди, подними серебро, рыбачка, и построй себе хижину. Тебе не разрушить город». Она живо обернулась. Не

думаю, что эта девка узнала меня, но посмотрела мне в глаза с такой ненавистью, что я оторопел. Затем, окончательно презрев благородный металл, бросилась из дома вон. Бегство ее, признаться, нас не расстроило, разве что хозяин наш Чжан Гу-да несколько взгрустнул и заметил обиженно: «Ничего... есть полиция и если надо, то...». Он не докончил свою речь, но конец был ясен: бамбуковая палка вещь удивительная. В следующий день я, наконец, слава Богу, выехал в Россию с Тарбагатайским договором и знанием весьма прелюбопытного иероглифа, который теперь непременно ставлю для счастья, когда играю в карты.

«Ищите знания всюду, даже в Китае», – сказано Пророком Мухаммедом. Мне, с моими окончательно спутанными пространственными ориентирами, оставалось только последовать его мудрому совету, точнее, я и Поднебесная империя двинулись навстречу друг другу. Судьба вновь определила нам местом свидания Кашгарию. Там, в Восточном Туркестане, накатившая на храмы Будды, волна ислама создала интересную цивилизацию. Тюрки переняли у китайцев изощренную кухню, а тамошние китайцы стали мусульманами и называют себя хой-хой, носят они китайское платье, косичку, говорят по-китайски, однако имеют свои мечети и совершают намаз. Мечети они строят на манер своих кумирень, где лишь иероглифы гласят, что это храм божий. У них есть муллы – ахуны. Бога они вместо Аллаха в своем разговоре называют Фоя, а Мухаммеда – Мемети.

Понятия туркестанских китайцев о природе человеческой почерпнуты большей частью из проповедей буддистов, но они заимствовали только одну сторону этого учения. О себе они знают верно, что рабы Аллаха, но по отношению к другим людям, собравшимся покинуть этот бренный мир, ведут себя так, словно это метапсихоз души и опасаются, как бы переселившаяся душа не выбрала в своей будущей жизни субъект опасный для них.

Китай своей площадной жизнью, своей языческой философией и эгоистическим самолюбием и, наконец, дряхлостью и слабостью своих сил и острожной уклончивой политикой мне совершенно напоминает древний Рим во времена своего падения. Варвары тысячелетиями теснили Поднебесную Империю. Она же то укрощала дикие орды, то, не в состоянии противится, прибегала к хитрости: задабривала дарами, платила им дань, гордо называя ее жалованьем от имперского двора, льстила их тщеславию, награждая

титулами ванов и князей помельче, как Рим покупал званием патрициев себе на службу неустрашимых галлов и германцев.

Удивительно то, что держит и крепит Китай. Он, как Рим, не раз становился полной добычей инородцев, но падали только династии, а само государство стояло прочно. Варвары сами становились китайцами, так сильно влияние китайской культуры, Рим уже давно разрушен, разрушен христианством. Иисус Христос не вместился в пантеон римских глуповатых Богов. В Китае было совершенно другое. Здесь вера играет второе значение. Она может быть у каждого своя. И нет причины никому никого ни ненавидеть, ни превозносить. Важна божественность Империи.

Восточные туркестанцы от природы недоверчивы да и в их речах много лукавства. Если обходится с ними учтиво, то они презирают тебя и думают о том, что ты их боишься. Если, поступая по законам, иногда употреблять перед ними важность, то можно поселить в них опасения, сопряженные с почтением. Они знают только соблюдать личные выгоды и не задумываются о бедности других. Равные меж собой не состоянии ужиться, перечат друг другу, что переходит во вражду, иногда непримиримую. Они любят веселиться, пьют вино и более всего преданы сладострастью. Женщины среди них ходят, не закрыв лицо, и много танцовщиц, без которых туркестанцы не представляют увеселения.

Все эти характеристики отлично подходят к кашгарскому хану Якупбеку, принявшему меня с приемлемым уважением. Он встретил меня в казанлыке своего дворца. Имея с десяток первоклассных поваров и сотню слуг, сей восточный самодержец помимо государственных дел непременно вникал в заботы кухни и конюшни. Если и спал, то не более четырех часов, все караулил, как бы что не случилось помимо его воли на дворцовой площади и на заднем дворе.

Якупбек, бросив в казан готового плова изрядно горсть гашиша и облизав пальцы, после приветствий тут же решил назначить меня командующим своей конницей. Составлявшие всю его канцелярию трое секретарей поспешили, глотая слюни от обильных и утонченных запахов жареных по-пекински уток и томатных супов, сделать соответствующие записи. Но я твердо отказался, ссылаясь на свою все возрастающую склонность к духовным занятиям. Хотя Якупбек не умел читать, он часто произносил подходящие к разговору тексты из ал-Корана или куплеты из стихов богобоязненных персидских поэтов, языком которых владел свободно.

Конечно же и здесь он не преминул показать свое красноречие мусульманина:

– И если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему, и полагайся на Аллаха. Так сказано. Хорошо, султан-казак. Но я не могу тебе, известному воину, не дать офицерского чина хотя бы для достойного пропитания. Здесь каждый может оскорбить своим невежеством или ради корысти человека благородного и даже знатного, если тот не имеет сабли. Прими хотя бы под свою руку пятьсот всадников и будь над ними пансатом. И будь свободен.

Любезность этого венценосного лицемера вполне оправдалась в его духе.

Я получил свободный ход только в его библиотеку и дворцовую мечеть, имевшею всего одну занятную достопримечательность: лестницу, ведущею в подземный тупик, замазанный голубоватой глиной. Я тронул ее рукой и на ней остался след от моей пятерни, словно она только-только была нанесена на стену. А ведь пробирался я к ней через многолетнею паутину.

Впрочем, такое отношение ко мне и понятно – является к тебе в дом известный авантюрист и мятежник и что от него ждать? Не коленно-преклонных же бдений и аскетического поста... Так или иначе, я добился своего. Сидел один среди пыльных книг и меня даже не расстраивало отсутствие среди них французского романа. Есть одно неоспоримое достоинство в том, что иные цари были безграмотны. Лишь только благодаря тому, что их чистый мозг не ведал какие книги следует сжечь, а какие нет, мы ещё имеем труды допророковских времен.

Пока я сидел и с важным видом разглядывал древние манускрипты с таинственными письменами, хан Якупбек, избивая ногами своего казначея, сам, красный от ярости, лишился чувств и скончался от удара. Без промедления его сыновья и правители городов кинулись воевать меж собой за трон, не в силах больше сдерживать наступавшую китайскую армию с маньчжурским генералом.

В доступных для моей головы текстах арабских и персидских авторов я нашел много любопытного. Не хотелось бы так вычурно излагать, но все же... Человек, потерявший нить своей жизни, прежде всего, обратит внимания на фразы, рассказывающие о дороге, на знаки, могущие быть истолкованными как путь. В древних сочинениях Рашид-аз-Дина, Джувейни и Шершеддина алс-Язди мне попались упоминания и даже описания подземных тоннелей, соединяющих как будто бы не только отдельные города, но и страны. Один из историков писал, что они служили для тайных проходов войск. Упоминался миф о том, как два с половиной тысячелетия

назад на голом берегу Сырдарьи перед наступавшим войском Кира – Великого перса, в никуда исчез целый отряд авангарда согдианцев, словно провалился сквозь землю. А я на одном горном перевале когда-то встречал купца ягнобца, хваставшегося, что он знает тайные, скрытые караванные пути от Памира до Ташкента, в которых путника не застанут ни снег, ни пыльная буря, ни беспощадные разбойники. Теперь я склонен был ему поверить, так как нашел часть карты, где были изоброжены подземные лабиринты, расходящиеся от Отрара к Пышакты, Алтынтепе, Куйруктюбе и Сыгнаку.

Другой писатель старины называл эти ходы чуть ли не подземными мечетями, где располагались в нишах «кылует-и-гор» суфии и предавались религиозному экстазу или путешествовали от одних святых мест к другим.

От слуги, приносившего мне трапезу, я узнавал новости о том, что один из сынов Якупбека успел перебить половину своих соперников, другая же часть бунтовщиков перекинулась на сторону китайцев и последние победоносно прошли весь Восточный Туркестан. Бежавший из своей страны молодой хан настолько обозлился, что приказал в городе Янги-Гиссар перерезать всех китайских мальчиков, находившихся в услужении у разных лиц. А их оказалось не менее двухсот. Такое же глупое зверство повторил вслед за ним и его губернатор в Кашгаре, поставив всех нас в этом брошенном войсками городе в страшное положение. Теперь кашгарские дети на себе должны были, в свою очередь, ответить за все эти безумия и нам оставалось только постараться как-то защитить их. Сколько мог я вместе с андижанскими кипчаками удерживал ворота города. Они ребята отчаянные, смелые, последние тюркские казаки в первоначальном смысле – свободные воины, ищущие себе славу сами по себе. Эти эпитеты так же вполне оправдали их следующий поступок, а именно: настал час, когда они просто собрались и пригласили меня с боем вырваться на степные просторы, так как им стало в городе скучно. Я отказался, слабо надеясь хотя бы этим удержать их, но ветер несется туда, куда несется. Цитадель Янгишар уже была за нашими спинами захвачена вчерашними пленными китайскими солдатами, обращенными Якупбеком принуждением в ислам. Оставшись один, я, подчиняясь неясному внутреннему велению, пошел в мечеть испустился по тем самым ступенькам, уходившим вниз. Некоторое время я стоял неподвижно перед голубой стеной, перегородившей подземный коридор, затем с силой толкнул ее. Она не обрушилась, а разорвалась как ткань. Я прошел сквозь разрыв и оказался в подземелье. Я сделал по каменным

плитам шагов сто и прошел через низкий свод. За ним я увидел самую настоящею дорогу, выстланную мелким песком. Высота прохода составляла метра два с половиной и ширина – полтора, так что по ней могли проехать рядом два всадника. Дорога уходила вправо и влево.

Ничем не объяснимый ужас сковал меня, с трудом я развернулся и пошел назад. Дойдя до выхода, я увидел в свете, лившемся откуда-то сверху, что разорванная мной перегородка затянулась чем-то вроде слизи. Можно было прорваться наружу, но там меня ждали только солдаты чужой армии и скорый надо мной суд. Оставалось только надеяться, что та дорога в конце концов выведет меня на землю где-нибудь за городом, ведь наличие такого подземного хода в любой крепости на случай осады вполне обычная штука. И мистика здесь ни причем. Я опять развернулся и зашагал в никуда.

Гладкие стены тайной дороги были скреплены обожженной глиной. Я шагал все время из тьмы в полусвет и снова в темноту. Наличие свежего воздуха говорило о том, что этот огромный лаз местами пробит до поверхности земли. Сумерки скоро стали привычны глазу и, кажется, я стал различать все мелкие предметы. Так я увидел в стенах разноцветные кирпичи, на которых встречались какие-то неведомые мне знаки, чаще – полукруг с черточкой. По этим стрелкам я и шел. Царившие в подземном пространстве колеблющиеся сумерки не позволяли понять: сколько же прошло времени с тех пор, как я очутился там. Возможно – час, возможно – целый день. Я не чувствовал усталости, но привычка отдыхать склонила меня сесть на песок. И только сейчас я заметил, что река песка подо мной течет. Надо сказать, что это необычное явление нисколько меня не удивило, ну пересыпается песок и черт с ним. Последние несколько суток в осаде я почти не спал. Сквозь тяжело опустившиеся веки я увидел с высоты птичьего полета аул султана Тезека. Вот он сам. Кривоного стоит перед развешанными на жердях подтекающими еще кровью кусками баранины и о чем то мрачно размышляет, мешая женщинам наконец приступить к варке еды. Рядом с его белой, семиканатной, но неряшливой юртой, стоит другая. Там живут его тетки и сестра – моя невеста. Она тоже выходит к кипящему на воле казану и, прикрывая платком длинную изящную шею, смотрит в сторону моего жилища. А ведь я там! Возлежу на кошме в неубранной постели и делаю вид, что пишу нечто важное.

Мне тридцать лет. Жизнь прописана, как теория. Итог: я сильно болен. Болит грудь и горло. На горло я мало обращаю внимание и лечусь прежде от болей в груди. Но вот горло разболелось так, что я едва могу глотать пищу,

голос совершенно спал. Попасть в Верный, в крепостной госпиталь невозможно по причине отсутствия экипажа при трудности пути. Я отдал себя в руки аульного лекаря – невежды, который поит меня неизвестно чем. Но все же лучше, чем умирать, сложа руки.

По письму, доставленному мне уже в тезековский аул можно судить, что я после самовольного ухода с полей сражений за глиняный Туркестан сразу же оказался у своей невесты. И еще сообщал мне мой корреспондент: из Петербурга приехала комиссия для расследования инцидента нашего неподчинения генералу Черняеву в его победоносном походе на Ташкент и Кокандское ханство. К ее приезду Черняев взял у некоего манапа дикокаменных киргиз Сарымбека показания о том, что при походе на Аулие-Ату никак нельзя было обойтись без пушечной пальбы и якобы они, туземцы, сами нижайше просили генерала пару раз выстрелить из пушек по самым враждебным и по-другому неприступным крепостям их самых злых мучителей. И вообще, Черняев назывался освободителем и благодетелем всей орды. Стоит ли удивляться тому, что этот местный вельможа черной кости был вскоре ташкенстким генерал-губернатором Черняевым назначен на вновь введенную в этих краях верховную должность старшего манапа.

В общем, славный мне свадебный подарок!

В дикокаменной орде аристократического элемента не существовало исторически, точно так же, как и централизованного межродового управления. Там каждый род управлялся своим манапом. Случалось, правда, что некоторые манапы, сильные родовичами, успевали приобрести главенство, как Урман и Бурамбай. И хотя это было насилие, но люди эти имели несомненные достоинства, один – храбрость, другой – сильный ум. Назначение же ничтожного и известного своей лживостью Сарымбека, этого дикокаменного Черняева, в звание ага-манапа, возвело угодливое вранье в постоянно достоинство. Это уже само по себе ошибка и ошибка политического толка. Пользы мы от такого родового чиновника положительно не имеем, и, поддерживая его назначение, мы вредим себе, отталкивая от себя плебс. А главное – коренные народы новых земель от имперского народа. Когда-нибудь это аукнется бунтом, а то и похуже. Уже сегодня сами манапы недовольны – Мурад-Али и Чон-Карач ушли в Китай не от нас, а от восторжествовавшего Сарымбека, приступившего сразу же к продаже русских чинов в виде дипломов, купленных им самим прежде у своих губернских покровителей. Сверх того, ни один абсолютный монарх не делал такого насилия, как он. Избиения и рабский труд на него стал нормой.

Он держал женщин под именем «подводные бабы». К умению плавать они не имеют никакого отношения, зато ими он угощает приезжих казаков и других лиц. Их, как не дико, используют свободно так же, как берут на время подводы с верблюдами и лошадьми. Такова нравственность этого господина.

Конечно, надо протестовать. Но легче всего снять с себя офицерский мундир, уйдя публично с заявлением с государевой службы, вернувшись в свое законное состояние инородца, несмотря на то, что в Сибири с инородцами делают все что хотят, разве что собаками не травят. Но вот вопрос, как затем стянуть с себя шкуру манапа Сарымбека, наличие которой среди наших остальных шести шкурах на благороднейших фигурах мы все, господа, со страшным негодованием отвергаем?

Удастся ли когда-нибудь хоть малость прожить свободным от всяких мундиров и лишних шкур разной окраски и толщины? Утешает ли то, что на встречу с Господом Богом, которая лично для меня уже не за горами, я явлюсь в костюме первозданного Адама, голенький с фиговым листочком. Правда, опять же не свободным окончательно. Придется ждать дня Страшного суда, а это сколько?

Плакаться, между тем, особенно не стоит. Я всегда имею возможность вернуться в Омск, к тем же врачам. Надо бы все же попросить выслать рвотный камень или что-нибудь другое, чтобы вызвать отделение в груди мокроты. К слову есть там и особо важные персоны, могущие меня и в чине повысить, надо только подать оправдательную бумагу от докторов. И тут мне сообщают, что ко мне напрашивается тот подлый и мелкий субъект по имени Сарымбек. Прибыл знакомится со мной! Господи, ну за что же мне это? Я и не подумал его принять. Глядя на меня, отказал ему в гостеприимстве и султан Тезек, хотя был весьма недоволен сложившейся ситуацией, что вполне понятно. Во-первых, это покушение на национальные традиции встречи визитера, во-вторых, ему жить во соседству с этим новоявленным дикокаменным ага-манапом.

А вот рука выводит послание к моему отцу: «Устал, нет никакой силы, весь высох, остались одни кости, скоро не увижу света. Мне больше не суждено повидаться с моими дорогими родными и друзьями, нет для этого никаких средств. Это будет мое последнее письмо. Прощайте, обнимаю всех. Приезжайте в Джетысу, увезите к себе мою бедную Айсары, не оставьте ее без внимания и заботы».

А затем свои похороны и как-то сразу же сводчатую гробницу из каленого кирпича. Айсары у могилы не ломалась, не хныкала, что мне пришлось по душе. Наконец-то я заметил, какое у нее доброе лицо.

И мой брат Якуб, он важничает перед родичами султана Тезека с их нецивилизованной, по его мнению, обстановкой. В юрте же Якуба шелковые одеяла, на кереге висят шашка и револьвер. У порога выставлены блестящие кавалерийские сапоги и модные туфли, и прочие принадлежности путешествующего щеголя. Зачем он здесь? Ах да, я ведь сам просил приехать и забрать в дом отца мою жену... теперь, надо, думать, вдову. Якуб принимает у себя секретаря губернатора Дюгамеля, тоже немца. Я встречался с ним, добрый малый. Когда-то он брезговал пить кумыс, сейчас вовсю дует его из чаши карельской березы. К тому же закуска, составленная из фисташек, печенья чаг-чаг. Не отказали они себе и в мадере и красном вине. Они только что вернулись, постреляв по целям из луков и винтовок, и теперь живо обсуждают свою забаву. Ну же, вспомните обо мне! Нет, штабной немец начинает расспрашивать о горном проходе, который ему предстоит завтра нанести на карту...

Прадед мой, хан Аблай известен в русских летописях XVIII века как царевич Сибирский, а в китайских, как Туркестанский князь. В самих же преданиях киргиз-казаков образ Аблая гораздо значительней и окружен поэтическим ореолом, ибо век его ханства является веком киргиз-казакского идеализированного рыцарства. Его походы, речи, подвиги служили и служат сюжетами поэм и музыкальных пьес и в то же время непонятно как, каким образом этот хан, действуя деспотически против свободных льгот кочевого демоса, освященных временем, умел облечь свои действия в такую форму, что потомки считают его святым, воплощением духов, а имя его боевым кличем.

Смутное время первых десятилетий XVIII века было ужасным в жизни киргиз-казаков и оно же дало Аблаю возможность выказать свою храбрость, сметливость и ум самым блестящим образом. Джунгары, волжские калмыки, яицкие казаки, башкиры и среднеазиатцы с разных сторон то со скорой хваткой степных волков, то с персидской медлительностью теснили их улусы, отгоняли скот, уводили в плен целыми семействами. Один родоначальник, кинувшийся от отчаянья под Оренбург, сравнивал печальное положение своих братьев с судьбой сайгака, гонимого целой сворой гончих. 1723 год остался особенно памятен киргиз-казакам своим роковым характером. В этот злополучный год, после зимы с бешеными ветрами и

убийственной гололедицей, вторгся в Киргиз-Казакстан джунгарский хонтайши Галдан-Церен с несметным войском и пушками, отлитыми на металлургических заводах русского Алтая.

Земледельческие и промышленные государства так стеснили за два минувших века кочевую степь, что счастливые переходы по ней времени Марко Поло чуть ли не из Венеции в Пекин через Ходжи-Тархан, то бишь – Астрахань, канули в невозвратное прошлое. Последними крупными перекочевками были исход кыргызов из Сибири в Алатау и зайсанских монгол на запад за Волгу, впрочем последние за предоставленные им земли тут же под именем калмыков, причисленные к конным полкам России, потеряли вольность. В центре Азии, как в казане, остались только два кочевых народа, составляющих несколько миллионов свободных номандов, а кочевые степи все сужались. И значит, кому-то из них суждено было исчезнуть, что и случилось в конце этого страшного века с джунгарами. В это время и обращает на себя внимание молодой султан Аблай, Участвуя во всех битвах и переходах сначала как рядовой воин, затем как батыр, он показывает подвиги необычайной храбрости и хитрости. Его полезные советы и стратегические соображения устанавливают за ним имя Мудрого. Власть Аблая в Средней Орде была законна, в Младшей Орде скоро была упрочена надежно, и Большая Орда (нынче в наших бумагах – уйсунские волости) признала также его властелином. Джунгарское ханство, войско которого в течение десятилетий Аблай упорно и успешно вытеснял с земель своих, уже в своей Джунгарии, попав в беспощадный капкан, исчезло.

Ушедшие на запад джунгары-калмыки хотели было вернуться в опустевшие родные края, но сгинули на когда-то свободном для них пути: в то время женщины-калмычки широко вошли в моду у воинов Аблая за покладистость и ширококостность. У самого хана из дюжины жен половину и причем любимую составляли калмычки. Яицкие казаки и башкиры, обессиленные пугачевским бунтом и вновь поставленные под казарменную руку Санкт-Петербурга, не делали более самовольных вторжений. Во враждебности к киргиз-казакам оставались только буруты, отчасти среднеазиатские эмиры, стремившиеся навечно закрепить отторженные от киргиз-казакских султанов города Туркестан, Сузак и Сайрам и прочие по Сырдарье.

В 1770 году Аблай напал на бурутов около реки Туро и преследовал этих горцев – каракиргизов – до Чуйской долины. И там состоялась настолько

кровавая битва, что река, у которой она произошла, с тех пор и именуется Красной, а сама битва – Джалаиловским побоищем.

И хотя все буруты в одном союзе бились против Аблая, они потерпели такое поражение, что от поколения толкан рода сулу остались только 40 человек. И снова Аблай покоренных насильно делает киргиз-казаками, в Среднем жузе до сих пор живут целые рода бывших бурутов Жана-кыргыз и Кыргыз. Такова была его политика без сомнения, имперского характера, но Аблай прерасно понимал, что времена Чингисхана и Хромого Тимура давно канули в лету, и после войны с Ташкентом и Ходжентом, в которой он проник до самого Джизака и вернул своему ханству семь городов по Сырдарье, а Ташкент заставил платить ежегодную дань, он затеял долгую и хитрую дипломатию с двумя настоящими Империями – Россией и Китаем.

В течение всей своей власти балансируя между ними, все время выдавая согласие прийти в объятия то одной Империи, то другой, он смог остаться до самой смерти вполне самостоятельным монархом. При этом он никогда не упускал случая вмешаться и во внутренние дела этих могучих соседей. Так вслед за китайской армией, устроившей настоящее истребление джунгар в своей Новой провинции – Синьцзян, влез туда и многие рода киргиз-казаков расселил на опустевших землях, особенно не опасаясь об отношении к сему произволу самого Пекина.

А в русской истории Аблай известен еще и тем, что открыто поддерживал опаснейшего самозванца Пугачева. Мы знаем о двух письмах лже-Петра Третьего хану киргиз-казакскому Аблаю, где он за помощь ему обещал, когда он здесь всю да и Сибирскую губерню завоюет, то отдаст хану всех сибирских дворян в подданство. Аблай же писал Пугачеву, что ходил, мол, с сорокатысячным войском к Звериногловской крепости с таким намерением, чтоб на нее напасть и три крепости уже выжег и людей в полон набрал.

Под конец жизни он построил под свою ставку на реке Талас городок, но, оставив в нем своего сына с военным гарнизоном, а другим сыновьям, которых было семьдесят, выдел улусы во всех трех жузах, он по примеру своих дедичей удалился в Туркестан на покой. Ни один киргиз-казакский хан не имел такой неограниченной власти ни до него, ни после. Он первый предоставил своему произволу смертную казнь, что прежде производилось не иначе, как по решению народного сейма. Дед его, именовавшийся также Аблаем, был владельцем города Туркестан и происходил из младшей линии дома Чингисхана. Он также славен был воинскими доблестями, но остался в летописях с прозвищем не более как Кан-Ичер – Кровопивец. Сын его Уали

Красивый и этой далеко не блестящей славы отца не в силах был поддержать, и один из его соседних владельцев, взяв Туркестан, зарезал его и только благодаря одному из дворцовых рабов не оборвалась родословная этих туркестанских султанов.

Безымяный раб этот, высокой обязанностью которого было вносить в указанные часы в покои султана в медном кувшине теплую воду для омовения, был рабом в самом достойном смысле этого слова. Чужие воины бережливо проломили городские ворота, в торговых кварталах грабили умеренно, во дворце убивали скоро, а он шел себе спокойно размеренным шагом и нес воду. Впрочем, захватчики видели, что это раб, делающий свое дело, и не обращали на него внимания, как если бы шел осел или другое какое-нибудь полезное животное. Когда же он вышел из дворца, то снова никто не остановил его, полагая, что нет ничего удивительного в том, что в опочивальню султана вошел раб с кувшином, вышел опять же раб с кувшином. Так на спине раба под его мешковатым халатом выехал из своего потерянного города в пустыню Мойынкум юный султан Абилмансур, чтобы стать когда-то белобородым ханом Аблаем.

Вот такова была эта личность. Каков герой! Если и писать роман, то о нем. А вот и начало героической драмы: раб спасает своего господина...

«...и когда губы забыли свежесть влаги и ноги застыли от сгустившейся в жилах крови, и в кувшине не осталось воды для спасения, и разум просветлел от близости смерти в пустынях, лишенный трона царевич воскликнул, простирая к небу тонкие руки: «Гибель моя – то милость Господа. Он дает ее кому хочет!»

И тогда встал над коленопреклонившей августейшей особой раб его и воскликнул: «Ты, венценосный отрок, произнес слова Пророка, я ждал их, чтобы по воле Всевышнего раскрыться наконец перед тобой. Я не раб, а имя мое – Абу-л-Фатах, прежде торговец, но не прибыли ради, а ради святого дела платить как можно больший зекат и тем обрести большую заслугу перед Аллахом. Во время своих купеческих странствий я щедро раздавал милостыню и насыщал хлебом и питьем неимущих. В кратковременные часы отдыха в своем доме я каждый вечер читал Коран, пять раз совершал омовение и при каждом из тридцати двух коленопреклонений я в молитве читал суру «Йасин» и однажды почувствовал святость и ночью во сне имел откровение перед Пророком, который сказал мне: «Теперь настало время испытаний. Отправляйся в страну тюрков и, преодолевая в себе гордыню и влечения к приятностям, стань рабом тому, чье имя будет произнесено». Я в

ту же счастливую ночь отправился в тот край, указанный мне, и провел шесть лет в воздержании и умерщвлении тела. И однажды вновь увидел Пророка во сне. «Восстань, – сказал мне Посланник Аллаха. – Он родился, иди и ищи. Имя его Аблай». Радость охватила меня, и с тех пор я со священным трепетом служу и следую за тобой. Теперь же мне осталось выполнить свой последний долг. Я сейчас умру, забросай же тело мое камнями и песком и жди».

И ходжа-раб лег на песок и тихо почил. Аблай, как и велено было ему, забросал тело отошедшего камнями и песком, и вдруг из его преданного земле праха выросло дерево, с ветвями, провисавшими от спелых и сочных плодов. Отведал их Аблай, и разум его вернулся к заботам земным, и кровь вернулась из одеревеневших ног в сердце, и необыкновенная свежесть наполнила его. И встал он тогда и совершил...».

«...совершил...» , – записал писарь последнее слово в главе первой жизнеописания властелина ханства Киргиз-казакского, государя белого и великого Аблая Мудрого и долго еще прислушивался к замолкшему хану, не отводя благоговейно от уст его огромное ухо, а перо от терпеливой бумаги, мысленно повторив свое обычное: «Ври дальше, старый дурак!»

Однако Аблай еще долго неподвижно молчал, затем встал со своей обитой китайской тканью величественной софы с турецкими подушечками и, по-старчески кряхтя, прошаркал к писарю, взял его вздрагивающее и услужливое ухо железными пальцами и плюнул в слуховую дыру, а мочку и козелок, плотно смяв, вогнал вслед.

Не бывало никогда ходжи Абу-л-Фатаха, посланника Пророка. Существовал когда-то просто раб мужского пола, лет – средних. Его и вспомнил сейчас впервые за полвека хан, вернувший себе наследный родовой Туркестан, из которого пятьдесят лет назад бежал тринадцатилетним через пески Мойынкумы к родичу своему Абулмамет-хану с единственным кувшином воды, навешанным на шею тяглового раба. Он явно неудачно выбрал раба в бегство, с ним было хлопотно, и хотя невольник был достаточно силен и большую часть пути пронес его на спине, однако много пил, и на последнем ночлеге обнаружилось, что воды в кувшине осталось всего ничего. Тогда Аблай велел рабу лечь в песок и зарезать себя, что раб, кривя ртом и подвывая, не сделал. Пришлось самому исполнить сие. Можно было бы просто прогнать его в пески, но зачем же зря заставлять мучиться животину? Изнуренный жаждой, Аблай, однако, после этого не поспешил допить оставшуюся воду, а поволок глиняный сосуд дальше за собой и через

час увидел, что почти вышел к реке, неглубокой, но и не засоленной. Аблай сел у мелкой волны, хотел было зачерпнуть из нее ладонью, но вдруг передумал и допил ту тухлую водицу, которая еще плескалась мутно на дне кувшина. Ровно девять глотков.

Отца, Уали-султана, и ту женщину, родившую его, мальчик видел. Об этом ему иногда говорила ужасная старуха с титулом редким – Его Бабушка.

Старая карга пребольно щипалась, ловко, не увернешься. Из всех учителей наследника она отдавала предпочтение муалиму математику с его дурацкой пирамидой. Сам муалим никаких толкований этой штуке не давал, а вот Его Бабушка не оставляла пирамиду в покое. Как только она ни вертела ее! Тыкала пальцем в вершину и уверяла, что это пик горы Казыкурт, на которой после потопа сохранил себя Ной с ковчегом, или указывала на квадратное копытце этой геометрической фигуры и твердила малышу: вот видишь, с этой плоскости начинается жизнь и суть ее начала – удивление явившегося в этот мир всем его четырем углам. Это место для рабов, они не знают никакого иного чувства, кроме удивления, и высшая точка волнения для них опять же удивление, приносящее им и слезы и смех. Тут же она незаметным кивком вызывала огнеглотателя, и когда мальчик в удивлении замирал, увидев вырвавшееся пламя из рта безбородого болвана, тут же следовал щипок до синяка. Затем снова показывалось маленькому Аблаю нечто поразительное, но мальчик знал уже, что последует щипок, и чтобы успеть радостно удивиться, отскакивал от старухи, но Его Бабушка ловко и длинно выкидывала вперед босую сухую ногу и жестоко щипала его пальцами стопы. Так она отучивала его удивляться, и наследник сделал первый шаг, поднявшись над плоскостью рабов. Затем пошли другие возвышающиеся к острию пирамиды человеческие чувства, через которые он должен был пере шагнуть, дабы иметь дух возвышеннейший, дабы свершить то великое, что вписано в книгу судеб Всевышним и подчеркнуто Его Бабушкой.

Вот до уроков родственной любви она его не успела довести, умерла во время месяца поста Рамазана, а через неделю после ее смерти Туркестан и был взят эмиром-соседом. Так что пришлось Аблаю через этот срез перебираться самому. Став сиротой, он не нашел тепла знатных родных за горячими песками Мойынкумов, и, отчаянно голодая, пошел в услужение к какому-то глупому до животного состояния баю. Но гадкая баба этого богатея и не думала его кормить, не позволяла из своей посуды даже выпить сырой воды, а из юрты гнала, не разрешая пригреться и у порога. Тогда он научился есть корни трав, пить туман и как кони, к коим был приставлен, спать стоя. Что ж после этого удивительного в том, что еще юным безызвестным воином на

краденном у этого дурака бая коне он поражал всех в походах безразличием к еде и открытыми глазами во все часы суток. Он выжил, и дальше бабкину пирамиду он усвоил легко и равнодушно. Что чувства потери, обездоленности, мести, власти, да и страстной любви и отцовства тоже, если где-то уже у вершины прожитой им жизни даже лесть не подогнула его под себя! И над ней он встал, как и над другими невольно пройденными им ступенями: и простолюдина, и батыра, и бека, и избранного единогласно всем народом хана.

Как-то любимец его, бард-жырау назвал его великодушнейшим государем среди всех великодушных, уговаривая не губить аулы строптивого алтайского владельца в страшном гневе своем, и он разорил людей алтайца без гнева. А ведь этот вольный стихоплет иногда умел уболтать его.
Как хохотал однажды хан после какого-то неудачного столкновения с китайцами, у которых после гибели джунгар разгорелся аппетит и на киргиз-казаков! Тогда на позорном привале от скорого отступления поэт долго и нагло наигрывал на одной струне домбры китайскую мелодию, и, когда же Аблай поднял над ним плетку, запел:

Не ищи ума при бегстве.
Будь хладнокровен и спокоен.
Бегать хорошо лишь в детстве.
У китайцев клячи, а не кони.
Знай же, воин,
Хан наш не бежал, и не пришлось
Узнать ему подобное словечко.
Затаптывая китайцев, как овечек,
В азарте он передвигался просто вкось!
О, хан мой, Абылай, широкий станом,
Атакою своей китайцы неучтиво
Лишь оттянули лука твоего тетиву,
Что гибок, как хребет кулана.

Престарелый хан хотел было просмотреть последнюю запись, сделанную писарем, чтобы восстановить в памяти, о чем же он вот-вот наконец-то вспомнил... Или о ком? Но писаря уже, как спеленатого младенца, вынесли вон с его свернутым ухом и бумагами.

Он хотел вспомнить! – это совершенно известно.

Но тут же хана всего, от выбритого черепа до мозолистых пяток, протянуло болезненной тревогой, занывшей как неимоверно многолетняя боль в мелкой

косточке, о которой он никогда не подозревал, хотя, возможно, которой и никогда не существовало в теле.

Все чувства испытал и презрел седобородый хан в своей день ото дня только все возвышавшейся, как пирамида Его Бабушки, жизни, кроме этой неведомой ему никогда прежде болезненной тревоги, только она, кажется, принялась глумиться над его душой. А мужественная душа хана была, естественно, очень неопытна в таких делах и смутилась до отчаяния. Да и разум не мог найти возникшему неприятному чувству объяснения. Ведь ничего сейчас не могло обеспокоить сильного хана. Все он устроил в своем государстве, даже своих жен, как возможно было подальше от себя. И сибирские наместники Екатерины II отказали мятежным султанам в жалобах на него как на похитителя власти, и Император Поднебесной вернул со знаками его власти сына с посольством, и авганский шах, слава Аллаху!, отказавшись от своей миссии исламского освободителя, полез за алмазами в Индию и там застрял. Что же еще? Ничего, вздор. И тревога его эта пустяшна, как сквозняк. Стоит только плотнее прижать двери. Он прошелся проверить. Нет, не дуло. Тогда он решил, что все это ему мерещится от мышиного шуршания его парчового халата. Всю свою жизнь он отдавал предпочтение сукну из верблюжьей шерсти, и вот надо же, задумал облачиться под конец соответственно своему венценосному сану! Аблай скинул с себя парчу и вернулся на мягкую убаюкивающую софу, а вот покой не поспешил за ним. Тогда он вскрикнул и велел набросить на шелковое ложе пропитанную конским потом попону. Опять прилег, и опять тревога не исчезла. Больше того, боль, ему казалось, грудной косточки, усилилась до того, что даже терпкая вонь любимого коня не отрезвила его от этой никчемности душевных треволнений.

Хан Аблай никогда не занимался всякими там воспоминаниями своей жизни, но держал свою память, как все же нужный на всякий случай боевой заряд, в полной сохранности. И сейчас под вдруг навалившейся на него безжалостной немощью он решил кое-что вспомнить, но память в нем, как сухой порох, вспыхнула разом и осветила слепящей вспышкой всю его пирамиду жизни изнутри. В ней, как в китайском фонарике, задвигались какие-то силуэты людей, животных, строений, они множились, и сцена сменяла сцену с калейдоскопической быстротой. Ничего нельзя было разобрать и понять, но одно совершенно четко увидел хан: его пирамида жизни, которую он, казалось бы, завершил полностью до конца и этим возвысился над всеми смертными, оказалась усеченной.

Но все что ни происходит, решил хан, к лучшему. Мысль не новая, но верная. И он сказал: «И это мое!», тем самым покоряя в себе последнее еще не подвластное ему человеческое чувство – чувство болезненной тревоги.

Ноющая где-то в груди неведомая косточка и должна была занять собой вершину его легендарной пирамиды, но этого не произошло. И понятно – прежде чем стать хозяином того или иного чувства в себе, по меньшей мере надо знать, отчего оно возникло в тебе. А хан в этом своем, казалось бы, последнем ходе оказался бессилен.

Он так и не мог понять, отчего в нем эта мучительнейшая тревога. Ведь, как уже думалось, все у него ладно!

Хан застонал.

Вот так в первый и последний раз он стонал в пору первой зрелости, когда он еще в звании батыра зарубил в бою наследника джунгарского престола и был после небывалого давления выдан благоразумными султанами и ханами Галден-Церену. Нет, не предательство опять же кровных родичей вызвало в нем те стоны, а глаза матери убитого им принца. Его каждый день с восходом солнца выводили из зиндана и ставили перед черноволосой женщиной. И она так же с самого восхода солнца до заката, не отрывая глаз, молча смотрела на убийцу ее единственного сына. И все. Ни угроз, ни пыток. Во взгляде этой бабы не было ни злобы, ни презрения, ни проклятия. В первые дни это вызвало в юном батыре усмешку, сменившуюся затем раздражением. Он перестал улыбаться и принялся кричать и оскорблять ее. Затем он затих снова, стал думать. Ничего не придумал, только теперь делал все, чтобы охране не удавалось вывести его из подземелья, рвал жилы зубами на своих руках, бился головой о каменный пол, но его все равно выволакивали к той, под чьим взглядом больной колдуньи против воли его и разума все время хотелось стать меньше ростом. И как бы он ни противился этому, с каждым часом он становился все меньше и меньше и уже почти превратился в карлика, а сердце его оставалось крупным как прежде. Ребра его стали сдавливать сердце, но оно по-прежнему билось сочно, резко, а суживающиеся безжалостно обручи ребер давили, давили, сердце пыталось протиснуться на волю через гортань, но и глотка Аблая сузилась, как жесткая соломинка... И такая боль, такой ужас охватил тогда Аблая, что он застонал. Тогда Аблай стал резать кожу на своей груди и вставил меж ребер своих серебряные китайские квадратные монеты. Дышать стало легче, и он уже мог посмеиваться над калмычкой, пытавшейся своим колдовским взглядом свети его с ума: «Эй, тётка, где твой сынок Чарча? Давно его не видно. Не заблудился случаем на моих землях?». К этому времени задвигались вокруг

восходившей фигуры султана и полководца Аблая дипломаты тех двух Империй, между которыми потом ему суждено будет балансировать как на канате. И Галден-Церена с предельной неохотой отступился от него, отпустив скрытно на волю. Аблай с головой укутался в потрепанную попону и в тот день и на следующий и еще семь дней не вставал. Он стал болен.

Нет, Аблай не лежал беспомощно, питаясь запахами попоны, хранившей в себе бег жеребца, пыльные смерчи и истошные боевые кличи, он все-таки в ночь после девятого дня встал. В ту же ночь вновь бежал из Туркестана, не выбирая пути, через пески Мойынкумов к той самой реке Тала и лег изнуренно Ставкой на ее берегу.

Естественно, такой исход смутил всех, никто не знал причин. Ждали скорой войны, набегов, ждали, ждали, нет, не случилось. Принялись ждать конца света, но это оказалось очень долго и главное совсем страшно. Как же так?! Было все хорошо: смирный скот стоял над пастбищами, народ мирно пас скот, над народом стоял давший ему мир пастырь. Лучше бы этот патриарх свято скончался, чем бежал от них, думали люди. Выбрали бы другого хана. Хотя... Если до Аблая было три хана, то уж после него будет девять и еще парочке самозванцев место останется. И такая неразбериха опять пойдет.., которую, говорят, в одной древней и давно исчезнувшей богопротивной стране называли демократией.

Хотя бы поговорил он с ними, с верными подданными, или приказ какой-нибудь дал, что ли, а потом уж валялся бы там себе в удовольствие... Но проходили недели за неделями и никто не был ни призван, ни допущен в новую Ханскую Ставку. Наконец народ, пришедший в окончательное смятение от страха и разнодумий, так отчаялся, что, вытолкав вперед с десяток беков, биев и султанов, пробился без высочайшего позволения дерзко в его отшельническую обитель с единственной целью: просить его воротиться паки взять свои государства на любых условиях: если есть изменники и ослушники, то на них опалы класть, а иных и казнить, имущества их брать в казну и чтобы никто ему в том не мешал.

Притащились с дрожащими коленками и увидели хана своего одряхлевшим и измученным духом донельзя и поняли, что приди они к нему часом позже, случилась бы такая беда... Такая беда! И что уж совсем страшно, никто не в силах был догадаться, какая беда. Правда, кто-то сказал: да не будет никакой беды. Тут его чуть было не разорвали, но он успел отговориться: я, мол, имел в виду, что такая беда, какой и быть даже не может! Ладно, вырвали ему ус и отпустили, а вельмож своих затолкали дальше в трехшатерную юрту хана.

Аблай немо оглядел ввалившихся к нему степных сановников, не узнавая никого и не понимая зачем они здесь. Особенно непонятен был ему ритуал загибания пальцев, словно его куда-то поднимали: ты, хан, повел народ за собой, ты дал ему радость, вознося тебя, он гордится тобой, ты дозволил народу кормиться под своею дланью, теперь, слава Аллаху, в ось государства вставлено тобой последнее четвертое колесо, ты дал нам страх лишиться тебя. Ты как всегда оказался мудрее всех, ты прав один, но дозволь хотя бы издали иногда зрить тебя, а то от того, что границы замирены, мы, не занятые ратными делами и скорбными заботами, от невольного дикого вольнодумства, что заводится как червь в стоячей воде, еще натворим, накуролесим, набедокурим Бог знает что! Ответа не последовало.

Султаны, беки, бии, не смея оглядеться, все же переглядывались, от молчания хана затрепетали еще сильнее и чернее. Они поняли, что попали в самое скверное положение, которое могло с ними случиться, уклонение от них хана мгновенно превратилось в невозможность теперь им уклониться от него. Ну чего они притащились, кто их звал, кто требовал их?! Мало ли народ толкал, всегда можно при желании и уме самим растолкать эту толпу. Сидели бы в своих юртах да чаи гоняли. А теперь? Хан не слышит их, но видит. Не понимает, но слышит. Не видит, но все понимает!

Неведомо как они догадались, а впрочем, им не оставалось другого выхода, и они, чтобы хоть как-то перескочить через разверзнувшуюся под ними пропасть, воспользовались древней степной хитростью. Вот как бы ехали по делам своим, но мимо проехать не могли, убоявшись этим оскорбить встречное кочевье. Расчет был верен, будь Аблай хоть трижды хан, трижды велик, трижды грозен, но древние традиции никто еще не мог полностью смести. Гостей не убивают. Так что им ничего от него не надо, они пришли без всякой прямой или задней мысли и в минуту эту, перед тем как двинуться, поблагодарив за гостеприимство, дальше лишь ведут обязательные в степи беседы о том, о сем.

– Да.., – протянул срывающимся голосом один из биев, как бы продолжая естественную паузу, а не ту жуткую немоту. – Не стало достойных внимания новостей. Что сегодняшние наши заботы, по сравнению с теми временами, когда гибнул в крови наш народ, и по велению божьему и по зову своей благородной печени, оставив тепло и прочность родительских стен, выехал из Туркестана благороднейший султан Аблай, чтобы стать над нами ханом и этим спасти нас. А чтобы враги от страха не поспешили довершить свои злые дела и скрыться, выехал он тайно и лишь в сопровождении своего дядюшки Ураза. И

по тем же причинам он решил некоторое время пожить под видом табунщика у бая караульского рода Даулетбая и приглядеться к тому, что и как сложилось во всех несчастных трех жузах. И вот баба Даулетбая вскоре заметила, что молодой табунщик никогда не просит пищи, пока она сама не подаст, и что даже тогда берет не охотно, а из не ополощенных при нем же чашек не пьет совершенно. Никогда, даже если очень усталый, не садится, как прочие работники, на голую землю, а с солнцем заговаривает как с товарищем, а с месяцем, как со слугою. И поспешила она это сказать своему мужу. Взглянул Даулетбай на пришлого юношу и сам не зная почему, тут же подарил ему лучшего коня из табуна знаменитого Чалкуйрука, чей хвост как пламя. На нем в час нужный и отбыл молодой султан к дяде своему хану Абулмамету, который ждал его нетерпеливо, как спасение, и на нем же составил первое звание свое батыра и уважение всех киргиз-казаков». «Истинно так!» – вздохнули с облегчением остальные, закивали бородками, уже удобнее усаживаясь в седла внимания в караване разговора.

Аблай же так и не понял, кто же это такие и зачем они так громко говорят, весь окостеневший от так и не стихнувшей в нем тревоги.

Хотя скала молчания хана и продолжила нависать над вельможами, но уже появилась надежда у них потихонечку пятясь назад выбраться из-под нее. Второй оратор, принявшийся дальше убаюкивать льва, начал проникновенней и тоньше.

Глубокомысленно вздохнув, он изрек:

– Да, каково светило, таковы и звезды вокруг него, – и как бы желая указать на звезды, пришедшие к светилу и при этом как бы сам не претендуя на место в столь великолепной плеяде, он скромно отступил за их спины. – Скажу вам я, высокочтимые, о Бухари, истинном барде и преданнейшем слуге и соратнике нашего великого властелина. Раз направил Аблай-хан воинов своих пресечь проступки заносчивого Эрденэ-батыра и в гневе на него так был недоступен, что никто не мог решиться высказать словечко в пользу обреченного виновника. Тогда по просьбе народа Бухари-жырау явился перед очами Аблая Мудрого и затрубил так: «О, Аблай, Аблай! Подобно ари и гури – сферам абсолютного пространства, возносится за седьмое небо и соперничает с ним твое великодушие. Не помещаются в пяти вратах добродетели толпы рабов твоих – отпущенников, не пустеют все дороги великодушия от прощенных пленников твоих. Перейди, если это так важно, хребет Алатау, но там потуши гнев свой. Если потушишь, то не

придет ли с восемьдесятью тюками даров Эрденэ называемый, твой пестрохалатный раб сам».

– Это твоя единственная просьба, Бухари-певец? – спросил его тогда раздосадованный помехой хан и услышал почтенное подтверждение и еще более утомительное продолжение:

– Перешел Аблай-хан Алатау, потушил в снегах гор гнев свой и тут же радостный Эрденэ поспешил лечь перед ним. «Я прощаю тебя, – произнес Аблай-хан. – Но разорю во всем моем страшном гневе людей твоих со всем скотом и семьями, ибо о них никто меня не просил!». Услышал это, Бухари-жырау заплакал, не смея больше раскрыть уста. Но Аблай-хан посмотрел вокруг на поникших головами людей и воскликнул одно: «Прощаю и вас, но гнев мой носите на затылках своих, и не идите более за такими, как этот лежавший в пыли прохвост!» Так неимоверно милостив был и есть наш хан».

– А вот что ответил, высокочтимые, – подхватил сеть словоблудия третий посланец народа, но уверенней и даже как-то задиристей, считая, видимо, себя уже почти праздным собеседником хана. – Однажды Бухари-жырау в песне своей, когда светлейший Аблай забеспокоился о судьбе своих двух батыров, ушедших в походе вперед для разведывания джунгар: «Джанатай-батыр пройдет через Талкын, батыр Богембай, как гордый акын, путь только свой изберет, за Кульджаном улусы пройдет и тот край для тебя оторвет и в придачу тебе, Аблай, привезет чужестранную птицу – белолицую девицу». «Я рад за Богембая так, что темя мое от радости задевает небо, – воскликнул тогда Аблай. – Но пусть оставит девицу себе, если батыр мой Джанатай один остался, у крепости Талкын проходы тесны и опасны: скачем же на Талкын!». Что говорить, никогда и ни за что не бросал соратников своих наш хан. Мы за ним как за каменной стеной!

За этим достойным вполне откровением следовало султанам, бекам и биям еще кое о чем легко посудачить и какой-нибудь фразой перейти к благодарностям за прием да откланяться, но вот четвертый гость, вспотев обильно от тяжелого напряжения своей мозговой массы, с первых же слов сбился, не нашелся и вновь стал упоминать имя Аблая прямо:

–Проклятый Галдан-Церен, узнав о смерти своего любимого сына, приказал схватить виновника, кем бы он ни был и где бы он не находился. Сто девять походов совершили калмыки и только на сто десятом удалось им наскочить на батыра Аблая, спавшего в горах после удачной охоты. Так спящего они его и схватили. Схватили и привели к Галдан-Церену. И на вопрос: «Как смел ты убить сына моего?», Аблай отвечал: «Обвинение пало

на меня, а убит он был народом, через меня только исполнилась воля моего народа над сыном твоим Чарчем». Галдан был так доволен этим ответом, что несколько раз повторил лишь: «Мон, мон», и велел с почетом отпустить Аблая».

Ничего не понял Аблай в речи этой толпы, только слышал «бу-бу-бу-бу» и, не видя их четко сквозь застилавшие его глаза слезы, он мертвой хваткой балхашского тигра, уловив запах человечины ноздрями, цепко схватил ближайшего к нему посланника за бобровый воротник и закричал: «Болтать?! Вздернуть его, дурака потливого!» Отправленный в петлю простейшим жестом бек хотел было отговориться, в отчаянии заорать: «Не я, я не болтал! Я как раз-таки не сказал ни слова!», однако то, что и он вспотел ужасно, так спутало его сознание виной и с его стороны, что через несколько минут он висел на перекладине меж четырех горбов пары бактрианов, смотревших на него с природным презрением, что всегда дополняло высокое достоинство этих животных.

Изгнав незваных гостей, Аблай вдруг с облегчением вздохнул. Вздохнув, поднялся, прошелся, задержал дыхание, повертел с хрустом в затылке головой, задержал дыхание и еще несколько раз выдохнул зацветший воздух своего дыхала. Левой рукой он с силой потолкал свою грудь, а правую сжал в кулак, и ему показалось, что еще чуть-чуть и он схватит въевшуюся в него тревогу под уздцы и выдерет боль эту, наконец, из себя. Однако он снова не смог вспомнить, как и последнюю фразу, продиктованную им писарю, с чем же связана эта уверенность в скором избавлении. Что-то очень важное произошло вот-вот только.

Хан вызвал цирюльника, предполагая, что свежевыбритая голова сообразит скорее, но нет, она не отозвалась на заботу о ней. Зато все хорошо помнил брадобрей. Аблай тут же велел определить и привести к себе всех султанов, беков и биев, бывших утром у него. Они явились, но теперь не раскрывали рта, словно дали обет молчания на святой книге. Тогда хан начал прямо допрос, те принялись клятвенно отнекиваться, но постепенно выяснилось, что «да», кто-то все же говорил что-то, но, к сожалению, скоропостижно умер, а они, ну, совсем ничего не помнят.

– Я объявляю, что тот, кто говорил мне то, что я хочу услышать – жив и к вечерней молитве пусть придет и скажет, – мягко не согласился с ними Аблай.

Сановники вышли от него вновь опечаленные и бродили по Ставке как связанные овцы. Пока не наткнулись на Бухари-жырау. Стихач и балалайщик

лежал пьяный бузой в юрте у поваров и долго, сочувствуя, не мог понять, отчего так горько рыдает у его плеча степное барство, и время от времени тоже жалостливо всхлипывал вместе с ними. Постепенно, отпаивая любимца хана крепким наваристым бульоном, заправленным кислым творогом, они смогли поднять Бухари.

– Так, значит, я тот повешенный бедняга?

– Ага, ага, – закивали бары, затем смутились. – Не иди к нему, уважаемый Баке, вздернет. Что-то с ним не то.

Любили все-таки, надо признать, этого певца киргиз-казаки.

– Прежде чем вздернуть, меня надо поймать, а поймать меня можно только за язык, а язык мой, как вон та птица в небе, – отвечал им Бухари.

– Где, где? Не видим...

–То-то! – заключил Бухари, ополоснул свежей водой руки, заушья, лоб и губы и, гулко растревожил струны домбры – провозглашая себя минуту без слов, двинулся к хану и, переступая порог трехшатерного убежища, запел такие строки:

О-о, хан мой Аблай!
на коновязи ты держал одних коней мухортых
и скачками решал все споры и раздоры.
На то была и есть народа воля,
коль скоро скакунов ты услаждал зерном без сора.
Не в силах тысяча верблюдов перевезти твое добро,
Оружие в чехлах, монеты, перстни и тюки ковров.
На то была и есть народа воля,
коль при тебе тут каждый находил еду и кров.
В сабе с серебряной оправой ты держал кумыс,
не опрокидывал фарфоровые чаши горловиной вниз.
На то была и есть народа воля,
коль даже с перцем и изюмом
подают твой жирный рис.
Держал твою секиру над куполом высоким Ставки
Твой ангел счастья законности во имя и порядка.
На то была и есть народа воля,
коль трон твой украшают золотые
с письменами главки.
Князей джунгарских Эренчи, Галдан-Церена
пригнул к земле ты, перерубил на шеях вены.

На то была и есть народа воля,
коль к стенам крепостным округ
воздвиг свои ты стены.
Ты в праведности шах Хосров,
ты ат- Таи, своим судом
безгрешно ты казнил всегда и всюду как Али мечом.
На то была и есть народа воля...

–Так! – все-все вспомнив, воскликнул хан Аблай и сунул в рот Бухари-жырау алую жемчужину с перепелиное яйцо. – А теперь ступай. И скажи от меня, всем уйти, быть здесь только писарю. Тут же все покинули его Ставку в Мойынкумах, правда, писаря не оставили, сообщив хану, что писарь, обкурившись маком, засунул ухо свое гнилое в слуховую дыру, отчего и умер от загнивания мозгов. И наступил час, когда хан Аблай, спокойный и удовлетворенный, прежний, вошел в пески, где когда-то зарезал своего первого человека, и крикнул: «Эй, раб! Ты слышишь! Не я тебя убил, через меня исполнилась тогда неутомимая воля моего народа».

– Слышу, – отвечал дух, поднявшийся из земного праха. – Народа воля твоего. Но при чем здесь те девять глотков воды?

Хан ему не ответил, прислушался к себе, но в нем вопрос духа никак не отозвался. Им покорены все человеческие чувства и он, наконец, встал полностью над человеком.

– Я все-таки...», – начал было хан.

Но дух перебил его:

– Как же! Жди! Ишь, как разлетелся...

– Ты что думаешь ...

И снова дух не дослушал его и очень грубо ответил: «Нет».

Значит, и этим его пирамида не завершилась, но что собой тогда представляет последний камешек? А вдруг еще одно такое же мучительное для него новое чувство?!

– Ты не знаешь? – спросил Аблай духа.

Дух хмыкнул и ушел в песок.

– Тьфу, – сплюнул хан. – Умру и сам узнаю, – и, развернувшись, пошел прочь, крепко ступая по песку и глине человечьей.

В представлениях нынешнего народа хан Аблай предстает как могучий богатырь. На самом деле, как шепотом мне, еще ребенку, рассказала моя бабка ханша Айганым – его невестка, он имел небольшой рост, был щуплого

телосложения и уже в молодые годы потерял все передние зубы. Что не мудрено – ежели с пятнадцати лет бьешь и бьешь холодным оружием, так и тебе непременно достанется от врагов.

Очнувшись от таких не самых приятных видений, я испытал настоятельное желание почувствовать свое тело еще живым и, тут же вскочив на ноги и отчего-то круто развернувшись, бодро замаршировал назад по подземной дороге. Выучка кадетского корпуса очень кстати пригодилась.

Я шагал по подземному тонеллю, вновь замечая все мелочи по пути. Свет теперь струился откуда-то снизу, словно там ниже в глубине земного шара было еще одно светило. «Небось джины там живут, – думал я. – Небось не заметят меня и я как ни будь прокрадусь мимо». Это русское «авось» защитило меня от никчемного осмысления моего безумного положения в совершенно невозможном для нормального человека мире. К тому же я каждой клеточкой тела ощущал, что надо мной теперь не просто пласт земли, а горы. Непременно – Памир. Были бы горы помельче, мне бы и шагалось полегче. Силы уходили. Здесь я в одной из ниш заметил крохотный бассейн с каменным дном. В нем мирно мерцала голубая вода. Я тут же наклонился к ней и жадно напился. Была она на вкус солоновато-сладкой. Бодрость вновь наполнила все мои сосуды и сердце. Кажется, я теперь верю, что живая вода существует на этом свете...

Восемнадцатого апреля 1856 года по Копальскому тракту мы направлялись на Аягуз. Дорога шла через казачьи пикеты и лежала в солонцеватой степи. Из всех станиц киргиз-казакской степи Старая Аягузка, кажется, самая невзрачная на вид. Маленькая крепость, формштадт, где несколько деревянных домов, мечеть в татарской слободке и землянки. Признайтесь, панорама унылая. Но по самой реке Аягуз жизнь словно вырвалась из-под сухой, пыльной корки земли, разлилась светлым ковром зелени, заговорила, запела в теплом небе жаворонками. Листья на карагаче, дикой акации и тальнике были уже распущены, да и самое солнце грело более южным жаром. Берега реки, густо окаймленные кустами жимолости, таволги и черемухи, между которыми высоко возвышались тополя, производили чрезвычайно приятное впечатление после трехдневной езды по солонцам, где не было ничего, кроме белых кочек чия. Недаром в преданиях киргиз-казаков так поэтично воспевается благословенное течение Аягуза. При пустынности и

безводности окружающего пространства, Аягуз действительно может казаться раем. Левый, возвышенный берег, покрытый лугами и лощинами с сочной травой, был, нет сомнения, местом постоянной кочевки в оны дни, когда не было здесь военных пикетов. Теперь киргиз-казакских аулов здесь нет. Вообще, чувство самосохранения – есть чувство похвальное, но не думаю, что окончательной откочевкой можно решить национальные проблемы. Если нечто чужое теснит вас и невозможно никак избавиться, то следует не бежать, а, навалившись, прижаться и сделать чужое своим.

Я очень люблю и восхищаюсь Аягузом. Может быть, поэтическая легенда о любви прекрасной Баян к золотоволосому Козы-Корпешу, возникшая из драмы, развернувшейся именно на этой реке, есть немаловажная тому причина. Я знал, что в десяти верстах от нашего последнего привала стоит знаменитый мавзолей Козы-Корпеш и Баян-Слу, сложенный из грубого степного камня и посему, несмотря на то, что выехали глубокой ночью, хотелось взглянуть на этот славный памятник. Конечно же, ямщику было приказано ехать так, чтобы утром при восходе солнца, когда жаворонок поет свою первую песню, когда с одной стороны мрак и ночные тучи уходят на запад, а с другой восстает утреннее солнце и свет с надеждой освещает верхи деревьев и воду каким-то чудным лучом, быть у мавзолея. Хотелось в этот лирический час у самого надгробья: приятно в дороге пить чай и, особенно, на развалинах древних могил. На этих камнях яснее всего осознаешь, что эта земля – твой родной дом, а сами камни есть очаг, в котором многие века пылали и сгорали жизни всех твоих предков, предстающих в такие минуты особенно великими и достойными всяческого подражания. Лишим мы себя древних развалин и окажемся в роли стада животных: вольны бродить туда и сюда, с одинаковой охотой прожевывая траву да и шерсть с боков пасущегося рядом, и не осознавая, что давно отмечены для заклания кем-нибудь более памятливым.

Так думалось перед предстоящей встречей с легендарным мавзолеем. Но человек предполагает, а Бог располагает. Всю ночь крупные капли дождя стучали по зонту тарантаса. Истомленные лошади, скользя по грязи, перебирались шажком. Только усиленное хлопанье бича и фырканье усталых коней и отчаянные крики ямщика нарушали однообразный бой дождя.

Скверная была ночь и скверно было ехать. В тревожном сомнении, опасаясь как бы дождь не помешал нашему плану, я несколько раз обращался к ямщику с вопросом:

– Ну что, не разъяснело?

Ямщик, промокший до костей, брюзгливо отвечал:

– Нету.., – и потом в виде обращения к судьбе прибавлял. – Эка, погода! Брррр.., – и стряхивал набравшуюся на коленях воду.

Жаль мне было ямщика, если бы ехали скоро, он бы давно отдыхал на теплой печке. Так мы ехали час. Вдруг до меня донесся глухой голос ямщика:

– Ваше благородие, вот и могила!

Я высунул голову наружу. Солнце тускло выходило из-за угрюмых туч, все небо было покрыто сплошной массой грязно-матовых облаков, дождь шел как прежде. Замылившиеся лошади едва тащились по грязи солончака. Налево за рекой высилось нечто мрачно-монументальное – это виднелся через верхи тополей остроконечный шпиль мавзолея. Казался он багровым, возможно, от красного камня, тревожил душу и властно тянул к себе. Но в такую погоду переправляться на тот берег было невозможно и, следовательно, нечего было думать о философском чаепитии и комфортабельном осмотре киргиз-казакского антика. Ямщик, хлюпая мокрыми шароварами, встревожено и в то же время обречено и покорно просипел:

– Кажись, и река в разливе, ваше благородие. Не переедем... Он угадал мои мысли.

– Ну, поезжай вперед, – сказал я ему. – Посмотрим в обратный путь.., – и, завернувшись в шубу, я повернулся на правый бок, закрыл глаза, чтобы уснуть.

Времени задерживаться здесь основательно никак не было. Предстоявшая нам миссия замирения родов дикокаменных киргизов – тюркских родов, живших в у побережья озера Иссык-Куль, требовала скорейшего разрешения. Так что уже 19 мая мы, поднявшись на возвышенный перешеек, соединяющий горы Алатау с хребтом Куулук, вышли к высокому, тесному логу, по дну которого извивалась довольно быстрая речка Первая Мерке. С высоты течение реки было особенно живописно: по зеленому и отглаженному полотну синела тонкая ленточка, окаймленная с обеих сторон аллеями ив. Можно ли было думать, что подобный пейзаж почти английского сада предстанет авансценой диких трагедий?

На Первой Мерке мы должны были еще разгребать снег, чтобы при усиленном и всеобщем содействии отряда благополучно поднять на лямках артиллерию.

При впадении в Гарын Второй Мерке перед нами предстал не менее удивительный ландшафт. Крутые берега обставленные громадными утесами, пирамидальные ели растущие на граните, кажется, сами принуждали под собою струиться и пенится зеленоватые волны.

Подъем же на Третьей Мерке был, наоборот, легок и приятен своими желтыми розами, вереском и кизилгой, пепел которой туземцы кладут в нюхательный табак. Проход, образованный Третьей Мерке, и есть памятное дефиле, что вывела нас к Иссык-Кулю, предмету нашего риска. Отсюда и вышел слух, что пишпекский фарманчи, сиречь губернатор, с полутора тысячью воинами разбил манапа сарыбагашей Умбет-Али и взял его в плен. Некоторые болтливые бугинцы говорили, что этот слух распущен ложно, чтобы мы из опасения стычек с кокандцами не шли на это озеро, занятием которого нами свобода иссыкульцев может навсегда уничтожиться. Другие говорили, что четыре подданных Кокандского хана находятся теперь в ауле у Бурунбая, влиятельного манапа рода бугу. Понятно, что бугу теперь хотели отделиться от нас, чтобы в союзе с сартами окончательно разбить сарыбагашей. Вот она азиатская политика, черт ногу сломает. Но мы решили во что бы то ни стало все же идти на озеро.

Оставив отряд в предгорьях, я с несколькими казаками отправился в аул манапа Буранбая, что стоял на Джиргалане в верстах тридцати пяти от нашего лагеря. Я проехал через брод Туп и потом поднялся на возвышенную гряду Тасба. Наконец в полдень перед нами открылись аилы в виде белых точек, на берегу сиявшего чистейшим кобальтом озера Иссык-Куль, сливавшимся с сиянием неба и дальним рельефом снежных гор. Жаркое палящее солнце бросало на озеро и на долину круглообразные от облаков тени.

По уверению народа, на месте, где теперь Иссык-Куль, была прежде обширная равнина, заселенная богатыми городами. Хан народа, населявшего эти города, народа языческого, неверного, до глубокой старости не имел детей. Сокрушаясь о предстоящей участи своей фамилии, он в отчаянье обратился к Богу и просил дать ему сына, хоть в образе осла. Молитва его была услышана. Одна из жен его, гулявшая в это время в саду, встретила длиноухое существо, которое обнаружило к ней чрезвычайное внимание. Ханша, по неисповедимой воле судьбы, почувствовала тоже удивительную нежность к этому необычному кавалеру. Завязалась интрига, плодом которой был младенец – сын. Старый хан был в восторге, что, наконец, небо послало ему наследника. Хан нисколько не изумился, увидев длинную, в виде трубы,

челюсть ребенка, и не огорчился его ослиным ушам, все было в порядке вещей. Он просил сына хоть в образе осла, и Бог ему дал сына и в неисчерпаемой своей благодати украсил его только ослиными ушами да и чуть-чуть великоватой челюстью. Ребенок вырос и после смерти хана сделался сам ханом под именем Джанбек. Государь он был умный и справедливый, только желание скрыть свои длинные уши заставляло его приступить к предохранительной мере, которая не посвященным в тайну его рождения казалась жестокой. Все брадобреи, очищавшие царскую голову, больше не возвращались в свои дома... Такое тайное и непонятное исчезновение всех цирюльников привело народ в ужас, и никто не хотел заниматься этим, прежде доходным, а теперь столь ужасным ремеслом. Брадобреи перевелись. Хан вынужден был теперь заставлять своих подданных бросать жребий, дабы кто-то все же шел к нему брить его башку. Прошло много лет, погибло много народу, пока жребий не пал на одного единственного сына одинокого старика. Молодой человек, отмеченный перстом судьбы, принялся с особенным искусством за процесс бритья и, в одно мгновение окончив свое дело, сказал: «Государь, шабаш!», при этом сделал вид, что совершенно не заметил странную форму ханских ушей. Хан ладонью потер свою голову, голова была бела и чиста как точеный шар, потрогал свои уши и спросил коварно:

– А уши ты мне, брадобрей, не поранил?

На что юноша ответил:

– Уши? А я их сразу и не заметил.

Сильно понравился Джанбеку ловкий ответ молодого человека. И так как хан понимал, что дальше он не может проводить тот порядок, лишивший его ханство многих граждан, он твердо решил покончить эту кровавую игру, и, передав свою тайну клятвенно молодому цирюльнику, сделал его своим визирем. Дружны были хан с визирем до того, что пили из одной чаши вино и ели из одной тарелки пилав. Но справедливо говорит пословица: если худая лошадь обрастает жиром, то и сесть на себя не позволит. Не умел с покорностью и довольствием перенести богатство и честь новый визирь. Возгордился, и гордость погубила его.

Хан любил соколиную охоту, и визирь сопровождал его на ней, оба имели своих птиц. Однажды сокол визиря обогнал ханского и взял лебедя. В припадке радости, визирь начал в забытьи кричать: «Мой сокол лучше сокола хана Джанбека, у которого ослиная голова». Весь народ, присутствовавший на потешном зрелище, ясно слышал эти слова и теперь

понял, отчего хан извел столько брадобреев. Джанбек запылал от стыда, бросился бежать в свой дворец, успев приказать только убить своего визиря. Между тем, визирь опомнился, увидел свое положение и бежал в горы. С этого времени Джанбек получил прозвище Ослиная голова.

Долго скитался визирь в горах и только редкими ночами посещал город.

В один из своих ночных визитов он пришел к царскому колодцу с золотой крышкой, вспомнил былые славные времена, когда пил воду из этого колодца, вспомнил свое визирство и стал в обиде громко молить Бога, чтобы он весь этот город спустил в преисподнюю.

Аллах в это время был гневен на этот город за его разврат и безбожие и изрек: «Куп орай куп!» и вода начала бить огромным столбом из колодца, и в одну ночь на месте города стало озеро – озеро Иссык-Куль.

Легенда эта, напоминающая Содом и Гоморру, как можно полагать по вулканическим признакам озера, имеет основанием своим землетрясение, разрушившее прибрежные города. В сильную бурю из озера выбрасывается разная утварь домашнего обихода, что утверждает народ еще более в справедливости сказки о Джанбеке – Ослиной голове.

День был жаркий, солнце палило, как на экваторе, нужно было отдохнуть и при вечерней прохладе или как говорят казаки: по «салкинчику», беря в основу киргиз-казакское слово «салкын» – прохлада, отправиться далее. С этой целью мы повернули в ближайший аил. Хозяин аила, молодой человек, вышел нам навстречу, и мы расположились в его палатке. Нам, как почетным гостям, принесли чаю, заваренного вместе с солью в кувшине, что-то вроде калмыцкого затурну. Мальчишки со всего аила собрались около нашей юрты в ожидании полакомиться бараньими косточками, которые останутся после нашего обеда. Ожидания их были тщетны – я освободил хозяина от этого долга, обедать было некогда. Каракиргизы, даже те, кто в душе надеялся принять участие в нашем пиршестве, держались поодаль. А женщины, надо сказать, вообще нас боялись и не выходили из своих лачуг. Только раз показалась молодая баба в полосатом бухарском халате и девка в белой рубахе, заменявшей ей платье, и в красной остроконечной шапке с кисточкой. Впрочем, и они скоро скрылись. Попутчики мои, а у них, как у тех, кто много бывал в степи, взор быстрый и острый, заметили, что баба была очень недурна собой, но худа, а девка, говорили они, была совершенно красавица, разумеется, в их вкусе.

Въезжая в аил, я заметил, что все, завидев нас, бросались в свои юрты с криком: «Урус! Урус!» Чтобы отстранить страх и завлечь любопытство местных обитателей, я, по скромным в пути возможностям, переоделся в киргизского франта. Уловка моя действительно увенчалась полным успехом – по крайней мере дальше меня встречали без стеснения и подозрений. Во втором аиле даже бабы посыпались к нам как горох из своих юрт. Одна из них затеяла похоронный плач, адресуя его ко мне, как своему, правоверному. У каракиргизов, как и у нас, киргиз-казаков, вдова должна в продолжение года оплакивать с криками смерть мужа. И когда проезжают путники, они должны затягивать свои траурные песни. По расспросам мы узнали, что плакальщица лишилась мужа в побоище между сарыбагашами и бугу. К тому же над юртой после смерти вывешивается флаг, если флаг красный – умерший был молод, черный – средних лет, белый – старик. Над юртой этой несчастной висела черная тряпка.

Мы остановились послушать элегию дикокаменной матроны. Признаюсь, я ожидал услышать что-то о печальных чувствах или нечто близкое к этому, но прозвучала только жалоба к Богу о том, что будет с ней, и обращение к покойнику с вопросом, кто же будет совершать теперь с ней обыденные и естественные нужды, кто будет шить сапоги, кому она подаст блюдо с просяной кашей и так далее. Все это быстро меня утомило, и я вступил с окружившими нас каракиргизами в разговор. Узнавши, что я сам киргиз-казакский султан и потомок ханов, они сделались еще приветливей и доверчивей, а пожилые женщины-аячи с участием смотрели на мое худое тело и безрумяное лицо и выводили резонные заключения, что я, бедняжка, наверное, скучаю по матери и сожалели, что такого мальчика, как я, в такой далекой стороне вряд ли кто приголубит и очистит белье от докучливых кровососущих насекомых. Последние наивные их слова меня рассмешили. «Что за добрые и простые люди», – думал я. А во взоре одной старушки я увидел так много истинной доброты и участия, что разом осушил чашку, чтобы только сделать ее довольной. Через минуту я знал, что дочь другой почтенной старушки была в замужестве за киргиз-казакским султаном наймановских родов. А так как здесь считали всех султанов почти за одно лицо, то и весь аил стал с нетерпением расспрашивать о судьбе своей родственницы. Я счел нужным не только объявить себя знакомым того султана, а даже его братом, и на вопросы отвечал положительными фактами, выставляя их родную как любимую султаном жену. Говоря эту невинную и утешительную ложь, я имел намерение сблизиться с народом и приобрести

их родственную любовь. По крайней мере, мои человеческие и дипломатические цели не расходились. Ответы мои на некоторые чрезвычайно трудные вопросы: как зовут султаншу-каракиргизку, сколько у нее детей, были согласны с имеющимися у них сведениями, что я сам удивлялся своим надувательским способностям. Как бы то ни было, между нами начался доверительный разговор. Мы шутили с молодками-аяч, и они в ответах своих обнаруживали неожиданную откровенность и остроту. Вообще женщины иссык-кульских жителей имеют много прекрасных сердечных качеств и, проживши несколько дней, можно было с ним познакомиться коротко. Даже теперь они без сомнения были к нам благосклонны, хотя нет ничего без исключений. Со мной тут же случился почти дорожный анекдот. Я, в припадке мании к прекрасному полу дикокаменной орды, имел неосторожность, проходя мимо одной юрты, заглянуть, как говорят персы, в эндерун – женскую половину дома, откуда прежде за мной следили быстрые глаза, по моим расчетам непременно хорошенькой аяч. Я не обманулся. В юрте действительно сидели две недурные собой девицы, но одна из них, к великому моему ужасу, удивлению или радости, не знаю, была только во всей своей натуральной красоте. Comme de raesson, что пойманная моим взглядом аяч устыдилась очень и очень, только не совсем. Она, оправившись от первого испуга, принялась страшно бранить меня. Следуя ее проклятьям, мне суждено было глотать камни, глазам моим предназначалось искривиться, а в довершение всех бед, долженствующих обрушиться на меня, она назвала меня курносым казаком! С одной стороны я имел от ее слов порядочную печаль, с другой – был рад, что удалось разом познакомиться с изощренным словарем ругательств, что не последняя статья в языковеденье. Я было уже хотел войти в этот эндерун, чтобы принести свои извинения в более тесной обстановке, но тут меня почтительнейшим образом, но настойчиво пригласили в отдельную стоявшую от аила юрту, которая сразу же за мной наполнилась старухами. Они принялись путано и длинно объяснять мне нечто, и наконец, в разговор решительно вмешалась пожилая женщина с длинными зубами. Она сидела у входа на бараньей шкуре, заменявшей ковер, и грязными руками плела аркан, время от времени кивая и при каждом кивке обнаруживая полный ряд ужасных клыков. Зубы ее выказывались, очевидно, против воли почтенной мадам. Она совсем не была расположена к оскаливаниям, ибо беспрестанно подносила рукав пестрого халата к губам, но при всем при этом говорила спокойно, с явным убеждением в своей правоте:

– Высокочтимый господин аллаяр, у меня есть одна несчастная невестка, одержимая бесами. Я слышала, что вы можете их выгнать.

– Как же я их выгоню этих бездельников? – спросил я удивленно. Мадам с зубами бросила на меня испытывающий взгляд и терпеливо объяснила:

– Очень просто. Надо нещадно бить плетью нечистую храмину, и все бесы уйдут.

– Храмину?

– Да, тело больной, – все так же спокойно отвечала эта странная просительница.

– Да отчего ты решила, что я могу выгнать из больного тела потусторонних гостей? – еще сильнее удивлялся я тем способностям, которые обнаруживали во мне.

– Кто же, как не вы, люди белой костью, можете это, – сказала мадам с зубами, взглядом прося окружающих без сомнения подтвердить ее догадки. – И потом вон в руке у вас и плетка. Не зря же она у вас.

– Да помилуй, ведь эта плетка погонять лошадей!

Спокойная до сего мига мадам вдруг так взвыла, что я отшатнулся от нее невольно:

– Аллаяр! Аллаяр не желает помочь нам, несчастным людям! Зачем же султану погонять этой плеткой самому лошадей, если у него вон сколько верных слуг, обязанность которых и есть погонять лошадь господина.

Последний аргумент мадам с зубами был настолько нелеп, что я и не нашелся что ответить. И за это тут же поплатился. Публика сочла мое молчание за поражение и безусловное доказательство правоты фанатичной аяч и явно приняла ее сторону. Десятки глаз стали на меня обиженно коситься. К требованию мадам с зубами избить ее невестку плеткой присоединились и подошедшие к юрте мужчины аила. Как я ни старался уверить просителей, что все это вздор, никаких бесов нет, что невестка ее, видимо, просто больна, ее надо лечить не побоями, а душевным спокойствием, уговоры не возымели никакого воздействия. Каракиргизы принялись с неудовольствием покидать юрту, явно подозревая меня в жестокости: человек одним ударом может изгнать бесов и не хочет. Да и вообще, следовало отсюда, какое сострадание можно желать от чужака и неизвестно зачем он у нас появился, конечно же, не с добром. Такие теории грозили при быстроходности киргизских лошадей мгновенно распространиться по всей иссык-кульской впадине. Делать было нечего. Я решился и рекомендовал одного джигита, сопровождавшего меня вместе с

казаками, как султана и своего брата. Рекомендованный батыр, не утруждая себя излишними размышлениями и сомнениями, быстро принял марсовский вид, встав с поднятой нагайкой. Несколько баб подвели к нему несчастную жертву и держали ее крепко, пока этот тип с криком и удовольствием не начал свое дело. Несчастная начала визжать и при большом усилии вырвалась и бросилась бежать. Ее опять схватили. Особенно бесилась зубастая свекровь. Иногда казалось, что только она одна производит столько крика, но это кричала толпа вместе с ней:

– Бей! Бей! Ур! Ур! Ур!!!

Меня это возмутило окончательно. Я подошел к мадам и приказал отвести больную домой. В ответ же она нагло обругала меня:

– Если сам не пожелал мне помочь, то не мешай доброму человеку спасти душу этой несчастной! Люди, да этот киргиз-казак вовсе и не султан. Притворщик! Проходимец!

Стоит ли говорить, что за нею и все родные этой сумасшедшей оказались недовольны моим вмешательством. Злобные взгляды устремились на меня. Вот уж действительно превратности судьбы! Еще с полчаса назад я был лучшим гостем этого аила, теперь мне явно угрожали побоями. Следовало быстро удалиться, но как оставить эту больную женщину в руках возбужденной толпы. Я не мог вытерпеть, подошел сам к ней и вырвал кнут у подставного султана. Тот сразу потерял свой воинственный вид и принялся робко кланяться передо мной, бормоча всякие извинения. Этим извинениям грош цена, подвернется ему завтра безнаказанно избить и меня, сделает это с превеликой радостью. Несколькими резкими словами я отослал его прочь. Это отрезвляюще сказалось на толпе, и все же аильчане расходились неохотно и были в душе возмущены моим произволом. Одна только сумасшедшая бросилась мне на шею, называя меня разными нежными именами:

– Ой, дяденька... золотой, золотой, да буду я твоей тенью, дяденька! Луна, солнце, звезды! Зеркальце мое... дяденька...

Я снял руки сумасшедшей со своих плеч и хотел было идти к ожидавшему уже немало меня тарантасу, но тут появился крепкий усатый парень и, увидев его, она снова ткнулась куда-то мне под руку с криком:

– Кара-джан! – а закончила очень жалобно и протяжно. – Зеркальце...

Крик ее, видимо, смутил усатого парня, и он в нерешительности остановился неподалеку. Постепенно все успокоились, и я, с усилием, наконец, отстранив эту привязчивую больную от себя, принялся

рассматривать ее. Ей было, по-видимому, не более пятнадцати лет, хотя двухрядная коса подтверждала то, что она была замужем. Она была очень хороша собой. Большие карие глаза с особенной болезненной живостью блуждали во все стороны, как бы ища кого-то. Лицо было бледное и худое, нос тонкий, изящный, губы припухли и ярко покраснели от невольных прикусов, лоб высокий как купол бухарской мечети. На ней не было вовсе платья, только дырявый халат внакидку, но и при всем при этом она не производила дурного впечатления.

Я попробовал с ней заговорить, но она на все мои вопросы отвечала отрывисто, одними именами:

– Джанбек! Золотой... Ай-ай, Джанбек! – затем, указывая беспомощной рукой на усатого парня, засмеялась и, безумно хохоча, добавила. – Он! Зеркальце... Нет зеркальца! Воротник порвал, рвал, рвал! Он – Кара-джан!

И, сказав это, с обезьяньей поспешностью сорвала с головы свой платок и спрятала под халат, озираясь и пугаясь, как бы кто-то не заметил ее уловки. Видимо, этот Кара-джан был ее мужем и бил ее, расколол зеркальце, порвал рубашку. Я обратил на него строгий взгляд и приказал ему более не ломать зеркал и не рвать рубашек, на что он вяло, с оттенком безразличия в голосе ответил:

– Не слушайте ее, благородный господин. Не рвал я ничего и не ломал.

– О-о, Джанбек! Не верь ему, не верь, он рвал, он расколол твое зеркальце, Джанбек... – хотя и тише, но продолжала упорствовать сумасшедшая.

На этом я посчитал эту историю законченной и было собрался ехать дальше, видя как мои казачки вдалеке уже проявляли усиленное нетерпение, но меня остановило то, что я уже слышал здесь на Иссык-Куле о каком-то Джанбеке и о странной истории, связанной с ним. Я спросил:

– Кто таков этот Джанбек?

И тут же вспомнил о Джанбеке-Ослиной голове из легенды об озере.

Услышав мой вопрос о Джанбеке, аильчане примолкли и перекрывали рты, словно в ожидании предстоящего интересного происшествия. Ответил мне усатый Кара-джан, хотя не сразу и очень неохотно:

– Это вор.

Пожалуй, этот ответ меня вполне удовлетворил бы, но вот сумасшедшая невестка вскочила с земли и гортанным голосом, ошеломившим меня неистовостью, воскликнула:

– Нет, нет! Это неправда! Джанбек... Джанбек! Он как солнце!

Здесь есть у меня случай заверить, что каракиргизки вообще не отличаются робким нравом. Английский лейтенант Вуд имел редкий случай видеть дикокаменную амазонку, гарцевавшую на рысистом быке, как Европа, похищенная Юпитером.

Вслед за больной заорала и ее свекровь с зубами, хищно протянув к лицу больной свои растопыренные пальцы рук:

– Замолчи сейчас же, бешеная! Дрянь! Аллаяр, неужели вы не видите, как ее, бедняжку, мучают бесы! Оставь нас! Люди, сородичи, да где же вы?!

Ее вопли возымели во мне обратное действие, я остановился и сказал:

– Бесов я не вижу, а вот кто мучает эту бедняжку, хочу узнать. А ну, скажи, несчастная, кто это твой Джанбек?

Здесь, к моему удивлению, закричал с превеликой злобой ее муж, казавшийся до этого человеком меланхоличным:

– Это разбойник! Проходимец! Он попрал законы наших предков, и кости его долго будут еще тлеть в аду! Нет хуже собаки, чем он. Нищий! Побирушка! Каждый вправе убить такую гадину!

Затравленная невестка снова вцепилась в край моего платья и забормотала со стонами и всхлипываниям:

– О-о-о... Джанбек... Не оставляй меня здесь... знала, что ты придешь за мной, Джанбек...

При всей неестественности ее поведения, плач ее был настолько по-детски горек, что я никак не мог подумать о новом приступе ее сумасшествия. А когда она, подняв свое лицо ко мне, я увидел глаза не только полны слез, но и здорового ума. Затем она вся напряглась, как тростиночка, и кинулась к мужу с криком:

– Ты убил его!

Ее усатый муж в ответ тоже завопил:

– Замолчи, тварь! Кто тебе разрешал раскрывать свою гнусную пасть?! – и дернул ее за косы и оторвал их от головы.

Я остолбенел, хотя знал, что длина волос считается здесь первой красотой, и поэтому многие женщины носят фальшивые волосы. Но у моей подзащитной свои волосы были не жидкие, а неровно стрижены почти под корень.

Мне вся эта кутерьма основательно надоела, а последняя картина подтвердила всю нелепость положения, в которое я попал. Продолжи я так покорно выслушивать крики и вопли обитателей этого сумасшедшего аила, скоро они совершенно затолкают меня. В этих случаях нелепость, как клин

клином, вышибается еще более бессмысленной нелепостью. И я, выставив одну ногу вперед, руки заложив за спину, а свой впалый живот как можно более вздув, как скверный актеришка, изображающий римского консула, напыщенно проговорил:

– Я, султан Мухаммед-Ханафия, сын султана Чингиза, сына хана Уали, сына Аблай-хана, я именем своим и именем предков своих объявляю суд для разрешения спора людей, стоящих передо мной, и, выслушав их беспрепятственно, заключу между ними те обязательства, которые сам сочту справедливыми, – и завершил эту тираду несколькими фразами из Корана.

Толпа аильчан загудела, повторяя «Аблай! Аблай», и мужчины вместе со мной подняли к лицу ладони в знак принятия всех милостей, которые несут собой священные слова. Без сомнения, эти люди были, как наши киргиз-казаки, весьма охочи до всяких площадных представлений. Тут же сбегали за белой кошмой, если можно так назвать серый клочковатый войлок, расстелили его в тени юрты. Я вальяжно прошел к предназначенному посту и, изобразив глубокую задумчивость, разместился там. С полчаса, как этого требует церемониал подобных действий, я глубокомысленно молчал. Молчала, изнывая от жары, и толпа. Наконец я, порядочно отдохнув от стоявшего здесь ора, вяло указал рукой в сторону мужа несчастной, и суд начался. Не буду, чтобы не утомить читателя, приводить все то, что здесь самым отчаянным образом было бестолково и запальчиво произнесено, лишь протокольно приведу суть происшедшего. А она вся заключалась в том, что эту несчастную девочку выдали замуж против ее воли. Усатый Кара-джан, питавший к ней, без сомнения, нечто вроде любовных чувств, смог заплатить за нее калым в тридцать баранов, а вот ее избранник – некий Джанбек, не имел такого умопомрачительного количества скота. Обычная история, осложненная, правда, тем, что и проданная девица и нищий Джанбек проявили весьма неблагоразумное упорство, кажется, даже бежали вместе. Сейчас эта несчастная утверждает, что ее возлюбленного Кара-джан с дружками сбросил в пропасть, сам же Кара-джан, естественно, принялся все отрицать, заявляя, что этот пес Джанбек просто сам свалился в какую-то дыру. Интересно, что никто из них за более чем двухчасовой спор не произнес слова «любовь». Зато чрезвычайно много было сказано о девичьей шапке этой невесты, которую по местным обрядам должен сбить ее жених. Кара-джан заверял, что шапку он с головы своей будущей жены сбил легко и играючи, она же утверждала, что нет, шапка была не сбита. Бедняжка, как я понял, даже под корень срезала на голове себе косы, чтобы и стыд ей помог во что бы то ни стало удержать эту роковую

шапку на голове. Очень странным было то, что этому увальню Кара-джану непременно хотелось доказать, что именно он сбил ту шапку. Сбивал он ее, не сбивал, разве это важно, если он все равно стал полноправным хозяином этой женщины, а впрочем – рабыни? Убедившись, что у этой несчастной нет иного выхода, как смириться, так как любимый ее погиб, а родственники вполне довольны теми тридцатью баранами, я призвал ее покориться судьбе и, быть может, она наградит ее за терпение красивыми детьми. А мужу ее строго приказал более не обижать жену, что он мне тут же клятвенно пообещал. Несчастная безмолвно выслушала мой приговор, сникла вся и уже без всякого, я уверен, умысла, сказала мне:

– Прощайте, господин! Вы были добры ко мне, не били. Я скоро умру.

– Почему ты так решила? – спросил я.

Она помолчала и потом, нисколько не волнуясь, ответила:

– Наши звездочки стояли рядом. И когда упала звезда Джанбека, моя скатилась следом.

Признаюсь, я растерялся. За это очень короткое время эта изуродованная девочка стала мне не безразлична. Была она бита, была обманута, но что все это по сравнению с тем, как она была одинока! Узрев, что я заколебался в правоте своего приговора, мадам с зубами решила укрепить во мне судейское решение:

– Ничего с этой дрянью не сделается, аллаяр, – заметила она уверенно. – Вылечим.

– И как же ты собираешься ее лечить дальше? – удивился я.

– Известно как! – ответила свекровь и с таким клацаньем захлопнула свою пасть, что вздрогнул даже ее сыночек.

Времени на последующие раздумья не оставалось, и я сам, не ожидая того, произнес:

– Люди! Я судом своим и судом своих благородных предков объявляю: невестку этой женщины действительно мучают духи. И от того, что эта несчастная так неистово призывает некоего Джанбека, я вижу, что не робкая душа погибшего юноши волнует ее, а в нее вселились подводные духи озера. Они сильны и коварны, неровен час, поднимут волны озера и зальют вас вместе со всем вашим скотом. Так что, один вам мой совет: скорее собирайте кочевье и бегите в горы.

Мужчины аила схватились за свои бритые затылки, старухи взвыли. Что ж, толпа получила то, что так упорно желала. Тут же предложили забить бешеную невестку камнями, на что я ответил, что подобная мера ни к чему хорошему не приведет, ибо и над трупом ее будут витать те же духи и станут

еще опасней. Толпа сочла мой довод весьма резонным и бросилась выспрашивать, что же им делать и как избавиться от такой смертельной напасти. Посоветовал я им только одно: подсунуть эту несчастную какому-нибудь глупому и никчемному человеку, лишь бы он был из дальних мест, и пусть он ее увезет. Бог даст, духи, видя, куда их заманивают, отстанут по дороге и не причинят этому путнику большой беды. Представьте, эти наивные люди без всякого смущения принялись тут же предлагать мне эту несчастную взять с собой. Да и наивность ли это? Впрочем – наивность, наивность толпы, так как толпа не знает совести и морали. Как бы там ни было, они настаивали на своем, высказывая при этом самые нелепые уговоры, вплоть до того, что если и я стану жертвой духов, то они отошлют моим родным трех быков и семь коров, за что мои родственники будут как никогда мне благодарны. Наконец я с явной неохотой согласился. Однако здесь поднял бунт усатый муж.

– Стой! Куда? Это моя жена! Не смеешь, убью! – закричал он и, подняв с земли железный кол, видимо, от такой-то треноги, размахнулся им над моей головой.

Нынче модно быть фаталистом, но думаю, фатализм по большей своей части происходит от безысходности тех ситуаций, в которые мы попадаем. И верно, стоило мне как-то запротестовать или попытаться уклониться, кол этот обрушился бы на мой нежный череп. Дикокаменные киргизы не знают жалости в драках.

На наших глазах был пример, когда род бугу убил манапа Урмана. Последовала война между родами, кончившаяся совершенным разграблением бугу. Во всем роду не осталось ни одной юрты. Я проезжал через места происшествия: повсюду валялись кошмы, мертвые тела на пространстве четырех верст.

И я продолжал невозмутимо сидеть под оружием моей смерти до тех пор, пока этот усатый парень сам не отступил, и, выронив из рук кол, упал на колени. Лицо его приняло, как у всех неуравновешенных натур, плачущее выражение, и он принялся ныть:

– Аллаяр... господин... великодушный султан... не троньте мою жену, я куплю ей платье... два платья и платок! Господин, аллаяр, Аллах не забудет вашей доброты. Что ж от того, что в ней бесы, значит, так суждено... больше не трону ее и пальцем! И никому не позволю даже в чем-то ее обидеть.

Между тем, старухи уже тащили несчастную невестку к моему тарантасу, а ее клыкастая свекровь набросилась с кулаками на своего сына и, избивая его,

произносила не то проклятья, не то укоры. Она вскрикивала что-то вроде: «Мать-огонь, или Дух-отец» и колотила своей великовозрастного сына. Мне же вслед она с ненавистью крикнула:

– Да чтобы конь твой спотыкался обо все камни и колоды, да чтоб ты упал с коня, да чтоб ты скатился в пропасть!..

Так в обозе нашей экспедиции оказалась эта особа, никому не доставляя беспокойства и хлопот. Всякие безумные действия у нее исчезли, по крайней мере, мне на нее никто не жаловался. Я предполагал доставить ее по пути на верховье Тургеня, где живут киргиз-казаки-хлебопашцы и сидит султаном Али, муж зело глупый, покрытый густо-рыжими волосами, как первобытный человек по Бюффону. Он хочет казаться цивилизованным, потому-то и смешон, но, впрочем, добр. Там можно было выдать ее замуж за какого-нибудь приятного и старательного работягу. Но, когда я попытался рассказать, какая ее ждет прекрасная перспектива, она плакала и просила отпустить ее на свободу. Меня искренне удивляло, откуда в этом худеньком существе столько влаги. Она одна могла наплакать целый Иссык-куль.

По завершению дел мы возвращались в Семиречье через горный проход Санташ. По нему минуют хребет Кунгей-Алатау и караваны. Обыкновенная дорога, вследствие бывшего перед нами в горах снегопада, была закрыта, и мы шли по крутому кряжу гор, рискуя изгибами своих шей. Лошади наши по таявшему снегу скользили, сбрасывая в пропасти камни. Казаки спешились, между тем как привычные к таким обстоятельствам проводники-киргиз-казаки спокойно покачивались в своих седлах, бросив поводья и напевая песни.

Круглый час мы перебирались по этой тропе, и, наконец, начали спускаться. Спуск оказался гораздо круче и более неудобным, нежели подъем. Начинались еловые леса. Мы приближались к самой трудной тропинке, которая шла по краю отвесного обрыва саженей сорок высоты. Еще не доходя до страшного места, со мной случился казус. На дороге лежала огромная еловая колода. Я пришпорил коня. Лошадь поднялась на дыбы, но задела копытом валявшееся дерево и упала. Меня отбросило в сторону, а бедная лошадка, потеряв равновесие, рухнула в пропасть. Я только услышал глухой рокот и увидел ее уже далеко внизу в реке.

Случай этот имел свою хорошую сторону, нет худа без добра, за мной он упрочил мнение спутников в смелости и ловкости. Я же, встав на ноги, сразу вспомнил страстное напутствие мне мадам с зубами из сумасшедшего иссык-кульского аила. Вспомнил и о ее несчастной невестке. Велел казакам

внимательно присматривать за ней на этом опасном пути, но те сказали, что киргизка исчезла. Я огорчился и сам решил проверить, но нигде ее не обнаружил. Что с ней стало, я не знаю. Может быть, кинулась сама в пропасть, может быть, отправилась разыскивать могилу своего Джанбека, а возможно, вернулась к своему усатому мужу. Пути женщин, как пути господни, неисповедимы.

Ко мне подвели другую лошадь, и на ней я продолжил путь. Кругом среди диких камней уже рос вереск. Выше лежали пройденные нами снега; воздух был заметно холоден, ветер резок, так что я надел шубу. В эти дни аулы спускаются с гор на долины, где пашни, собирают там свой скромный урожай и идут в конце августа на Балхаш в пески на зимовку. Всю ночь мимо нас, остановившихся уже в киргиз-казакском Баскане, шли кочевья. Утром, когда мы встали, все еще шли вереницы верблюдов, ведомые нарядно одетыми женщинами.

Мысль писать романы не оригинальна. Однажды в Омске во время почти семейного приема в доме генерал-губернатора мадам Гасфорд наотрез объявила: романы врут, следовательно, все, что в них есть – вздор, и что все дамы, читающие романы, учатся врать и, следовательно, лгуньи. Все это было сказано так твердо, решительно, как факт, как аксиома, как подобает российской генеральше, что мы, все присутствующие, и ваш покорный слуга – юный в те времена корнет, изъявили полное и совершенное согласие с ней. Тогда-то Его Превосходительству благоугодно было изречь в назидание всех чающих и в особенности супруге следующие праведные (а иных он не имел привычки произносить) словеса, или, как он выразился – экспрессии: «Ты, жена, удивишься, когда узнаешь, что я, да – я, твой муж, писал тоже романы. Но это было давно, в годы моей юности, когда я был молод и горяч и... увлекался подобно всем смертным оптическим обманом неопытной молодости. О юность, юность, что не заставишь ты делать! Действительно, господа, я писал романы, но писал не так как нынче. У меня порок был наказан, выставлен в самом грязном, отвратительном виде, а добродетель, как звезда первой величины, ярко сияла на безоблачном горизонте келейной жизни. Черные тучи, омрачавшие небосклон сюжета, расходились, и она торжествовала. Поверьте, господа, таким романам принадлежит будущее отечественной словесности. Если так, то в литературе, коли она объективность, появятся свои генералы. А под ними объединятся прочие литераторы с единым уставом. Но я отвлекся, извини, жена, так вот, я был

романист по призванию ex proffesso. Если за maximum – высшее мерило литературных способностей индивидуума – принять светлый взгляд, увлекательное изложение, естественность и натуральность в изображении общественной и частной жизни человека во всех ее обстановках и коллизиях, все то, что отражает реализм социальный и одухотворенный идеями. Так что мои труды, как я заметил, могли бы выдержать самую строгую критику и через сто лет. Я ни в коем случае не aprobu писателей нынешнего времени. Пресловутая Жорж Занд с желанием какого-то изолированного счастья, бесплодного совершенства и с желанием еще чего-то неопределенного кажется на мой взгляд не более не менее вздорной бабой, которую нужно высечь. Все, что она ни писала – это пустая отвлеченность, риторические фигуры, грубая утилитарность. Только женщины с испорченным вкусом, не имеющие никакой женственности, могут кричать в восторге, читая эмансипированные химеры госпожи Дю Деван, и, закатив глаза, восклицать: que charmant!! Совсем это не charmant, просто фантасмагория и неприличная exsate. Вот еще один идол – Гоголь. Ну что, скажите на милость, господа, вы находите в его творениях – циничную вседозволенность грубой жизни, описание смачных блюд, мир галушек и вареников и непристойные выражения, собранные в кабаках и на ярмарках. Как возьмешь книгу этого господина так и пахнет салом, дегтем, тютюном. Fi donc! Ma chere, ты никогда не читай Гоголя. Эти его планы разве что для чумаков. Какая в самом деле приятность, когда перед вами откроется совершенно новый мир, как я уже сказал, галушек и жирных вареников, мир, в котором первую роль играют свиньи. Это значит не иметь никакого уважения к законам в отечестве и дерзко насмехаться над святыней зерцала.
Его «Ревизор» – ложь, бесконечная, нескончаемая ложь! Где он видел этих молохов, которые сидят на краешках стульев? Я, слава Богу, изъездил всю матушку Россию вдоль и поперек, а, признаюсь, нигде не встречал ни Добчинских, ни Бобчинских. У нас даже в Сибири нет подобных образов. Вот судья в Канске – урод, ха-ха-ха, а исправник в Бердске это истинный род зверолова, да и тот молодец по сравнению с гоголевским городничим. (Пауза. Его Превосходительство изволили проглотить сдобную булочку). Ну так о чем я бишь говорил? Да, о моих романах. Нуте-с, господа, слушайте же, да мотайте на ус, уверяю вас, что все, что ни скажу, можете себе безвозмездно усвоить. Жаль что я не издал свои романы, но мне тогда было не до них. Служебные дела, военные экзерции и, наконец, главное мое призвание быть генералом, знаете, отвлекают. Сюжет для одного романа был

взят мной из библейского сказания о посольстве аравийской и абиссинской царицы к Соломону. Я легким языком и увлекательным изложением хотел наглядным образом ознакомить массу публики с историей, религией и правами аравитян и абиссинцев, сделав свои открытия в области наук и искусств популярными. Многие темные факты истории тогдашнего времени были разъяснены мною до степени занимательной ясности. Факты изложены до совершенства логично, аргументации сильны. Театром, местом действия я избрал пролив Баб-эль-Мандеб. Вы знаете, где этот пролив, корнет? (на вопрос губернатора я отвечал утвердительно и имел дерзость перевести название – «Врата воплей и плача», чем вызвал на себя строгие взгляды). Вы молоды еще судить о художественных приемах, корнет. Наоборот, я этим хотел дать читателю сразу ноту изящности, беспечности и радости. Итак, дело у меня происходит на мысе... (Здесь месье Гасфорда вдруг охватили беспокойные порывистые жесты, обнаруживающие состояние человека, которого забирает смертельная охота сострить и который, по известной только ему причине, не может привести в исполнение свою забавную шутку: но вот наконец с силой ударив рукой по столу, так что звякнули чашечки, он произнес решительно) Гвардапуп на Бабе-эль-Манда-б! Ха-ха-ха! Ты, жена, не красней, что же ты сделаешь с ними, с нерусскими. Одно слово: арабы! Лучше представь себе картину на мысе... я уже говорил каком, ха-ха-ха! Стойбище аравитян и уединенная палатка царицы Савской на песчаном холме. Стада верблюдов, пасущихся на сытых пажитях счастливой Аравии. Звездное небо и луна в ущербе. Светило ночи бросает дрожащий свет на весь этот пейзаж. Грозные утесы пролива как-то страшно чернеют, море спокойно, и луна отражается на багряных водах Нептуна. Там и сям горят костры и по временам ярко светят, мерцая, огни, и аравитянки сидят у дымных очагов и готовят свой скудный ужин. Только в уединенной палатке царицы не видно огня. Она сидит задумчиво, облокотившись на одну руку, а другой перебирает коралловое ожерелье. Она думает о Соломоне, о его мудрости, она любит его самой чистой, платонической любовью. Вдруг она с лихорадочной живостью поднимает глаза в глубь небесной тверди, на звездное небо, и тихие слезы льются ручьем – она молится, ибо аравитяне были сабеисты, сиречь – звездопочитатели. (За этим герр Гасфорд выпивает последний глоток пива). Жаль, корнет, что этих романов у меня теперь нет, я бы дал вам их, как своему адъютанту, в полное и неотъемлемое право. Если бы Вы их издали под своим именем, нет сомнения, Вы получили бы

репутацию и авторитет лучшего писателя. Пишите, пока ум юности счастливо порхает под сводом раздумьев государственных мужей...

Однако моего порхавшего тогда ума юности хватило на то, чтобы не броситься кропать романы под каким бы ни было сводом.

И слава Богу! Но все же через некоторое краткое время, когда я уже пребывал в чине поручика, а от поручика до генеральских погон рукой подать, некий литературный бес принялся серьезно меня смущать: вот-вот, и я бы уселся бы за письменный стол, непременно, как соответствует классику, из краевого дерева, с гусиным пером в легко взлетевшей руке. И все от того, что был я в те годы неосторожен и знался с кем попало, как считал наш провинциальный свет. Даже с ссыльно-каторжными. Среди них в те годы находился и один небезызвестный в России литератор. Готов держать пари, если и существует тот потусторонний персонаж, о котором я уже рискнул упомянуть, то он непременно должен был тесно знаться с г-ном Достоевским, а от кого он ему достался по наследству, от Пушкина или от Гоголя, это не важно.

Бесу от литературы как всегда мало испытывать своих хозяев, он сует свой противный нос и в судьбы тех, кто как-то оказывается рядом с ними. Я совершенно уверен, что именно этот парнокопытный тип водил рукой всячески уважаемого и любимого мною Достоевского, когда тот писал мне в одном письме, что мне непременно надо написать записки о степном быте, о моей жизни и т. д. В духе Джона Теннера, уверяя при этом, что это была бы новость, которая заинтересовала бы всех. Уверен в этом, потому как при личных встречах Достоевский наоборот всячески предостерегал меня, как молодого человека, приятного ему, от такой пагубной напасти. Последний разговор на эту тему у нас состоялся уже в Санкт-Петербурге, куда он все же вернулся из ссылки и солдатчины, а я работал там в военно-учетном комитете Генштаба.

Не скажу, что я часто бывал у Д-ского. На столичной квартире у него принялась отчаянно вертеться куча всякого любопытствующего коленопреклоняющего народа, племя особо ненавистного мною. И мне всегда не везло, я обязательно заставал у него посетителей, прием людей знакомых еще по Сибири, а значит не везло мне вдвойне. В так пришлось мне раз встретиться с одним очень уж умным бароном В. Барон имел прекрасные манеры, но вдруг с ностальгическим пылом заговор о пыльных берегах Иртыша, о сильных и свободолюбивых людях, живущих на тех пространствах. Этот монолог я стоически выдержал, но когда, казалось, все

уже было сказано, он снова разволновался: «Вы, верно, помните госпожу С. Так представьте же, ей, немыслимо как, но все же удалось открыть свой театр!» «Да, сиротский край...», – заметил наш литератор, приподнимаясь посмотреть, не несут ли самовар. Кстати, о сиротах. Конечно, каждый вправе занимать свое внимание только, скажем, явлением самовара, причем когда это ему угодно, но именно по рекомендации Достоевского я имел несчастье заняться любовью с этой самой госпожой С., когда был проездом в прошедшие времена в том самом степном городке с верблюдом на гербе, где Достоевский уже раздавал приятелям выслуженную унтер-офицерскую форму, дабы вернуться наконец свободным в столицу к своим естественным занятиям. И посему я тоже счел возможным не ответить тотчас же утвердительно барону о своем знакомстве с госпожой С.

Наш отличавшийся роковой неистовостью литератор так тосковал в этом пыльном деревянном городке о искусстве, что готов был в каждом выискивать творческое зерно, луч света в темном царстве. Естественно, что миленькая супруга ротного командира тамошнего гарнизона, известная своим личным участием в делах какого-то губернского театра, не могла не вызвать в добрейшем Достоевском сочувствия. И идею создать среди казарм театр он страстно приветствовал и молил всех принять в этом самое деятельное участие, отзываясь о госпоже С., как о необычном таланте, какой только может нам дать эмансипация. У меня же сложилось впечатление, что местная Мельпомена была знакома с театром больше через костюмерную.

– Ах, поручик, – тарахтела она в самые неподходящие минуты. – Вы не представляете, какой бенефис был у великолепнейшей Растухоло-Лебедевой. Одного голландского атласа ушло на платье для одного выхода одиннадцать аршин! Я верю в ваше благородство, поручик, и вы обязательно поможете мне! Вот и господин Достоевский уверял, что вы не откажете. Люди тянутся к храму, как зеленые немощные побеги к солнцу в этой выжженной пустыне! Ах, поручик, я отчаялась! Я совершенно отчаялась! Что мечтать о публичном театре, если я не смею думать даже о крохотной интимной домашней сцене. Прошу сыграть простенькую водевильную роль моего супруга и что слышу в ответ?! Ах, боже ты мой, как он смел мне так отвечать! Пришлось ввести в роль примы-любовника нашего денщика Абдулку. Хам, конечно, дикарь, но что делать? К тому же роль была простенькая – изобразить статую, а этот сразу в крик: «Ты мне солдат не растлевай!» Как же теперь жить, чем дышать? Нет, поручик, вы положительно должны мне помочь. Прикажите ему. Вы можете, можете, можете! Не лгите мне! Вы особа приближенная к

губернатору. Не смейте мне отказывать! Что стоит вам? Пустяк, один приказ и все! Будьте благодетелем, поручик, Бог вам воздаст. Есть силы у нашего народа, стоит их лишь разбудить. Возьмите хотя бы нашего болвана Абдулку. Признаться, ему сложно произнести простейший монолог, но зато в какую он умеет вставать позу! Нисколько не хуже чем сам бесподобный трагик Геродот Васильевич Огневой. Что вы так глупо смотрите? Я вам уже не раз говорила о нем. Ну вспомните. Только к нему склонила свою гордую головку Растухоло-Лебедева. Какой это был трогательный и пламенный роман! И никакой грязи! И я посвятила себя таким же принципам. Признаюсь вам, художественная правда требовала, чтобы тот же Абдулка играл роль с обнаженным торсом, но я во имя целомудрия искусства воспротивилась даже ей. Ведь театр не терпит попрания высокой морали. Вы, конечно, согласны со мной, поручик. И потом... в моем будуаре... видите, до какого отчаянного положения вы довели меня, поручик. Выведите меня из четырех стен к публике, к народу, к России! Там раскроется лишь вся художественная правда моего театра!

За один вечер я пришел в такой ужас от ее феерических наскоков, что уже на следующий день скрытно бежал в Омск. Каким же было мое горе, когда всего лишь через несколько дней она появилась там в пестром окружении Достоевского, дабы иметь честь с толпою про водить его дальше уже из Омска. Я очень любил и люблю г-на Достоевского, и хотя не терплю толпы, не мог позволить себе не прийти проститься с ним перед его желанной дорогой. Простились. И как только мы сделали последние жесты тарантасу, увозившему его от нас, госпожа С., сразу же возобновив свои кавалерские атаки, охватила меня плотным кольцом осады. Надо сказать, что у нее была удивительная способность легко сближаться с людьми и вызывать у них душевное беспокойство, которое многие воспринимали отчего-то как свое искреннее сопереживание ее заботам. Еще немного и все мои знакомые сочли бы меня виновником какой-то великой трагедии этой премилой женщины. А надо сказать, что просьба ее в нашем генерал-губернаторстве была совершенно фантастична. Азиатское купечество, как ни выкручивай им шеи, на такое богопротивное дело не вывернешь, а дворянство в наших краях бедное и темное. Правда, светилась неясным пятном одна надежда – провести ассигнование ее затеи через военное ведомство...

Это было то славное и дикое время, когда мой патрон-романист, изнемогая в борьбе со славою князя Потемкина-Таврического, не только отменял решительными циркулярами редкие и оттого неудобные для классических

диспозиций на картах горы в степи, но и усердно покровительствовал всем музам. Улучив момент, когда Его Высокопревосходительство находился в особенно боевом настроении, я Робко заметил, что есть господа, считающий делом армии только казармы, во но театры. «Это форменная чепуха! – воскликнул герр Гасфорд. – Извольте не забывать, что первым видом искусства было воинское искусства, а театром – театр боевых действий. Вообще непонятно, каким образом в нашем цивилизованном обществе еще осталась деятельность...» и etc. И тут я поспешил вставить, что слышал о некой даме, мечтающей поставить спектакль по мотивам неизданных генеральских произведений, среди которых особенно известен сюжет о царице Савской и Соломоне, разлученных водами пролива Баб-эль-Мандеб. На меня вновь обрушился его аравитянский роман, но я стерпел... и в городок госпожи С., точнее ее мужу, верному вояке, стрелянному еще в Крымскую, полетело предписание считать инвалидную команду гарнизонным театром и составить ей особое довольствие с выплатой соответствующих затрат.

Но я отвлекся, вернемся же к месту, где наш литератор не пожелал кинуться в воспоминания о госпоже С., и я, естественно, предпочел вслед за старшим товарищем отмолчаться, а между тем барон все говорил, оглядывая наши непроницаемые лица, с удовольствием осведомленного рассказчика:

«В этом театре участвуют жены офицеров, несколько инвалидов, но все же! Первый театр в этом Богом забытом крае. А вы, султан, видели этот театр?» «Нет, инвалидный театр мне еще не приходилось видеть, но я был в цирке лилипутов», – отвечал я. Чем вызвал укоризненное покачивание бороды деликатнейшего Достоевского, которая, как бы отыгрываясь за бритую солдатчину, дала к этому времени удивительно быстрый рост. «Инвалиды, – отвечал мне барон, поджимая губы, – больше за кулисами бьют в железо, изображая выстрелы и гром. И хотя сама госпожа С. в силу слабого здоровья давно уже не ставит спектакли, а только как бы попечительствует, ее гражданский подвиг достоин всяческой похвалы и даже, может быть, описания!» И тут тот самый литературный бес, который так и крутился вокруг, принялся щекотать меня и подзуживать: ну-ну, мол, вот он очень удобный случай подтвердить благосклонное отношение к твоему таланту со стороны знаменитого писателя. И я не выдержал и, поглядывая испытательно в сторону Достоевского, сказал: «А не написать ли мне об этой музе, отдавшей жизнь на просвещение дикого края, роман?»

Достоевский сразу поскучнел и уже громко принялся распоряжаться внести самовар. Я понял свой проигрыш, но, решив отступить с

наименьшими потерями, продолжил: «А начну сий роман так: «... ночь. Царица Савская уединенно и задумчиво сидит, облокотившись на одну руку, а другой перебирает коралловые бусы. Верблюд, должно быть, из тех, что когда-то паслись на пажитях Аравии, тереться линялым боком о стены и стучал ставнями. Вдруг царица с лихорадочной живостью поднимает глаза к небесной звездной тверди и, хотя видит только лишь скверно выбеленный потолок, молится, ибо аравитянки были звездопочитателями. Она думает о Соломоне, о его мудрости, она любит его самой чистой, платонической любовью. «О, мой властелин, – восклицает она, обращаясь с кровати к мужу, занятому своей трубкой. – Будьте хоть бы вы мне на миг Соломоном». На что ротный командир, прикурив суровый табак от расплывшейся свечки, строго отвечает: «Я, жена, крещен и быть Соломоном никак не могу», – и выходит гнать прочь от дома облезлого верблюда в темноту азиатского городка. Взглянув с почти девичьей обидой на удалявшуюся сухую спину старого мужа, царица Савская заплакала еще горше».

Достоевский с самым серьезным видом раскалывавший сахарную головку, не выдержал и хмыкнул: «Вы, барон, – обратился он к своему визитеру, – не сердитесь на нашего поручика, который, впрочем, уже штабс-капитан... простите, ротмистр. Я его люблю, но он ужасный фантазер. Надо же было побеспокоить столь уважаемую тень Соломона!»

В том же водевильном стиле я бросился оспаривать такой приговор на свой предполагаемый талант: «Между прочим, один весьма и весьма крупный чин уверял меня, что ежели я именно так с Соломоном и аравитянками начну свой роман, то успех мне обеспечен».

Достоевский не ответил. А барон продолжил свой рассказ, правда, более сердито: «Описывать жизнь нашей театралки, может быть, и не надо, но вот помочь мы ей должны. Все-таки это гражданский акт. И поверьте, нельзя, чтобы эта искра потухла. Ведь в этом театре уже собрались удивительные люди. А какие таланты! Верьте, очень и очень незаурядные. Прошу, господа, верить мне на слово, но в этой труппе есть субъект, который без сомнения великий актер. Гамлета он не играл, да и не ведает, видимо, о нем, но то, что я в его исполнении роли какого-то московского франта вдруг увидел принца датского, поразило меня. Вам представится, что это галлюцинация, но я почему-то после спектакля только так и подумал!» «Отчего же галлюцинация, – обжигаясь почти кипящим чаем, пробормотал Достоевский. – По степени душевных мук, мук выбора, когда невозможны компромиссы... Даже, быть может, русский человек еще более страдалец, хотя бы потому,

что русский и не может до конца решить, как европейский принц: «Быть или не быть». Но кто же он, ваш талант?» «Всего лишь денщик ротного командира! – развел торжественно руками барон. – Белокурый татарин, почти не знающий языка, но при этом свои монологи произносящий безукоризненно чисто. Вам обязательно, султан, необходимо по возвращении сблизиться с ним. Редчайший случай!» «Конечно, редчайший, – согласился я. – Особенно если вспомнить и моего денщика, тоже татарина и тоже произносящего без всякого акцента «водка» и «копейка». «Да как вы можете, султан, каламбурить, когда речь действительно идет о подлинном и, может быть – великом актере! А ведь вначале, вы не поверите, его почти силой, приказом заставили выходить на сцену!», – окончательно разволновался барон, вскидывая руку с бриллиантовым перстнем и голову так, что пальцы и волосы изобразили на его лбу настоящий шторм. – Если бы видели с какой мощью таланта он преображается!». «Совершеннейшая правда, барон, – отвечал я. – По физиономии этой бестии никогда не поймешь: чистил он сегодня мой мундир или нет».

Наверное, и я рассердил. Мне стало досадно, что я снова как мальчишка пытался выпросить это чертово литературное благословение. Хочешь писать – пиши! Чешется – чеши! Твоя забота! Тут Достоевский произнес: «О чем вы спорите, господа? Разве важно чей денщик более актер, да впрочем не об этом у вас спор. Не здесь драма. Она в том, что оба эти денщика денщики поневоле. А если кто-то из них еще и человек таланта, то тут действительно горе. Бездна горя! Вот где тема для книг. Но обязательно такую книгу не купят. Скучно читателю станет, – он притронулся ладонью к стоявшему уже на столе горячему самовару и закончил. – Остыл. Надо писать что-нибудь легкое, занимательное. К примеру, о Соломоне и аравитянках, здесь, дорогой мой султан, ваш крупный чин действительно прав. Или о том, как студент убивает мерзкую старуху ростовщицу. Все понятно... за что, почему и как хитро его ловят. Да вот беда, которую никак не хочет автор, он ее боится, ненавидит, да что делать, если этот студент обязательно там же убьет и ребенка, ну почти ребенка... ребенка, но это невозможно! Зачем же ребенка?! А ведь убьет... и топор еще в руке, а шагнуть назад – ног нет. Что же обманывать себя, искать оправданий! Ребенок. Сколько бы ей не было, все одно – она дитя и, может, несчастней иного ребенка. Нет, только отказаться, и вы отказывайтесь! Не божье это дело, – отпил глоточек от свеженалитой дымящейся чашки и закончил, уже раздраженно. – Совершенно холодный. Давайте-ка, господа, велим самовар раскипятить! Лучше студент мой убьет

двух старух, вначале одну, затем другую. Или трех. И автор доволен: роман выйдет толще, и читатель: старух жалко. А про этого актера давайте забудем, забудем, пусть он там где-нибудь сам живет... А ведь не даст ваш, барон, денщик ни себе, ни другим жить. И правильно, и поделом. А не буди душу! Не тобой дана, не тебе тревожить!»

По возвращении на следующий год в Омск я уже скоро имел случай убедиться, что пророчества любезнейшего Достоевского сбываются. Впрочем, что тут удивляться, не он ли сам был одним из зачинателей всей этой печальной истории. Да еще если вспомнить его мистического спутника, с кем он время от времени общался, да не раз, видимо, с ним чаевничал, обсуждая потусторонние дела запросто, как мы прочие, смертные, обсуждаем погоду?

Не успел я распаковать свои дорожные баулы, как ко мне со стенаниями и воплями ворвалась госпожа С. «Где вы пропадаете, поручик?» «Прошу прощения, сударыня, штабс-ротмистр», – решил я сразу прибегнуть к строгости отношений. «Какая разница, поручик! Это в конце концов не честно, не благородно. Я ожидаю вас уже целый день! Целую вечность. Ах, ма шер, ма шер, но что мне делать, что? К чьему я могу еще припасть плечу в эту тяжкую для меня минуту? Вы должны, должны, обязаны протянуть мне руку дружбы. Ах, не делайте этих жестов, я ненавижу все, что напоминает мне театр! Представьте себе, поручик, он сбежал!» «Штабс-ротмистр, сударыня!» «Поздравляю, но я это не смогу выговорить. Верните мне его!», – и плюхнулась со всеми своими юбками на мою и так довольно помятую оттоманку, помахивая веером у лица, покрытого тусклой бледностью. «И кого же я должен вернуть, сударыня? – спросил я так же сухо, стараясь вытянуть из-под нее еще не прочитанный номер газеты. «Как кого? Конечно же, Абдулку!» «К сожалению, сударыня, не имел чести знать», – ответил я непреклонно и, бросив свои попытки взять газетные листы, заходил по комнате, делая вид, что вот-вот должен выйти вон по делам службы, даже сунул какую-то папку под мышку. Но все мои маневры закончились полным фиаско. Госпожа С. и не думала покидать меня, с жаром принявшись говорить какой-то нескончаемый вздор, который, впрочем, отчасти заменил мне газетные новости. Я сел в кресло, закурил сигару и терпеливо принялся выслушивать ее. «Ах, мой друг, это животное, представьте себе, действительно вообразило себя актером. Это то, которое понятия не имело, что такое роль, амплуа, выход! И это после всего того, что я в него с таким трепетом вложила! Неблагодарная тварь!». Она гневно вскочила, встал и я, с

надеждой сдвинувшись к двери, но она так агрессивно размахивала костяным веером, что я вновь предпочел усесться поглубже в кресло. Оказалось, что, да, действительно, театральная жизнь не пришлась по вкусу денщику Абдулке. Поначалу он делал все, чтобы его оставили в покое, даже ухитрился в день по десятки раз вызывать у себя чудовищную рвоту и попасть в лазарет. Молился Аллаху по пять раз в день. Но госпожа С. не оставила его и там, вынуждая перепуганного солдата выучивать невесть зачем непонятные сумасшедшие речи. Так всего лишь за месяц она довела этого здорового, видимо, неглупого парня до полного инвалидного состояния. Да простит мне Всевышний мое греховное словоблудие, но без некой потусторонней цепи предопределенностей, видимо, здесь не обошлось, так как из Омска в это время уже катил на перекладных тот составленный мной приказ о гарнизонном театре из инвалидной команды. И как не сопротивлялся взбалмошной жене батальонный командир, но денщика он своего потерял окончательно. Сам виноват, не бери жену из актрис, тем более на склоне лет. Но оставим в мире заслуженного вояку и вернемся к сюжету. От Абдулки госпожа С. скоро сама отступилась, он действительно стал нездоров умом, что выражалось в истерических беспрерывных кривляниях лица, тем паче, что и без него теперь у нее было достаточно актеров. Какое-то время он поднимал и опускал занавес, но вот в театре появился какой-то ссыльный чахоточный поляк и теперь он принялся донимать бывшего денщика. Со слов госпожи С. выходило так, что как раз не она, а этот поляк нанес непоправимый ущерб его уму. Он принялся учить Абдулку дышать, как дышит лошадь, уверял его, что человек может быть птицей и, что совершенно безумство, живым деревом. Без сомнения, утверждала она, это и было первым толчком к его безрассудному побегу. Однако, что удивительно, после сближения с этим персонажем Абдулка перестал кривляться и вдруг стал исполнять роли. Правда, не у нее в спектаклях, а у того же ненормального поляка, которого она из-за мнения местного общества должна была терпеть. Поляк поляком, но небольшие сценки уже в своем будуаре, как я понял, Абдулку она все же опять принудила разыгрывать. Хотя почему принудила? Бывали минуты, когда она умела быть очень очаровательной. Так прошел еще год, больше. Батальонный командир смотрел, смотрел на эти спектакли и взял и обратно сунул Абдулку в строй. И его можно понять, да и должно: солдат стал здоров, так что тут один святой долг перед царем и отечеством. Тогда этот Абдулка и бежал.

Поведав все это на одном выдохе, госпожа С. выжидательно замолкла.

–Так чем могу служить, сударыня? – сказал я, вставая.

– Верните мне его, сколько же можно это повторять!

–Как?!

Мое изумление ее нисколько не смутило и она не терпящим возражений тоном (Все-таки жила же она с ротным командиром) заявила: «Поймайте его!»

Жизнь вообще настолько курьезна и неизвинительна, что единственным спасением остается воспринимать ее только как комедию, но на этот раз я не смог даже улыбнуться, просто опрокинулся назад в кресло и так был взбешен, что раскурил свою потухшую сигарету уже без огня.

– Ну что вам стоит, поручик? Вы ведь все можете! Вы там в свите, в канцелярии губернатора! Вам можно приказывать. Если вы думаете, что я влюблена в этого болвана, то это дурно. Что стоит вам поймать одного беглеца?

– Обратитесь в полицию, сударыня, – стиснув зубы, еле выговорил я. Нисколько не отступая от вихревого сигаретного дыма (в тот момент она пошла бы и на картечь), госпожа С. кинулась, теперь уже слезливо, горячо умолять меня:

– Там же такие тупицы! Они никогда не смогут его поймать. Они не там ищут. А я знаю, я думала...

– Что тут думать, – отвечал я механически. – Наверняка этот Ваш Абдулка в каком-нибудь балагане.

–Да-да! Так распорядитесь! Прикажите команде пройти по театрам, проверить гастрольные труппы, расспросить актеров с пристрастием.

– Увольте, сударыня!

– Но я сама никак не могу! Я – дама. А там пойдут вопросы, ворох почему я и зачем мне. Он все-таки солдат, а я... А муж... как будто бы и не бежал у него солдат! Возмутительно! Ну что мне делать, что? Не писать же подметное письмо.

Но я уже не слушал ее, голова разболелась нетерпимо. И потом еще с Петербурга меня стал мучить кашель и грудная слабость. Не помню как мне удалось тогда отбиться от этой особы, возможно, меня спасло то, что почти в тот же день я взял отпуск и выехал на все лето к отцу в Ставку, в степь.

Столичным приятелям я не писал, надеясь самому в октябре быть в Санкт-Петербурге, но здоровье мое к осени, несмотря на полный курс лечения кумысом, не поправилось, да и в декабре оказалось очень слабым. Так постепенно я пришел к унылому заключению, что и в Санкт-Петербурге мне

постоянно жить нельзя. Я строил планы получить место консула в Кашгаре, а в противном случае служить у себя в Орде по выборам. Думал я посвятить себя на пользу соотечественников, защищая их от чиновников и деспотизма богатых, и был выбран большинством голосов, несмотря на то, что меня обвинили в толпе в самых жутких прегрешениях вплоть до того, что я-де «не имею череп гладко выбритый», как предписано правоверному, и не совершаю пять омовений в день, и, главное на то, что партию моего противника поддерживал сам губернаторский секретарь, баварский немец, оставивший когда-то родной Мюихен, дабы обирать кочевников в независимой Татарии и на их деньги шить жене и сестрице с имечком, оканчивающимся на «chen», померанцевые платья на цитроновых лентах. Тогда мой противник, уступавший мне в голосах в три раза, отвез в Омск тысячу рублей.

Я много читал обличительных статей, но на этот раз думал: постыдятся, подлецы, и не тронулся с места. Гордость обуяла. К этим же неприятностям прибавились и семейные трения. Когда-то отец был дружен с одним из султанов из оренбургской степи и дал ему слово породниться. Вот и решил с матушкой женить меня на его дочери: будет, мол, ему таскаться. Надо сказать, что предназначенная мне невеста была влюблена в моего брата и писала ему часто в это самое время нежные послания. Я, разумеется, отказался от женитьбы, особенно в таких обстоятельствах, и выразил свой взгляд на супружество. Это совершенно озадачило моих родителей и привело в ужас. Сын против отцовской воли! «Вот на что я воспитал его, – роптал отец. – Не уважил меня и мать на старости лет». Матушка заговорила о своем молоке, даром потраченном. Действительно, с киргиз-казакской точки зрения это была ужасная неблагодарность и дурно ставила меня в глазах сородичей. Отец был так огорчен, что где-то торжественно объявил, что не намерен более воспитывать своих детей по-европейски. «Они портятся», – так говорил он в заключение. Но дорогой мой отец, многоуважаемый и высокочтимый полковник султан Валиев, как быть с чувствами? Они ведь не портятся, воспитывай хоть как человека: по-европейски ли, по-африкански ли!

Мои родные – люди добрые, честные и очень неглупые, но все-таки киргиз-казаки и при том киргиз-казаки-аристократы и имеют потому множество как национальных, так и сословных предрассудков и качеств. Особенно выделяются непомерное упорство и тщеславие (последнее качество можно назвать национальным). Понятно после этого, что они имеют слишком высокое мнение о себе, о своем уме и прочее. И понятно, что всякие споры вызывают у них только раздражение, особенно если оспариваются обычаи

предков, которые в народе почти боготворятся. К тому же у киргиз-казаков много песен (я разумею это слово в смысле, в каком разумели его в средние века, например, «Песнь о Роланде»), бездна поговорок и афоризмов, сочиненных когда-то их умными предками. И теперь не все мои оговорки и доводы они находили кроме личных, еще и аргументы старины, при этом испытывая ко мне жалость, которую испытывают при разговоре со слабоумными простаками.

Так под град упреков, нравоучений и благоразумных советов покориться прошла вся эта долгая зима. Бросить все и уехать по отличному санному пути я не мог хотя бы просто из-за принципа – губернские власти все еще не могли решиться окончательно припасть к толстой мошне моего противника. Быть же здесь составило мне сплошную муку. Бог с ним, я готов был часами выслушивать аргументы старины, многие из них были действительно забавны и действительно умны, но видеть, вернее, не видеть каждый день глаза влюбленного в ту девицу брата, прятавшего их от меня при любой встрече, представилось совершенно невозможным. Не решаясь открыто заговорить со мной, как со старшим, он, однако, все же боролся за свое счастье, правда, весьма оригинальным способом: выискивал на всех доступных ему дорогах исполнителей баллад о трагедиях разлученных влюбленных и засылал их ко мне. И то, что я не рыдал, выслушивая их под аккомпанемент домбры и даже однажды гармошки и скрипки, и с довольной физиономией записывал что-то, приводило его, наверно, в полное отчаяние, и певцы с каждым разом пели все более и более безысходные варианты драм, в которых уже без смерти никак не обходилось. Наконец, когда мне спели, начав утром и кончив утром уже следующего дня поэму о Баян-Слу и Козы-Корпеш, где жених убит, а невеста убивает себя, воспользовавшись тем же кинжалом, я понял, что задерживаться мне теперь нельзя ни дня. Тут кстати пришло и известие, что на должность султанского правителя в уезде утвержден самим генерал-губернатором не я, а тот богатей-пройдоха. Я окончательно отказался от оренбургской невесты и опять бежал в противный мне своими сплетнями и интригами Омск. Нет, не искать правды, ибо правда как раз в том, что у нас на Руси законы пишутся не для генералов, да и генералы больше любят, как мне известно, натуральных киргиз-казаков, потому что в них, знаете, больше этой восточной подобострастности: «Гирей сидел, потупив взор...» и прочий вздор. Глупо нынче просить удовлетворения свыше. По моему, это то же самое, что просить конституцию: посадят да потом еще сошлют к Макару на

пастбище. В Омске я занялся сгоряча подготовкой юридической реформы и не выходил из архива суда.

Нет никаких сил и желания заканчивать эту историю, начатую весьма не к месту рассуждениями генерала о романотворчестве. Но его жена мадам Гасфорд без сомнение права: романы врут, все, что в них есть – вздор.

В те дни листая дела в коллегии, я наткнулся на папку о принудительном возвращении жены некому батальонному командиру. Ба! – воскликнул я, да ведь это же мои старые знакомцы. Вчитался, и по тому, что можно понять между строк, понял, что дело заведено вовсе не от того, что батальонный командир отчаянно скучал по своей супруге в пограничном гарнизоне, а скорее всего потому, что эта госпожа С. совершила нечто такое, что смущало мораль местного высшего света, и быть этой особе не то чтобы в нем, а даже подле него не полагалось. И по слабости своего характера не мог упустить случая шокировать наших моралистов, появившись снова перед нами с госпожой С. Сколько раз я укорял себя за эту черту! Нет же, снова и снова эпатировал, злил публику. А ей-то что? Обыватель непобедим, пожмет плечами, закатит в возмущении глазки, а сам ты вдруг оказываешься один у той беды, о которой предупреждал теперь уже знаменитый на всю Россию литератор. И сейчас никто меня не толкал разыскивать эту женщину, тем более, что это оказалось сделать крайне трудно. Во-первых, о ней никто не хотел говорить, затем она сама уже нигде не появлялась. Наконец я ее нашел в третьеразрядной гостинице, хотя какая гостиница! Это был, пожалуй, просто постоялый двор. Спросил хозяина. «А, это помешанная? Извольте, в седьмом номере», – любезно пояснил тот и провел меня в каморку под лестницей, где на топчане с сырым солдатским одеяльцем сидела изнуренная баба седыми прядями волос, торчащими из-под кружевного грязного чепчика. «Только вы уж, господин офицер, дверь затворите, – предупредил меня хозяин, почесывая себя обеими руками в самых невероятных местах. «А что?». «Как что-с? Мне четвертной обещано, коли продержу туга до Вербы». «Пошел вон!». «Слушаюсь! Только дверь-то попридерживайте...», – сказал нисколько не смутившись хозяин этого сквернейшего места и пошел себе чесаться в темноту коридора.

Признаюсь, я уже был согласен без лишних слов ретироваться, как вдруг она вскочила со своего топчана и, отвратительно кокетничая, принялась приплясывать подле меня. «Ах, поручик! Как я рада вас видеть, идите же сюда, несносный!».

Нет, предпочту все же не описывать далее эту встречу. Только кратко, и только то, что мне удалось узнать позднее. Все это время, когда я был в Ставке отца, она разыскивала по городам и весям своего актера Абдулку, бежавшего от бессрочной службы солдата, и ведь нашла его где-то в затаежном Ачинске в какой-то бродячей труппе. Она готова была на все ради него, даже бродяжничать с этим театриком, не имевшем даже понятия о ангажементе, да вот Абдулка напрочь отказался и от нее и от тех денежных средств, которые она еще не успела прожить. В порыве яростной ревности она и сообщила о нем полиции, надеясь, что дезертира насильно вернут обратно в роту мужа, а там, смотришь, и в ее будуар. Его арестовали, но случилось совершенно другое, вернее, то, что и должно было произойти. Абдулку провели сквозь строй. Как она умоляла, просила, заклинала этого не делать и кого только не просила! Но добилась лишь того, что ее перестали пускать даже на порог. Что же касается Абдулки, то, истощенный голодной и пьяной актерской судьбой, он не выдержал и помер после экзекуции и, кажется это была последняя кара шпицрутенами в истории Российской империи. Я попытался вывести из этого заточения госпожу С., но она вдруг истерично заупрямилась и испуганно зарыдала. Да и хозяин этой тараканьей тюрьмы снова выступил из темноты и так яростно принялся почесываться, что казалось, вот-вот кинется чесать и меня. На следующий день я снова был в этом дворе, но оказалось, что госпожу С. часом раньше увез ее муж.

Не знаю сколько я прошел под землей опять, но видимо большое расстояние, так как снова притомился и сел на песок. Даже прилег и вновь почувствовал, как песчаное русло несет меня туда, откуда я только что притопал. Была мысль воспротивиться, но потом я махнул на все рукой и погрузился в привычные уже для меня, хотя и не самые приятные, озвученные и движущиеся сцены из моей жизни.

Просматривая свой последний дневник, я вижу неровные строчки, писанные при свете походного костра. В этой экспедиции в нем горели серые ветки Juniperus sabina, взятые в запас, так как на этом пути до самой границы Малой Бухарии – Кашгара, нет другого топлива. В этой закрытой от британцев и России стране мне предстояла исполнить роль резидента военной разведки.

Перейдя 9 сентября 1858 года воды горной Зауки, мы вступили в страны неведомые и незнаемые. Караван наш только что успел разбить шатры на небольшой болотистой полянке, покрытой местами сугробами. Идет снегопад и холодно. Впрочем, я очень доволен. Еще всего десять дней назад я, дожидаясь этого экспедиционного каравана, скрывался в родных степях среди камней, а ночью рыскал как барымтач. Со мною не было ничего: ни огнива, ни хлеба, ни воды. И сам я был кто? Ни русский офицер, ни киргиз-казакский султан, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Снаряжавший меня и любивший нападать на мой dendysme, полковник К. К. Г-ский, лишивший меня всех удобств ради высшей секретности до той степени, которая, видимо, ему, стороннику натуральной школы, казалась идеальной, не выдержал бы и половину моих тогдашних мучений. Я не имел даже подорожной, которую я бы очень бережно держал под полою плаща, которого тоже не было. А без нее, стоило мне только двинуться с места, отмеченного как точка тайной встречи с караваном, меня могли схватит казаки и представить в приказ как бродягу, или же братья киреевцы могли ограбить, оставив в виде Адама, изгнанного из рая. Но, слава Аллаху, все позади, и я пью чай у этого костра, пью как привык, по-купечески. Больше того, кашевар Кошкар готовит мне ужин. Кругом слышно блеянье овец и говор работников, сидящих вокруг огней в ожидании горячей похлебки. Речь, кажется, идет у них о трудностях сегодняшнего подъема. Слышу, как Бекмурза, киргиз из соседнего коша, рассказывает с большим жаром, как его верблюд с вьюком упал с косогора и как он спасал его. Затем о том, как два года назад зимой проходил Хабарасу в Тарбагатае и что путь там среди скал так был скользок, что целыми днями они рубили ступеньки во льду, а в покатых местах клали под верблюдов войлок. Кто-то из них сравнивает пройденную нами Зауку с Кендыр-диваном по пути в Ташкент и находит, что Кендыр круче и выше. Ему возражали, утверждая, что Зауку опасней: здесь дорога малоизвестна и не утоптана. Это все народ бывалый и многие из них всю свою жизнь служат при караванах и отлично знают географию пройденных ими стран. Не удивлюсь, если кто-то из них был, скажем, в Аравии или Индии. Затем после непродолжительной тишины, когда беседа приняла особенно интимный сгусток, вполголоса заговорил один малый по имени Акжол, известный в караване своим красноречием. Я не все слышал в силу отдаленности моего ложа от того очага, где они расположились и беседовали, но какие-го отрывки речи Акжола все-таки достигали меня:

– ...отец его, джунгарский хан, имел еще сына Калдана. Шуна жил с наложницей Кара-кыз, в которую влюбился, но на ней женился его брат. Оскорбленный Шуна сдержал себя как мог и пригласил своих лучших двенадцать друзей разгуляться по хребтам Алтая. Отъехал он с ними на не один конский пробег от родного аула, рассказал друзьям о своей обиде и, не выдержав тут, развернулся и выпустил стрелу в сторону оставшегося в ауле жилища брата. Стрела летела день, но вонзилась прямо в дверь братовой юрты.

– Пах! Пах! – удивлялись слушатели рассказу Акжола.

– Калдан узнал по стреле ее хозяина, – огорченно сообщил дальше рассказчик и продолжал еще более скорбно. – И пожаловался хану-отцу. Когда Шуна возвратился домой, хан-отец велел схватить его, вырезать ему лопатки и связать сыромятными ремнями руки и ноги, а затем бросить в подземелье. Это сделано было быстро и секретно и никто не узнал, куда девался любимец народа. Только один старик, вхожий в дом хана, догадался об истине. Сделал от своей хижины подкоп к темнице и в продолжении семи лет тайно питал узника. А между тем, сильный сосед Черный калмык, узнавши, что не стало вещего батыра Шуны, присылает к отцу-хану двух сорок, из которых одна была настоящая, а другая превращенная колдовством из вороны. И условие, если хан-отец отличит настоящую сороку от мнимой, то он, Черный калмык, будет платить ему дань по-прежнему, если же не отличит, то перестанет. Не знал ответа хан-отец и сильно запечалился. И вот старик однажды, доставив еду Шуне, рассказал ему о горе отца. Шуна сказал: «Велика ли мудрость отличить сороку от вороны! Ты посоветуй моему отцу поставить шест, а подле шеста навес и в ненастное время выпустить птиц. Сорока полетит под навес, а ворона сядет на шест». Таким образом, птицы были разгаданы и Черный калмык остался данником, но никто не узнал, что это совет Шуны.

– Пах! Пах! Пах! Барекельды!

– Спустя год Черный калмык опять посылает к отцу-хану послов с поклажей, составленной из дерева, обтесанного гладко со всех сторон, с задачей – отличить где вершина, где корень. Опять отец-хан запечалился, и снова старик рассказал о печали хана Шуне. Шуна научил пустить бревно в воду, и тот конец, который утонет, будет со стороны корня, а вершина поднимется над водой. Снова Черный калмык остался данником.

– Пах! Пах! Пах! Афырай!

– Но через год он уже не загадку задает, а присылает железный лук, чтобы на него натянули тетиву. Однако лук был такой тугой, что никто не мог этого сделать. Бросились тридцать мужчин разом и все безуспешно.

Тогда Шуна научил своего старика заплакать перед ханом с такими словами: «Своего батыра мы сами уничтожили, а теперь должны покориться даннику!». Старик так и сделал. Услышав такие слова, хан-отец воскликнул: «Да не жив ли он?». Пошли посмотреть. Вытащили Шуну из ямы, а он весь оброс мхом, плечи его зажили, но он разучился видеть белый свет, упал ниц и пролежал так целый день, лишь ночью встал. Отец приказал его вымыть молоком и нарядить. Тогда Шуна спросил: «Для чего ты, родитель, меня, мертвеца, пошевелил?». Но хан-отец, вместо ответа, дал ему целую гору вареного до первого закипания мяса и целую чару вина. Съел мясо с кровью Шуна, выпил вино единым духом, подали другую чару, выпил и другую и закусил целым бараном. Тогда хан-отец пересказал ему свое горе. «Пусть несут лук», – велел Шуна. Тридцать человек, шатаясь от тяжести, поднесли к нему тот лук. Шуна согнул лук и одним мизинцем наложил на него тетиву. Потом сказал отцу: «Ну, родимый родитель, благословляй меня в путь, я тебе больше не сын, ты мне не отец». С этими словами и оставил свое царство.

– Пай! Пай! Пай! – запричитали слушавшие Акжола путники. Вот истинно простодушные сердца.

Чу! Шум: стада бегут на гору. Вот слышен отчаянный голос караванбаши: «Да буду я твоим серым ослом! Чтобы мне заплатить за все расходы!». И рассказчик и все его благодарные слушатели тут же вскочили со своих мест и бегут к гуртам. Слышны крики: «Айт! Гони! Айт!».

Представляю, как разочарован этим наш краснобай, при других условиях готовый рассказывать дальше своей аудитории и о том, как Шуна стал ханом Кокандии, и о том, как, конечно же, сам оставив престол, ушел к калмыкам на Волгу, опять же везде устанавливая справедливость, и тому подобную чепуху, до которой киргизы большие охотники. Такие притчи во множестве ходят в степи.

Постепенно шум стих, и работники стали возвращаться к своим кострам. Болтун Акжол в этот раз направился к моему очагу и пристроился рядом со мной на корточках.

– Волк, что ли? – спрашиваю я его.

– Он сам, – отвечает Акжол.

Вслед за Акжолом подходит еще один пастух и, приняв грустный вид, говорит плачущим голосом, что волк порвал одну из наших овец, затем эгоистически добавляет:

– Нет, чтобы ему, подлецу, порвать у других!

Огонь потух, все замолчали, я начинаю мерзнуть, да и время, должно быть, позднее.

– Кошкар, готовь постель, – велю я.

На следующий день караван поднялся рано. Утро было чрезвычайно холодное. Крик верблюдов и голоса работников не сразу оторвали меня от крепкого сна. В коше снова горел огонь и приятно шумел кипящий чайник. Завернувшись в шубу, я расположился около костра с пиалой. Вдруг раздался повелительный голос караванбаши Мусабая, приказавший снять шатры и вьючить верблюдов. Я нисколько не поторопился, согласный недосыпать, что, признаюсь для меня мука, но ни за что не способный примириться с тем, что мне не дают по-настоящему насладиться, пусть с дымком, но чаем.

А кругом началось шумное движение: брань, проклятья, благочестивые призывы к Всевышнему, Пророку и святым оглашали узкое ущелье. Надо предупредить шуметь меньше, не дай Бог, все это вызовет камнепад, что нередко случается в этих краях. Но встать и вступить в разговоры с караванщиком лень. Едва я успеваю закончить чаепитие, как караван выступает в путь. Кроме меня у своего костра задержались бухарцы. Эти не могут тронуться в дорогу, не раскурив свой обычный кальян с обязательными зернами мака. Кальян обходит всех и густое облако дыма покрывает всю компанию. В противовес им я закуриваю обычную трубку.

Наконец, все собрались, и тут в нашем караване замечают, что нет Акжола. Покричали, он не ответил. Караванбаши уже на коне, мы следуем его примеру. Начиная каждый переход, Мусабай, считавшийся с некоторого числа этого года моим родным дядюшкой, становится серьезен и даже обычную свою присказку об осле, которым он готов стать во избежание следующих нелепостей, оставляет. Теперь он собран и суров, как адмирал у штурвала флагманского корабля. Он погоняет коня, чтобы догнать вереницу ушедших вперед верблюдов, мы тоже дали ход. Между нами царит глубокое молчание, в котором, несомненно, есть нечто тревожное. А между тем, большинству из нас не дают раскрыть рта окоченевшие от холода скулы и растрескавшиеся от морозного горного ветра губы.

Одетые в шубы и подпоясанные крепко широкими кушаками и с красными носами на посиневших лицах, мы похожи на буддийских бурханов: шарообразные наши фигуры лишены в седлах всякого движения. Наши меховые и ватные одеяния, как панцири, теснят дыхание.

Если же придать усилие пояснице и чуть приподняться, то можно увидеть, как наши верблюды уже спускаются рядком к долине реки Аксай. Затем караванная тропа предположительно перейдет эту реку и где-то там, через проход Кокия, выйдет на первый маньчжурский пикет.

Рабочие-киргизы в своих войлочных плащах, обслуживающие караван, вообще похожи на неодушевленные существа. А если признать, что окрестная картина наводила серое уныние, то можно понять возникшую во мне мрачность мыслей: кругом желтые горы, лишь впереди виден кусочек выветренной долины. Остовы лошадей и баранов покрывают все кругом, на некоторых из них еще висит лохмотьями шкура и видны высушенные ветром куски мяса. Этот скот, должно, погиб год назад от здешнего снега и морозов. Я слышал, что тогда были особенные своей смертельной силой снега, которые горные киргизы весной называют сарыкар – желтыми. Не удивлюсь, если среди бесконечных этих костей лежат и человеческие скелеты. Но кроме меня, видимо, никто не думает об этом, нисколько не отягощаясь местностью, и спокойно двигаются вперед. Впереди на сопке стоят наши товарищи по путешествию – хивинские купцы. Один из наших сартов срывает господствовавшую печать безмолвия, и мы, удивленные раздавшемуся обычному человеческому голосу, разом оборачиваемся к нему.

– Что вы встали, – говорит он хрипло. – Разве не видите, что нас зовут, – и озабоченно показал рукой на ту дальнюю сопку.

Действительно, один из стоявших там купцов делал телом вольты направо, что принято считать знаком призыва. Мы поскакали к нему, признав в нем знакомого, который до нас уже несколько раз бывал в Кашгаре.

– Что такое? – спросили мы после взаимных приветствий.

– Пока, слава Аллаху, – говорит этот купец с окладистой белой бородой. – Опасности, видимо, нет, но надо быть осторожными. Дело в том, что эта долина есть самое опасное место, все разбойники проходят по ней. А потому я прошу вас зарядить ружья и не отходить караванам далеко от нас.

– Воля Аллаха да будет, – говорит наш караванбаши Мусабай, склонный к фатализму. – Без его воли и волос не выпадет из бороды, – но все-таки остановил караван и переставил людей. Теперь и впереди и сзади появились молодцы с ружьями. Выяснилось к тому же, что тот краноречивый малый Акжол так и не

появился. Он был из числа тех работников, которые присоединились к нам уже у самой границы, в общем – чужак, и Мусабай решил махнуть на него рукой. Мне же стало жаль этого спутника – пропасть здесь не составляет никакой трудности. Я, таясь, развернул свою лошадку и поспешил к тому месту, где мы давеча разбивали лагерь. Заметь мой маневр Мусабай, он ни за что не разрешил бы мне это сделать. Еще бы, ведь бедняга отвечал за меня не только головой, но и всем своим торговым состоянием.

У потухших костров Акжола не оказалось. Я проехал дальше за отвесную гранитную скалу и увидел, как за ней, на краю пропасти, прямо на валуне стоит человек. Стоял он прямо, разве что выставив вперед ногу, и, казалось, в нем ничего не было особенного, если бы не серое его лицо, окаменевшее на ветру. Глаза сузились до сущих ниточек. Нос заострился как клюв. Не будет преувеличением, если скажу, что он стоял как монумент Чингисхану, принимая во внимание то могучее своей величавостью пространство, расстилавшееся перед нами. Я несколько раз окликнул его, но он, попирая стопами Азию, не отозвался. Он не только не изменил позы, но даже на лице его не дрогнула ни единая черточка. Возможно, он стоял так «дум великих полн», но скорее всего, свихнулся от разреженности воздуха. У меня не оставалось времени разбираться в тонкостях его психологии, и я, подъехав к самому валуну, протянул руку, схватил его за ворот ватного халата и просто стащил вниз. Он не стал отстаивать свою странную, надо признать, затею, и молча, как продрогший кот, поспешил за моим конем вслед за караваном.

Бежал он скоро, не поднимая на меня глаз. Но все же осталось какое-то впечатление, что я невольно проник в его какую-то тайну. И, как следовало ожидать, теперь не сторонился, а наоборот, как можно больше вертелся вокруг меня весь оставшийся путь, словно хотел вернуть себе то, что я незаконно у него отнял. Правда, заговорить со мной он не решался, да и я по причине мрачности мыслей, не покидавшей меня, не был разговорчив.

Чем ниже спускались мы и чем выше поднималось солнце, тем более становилось жарко, до бесед ли! Однако после полуденного привала, когда мы окончательно оставили свои черепаховые панцири шуб, ему удалось, загадочно отводя глаза и горестно вздыхая, сопровождая все это невероятными ужимками лица, завлечь меня в сторону, к заброшенному караван-сараю Таш-рабат. Тем более, что я сам хотел идти осмотреть и зарисовать это замечательное по своей архитектуре здание со сфероидальным куполом, но было лень вставать и тащиться туда по песку, да и приходила в голову мысль, что это лучше сделать на обратном пути. Но так как Акжол не отставал от меня, я оказался среди этих

развалин с ним. Этот рабат имел множество легенд. Одна из них гласит, что если один раз считать, то в нем оказывалось сорок комнат, если в другой раз – тридцать девять. Исчезающая комната была не единственным его достоинством. Дикокаменные киргизы почитают этот рабат за несомненное чудо и приносят, проезжая мимо него, в жертву двух баранов, и мы, подойдя к зданию, увидели его свеже-окровавленный порог и головы архаров, навешанные на сами ворота.

В большом зале рабата я, увлекшись настенными мистическими надписями, не сразу заметил, как Акжол снова встал в позу. Только когда он довольно внушительным тоном заявил: «Ставя тебя достойным, указываю на свидетельство», я вспомнил о нем.

Бог с ней, с позой, сейчас она была просто комична, нежели загадочна, а вот предмет, который он протягивал мне, был весьма и весьма любопытен. Это был изрядно потрепанный лист лощеной бумаги длиной не менее девяти и шириной около четырех вершков. На нем отчетливо виднелся знак бычьей головы, что уже свидетельствовало о его высоком значении. Скорее всего, это была печать крымских Гиреев. Так оно и оказалось. Первая строка, написанная золотом, гласила: «Слово Давлет-Гирей-хана», затем шло: «Великого улуса уланам и биям правого и левого крыла, начальствующий тьмой, тысячью, сотней, десятком, даруга-бекам внутренних селений и городов, законоведам, наставникам, судьям, ведателям метрик, набожным старцам, отшельникам, священникам, муэдзинам, ладейщикам, мостовщикам и письмоводителям, проходящим и едущим путникам и путешественникам и многому народу, всем сущим властям букаулам, ясаулам, и всем причастным к какому бы не было делу».

Далее, повеление великого могущественного владыки в этом всесильном ханском ярлыке таково: «Вследствие спора и тяжбы за земли владетеля сего августейшего фирмана знатного в роде Тайган Ахмед-бия и Али-Паша-уланом, был послан по священному и обязательному ярлыку знаменитый из скромных ученых и превосходнейший из законоведов Маулана Махмуд, да возвысятся его благодетели, который осмотрел все по законам, сделал чертеж и дал Тайган Ахмед-бию в руки копию составленного акта. По чертежу, сделанному в Карасу, границы четырех сторон определяются так: на юге – Караагач, принадлежащий Мунал-бию, на востоке – земли Али-Паша-улана, на западе границей служит Степная дорога, а на севере – земли Абу-Салям-бия. Основываясь на чертеже и удостоверении известного муллы Махмуда, поднес Тайган Ахмед к нашему счастливому порогу лошадь и испрашивал от нас ярлык с красным знаком и голубой печатью на земли, определенные

вышеупомянутыми границами. Приняв благосклонно лошадь, я наградил и пожаловал ему земли в описанных выше границах, дал в руки это государственное письмо с красным знаком и голубой печатью и приказал: дабы на будущие времена никто, не исключая больших и малых султанов, уланов, биев и других, не чинили препятствий и обид вышеупомянутому Ахмед-бию, когда он будет владетелем пожалованных земель. Воины и слуги наши так же да не делают ему притеснений, обиды, беспокойства и страха, ибо он нашей ханской милостью обласкан и пожалован. Воспрещается им под каким бы ни было видом, на каком бы то ни было основании и какими бы то ни было средствами и путями заводить споры и причинять ему обиды. Тех же, кто нанесет ему оскорбление, местные власти обязаны останавливать, обуздывать и удалять. Пусть он, сидя спокойно, с чистым сердцем, воссылает молитвы и благословения для нас и ради нас. Так говоря, для держания в руках дан ярлык с приложением перстневого знака. Писано в благословенном месяце Мухаррам, лета 977. Карасу».

Ярлык Давлет-Гирея меня заинтересовал, но слышно было, что уже поднимают караван, и я предпочел вернуть его Акжолу и поспешил скорее осмотреть рабат. Акжол же, в силу своей величественной позы, не в силах был задавать вопросы, ожидая, видимо, благосклонно их от меня, и не мог мне помешать. Я сделал некоторые наброски карандашом и поспешил к своему коню. Тронулись.

Первая встреча с кашгарским пикетом Иссык-караулом состоялась бестолково, и в этом была моя гарантия дальнейшего беспрепятственного продвижения в Terra incognito.

Пикет стоял у входа в ущелье и был окружен глиняной стеной с башнями. Перед ним зеленели аллеи больших тополей и тутовых деревьев. Не доехав до него несколько верст, я отстал от каравана и зарыл в одно приметное место несколько книг, дневник и уничтожил все бумаги, написанные по-русски.

Караван остановился в пятидесяти саженях от Иссык-караула, и так как прибыли мы к нему очень рано, было около пяти часов утра, то и хотелось, если можно, взять скорее пропуск у офицера и следовать дальше.

Наши кокандские охранники уверяли всю дорогу, что местные караульные службы их очень боятся и, что если увидят при караване, то не осмелятся сделать остановки, и, что если неверные, то есть воины-маньчжуры, и вздумали бы это сделать, то они проведут нас далее и без пропусков. Только на деле вышло другое.

При нашем приближении с одной башни закричал часовой, и солдаты, сидевшие в тени деревьев перед стеной, бросились поспешно в пикет и заперли ворота, а на других башнях появились несколько бритых с косами голов, да и те скоро исчезли. Видимо, они приняли нас за авангард какого-нибудь мятежного ходжи. На многократный крик и стук в ворота через время, явно чего-то опасаясь, показалась физиономия кашгарского землепашца. Высунувший его солдат подсказывал ему вопросы и тот, как кукла, повторял за ним:

– Кто вы такие?

– Мы? Да разве ты нас не знаешь? – говорили наши кокандские сипаи, обязанные перевести нас через незамиренных дикокаменных киргиз и рекомендовать нас кашгарским властям.

– Ах! А это что за странные люди?

– Это – наши подданные, слуги хана, пришли с торговым караваном.

– Позвольте, я доложу.

– Поворачивайся скорее обратно, а не то я твою сестру! – выкрикнул вконец рассердившийся кокандский унтер-офицер и ударил рукой по своей сабле.

Пришлось еще долго ждать, когда, после кудахтающих криков, ворота приоткрылись и вышел бледный и худой, как скелет, капрал, с трубкой в руках, и, очевидно, подверженный курению опиума, в сопровождении все того же крестьянина, использовавшегося в роли толмача.

Капрал оскалил свои острые зубы цвета ляпис-лазури и закричал:

– А ну, признавайтесь во всем! – и затопал ногами.

В ответ ему завопил наш унтер:

– Я твою сестру!.., о которой я уже сказал свое дело, и еще раз сделаю!!!

Они принялись отчаянно ссориться, мы же, предпочитая не вмешиваться в этот дипломатический диалог, подумали, подумали, а затем подняли наш караван и спокойно, никем не останавливаемые, прошли мимо этого караула и двинулись вглубь страны.

За Учбурханской возвышенностью сплошная масса садов. Это и был легендарный Кашгар, совершенно не известный Европе и оберегающий свои тайны так ревностно, что летели только головы тех, кто пытался проникнуть сюда и приоткрыть полог таинственности над ним.

Минуя окрестные деревни, мы, наконец, добрались до самого города, но радость наша была сразу же омрачена ужасной пылью у городских ворот. Кругом двигались ослы, навьюченные мешками, и тележки. Дорожные

мелкие торговцы бегали взад-вперед, крича так, что, казалось, вы, не купив у них безделицу, отнимете этим у них последнее. Здесь сновали пешие солдаты, монахи, бабы, мальчишки, скулящие собаки. И здесь мы вынуждены были остановиться.

Караванбаши поехал в цитадель представиться городской голове – аксакалу по-тутошнему.

Кроме криков и пыли, надо признаться, нас беспокоило еще одно соседство – одиннадцать человеческих голов с лохмотьями кожи, с волосами, насажанные на длинные шесты. Надо было, созерцая эти кости, или отчаянно пугаться или думать о тленности мира сего. Я выбрал второе.

Но вот, наконец, к нам вышли туземные чиновники и принялись осматривать наш товар. С нами они не заговаривали, а между собой довольно свободно и я, уже действительно с тревогой, услышал, как один из них, поглядывая в нашу сторону, сказал второму:

– Вон тот, как две капли воды, похож на русского.

– Да ты разве видел русских? – засомневался его коллега.

– Нет, да уж так я думаю.

В Кашгарию свободно заходят только доверенные купцы, да и то после многочисленных проверок и обязательно с рекомендациями кокандского хана. Жизнь тех же, кого сюда приводит любопытство, как я уже говорил, ценится мало, что почувствовал на своей шее не так давно географ Адольф Шлагинтвейт: его белокурая голова, говорят, украсила вершину кашгарской пирамиды черепов, если и уступавшей несколько величиной Хеопской пирамиде, то в своем жутком величии превзошедшей последнюю намного.

«Трудно, – говорит здешняя народная песня, – содержать в Кашгаре осла, потому что связка сена стоит двенадцать пулов, но еще труднее сохранить голову, потому что: вай, вай!»

Наконец мы прошли ворота с будкой, в которой сидели, должно быть, часовые, потому что возле нее были навешаны ру – Из Семипалатинска.

– Кто вы?

– Андижанцы.

– Какие андижанцы? Из России?

– Нет, из Маргелана. Мы были в России, купили там товаров и привезли к вам.

– Зачем же вы из России приехали к нам? Разве русские товары не покупают в Маргелане?

– Купец едет туда, где можно иметь большие выгоды.

– Сколько вас хозяев и сколько прислуги? Отчего в донесении из Иссык-караула сказано, что у вас на семь огней сорок человек, а сейчас вы показываете сорок два?

Огромного терпения и труда доставили нам объяснения, что нас именно сорок человек, хотя по бумагам – сорок два. Двое по болезни отстали. И все равно нас пропустили в город с недоверием. Не успели мы хорошенько расположиться в отведенном для нас караван-сарае, как ко мне прибежал Акжол и, хитро поблескивая глазами, сообщил, что кашгарцы ищут в нашем караване русского. Я не ответил на его доверчивость, но он, продолжив, выдвинул другую гипотезу, которая очень меня бы устроила:

– Эти хитрецы делают вид, что ищут русского. Но я знаю, что это не так.., – сделав паузы и, так и не дождавшись моей заинтересованности в разговоре, продолжил шепотом. – Я думаю, они ищут... Шуну-батыра.

Киргиз-казакская степь не только в прошедшие столетия, но и теперь служит убежищем разного рода рефюжье. В прошлом там скрывались недовольные и обиженные со всех сторон света. Бежали из татарской Сибири, из Коканда, Джунгарии, с низовьев Волги. Кроме множества дезертиров из простого народа, здесь нередко укрывались и люди аристократического происхождения, принимались с полным гостеприимством и даже сохраняли высокое положение. Так, два несчастных джунгарских князя – Дебачи и Амурсана – бежали из своего отечества вследствие политических событий и были приняты в степи и получили целое киргиз-казакское поколение в управление. Карасакал, возмутивший башкирский народ в 1740 году, был самый загадочный и удачливый из степных авантюристов. Поселившись в степи и получив хоть и небольшой удел, он сразу же сделался опасным как для Российской, так и для Китайской империй. Первая боялась, как бы он при поддержке степи вновь не поднял на мятеж башкир, вторая была напугана его самозванством: он выдавал себя за ойротского наследника Шуну.

Князь Шуна, погибший наследник джунгарского престола, уничтоженного китайцами, был так любим джунгарским народом, что джунгары готовы были в любой момент восстать против тогдашнего хана Галдан-Церена, брата его. Более того, не раз представители разных слоев джунгарских калмык осведомлялись у русских и киргиз-казаков, не знают ли они, где Шуна. Был слух, что он командует русским войском, а этому было основание – Шуна был обласкан в свое время императрицей, получил чин под фамилией Краснощеков, но затем, оставив Петербург, снова ушел в степь за своей погибелью.

Джунгары даже были готовы сдаться без боя русским войскам, при условии, если их приведет Шуна.

Батыра Шуну знают на всем пространстве степей, где еще кочуют номады от Монголии до Волги. Не бывает и пяти лет, чтобы этот легендарный покойник не оживал где-нибудь и не будоражил умы. Сила образа Шуны постоянно подкрепляется не только сказками и легендами о нем, но в большей степени желанием свободы тех народов, которые не представляли ее себе иначе, как под рукою бунтующего принца. Сами же киргиз-казаки, охотно принимавшие всех самозванцев под именем Шуна, никогда не вставали под их знамена, хватало своих мятежников, скажем, дядюшек моих Кенесары и Габайдуллы султанов и целой феодальной партии под названием Ак-Арка, требовавших восстановления ханской власти, впрочем в пределах той же Российской империи.

– Скажу вам по секрету, господин Алимбай, – продолжил осторожно Акжол свою любимую историю, оглядываясь отчего-то по сторонам. – Хан-отец не отрекся от сына Шуны, а в путь ему дал благословение и сорок воинов, чтобы он когда-нибудь вернулся и восстановил свой народ, отбросив маньчжур обратно в их Китай.

– Постой, братец, – рискнул я быть несколько осведомленным в исторических фактах, но в тех пределах, которые доступны уму купеческого племянника. – Как твой хан-отец просил сына освободить народ от маньчжур, если тогда ими и не пахло не то что в Джунгарии, но и здесь в Кашгаре?

– Да, верно, – нисколько не смутился Акжол. – Шуне дал воинов и благословения его мертвый отец.

Ну, чем не Шекспир! Я расхохотался.

– Напрасно смеетесь, господин Алимбай, – обиделся фантазер и твердо добавил, – Шуна такой... он может оказаться в любой момент здесь и гнев его будет страшен.

– Ладно, братец, – сказал я, расположившись удобней и радуясь, что есть хоть какой-то предлог не делать караванных и базарных дел, предложил ему дальше рассказывать свои байки.

Акжол тоже поспешил устроиться поудобней, и с удовольствием принялся за свое бесконечное повествование:

– ...с этими воинами он и ушел через киргиз-казакские и каракалпакские степи к волжским калмыкам. К родной своей сестре, отданной в замужество за калмыцкого хана, и скрылся там. Тогда его злой брат Галдан-Церен-

хонтайши послал вслед смертельную угрозу – выдать Шуну! Заколебался калмыцкий хан, да и народ его думает: за что мы страдать будем, если джунгары с пушками на нас пойдут? Решили выдать. А сестра Шуны, узнав о предательстве, тотчас поспешила сказать брату. Тогда Шуна научил ее, как дело вести. Пошла она и сказала мужу-хану: «Я согласна, но мне будет грустно без брата моего Шуны». Хан спросил: «Что же мне делать?». Она ответила: «Оденься, как Шуна, стань волосом и голосом похожим на него, вот и не буду я скучать. Так хан и сделал. Тут забежали во дворец к нему калмы,.м. Закричал тут хан: «Отпустите, я не Шуна!» Тут вышел настоящий Шуна и сказал: «Отпустите его, я – Шуна». Закричали ему калмыки: «Ты врешь! Не станет человек искать себе смерти сам. Ты хочешь укрыть от нас Шуну», – и задушили своего хана. А ханом над ними стал Шуна. Восстановил он среди них справедливость и ушел один к ногаям, а с ними к османам. Там принял мусульманство и дал обещание никогда не говорить по-джунгарски. Тут услышал о нем русский царь и просит...

Что просил русский царь у Шуны, я так и не узнал. В комнату мою вбежал весь в поту и в слезах названый мой дядя Мусабай и, вспоминая осла, которым он непременно станет, принялся укорять меня в безразличии к торговом делу, при этом выпихивая кулаком работника-болтуна вон. Мусабай терпеть не мог моих уединении с кем-нибудь без него, все ему казалось, что я как-то проговорюсь о том, о чем он сам готов забыть и готов за это сейчас же уплатит любые деньги.

На следующий день в разгар размена и торга в наши лавки заявился косой посыльный наиббека – начальник местной полиции и потребовал явиться в полицию. Все это еще больше напугало караванбашу. Пришлось идти, и по дороге Мусабай все выпытывал у меня, почему этот посыльный полиции косился на него и твердил, что это не к добру. Пройдя полгорода, вы вошли в хорошо выбеленный дом, одна из стен которого состояла из деревянных решеток и вела в сад.

Наиббек возлежал на софе, а другие чины сидели на белом войлоке вдоль стен. Начальник полиции увидел нас и сверкая огромными черными глазищами, как у негра, приветливо воскликнул:

– А-а, это наши гости! Откуда?

Мусабай воздел руки к небесам, быстренько прочитав шепотом несколько спасительных строк из Корана и ответив учтиво:

– Из Маргелана.

– Сколько же вас маргеланцев?

– Четверо.

– Кто же остальные?

– Андижанцы, ташкентцы, бухарцы, разный другой рабочий народ.

– Когда вы выехали из отечества?

– Двенадцать месяцев назад.

– С какой целью приехали?

– С торговой.

– Сколько вас человек?

– Сорок живых и двое – умерли в дороге.

– Имена всех? Был ли кто из вас прежде здесь? – любезность постепенно исчезала из голоса наиббека.

Но и мой Мусабай еще имел дух не теряться и отвечал твердо:

– Все имена и данные в списках.

– Что заставило вас приехать в страну незнакомую, отдаленную, подвергнуться опасностям как от бурутов, так и от суровой природы? – снова смягчил голос наиббек.

– Желание открыть дорогу себе и наследникам. Разве это не достойный повод?

Тут наиббек встал, выдвинул одну руку вперед и грозно произнес:

– Как вы смели вторгнуться в пределы наши, не объявив полно о себе в пограничном пикете? И зачем вы ложно показали численность людей?!

– Мы торговцы и не знаем, что такое вторжение, – с достоинством ответил ему Мусабай и откровенно обиделся, даже слезы выступили у него на глазах.

Пока я мысленно аплодировал Мусабаю, наиббек что-то туго соображал, стоя с простертой рукой, затем махнул ею и снова развалился на своей софе.

Подставной дядя мой сделал паузу, как бы пережил обиду, и с вынужденным покорностью сказал:

– Если ваши люди в пикете даром едят хлеб и только тем и занимаются, что курят опиум, а писари там не умеют считать и путают живых людей с мертвыми, то это не наша вина. Кто берет государственное серебро, говорят должен служить без единой малой ошибки, иначе как им верить потом в большом?

Я давно заметил, что призывы блюсти государственные порядки производят на чиновников гораздо большее впечатление, чем какие бы не было другие аргументы. Кашгарский наиббек глубоко задумался над простой фразой нашего караванбаши, но задумчивость эту сразу же принялся сопровождать верноподданническими кивками. Вряд ли его голову, несмотря на весь его задумчивый вид, посетили какие-то думы, но это был

обязательный ритуал, и мы покорно ждали, когда он вернется к нам из мира государственных размышлений. Наконец он последний раз обвел глазами сидевших у стен на войлоках своих подчиненных и снова обратился к нам:

– Хорошо, я верю вам.., – затем, как бы заскучав, нехотя задал еще один вопросик. – Меня интересует теперь одно, ответьте и можете идти торговать. Есть среди ваших людей русский чин? Мы так давно не видели русских, что хочется просто взглянуть на него, – и надул губки, как капризный мальчуган.

– Нет, среди нас нет, ни русских чиновников, ни просто русских.

– Ай-яй-яй! Если бы вы, андижанцы, пришли к нам по пути, открытому для вашей нации, то мы бы вам поверили. Но вы шли иначе. Мог же к вам по дороге скрытно присоединиться какой-нибудь русский. Может быть, вы сами не знаете об этом, но у вас есть, какие-нибудь догадки, так скажите их нам и сразу же облегчите свои души и судьбы.

– Если вас очень интересуют русские, так поезжайте к ним, к ним дороги открыты. Они близко здесь, в илийском округе.

– Вот видите, как они оказались близко к нам. А это чрезвычайно опасно!

– Что же тут опасного, если есть граница? Если соблюдать ее, то можно вообще никогда с ними не встретиться.

– Как же не встретиться? Если уже в вашем караване есть русский! Если бы его не было, то вы бы не шли из России.

Вот болван! Ему кажется, что он поймал за хвост дракона, а это был только его собственный палец. Поговорив так еще с полчаса, мы ушли. Но, к сожалению, этим наши встречи с властями не закончились. Через день, не очернив, слава Аллаху, святую пятницу, нас повезли уже к хакимбеку. Не знаю, с чем это было связано, быть может, градоначальник хотел показать, что власть его распространяется не только на сам город, но встречу он нам назначил за пределами Кашгара. Пришлось в самое пекло выбираться за городские стены, где мы увидели у небольшого леса несколько шатров вокруг родника и какие-то сооружения из бревен, весьма похожие на виселицы. До этого мы решили и перед хакимбеком не делать поклонов и не сгибать колен, а честно, как и наиббеку, отдать положенную взятку и приветствовать его как свободные люди. Но теперь же, увидев перекладину, Мусабай затрепетал и принялся щипать мне руку. Вообще-то порядочные люди в отчаянии терзают себя, но что не простишь «дяде»! Я уже стал бояться, как бы он не упал в обморок.

Шатры были окружены стражниками, конюхами, стремянными, которые являются здесь тоже высоким сословием. Все это составляло огромную толпу

и черные подозрения нашего караванбаши увеличились, он еще сильнее побледнел и задрожал, при этом не забывая повторять свое обычное:

– Да буду я твоим серым ослом, какие расходы! Какие расходы!..

Если мы тут оставим наши головы, то расходы будут, действительно, большие. Нас ввели в двери центрального шатра, где мы увидели перед собой четырех сановников, сидящих в креслах. Один из них, черный, со следами оспы на лице и с красным шариком на мундирной шапочке, так и не проронил ни слова. Расспрашивал другой, сам хакимбек, сидевший справа от молчуна:

– Откуда вы приехали? Сколько дней шли? По каким местам? Далеко ли русские? Кто из вас какого племени?

После этого уже привычного нам допроса, на котором Мусабай все еще держался молодцом, нас отпустили, велев вечером явиться с товарами во дворец хакимбека. Видимо, наши подарки его не удовлетворили. И все же то, что нас не сразу повесили, как-то нас ободрило, и мы, вернувшись к себе, с аппетитом пообедали, я даже вздремнул затем.

Вечером мы были во дворце. Нас встретили, посадили в канцелярии и велели ждать. В это время мимо провели танцовщиц и во внутренних залах дворца раздались звуки туземной музыки и звон бубен. Сидели мы так долго, что я не выдержал и обратился к молодому чиновнику, караулившему нас:

– Скоро ли хакимбек нас примет?

Он засмеялся и сказал:

– Если бек водрузит знамя разврата, так уже не покинет это бранное поле до утра.

Вид у меня, думаю, стал крайне раздраженный, и этот чиновник протянул мне в утешение книгу, причем русского автора, вполне современную, правда, скверно отпечатанную и с множеством неразрезанных страниц. Я повертел ее в руках и вернул ему.

– Как? – удивился этот ловкий соглядатай. – Разве вы не читаете по-русски?

В эту минуту к нам вышел знакомый уже толстый мандарин с оспенным лбом и красным шариком на шапочке. Он шатался и не мог взять баланс. Увидев нас, он сделал неприятную гримасу и сказал по-маньчжурски:

– Пусть ждут, – и подхваченный такими же страшно пьяными приятелями, прошел дальше.

Становилось совершенно ясно, что за всей этой историей стоят маньчжуры. Оставалось последнее: обратиться в этой запутавшейся стране к третьей политической силе – к аксакалу, наместнику кокандского хана.

Мы с Мусабаем не сговариваясь поднялись и вышли вон. Перед домом все тот же мандарин, окруженный дружками, пытался вскарабкаться на низенькую лошадь. Это ему никак не удавалось. Наконец его потащили к колымаге и запихнули туда. Нас же ожидали грустные последствия.

Самое опасное произошло уже дома, когда под утро ко мне, еще не успевшему забраться после обязательной молитвы и омовения под пухлые крылышки бога сна Морфея, ввалился и тяжело протопал по комнате Акжол. Тяжело, потому что вышагивал он в позе, широко расставив ноги, и пытаясь свесить между ног несуществующее брюхо, очевидно считая его признаком высшего достоинства и важности. Пожевав губами, он нетерпеливо заговорил о своем намерении открыть мне государственную тайну, точнее, тайну государств, никак не меньше! Кратко, его тайна государств состояла в том, что знаменитый Шуна не умер, а долгое время скрывался у бурутов, но теперь перед великими делами он раскрывается. Да, он, Акжол, и есть принц Шуна! А сейчас он почти прибыл на свои родовые земли, право на которые записаны в том документе, который он, из-за благосклонности ко мне показывал в Таш-рабате. Здесь в своих пределах он намерен вновь поднять народ и восстановить все свои права. Быть может, в другое время я разъяснил бы этому горе-самозванцу, что дарованные века три назад Давлет-Гиреем земли некоему татарину, но уже владения графа Безбородко или князя Юсупова, находятся совсем в другой стороне, и что там, среди бахчи азовских арбузов, вряд ли можно кого-нибудь поднять, но ужасно хотелось спать, веки слипались, и я в согласии лишь махнул рукой, почти падая головой на твердую ватную подушку. И вот тут он изрек такое, что мне сразу стало не до сна:

– Я знаю, что ты, Алимбай, русский офицер. А так как мне лично русским царем дано звание командующего русскими войсками, то ты обязан служить мне и выполнять мою государеву волю.

То, что беки искали среди нас русского, было вполне естественно, как и то, что в каждом караване, вышедшем из Индии, они на всякий случай ищут франка. Все эти их поиски пустые хлопоты, искать они не умеют, служат государству скверно. Но то, что этот трепач указал именно на меня ставило под угрозу всю нашу экспедицию. А ведь как тщательно мы готовили ее. Никто не мог знать обо мне, кроме караванбаши Мусабая.

Мы исключили, казалось, любую, самую невероятную случайность. В расчет брался даже некий регент Кузнецов, болтавшийся в Коканде и знавший меня со стороны. Из-за него мы пошли не обычным путем, а через малознакомые горы, рискуя переломать все свои кости. И надо же, какой-то болтливый детина, неуч, стоит и тычет в меня грязным пальцем! Мало того, он принялся приказывать мне и говорить совершенно гнусные вещи:

– Я решил уйти сегодня и для восстановления имени мне вначале нужны средства, поэтому ты сейчас же передашь мне казну каравана. И не смей шутить!

Следовало его немедленно отхлестать кнутом, но в силу отсутствия этого замечательного инструмента, я вынужден был встать и за ухо выволочь его за дверь.

Утром, обсуждая наш предстоящий визит к аксакалу, я попросил Мусабая взять с нами этого нахала и болтуна. Караванбаши так был подавлен свалившимся на него испытаниями, что не в состоянии был ни удивляться, ни любопытствовать и велел кликнуть этого работника. Акжол присоединился к нам на улице и хотя в позу не вставал, но по всей его щенячьей фигуре чувствовалось озлобленность и решительность укусить.

Мусабай, как и было положено, по приходу в Кашгар, первым делом посетил аксакала, передал ему рекомендательное письмо от своих влиятельных знакомцев из Кокандского ханства и оговорил зякат: с сорока по одной, что составило сразу сто двадцать четыре золотых и еще четверть, не считая баранов. Теперь мы снова несли «юсун» , точнее, тюк с подарками нес Акжол. Заприметив груз на спине нашего слуги, выдрессированная стража пропустила к аксакалу немедля. Сам же аксакал, чистый узбек, прямой, добрый, но ужасно мужиковатый, увидев нас, панибратски закричал:

– Ха! Что вас так давно не видно, господа? Представились и вдруг исчезли, как багдадские воры, – и захохотал, довольный своей шуткой, при этом похлопывая нас по плечам и загривкам, а так же по тюку, возвышавшемуся на Акжоле.

Вместо того, чтобы веселиться вместе с ним, мы с Мусабаем неблагодарно разом опечалились, что, впрочем, аксакал не заметил. Он тут же заговорил о кашгарских женщинах. Затем, не прерываясь, перешел на анекдоты, идущие к предмету и не идущие. Он уже седьмой раз был женат в Кашгаре и смотрел на женщину как на вещь, даже хуже, как на негодную вещь – азиат! Наверное, это продолжалось бы вечность, если бы Мусабай, известный во многих караванных дорогах как мужественный и отчаянный караванбаши, не закрыл

рукавом халата свое лицо и не зарыдал, горько всхлипывая, как дитя. Кокандский сановник изумился столь странному поведению купца и прервал свой монолог. Этого было достаточно, чтобы я вступил в разговор:

– Таксыр! Мы измучились, как самые проклятые из проклятых, как самые обиженные среди оскорбленных! То зовут на допросы к наиббеку, то к хакимбеку, то к собаке беку, то к свинье беку, а беков в Кашгаре больше, нежели волос у шайтана на хвосте, да не будет упомянуто имя этого проклятого существа. На все вопросы мы дали ответы, так все равно нас мучают, зовут показать товары, а сами напиваются с кафирами, призывают танцовщиц, а мы сидим без еды и чая в темной комнате, лишенные возможности и торговать и помолиться. Избавьте ради Всевышнего, таксыр! Мы совершенно сошли с ума!

– А что им надо от вас, бедных? – участливо спросил аксакал, настолько участливо, что не стоило и отвечать: конечно же, и он был в курсе событий.

– Нас считают за русских, таксыр, пришедших взять Кашгар, – под всхлипы Мусабая продолжил я. – Мы имели несчастье привезти русские товары. Но им не товар нужен, а русский. Что ж, признаюсь, этот русский я.

При моих последних словах Мусабай перестал рыдать и так затрясся, что мне слышны стали клацанья его зубов. А у Акжола отвисла челюсть и вывалился язык да в такой степени, что, когда я указал на него и сказал, что этот человек может подтвердить мои слова, он и рукой не мог затолкать его обратно. Думаю, надолго он лишился способности краснобайствовать.

– Ай-яй-яй, – еще более участливей и приветливей, как мог, произнес аксакал. – Что мне слова вашего раба, ты сам скажи, русский, какого ты сословия и чина?

– А какого вам будет угодно, таксыр. Мне все равно, – голосом самоубийцы произнес я. – Пусть лучше полетит моя голова, чем разорится весь наш дом.

Наступило молчание. Аксакал рад был продолжить свои анекдоты, но вопрос был поставлен так, что он вынужден был принять какое-то решение. Наконец он спросил:

– А может быть, вы мало дали?

– Помилуйте, таксыр, – вскричав Мусабай. – Давали и рады бы дать сверху, берут, но при этом еще и издеваются. Хоть бы позволили продать товары по самой низкой цене, тогда бы и я на радости признал себя и русским и китайцем!

– Это нехорошо, – философски произнес аксакал. – Государство без взяток несовершенно, как дом с детьми без сладостей. Это было известно и древним, но нельзя же допустить, чтобы дача шла не в укрепление государства, а на произвол и издевательство!

Затем он, оставив философские нотки, затопал ногами и закричал на своих приближенных, стоявших вокруг с готовыми к делу саблями и чернильными перьями:

– Как вы позволяете, отчего не заступаетесь?! – и после этого снова обратился к нам. – А вы, дорогие купцы, с сегодняшнего дня не ходите ни к одному из этих свиней, а если кто-то из них осмелится вам что-нибудь сказать, я, при помощи Аллаха, оскверню его дочь и сделаю смятение не хуже мятежного ходжи!

Мы выбрались из дворца аксакала вполне довольные, правда, Мусабай еще долго укорял меня за авантюризм и риск. А неудачливый самозванец же исчез. Это, признаться, было жаль, стало чуть скучнее без этого караванного фантазера. Да и польза была от него. Кто же как не он подсказал мне гениальный ход легендарного Шуны: никогда люди не поверят в то, что человек сам способен искать себе смерть. И верно, для меня все закончилось благополучно. А вот заступившегося за нас и возводившего взятки в ранг государственной системы аксакала-наместника, как только появилась в европейской печати моя книга о неведомой стране Кашгар, вызвали в Коканд и казнили.

То, что я видел некоторые фигуры из моей прошлой жизни можно объяснить фигурами памяти, но мерзнуть, словно я не проплываю, возможно, под прокаленной пустыней Каракумы, а долго стою на холодном сибирском ветре, не мыслимо! Надо зайти хоть куда ни будь к теплой печи.

Низенький, что полковой орудийный ящик, домик казака Фирсыча Однолюбова состоял из двух половин. В одной помещалась кухня, поместному, сибирскому – изба с русской печью, другая половина называлась горницей.

Старый Фирсыч тих и уступчив и если не сидел у окошечка, то легонько топтался в валенках, встав подальше от икон, – так он приплясывал, напевая себе под нос бодренькую песенку из лихих, отчаянных времен, когда сабли наголо, а голова летит в кусты. Филиппьевна, женка его, полная, с редким белым волосом, сердилась:

– Ай, топтун! Не берет тебя стыдобушка, а может его благородию Григорию Николаевичу книгу какую рассчитать надо, а ты тут пух-бух, пух-бух!

Фирсыч, розовевший от своей пляски в обрезанных валенках, говорит сипло:

– И то верно, Филиппьевна, – и покорно вновь садился у подоконника прокуривать дальше свой голос.

В горнице ходил в вязанных из козьей шерсти носках квартировщик Однолюбовых хорунжий Потанин и дул себе в усы, так удобно он был устроен: за комнату должен платить всего три рубля в месяц, да за ту же плату стол. Старой казачке особенно удавались житные хлебцы – шаньги. Хорошо! Разве что неудобны были хозяйские сундуки, покрытые домотканными тюменскими полозами, о кованные углы которых Григорий как ни шагнет, так стукнется то коленом, то косточкой стопы. В карауле степной иртышской станицы, конечно, попросторней, но Омск, как Париж стоил мессы, по крайней мере, Григорий Потанин ещё в это верил. Ну помогай ему Бог. А главное, сейчас он был среди своих, как он считал, товарищей по духу. Вот только окончилась, кривая и короткая, как турецкий ятаган, Севастопольская компания. Россия глотнула горький пороховой дым крымских бастионов и выдохнула его этим самым почти мятежным новым духом. В «Современнике», в «Отечественных записках» заговорили страх берет как откровенно, а в либеральном «Русском вестнике» даже задребезжал металлический отзвук герценовского «Колокола». Потанин и попался к ним в сети. Он всегда был таков. Как-то еще в ранней юности я прочитал ему стихи Гейне, а он мне: «Это барабанный бой революции!». Оригинальная литературная рецензия.

В Питере возникло смятение умов, а следовало бы, наконец, по-моему, выбрать что-нибудь да одно: или преобразования коренные по западному образцу, или держись старого, даже старую веру надо исповедовать. Китайская середина не идет теперь к делу.

Друзья же Потанина, да и сам Григорий невесть где выискивали эти не на шутку политизировавшиеся журналы. Нетрудно видеть как, припрятав за пазуху такую книжечку со статьями какого-нибудь Пейзина о ссылке и ссыльных и Березина о колониях, они спешат к вечеру в дом Однолюбовых, где их ждет горячий спор, еще более раскипяченный самовар и миска с шаньгами. А Потанин ждет их в своей комнатушке да, потирая ушибленное колено, конечно же, поглядывает в окно: вот и они! Все было славно, и

старички Однолюбовы и теплая горница и раскрытые книги на сундуках и бледневший, как в свой час на площади декабрист, Усов, мрачно, заговорщицки усмехающийся баргузинский бунтарь Пирожков, хохотун Чукреев, и самое прекрасное: разговоры.., если бы не приходил ещё один гость из заоблачных штабных высот с претензиями наследного принца. Тысяча китайских церемоний. Это я о собственной персоне так. Гриня, впрочем, рад меня видеть, сыграть в кости, но не в то время, когда у него его товарищи. Как-то сразу я им не приглянулся. Что ж тут доброго, когда в свойскую казачью компанию вваливается адъютант Его превосходительства генерал-губернатора Западной Сибири, осматриваясь, как в чуланчике с мышами и, если присядет, то только накрыв край сундука шелковым платком с монограммой. Накинет ногу на ногу и примется постукивать отполированным ногтем мизинца по портсигару из слоновой кости, распространяя от себя тонкое амбрэ фран-цузской воды. Не объяснять же всем казачьим командирам – собственно добрым малым, да и всем иным великороссам, что шинель на мне с бобровым воротником всего лишь cart blanche. Будь я в малахае и чапане, они, пожалуй, меня и за порог не пустили бы. Впрочем, и султанство мое в этом царстве ещё что-то значит. Грех жаловаться.

Дворянство для меня не пустой звук, выше всякой шубы, хоть золотом её обшей. Значит и демократ из меня совсем никудышный. Как бы там ни было, мое присутствие их откровенно теснило. Юный Усов при мне как-то раз попытался высказать что-то либеральное и пламенно вскинуть руку, но не удержал вертикаль и поехал в бок худой спиной по бревенчатой стене... Пирожкова напротив мое присутствие не смущало, скорее, злило, он морщился, кривил губы, но результат тот же – не мог дальше говорить. Только издали тыкал свой бурятский глаз в комично вырезанную на крышке портсигара крысу, сверлящую штопором земную твердь. Я называл крысу геологом. Гриня хохотал. Тогда он ещё не стаковался крепко с этими местными стеньками разиными в робеспьеровских колпаках. А сойдясь с ними, видимо, на первых порах рассказывал им обо мне, приводя шедевры моего чудовищного остроумия. Тому свидетельство сентенция, которой меня ошарашил Пирожков, первый раз увидев мою резную безделицу: «Крысы геологами быть не могут». Я подумал, что ослышался, но нет, серьезен как Папа Римский. Чукрееву же я просто мешал трескать шаньги – что тут сказать? Как увидит меня так руку от миски и отдернет. Почему? Может быть это нервный тик неизвестной природы или,

Бог мой, как же я плохо думаю о людях! Верно это изначальный импульс трудного, но благородного порыва оставить и мне вкусить кусочек теста... Возможно, все это мне казалось, но ясно было, что ждут, как только я входил, минуту, когда я уйду. Мне же идти было некуда. Как назло две омские семьи, приветливые ко мне всегда, уехали в Санкт-Петербург. А с Елизоветой Михайловной у меня вышла недоразумение из–за ее чепчика с перьями, который нынче она стала носить в подражании княгине Ш-ной. Я не одобрил этот наряд – и вышла история, вот уже месяц не могу играть в карты с её добрейшим и неглупым супругом. Был еще один шанс убить вечер – с бароном Дюгамелем. Я имел честь быть приглашенным на бал, но визита к баронессе загодя не сделал, и она сама поставила мне шах и мат, теперь и ни туда, никуда... А дома оставаться по вечерам уже не мог, уж слишком нетерпеливо там теперь меня ждали. Так что я их пересиживал. Заткнувшийся Пирожков все больше и больше бронзовел лицом до черноты и вон к двери, споткнувшийся Усов с трагической ноткой хрустел пальцами и за ним. Лишь Чукреев просто хохотнет, шагнет за друзьями и, в полуобороте цапнув огромной лапой со стола шаньгу, утопает довольный. Чем? – опять не понять. Не захваченным на прощанье хлебцем же.

Когда Фирсыч, браво отдавая мне честь, провел меня к Григорию Николаевичу, над сундуками уже вовсю шел диспут, из тех, что не имеют ни начала, ни конца. Все были им так отчаянно увлечены, что на меня взглянули лишь мельком. Это весьма меня устраивало, и я, присев в сторонке, даже вздремнул. Сквозь кисейный сон я слышал: «Европа, Европа, что мне ваша цивилизованная Европа? Кто о нас подумает...», «... это в тебе, Потанин, поднялись местные инстинкты. А мы – Россия, Империя!» «...Мы сами Империя – Сибирь!». На этот раз поджигателем был, видать, сам Григорий Николаевич, хорош, ничего не скажешь! Роли поменялись, это уж совсем скверно. «Вы вдумайтесь, посмотрите правде в глаза. Мы колония! Российская колония! Ведь что пишет господин Березин? Колонии бывают не только заморские торговые, но и земледельческие. Второе! Второе-то совсем о нас! Все сходится». Оглушительно хохочет Чукреев, этот бродяга спать не даст. «Колония! Мы что, африканцы какие-нибудь? По пальмам скачем? Ну ты даешь, Егорий! Ты это не того... Мы хлеб свой растим, да ещё Россию кормим». «Вот оно! Кормим! Но как?! Сами-то мы лишены права свободно торговать хлебом у них, на уральских перекупочных рынках они бьют нас пошлиной и цену сбивают. Кто богатеет? Не наш брат, сибиряк. Чем мы не африканцы?», – здесь я окончательно заснул и очнулся на крике: «Верно все,

мы должны уйти!» – расходятся, подумал я, ан нет, – « ...из России бесповоротно, пусть-ка сами посидят в своих лаптях! Во всем прав, Григорий!». «Не о том говорим, если ты гражданин... парламент... равенство всех сословий... Герцен... какая мысль! ...а вы куда скакнули?», – и я опять и надолго провалился в африканские джунгли, где невесть куда скакал с казаками на своих двоих, только Чукреев почему-то важно ехал на хребте чернокожего вождя.

– ...да не спи ты! Послушай, – сквозь лианы и зеленую паутину прорвался в мое ухо голос Грини, он же меня принялся тормошить за плечо.

А ведь должен помнить ещё со времен кадетского дортуара, что будить меня нужно очень осторожно, в противном случае я вскакивал как угорелый и, ничего не помня, кидал в покусившегося на мой покой все что ни попадало мне под руку. Нет, не забыл. Заметив, что я проснулся, тут же отскочил от меня и пошел оглядывать торжествующе лица граждан своей почти скроенной республики:

– Нам надо выделиться из России в Свободные штаты. В Федерацию из земель иртышских и алтайских казаков, киргиз-казакских султанств, бурятских и якутских краев и области забайкальских крестьян!

А затем снова бросился ко мне:

– А ты как думаешь? Что вы там вообще думаете, там на олимпе власти?

– Думать не входит в число моих служебных обязанностей.

Я был очень недоволен таким уж слишком вольным обращением со мной, никакого уважения к аристократии, скоро нас пихать и на улицах станут, прямо беда с этими демократами. Не было мне, горемыке, ни сна, ни покоя, ни дома, ни здесь.

– Оставь ты, Григорий Николаевич, меня, сделай милость. Что касается таких грандиозных проектов, то с меня хватит и генерал-губернаторского проекта по учреждению для киргиз-казаков новой религии, – я раззевался и последние слова вышли у меня особенно гулко. – К счастью, у нас ещё есть Император, твердо знающий, что в его государстве для нас вполне достаточно Христа и Магомеда.

И я снова сунул свой подбородок в бобровый мех, закрыв глаза. Видит Бог, и не думал ни кого обидеть, а просто хотелось снова задремать.

Конечно же, казачьи командиры тут же поднялись, раскланялись, тысяча китайских церемоний! И ушли. Гриня же молча стал укладывать книги в стопки, словно собрался их вязать и сам выезжать невесть куда.

Вот уж месяц я хожу к нему. А ведь знает от чего. Нет, лезет, такой осел! со своей Сибирью, Кучум бы его побрал!

Летом произошел следующий случай, который заставил меня рассориться со своими родителями, которых я люблю и высоко чту. В услужении моей матери была молодая женщина, муж которой пристроил в конце нашего родового летнего аула свою дранную кибитку и жил тем, что так же работал на султанскую Ставку.

Мне, заехавшему чуток отлежаться в доме отца, была поставлена отдельно юрта. И вот эта служанка по утрам начала приносить в чаше, налитой самой султаншей, кумыс для меня. И, присев у постели, ждала пока я не проснусь и не выпью напитка. Она являлась тихо, осторожно. Дивная женщина, без всякого вздора и что за губы были у неё, верхняя чуть вздернутая – это такая прелесть, нет, не всякий способен понять те сладкие поцелуи. Мать же скоро заметила, что прислужница её, отправляясь ко мне, начала подолгу пропадать. И другие служанки, может быть, шепнули что-нибудь откровенное и, однажды, я по сложившейся уже привычке спросонья потянул рукой ее к себе и увидел на постели... старуху. От отвращения у меня даже помутился разум. Я сейчас же послал сказать матери, что бы кушанья посылались с прежней женщиной. Султанша не уступила. Я настаивал на своем. Между нами началось охлаждение. Я использовал для переговоров своего дядю, брата моей матушки, к которому был привязан более чем к другим и он ко мне, быть может, и сильнее. Через него напомнил матери, что я давно совершеннолетний и имею право любить кого хочу, и что приму все меры, что бы защитить свою избранницу, если по отношению к ней будут приняты суровые меры. Родители рассердились не на шутку и велели объявить, что этой женщины я больше не увижу. Она и ее муженек отправились в Кокшетау с моим парламентарием к нему в богатый дом на услужение. Я написал не желавшему меня больше видеть отцу письмо, в котором заявил, что разведу свою избранницу и сам женюсь на ней, не стесняясь ничего и никого. Были вызваны срочно в Ставку близкие нам султаны, состоялся совет и был вынесен приговор, гласивший, что если я посмею без позволения выехать из отцовского аула, то султан Чингис будет вправе убить своего преступного сына собственной рукой. Как всегда, я ослушался всех, выехал в Кокшетау и, забрав особу, вызвавшую столь огромный скандал, из дома дяди, увез её к себе в Омск. Казни ждать.

Прошло время и наказание пришло: она начала мне надоедать. По закону, надо думать, запретного плода, побывавшего в руках. Что теперь с ней

делать и что делать с собой я не знал совершенно. Выгнать, совесть не позволяла, оставить, жить нельзя. Что может быть ещё тоскливей в этом подлунном мире?

Обо всем об этом Потанин не мог не знать, так как к нему киргиз-казаки со своим узун-кулаковскими новостями заезжали гораздо чаще, чем ко мне, да и он сам, как естественный степной казак, был весьма охоч к хабару.

Деликатность темы не была здесь причиной его неинтересна к нынешним моим делам, как и моей вдруг невозможности самому заговорить с ним об этом. И хотя с ним я никогда не заводил такие разговоры, но знал, что он умеет быть циничен, как это случается у мужчин. Я бы оставил свою затею, но с кем-то надо обсудить! Пусть если кто и бросит в меня камень, то пусть будет он. Может хоть так мне легче станет. Иногда настолько тяжко проклинаешь себя, валяясь потеряно на подушках, что действительно был бы рад, если бы кто-нибудь вошел и прострелил тебе висок.

Котлы с кипящей смолой и всякую другую механику мучений в аду придумали грешники в минуты душевного самобичевания. И если первыми о них заговорили все же праведники, то не сомневайтесь, что они из тех, кто успели в свое время ой-как набедокурить.

Я знал, что проблему мою никто не мог разрешить, кроме меня самого, но я заставлю его выслушать меня! И сделать вид, что понимает и всячески одобряет мое решение. А, впрочем, как все это глупо. Хотя... если все же сидишь у близкого человека, надо что-то говорить, почему бы и не на эту тему. Начал я как хотел – за упокой, а кончил за здравие:

– Я, Гриня, отчего тебе надоедаю... Я знаю, что я моральный урод и нравственность порядочного человека мне не доступна, но так случилось и теперь... Что-то надо предпринять... только что? Хватит... тебе киснуть здесь. Из станицы в форпост, каков прогресс! Ты здесь нужен мне, пора тебе в свет выбираться.

– Да куда уж нам с суконным рылом! – совсем уж зло ответил мне он, прочно усевшийся за столом к гостю боком. – Мы уж как-нибудь здеся на лавочке посидим.

«Э-э, брат», – подумалось мне, – «Да ты уже совсем ничего не слышишь. Вот что значит зачитываться журналами с прогрессивными идеями».

– ...да книжки амбарные, шнурованные со счетами выданных солдатам белья и ваксы нумеровать будем, – довершил я, отчасти радуясь, что не стал говорить дальше о своем несчастье, отчасти злясь, что он сам так усердно марширует к своей беде.

– Да, будем. Служба такая!

До ссоры довел, каков казак! Что ж, решил я, поговорим о твоей болячке.

– Лихо вы тут замахнулись на устои Империи. Однако, прежде чем дом перестраивать, неплохо было бы узнать на чем он стоит – на сваях или песке, какие народы в нем живут, какие языки им свыше дадены. В иные уголки мы ещё даже не заглядывали. Народы не мебель, что бы их снова передвигать. У них свои идеи, нравы, свой Бог. История создала Российскую империю, где через кровь и силу, где пирогом и рублем. Так дайте время в ней всему устояться, самим народам понять смогут ли или нет жить вместе. Если нет, тогда и посмотрим с какой стороны баррикад нас судьба расставит. А служба разная бывает.., – нет, не слышит.

Кого-кого, а Потанина я знал как самого себя, если уж он уперся, то тут уж ни какими доводами, ни какими кулаками не выбить.

– Да, жаль, а я тебя, как и грозился, сосватал к полковнику Гутковскому готовить движение в Монголию... Нужен ему офицер для работы с картами и в архиве... Уж извини.

Молчит. Я походил по его горнице, ушиб колено о сундук и, нащупав в кармане кости, взял да и бросил их на стол перед ним. Выпали 2 и 1. Он с возмущением поднял на меня лицо, мол, здесь решалась судьба России, а он!.. Кости бросает!

– Если ты выбросишь больше, – указал я на мизерную свою удачу на костях, с ужасом осознавая как мне близко грозит участь маршировать в одной колонне с Пирожковым без надежды даже быть убитым в бою. – Будет по твоему, меньше – по-моему.

Григорий взглянул на стол и, не сомневаясь в выигрыше, усмехнулся, взял кости и бросил. Выкинул он 1 и 1.

Хорунжий Потанин выехал со своей полевой торбой и связками книг из казачьего форпоста и снял комнату на мощеной улице в доме статского советника за 9 рублей со столом. Это было втрое дороже, чем у Однолюбовых, зато она была с большим светлым окном на юг, потолок высокий, даже с какой-то лепниной, вместо сундуков стулья, стол под накрахмаленной скатертью. К чаю ему теперь подавали французскую булочку, а вечером вместо ужина – вареный язык. Наконец-то жить он устроился если и не совсем comme il faut, то все приличней. Носки из теплейшей козьей шерсти он оставил, но по комнате расхаживал по прежнему и дул себе в усы: «Камильф-о-о...». Сейчас, я надеюсь, он понял, что комнатка его в форпосте с низким небеленым потолком и окошечком, ткнувшимся в

серую корку замусоренного проулка давно не по нему. Теперь же он мог каждому смело предложить чай в чашечках и никакие шаньги его не компрометировали боле. Без сомнения, без смущения мог принять у себя даже какую-нибудь графиню. Но при условии, что она будет одна и не обжорлива – новая хозяйка считала возможным подавать, включая и чайную ложечку, только на одну персону. Прикупать Григорий, из-за своего весьма и весьма скромного бюджета, не мог. Но все это мечтания... тем паче, что единственная в Омске графиня уже лет так двести была прикована к постели параличом и вряд ли её скоро следовало ожидать с визитом. Серьезно же, с волнением Григорию Николаевичу теперь говорил о других визитерах из столичных университетов... суровых, но тонких умом первооткрывателях земных тайн, ученых, литераторах, рождающих тут же при тебе афоризмы и теории. Быть может и Достоевский пожалует, если вдруг нечаянно вернется в Сибирь. Своими воспоминаниями, как он, Потанин, как-то столкнулся в узком месте В Семипалатинске с Федором Михайловичем и все пытался уступить ему дорогу и, услышав от него совершенно знакомое «Тысяча китайских церемоний!», он меня изрядно бы утомил, если бы при этом не показывал, как он его встретит. Григорий при этом бледнел, останавливался посреди комнаты, вытягивался, щелкал каблуками: «Милости просим, господин...», – но дальше этих элегантно и с достоинством произнесенных слов у него не складывалось. Выходило очень забавно. Мое предостережение, что знаменитый писатель нынче вовсе уже не революционер, а верноподданный гражданин, нисколько его не смущало.

Но после его переезда никаких, как ни странно, визитов к нему ни знаменитых личностей, ни просто нужных не последовало. Только я прятался в его убежище. Как-то раз приходили Пирожков с Чукреевым и Усовым. Хозяева каменного дома на мощенной улице встретили их крайне нелюбезно. Господин Крайс, чиновник городской управы, не приподнимаясь с кресла в гостиной, через которую следовало проходить к Потанину, не ответил на приветствия и принялся шелестеть газетой, а госпожа Крайс сразу отказалась дать ещё чаю: «Месье Потанин, это не входило в наши расчеты!», – такое при товарищах. Посидели молча, поскрипывая густо мазанными ваксой сапогами и утопали прочь. Какие могли быть разговоры, когда рядом из-за развернутой газеты чутко подрагивало большое крайсовское ухо. «Да к её французской булочке никто так и не притронулся!» – рассвирепел Гриня. Надо было видеть при этом его физиономию. Обхохочешься. В отместку он совершенно отказался обсуждаться мою болячку. А дальше – больше, стал являться в дом,

только спать, почти в полночь. Я походил, походил к коротающим в одиночестве Крайсам и отстал от него. Последовав примеру казаков – забыл туда дорогу. Как по стишкам другого революционера, нашего ссыльного приятеля Дурова:

«Дружбе угождая,
Не забудь себя,
Верь – не доверяя,
Люби – не любя...».

А быть может разговор о моей опостылевшей избраннице был вовсе и не нужен, что толку, когда от Грини уж точно тонкого понимания предметов, касавшихся дам, нельзя было ожидать. Тот же Дуров как-то расспрашивал его о семье и Гриня больше говорил о своей мачехе, вызвав у каторжного поэта восклицание:

– Святая женщина! Она сама жертвенность, кротость, изумляющая чистота помыслов, – и понес далее такую же галиматью.

– Вы ее знали? – изумился мой степной офицер.

– Нет.

Кажется, что тут такого. А Потанин вдруг смутился так, что заставил смутиться самого любезного слушателя да вдобавок оправдываться в чем-то.

На зависть мне, Потанин увлекся тем, чем я никогда не мог долго заниматься. В Омском военном архиве, первые акты которого относились к началу XVII столетия, он раскопал обилие нечитанных бумаг. О сношении русских пограничных начальников с киргиз-казакскими ханами и джунгарскими князьями, о самих государствах киргиз-казаков и джунгар. О Сибири, о Хиве. О Серединой Империи и Тибете. Григорий зачитывался ими до расплывшегося воскового пятна от свечи, разглядывал их, как миниатюры, расправлял, как кружева, выписывал, расшифровывал. Давалось это трудно, путано, медленно, до рези в глазах, но с каждым днем, как он уверял меня при наших теперь редких встречах, все строилось в единое, как Вавилоновская башня, которой не суждено разрушиться от множества языков. Он ощущал такой счастливый душевный подъем, что сел и лихо написал две статейки. Одну о диком осле – кулане, другую по памятному рассказу своего покойного отца – Потанина-старшего, приведшем в первого в Сибири слона из самой Персии. «Тобольские губернские ведомости» благосклонно рассмотрели их и вскоре напечатали.

Со своими первыми в жизни публикациями он, не выдержал, и, накинув шинель, побежал показывать их мне. Кому же еще, если мы с ним с девяти

лет мечтали сопливыми кадетами стать когда-то путешественниками и описателями тайн далеких стран. Даже дрались за право первым открыть миру затерянную в горах толи Тянь-Шаня, толи Тибета поднебесный рай Шамбалу.

Землю Шамбалу вот уже тысячу лет ищут православные христиане. Особенно в этом преуспели старообрядцы, излазив вдоль и поперек весь Алтай. Искали и мусульманские дервиши, а так же буддийские монахи и еще много странных людей. Говорят на ней все люди счастливы.

Представляю, как он с увлажненными от радости глазами, бежал по весенней расплывшейся улице и неожиданно споткнулся о что-то серое, лежавшее поперек дороги. Оказалось – старуха. Живая. Потанин поднял её, но все одно старуха падала и падала. Григорий промучился с ней битый час и только смог понять, что старая женщина отбилась от своего переселенческого обоза и что страшит её не смерть, а эта жуть открывшегося перед ней бесконечного края. Одно она хотела, ежели он православный, – попасть к стенам церквушки какой – «у Бога рядком по-прикрытней будет», и там в благости и умереть. Весь измазанный грязью, Потанин дотащил этот божий одуванчик до кладбищенской часовни, понимая, что уже никому в этой жути сибирского простора её обоза не найти. Вот ее-то уж точно к Крайсам не приведешь. Пришел он ко мне в потемках, мрачный, скучный. Сунул журнал мне в руки и ушел.

Потанина я устроил как мог лучше, а свою личную заботу так и не разрешил. Была у меня ещё надежда на брата. Я написал ему письмо, кое было верно передано ему в руки, но он теперь, проявляя преданность приговору султанского рода, даже не ответил. И когда я уже не видел спасения, одним прекрасным майским утром явился муж моей сожительницы и молча увел её. Все произошло в какие-то считанные минуты. Открылась дверь, он вошел, она собрала свои вещи и вышла с ним, даже не взглянув на меня.

В тот же день я решил отметить чудесное избавление от моей... не знаю, как назвать. Назвал бы её имя, но, боюсь теперь ошибиться.

С бароном Гюббенетом, Тургеневым и ещё одним молодым заезжим господином, протеже петербургских придворных дам, мы взяли шампанское и на экипаже поехали к Потанину. Причину своего приподнятого настроения я объяснил моим приятелям новосельем друга.

Господин Крайс встретил нас весьма любезно, он непременно был из тех, кто рад расшаркиваться перед важными лицами. А госпожа Крайс поспешила

выставить на стол бутылку мадеры, хотя по лицу Грини было видно, что он платить за непрошеное им вино твердо не будет. А ему и не из чего было. Последний его полтинник серебром ушел на книгу об Алтае и на чудесный олеографический портрет Теккерея, который он поспешил сразу же повесить на стену и даже сейчас с восторгом нет-нет, да оглянется на великолепного мастера английского пера.

Сели за стол. Как не старался хорунжий быть учтивым хозяином, его приветливость никак не отражалась на отполированных лицах нежданных гостей. Постепенно буйная гордыня, за кою когда-то Петр Великий на гербе Дона посадил казака голым на бочку, вот-вот готова была вспыхнуть в нем простым битьем морд и посуды. Мои же приятели беспечно болтали между собой. Это целая светская наука, мой добрый Гриня, уметь сидеть с улыбкой, когда тебя не посвящают в суть беседы и переглядываются при твоих словах. Она постигается с трудом. И зря он на меня смотрел с обидой. В таких компаниях каждый сам за себя. Это тоже важный закон общества. Усваивай, казак. Но не желавший учится манерам уязвленный Григорий Николаевич стал цитировать колкие фразы из «Книги снобов». Ему казалось, что ирония Теккерея сейчас была очень кстати. Ответом ему был вопрос, произнесенный петербургским протеже:

– А по какому ведомству служит господин Теккерей?

От такого неожиданного афронта Григорий только по-простецки открыл рот, не смог даже хмыкнуть. Тут я не выдержал и влез:

– Я бы вам не советовал искать здесь встречи с господином Теккереем.

– Почему же, султан? Он так не значителен? – протеже был упорен, что и требовалось.

– Напротив. Очень важная фигура. Но Ваш визит к нему невозможен.

– Его нет в Омске?

– Он здесь, даже совсем рядом.

Петербуржец обиделся:

– Если нужны рекомендательные письма, то извольте... Я не вижу причин, почему я не могу быть представлен господину Теккерею.

– Вы настаиваете?

– Да. Я был бы крайне признателен Вам, султан.

Я поднялся, заметив как Григорий уже с усмешкой посматривает и на барона Гюббенета и на курносого Тургенева, приподнял за локоток искателя знакомства с покойным писателем и повел его к стене, на которой красовалась портретная олеография со словами:

– Вы сами настаивали... Буду очень рад., – и почти ткнув ничегошеньки непонимающего визитера в изображение остроумного старца, сухо договорил. – Разрешите, господин Теккерей, представить Вам нашего столичного гостя...

Гриня разразился здоровым смехом как прежде, до своего знакомства со своими казаками-командирами, значит я был прав, утверждая, что люди моего круга для него полезней. Но, кажется, он по-прежнему считал по другому, всем видом показывая мне насколько мои приятели ничтожней его товарищей.

Со дня обретения мной опять свободы прошла неделя, я уже откутил. И теперь лежал прямо в кителе на своей излюбленной софе, сунув руки в карманы и, закинув вытянутые ноги в мягких тапочках на круглый столик, курил сигару. Низкий мягкий диванчик подо мной с уклоном сплющивался, да так, что я, сдвинувшись к краю, почти падал, касаясь уже локтем руки пола. Встать и поправить подушки было лень. Так и лежал, все дымя и поглядывая в потолок. И, наконец, упал с софы. Помедлив чуть, я поднялся и сел прямо на полу, благо он весь был устлан коврами. Вчера мой отец полковник султан Валиев прислал ещё один тюк с персидским ковром, видать в знак одобрения моего возвращения на путь истинный, и как проявление его всегдашнего желания, что бы внук последнего хана жил комфортно, как подобающей внуку последнего хана. Я некоторое время таскал этот пыльный сверток из комнаты в комнату и, так и не найдя места для ещё одной родовой роскоши, бросил в углу, забыв о нем. Но сейчас в сумерках этот свернутый ковер представился мне вдруг покойником, завернутым в саван. Эта мысль несколько позабавила меня и я сочувственно обратился к тюку: «Каково Вам там, милостивый государь, лежать бревном? То-то небось скучно. Ни друга у тебя, ни брата, ни жены. Я не такой, не уйди она, я, пожалуй, и женился бы на ней. Вот и относись теперь к женщинам с любовью». То, что находилось под грубым холстом мешка, показалось, прислушивалось. Что за чертовщина! Я встал, потрогал руками тюк – не шевелится, и снова принялся таскать его по квартире, пытаясь все же засунуть подо что ни будь. Потаскал понапрасну и бросил в коридоре, затем вышел на крыльцо дома. В дом теперь совершенно возвращаться было неохота. Как я мог позволить этому болвану увести ее от меня? Я уже стал привыкать к живой душе рядом...

Сибирское сланцевое солнышко уже тихо шмякнулось где-то там за городом в ишимских болотах, но на улице все ещё отчетливо виднелись фигуры людей. От офицерского собрания ехали в седлах по домам старые приятели Потанина. Первый из них, заметив издали меня, принялся лихо посвистывать. Друзья его поддержали, вот, мол, тебе наша воля.

Вдруг сам того не ожидая, я окликнул казачьих командиров. К крыльцу подъехал один Пирожков и сдержано отдал честь. Ещё не зная, что предпринять, я самым деликатнейшим образом попросил его о услуге:

– Сотник, вы станете сейчас проезжать мимо дома Крайса, не могли бы Вы передать записку господину Потанину. Я сам не могу, завтра рано уезжаю.

Лицо Пирожкова осталось невозмутимым, лишь конь под ним дернулся.

Я, не дожидаясь согласия, вошел в дом и, вернувшись с пакетом, протянул его казаку-офицеру и добавил:

– Однако просил бы не говорить Григорию Николаевичу от кого, на это есть важная причина.

Пирожков взял письмо и, снова молча откозыряв, отъехал к ждавшим его товарищам.

Дела по экспедиции прервались. Из страшно далекого от сибирского Омска среднеазиатского песчаного тоннеля памяти я видел, как Григория вернули к прежней службе, работы для ума не стало. Теперь я представляю как сумеречные тени по комнате стали пластаться для него серым полотном солдатских портянок: считай не пересчитаешь, сколько на взвод такой-то, сколько на роту, сколько сгнило и украдено... Тут надо немедля бежать, все равно куда – в Санкт-Петербург или в линейную станицу.

Потанин подошел к раскрытому окну и ещё бы минута, взял бы да выпрыгнул на улицу. В это время показались на ней казачьи командиры на своих коняшках. Григорий хотел было позвать их, но увидев, что они сами к нему двинулись, попытался даже через подоконник обнять Пирожкова, но тот молча протянул ему тоненький пакет и сразу же с друзьями рысью поскакал в темноту. Потанин отошел от окна, зажег свечку и прочитал с изумлением на листке: «Григорий Николаевич, возвратись в Фирсычу, мы отощали от французской булочки, а у Филиппьевны какая благодать, она дает шанег до отвала!»

В тот же вечер Григорий перебрался с Теккереем обратно в форпост к Однолюбовым и тут же послал Фирсыча за товарищами-приятелями, сам расхаживая в носках из козьей шерсти по горнице и потирая ушибленное об угол сундука с полозами колено, придумывая первые слова, которые он скажет бронзоволицему Пирожкову, юнцу Усову, хохотуну Чукрееву: «Нужна борьба за свободную Сибирь! И мы...».

Одно меня утешает. Дабы проникнуть в недоступную страну Шамбола, где Царь Мира постигает мысли тех, кто оказывает влияние на судьбы человечества и, если они угодны Богу, тайно помогает, надо быть совершенно аскетом: ни семьи, ни страстей. Дружба тоже не идет к делу.

Не знаю сколько я прошел опять, но видимо большое расстояние, так как снова притомился и сел на песок. Даже прилег и вновь почувствовал, как песчаное русло несет меня туда, откуда я только что притопал. Была мысль воспротивиться, но потом я махнул на все рукой и погрузился в привычные уже для меня, хотя и не самые приятные, озвученные и движущиеся сцены из моей жизни.

Подобно Савоафу при сотворении мира, государь Император был краток и начертанное им 17 мая 1860 года слово: «Исполнить» в мгновение ока нанесло величайшие вселенские потрясения: солнце сместилось с востока на запад и подгорела каша на кухне омского генерал-губернатора. Тут же армии встали под знамена и в тревоге замерли народы, ожидая пояснений, что следует исполнить. Оказалось зря. То магическое слово касалось только моей персоны, с некоторого времени к моему удивлению ставшей вызывать к себе интерес со стороны Министерства иностранных дел. Но все равно, шума и пересудов эта воля Государя в нашем диком Омске вызвала много. Говорили, что я в кашгарской экспедиции тайно женился на китайской принцессе и теперь посол Императора Поднебесной требует выдачи моей головы, но снова тайно, без скандала и непременно из столицы, для чего и придумана была вся эта моя карьера, другие же твердо знали и азартно доказывали в светских салонах за деревянными ставнями, что губернатор просто не мог найти иного способа отделаться от своего адъютанта, не обидев мою султанскую родню и с трудом пристроил неугодного выскочку оттачивать разве что перья для невских столоначальников. Как бы там ни было, скоро я был переведен в Азиатский департамент Министерства с приличным жалованием, позволявшем снять весьма приличную квартиру в Новом переулке у дворца

Великой княгини Марии Николаевны и иметь выезд. Правда, когда расходы превышали сумму в 3 тысячи, приходилось взывать благородству отца, к моей сыновней удаче неиссякаемому. Но более всего радовало то обстоятельство, что мне теперь не придется есть ту походную кашу за немецким столом своего патрона.

Занят я был, в основном, составлением карт, но времени свободного имел предостаточно. Бывал и в Географическом обществе и обществе поэта г-на Крестовского, имевшего неосторожность сочинить стих про испанскую танцовщицу и нищего, наслушавшись от меня сомнительных восточных сказок. От отсутствия особых забот и пустоты в голове я даже изображал гром и молнию Невского проспекта, опустив на ремне саблю настолько, что она грохотала по камням так, что вздрагивали даже полицейские лошади. Сам Тургенев как-то оступился на ней, чем удостоил её своим эмоциональным вниманием. Понятно, что отмеченное гением русской литературы мое холодное оружие никак не могло в тот вечер рубить между больших прелестей исторической Катерины Монс сахар саблями. Размахивали саблями барон Ашер и Гряфузов. Хотя они утверждают обратное... Эта история остается до сих пор не проясненной. Наконец, может быть досказанной, но кто решится? Я – нет, увольте. И так достаточно самых невероятных слухов.

Вставал я с постели в полдень и этим обстоятельством посещение университетских лекций было несколько затруднено. Но как только я узнал, что профессор восточного факультета г-н Казем-Бек принимает у себя плененного год назад известного имама Аварии и Чечни Шамиля, я сразу поспешил в альма матер.

Мятежный горец интересовал меня чрезвычайно. Впрочем, он и события, связанные с ним, интересовали всех. В первые годы Кавказкой войны убитым шамилевым воинам добровольцы отрубали головы, получали червонец за каждую из них от генерала Вельяминова, зашивали в холщовые мешки для исследований в Академии наук Санкт-Петербурга, Там ученые мужи таким образом пытались разгадать загадку отчего горцы так умело и сильно бьются, видимо, предполагая, что у этой расы что-то не в порядке с мозговыми извилинами.

Имея под руками документы департамента и узнав лично некоторых героев, кто имел непосредственное отношение к Кавказкой войне, я открыл один механизм её, крайне неприятный. Меня всегда удивляло как русская армия, чей Суворов со своими дивизиями перескакивал через альпийские

горы, как через стулья и чей Кутузов в конце концов разбил в пух и прах Наполеона Буонапарте, застряла на двадцать пять лет в боях на Кавказе с его тремя десятками аулов да крепостей геродотовских времен. Собака оказалась зарытой в Моздокских и Гехинских лесах, стройные стволы которых прикрывали с севера весь Кавказ. Чиновники из военного ведомства разработали удивительно простой, но гениальный план личного пользования. Сойдясь с генералами, они быстро убедили царя, что Шамиля никак нельзя достать прежде не очистив для боевых действий весь прилегающий к театру военных действий плацдарм, мол, и артиллерия никак не пройдет и за каждым деревом злой чеченец прячется с кинжалом. И тысячи солдат, отложив ружья в пирамиды, принялись рубить строевой лес, которой, естественно, не проходил по графе промышленной рубки, а рассматривался как затраты самой военной компании, исчезая неизвестно куда. Тут не щепки летели... Конечно, и труд солдат не оплачивался из кармана невидимых лесоторговцев. Миллионы текли во дворцы столичных сановников, а когда все вырубили, никак уже нельзя было отложить и захват упрямого имама. При этом, конечно же, кровавые схватки с неуступчивыми горцами всегда имели место, то один батальон захватит какой-нибудь аул, то другой осадит какую-нибудь башню. А один генерал с фамилией, переводившейся со швабского как Гроб, даже слишком перестарался и на третий или пятый год таких маневров взял шамилевскую столицу – высокогорный Ахульго. Непонятным для петербургских стратегов образом этот Граппе-Гроб за неделю проскочил непреодолимые переправы через бешеные реки, пробился сквозь непроходимые пропасти между голыми скалами с их засадами и заслонами горцев.

Правда, при штурме заоблачной цитадели, на стенах которой все это время стоял сам Шамиль в белой одежде он потерял четыре тысячи русских солдат.

Правда, к везенью сторонников теории невозможности скорой победы над имамом, Шамиль из павшей крепости таинственно исчез...

Правда.., а где она – правда? Больше о генерале Граппе было не слышно. Говорили, что сын его погиб на той кавказкой войне и все. Генералу указали, что он не Суворов и такие марш-броски только вредны престижу российского оружия.

Горцы отчаянные и умелые воины, каждый из них выстоит в партизанской войне против трех отмуштрованных солдат любой европейской державы, но все равно – оглоблю камчой не перешибешь.

С десяток лет три полка российской кавалерии гонялись и за моим дядюшкой султаном Кенесары, поднявшего вместе с другими султанами часть киргиз-казакских тайпов против имперской власти, озлобляя его до состояния затравленного одинокого волка и никак не могли его окончательно разгромить, пока самовольного хана от своих крайних обид не убили дикокаменные киргизы в своих горах, которых он сам третировал и резал как крайний деспот. При желании можно сесть и с пером в руках посчитать, сколько было выделено фуража, пороха и иного довольствия для походов против восставшего султана, существовавших большей частью только на донесениях. А сколько тысяч скота было взято казаками и драгунами в качестве трофеев в киргиз-казакских аулах? Поди проверь в бескрайней степи всю доблесть этих полковников, один из которых, из семьи далеко небогатого каркаралинского казака, сразу же после гибели своего противника ушел в отставку и купил в Омске каменный дом на Дворянской в два этажа.

Востоковеда Казем-Бека я знал ещё по переписке, в Петербурге бывал у него часто, он был чрезвычайно мил, учтив, переводил каноны Мухаммеда и изображал из себя английского лорда. Нас когда-то свела вместе расшифровка ярлыка хана Тохтамыша к князю Ягайло. И как только он испросил у надзиравших за кавказцами лиц разрешение на мое присутствие в его доме во время визита плененного имама, я тут же поспешил к нему. Но прежде мне надо было заскочить к своему братику Макыжану, учившемуся рисованию у художника Тараса Шевченко.

По приезду в Петербург я сразу дал ему знать через работника. Возвращаюсь из департамента, вижу – сидит у меня на квартире и с первого взгляда явно узнал меня. Но говорит: «Обличье твое позабыл». Хитрец, к чему же так? На всякий случай я решил денег ему не давать. Он был вполне здоров, но оказался большим лодырем. К тому же принялся таскать без спроса у меня книги. И сейчас шести томов не оказалось, среди них и казембековские. Если не вернуть, никто не выручит меня от профессорских нотаций, а по мне лучше большая беда, чем выслушивать назидательные упреки.

Макыжан, к счастью, сидел у себя. Жил он среди глухонемых ребят, собранных по всей России для обучения нужному ремеслу при полном пансионе, вот и вынужден был читать все что попадалось ему под руки. Я забрал у него книги и тут мне пришла мысль взять его с собой и заставить хоть немного потрудится на портретом Шамиля. Но младшенький преподнес мне урок, заявив, что по законам шариата рисовать человека есть грех. Нет,

каков! Мне стоило поучиться у него так логически обосновано бездельничать.

Казем-Бек с восточными комплиментами представил меня Шамилю. Как и говорил профессор, представленные газетами описания костюма имама, роста, осанки и манер оказались верны и не стоит их повторять. Я не писатель и не решусь на свое живописание обликов героев того дня. Лучше попытаюсь вспомнить о самих беседах с гостями ученого петербуржца.

Больше всего нашего хозяина радовала особенность Шамиля без всякого утомления расспрашивать его о различных ученых, об их сочинениях, о том, какими книгами он руководствуется в своем преподавании и учит ли он студентов толкованиям Корана и знает ли исламскую юриспруденцию. Ко мне же кавказский аксакал обращался нечасто. Скажем, два раза. Ну, два с половиной. Чем-то я его не радовал. Заявив, что мало знает о киргиз-казаках, он тут же проявил необыкновенную осведомленность, спросив к какой партии моего народа я принадлежу: к пророссийской или противоположной ей мятежной партии Ак-орда, хотя достаточно было просто оглядеть мундир штабс-ротмистра на мне. Услышав ответ, он на секунды чуть приподнял вверх обе руки и устремил глаза в потолок, как бы испрашивая прощения у Аллаха за кривую дорожку иных мусульман и, возможно, делая знак Всевышнему, что он, Шамиль, если и виновен, то ведь не в силах же он был казнить всех отступников от пламенной борьбы за веру.

Шамиля сопровождал его сын Казы-Мухаммед, молодой человек моих лет со взором, опущенным долу. Лицом и ростом он напоминал отца. Но по нему я не мог представить молодой образ Шамиля, вот так чем-то неуловимым отличается точная копия картины от самого оригинала.

При мне Шамиль с благодарностями вернул Казем-Беку книги, которые взял у него в предыдущую встречу. Профессор предложил ему выбрать для чтения ещё кое что из своих фолиантов, при чем с такой охотой, что мне, с трудом выбивавшего у него нужные для работы книги, стало несколько обидно. Стали рассматривать сочинение под заглавием «Мизануш-шарани», где автор доказывает, что все учения ведут к одной главной и абсолютной идеи, из которой сами и истекают. Для наглядного объяснения он изобразил смелой кистью источник истины, струя из которой течет в рай.

Имам сидел, на диване, поджав одну ногу под себя и говорил по-татарски, но когда дошли до страницы, на которой были размещены пророки в разрисованном раю, Шамиль, увидев место и положение Мохаммеда, произнес по-арабски:

– Клянусь Аллахом – это верно: таким я видел его в последний раз.

Рука профессора, переворачивавшего широкие страницы иллюстраций, замерла в воздухе, глаза скосились в мою сторону, но не более того. Впрочем, и этого было достаточно, что бы Шамилю стало ясно – есть непосвященные, коим с их скудным состоянием религиозного эфира трудно поверить в то, что можно не позднее чем в прошлый четверг встретить Пророка, почившего в бозе века назад.

Имам несколько отстранился от книги. Принялся перебирать четки и, уставившись в самый темный угол комнаты, заговорил:

– В час смерти Казы-Муллы при взятии Гимрэ я был рядом с ним. Его сразила пуля, мне же солдат пробил штыком грудь, так что острие вышло у меня из спины у левой лопатки. Он был равен мне ростом и молодостью. Я сразу стал холодным и ноги мои заскользили, словно я стоял на ледяном склоне, но тут над солдатом появилась и протянулась ко мне тонкая рука с открытою ладонь, на которой лежала виноградная косточка. О, Аллах, я видел её и она светилась в той ладони. Не буду лукавить, упоминая имя Всевышнего, меня охватил страх, что та косточка вот-вот упадет на землю. Я протянул вперед свою руку и крепко сжал её. Оказалось, что рука моя схватила пальцы руки солдата, сжимавшие горячий ствол у штыка. Они были в золотых крапинках, а большой палец в пороховой гари. И меня снова наполнило тепло. Солдат попытался бросить ружье и вырвать свою руку из моей, но я не дал ему этого сделать и смотрел ему в глаза. Вначале он испугался, потом понял, что он уже стал моей половиной и теперь я волен решать какой половине умереть. Я свободной рукой перехватил ружье, вырвал из себя штык, развернул его и проткнул солдата. Он умер. Вот и все.

Рассказ имама был весьма знаменателен. Северокавказские мусульмане настроены весьма мистически.

В родных мне степных аулах матери во спасение от болезней и сглаза часто меняли имена своих чад.

В горном аварском ауле полсотни лет назад младенец Али оказался тяжко болен. Были употреблены все средства к его выздоровлению: разные умывания углем и святой водою, окуривания, перемена мест, но ребенок все чахнул. Оставалось ещё одно средство, но оно было несколько предосудительное. Это перемена имени. Трудно было отказаться от имени Али, зятя Пророка Мухаммеда, но любовь матери превозмогла. Али был переименован в Шамиля.

Профессор допытывался у имама, как помогло это средство и, он, как обычно призадумавшись, отвечал двусмысленно:

– Я выздоровел скоро, но не знаю, от перемены ли имени. Еще до имамства я встретил на дороге из одного аула в другой еврея. Случилось нам ехать в одном направлении. В разговоре, он спросил: как меня зовут. Я отвечал. «Как! – воскликнул он, – разве у вас, мусульман, есть такое имя? Ведь это наше имя, иудейское – Шамуиль». В книгах я читал, что имя Шамуиль в числе древних пророков и патриархов и по этому решил подписываться им. Но уста народа, особенно соседские, никак не желали произносить это, как они посчитали, жидовское имя. И мне пришлось заставить их признать мусульманское значение моего имени. Вот и все, – имам оставался весьма серьезен и все же какая-то искорка смеха мелькнула в его глазах.

О Шамиле ходили легенды, что он после битвы под Гимрэ воскрес из мертвых. Так Аллах вернул его на грешную землю во второй раз для защиты ислама. Не менее загадочна смерть и его соперника во власти – Гамзат-бека, считавшегося первым преемником на предводительство после ухода в мир иной имама Казы-муллы и представлявшего влиятельнейший и богатый клан. Не смотря на то, что он бежал с поля боя в отличии от Шамиля, Гамзат в карадагской мечети сам объявил себя наследником имама. Очень многие с этим не согласились, считая Шамиля более достойным, но их кумир ещё с открытой в груди раной написал своим сторонникам: «Русские торжествуют, Гимрэ взят, имама нашего более нет. Для поддержания ислама нужно единодушие. Кто бы ни был предводителем мюридов, – внушите народу повиноваться ему покуда».

Покуда скоро Гамзат не вырежет, взяв Хунзах, весь род аварских ханов и не будет там же проколот мстительными кинжалами Османа и Хаджи-Мурата, молочных братьев убиенных ханов.

Вновь принявшись разглядывать рисунки, Шамиль с некой долей печали, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Смерть со мной дружила.

Став и духовным и светским вождем, Шамиль в отличии от своего учителя, создал настоящее государство – Иманат, границы которого расширил за счет тех территорий, которые были в стороне от Моздокских лесов. Вторгался и в Грузию, где взял в заложники отрока грузинских царей, которого затем обменял на своего захваченного русскими сына.

Шамиль имел регулярные части со знаками отличия. Знаки полкового и дивизионного командиров состояли из круглой серебряной пластинки, разделенной на три отделения. В первом отделении помещена была надпись кругом на арабском: «Если ты предаешься войне, то малодушие в сторону. Терпи все её невзгоды: кому не назначено, тот не умрет». У войск Кенесары воинские знаки были попроще. Красные и синие нашивки на плечах и груди рядовых и три золотых шнурка у командовавшего состава.

Неожиданно аварский старец снова обратился ко мне:

– А теперь я хочу сказать тебе, наследник казакских ханов. Русские пленили моего сына в его малолетстве и воспитали его в этом городе, как и тебя, своим офицером. Они вернули его больным и он умер от болезни силл.

Силл по-арабски означает чахотку. В последний месяц петербургский климат стал плохо сказываться и на моей груди, я стал кашлять. Если этот служитель Аллаха действительно дружит с черным ангелом Азраилом, то упоминанием о своем сыне предлагал мне поспешить отсюда пока я не стал одним из бедных персонажей г-на Достоевского. И меня охватила глубокая печаль, печалился я до нового презабавного эпизода.

Шамиль наконец осмотрев все рисунки иллюстрированной книги, закрыл её, отложил в сторону и обратился к профессору:

– Я приготовил для тебя вопрос. Я читал историю Египта и там сказано, что во время управления одного из халифов фатимийских в одном и том же году было затмение Солнца и Луны, что предвещало несчастье. Что говорят европейцы о причине затмения?

Профессор солидно откашлялся, потрепал рукой свою окладистую бороду и, приведя себя снова этими ритуальными действиями в лекционное состояние, начал свои объяснения на арабском языке, без которого нельзя говорить с мусульманином о научных предметах. Не ограничивая себя лишь сфероидными взмахами руки, он изобразил карандашом на бумаге Солнце, Землю и Луну в их относительном положении во время обоих затмений:

– ...и когда Земля совершает свое кругообращение вокруг Солнца...

– Нет, не Земля, а Солнце вращается вокруг Земли, – твердо возразил Шамиль, до последней фразы слушавший ученого внимательнейшим образом.

Профессор неожиданно горячо стал настаивать на своем понимании мироздания, даже призывал и меня высказаться по астрономическому предмету, совсем невпопад заявляя, что я, как офицер, знающий что такое траектория полетов артиллерийских снарядов, должен подтвердить

современные представления полетов планет в космосе. Я отмолчался. Давнего мальчишеского спора с муллой в Ставке моего родителя под его неодобрительным взглядом на тему: как и когда возникла наша Земля мне было достаточно. Однако имам не стал ссылаться на Коран, а лишь оглядел лицо своего сына, который явно уже поверил в то, что Земля вращается вокруг нашего светила. Не дав перемениться ни одной черточке на своем лице, Шамиль сказал Казы-Мухаммеду несколько фраз на аварском языке, которого я не понимал. Тот выслушал его и весь восторг познания в миг улетучился с его лица.

Запомнился мне отчетливо и другой монолог главы правоверных Кавказа, высказанный им снова в своей манере:

– Войну я начал молодым человеком и после смерти своего учителя не видел никакого другого исхода, как месть. Газават есть явление законное. Не могут мусульмане жить под власть заблудших или, что ещё хуже – язычников и безбожников. За эти долгие годы погибло от пуль и клинка тысячи солдат и мюридов. И ничего не изменилось. И я устал от этой войны. А если устаешь от дела, то значит дело это не освещено волей Аллаха, значит путь, который я выбрал, Ему не стал угоден. И я отдал себя русским генералам. Наверное, наступит день, когда я присягну на верноподданство русскому царю и новому своему отечеству. Но цель моей жизни не изменится и я не откажусь от газавата. Когда Мухаммед вернулся с одной войны, он сказал своим соратникам: «Мы закончили малый газават. Пора начинать большой газават». Его спросили: разве война есть малый газават и что есть большой? Пророк ответил: «Большой газават есть нравственная борьба и эта борьба труднее чем война». Только сейчас я понимаю, что идти к освобождению последователей Мухаммеда от кафиров надо идти другой дорогой – дорогой доверительного слова, любви и примерами своей добродетельной жизни. Нам всем надо молить Аллаха, что бы глаза у русского царя Александра и глаза его сыновей открылись скорее и они увидели бы истинную веру во всей её красоте и признали бы они, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед Пророк Его, чем свершится та воля Аллаха, которую мы не поняли правильно и пошли на ненужную войну. Это случится не скоро, но разве не к терпению учил нас наш Пророк, – помолчал и с удивительной уверенностью добавил. – Если бы царь пожелал меня выслушать, он вступил бы на истинный путь скорее. Зачем-то же он сохранил мне жизнь.

В Ставке мятежного Кенесары в свое время составился заговор, а так как участником его был и некий русский унтер офицер, присягавший на верность царю и отечеству, а затем и киргиз-казакскому хану, то просил он за голову султана не обещанные 3 тысячи серебром, а прощения. Царь на это наложил резолюцию: «Да, если достанет живого». Августейшие Романовы, надо думать, хотели видать своих противников живыми не для душеспасительных бесед, а потому что являлись Императорами, а не африканскими вождями, коллекционирующими части человеческого тела. И все же было что-то такое пророческое в этом кавказском патриархе, способное сдвинуть любые чувства в сердце любого человека.

И ещё одна его сентенция, оставшаяся в моей памяти:

– Нас нельзя победить, потому что среди мусульман мы самые обездоленные и эту судьбу выбрали себе волей Аллаха и своей волей. Мы считали себя суфиями ордена Накшбандийа и воевали за интерес своей веры и своего народа. Только настоящий суфий разве может воевать за народ? В этой жизни ничего для нас не должно существовать, кроме как служение Аллаху. А Аллаху не угодно служение оружием. Это верно, как печать Пророка. Война – это угроза смертью. Проигрывает её тот, для которого смерть есть его поражение. И он боится. Смерть же для нас только продолжение пути к Всевышнему Аллаху. Император оказал мне невиданные почести и подаренные им мне драгоценности были таковы, что мы подобных вещей и не видывали никогда. Золото и оружие – вот что делает людей рабами других людей, но те, кто владеет и гордится тем, что имеет золото и оружие блуждает на пути к Аллаху.

– Значит, ни о чем не сожалеете? – спросил имама профессор.

И имам ответил сам прямо-таки по-профессорски:

– Я жалею лишь об одной утрате. Покинувшие меня сожгли мои книги. Вот и все.

Война между народами всегда в какой-то своей части и война со своими.

Сестрица Кенесары атаманша Бопай со своим лихим отрядом сожгла нашу степную усадьбу. Конечно, дом – не библиотека, но ведь и там были книги, да и вообще жалко.

К концу нашей встречи, Казы-Мухаммед, прежде спросив разрешения у отца, возбудил следующий вопрос. Он сказал, что видел здесь в Петербурге фотографии людей и попросил разъяснений как они делаются. Профессор

Казем-Бек нашел очень удачную форму объяснения. Он подвел мюрида к зеркалу:

– Видите свое изображение в зеркале?

– Вижу во весь рост и очень ясно, – отвечал Казы-Мухаммед.

– Как мы видим себя в зеркале? Отчего это происходит? Что это значит? Все эти вопросы относятся к науке, называемой у арабов ильму рвут, по европейски – оптика. Есть оптические лучи, отражающиеся от людей и предметов, они оставляют на всяком полированном предмете свои следы, составляющие изображение. Как на этом зеркале. Есть и другая наука – химия...

– Я знаю эту науку, – воскликнул Казы-Мухаммед, которому видимо всякое знание доставляло явное удовольствие. – Древние философы посредством науки кимии делали золото из всяких металлов.

Профессор строго оглядел своего новоявленного студента и, после строгой паузы, продолжил:

– Так вот, юноша, химия имеет такие вещества, которые закрепляют на гладкой, плотной бумаге оптические лучи, которые изображают нас.

– А, я понял! – сказал Казы-Мухаммед с непритворным восторгом. – Как это умно! Кто открыл эти химические вещества? Мусульманин какой страны?

– Нет, – разочаровал Казем-Бек своего слушателя. – Эти вещества открыл один франк и не очень давно.

По глазам Казы-Мухаммеда было видно удивление, что такой умный ученый был не мусульманином. Разве не принявшие ислам могут видеть верно! У Казы-Мухаммеда, как и у его отца во время интересной беседы, физиономия сильно оживлялась, но тут же застывала, когда говорилось о чем-то не устраивающем своей сутью его.

Старик, конечно же, был презабавный, но меня черт дергал и все хотелось смутить душу его мрачноватого, если не сказать угрюмого сына Казы-Мухаммеда, столь крепко державшегося старозаветных правил имама. Воспользовавшись его любопытством к фотографии, я в самой учтивой форме обратился к имаму с предложением совершить путешествие в фотографическую мастерскую и сделать там его карточку для истории, тайно надеясь, то сам имам откажется от этого сомнительного занятия, но своего наследника он отпустит со мной. Сказав, что в Коране нет слов о фотографии и, следовательно, наука эта не противопоказана людям, имам так и поступил.

Прежде я отправил записку Крестовскому. Если уж сам Добролюбов объявил нас с ним сатирами фривольной музы, то лучшего компаньона, чем поэт для моей миссии я придумать не мог. Затем мы отправились фотографическую мастерскую, затем я немедля повез Казы-Мухаммада в новое питейное заведение под модным названием Restaurant. Он оказался отличным джигитом. Войдя в зал, наполненный запахами французских вин и духов он, догадываясь, что здесь не занимаются наукой, называемой арабами ильму рвут, не смалодушничал и только сказал мне тихо:

– Ты мусульманин, я доверился тебе.

На что я ответил, что являюсь не только его единоверцем, но и обладаю таким же именем как у него с незначительной различием – Ханафия вместо его Казы.

В тот год кавказская одежда с непременным кинжалом только входила в стиль и Казы-Мухаммед произвел на присутствовавшею публику всесокрушающий эффект.

Я заказал обед, исключавший свинину, и парочку бутылок «Мадам Клико».

– Я не стану пить, – сурово сказал сын имама, когда половой разлил шампанское по нашим фужерам.

Самое верное средство уговорить человека это его не уговаривать. Даже в самом праведном человеке сидит маленький шайтан, тем паче в молодом теле, оказавшимся в кошмаре, тонко сплетенном из близких оголенных дамских плеч, венского вальса и светских анекдотов, которые я знал достаточно. Не прошло и получаса, как Казы-Мухаммед сделал свой первый глоток вина. Хотя, кто его знает. Может быть и не первый, ведь виноделие не в северной столице придумали. А когда наконец приехал Крестовский с тремя девицами в белом, малиновом и снова малиновом, но с черными бантами чуть ниже талии, наш петербургский пленник созрел настолько, что на вопрос поэта, нравятся ли ему «Мадам Клико», отвечал прямо:

– Мне нравятся русские женщины, – чем вызвал бурный восторг у наших приятельниц.

Все что последовало далее не отличалось оригинальностью и, как и история с сабельной атакой на округлостях Катерины Монс, достаточно запретная для оглашения. Приведу лишь один отрывочек из диалога за тем застольем и то потому что он имеет непосредственное отношение к самому имаму, точнее к тем словам, которые, как я догадываюсь, он сказал сыну на аварском.

Неотвратимая пьянящая симпатия, возникшая в нашем кругу, позволила скоро романическому Крестовскому обратится к новому другу в черкеске с пламенной речью за здравие со словами о наступившем теперь вечном единении и братстве, с торжественным умозаключением, что теперь даже наука пить шампанское не разделяет Россию и Кавказ.

Казы-Мухаммед выслушав мой перевод поэтического тоста, согласился, добавив только:

– Ваши науки очень хороши, но Солнце для нас все равно всегда будет вращаться вокруг Земли.

По всей степи разбросано множество древних и новых могил, курганов, насыпей и пр. Эти немые памятники в киргиз-казакском быте гораздо важнее в географическом, чем в историческом отношении, потому что это единственное, что совершенно неподвижно в жизни народа, и кочевник соображает свой путь с положением этих могил, как когда-то купцы на европейских дорогах шли по постоялым дворам.

Мола – неопределенное название, под этим словом мы рассматриваем и древние строения и построенные не так давно траурные склепы, но что мы чаще всего видим? По преимуществу простую, неизысканную насыпь, кучу щебня или какой-нибудь уродливый монумент, слепленный из глины. Этой простотой, безыскусностью и отличается то, что дано нам видеть. Но некоторые из них следует исключить из этого числа, как, например, мавзолей ходжи Йасави, мавзолей Суюк-хана, сына хана Аблая, монастырский свод которого рухнул при строительстве и задавил девять рабочих, и султана Абулхаира, военачальника, разгромившего джунгарскую армию и предавшего свой народ ради единоличного трона в Младшей орде.

Не менее примечателен материал, из которого строятся такие молы. В киргиз-казакском мавзолее и около него выражается весь вкус киргиз-казака, его искусство, архитектура, его вера и фольклор. Созданные не так давно могилы имеют две главные формы: квадратную и куполообразную. При первом условии мавзолей представляет собой небольшой тип крепости, т.е. сооружение с невысокими дверьми на запад, укрепленными наружным траверзом, и за стенами их можно, при необходимости, укрыться от нападения более десятка человек.

Вторая форма более других нравится киргиз-казаку, потому что громадность у него – первое условие величия предмета, и мавзолеи поэтому устраиваются над прахом важных и богатых личностей.

Многие могилы выстроены из обожженного кирпича. Где заняли киргиз-казаки это мастерство, неизвестно, но положительно можно сказать, что обожженный кирпич нельзя назвать редкостью в степи, он часто встречается в наших древних постройках.

Киргиз-казакский кирпич отличается прочностью глины и неровной отделкой; он очень тонок и различной формы судя по потребности: для круглых сооружений – округленный, для пирамид – квадратный и прямоугольный.

Могилы всегда устраиваются на возвышенных местах, караванных или кочевых дорогах и около речки или озера. Это делается и с целью, чтобы проезжий мог прочесть особенную над прахом молитву бата – благословение.

Древние надгробные памятники отличаются большим разнообразием видов, лучшей отделкой материала, употреблением прочных сводов и украшением резьбой. Путешественник, проходя мимо, замечает в своих записях суть произведения народа не дикого, а образованного.

Но когда появились первые строения среди этой пустыни? Постараюсь эту мысль довести до той степени ясности, до которой позволяет историческая истина.

Первоначально следует заметить, что древние могилы по простоте и искусству строения должно разделить на два разряда: на народные могилы с обычными насыпями над захоронением и на палаты, строения, где успокоились души почетных персон. Страна этих могил, наши степи, были заняты до монгольского периода истории тюрками коренными. Четыре племени, участвовавшие в защите хана Огуза, – уйгуры, каладжи, канлы и карлыки составляли основу тюркского союза. Были народы, которые по происхождению принадлежали к другому поколению, но подчинялись тюркскому языку, тюркским нравам. Таковы были хазары, болгары, башкиры, мадьяры и др.

Нашествие монголов совершенно изменило население этой страны, сами имена племен потерялись и только некоторые остались именами киргиз-казакских родов. Старое население, без сомнения, слилось с новым, и здесь на законах монгольских нередко возникали орды, отдельные от Золотой или Волжской орды: Ногайская, или Мангытская орда на Урале, Синяя орда до

Сейхуна и Тюменская орда рода Шейбанилов. Вероятно, ханы всех этих орд завещали хоронить себя в глубине той степи, которая породила их, так мы находим могилу основателя Мангытской орды Идигея на одной из Улутавской вершин, которая и носит название этого великого полководца.

О беке Идиге, эмире тюркского племени мангыт, одним из первых упоминает в своей киргиз-казакской истории «Джами» Кадыргали Жалаири.

По Жалаиру неугомонный Идиге, где бы он ни находился, первым же делом сражение или «страшную сечу чинил». Идиге у него отличается и острым словцом. Как-то во время какого-то очередного зимнего похода сей славный витязь на жалобы и мрачные предсказания о переменчивости погоды и судьбы человеческой изрек: «Волга скоро не замерзнет, Идиге скоро не умрет». Ничего не скажу о нраве великой реки, а сам бек Идиге протянул действительно, несмотря на всю свою боевитую непоседливость, довольно долго, и погиб только на 63-м году от ран в битве с неким ханом Кадырберды.

Однако не только ученые мужи, но и народы сочиняли сказания об этом легендарном победителе Великого литовского князя Витовта при Ворскле и фактическом единоличном правителе Золотой Орды при четырех ее ханах.

Есть и у моего народа своя сага о Идиге-беке. И если Жалаири писал свое сочинение, сидя в Москве, на никому не понятном там языке, при этом нисколько не смущаясь, посвятив ее своему покровителю Борису Годунову (хотя черт его знает, быть может, действительно Годунов татарин?), где-то в середине XVI века, то наш эпос-джир, должно быть, составлен гораздо ранее начала XV века.

Это доказывается многими старинными словами и оборотами, которых теперь нет в современном киргиз-казакском языке. Примечательно так же и то, что в этой целой рапсодии нет ни одного персидского или арабского слова, тогда как теперь, с распространением магометанской религии, даже в обыкновенном разговоре между простым народом, вошли в употребление слова из этих языков.

В последнее время моего пребывания в степи джиры почитались уже устарелою формою поэзии. Можно сказать утвердительно, что эта форма сказания под аккомпанемент двухструнного кобыза вышла из моды со смертью знаменитого певца-импровизатора Джанака, он был родом каракесек, из Каркаралинского округа, и вряд ли я теперь осмелюсь претендовать о передаче мной и всей рифмы и размера этого эпоса. Ведь все строки и мелодия из поколения в поколение передавались изустно особым

сословием певцов, как в древней Греции поэмы Гомера. Но небольшой отрывок из «Идиге» я все же попробую передать.

Первый список джира о Идиге сделан был моим уважаемым родителем, большим поклонником этого великого тюрка, которого он без всякого сомнения считал, пусть не прямым, но одним из наших предков, впрочем без всяких на то доказательств (после моей аудиенции у Императора, как-то он встревожено спросил меня: «Не проговорился ли ты русского царя о том, что наш Идиге сжег Москву?». Это чуть ли не пять веков назад! – такова его не наивность, а, скорее, осторожность). Затем этот же список дополнялся из других источников и, наконец, мы свели его с моей записанной версией.

Естественно, я не буду следовать тем законам джира, когда герои обязательно свои монологи излагают стихами.

Второе, разрешите мне не всегда следовать различным историческим хрестоматиям, при всем моем уважении, скажем, к работе Ибрагима Хальфина, изданной совсем недавно, в 1822 году. Сухое изложение фактов и так доминирует в моей писанине, а хотелось бы изложить нечто более художественное, пусть даже с немалой толикой народной фантазии. Я думаю, это и интересней писать, и интересней читать.

Только коротко, и по Хальфину, и по древней рукописи Ибн-Арабша можно достоверно заключить, что Идиге был происхождения духовного, хотя тот же Ибн-Арабша вдруг называет его дьяволом Хромого Тимура.

Идиге был потомком Святого чудотворца Баба-Тукласа в 9-м колене. Предание о происхождении самого Баба-Тукласа уже как бы заранее выдвигает его потомку особые дарования.

Случилось так, что некто, путешествуя, наткнулся на череп с надписью на лобной кости: «Я живой убил несметное число людей, мертвый могу убить еще сорок». Человек сжег этот череп, пепел взял в узелок, привез домой и отдал дочери на хранение. Дочь из любопытства развернула тряпку, и, увидев белый порошок, пальчиком попробовала его на вкус, отчего забеременела и родила сына, названного Баба-Тукласом, которого многие мусульмане признают позже третьим по святости после Пророка.

Баба-Туклас, будучи еще учеником обнаружил необыкновенную проницательность ума. Однажды хан той страны, где он жил, увидел сон: будто сидит он на мосту, а из реки вынырнули драконы, двадцать с одной стороны, двадцать с другой, имея гастрономическую цель – сожрать его. Хан тут же созвал своих придворных ученых и велел им растолковать этот сон. Ученые в своих догадках зашли в тупик и подставили хану своего ученика.

Юный Баба-Туклас не стал отнекиваться и лишь потребовал, чтобы его оставили с ханом с глаза на глаз. Когда ученые мужи вышли вон, Баба–Туклас разъяснил хану, что эти 40 драконов и есть никто как 40 его придворных ученых, взявшихся тайно и по очереди спать с его любимыми женами. Хан проверил, действительно эти философы-алхимики да звездочеты под видом старух в черных одеяниях так и шастали каждую ночь в его гарем! Ученых казнили, и тем исполнилось предсказание, выписанное на найденном черепе.

Отца Идиге звали Кутлук-кия. Однажды на берегу реки он увидел голубицу, сбросившую на песок свои голубые перья и обернувшуюся девицей. Одни заверяют, что она – Кун-слу, была дочерью Солнца, другие клянутся, что она была дочерью духа Албасты. Не могу быть судьей в этом споре, но знаю точно, что же было дальше. Девица погрузилась в воду, а Кутлук-кия захватил ее голубиное одеяние. Так он принудил ее стать его женой, правда, с одним условием: никогда не смотреть ей в затылок. Естественно, что молодой муж нарушил свою клятву и увидел, когда она расчесывала свои золотые волосы, прямо под гребешком ее мозг. Тотчас же женщина вновь превратилась в птицу и лишь успела, отлетая, крикнуть: «Я тяжела твоим сыном, ищи младенца на берегу Нила-реки».

Так родился Идиге (титулов не перечисляю, их невероятное множество), а имя его свидетельствует, что он родился в безлюдной пустыне.

Опечаленный Кутлук-кий вернулся с сыном к хану Тохтамышу, у которого прежде ходил в приближенных. В чем-то он скоро провинился перед ханом, и тот его казнил, хотел отрубить голову и его малолетнему сыну, но один из учителей Идиге спрятал его среди мальчишек-пастухов.

Первым же делом Идиге переборол всех остальных мальчишек, отнял у них одежду и, устроив из нее кучу, взгромоздился на ней и произнес: «Вот я сел на трон Тохтамыша!», сверстников своих голых рассадив вокруг. В это время мимо ехали на верблюдицах двое пожилых людей и возмутились, увидев, что дети не приветствуют их: «Разве мы не старше вас летами?!» «Разве вы старше, а не мы – двадцать десятилетних детей?» – отвечал им Идиге. «Разумеется, мы, – отвечали путники, – Каждому из нас по пятьдесят лет». «А нам всем вместе – двести, – заявил им Идиге. – И потому вы первые должны сойти с коней и приветствовать нас». Старички растерялись, но затем, восхитившись находчивостью малыша, предложили ему рассудить тяжбу: «Ты видишь меж наших верблюдиц верблюжонка, каждый из нас считает, что этот верблюжонок родился от его верблюдицы, и никак мы не

можем помириться». Идиге, недолго думая, отвечает им: «Ваша беда ничего не стоит, бросьте верблюжонка в глубокую реку, и та верблюдица, которая бросится за ним, и есть его мамаша». Путники сразу же так разрешили свой спор.

Шли так же мимо овечьего стада в город к судье и две женщины с малышом, и они попросили пастуха-мальчишку помочь им в их деле. Одна женщина заявила, что это дитя было выкрадено у нее еще в колыбели, другая же твердила, что это ее собственный ребенок, и что девять месяцев она носила его в своем чреве и девять месяцев ее крестец сгибался под его тяжестью, а слова ее соперницы чистая напраслина. Тогда Идиге взял и поставил ребенка между двух этих женщин и, вынув свой родовой меч, заявил, что разделит этого малыша пополам, дабы у каждой было хоть по половинке, но сына. Одна тут же вскричала: «Не смей! Отдай лучше сына моего этой женщине, лишь бы он жил!». «Так ты и есть настоящая мать», – указал на испугавшуюся женщину Идиге, вторая же баба со стыдом бежала прочь.

Так возникла слава о мудром отроке, пасущем в голой степи баранов, и настал день, когда сам хан Тохтамыш призвал Идиге к своему двору. И надел на него широкое платье с завязками на груди. Черного соболя шубу подарил, чтобы носить ее поверх платья. Дал ему серого иноходца, к которому был привязан кожаный барабан. Белого кречета – птицу посадил ему на руку. И велел: «Ты, свободный, путь твой свободен, а держава моя столь велика, что всякая свобода в ней лишается смысла. Будешь первым при дворе моем, придут споры из Крыма, решай их, Идиге, придет тяжба из городов, что на вечной реке Сырдарья, решай их, Идиге, а то, что происходит на Идиле – Золотой Орде, то тем более твоему суду подвластно». От того Тохтамыш посадил его на судейские дела, что опасался нового царедворца как воина, размышляя так: «Видано ли было, чтобы хан бежал, а бий его преследовал?».

Скоро Идиге все споры кончил, всех тохтамышевых неприятелей побил, и начал хан жить спокойно, с великим достоинством. Но как всегда, принялись тут бабы воду мутить. В один из дней жена Тохтамыша говорит мужу, указывая на Идиге:

– Этого наемщика предназначенье вашего предназначенья выше.

–Эй, глупая женщина, как ты это можешь знать?!, – встревожился хан.

Ханша же, не смутившись, отвечала:

– Когда он по утрам входит в вашу опочивальню со словами: «Пусть Бог будет вашим спасителем», вы, сами того не замечая, так пугаетесь, что вздрагиваете.

– Ложь!

– Ах, если вы мне не верите, то разрешите, я большой иглой приколю полу вашего халата к вашему же ложу, тогда все и прояснится, – не сдавалась искательница правды.

Хан на то дал согласие, и когда на следующее утро Идиге вошел во внутренние покои властелина со своим обычным приветствием: «Алланыз жардем болсын», – великий хан Тохтамыш, государь одного из самых крупных государств первой половины XIV века, так вздрогнул, что два конца переломившейся иглы, разлетевшись в разные стороны, намертво впились в стены.

Дальше интриганке совсем ничего не стоило убедить на примере блюда с простоквашей, в которую была подмешана ее моча (каковы приемчики!), нервного супруга в том, что молодой его визирь вот-вот готов вероломно расчленить его империю. И новоявленного бека Идиге решено было убить.

На этом ли зиждилась размолвка Тохтамыша с Идиге или нет, действительно ли августейшая особа гадала на своей моче – не важно, но то, что в те времена в Золотой Орде царевичи и беки резали друг друга уже без всякой надобности, всем известно. И было бы действительно скучно вспоминать такое, если бы народные акыны не разукрасили бы эти истории своей неуемной фантазией, в которой и конь говорящий и Луна – сестра человека.

Быть может, поздно, но разрешите согласиться все же с вами, немец – ты – мой – генерал, месье Гасфорд. Ваш бывший адъютант нынче без колебания отказался бы читать и Жорж Занд и г-на Гоголя ради вот таких баек о Идиге. И дело не в каком-то абстрактном патриотизме, просто это и есть мой кейф.

Но я отвлекся. Ханша предложила взволнованному мужу напоить Идиге и зарезать. Трудность была в том, что и в питие наш герой был совершенно неутолим, но нашелся способ напоить и его. Коварная особа придумала собрать на той весь цвет народа и назначить Идиге главным виночерпием, тогда обязательно каждый возжелает выпить именно с ним. Но разговор этот тайный слышал шестилетний ребенок по имени Ангусын, друг Идиге.

Настал назначенный ханом день, приехали десять тысяч лучших людей для празднеств во дворце Алтын-Сарай. И каждый из них принялся потчевать Идиге: “Пей, батыр, пей! Выпей со мной!”

И Идиге из-за уважения к этим знатным персонам пил, но выпивал из чаши лишь половину, другую половину вина выливал в козий бурдюк, подвязанный им самим под свое платье. Хан смотрел на раздувавшуюся талию своего нового врага и потирал ладошки, время от времени посылая человека узнать, готовы ли те 60 воинов-силачей, посаженных им в засаде на пьяного Идиге. Этим-то коварным батырам мальчик Ангусын незаметно подрезал левые стремена и, вернувшись к всепьявому застолью, шепнул старшему другу:

– Готов твой конь огромнокопытный, белый в крапинку Тарланбоз, готов он бежать ночь и день следующий весь, едва ли придется биям, сидящим на почетных местах, сегодня насмеяться над тобой, Ангусын я называемый, не заставляй меня говорить долго, помни последнее сказанное между нами условие.

Вспомнил раскрасневшийся от вина Идиге свою беду, и, метнувшись, как стрела, одною ногой коснулся порога, другая уже была в стремени коня Тарланбоза, и остановился только в степи между Яиком и Волгой.

Между тем Тохтамыш, упустив его, вызвал лучшие умы своего государства и держал с ними совет. Но никто не смог помочь ему. И вместе с ним сильный народ закружился на месте одном, растерялся.

Привели, наконец, к хану сухоногого старика в высокой алтайской шапке, по имени Супе-жырау. Немощная челюсть его, давно лишенная и следа от зубов, была подвязана к голому черепу шелковой лентой. Ленту эту развязали, и высохший весь, как травинка зимой, старец просипел:

– Стар я, стар, зачем мне говорить?

Тахтамыш рассердился:

– Говори! Иначе прикажу челюсть твою прибить ржавым гвоздем!

А Супе-жырау продолжает сипеть свое:

– Тогда вели напоить меня женским молоком.

Пригнали семерых кормилец десяти младенцев и те напоили беззубого старца. Тут голос немощного мудреца прорезался по настоящему и он завопил во все горло:

– Долго живу я, я видел все. Сначала был Бастык-хан, его, я, старик, видел, после него был Кидей-хан, его я, старик, видел, после того Ала-хан, его я, старик, видел, после него Кара-хан, его я, старик, видел, после него был безухий Назар-хан, и этого я видел, храброго Чингисхана, покорителя Вселенной, натягивавшего на двенадцать ладоней стрелу, я видел, прадеда твоего Домбаула, построившего башню в сто двадцать аршин, я видел, хоть

ты молод, Тохтамыш, я, старик, достигший ста восьмидесяти пяти лет, вижу. Оглянусь ли я на прошлое, будет ли польза от гнева? Испытаю ли будущее, от угроз и брани выйдет ли толк? Я видел много царей и ханов, но такого широкоплечего, вислогубого, бледнолицего джигита, как Идиге, я не видел. Он один уйдет от тебя, высокие вершины гор он пройдет, попирая стопами, в безводных пустынях откроет светлые источники, и снеговой тучей обойдет тебя, поджарый голодный хорек, сзади и спереди, рысью волка, отъевшего человечьего мясца. Он погонит вас меж двух рек, выбьет серебряные твои двери и, не жалея, покроет собой полногрудых твоих красавиц, стерев с их лица алые румяна.

– Что же мне делать? – в отчаянье вскричал хан.

– Он еще не перешел Волгу, – отвечал старец Супе-жырау. – Пошли девять своих богатырей, пусть словами уговорят его вернуться. Вернется, держи при себе, – и, сказав это, старец опрокинулся на спину и почил в одно мгновенье, но на всякий случай ему челюсть прибили кованым гвоздем, чтоб не болтал там, на небесах, лишнего.

Послал вслед за Идиге хан Тохтамыш девять батыров со словами: «Обманите, уманите, привезите Идиге, возьму я его опять в приближенные, а если сможете, то в пути срубите ему голову2. Батыры нашли Идиге на крутом берегу Волги. Принялись они уговаривать героя вернуться, суля ему все блага и более того, что он имел прежде. Прибегли они к доводу, для нас, испорченных цивилизацией, несколько вольному, но я думаю сильному и по-человечески естественному: «Вернись, батыр, тобою взятая девица, дочь Ал-Умур-хана, прекрасная, как полная луна, соскучившись, изорвала на себе ткань и желает, чтобы въехал ты в нее перед вечерним холодом. Хан Тохтамыш не сердит на тебя, смирись перед ним и собственными устами проси прощения. Иди, Идиге-у! Оставь свое зло».

Однако как бы долго и упорно ни уговаривали девять посланников хана беглеца, он был непреклонен:

– К Тохтамышу я не поеду кланяться и прощения перед ним не устрою, а стрела моя цела и прошьет свод юрты его. Я, раз сев на коня, с него не сойду, и отказавшись от принятого намеренья, только сделаюсь бабой.

Далее он сказал то, что угадал старец Супе-жырау, а насчет девицы высказался вообще гениально: «Не буду я вместе с нею петь, ни разговаривать, ни смеяться, не обниму ее под воротник за голую шею и не лягу под чий с ней перешептываться – я с некоторого времени совершенно оглох!».

Стоит ли говорить о том, что такой молодец не только не поддался соблазну снова уложить себя в почти лакейское ложе, но и увлек с собой всех девятерых батыров Тохтамыша. Он с ними отправился за войском к Темир-хану, давнему врагу хана Золотой Орды.

Труден был их путь, шли они пустыней да солончаком не один месяц, и стали тохтамышевские батыры роптать да пугаться смерти в песках. А освободиться они такой гибели теперь могли только прежде убив Идиге. Пригляделся к ним Идиге, выждал, и вот случай: переползла перед ним дорогу змея с девятью головами, велел ее гнать Идиге, змея кинулась в нору, но только одна ее голова вошла в земляную дыру, а другие мешали всей скрыться. Батыры убили плетками ее. На день следующий встретил Идиге с товарищами другую змею, теперь с одной головой и девятью хвостами. Снова приказал батырам Идиге гнать змею, но она скоро исчезла в первой же норе, и хвосты голове нисколько не помешали. И тогда Идиге только одно и сказал: «Видите?». И батыры успокоились.

– Эй, девять друзей, я – десятый! – воскликнул Идиге. – И мои плечи устали от езды, и мое горло пересохло от жажды, и брюхо подтянулось от голода, но я достану еду, я всем вам дам новые платья и заплачу за лошадей, если эти издохнут. Зарежем самых худых лошадей, напьемся, как вина, солончаковой жижи, а если все же кто-то из вас умрет, товарищи мои, мы прочтем над ним молитву, зажжем огонь и, омыв его тело, похороним. Не говорите вполовину, говорите сразу, а пока я жив, вы не умрете.

По канонам классических драм Фердоуси и Шекспира в следующем акте должно обязательно произойти ясновиденье или герой должен увидеть пророческий сон. Так оно случается и здесь.

Идиге видит сон и, просиувшись в испуге, восклицает:

– Эй, девять товарищей, суюнчи – радость, вставайте! Одевайтесь, опоясывайтесь с саблями, умойте лица и руки, я сегодня видел сон. Да будет этот сон хорошим предзнаменованием и пусть обратится все худое в нем на худого толкователя. Объясните мне этот сон, товарищи! Видел сначала, что сел я на белую лошадь с позолоченной гривой, потом, превратившись в белого кречета, я взлетел в небо и разговаривал с летающими там ангелами. Спустившись оттуда, я погнался за серым гусем и, схватив его, прилетел на Тор-гору и принялся клювом разрывать его грудь. Что бы это значило?

Девять друзей-батыров долго думали, толковали друг с другом и пришли к такой разгадке: скажут – паси лошадей, будь табунщиком, увидишь принцессу, не беги прочь, говори с ней; найдешь непобедимого врага –

смерть его в его груди. Вот! разгадали сон и поехали дальше. И в один прекрасный день увидели вдали два шатра, белый и синий. Встретили их грозно: «Кто такие? Мы знать вас не желаем, а если думаете жить, идите к нам в пастухи». Идиге, смирив свою гордыню, отпустил своих товарищей, а сам принялся пасти сорок красивых коней, посылая тайно своим друзьям мясо и кумыс. Однажды из белого шатра вышла красивая девушка и нежно с ним заговорила. Табунщику Идиге угрозой кары запретили в этом стане говорить, но он вступил с ней в беседу. И узнал, что она дочь Темир-хана и похищена от отца непобедимым великаном Кабантином-Алпом. «Если я убью этого Алпа, – спросил у девушки Идиге, – и доставлю тебя твоему народу, будешь ли ты счастлива?». «Ах! – воскликнула дочь хана. – Не я одна, но и отец мой счастлив будет». «Тогда скажи мне, когда Алп-похититель уснет». Через некоторое время девушка передала Идигею семь с половиной баурсаков, что означало, что великан заснет с этого дня на восьмой во второй половине суток. И принялся Идиге сам себе мастерить лук. Да такой, что если его товарищи, все вместе взявшись, могли натянуть тетиву этого лука, то он его выбрасывал и делал другой. Наконец и девять батыров не смогли справиться с новым луком Идиге, и он не сломал его. А стрелу Идиге выковал с наконечником равным целой бараньей лопатке.

И вот настал восьмой день, солнце склонилось с зенита, и сказал Идиге друзьям: «Молитесь Богу, сегодня будет весело». Он направился к синему шатру, где на ложе своем возлег великан Кабантин-Алп. «Открой же ему грудь», – крикнул он дочери Темир-хана, и та исполнила его приказ. Идиге натянул стрелу с опереньем из крыльев ворона и, пустив ее, перебил хребет Алпа пополам. Нижняя часть Алпа осталась биться в конвульсиях на окровавленном ложе, верхняя же часть великан кинулась на руках навстречу Идиге и раненный Кабантин-Алп успел схватить за уздцы коня убийцы. Однако кровь хлестала из него, как водопад. Обессилел Алп и упал навзничь, завопив: «Гадатели земли моей мне говорили, гадая, что я умру от витязя, рожденного Святым, докажи же!». «Смотри! – воскликнул Идиге. – Вон гробница святого Баба Тукласа, я вызову его дух», – и сойдя с коня, встал перед степным могильным склепом на колени и вознес молитву. И чудо, над сводом могильника встал дух Баба Туклас и произнес: «Сын мой, ты поторопил меня! Я просил Бога за твое потомство, но теперь ты сам будешь счастлив и могущественен, но потомки твои попадут под власть неверных», – и исчез. Увидев такое явление, великан Кабантин-Алп промолвил устало: «Согласен, ты есть ты», – и скончался.

Сам Идиге послал к хану Темиру радостное известие-об освобождении его дочери, велел резать скот и возводить праздник. Народ поднял знамена веселья и торжества. Одна только дочь Темира ходила грустная и, прежде чем дать себя увести на постель святого супружества, сказала Идиге: «Знай же, прежде мною Алп наслаждался, и мне знать надо: беременна я от него или нет. В тот день, я помню, вот эта кобылица-жылкы играла с жеребцом, если она не тяжела, я тоже». Кобылу зарезали, вскрыли ее утробу и убедились, что и дочь хана холостая.

В скором времени пришли гонцы от хана Темира и возгласили Идиге его правой рукой, а темировская дочь родила ему через десять месяцев сына.

Наследника Идиге завернули в соболиные меха, уложили в золотую колыбельку, покрытую тканным из серебра пологом. И назвали его Нуралин, а в знак того, что он есть потомок государя, стали звать его не иначе как Хан-Нуралин.

Вообще в нашем племени рождению сына придается огромнейшее значение. Молодой мужчина, не имеющий еще детей, принимается в семье родителя едва ли еще сам не за ребенка. И я, несмотря на свои усы, все прохожу у своих родителей за дитятю и, пользуясь этим до сих пор бессовестно, беру у них иногда на содержание, так, на мелочи – съездить в Париж.

Но, наконец, и я твердо решил стать отцом, дело это не хитрое, но крайне благородное. Тем более, если раньше родитель намекал мне об этой моей миссии крайне деликатно, скажем, давая народившемуся моему очередному племяннику имя Жан-Мухаммед, этим как бы подчеркивая, что он должен был родиться у сына его Мухаммеда-Ханафии, а не Жакупа, то теперь в письмах откровенно сердится на мое «пустое» жительство на земле. Все! Женюсь! Безоговорочно. Надо еще раз попросить услужливого султана Тезека держать от меня подальше лошадей, не дай Бог кто-то оставит рядом оседланного жеребца!

Однако оставим никчемные подробности моей жизни и вернемся к эпосу, и именно к тому месту, где самым нагляднейшим образом показывается, как много может значить для судьбы человека его сын.

Хан-Нуралин, будучи уже двенадцати лет от роду, играя однажды в бабки, выиграл у всех мальчишек битки и, когда они принялись просить его вернуть им их, он согласился при условии, если они сейчас поставят на кон тащившегося в это время мимо старого бродягу. Мальчуганы, не долго думая, схватили старика и объявили его рабом на кон. Больше всех веселился

юный Хан-Нуралин. Тогда пыльный бродяга, поняв, что все мольбы оставить его в покое бесполезны, закричал в отчаянье: «Эй, Хан-Нуралин, сын беглеца, вместо того, чтобы ставить старика на кон рабом, лучше бы пошел и отомстил хану Тохтамышу, который прогнал твоего отца из его же народа!»

Хан-Нуралин в тот же миг навсегда бросил детские забавы, помчался к отцу и спросил с порога: «Отец! Не осталось ли у тебя какой-нибудь не отомщенной старой обиды?» Располневший от своего восточного счастья Идиге не смог сразу вспомнить о Тохтамыше, а вспомнив, сам встал и пошел просить у хана Темира войск: «У меня путь через сорок черных гор, путь сорокадневный в безлюдной степи».

С войском Тимура-хана Идиге пошел на Тохтамыша. Одно военное крыло его, сразу приотстав, бежало от страха назад. Второе крыло, приняв миражи озер за воду в степи, заблудилось и сгинуло. Лишь только центральная колона довершила поход во главе с Идиге и Нуралином. Подъехали они к Черной горе, и говорит отец сыну-удальцу: «Вот сторожевая гора Тохтамыша, отсюда до его Стана всего полтора дня пути. На этой горе сидит железная старуха с вороньими лапами, поднимись на нее!». Хан-Нуралин вынул меч и пошел вперед, но мудрый Идиге тут же остановил его: «Постой, сын. Можно мечом разрубить даже гору, но нельзя с обнаженным мечом пройти ее незамеченным», Идиге набросил на свои плечи черный платок, концы платка взял в свои руки, то же сделал за ним и Хан-Нуралин. И они поднялись на вершину, размахивая углами платков. Увидела их старуха, но растерялась, не может понять, кто же это мчится: люди или орлы? Еще внимательней вгляделась старуха с вороньими ногами в летящие силуэты и решила, что орлы. И не дала сигнала тревоги своему хану.

Так отец и сын оказались «на краю народа» им с воли тохтамышевой враждебного и на край этот смело наступили.

Затрепетал под ступнями героев народ, растерялся, ибо своим молниеносным походом Идиге оставил им возможность или умереть или покориться. Сам Тохтамыш велел встречать Идиге с сыном зажженными очагами и кипящим в котлах мясом, а себе выбрал путь беглеца. И, отъезжая из родных краев, сказал: «Эй, Идиге, не гони за мною смерть, что в ней сладкого? Ты был одним из моих витязей и бием моего престола, ездил ты всегда на лучшей мухортой с белым лбом, даренной мной. Ты всегда отличался почтительностью к старшим и младшим никогда не давал злой воли, и если сегодня исполняется предсказания Супе-жырау, то я в этом уже не виновен».

Затем Тохтамыш облачился в свой панцирь с девяносто девятью стальными бляхами, взял в руки копье с сосновым древком и сел на своего гнедого, к гриве

которого была привязана колотушка, предмет крайне необходимый для усмирения горячих жеребцов. И отъезжая, зарыдал, прощаясь со своим царством, награждая его целым рядом превосходных эпитетов: «О народ мой, богатый молоком, породнившийся с моим отцом и матерью, о народ мой, ездивший на белых конях... (здесь в записях эпоса особенно много неясностей и текст нуждается в основательной в основательной корректировке, но предположим, что вся эта невнятица произошла от горьких рыданий самого хана, потерявшего от горя способность к ясной речи, и не будем винить пересказчиков, им от меня за их труд и страсть и верность к преданьям старины только земной поклон).

На прощанье хан Тохтамыш верным людям своим сказал, что едет в Тилькуль и там намерен жить, но вернуться грозился через тринадцать лет. Добрался он до далекого Тилькуля, запыхался, снял с себя панцирь, выпил у одной старухи кумыса, но вдруг на него вновь напал страх, и он побежал дальше без доспехов и цели.

Между тем Идиге, устроившись на тохтамышевском престоле, одну дочь хана Тохтамыша взял себе, другую отдал в жены сыну своему Хан-Нуралину. Однако юный батыр был гораздо неугомонней своего отца и, даже не прикоснувшись к своей невесте, умчался догонять Тохтамыша. Сначала он заезжает к той старухе, у которой свергнутый хан пил кумыс, перемешанный со страхом, споткнулся там об панцирь, брошенный беглецом, но и это его не остановило.

В этот день доехал Тохтамыш до озера Киюкюль и устал бояться, на озере вода всколыхнулась и закричала птица-чибис. Хан произнес страстно: «Стой, конь мой, еще наскачешься, сердце мое удрученное, не колотись, сожмись, когда мы сшибемся один на один с Идиге, я успокоюсь, не падай копье, не колышься в моей руке, как ветка на ветру, в битве кровавой ты переломишься. Напрасно ты весело шелестишь, зеленая трава, если я после битвы останусь жив, я приду сюда со всеми своими табунами и стадами, зря не волнуйся, глупое озеро, если я напою из тебя мои табуны, ты станешь просто грязным болотом. Не кричи, чибис-птица, если я приду сюда со своим народом, то велю сокольничим пустить на тебя черного ястреба и ты поймешь, как бежать от родных берегов».

Чибис взлетел высоко и принялся кружиться над головой Тохтамыша, и, увидев издалека кружащуюся в небе птицу-чибис, Хан-Нуралин направил скоро туда своего коня. И, наконец, столкнулся с Тохтамышем.

Хан и батыр приветствовали друг друга кратко: «Салем!».

– Стреляй ты прежде! – предложил Нуралин.

– Нет, ты первым стреляй, – отвечал хан.

И все же Тохтамыш начал битву, три стрелы его не смогли пробить на Нуралине тот панцирь, что он нашел на дороге. И тогда хан сказал в отчаянье: «Я погибаю от своего же оружия!». И неугомонный Хан-Нуралин подъехал к нему и снес саблей с него голову, привязал башку тохтамышеву к седлу своему и рысью поехал назад.

Возвращаясь к отцу, Хан-Нуралин встретил черного всадника и разозлился

на него за то, что тот не уступил ему дорогу. Юный богатырь недолго думая взмахнул своей секирой и ударил ею дерзкого незнакомца, но лезвие секиры только прошло через тело черного всадника, нисколько ему не повредило, не пролив на землю ни капли крови. Тогда Хан-Нуралин в изумлении встал перед эти необыкновенной персоной. Черный всадник же проговорил: «Ты смел и дерзок, Нуралин, исполнил ты свое желанье, ты с панцирем тохтамышевым убил самого хана. Доволен своей работой. Знамя Тохтамыша было счастливо, народ при нем процветал и знал одно лишь изобилие, так за что голова его приторочена сейчас к твоему седлу?». Отвечал ему Нуралин: «Что мне нужды до изобилия при нем в народе и до его счастливого знамени. Я сел на коня и срубил ему голову, как хотел того я сам». Тогда черный всадник в черной чалме вздохнул и сказал: «Эй, Нуралин, не сбудутся твои желания, посмотри на эти четыре звезды, сияющие в ночном небе, они показывают, что придет время, и снова народом будет управлять новый султан, но не ты. Сзади тебя взошли еще шесть звезд, и это значит, что сын Тохтамыша султан Кадыберды, сядет на гнедую лошадь и сделает и тебя сиротой». «Не будет этого,- отвечал Нуралин.- Я отца своего защита!». «Да ты научишься, Нуралин, заканчивать дело миром, но звезды уже взошли», – заключил черный всадник и отъехал еще более темную в ночь.

Смелый Нуралин не решился его преследовать. Между тем старый евнух тохтамышева гарема уговорил дочь хана, предназначенную Нуралину, подложить под платье на брюхо подушку и сделаться такой же, как ее сестра, отяжеленная уже самим Идиге.

Вернувшийся наконец через шесть месяцев с похода, Нуралин увидел, что и его жена беременна, и, отбросив голову Тохтамыша в сторону, кинулся на отца своего с саблей. Творивший в это время намаз Идиге молитвой лишил сына чувств. Очнувшись, Хан-Нуралин снова бросился с угрозами и обидами на отца, и снова Идиге лишил его сознания, придя в себя в третий раз, пламенный Нуралин сел на коня и навсегда покинул свой родной народ и огорченного родителя. Отъезжая, он воскликнул: «Я соколом согнал с дерева ворона и сам сел на ветвь, я переплыл Волгу, широкую, как небо, и разбил плот змеи. Если я пролил в воду кровь, то откажусь от нее и пить буду только вино, если я заморил черного аргамака, то оседлаю крылатого тулпара-коня, если я выжег прошлогоднюю траву, то коней буду пасти на пахотных нивах, если я поднял руку на своего отца, то поеду в Мекку, обойду три раза храм Создателя и, надеюсь, буду прощен».

Разрыв с сыном подкосил и самого Идиге, он стал томиться душой, и мысли его были печальны: «Что хорошего быть ханом, когда поколеньям будущим мы не оставили достойных примеров?!».

Идиге совсем забыл себя, отпустил от руки своей народ и лег в тоске в отдаленном кочевье.

Подлый евнух тохтамышева гарема тут же дал сигнал сыну Тохтамыша Кадырберды, и тот, не таясь, проник к Идиге. Вошел он в юрту Великого воина и Мудрого правителя и сел на грудь лежавшего Идиге. Был еще в силах сбросить с себя пришельца злого Идиге, но холодный ум уже остудил

и сердце. В досаде только Идиге взял одной рукой другую руку свою и переломил ее с хрустом, на принца же Кадырберды и не взглянул. Кадырберды же посидел, встал и ушел, отдав приказ зарезать евнуха гарема.

От позора такого глаза Идиге закатились, и он взмолил Аллаха о кончине своей, и Создатель смилостивился над ним и послал к нему ангела смерти.

В самом центре киргиз-казакской степи вы еще можете видеть место, где нашел свое последнее прибежище легендарный Идиге. Могила его нынче – простая груда щебня, вероятно, она прежде имела величественную форму, но разрушилась. Достоинство ее поддерживается лишь неприступностью горы, на которой она стоит. Sic transit gloria mundi.

В голову пришла замечательная мысль: а вдруг, Бог даст, я вылезу на землю в какой-нибудь знакой могиле, скажем своего деда или отца? Воскликнул бы я тогда: «Спасен!» или нет?

Народ наш имеет богатую и не лишенную поэтических достоинств разрастающуюся литературу, более близкую к индогерманскому эпосу, чем к восточным произведениям этого рода. Всегда при желании вы услышите в степи нескончаемые сказки, где героями будут трое братьев, и младший, наивный простак, обязательно будет победителем. И в то же время есть у нас и свои особенности, редко встречаемые у других народов. К примеру, почитание и поклонение перед духами почивших в бозе предков.

Человек, умирая, становится сам каким-то божеством, это, признаю, крайний спиритуализм. Но идея недурна и замечательна, особенно потому, что не имеет мифологических заблуждений и дает полный простор общественным законам.

«Поклонение есть высочайшее удивление», – говорит Картейль. Природа и человек, жизнь и смерть были предметами высочайшего удивления и были всегда преисполнены неисследованной тайной. Природа и человек! Скажите, что может быть таинственнее и чудеснее природы и человека? Необходимая потребность познать мир с его чудесами, вопрос о жизни и смерти, об отношениях человека к природе породили поклонение перед Вселенной, в которой составляют единое и сама природа, и сам человек, и души умерших людей. Человек приписывал небу, солнцу, луне власть над собой, влияние чего нельзя отрицать, но влияние это действовало на него только в этом мире от рождения до смерти. Он мог родиться под особенным сочетанием звезд – чудным образом и умереть от гнева природы. Но после смерти эта власть над

ним прекращается, он сам становился духом – аруахом. Люди при жизни великие, сильные становились и всесильными, всемогущими аруахами, мелкие натуры и по смерти ничтожными тенями. Чингисхан после смерти был почитаем, как бог. У киргиз-казаков почитание аруахов до сих пор в силе. Они в трудные минуты жизни призывают имена своих предков, как мусульмане своих святых. Впрочем, после того, как Ходжа Ясави принес и внедрил в степь свою суфийскую теорию мусульманства, все спутал ось. Духам стали приписывать святость. А так как по учению Ясави, которое, по сути, есть слияние тенгрианства и мусульманства, вселенная есть не что как часть Бога, то на презрительное обвинение сторонников ортодоксального ислама: «Что вы, киргиз-казаки, не молитесь в мечетях», наш кочевник говорит: «А зачем мне ваш каменный ящик, если все кругом ухо Аллаха».

Киргиз-казаки испытывают не страх перед покойниками, но уважение, считая что через них они могут поговорить с самим Всевышним. В честь аруахов приносят в жертвы разных животных, а иногда нарочно ездят на поклонение к их могилам и, принося жертву, просят их о чем-нибудь, например, бездетные – сына. Во время жертвоприношения киргиз-казаки говорят: «Пусть достигнет». В древности могилы знатных и великих людей были скрыты или заповедны, вероятно, чтобы их не могли осквернить враги. У нынешних киргиз-казаков воздвигнуть знатный курган или памятник считается непременной обязанностью детей, и могилы эти им заменяют святыни.

Это и объяснит, наверное, вам то, что нет ничего удивительного, скажем, в легенде, где живой дружит с мертвым. Вот ее мифология, которая, смею думать, может представлять собой и некий род литературного произведения. В старину было у одного бая три сына. Потерялся однажды у этого богача самый лучший косяк лошадей. Впал в большую печаль сей достойный человек, и тогда старший сын и говорит: «Отец, разреши мне поискать этот табун». «Ступай, сын мой, ищи», – отвечает отец. Сын садится на коня, берет с собой еду и оружие. А знать надо, что отец этих трех юношей был чародей и давно хотел испытать своих детей. Вот он обогнал тайно отправившего в путь сына и в степи превратился в шесть тигров. Увидел сын этих тигров и принялся осыпать их стрелами, но тигры не отступили и бросились на него. Тогда юноша испугался сам и бежал назад.

После него в поиск отправился и средний сын. Этот не пытался убить появившихся тигров, а хотел обманом и хитростью проехать мимо них. Не получилось, пришлось и ему возвращаться.

Вот отправляется в дорогу третий сын, младший. И на его пути встают шесть тигров. Не стал биться с ними он и не пытался обмануть, а сказал им просто: «Я путник, зла вам не желаю, так пропустите же меня, если вы здесь хозяева». Тигры пропустили его, опять превратились в отца. И сказал отец младшему сыну, дав ему свое благословение: «Дай Бог тебе благополучный путь, перед собой да обретешь искомое, – да еще говорит, – не забудь, сын, когда придется тебе быть в местах необитаемых, не проезжай мимо могильных склепов, если встретятся ночью, ночуй при них». Поблагодарил сын отца за советы и благословение и поехал дальше. Едет он несколько дней и замечает, что кочевок и аулы стали встречаться ему реже и реже и наконец пошли места, где и вовсе не было людей. И однажды к ночи подъехал он к старому кладбищу и видит на западной стороне их свежая черная могила. Тогда обратился он к ней:

– Салям!

Никто ему не ответил. Он еще пятнадцать раз повторил свое приветствие. И услышал голос:

– Кого спрашиваешь?

– Того, кто подал голос.

После этого выходит из могильной земли молодой человек с прекрасно выведенными бровями и произносит тихим голосом:

– Кто спрашивает?

– Божий странник, думающий о ночлеге, – отвечает юноша.

– Сходи с лошади, – говорит хозяин могилы и берет коня за узду, и оказывает гостю всяческие почести.

– Куда же идти? – спрашивает юноша.

А мертвый велит живому:

– Закрой глаза, а когда скажу, откроешь.

Взял мертвый живого за руку и повел за собой. Затем говорит:

– Открой глаза.

Тот открыл глаза и увидел перед собой прекрасный дворец, но пахнущий не сырым камнем, а благоухающим запахом свежескошенной травы. Зашли они во дворец, сели, и к ним подходит черный слуга. Мертвый приказывает слуге принести для гостя барана, что тот и исполняет. Черный слуга показал гостю черного барашка и тут же зарезал после одобрения. После ужина легли спать. А утром мертвый за едою и говорит живому:

– Давай будем друзьями.

Они обнялись и сделались друзьями.

– Жаль мне расставаться с тобой, друг, – говорит юноша мертвому. – Но надо мне ехать, искать косяк лошадей.

– Что ж, поезжай, но прежде давай раскроем друг перед другом свои тайны, – говорит мертвый. – Послушай же мою историю. Я был единственным сыном сильного хана. Раз мой отец повел свой народ на войну, и я отправился с ним на боевом коне. Столкнулись мы с врагом в битве, но перед битвой из строя выехал всадник с черной острой бородкой, в черной шапке с загнутыми полями на черном с лысиной коне и с красной пикой в руке и вызывает на единоборство! Я тоже вышел. Он направил свое копье па меня, я свое на него, разогнали коней и столкнулись, но у него копье оказалось длиннее, а мое короче. И я был убит. Но за то, что я погиб на войне, Бог сделал меня своим саидом. Поезжай же к аулу моего отца, твои лошади у него в табунах пасутся. Увидишь их, возьмешь. Но если хочешь быть моим другом, то выполни мою просьбу: есть среди них два айчубарых коня. Поймай же их и распори им брюхо.

-Ладно, – соглашается живой, – я бы распорол, да нет у меня ножа.

А у мертвого джигита был маленький хороший ножик.

– Возьми его, – говорит он. – Но не показывай его никому, увидит его моя сестра и будет тебе жутко.

Живой молодец сел на свою лошадь и отправился в аул хана и стал на ночлег у отца своего мертвого друга. Настало утро. А утром пригнали лошадей с пастбища. Вышел навстречу косякам юноша и, не принимая пастухов за людей, выбрал из косяков двух айчубарых коней и вспорол им желудки. Увидели пастухи это зло, закричали:

– Хан, хан! Один человек убивает твоих коней!

Бросились тут люди хана на юношу, скоро связали его и повели к хану. Стали его избивать – и этот бьет и другой бьет. Били вначале одетым, а потом решили оголить, чтобы раны были глубже. Стали срывать с него одежду, сапоги, а из сапога одного тут и выпал на землю ножик. Сестра его мертвого друга увидела тот ножик и тотчас узнала.

– Этот ножик брата! – вскричала она.

Прежде били – не били, настоящее битье началось теперь. Стали кричать кругом, что он осквернил могилу сына хана. Решили его убить.

– Нет, – закричал им юноша. – Я не осквернял могилы, а это вы забыли о нем и о жертвоприношении его имени.

Никто не поверил ему. Его мертвый друг говорил ему: «Если случится так, что надо будет сказать правду, скажи ее». И юноша, обратившись к людям,

рассказал о своей встрече с их мертвым родичем. «Правду скажу – умру, не скажу – умру! Мне стало все равно, что вы, люди, предпочтете?». «Правду!», – отвечали ему.

Но не поверили этой правде ни хан, ни его дочь. Не оставалось ему другого, как повести их к могиле и вызвать снова мертвого сына хана. Сами сели на хороших лошадей, а юношу связанного посадили на осла. Да окружили его толпой плотной, все еще не доверяют. Доехали до кладбища. Тогда юноша и говорит: «Народ, отойдите от меня, я вызову друга». Долго не решались оставить его одного, но делать нечего, отпустили. Стал юноша звать мертвого друга, долго звал, наконец, вышел мертвый и говорит салем отцу, матери, сестре, людям. Была там и его прежняя невеста, которая осталась так в девичестве у своих родителей. Она первая подошла к нему. Но мертвый оттолкнул ее мизинцем. Тогда к нему приблизилась его сестра и, бедняжка, не выдержав, разрыдалась. Одна слезинка покатилась и упала на правое плечо мертвеца. Как только слеза упала на него, он тут же исчез неизвестно куда. От этого все пришли в еще большее отчаяние, что забыли о юноше, которого хотели только что убить. А вспомнив, принесли ему свои извинения, принялись просить быть у них гостем. Хан сказал ему: «Ты друг моего единственного сына, ты теперь для меня одно и то же, что он, возьми половину моего скота и половину моих слуг». «Ничего мне не нужно от вас, – отвечал юноша, – Верни мне только моих лошадей». Дважды повторил свое щедрое предложение хан, но дважды отказывался юноша и, поклонившись, отъехал со своими девяноста лошадьми. Пришлось ему еще раз проезжать мимо того памятного кладбища, и на этот раз он остановился у могилы, хотя свой подвиг уже выполнил и был давно ожидаем в своем родном ауле. Трижды юноша позвал мертвого:

– Досым!

Не отозвался тот. Четвертый раз позвал юноша друга, и лишь тогда вышел тот бледный, изнеможенный.

– Я давно слышал твой голос, да нельзя мне было выйти, – говорит мертвец. –Слеза моей сестры, упавшая мне на плечо, превратилась в море и потопила меня. Когда ты звал меня в первый раз, я был на самом дне, второй раз – я смог только подняться, третий раз всплыл на волны, а на четвертый раз смог выплыть к берегу. Ох, измучился я в эти дни.

Мертвый снова повел живого друга в свое жилище, и провели они там в роскоши и веселье еще несколько дней. Но потом сильно заскучал мертвый

друг, видя, что лошади его живого друга поправились на сочных пастбищах, а сам он собирается домой. Стали прощаться, и мертвый говорит живому:
– Приедешь ты домой, там тебя все ждут, но род твой собирается идти на войну. Пожелаешь и ты поехать, но станут все тебя уговаривать остаться дома, видя твой усталый вид. Ты согласись, но на другой же день отправляйся вслед за ними в наезд. Когда достигнете вы вражеских аулов, все ударят в коней, ты один скачи по западной стороне, и на тебя бросится только один противник – всадник на черной с лысиной лошади с черной острой бородкой и с черной шапкой с загнутыми полями да с длинным красным копьем в руке. Ты ссадишь его при помощи Бога. Это тот самый, что убил меня. Ты зарежь его, говоря: «Дойди до моего друга», заколи и коня его с теми же словами. А когда ты увидишь, что ваши воины побили всех и делят добычу, снова вскочи на коня и снова поезжай прямо на запад. Там на окраине аулов ты увидишь белую юрту для молодоженов, возле нее и привяжи свою лошадь. Зайдешь с молитвой в юрту и увидишь в ней молодую, только что взятую в замужество женщину, и двух девиц, с ними ястреба и черную борзую собаку в ошейнике. Убей же их всех со словами: «Дойдите до моего друга». Приехал юноша домой, и все случилось как и предсказывал его мертвый друг. Отец, мать, родные принялись просить его остаться дома, не ехать на войну, но юноша, лишь переночевав одну ночь, отправился следом, помня последние слова своего мертвого друга. Опять же все исполнил, как ему велел его мертвый друг. Юноша пролил много крови без сомнения в душе. Вот только замахнувшись над второй девицей, задержал руку свою: в глазах ее светились два солнца, а в улыбке – месяц. Стало жаль ему ее. Поцеловал он ее, хотел было отпустить, потому как полюбил ее, да слово дал ведь другу все исполнить. И, огорчившись сильно, отправил на тот свет и вторую девицу. Затем вышел из юрты и увидел, как его спутники делят казну, сам же он по совету мертвого друга не прикоснулся ни к чему чужому, только срубил веточку с тополя, что рос у юрты, да собрал немного верблюжьего помета, что был там же. Тут появился черный верблюд, юноша и веточку и узелок с пометом прикрепил на верблюде и повел его за собой в аул к отцу и матери своим. По пути в степь сделалась сильная буря, и все верблюды с нагруженными на них вьюками с добром не могли подняться, и засыпало их песком. Один только верблюд юноши без тяжелого груза шел легко и смог спасти своего хозяина и спастись сам. Трудный был путь назад, но когда осталось до родных мест всего полдня дороги, юноша взял тополиный прутик, произнес: «Бисмилля-

рахман-рахим» и ударил им по узелку с навозом. Узелок тот развязался, и стали выходить из него бесчисленные гурты овец, косяки лошадей и караваны верблюдов. Сам же прутик в тот же миг превратился в большое дерево, корни которого были из серебра, ствол и ветви из золота, а листья из изумруда и бирюзы. Так раскрылась тайна черного всадника с черной бородкой: он тоже был чародей. А в тополе и навозе, что разбросан был у его юрты, прятал от людей свое богатство. Ездившие в поход с юношей всадники вернулись ни с чем, как говорят, с пальцами в своих ноздрях. А сам юноша стал очень богат, да вот счастья не почувствовал. Подумал он, подумал и снова отправился к могиле друга. Позвал его и вошел в подземный дворец. Видит, возле его друга сидят та самая невестка и две девицы, убитые им, а прислуживает сидящим человек с черной бородкой и в черной шляпе с загнутыми краями. Подошел юноша к праздничному столу и говорит мертвецу:

– Салем! Много я греха взял на душу, но вижу, что хорошо с тобой и невестке и старшей девице. А вот второй девице плохо.

– Почему ты так решил? – спрашивает его мертвый друг.

– Потому, что на щеке у нее от моего поцелуя осталось черное пятно, не оно ли говорит о ее муках, – отвечает воин.

Тогда мертвый рассмеялся и говорит:

– Хорошо, возьми ее себе обратно в живой мир. Идите же с миром и живите счастливо. Но помни, скоро будет беда. А чтобы не случилась она, помни: через три года будут проезжать мимо твоего аула торговцы с товарами на двух телегах, у них будут две лошади, одна гнедая, другая рыжая. Лошади эти будут измучены и невзрачны на вид, но ты их купи, сколько бы не просили владельцы. На этих лошадей не клади аркана, ни узды, ни седла, ни раздвоенных лядвей, ни хомута. Если когда-нибудь почувствуешь головную боль и эта боль не пройдет у тебя не смотря ни на какие примочки и настойки трав, то выведи из косяка гнедую лошадь, с молитвой принеси ее в жертву и посмотри на ее мозжечок. Будет он белый – живи спокойно, но если в нем увидишь хотя бы капельку черноты, то скорее садись на рыжую лошадь и во весь опор скачи ко мне. Будешь мчатся ко мне, за тобой поедут и всячески будут требовать остановиться. Но ты упрямо беги вперед, не оглядываясь и не смущаясь духом.

Надо ли говорить, что и это предсказание говорливого покойника сбылось. Прошло несколько лет. Юноша заболел и мозжечок гнедой лошади оказался черным. Джигит тайну свою ни перед кем не раскрывал, ни слова не сказал ни

отцу, ни матери, ни жене молодой. Только просит: «Оседлайте мне Рыжку, – видя, что болезнь уже сбивает его с ног. – Поеду по степи, чуть развеюсь». Помогли ему сесть на коня, а он и по аулу не может проехать: все падает с седла. Вдруг слышит страшный топот сзади, тогда он, не оборачиваясь, крикнул всем: «Прощайте, будьте здоровы!» и поскакал в степь к мертвому другу. А сзади кто-то нагоняет его и велит остановиться. Еще сильнее погоняет джигит своего коня, а голова болит все сильнее, кружится и горит. Наверное, он так и проскочил бы мимо кладбища, да его мертвый друг почувствовал, что случилась беда, вышел на землю и смог арканом остановить возле себя мчавшуюся обезумевшую лошадь с всадником. Только он прижал больного друга к себе, как подъехал тот, кто гнался за ним. Это был ангел смерти Азраил. Увидел он, что добыча его исчезла под землей, и вошел вслед за друзьями в могилу и там строго потребовал отдать ему душу больного джигита: «Давай беглеца моего!» «Не отдам, – отвечает мертвый друг. – Я божий саид и Бог обязался до трех раз исполнить просьбу мою. Первый раз просил я дать мне друга, он дал. Второй раз просил я невесту его вернуть на землю – он вернул. А вот третий раз прошу я его не брать к себе душу моего друга. Уйди». Но ангел смерти Азраил стал настаивать на своем, ссылаясь на то, что слишком много времени отдал погоне за этой душой и времени своего ему жаль. И лишь после того как мертвый обратился прямо к Всевышнему, Аллах сказал с небес: «Отпусти!». Ничего не оставалось делать Азраилу, как удалиться. Вмиг вся хворь слетела с джигита, и мертвый друг его проводил на землю. «Прощай, – сказал он. – Теперь, лишившись божьей защиты, и для тебя, друг, я стал мертвый», – сказал и исчез. Вернулся джигит к себе в аул и зажил дальше счастливо и без забот.

В последнее время, благодаря неусыпной полезной деятельности Географического общества, сведения наши об Азии распространились быстро и широко. Но, вместе с тем, по естественному ходу вещей в «Записки общества» вкралось несколько сомнительных повествований о том, чего нет и чего, может быть, машаллах! господа, и никогда не будет. И не обязательно относится к европейским исследователям. Послушайте рассказы наших киргиз-казаков, побывавших в Санкт-Петербурге и Москве. Вы услышите от них такие чудеса, о существовании которых вы, живя десять тысяч лет в Петербурге, и не ведали б. Часто бывает, что путешественник человек простой, доверчивый и соглашается при сильных впечатлениях увидеть то, что невозможно увидеть. Бывает, что просто близорук: черепицу на китайских дома он принимает за тес, а стены, битые из глины с нарезами, за

бревенчатые, а затем пишет в своей научной статье форменную чепуху. Эти грехи неумышленны. Но бывают грехи другого рода, особенно когда вы доверяетесь авторитетному лицу. Скажем, если мусульманин попал в страну кафиров, то он уж обязательно заподозрит тех людей, с кем ему придется сталкиваться в желании сделать что-нибудь во вред исламу и, вообще, что нужно этим неверным от него и не задумали ли они воспользоваться его словами ли, поступками ли, что бы из нас, мусульман, сделать нечто менее собаки? Согласно этому arriere penssee он по приезду на родину говорит вам факт, диаметрально противоположный истине, и рассказывает, что против китайца христиане ужасно грубы, так же как сами китайцы против нас правоверных. А поэтому желательно было бы, чтобы господа собиратели обращали больше внимания на источники и старались соблюсти точности, а потом бы уже печатали то, что вероятно, а не цеплялись за свои двусмысленные убеждения о других странах и народах.

Когда любой кочевник начинает свой рассказ, вы видите ясно по его ухмыляющемуся и довольному лицу, что он ждет похвалы и жаждет извлечь из вас крики удивления вроде: барак алау! афромай! дари-гай! и прочие. Что может занять киргиз-казака и вообще азиатца, воспитанного на фантастических сказках о Сулеймане, владельце волшебного кольца, о Сейфуль Малике, царевиче багдадском, который был на острове добрых духов Пери, видел амазонок, у которых мужья имеют собачьи головы, и в которого, наконец, была влюблена царица обезьян? Всякого бывалого человека они засыпают вопросами, вроде следующего:

– Хаджа, вы были в Мекке, проходили по многим землям. Ну что, как вас приняла царица обезьян и видели ли вы фараона, который обратился в рыбу и всякому путешественнику, высунув голову из вод Черного моря, кричит о титуле своем: «Фергаун!».

Да пусть никто не сомневается в том, что вы порядком отдули Язида, убийцу внуков Пророка в пустыне Кербальской (да будет над ним проклятье). Или интересуются, сосем, как дети:

– Правда ли, что за убиение Хасана и Хусейна он обратился в рыжую собаку с черными пятнами над глазами?

Нечего говорить, что ответить на все это отрицанием значит подвергнуть сомнению свой авторитет. А потому я, принимая во внимание мудрую поговорку: «Приноравливайся к народу и под его дудку, как иноходец, беги», продолжу эти записки. И пусть звучат восклицания «Бара-келде, бале!» отовсюду, а чувствительные дамы рассочувствуются до того, что начнут

рыдать, узнав, что собаки-кафиры хотели похитить священный прах Пророка и вместо него положить дохлого пса для посрамления всех правоверных.

Отчего мне, к примеру, не мудрствуя лукаво, не настрочить рыцарский роман, полный настоящих небылиц a la «Айвенго»? И если sir Scott использовал шотландские саги, то отчего бы вашему покорному слуге, бедному армейскому чину, потерявшемуся в Азиях и тайно алкающему славы, но при этом не оставляющему еще надежды, стать эмиром, скажем, Малой Бухарии или самой Индии, не воспользоваться героической сагой дикокаменных киргиз о неком батыре Манасе? Тем более что о ней слыхом не слышали не только какие-нибудь Вальтеры Скотты и Байроны, но и здесь рядышком в Ташкенте. А между тем эта сага целая энциклопедия, собрание всех сказок, повестей, преданий, географических, религиозных, умственных познаний и нравственных понятий.

«Манас» – произведение, в котором слились эпосы и легенды многих народов, созревавших в продолжение даже не многих веков, а тысячелетий. В нем можно встретить целые сюжеты из древнетюрских легенд и из «Шах-наме» Фирдоуси, а так же какие-то чуть ли не буддийские мотивы. Это прослеживается уже и по тому, что сказители «Манаса» еще не до конца справились с выравниванием своего труда: в начале эпоса «Манас» мусульманин, вдруг он становиться как язычник, взывающий к богу неба Тенгри или зороастрийским богам, то потом вообще – лишь Аллах ведает кто. То он ногаец, то каракиргиз, то алтаец. Впрочем, герои киргиз-казакских эпосов Алпамыс и Кобланды, получив имя Манас, чувствуют себя вполне гармонично. Понятно, что такой сборник требует для прочтения время. Трех ночей недостаточно, чтобы прослушать «Манаса», столько же нужно для «Манаса» второго – о сыне его Семетее. И вполне заслуженно «Манас» пользуется славой степной Илиады.

Манас, сын Якуб-бая, бия одного поколения, кочевавшего по Таласу и Чу, рос не по годам, а по дням, и шестнадцати лет сделался батыром. У него было, что особенно меня умиляет, чрезвычайно чувствительное сердце: он очень любил хорошеньких женщин. Чувствительность его превосходила все границы. Все земные трудности в получении руки ханской дочери, у которой «...лицо было, как снег, а ланит румянец ал, как кровь, упавшая на снег» не остановили его. Как только он узнал, что у калмыцкого хана есть такая дочь-красавица с волосами, ниспадающими до пяток, он в тот же час отправляет своего старика сватать ее. Хан, естественно, оскорбился и дал следующий ответ: «Руби, руби лес, по себе с равными сватайся, вези, вези хворост, по

своему очагу сучья; моей дочери приличен ханский сын, твоему сыну хватит и бийской дочери».

Разумеется, юный Манас тут же начинает войну и с оружием в руках добывает себе длинноволосую. Но на этом не останавливается, и войны его следуют теперь одна за другой и яблоком раздора обычно служат опять девицы, «имеющие пятнадцать лет возрасту, с запахом, подобным мускусу, и с зубами, подобными жемчугу».

В конце поэмы у Манаса, прославившегося на весь белый свет задиристым поведением, собираются в гареме сто царевен разных наций, которые от близкого нахождения начинают свою войну теперь уже за Манаса, что вполне соответствует браннолюбивому духу того времени. Сюжеты этой саги бесконечны, но удивителен и прекрасный язык. Что стоит, например, отрывок из нее: «Поминки Кукотай-хана»! Только вчитайтесь:

То была лука золотого седла.
то был хан мудрый как месяц,
что освещает звезды.
То была узда из литого серебра.
то был отец густого как ночь,
ногайского эля,
И он, светлейший Кукотай-хан,
собрался оставить замиренную им же землю.
И на смертном ложе,
что лодкою краями высока,
воскликнул он:
«Те, кто у ног моих, садитесь на коней
и пройдите весь с конца в конец улус ногайский.
Скажите биям с животами,
отвисшими, как щиты
из кожи яков в семь слоев,
скажите витязям рыжебородым,
густоусым, скажите молодцам
с загривками на затылках
дерзким, скажите мурзам, пьющим мед из чаш,
что весом батман,
скажите мурзам, шатающимся,
но стоящим на ногах,
скажите всем и всем!

Скажите, что Кукотаю стало тяжко,
скажите, что встал невольно он на край.
Так соберите всех!
Желаю я исполнить долг свой первый:
назначить по себе поминки.
И долг второй:
завет сказать свой вольный вам,
бесчисленный народ ногайский мой!
Тоска сковала мое сердце, нет сил,
коль свыше глас позвал меня уйти,
остаться с вами добрый мой народ.
Я прожил сто и девяносто девять лет
и искрошилась моя челюсть,
и череп оголился до белизны костей,
и ребра слежались как хворост в связке –
душе моей противны стали мощи эти!
Так на коней садитесь и всех зовите.
И было сказано и было свершено.
И с гулом упали на ставку хана Белую Орду
ногайцев толпы, собою затмевая свет.
Внимайте, то рушится утес в ущелье,
то голос хана Кукотая зазвучал,
то сосны заскрипели в ущелье между гор,
то молвил хан ногайский перед смертью:
«Народ мой! Когда меня не станет,
острой саблей оскребите мои кости,
костям младенца уподобив этим их,
каким когда-то уходящий я вошел:
затем омойте, но не водой,
а терпким кумысом от быстрых кобылиц,
как ветер Улана, что продувает бездны.
Путь предстоящий долог.
Укройте кости плотно белым полотном,
на красных одногорбых наров
набросив красное сукно,
на черных одногорбых наров
набросив черное сукно,

идите с караваном из сорока верблюдов,
орущих дико, так что б знали.
Идите с саваном моим к моей могилы срубу,
что рублен из мореных стволов дубовых.
Пусть сарт с лицом подобным бронзе,
над срубом тем, что ляжет
перекрестком дорог больших и малых,
дворец воздвигнет белый, словно месяц,
но с куполом лазурным, луне подобным.
Для стен вы глину замесите
на жире лишь окотившихся на утро коз,
тогда не упадут они от гнили.
Одев дворец тот завитками,
над ним навесьте медные карнизы,
желоба, по ним пройдут, меня минуя,
ливни и град, и пыль.
Тем бабам, что будут в плаче траурном
рвать рот, допущенным ко мне скорбящею толпой,
раздайте красное и черное сукно.
Верблюдов на заклание отправьте
и поминальный обед готовьте
и к трапезе обильной несите напитки,
на блюдах будет пусть лишь
сладким, как молоко кобылиц.
Затем вы выставьте на приз
с рабом нестарым меж двух горбов
и в пятницу пустите лучших скакунов,
накинув им потники, на бег,
что завершит ту тризну.
Ты волю исполни же последнюю мою, народ!
Как прежде оставайся расторопен, удачлив, вечен.
Нет больше слов мне вам,
нет вам и теперь заветов.
Будь счастлив, мой народ!
А ты же, Баймурза, сын необхватного отца,
склонись ко мне и ухо приложи к устам моим.
Услышь же, что я и мышеловки

заставил птиц ловить,
из них затем я стаи составлял.
По всей степи собрал я тех,
кто в страхе жил разбито, одиноко,
и тех, что в спеси знать меня не захотел,
их всех я обратил в народ единый,
как лунь в ночи над ними встав.
Теперь же я велю от имени народа:
Когда меня не станет, ты, Баймурза,
владеющий обильными и сытными стадами,
возьмешь поводья в свои руки,
не распусти же люд,
не дай шататься праздно им,
паси и семижильный кнут не оставляй.
Свободу каждому от каждого не дай
и этим пресечешь свободу в каждом.
Когда меня не станет,
дай мужчинам всем по лошади,
на всадников ты обопрешься,
и оборванцам ты накинь халат на плечи,
теплом от них согреешься потом.
Народ тогда в покое станет юртами,
когда одной рекой течет кумыс,
другой – айран молочный.
Когда меня не станет,
найденыша дитятю Бок-Муруна себе возьми,
пусть в имени его исчезнет оскорбленье,
ты сопляком, щенком, ублюдком его не называй,
не попрекай безродством.
Ему, сиротке, дай коня и платье гожее,
корми же сытно, без попреков.
Пройдет лишь год, не больше двух,
он встанет и будет человеком!
И равен будет всем по силе,
но духом несравненен будет.
Тогда стелите вы в степи кошму,
отбеленную соком белейших мраморных камней,

и поднимите Бок-Муруна ханом над собой.
Сын бая, Баймурза,
склони ж еще раз голову ко мне.
Когда наступят дни моих сороковин,
перекочуй с улусом всем к батыру Кунурбаю,
что горбонос и прозван Гордецом,
и трапезу при нем устрой от дома моего.
Когда ж наступят дни Великой тризны,
и в этот раз ты, не смущаясь духом,
веди кочевья в Андижан к тому батыру,
что грыз и ожирел на яблоках,
их заедая непропеченным хлебом,
который в двенадцать лет
уже владел рукой стрелка, перебивая яблок черенки,
что скрыты были от него густою кроной,
стрелой, валяясь на земле лениво.
К тому, кто отправляясь на войну,
велел испечь ему лепешки,
разбившему так скоро всех соседей,
что ему пришлось по возвращенью
есть хлеб непропеченный.
Одним же словом:
к годовщине моей смерти иди к Манасу,
юному Якуба сыну,
и возвеличь при нем уже мои поминки,
среди его аулов в лощинах андижанских,
в которые он гнал чрез ледники
в набегах беспощадных
со всех сторон добытый скот.
Меня ты спросишь: каков батыр Манас?
Отвечу: подобен волку он,
что с гривой из каленого металла,
а кровь его темна, но тело бело,
лицо из льда, живот же волосат,
на копчике же синее пятно.
Откочевав к Манасу, у него,
по мне вы справите большую тризну,

собрав всех мусульман, да и кафиров, впрочем,
всех тех, кто знал меня и слышал обо мне,
Пусть будет праздник тот велик и весел,
и лишь тогда вы, сбросив с плеч мои желанья,
обретете наконец покой достойный».
Хан Кукотай закрыл глаза,
и в этот миг душа его с томленьем
оторвалась от тела дряхлого и тучей,
что мечет молнии и громы, устремилась в Небо.
И непроглядная, как ночь, толпа ногайцев взревела,
и от плача этого верхушки
всех урюковых деревьев скосились вмиг окрест.
И закричала, застонала, от стона этого
покрылись трещинами скалы все вокруг.
Однако горе как положено отгоревали,
исполнили прилежно все обряды
и кости хана на коне,
что был окован доспехами из стали
и с красным караваном, с черным караваном
неспешно к срубу довезли,
над срубом тем могильник возвели
с лепными завитками и с желобами,
что тропами прошли как по горе.
Народ обильно ел и рвал сукно в достатке
и первые поминки отошли.
Народ как просо не рассыпался
и не разлился струйками мочи бегущего теленка,
народ пошел ногайский на землю Кунурбая,
по пути встав на Чибпатчи,
где табунами кобылиц вязали,
на Ибратчи стояли, где скот в гурты сбивали:
лишь табунами и гуртами добро свое они считали.
пришли к китайцам,
к ястребоносому батыру Кунурбаю
и принял он от них чубарого коня
и иноходца пестроголового,
и принял их, и у него народ ногаев отметил

поминки сорокового дня
и год затем прожил в разброде.
Не пролил Баймурза кумыс,
что рекою лег бы справа,
не пролил Баймурза айран,
что лег бы слева потоком сытным.
Но время нужное пришло,
опять сошлись рода ногаев держать совет,
своими юртами взяв в круг белеющую сопку,
ее сочтя за пуп единственный земли:
как быть с Большою тризной Кукотая,
чей дух еще витает над ними?
Как быть им с тризной,
если сын Якуба вздорный Манас
им отказал в приеме
в урочище своем под ледниками!
И заявившим, что видеть их желает,
лишь подданными ему, как хану!
Сошлись и совещались день, второй
и месяц и второй бии,
чьи животы как щиты плотны,
витязи, чьи затылки гривасты,
мурзы, чьи жбаны с медом еще не опрокинуты,
И Баймурза думал так упорно,
что прежде мочился кровью, а потом мочой.
Так в думах не заметили они,
как в один день, оставив нянек и муллу с пером,
найденыш Бок-Мурун от роду шести лет
сам оседлал коня по кличке Манекерь
и въехал в круг и голос дал:
«Эй, Баймурза, сын богача, брат старший!
Ты держишь каждый день совет, но где же дело?
На пальцах у тебя лишь золотые перстни,
и на коне твоем седло с златою лукой
и золотого лития подхвостник и уздечка,
и золотом все тем же убрано копье,
но есть средь табунов конь толстогубый, серый,

не оседлать тебе его,
он подо мной, но есть поминки Кукотая-хана,
названого моего отца,
но ими распоряжаться буду я.
К Манасу в Андижан, собаке рыжей корноухой,
народ свой не пущу.
Желаешь быть рабом – иди один.
Народу моему с тобой не по пути.
Я, Бок-Мурун, найденыш хана Кукотая, так решил:
я поднимаю весь улус ногайский,
без крика пусть развяжут бабы жерди юрт,
без клекота на плечи охотников
переместятся беркуты,
без блеянья погонят мужики
гурты баранов рано утром,
без рева двинутся верблюды за стариками,
без плача дети потащат скарб за караваном.
Так подниму народ я многочисленный ногайский!
Велю я пешим дать коней,
а голотелым я распоряжусь халаты дать
и первым я пойду.
Я на болотах Кузыбашских остригу овец,
а на большой Актам придя, по краю Иссык-Куля,
исправлю я поломки все в кибитках,
оттуда поднимусь на Тиек-Таш,
на берегах Джалачане я стадо соберу единое,
я по течению реки Или широкой,
оставив хлебопашцев на красноземельном клине,
на Тургень-Аксу всем отдых дам –
и табунам, и людям,
но не снимая вьюки с верблюдов.
У Тус-озера я соли наварю,
навьючив шестьдесят ослов тюками с солью,
я выйду к кочующему на солонцах Джузию-хану,
азартному в игре и в скачках,
чья шапка, как котел огромный, черна.
И с ним, я, побратавшись, буду дальше кочевать,

с ним, кому подвластны неверные там за Алтае.
К нему с улусами я прикочую,
и стану ставкой рядом, тем знак подам калмыкам,
что я готов быть братом им.
Со знатными я буду знаться,
безродных я приближу и укрою полой халат своего.
Как честь свою,
я подкую серебряной подковой лошадь белую,
на ней я поднимусь затем к верховьям Иртыша,
идти я буду день и ночь.
В горах верховья через Биштерские хребты спущусь!
Пройдя сквозь воду бешеной Джурги,
направлюсь я на Мула-Хургай
и там, как на ладони Бога,
остановлюсь под Бурун-Ташем.
Шесть дней я дам – пусть кони отдохнут,
семь дней пройдет – народ переведет дыханье.
Дождусь я там торговый караван,
придут ко мне все девяносто вьюков с рисом,
и, наконец, пройду я в область
Внутреннего ханства,
там я на Енисее седлом и Оби властной
устрою тризну Кукотая!
Велю я землю ровно раскатать,
на ней поставлю очаги
и с ними рядом без счета буду резать скот,
и снова все кругом покроется буграми,
но будут то не валуны, не кучи глины,
а блюда с мясом горячим.
Шесть тысяч молодцев с руками белыми
и лицами как луковые дольки,
заставлю мясо с кровью то крошить,
дав каждому я в руки по кокандскому ножу,
и чтобы жир им не стекал на локти,
велю запястья обернуть я плотным шелком,
и молодцы чтоб те не притомились,
в котлах велю я заварить им чаю.

То будет лишь одна трапеза
на годовщине Кукотая-хана, где будет круглый мир:
неверных половина сойдется
с половинкой мусульман.
Всех соберу!
Что будет дальше на этой Великой тризне,
увидите потом».
Все это выслушал в терпенье народ ногайский
и удивился дерзости и разуму
и долгому расчету найденыша,
что прозван Бок-Муруном.
Затем кошму на травах расстелили
и молча его подняли ханом над собой.
А утром рано поднял народ хан Бок-Мурун,
без шума сложили юрты бабы,
мужчины беркутам накинули всем колпачки
и вынесли на свет, и те не клекотали.
Навьючили поклажу на верблюдов,
погнали в стороне гурты баранов,
и табуны коней прошли без шума.
Был долгий путь, и вот на верхнем Иртыше
встал ставкой хан Бок-Мурун ногайский
с ним народ, густой как ночь.
Да, Бок-Мурун поставил на холме высоком
юрту Кукотая, и она, как лебедь белая,
в своем гнезде уснула.
Вокруг на десять верст костры горели
под котлами,
покой и благодать всех охватили.
Затем все так же величаво, храня достоинство,
прошли к истокам Оби с Енисеем
и приступили к подготовке тризны Кукотая,
отбирая жирных кобылиц
и составляя сотни рубщиков туш мяса.
Созвал к себе из всех аулов,
ему подвластных, юный хан мужчин,
чтобы решить, кто будет его посланцем в народы.

И он сказал тогда мужчинам чернобровым
и быстрым юношам,
готовым и есть, и спать в седле,
и, не слезая с бегущего коня,
справлять нужду при этом
не бросая пик со значками,
все ради бега быстрого и вести скорой:
«Есть у меня шестьдесят коней-аргамаков,
любого выбирайте,
есть у меня семьдесят жеребцов-иноходцев,
есть у меня восемьдесят скакунов-бегунцов,
возьмите одного из них.
Много у меня в табунах золотистых лошадей,
но лучше всех Саврасый,
огромный как шатер,
отец мой названый на нем сидел.
На Игривой кобыле мать моя названая ездила,
нет выбора удачней.
Резвый, с выгнутой, словно постель, спиной,
был у сестры моей, я и его отдам.
Но первым назову я в табунах белого Айгыра,
хотите если знать о нем, я расскажу:
грудь его крепка, как щит циклопа-великана,
а под хвостом его чернеет пропасть
со скалою и котловина меж его ушей.
в ней ливень наполняет озеро
и не испить его куланов стаду за раз,
На нем любой промчится год – и он не отощает,
а вырежи из его спины кусок, он и не вздрогнет,
вам не найти коня для глашатая тризны лучше.
Кто сядет на Айгыра?».
И потянулись к белому, как снег,
Айгыру удальцы,
лишь сын сары-ногаев густочупринный
Яш-Айдар Чор встал в стороне.
К нему и обратился хан Бок-Мурун:
«Сын сары-ногаев батыр!

Эй, Яш-Айдар Чора
Дай голос, не лживо и живее.
Я тризну объявил по Кукотаю.
каков твой выбор будет?»
Тогда батыр Густочупринный отвечал:
«Рожденный ханом быть, мой Бок-Мурун!
Велел ты говорить, и говорю я,
под тобою конь Манекерь.
дай его мне, я поведу.
Дай мне его, в горах рожденного
и на камнях ходившего меж диких коз как гость,
железнокопытного медноногого Манекерь-коня.
На нем поеду я к народам с вестью,
я к великанам-алпам всем заеду,
не зная страху, к батырам,
что не желают говорить,
но бьют смертельно, к отшельникам,
что силу прячут из опасения убить случайно,
всех зазову на тризну Кукотая!»
Ответил ему юный хан тогда:
«Ошибся ты, мой Яш-Айдар Чора.
Да, подо мною Манекерь.
но я его не испытал, на что способен он, не знаю.
Через горы прыгал он, как архар
– ты опрокинешься спиной.
Он в пропасть ныряет уткой
– упадешь ты головой вперед.
Он мною не испытан, я знаю только,
если хочешь знать:
когда мы шли через Талгар,
река была в разливе, в буйстве топила лодки,
на нем я переплыл, ног не сжимая,
когда мы шли пустыней,
и корма не давала нам земля
он ел один песок и сыт был им одним.
И когда мы ворвались в Куркуль,
он скакал с перебитыми стрелами голенями первым.

Ты ошибся, Яш-Айдар Чора,
не проси Манекерь-коня!»
Но Чора, сын сары-ногаев, стоял на своем
в споре, длившемся ночь.
И тогда юный хан сказал:
«Быть тому! Один коням ты знаешь цену.
И один можешь быть глашатаем тризны!
Ты одел белый панцирь и сел на коня Манекеря,
погоди же еще, мой брат Яш-Айдар,
придержи ты поводья и слушай.
Я тебе расскажу, к кому едешь ты,
об алпах и их конях.
Стоим мы всем улусом среди неверных,
как блоха в мохнатой яка шерсти,
я соберу их сам, ты же прежде скачи к батыру,
что кочует среди гор Улу-Тау
и держит на привязи Мадьяна-коня,
вот кто первый придет на байге поминальной!
А затем ты иди к Ер-Косаю,
что сидит на дороге в Турфан.
Держит эту дорогу, над народом своим он стоит,
словно вышитый золотом ворот над халатом
долгополым, все товары базарам Руфана он дал
вместе с пылью дорожной,
но и пыль у него стоит цену,
как придешь, ты скажи ему так:
Ер-Косай, коль на тризну коней не пошлешь,
Бок-Мурун закопает дорогу твою!
Когда Джангара сына,
неверный Мез-Каз в темницу заточил,
что рядом из ходжей святых, несхожих с нами,
никто из мусульман не возмутился,
лишь храбрый Кошай-бек не устрашился,
святого вызволил и этим укрепился.
К нему затем ступай, зови Кошая,
но про байгу пусть не забудет,
а если нет, я знамя Кукатая

златое и цветное воздвигну над юртою его
и этим изничтожу.
А от него промчишься, держа поводья прямо,
ты к Урбэ-батыру, что сидит на Киши-тау
и пуще глаза своего лошадку вещую он бережет,
тот вещий конь подобен соловью,
живущему в садах персидских,
но черен, словно уголь обгоревший.
Урбэ по прозвищу, по имени Мунку,
один когда-то овладел тюками с золотом
огромного народа, но так прижимист,
что не даст и мерина плешивого родному брату,
так и сидит один на тех мешках,
пусть будет он на тризне
и вещего коня с собою приведет,
а не захочет, пусть ждет он
в гости знамя Кукотая!
А от него поедешь к внуку Камбар-хана,
к Ир-Коче, презревшему богатство,
пусть приведет с собой Серке,
коня вернокопытного,
в степи давившего куланов диких,
и остробоких осетров в воде могучих рек гонявшего,
и птиц за облака толкавшего губами,
придет с Серке – получит приз,
а не придет, веселье наше его последним будет.
Оттуда ты поедешь, ровно повода держа,
к Аргыну, что с конем Хожашем,
и к Четчу, что с конем Бейгу живет
как с братом, и скажешь тем батырам: ждут.
Дуюр-Кулаку с чугунным ухом тоже скажешь:
быть на тризне.
А есть еще саврасая кобылка Урху на этом свете,
на память всем она приходит своим ходом,
её владелица Урунха-хатун, то баба-богатырь,
и ей ты весть доставишь.
К концу поедешь скоро к Идне-батыру,

он упирает сильно ноги так,
что невольно копьем своим дырявит небо,
есть у него конь серопегий бегунец,
что был рожден, как говорят,
не кобылицей, а конем!
За ним своим улусом стоит Карачу-батыр,
все видят под ним лишь черную гору,
то не гора, а черный конь по прозвищу Гора,
стоит, не шелохнется.
Пусть едет к нам и он.
Есть в тех краях другой батыр,
рожденный молитвами угодников,
любимец Магомеда святой Тускук,
завидный иноходец Пламя-хвост под ним,
его ты тоже позовешь.
За дальними горами средь двух хребтов
увидишь сына старикашки,
что доил всю жизнь одни березы,
так глуп он, но у нега, батыра Алпай-Мамета,
есть жеребец с названьем Белый Заяц,
с мослами на ногах легчайшими на свете,
и он пусть скачет к нам на тризну, на бега.
Но помни и не забывай в пути ты о Манасе.
К Манасу этому ступай, скажи, что – желаю,
на поминальной на байге увидеть и его коня,
под золотым седлом, как серна в беге быстрого,
с копытами в обхват сорокалетнего обжоры,
с ушами чуткими как стебли камыша,
с оскалом жутким, как капкан тигровый,
Его коня Желто-саврасого желаю видеть,
пусть приведет его на скачки,
пусть посмотрит на стойбище мое»,
И тут упал на землю густочупринный
Яш-Айдар Чора,
и разбивая пальцы в кровь о корни под землею,
сам прорастая в эту землю цепко.
Хитер был Яш-Айдар Чора и ловок,

себя невольником он не считал и все же завыл
и застонал как раб:
«О Бок-Мурун, мой господин, торе!
Пойду ко всем батырам, алпам я
и с ними приведу коней насильно и добром,
но не пойду к сыну Якуба-бия Манасу,
желаю весть твою всем навязать,
но не хочу я умереть.
Весь месяц я проведу в седле, всех обойду,
и на тридцатый день Манас меня растопчет,
четырнадцать кругов по свету совершу,
объеду страны все, и, завершая круг последний,
умру я под Манасом.
Не я один, отец несчастный мой
и мать-старушка умрут от горя. Пожалей!
Дай обойти же мне Манаса,
он слов не слышит и людей не видит,
он слушает и видит лишь себя, огромный.
Я не пойду к Манасу!»
Тогда сказал хан Бок-Мурун печально:
«Что ж, не ходи, я сам пойду
и приведу на тризну Кукотая Манаса
и выведу его Желтого-саврасого я на байгу,
а ты останешься и дальше поведешь
всю подготовку тризны,
но помни, лишь байга начнется,
я тебя поставлю первым призом,
а старика отца и мать твою наградой следом».
Тогда ходивший важно Яш-Айдар Чора вскочил
и крикнул в отчаянье и страхе: «Иду!».
И заключил такими вот словами речь свою
хан юный Бок-Мурун:
«Сдержи себя и голову коня, остановись.
В пустыне Туркестан
ты встретишь Ясави-ходжу,
с посохом в руке,
с которым идет он по дороге божьей,

пусть даст благословенье тризне Кукатая он.
Последнее, на холку Манекеря
ты прикрепи бумажку
и отмечай на ней всех тех, кто приглашен,
хочу я знать затем число!
Сдержи коня еще. О призовых дарах я не сказал,
Признаю головой я девять шуб парчовых
и девяносто рабов я ставлю, и девяносто рабынь,
к ним ставлю девять я верблюдов,
лошадок девяносто и девятьсот
А называть последующие все награды мне недосуг,
но все участники байги получат.
верблюда, на нем рабыню с дитем,
и вьюком с юртой, крытою сукном.
Так будь здоров в пути и невредим, мой глашатай,
и возвращайся скоро,
чтоб не остыло мясо для тебя на блюдах. Беги!»
Взмахнул рукою Чора-посланец,
и в спину Манекеря твердую, как камень,
впилась нагайка, как игла,
и выбросил вперед копыта Манекерь,
и разом сбросил жир с себя,
что равен весу теленка,
и тонок стал как борзая, о, чудо конь!
Впилась с другого бока опять нагайка, как клинок,
и, сбросив вес еще с барана,
стал легок, как степной зайчонок, Манекерь!
Пасть разевая как дракон,
он на скаку от горизонта к горизонту протянулся,
как струйка дыма, и стал невидим,
лишь пена с кровью отмечала на земле
пространство, что перепрыгнул он,
да слышен страшный стук копыт:
топ!!! топ!!!
Долго ли, нет, но время пришло,
собрались на верховьях Оби и Енисея алпы
и встали отдельной крепостью

напротив ногайского улуса,
не принимая мяса и напитков,
и отвергая танцовщиц
и прочь гоня к ним слуг приставленных.
Сидели грозно, думали, решили:
за то, что дерзкими словами
зазвал на тризну Кукотая-хана,
что признан всеми, народами и племенами,
их сопляк-найденыш всего лишь.
От уважения к тому, кто отлетел,
байге и тризне быть,
но сделать главным nризом Бок-Муруна.
к нему же шубы, рабов, лошадок и верблюдов
с тюками добавить.
Народ ногайский, густой как ночь,
и гордый как рассвет, ответил: «Нет!».
Но Бок-Мурун поднялся и сказал:
«Я тризны названого мне отца войною не испорчу,
согласен я, так выводите на байгу коней!»
Все встали.
Сидеть остался лишь Якубов сын Манас,
сидеть в седле своем, под небо вознесенный хребтом
Желто-саврасого, он не сходил с коня, приехав.
Он сказал:
«Эй, алпы! Я здесь и я разгневан.
О моей мысли вам рассказал бы тот глашатай,
угрозы расточавший, жаль, онемел он навсегда,
а отчего – причин не знаю.
Но кто бы здесь из вас собрался,
коль не услышал бы дерзких слов?
Сюда вас гнев привлек.
Гнев на кого? На крохотного хана,
найденыша, что назван Бок-Муруном.
Но в семь свои лета он занят делом:
умножил скот, засеял поле, соль собрал.
Сюда к верховьям Енисея и Оби
привел народ ногайский.

Есть среди вас такой?
Ты, Ер-Косай, отец народа,
лишь в семь оставил грудь кормилицы своей.
Быть может, ты, Мунку, по прозвищу Урбэ?
Ты в семь свои лишь встал на ноги,
правда, продавливая ими землю на локоть вглубь.
Тогда, возможно, баба-великан,
но Урунха-хатун тогда игралась куклами,
отлитыми из чугуна. Никто.
Оставьте малыша в покое.
Он ханом стал и ханом будет,
а возмужавши, и батыром-алпом,
и равен силой будет не мне, но вам»,
и прочее и далее...

Я бы написал и дальше. Но, как ни печально, сегодня ваш покорный слуга, лихой кавалерист, человек, как говорил о себе китайский рыбак-пьянчужка, «повидавший свет» и уже почти готовый стать романистом, сочетается браком с милой особой. Так что, прости меня, мой несостоявшийся читатель. Не до сочинительства. Шампанского!

Я бы написал и дальше, но текучий золотой песок подземных проходов уносит вашего покорного слуги, лихого кавалериста, военного разведчика и инсургента, человека, как говорил о себе китайский рыбак-пьянчужка, «повидавшего свет», в никуда. В пространство, в котором нет ни настоящего, ни будущего, ни прошлого, и что горше всего – книжных полок, на которых могло бы найтись местечко для моего романа. А, следовательно, не быть мне романистом.

Многоуважаемому профессору свидетельствует свое почтение кочевник из Орды и просит прощения за неаккуратность в переписке, при сем он возлагает свое упование на Аллаха и надеется, что необязательность, как его национальное качество, приносит ему больше чести, чем осуждения.

Аулы наши всегда в движении и никто не знает, как завтра сложатся дела и каждый день приносит сюрпризы, могущие спутать не только тактику, но и стратегию твоей жизненной баталии с живой и мертвой природой. Приходится быть готовым ко всему, как волк. И не как обычный серый

разбойник, а как семейный бирюк со своей отарой, так же усложняющей твою жизнь уже тем, что ее нельзя съесть за раз. А гости? Кочевники только тем и заняты, что навещают друг друга с праздными новостями, растягивающимися в беседу за полночь. Только сядешь за письмо, тут к тебе визитер с важным видом и намеками на близкое родство. Какая тут может быть punctulite? С этим согласна вся Средняя киргиз-казакская орда и некоторые старейшины Большой и Малой орд, и все они готовы в удостоверение сего приложить свои родовые тамги, если обстоятельства того востребуют, на все манускрипты. За сим обращение к Вам заключается в нижеследующем.

Первое. Так как богатство киргиз-казака и других номадов заключается в скоте и при столкновении с народами цивилизованными у сих кочевников является потребность в деньгах, то и ваш покорный слуга, находясь в обстоятельствах, требующих удовлетворения деньгами, не имеет ни малейшего шанса раздобыть эти презренные билеты. Ни в долг, ни как долю в наследстве. Сам он, не имея ни раба, ни вола, ни осла, желал бы предложить обмен на деньги (желательно, в крупных купюрах и много) свое полное описание Кашгара, загадочной и неоткрытой Европе страны, в Императорское Русское географическое общество и потому просит г-на профессора, как ректора, известить его, на каких условиях может Общество приобрести сей труд. Без шуток. Цена будет самая умеренная – 50 рублей за печатный лист, исключая те главы, за которые вы при отъезде моем из Петербурга выдали деньги. Хотите, как в древние времена, обойдемся без денег. Составим обмен между кочевником и горожанином. Мне бы вы выслали в степь барометр, психрометр и несколько термометров, – та часть края, где я живу слабо исследована в климатическом отношении, и довольно. Ну к этому еще удовлетворите мои столичные долги – 300 рублей серебром, вот и все. Главное, не убивайте меня своим отказом... Помните поучительную библейскую историю: «И был Авель пастырь овец, а Каин земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земных дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрил Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его.., и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его».

Не удивляетесь последнему абзацу. Он приведен не случайно так подробно. К достоинствам кочевничества следует отнести и избыток свободного времени, для философствующих бездельников – сущая

благодать. В присутствие не надо бежать, служба не занимает, лежи на кошме и читай себе Ветхий завет. Занимательнейшая книга, в ней мы читаем древнейшею историю человечества. Одни племена пасли скот, другие возделывали землю. Казалось бы, каждый занят своим делом. Каин строит город, сажает сад, Авель бродит со своими барашками по просторам. И все им ясно, во всем они определены. А каково таким, как я, всеми потрохами принадлежащим кочевому народу, но с младых ногтей живущих в городах? Какую жертву нам принести? Пожалуй, примером нам может служить лишь один апостол Павел. Мы знаем его как горожанина. Приняв веру в Христа, он не стал кочевником и проповедовал её всегда в оседлых общинах, а между тем оценил выбор Божий весьма своеобразно: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Такое толкование кажется по меньшей мере парадоксальным. Для брюха хороший жирный баран всегда вкуснее любого каравая, но ведь, как проповедник в среде крестьянства, он не мог вот так просто пренебречь высшими достоинствами хлеба. А ларчик, думаю, просто открывается. Ведь Павел прямой потомка Авеля. Известно, что евреи до строительства своего первого Иерусалимского храма были народом кочевым и Павел не отказался от своих природных предпочтений.

И все же, почему Каин не мог сдержать себя и покусился на жизнь брата своего Авеля?

Почему моя цивилизованная на европейский манер голова должна все время спорить с моим сердцем, бьющимся сильнее и радостней, когда я вижу в голой степи кош из трех жалких прокопченных юрт, у которых подле казана с отбитым ушком стоят бабы в нелепых платьях и чумазые дети да конь без седла?

Ответьте мне, профессор, отчего приговор миру кочевничества был вынесен еще в библейских сказаниях? За что? Только разве от того, что пастбища мешают городам продвигать все далее и далее свои стены, а пахарям ширить свои пашни?

Впрочем, кочевники сами во многом виноваты в приближении часа своего испарения с лица Земли. Надо было держаться от городов подальше, но разве сравнишь свои поделки с ремесленническим искусством городских мастеров? Нет ничего целебнее дикого лука, но поливной, конечно, сочнее. Да и искать его не надо в чистом поле, пошел и выменял шерсть да мясо на плоды земные. А иные, тонкие прелести дворцов и базаров? До них особенно охочи были степные правители. И делали все, что бы захватить города, но

город сам пожирал их, превращая аскетических батыров в сладострастных, жирных котов.

Тюрки на отрогах Алтая сами ковали металл, но в городах умели доспехи украшать золотым рисунком, а рукоятки сабель слоновой костью и драгоценными камнями... И мы увидели, как большинство тюркских народов самозабвенно влилось в чужую жизнь, лишь иногда сохраняя свой язык ничего более. Разве что в монгольской столице Каракоруме, по свидетельству итальянца Плано Карпини, один из четырех фонтанов, бил кумысом... На востоке ханы кочевого народа маньчжур, захватив Китай, превратились в династию Цин и три века собою подпирали Поднебесную Империю, а на западе половцы и крещенные татары составили славу русского дворянства. Давно задвинули в угол своих домов пастуший посох турки, татары и сарты-узбеки.

Я мог бы написать целую версту в подобном духе, так это меня задевает, но, кажется, за такую статью мне ни в одном журнале не заплатят. Вот почему хотел бы предложить издателям беллетристический рассказ на историческую тему. Во сколько вы думаете, уважаемый профессор, они оценят мой литературный шедевр? Но какая бы сумма ни была бы, высылаю его вам. Здесь бумаги теряются каким-то особым магическим образом. Я застиг одну женщину, которая прокралась ко мне в юрту и пыталась выкрасть исписанный лист. Объяснения были дики неимоверно. Она, видите ли, хотела вшить эту бумагу сыну в одежду, что бы он стал таким же грамотным, как ваш покорный слуга. Умру, все растащат на амулеты. Хотя.., может быть в этом предназначение моего немыслимого литературного таланта? И на этом спасибо.

P. S. Я думаю, от того Господь Бог принял дар от Авеля, что смысл жизни кочевника, его быт и труд не выходят за пределами того, что было дано человеку свыше. Кочевник шьет одежду свою из шерсти и кожи скотины, после его юрты на второй день встает трава. Ничего в ней не меняется тысячелетиями. Ведь кочевнику не нужно более того, что он может унести с собой и животных в отарах и табунах ему не надо больше того, что прокормит его род... А ежели родов станет слишком много, то войны снижали прожорливое число обычным ходом.

Даже обувь у кочевника имеет носок загнутый вверх, что бы при ходьбе не царапать землю. Уверяю вас, что будь на Земле только кочевые народы, то она сохранил ась бы в первозданном виде и нравы были бы ветхозаветные.

Горожанин имеет достоинство в наше время восхваляемое. Он созидатель. Но созидая он разрушает все, что мешает его задумкам. Роет каналы, бьет скалы на свое строительство. Я видел продырявленные горы, используемые как крепости или монастыри. Скоро паровые машины искорежат весь пейзаж. У горожанина наука. Придет время и не заповеди Святых книг будут наставлять людей, а научные идеи... Каин убил брата, но попытается убить и Бога. По крайней мере, в самом себе точно изничтожит.

Калган-бек воин Стен Города. Он непомерно силен и ловок. Кто ему платит, Калган не знает и знать не желает, но приходит в ярость и даже грозится уйти в Степь, если жалованье задерживают. Деньги он любит. Пересчитывая накопленную таньгу, Калган наслаждается надеждой, что скоро сможет купить себе жену и не купит, сэкономив при этом огромную сумму. Очень нравилось Калгану разглядывать свои монеты и давать им имена. Одну денежку со знаком в виде какой-то закорючки он назвал, не долго думая: аймен, что для него означало что-то вроде «с луной». Другую, с отчеканенным царским профилем: носатой. На остальные монеты слов для прозвищ не нашлось и он их так и разделил на две кучки: носатые и аймен.

Но особенно желанную сладость приносят ему те часы и сутки, когда в его бритой, шишковатой голове не возникают ни какие мысли. Потому он и при вязан к Стенам, на которых в часы работы, привычно положив локти на гладко потертую плиту в бойнице, он размякал в дремотной покое. Но не спал, так как воину на Стене положено всегда зорко бдить за всем, что происходит перед ним в бескрайней степи. В первый год его работы стражем, в его башке выплыла простенькая мелодия, возможно услышанная им в младенческом возрасте, так как в Городе звучала всегда другая музыка. Эти связанные между собой и повторяющиеся несколько звуков и занимали его все дни и ночи у бойниц Стены. С годами они нанизывались на все удлиняющеюся, запутанную нить и звучание их от начала до конца занимало теперь несколько часов. Она прерывалось только зычной командой начальника караула. Приказ отдыхать возвращал его к еще более незамысловатым занятием и он без вопросов и прощаний спускался котлу, дымившемуся всегда кашей у Нижнего базара, а потом и спать.

При столь отрешенной от других воинов и соседей жизни, люди однако не были Калгану в тягость, лишь бы не приставали: «Калган-бек, вы не интересовались ...Калган-бек, как вы думаете...», но высказывались определенно, а еще лучше, просто так, без умысла против законов Всевышнего, для смеха спаривали бы грязную обезьянку араба Саида с ослицей старика, торговавшем питьевой водой. Или бы поносили степняков. Калган-бек лично сам никогда не упускал случая задеть степняка: разодетого уйсуня или кичливого кипчака. Тоже, нашлись вольные казаки! Степняки это знали, и постоялый двор, где жил Калган-бек, избегали.

Калган-бек был твердо уверен, что каждый скотовод дик, ничтожен и что-то обязательно хочет украсть в Городе. Но то, что он сам когда-то был захвачен в степном ауле бездомными разбойниками и продан ими на городском базаре для нужд праведных и будничных, как чесать воинам спины и всякое, Калган-бек забыл. Мысли о детстве и старости были за пределами его гладких умственных сфер. И

возможность собственной смерти для него не существовала, как для всех тех, кому приходилось много и легко убивать других.

И даже в тот черный день, когда Город достигла весть о злонамерениях властителя диких земель за пространством гор, не знающего истин Магомета Темучина, тень посланника Азраила не коснулась Калган-бека и он не ужаснулся. Хотя многие болтали пустое, кричали, шептались, а некоторые даже пустились в необузданный разврат и разномыслие.

Через город с востока на запад проходили караваны с шелком. Купцам покровительствовали на всех своих кочевьях тюрки, и следовало тюркскому кагану платить дань за про воз. Вдруг с одним из караванов приходит весть, что теперь долю от товара нужно высылать хану монгол Темучину. С какой стати? Тем паче, что эту новость принес караван-баши из иудейского торгового дома Мардехай, не имевшего своих лавок в Городе. Товар решили оставить на складах Города и он там как-то сам по себе растворился не известно куда, хотя в тюках была не соль, а тюки не в воде... Но этот Темучин прислал своих послов узнать что, где и почему не прошел караван через Город. Пришлось его людей казнить за дерзость... Толковали еще о каких-то страшных вещах, связанных со все тем же ханом монгол, будто бы он сын какого-то бога...

В один из таких тревожных вечеров в ворота постоялого двора въехали двое всадников и прямо спросили Калган-бека, а затем и прошли к нему. Этих степняков Калган, покалечив, выкинул бы сразу, но у одного из них, старого, на камзоле вместо пуговицы была пришита пробитая большая золотая монета из носатых. До прихода посетителей Калган-бек укладывал свои сокровища друг на дружку и еле успел их смести от чужих глаз под складку своей постели. И как раз увиденная им на дикаре носатая монета могла бы выровнять по высоте столбик носатых со столбиком аймен. По этой причине Калган-бек решил выждать, а потом, выпроводив незваных гостей, где-нибудь нагнать их в темноте и прирезать с пользой. Перед войной никому не интересны не только чужие, но и свои трупы. А если власть и споткнется об тела убиенных, то лишь велит отнести на отпевание, а затем и в яму.

Степняки, плотно усевшись в каморке Калган-бека, долго говорили о чем-то непонятном, пришлось их перебить и спросить: что надо? Ответили. Вы ходило, что они его родные братья и на днях род решил всех своих забрать из Города снова в аулы:

- Не могли долго найти тебя, только лет пять назад узнали куда и кому тебя продали. Пора домой, Аймен.

Калган-бек вначале вздрогнул, заподозрив, что эти кочевники каким-то образом узнали о его лунных монетах аймен. Но потом вдруг это имя оторвалось от денег и отбросило его, словно в крепостной ров, в далеко забытое прошлое. Ведь это его настоящее имя! Так звала его убитая на его глазах злыми шайтанами мать. Как мог он попытался своей предельно скудной речью объяснить братьям, что не он виноват в том, что забыл мать и свое имя, а беда и время... Те же поняли так, что он укоряет их в том, что они

не забрали его раньше.

– Времени, конечно, никак не было, то одно, то другое. Вот где была беда. Ты вправе, братик, обижаться. Но ведь мы и сами росли сиротски у родичей... Да потом зимой был большой падеж скота, и седло развалилось, а разве хорошее сухое дерево для седла сразу найдешь? – начали они, смущаясь, оправдываться. – К тому же мы слышали: живешь ты не плохо, сыт и в чести у людей. А сейчас никак нельзя тебе здесь оставаться. Идет слух, что хан Темучин решил казнить сам Город со всеми жителями и камнями.

– Так не бывает, – ответил им Калган-бек, ухмыльнувшись глупости степняков.

– Мы знаем, – сказал тот, кто был старшим. – Но в этот раз Город нарушил главный закон между народами: посланцы у нас неприкосновенны были еще с тех времен, когда бог неба Тенгри встретился с матерью Землей. Не по-человечески это.

– Сами вы нечеловеки! – принялся привычно орать на степняков Калган-бек, услышав свое любимое оскорбление.

Он даже решил пристукнуть до смерти, прямо не сходя с места. Здесь старший брат заплакал, а за ним второй пастух скота семьи своей.

– Прости нас! Сами мы жили вольно, а ты здесь в чужой толпе стеснение принял, ел и пил с глины, спал на камне. Скотину запертую в загонах и ту жалеешь, а тут год за годом между стенами ... Не хочешь ехать с нами, неволить не будем, только возьми хотя бы это, купишь себе сладости.., - и старший брат, сорвал с себя золотую монету и протянул ее Калган-беку.

В тот же вечер воин Стены забыл о утопавших в слезах от него своих степных братьях. Город между тем, предчувствуя гибель, ждал, замерев, а Калган-бек просто жил, посапывая переломленной переносицей, и, увидев одним из первых головные сотни варваров, лишь презрительно выпятил нижнюю губу: воины нашественники были бедны, в грубой коже, лошаденки низкие, с плоскими задами. Душонка мародера Калган-бека была оскорблена. Наступившая ночь и вовсе скрыла банду наглецов с его глаз, но шум, крики, топот и резкие звуки труб приближавшегося войска нарастали до утра. Горел городской рабад. И как человек, у которого вспыхнули огнем края платья, Город в страхе застыл. В ту ночь все воины были пьяны, был нетрезв и Калган-бек, и скоро среди смеха, споров, плача и бахвальств он заснул. Очнувшись ото сна, Калган впал в жуткое недоумение, не в силах понять причину все нараставшей тревоги под ребрами. А просто смолк пьяный гвалт на Стенах. Воины, пригнувшись, стояли у бойниц напряженно и молча. Это было настолько необычно, что все кругом казалось миражом. Ведь солдаты на то и есть солдаты, чтобы, кривляясь и посвистывая, кричать противнику дерзости, угрозы и брань, а не молча пялится исподтишка на них, как невеста на жениха. Калган встал, подошел к воинам, смотревшим вниз со Стен, и увидел...

Город не знал подобного, как не мог знать и Калган-бек. Город всегда был незыблем и побеждающ, даже если его ворота покорялись силе или

коварству единиц и многих. Спокойно и с удовольствием великана проглатывая всех, Город как бы командовал и над теми, кто оборонялся и над теми кто штурмовал крепостные укрепления, а затем награждал победителя. И в этом был вечен, как был вечен воин его Стен Калган-бек. Какое ему дело, кто правит Городом – наследный эмир или вчерашний враг, лишь бы платили вовремя и меньше было бы попрошаек на улицах и мостах. Да гнали бы вонючих степняков подальше. А то набежали в Город: «Враги идут! Враги идут! Не отдадим Город! Умрем как братья!». Как будто вправе... Но то, что видел Калган-бек в то утро, было знамением иного. Те, внизу, отрицали Город. Они не восхищались алчно, не кружились в спиралях зависти, не горели во всепожирающей мести. Их желтые плоские лица были безмолвны и равнодушны.

Подобно жирному песку, войско варваров сыпалось из-за горизонта и к концу дня охватило Город плотным кольцом. К самым Стенам подкатывали китайские метательные машины, волокли к воротам устрашающие тараны с наконечниками из твердой тибетской жести, сколачивали и тащили к Стенам штурмовые лестницы из алтайских небесных елей.

Калган-бека за всю его жизнь впервые охватила растерянность. Он любил воевать, убивая сам, но варвары предсказывали одно: умереть ему, Калган-беку! И независимо от того, покорно он сложит оружие или не расстанется с ним до последнего мгновения.

И, словно гигантские челюсти неведомого чудовища, череп Калган-бека сдавили мысли. Смерть! Смерть диктовала их: почему он должен умереть? За что? За кого? Но мозг его был в силах лишь ответить умопомрачающей головной болью. Ночью боль стихла, и Калгана охватило глубокое безразличие ко всему. Впрочем, он всегда жил отстранено ото всех, как в колодце, но сейчас и из его норы ушла та незначительная водица, что была в ней, даруя свежесть. В этом мире теперь ничего не существовало, и только его собственная жизнь была бесценна в своем неоспоримом праве – быть.

Калган-бек встал на колени, прищурил отекшие веки и влажно блестевшими глазами оглядел каменную площадку Стены. Лицо налилось черной кровью, губы разошлись там, где были клыки, руки хватали пустой воздух и выжимали из него свист, кривой живот был напряжен так, словно был набит горящими углями.

Лежавший перед ним пьяненький воин, вдруг уловивший ноздрями сладковатую вонь возбужденного силой тела, по-птичьи взглянул на Калган-бека и ужаснулся угрожающей неясности этой глыбы мяса и жил, затем стал, дергаясь, отползать от него, скороговоркой твердя: «Ну ты!.. Ну ты!..». Калган-бек, не замечая его, отошел к темному краю и, делая вид, что подтягивает шнурки своих кожаных штанов, ощупал на пояске зашнурованные карманы с монетами. И держа руки на поясе, словно имея желание удовлетворить простую потребность своего живота, лениво побрел к деревянной лестнице, вьющейся лоскутком ткани вниз, в Город.

По узким улицам он быстро прошел к дому начальника караула. Подойдя к дому, он легко для своего грузного тела перелез через запертые ворота и

отбросил пинком ноги бросившеюся на него оскаленную звериную пасть. Пес остался неподвижно лежать, а другая собака, тихо рыча, стала кружить вокруг него, но Калган, не обращая на нее внимания, прокрался в глубину сада, где на топчане под гроздьями винограда спал начальник. Калган стянул его за ноги с постели и твердо сказал:

– Эй, начальник! Ты дашь мне денег, я не брал за этот месяц.

Начальник караула, предельно измотавшийся на Стенах и в цитадели за последние сутки, с трудом очнулся и вскричал:

– Что?! Что?! Штурм?! Начали?

– Деньги. Ты мне заплати деньги, я – Калган-бек!

– Ты где должен быть, свинья? Отвечать!

В доме проснулись и испуганно заметались женщины. Но Калган-бек, не обращая внимания на поднявшийся визг и плач, перебирал в своих бесформенных пальцах тело начальника и добрался до его горла. Из дверей дома выскочил мужчина и запричитал:

– Ой-ох! Ой-ох!.. Деньги, да вот деньги! Убереги Всевышний! Оставьте, оставьте моего брата...

Калган-бек отбросил на постель обмякшее тело и, взяв из трясущихся рук склонившегося перед ним и без того сутулого человека тяжеленький мешочек, спокойно сказал:

– Я ухожу со Стен, начальник.

Сутулый бросился к неподвижно лежавшему брату и, тряся его за руку, завыл:

– Вот видишь? Ви-и-идишь? Все уходят, и нам надо уходить в Хиву, пока не поздно!

Но тот молча отстранил брата и, нашарив под постелью стилет, кинулся к удалявшейся спине Калган-бека. Казалось, блеснувший клинок был брошен, так стремителен был прыжок начальника караула. Но он споткнулся о кружившую вокруг Калгана собаку и упал вниз лицом с вытянутой вперед рукой со стилетом. Собакавзвизгнула. Калган обернулся, сделал шаг назад, наступив ногой на спину лежавшего, склонился, взял его за волосы и дернул. Раздался хриплый выдох и приглушенный хруст костей. Отчаявшаяся в своей ярости собака вцепилась в бедро Калган-бека и
он, взяв ее за челюсть, разорвал ей пасть.

Когда Калган, прихрамывая, дошел до ворот, его, высоко подпрыгивая, как кузнечик, догнал брат убитого. Подскочил, упал на колени и стал обнимать его ноги:

– О-о, батыр! Возьми меня с собой, умоляю, Аллах взял к себе брата, яостался совсем беззащитен! У меня много денег, очень много денег. Хочешь, возьми моих жен, дом, лавку, только не бросай меня...

Из Города Калгап-бек и Сутулый уходили вдоль южного стока городских нечистот. Воины кочевников, избегая зловония, не задерживали здесь своих коняг, а засад вообще не было. Калган бежал трусцой, сопел, широко размахивая руками. Сутулый часто падал, вскакивал, и сердце его замирало в тоске, если он не сразу находил взглядом удалявшегося от него беглеца. И словно подтверждением тому, что неминуемая смерть отступила от них, к ним пришла удача. В степи они наткнулись на

верблюда, тащившего сломанную арбу с обгорелым тряпьем и единственным колесом. Верблюд, взревев, кинулся от них, но бежал неловко, боком от перекосившихся оглобель арбы. Калган-бек и Сутулый погнались за ним, вначале просто удерживали испуганное животное, а потом на нем стали быстро уходить на юго-запад от Города.

К вечеру следующего дня они присоединились к маленькому роду степняков, уходивших, как и они, от безжалостных захватчиков. Аульчане молча приняли их. В Калган-беке и Сутулом они видели нуждающихся в помощи людей и, не желая быть навязчивыми, держались от них подальше, предоставив, однако, им пищу и коней. Калгана тут же охватило привычное безмыслие и довольство.

Жить в ауле понравилось Калган-беку. Степняки хоть и бежали от врагов, но от привычного хода кочевья особенно не отступали. Разве что вместо нескольких дней у родника меж каменистых сопок или речушки в поросших кустарниками берегах задерживались на вечер и ночь. Молодежь как всегда устраивала игры и пела свои песни. Нравились Калган-беку и забавы на лошадях и красный цвет мужских шерстяных штанов, по вкусу пришлось ему и кобылье молоко, оно быстро утоляло жажду и клонило в быстрый сон. А главное, ему дышалось легко. Ветер с запахом трав продувал его грудь до самой печени, а ведь в последний год он стал дышать с хрипом. Отары овец и табуны шли в стороне от самого аульного каравана, что бы пыль не тяготила людей. Услышал Калган-бек как степняки играли на гулком предмете с длиной шейкой и с двумя струнами из жил. Мелодия эта была чем-то схожа с той, которая звучала в наголо обритой, неровной башке, когда он торчал в карауле у бойниц Стены. Только звуков была больше и они мешали друг дружке.

Еще Калгану очень полюбилось смотреть как мальчишки играют в асыки. Они расставляли в ряд бараньи мослы и били по ним издалека сокками – самыми крупными косточками. Для тяжести некоторые из них годами то вымачивались в соляной воде, то сушились на солнце. И еще были какие-то секреты победоносности этих костяшек, не раскрываемые никому. Особенно ценилась в сокках способность падать на попа, что давало право на внеочередной удар.

Самым удачливым игроком был сорванец по прозвищу Руколом. К нему и обратился Калган с праздным желанием сыграть с ним и другими детьми в асыки. Руколом даже не стал задирать голову, что бы взглянуть в лицо снисходительно обратившегося к нему чужого дядьки. Только сплюнул и про цедил сквозь зубы:

– Есть асыки, ставь на кон, нет – иди отсюда.

Давно уже никто так пренебрежительно не разговаривал с Калган-беком. Непонятно даже как воин Стен стерпел такую грубость от сопляка, росточком не вышеего сапога. Не драться же с ним, а потом этот с черной шеей мальчишка в общем то был прав по всем законом игры, нечем играть – не лезь. Хотел было калган купить у мальчишек асыки, но те даже не взглянули на его золото. Так бы и остался Калган только зрителем, если бы Сутулый, старавшийся не отходить ни на шаг от своего спасителя, быстро куда-то не сбегал и не принес для него с десяток асыков.

Степняки искоса поглядывали на игравшего с мальчишками великовозрастного детину и лишь покачали без усмешек головами. Ничего не поделаешь с этими горожанами, у них ума и достоинства как у малых детей. Там в городах солидные мужы могли, словно разбалованные детишки, прямо что-то попросить: дай мне это, потому что нравится, а старухи красили свои лица.

Как не странно, Калган-бек не сразу проигрался. Все таки был у него глаз отличного стрелка. Но все равно Руколом постепенно вышиб из ряда его асыки в свою пользу. У Калгана осталась только сокка. Калган ночью срезал с ее низа выступ, мешавший прочно устоять асыку на земле при падении пятачкой и раним утром первым явился на голый такыр у аула для продолжения игры. Руколом разрешил ему поставить на кон сокку, но потом, приглядевшись, заметил подделку. Он отбросил голой ногой калгановскую сокку в сторону и сказал ему:

– Руку сломаю!

Калган-бек бросился оспаривать такое решения, и, сев на корточки перед мальчишеским атаманом, стал крутить перед его носом свою испорченную сокку, убеждая, что, мол, она нигде и не подправлена. Руколом молча дал ему в лоб. Калган плюхнулся задом в пыль, естественно, не от удара, а от внезапности замаха маленького, как вспорхнувший воробей, кулака. Мальчишки захохотали. Калган-беку стало обидно, так что зачесались глаза, и он ушел в степь. Там далеко, оставшись один, он, сидя в пожухлой траве, вначале от обиды ничего не слышал, потом под ухом зазвенели какие-то невидимые насекомые, затем сама земля как бы несколько раз громко вздохнула... пробежали сайгаки, стуча по камням копытами ... и весь мир наполнился той именно музыкой, которую он знал один и немо прокручивал часами под гулким сводом своего черепа. Он узнал ее и захохотал от радости, даже принялся приплясывать от удивления - надо же, она умела звучать!

Как бы не вел себя странно один из горожан, но он был гостем и наступило время, когда его и Сутулого аксакалы аула пригласили на застолье в их честь. Калган, переполненный самым бескорыстным презрением к степнякам, однако, не отказался от приглашения и на трапезе ел много, сопя и отрыгивая от наплывающей жиром сытости, а пальцы обтирая о голенища сапог так, что они засияли салом, как и его лоб.

Сутулый, полный тоски по оставленным в Городе женам и лавкам, жевал вяло и так же вяло отвечал на вопросы стариков. Это было не по душе Калгану. Вонючие степняки должны иметь свое место у порога, а не болтать языком, сидя колено к колену с ним, воином Стен!

– Да.., – горестно вздыхал сутулый. – Город в осаде. Этот Тимучин привел варваров, тварь. Святой Город, святой Город! А варваров этих – как вшей в квартале самых неимущих из самых падших. Горе, горе! Да разве есть более славная столица на мировой плоскости? Я сам не склонен знать, да говорят Александрийская читальня не чета Городской. А мои лавки?! Чего только не хранили они! Говорил мне святой на мосту: да ты, торгующий, избегай центральных улиц. Все сгорит, все сгорит, все пепел... М-м-н-н... Поклониться бы Тимучину, поклониться... А хотя бы и дань платить. Да вот нет. Ибо говорили: все жжет он на земле. А сколько возьмете, аксакалы, за топленое курдючное сало? Говорят также, что у этих варваров большая нужда в нем для их метательных горшков и других богопротивных предметов. А?

Калган-бек не слушал Сутулого, но то, что старики кивали седыми бородками, внимательно слушая второго, а не почтительно ждали слова

Калган-бека, которое он, впрочем, и не собирался произносить, раздуло ему от возмущения шею. Но это был не предел. Эти скотоводы речью, в голос стали обсуждать дела Города! От гнева Калган потемнел и осел, подобного он уже был не в состоянии перенести:

– Заткнитесь, ублюдки, – чистым от ярости голосом произнес он. – Вы кто? Как смеете говорить о Городе? Как смеете слышать о Стенах!

Калган-бек встал и, не смотря на отползавших от него старичков, вышел из юрты. «Твари, – бормотал он. – Как смеют рассуждать о Стенах?! Придавить кого-нибудь, что ли? Как им можно говорить о Городе?!»

Но Города не было. Была Степь, связанная тонкими нитями света с дальними звездами, открытая и дышащая тихо, беззаботно, как грудь спящего человека.

Как?! Калган-бек застыл в ужасе. Взмок. Он, воин стен Города, но где же Стены? Мощным усилием своего мозга, закаленного, как горшок в печи у гончара, Калган понял, как он слаб, нелеп и ничтожен в Степи. Здесь свои законы, свои права, своя тактика боя. Любой руколом, слитый со своей простенькой лошаденкой, вмиг закружит, запеленает его, как младенца, в этих бескрайних пространствах, и он будет мучительно ощущать свою незащищенную спину. Враг должен быть перед ним, перед его лицом, он должен, обязан быть перед ним, а не скакать вокруг! Он должен лезть, карабкаться наверх, поглядывая с ужасом снизу на него, чтобы быть сброшенным или раздавленным в руках Калгана, да и то чтобы обрушиться на головы своих соратников.

Прокушенный язык вкусом сладковатого вина набухал во рту и вываливался между скисших губ. Ни боли, ни страха не было. Была нестерпимая потребность до умопомрачения, до тошноты, какая бывает только у курильщика опиума, быть на Стенах Города. Какая еще смерть?! Это сейчас он труп! Нет Города, и нет его. Кто он? Никто, ничто - как сорванный ноготь. И Калган-бек камнем из оттянутой пращи, кинулся назад к Городу. Он сменил несколько коней, и последняя лошадь монгола, которому Калган-бек сорвал лицо, захватив пальцами верхнюю губу и сбросив с седла, вынесла его на рассвете к самому Городу. Лошадка, чувствуя, что она падет, если остановится, неслась к зубчатому и освещенному огнями бойниц горизонту, к Стенам, на которых. застыли люди Города в ожидании очередного штурма. Калган-бек одной рукой размахивал дубинкой, другой размазывал по телу свою и чужую кровь. Пораженные его отчаяньем бойца и силой, варвары отступились от него и лишь смотрели ему вслед. Казалось, что он, прорвавший плотное смертельное кольцо внешней осады, пробьет и саму крепость, врезавшись в нее. Но у самых Стен стрела, торчавшая между шейных позвонков Калган-бека, не дала ему поднять голову и увидеть тех, кто там, на Стенах Города, и он, силясь увидеть, откинулся в седле и упал. И долго еще его конечности дергались в стремлении встать на Стены Города.

Что это? Мираж или, как сейчас пишут во французских медицинских книгах об виденьях у умалишенных – hallucination? Считать себя сумасшедшим совсем не хочется. будем считать, что это не написанный рассказ для гонорара.

Хан Аблай, размышляя над тем, как мельчает род человеческий, изрек однажды: «Я царствовал, как лев, дети мои – тигры, внуки же мои будут волками, правнуки станут собаками». И мне грустно слышать такие предсказания. Милый прадедушка, кем же был тогда твой пращур Чингиз-хан? Наверное, не меньше, чем дракон.

Одним я могу утешить себя – если я и собака, то собака своего народа. Тоже не мало, хотя, признаюсь, я все свои чины и титулы с легкостью поменял бы на звание батыра аблаевских времен. Мухаммед-батыр. Звучит? По-моему, очень. Не то, что ротмистр или генерал. В чинах один пес старше другого и все.

В кадетском корпусе, обнаружив в библиотеке географические атласы, я стал путешествовать по ним во все края света. Но до двенадцати лет любимой моей игрой была игра в батыров. Знал я множество имен этих легендарных личностей, все их подвиги и шалости с оружием в руках. Одна была незадача: мне не с кем было водиться. Братья мои были на пять, семь и девять лет младше меня и биться я с ними никак не мог. Приходилось быть одновременно и витязем и его могучими врагами. Как мне это удавалось, я уже не представляю себе. Конечно, какие-то роли я доверял исполнять огромным камням и пням на горе Сырымбет, возвышавшейся сразу за нашей усадьбой. Естественно, я всегда выходил победителем, хотя одежда на мне иногда страдала порядочно. Как-то я надумал поиграть в батыров Пыльного похода и тут никак не мог обойтись только неподвижными истуканами. Кто-то ведь должен был пыль поднимать. Пришлось снизойти к помощи братишек, тем более что герои-батыры Джанатай, Уйсунбай и Аркандар к тому же были родными братьями.

А история Пыльного похода такова.

В 1770 году волжские калмыцкие князья Убаши и Цэрен с ламаистским духовенством, опасавшимся, что калмыки на военной службе у царя станут принимать христианство, решили увести свой народ на землю предков – в опустевшую от бесконечных войн Джунгарию. Затея была хороша, если иметь ввиду, что родные пастбища, стараниями китайской армии совершенно обезлюдили и в следствии этого приняли снова свой девственный вид, но уж

слишком идеалистичной даже для мечты воссоздать уже на китайской территории новое ойратское ханство. Киргиз-казакам эта выходка тоже не показалась безукоризненной. Они сами, ни у кого не выпрашивая, уже пасли там свои стада. Как бы там ни было, тысяч 150 – 200 калмыков ушли с правого берега Волги между Черным яром и Астраханью на левый и дальше через кочевья Киргиз-Казакстана. Петербург проявил нерасторопность, и теперь даже яицкие казаки их не могли достать. Шли калмыки скоро, не жалея ни скот, ни ослабевших соплеменников.

Конечно же киргиз-казакские ханы не могли себе позволить такую беспечность, как русские, и на реке Муинты бежавшие калмыки были окружены киргиз-казакскими войсками, К этому времени хан Аблай получил и официальную просьбу от имени императрицы Екатерины II наказать беженцев, что совсем развязывало ему руки, так как волжские калмыки все же считались подданными Ея Императорского Величества. Несмотря на то, что калмыки шли не с войной, а с показными покорностью и стенаниями на свою горькую судьбу обездоленных, все понимали, что нахождение минимум 30 тысяч хорошо вооруженных и обученных калмыцких воинов прямо в сердцевине Киргиз-Казакстана опасно чрезвычайно. Все султаны, бии и батыры просили хана Аблая уничтожить урбашинскую орду немедля, особенно Баян-батыр. Но толи явно ложное прошение Урбаши принять его с калмыцким народом в подданство к нему льстила ханскому самолюбию, толи по каким-то ещё неведомым причинам, Аблай тянул и не соглашался. И это продолжалось до тех пор пока калмыки не перегруппировались и не ударили сильно и неожиданно по киргиз-казакским заградительным отрядам и не прорвали окружение, потеряв при этом, правда, большинство своих людей.

А получил этот исход калмыков из России название «Пыльный» вот по какой причине.

Один из славных батыров тех времен Уйсунбай, делая разъезды, потребовал от передового калмыцкого коша платы за переход по его родовым землям. Тем пришлось уступить и дать верблюдами. Его младший брат Аркандар, тоже детина не промах, стал просить у главы своего рода Джанатая-батыра, самого старшего брата, разрешения и ему совершить на калмыков наскок, как Уйсунбай, и взять ещё верблюдов, на что тот отвечал:

– Это не военная добыча, а кун. Они расплатились за все. Заработай сам, у тебя нет болезни.

Аркандар-батыр понял эти слова по своему и поскакал к калмыкам требовать свою долю. Калмыки отвечали, что уже заплатили и за траву на

пастбищах и за воду родников и речек. Тогда Аркандар-батыр, оглядывая бессчетную толпу, поднимавшую своим ходом стену пыли и уносившую ее с собой на одеждах, заявил:

– А за пыль кто будет платить?

Калмыцкие старшины онемели, а опомнившись, рассчитываться за пыль отказались наотрез.

Аркандар глубоко оскорбленный тем, что никто не оценил его находчивость и движимый желанием все же показать всем свое удальство с семью товарищами и со славным батыром Конаем, сыном не менее славного батыра по прозвищу Заячьи Глазки, на рассвете напал на калмыков и взял два десятка двугорбых бактрианов. Расстроенные калмыки бросились в погоню за ними. Тогда Аркандар отправив товарищей с верблюдами вперед, сам с Конаем стал заманивать преследователей, которых было не меньше сотни, в другую сторону. Калмыки загнали его на гору и только бившие без промаха стрелы из аркандаровского колчана не давали им пойти на окончательный штурм.

Товарищи Аркандара поспешили найти Уйсунбая и тот сразу же все доложил Джанатаю и потребовал дать ему воинов для того, что бы отбить Аркандара. Говорили, что тучный Джанатай, узнав эту весть, осунулся сразу же так, что кафтан на нем повис как на жерди. От тяжелых размышлений он почернел, словно казан на огне. Он долго молчал, а потом твердо произнес:

– Мой брат совершил неправое дело. Теперь калмыкам решать: хотят ли они смерти Аркандара или захотят получить просто кун за него.

Более горячий Уйсунбай все же один поскакал к той горе. Однако калмыки уже поднялись на вершину, где стоял его брат. Туй! Аркандар убит.

Когда Джанатай узнал о смерти братишки, он сделал проклятье и поклялся против убийц: «Или умру или напьюсь вашей крови!».

Он приказал сесть своим людям на коней и с отрядом численностью всего пятьсот воинов ворвался в ставку калмыков, где их было десять тысяч, и утонул в битве – схватка была страшной, киргиз-казаки шли на смерть.

Калмыки прежде напали на Уйсунбая и ухитрились ударить саблей ему в живот. Он держал внутренности в полах своего халата, дрался и спрашивал:

– А что, Джанатай-батыр, с распоротым животом можно ли жить?

– Нет, Уйсунбай-батыр, нельзя. Но дождаться, пока я, старший, погибну, можно. Не поступай, как Аркандар, не позорь меня. Возьми мой пояс.

Уйсунбай плотно обмотал свой живот джанатаевским широким кушаком и бился дальше.

Наконец остались только двое братьев и сын Джанатая юный Токыш.

Говорили, двадцать девять глубоких ран нанесли калмыцкие воины Джанатаю. Тогда и сказал старший младшему:

– Я умираю. Можешь последовать за мной.

Уйсунбай отвечал:

– Прежде вели моему племяннику пробиться и уйти отсюда живым. Нет сыновей у меня, не было у Аркандара, кто продолжит наш род?

– А стоит ли продолжать род человеку, который бежал с поля боя? – спрашивал суровый Джанатай.

– Стоит, – отвечал Уйсунбай, – если он трижды сейчас ослушается тебя и не покинет побоища.

Трижды кричал Джанатай сыну, бившемуся от них в отдаленье, и только на четвертый раз Токыш неохотно и с обидой выполнил волю отца, вырвавшись из вражеского кольца на простор.

Когда хан Аблай узнал о смерти Джанатая, он плакал неутешно, говоря:

– Выковавший сам себя клинок мой, Джанатай-батыр, никому не дававший себя точить, черный булат мой!

И так, я увел мальчишек к пустынному подножью горы, самым подробным образом объяснил всю историю и велел им пылить ногами, изображая поход. Это они старательно выполнили. Тут я наскочил на них, изображая батыра Уйсунбая, и заорал:

– Как смеете вы на моих землях идти без платы?!

Крепыши Якуб и Махмуд насупились, как и велено им было, а вот малыш Сахиб-Керей, дома его звали больше Козленочком, чуть было не испортил всю пьесу: на глазах его навернулись слезы и готовы были покатиться по его тонкому бледному личику.

Затем наступил второй акт, где я уже изображал Аркандара, а они его братьев, которые должны были теперь все вместе идти на калмыков. Я завел их в укромное место, разъяснил, что здесь их боевой стан, отсюда, когда я дам им сигнал, они должны были бежать на гору спасать меня и мстить за мою смерть.

Надежды на то, что они верно сыграют свои роли у меня не было никакой, я был уверен, что посидев в тенечке под густой березой, они скоро соскучатся и отправятся домой к мамочке. Но я ошибся. Забравшись на гору, я вначале просто полежал, созерцая все темневшие и темневшие облака, естественно, принимаемые мной за полчища врагов, затем гонялся за полозом, рыл себе пещеру, потом решил играть в раненного коварной стрелой Кобланды-батыра.

На все эти забавы и ушел день, небо окончательно потемнело и разразилась страшная гроза. Ливень обрушился на меня, как тьма вражеских войск, а я один, как батыр Урак, бился с потоками воды.

Между тем там внизу, под той самой березой разыгрывалась самая настоящая героическая драма. О ней я узнал позже, и то вся картина прояснилась не сразу.

Как рассказывали мне с ужасом малыши: только я оставил их, где-то рядом появился зубастый волк и принялся страшно выть. Они испугались и хотели тут же бежать домой, но ведь должны были ждать и потом идти спасать меня! Все трое прижались друг к другу, обнялись И так вместе дрожали с полчаса, но не сдвинулись с места. Тут волк замолк и появился один из наших слуг, приставленный следить за детьми. О как они обрадовались ему! Но напрасно. Этот дядька принялся рассказывать им о страшных чудовищах-албасты, которые бродят рядом с ними, что сам видел вон на той сосне следы от медных ногтей кровожадной Жезкемпир. Рассказав очередную байку, он вставал и исчезал, после чего из ближайших кустов начинались раздаваться ужасные вопли и стенания. Но братья, хотя и продолжали трепетать, держались из последних сил. Снова появился дядька и сказал, что бежит от огромного медведя, пожирателя детей и предложил маленьким, но неустрашимым батырам-братьям поспешить с ним домой пока не поздно. Батыры опять объяснили ему как могли, почему они этого сделать не могут и их соглядатай очередной раз исчез, зато через некоторое время появился обещанный медведь, стал показываться из кустов и рычать вовсю. Тут братишки не выдержали, понимая, что сейчас их гибель неминуема и только бой спасет их. Они вскочили и стали кидать в этого медведя камни. Сахиб-Керей-Козленочек, видя что его снаряды никак не долетают до страшного зверя, даже решился на одну атаку, состоявшую из нескольких шажков вперед, но все же!

Затем наступили вообще страшные минуты. Небо загрохотало, стало черным, по нему засверкали молнии. Снова появился дядька и заявил им, что сам Бог рассердился на них за то, что они без спроса убежали из дома и сейчас готов прибить их из-за ослушание огненными копьями. И тут мои братья устояли, понимая, что без них я погибну вон на горе под саблями калмыков. Дядьке оставалось лишь одно – промокших до нитки мальчишек он сгреб в охапку и орущих, протестующих отнес домой, где они мне поздним вечером в постели все это поведали, прося прощения за невольное предательство. Герои уверяли меня, что тот страшный медведь все равно придет к нам и всех

загрызет. Я еле их успокоил, при этом мне пришлось приврать, что я того медведя уже поймал и содрал с него шкуру, которую на следующее утро показал им в дальнем амбаре. Шкура была засохшей, облезлой, но мокрой, что подтверждало недавнюю прогулку его хозяина под дождем.

Что бы понять всю эту страшную историю, надо знать некоторые тайны нашего быта. Этот слуга, о котором шла речь, действительно выполнял роль дядьки, заботой которого были мы, сыновья султана. Конечно, до французского гувернера ему было так же далеко, как от Кокшетау до Парижа, но выдумками он своими, пожалуй, не уступил бы и Песталоцци, а быть может и сам великий автор книжки о том, «Как Гертруда учит своих детей», позавидовал бы доходчивости того оригинальнейшего способа воспитания, которой прежде был опробован на мне нашим доморощенный педагогом. Что бы я не убегал далеко, он выслеживал меня и пугал издалека, так что я тут же стремглав, услышав волчий вой, бежал домой и потом день-два вообще не выходил за ворота усадьбы. Со мной он доигрался до того, что когда я подрос лет так до девяти, то мне пришлось завести его подальше в лесок, и когда он снова принялся изображать из себя волка, подкрасться к нему и врезать хорошей палкой по его широкому затылку. Меня он потом оставил в покое, зато принялся воспитывать моих братишек. Впрочем, всегда хорошо, когда дети шалят и играются только прямо под окнами.

О батырах моего детства я вспомнил, когда выехал из Верного вместе с одним милейшим человеком, высланным за участие в восстании из Польши. Он должен был взрывать скалы под новую дорогу на Кисыкауз, а я направлялся в аул султана Тезека, где сидел маньжурский посланец цзян-цзюн Со-Колдай и ждал ответа от семипалатинского генерал-губернатора, как еврей мессию, рассчитывая на помощь от обещанных ему русских вспомогательных войск для подавления очередного мятежа в Кульдже синьзаньяских мусульман. Поездка обещала быть со всех сторон приятной, да беда была в том, что мой поляк сразу же заговорил о героических легендах и сказаниях, при этом выпытывая и из меня все, что я знал о батырах. И, насколько я его понимал, непременно о таких, от которых у цивилизованного человека выступает гусиная кожа. Впрочем, в моей степи других никогда не водилось.

Взрывая свои скалы мой польский джентльмен все больше и больше возгорался воинственностью, как порох, которого он не жалел и мне ничего не оставалось делать, как рыться в своей памяти, что бы хоть чем-то остудить его пыл. Иначе, Бог знает, что бы он еще взорвал!

А моя степь знала действительно целую плеяду истинных героев. Имена своих батыров киргиз-казаки помнят еще с мамаевских времен и всегда с охотой расскажут вам десяток элегий и эпосов о них. Особенно много великих фамилий появилось в 16-17 веках и в начале 18 столетия, когда началась и шла война между государством джунгарских калмыков и Киргиз-казакским ханством.

До этих злых времен джунгары Иртыша и Зайсана находились в мирном подчинении, и хан Тауекель правителем над ними держал племянника своего Шахмагомеда и в переписке с русским монархом именовал себя не иначе как «царем казацким и калмацким». Но времена меняются и появляются новые легенды. Хотите слушать, пан инженер, извольте.

Преданным другом хана Тауке был батыр Алдияр, сидевший всегда рядом с ханом с правой стороны. О нем хан, оказывая ему свою благосклонность, говорил так: «Если Алдияр возьмет лошадку, вернет долг верблюдом», имея в виду, конечно, не обмен разновидностью скота. К этому достоинству и к многим иным следует добавить, что ему приписывали способность вызывать дождь и бурю. Хан Тауке несколько раз пытался покорить каракалпаков и все безуспешно. И только когда Алдияр-джайши якобы при очередном походе наслал на непокорные земли густой косохлест с небес и туманы, киргиз-казакам удалась обойти дозоры, и, окружив легкие на подъём каракалпакские аулы, принудить их к покорности.

Пока Тауке занимался своими юго-западными границами, джунгары наконец так окрепли, что дерзко решили отделится от киргиз-казакского государства. Избрали своего правителя – хонтайшу и принялись рубить сидевших над ними султанов. Хан направил на них войска. Без сомнения, что во главе этих карательных отрядов был и батыр Алдияр, но так случилось, что джунгары решили, что именно он может примирить их с ханом Тауке и послали к нему на Узун-Аташ своего князя на переговоры о мире. Алдияр согласно степному этикету принял калмыцкого посланника и известил об этом своего повелителя. Но хан Тауке был настолько зол на вырвавшихся из-под него наследников великих монгол, что велел казнить переговорщика. Как ни ссылался Алдияр на святость гостеприимства, приказ не был изменен. Батыр стал просить хана. Он предложил взять у него все имущество за свободу своего калмыка. На что Тауке-хан отвечал: «Сколько стоил твой каракалпакский бек?».

В походе на Каракалпакию Алдияр взял много пленных, скота и иного добра в сартовских сундуках. Одному из его джигитов из охраны понравилась молодая каракалпачка. Она же, пользуясь его страстью, предложила спасти

захваченного главного каракалпакского бека, который к тому же через неё посылал спасителю золотые монеты. Охранник смалодушничал и бежал со своей избранницей и беком. Алдияр конечно же настиг его в песках. Каракалпакский бек стал предлагать батыру выкуп. Алдияр презрел злато.

– Так что же привело к измене в тебе? – все пытал хан Тауке Алдияра. – Ты всегда был тверд, как лед в январе.

– Меняется не только погода, но и человек, мой повелитель. – отвечал удрученный Алдияр.

– Так жди зиму, но привези голову князя, как ты привез мне тогда голову бека, – велел хан.

– Но бек был добычей, а джунгарский князь приехал к нам своей волей, – возразил Алдияр,

– Это у селезня бывают гости, а у орла все только добыча, – сказал хан и отослал прочь батыра.

Но зная его нрав, он послал за ним к Узун-Аташу сотню всадников. Алдияр не отдал им калмыцкого князя. Воины хана Тауке окружили аул Алдияра. Батыр в ответ вышел к ним навстречу с оружием вместе со своими братьями. Братья были под стать самому Алдияру, бились отчаянно и умело. Но все же в том сражении погиб самый младший – Майлан, удивлявший всех прежде своей невероятной везучестью в самых кровавых боях. И о котором сам Алдияр всегда говорил: «Смерть его не видит, он с детства сидит у нее на темечке».

Хан Тауке послал на покорение мятежного аула ещё тысячу всадников. И сам двинулся за ними, но в степи его уже встретила песня, в которой певец рассказывал о своем непонимании зачем незваного калмыка так защищает Алдияр и зачем с таким упорством его преследует хан Тауке, а затем заканчивал её словами:

«Неужто лишь затем, что бы без страха,
Безумно, со всего плеча, с размаха
Скрестились два клинка мужей упрямых,
а смерть нашла лишь юного киргиз-казака?»

И хан Тауке встал перед аулом Алдияра, не нападая на него. Алдияр же выехал к нему со своими оставшимися братьями и сказал хану:

– Великий наш государь, я не могу, пока жив, отдать тебе моего гостя, но пусть в смерти братьев моих винят только меня.

Братья Алдияра бросили на землю копья и двинулись с опушенными головами к сверкнувшей сабли Алдияра. И хан Тауке отступил.

Джунгарский князь вернулся в родные края. С его просьбы были освобождены пленные киргиз-казаки из рода садыр батыра Алдияра. А затем и все остальные подданные хана Тауке.

Но за этим не последовало долгого мира. Джунгарские ханы – хонтайши, создали регулярные войска числом достигавшим вместе с отрядами князей-нойонов более чем 200 тысяч и с пушками, отлитыми на сибирских русских заводах.

Началась война, длившаяся сто пятьдесят лет. Она своей жестокой волей превратила многих простых пастухов в профессиональных воинов. И сын и внук с младых ногтей уже знали, что тоже станут только воевать и более ничем иным не заниматься. Слово «батыр» стало обозначать уже не могучего силача, размахивающего своим оружием только по своей прихоти, а воинское звание, равное званию запорожских полковников. Под батырами ходило иногда до 10 тысяч постоянно вооруженных всадников, подчинявшихся одним законам и одной воле, как и сами батыры.

Многие имена батыров связаны с походами моего прадеда хана Аблая и многие из них составляли его ближайшее окружение, представляя поздний степной вариант рыцарей Круглого стола. И как те славные английские мужи имели дружеские отношения с королем Артуром, так и батыры Кабанбай, Богенбай, Баян, Райымбек, Наурызбай, Отеген, Джаныбек были на короткой ноге с ханом Аблаем. Долгая война рождает настоящую дружбу.

Как-то сидели у одной походной юрты хан Аблай и батыр Джаныбек-аргын, известный своей чрезвычайной заносчивостью. Воины в своих котлах варили сушенное мясо, разводили в турсуках курт водой, словом завтракали, подкрепляясь на целый день. Батыр сидел молча и курил, когда к нему дерзко подъехал безусый юноша и с лошади, протягивая руку, сказал:

– Джаныбек батыр, дай-ка трубку!

Джаныбек не обратил на него внимания и, чтобы показать совершенное презрение, с достоинством выколотив трубку об каблук своего красного сапога, затем бережно положил её в свой карман.

Скоро хан велел выступать, каждый род сгруппировался под своим значком, выехали вперед батыры в кольчугах, шлемах с перьями и ружьями, подошли к хану и образовали тоже кружок. Провели военный совет и решили сделать на неприятеля внезапное нападение, хотя тот стоял перед ними в превосходящем числе. На вопрос хана Аблая, как много джунгар, Джаныбек выслал вперед караул, среди которых оказался и тот юноша. Он же и ответил, вернувшись с разведки, что противника не много и не мало.

Бой начался. Левый фланг, где стоял Джаныбек, потерпел страшный урон и отступил. Сам батыр был ранен, джунгарская стрела ударила ему в грудь, но не вошла меж ребер, а как то заскользила зигзагами, но вызвав при этом обильную кровь. Оказавшийся снова рядом с ним безусый юноша сказал непочтительно:

– Этот, кажется, ходит в шкуре китайского бога.

Отступившие в этой ретираде киргиз-казаки и ободренные успехом джунгары на какие-то минуты встали неподвижно лицом к лицу. Впереди всех врагов высился со знаменем в руке громадный калмык на черном, как ночь, коне.
Вид его был настолько устрашающ, что никто из киргиз-казаков не осмеливался даже и думать о поединке. Тогда ослабевший от потери крови Джаныбек вынул свою трубку и, не глядя на дерзкого юношу, бросил её в сторону джунгарского батыра со словами.

– Ты просил мою трубку, иди, возьми её.

Все глаза обратились на безусого забияку, и он тут же отбросил в сторону свое копье, и молча бросился на своем коне вперед. Внезапность атаки и то, что убить такого силача этот мальчишка никак не мог ни при каких самых благоприятных обстоятельствах, даже если бы тот спал в седле, позволила ему приблизиться к могучему калмыку-батыру невредимым и под самый занавес вдруг броситься под вражеского коня. Казалось, он решил от отчаянья найти себе верную смерть быть растоптанным, но он, обхватив руками огромную, как бревно, лошадиную ногу, придумал перерезать на ней жилы ножом. Огромный конь, сильно дернувшись, скособочился и калмык рухнул на землю. Киргиз-казаки воспользовались возникшим среди джунгар смятением и обратили их в бегство, таким образом вырвав победу из рук неприятеля. После битвы Байгозы (это было имя молодого человека), закурил доставшеюся ему трубку и подойдя к Джаныбеку-батыру, сказал:

– Батыр, вот время, когда можно курить.

Так начал свое батырство Байгозы-тарактинец, и с этого времени все узнали его имя.

Подтверждением тому, что батырство достигалось не только силой, но и ловкостью и умом служит следующая история.

Как-то на горном перевале горсточка джунгар остановила продвижение киргиз-казакского отряда. В пещере в конце этого ущелья сидел один стрелок со знаменитым тогда черным ружьем Корум.

Ружья, мултук, в те давние времена были редкостью в степи и переходили из рода в род и имели собственные имена: Коз-кеч (Видевший прощанье), Кульдур (Заставляющий взлететь). Ружья, как правило, имели гладкий ствол, фитиль и маленькие сошки из сайгачих рогов. Стреляли пулями из свинца. Ружья киргиз-казаки делали сами, делали их и калмыки и башкиры. Встречались в степи еще очень древние ружья, имевшие продольные полосы по стволу и медные мушки и прицел, но в умелых руках они били хорошо. Штуцеров в те времена не знали, впрочем, у некоторых султанов позже появились и нарезные ружья.

И так калмык преградил путь киргиз-казакским воинам и после смерти нескольких смельчаков, никто больше не решался пройти этот перевал. Вдруг выезжает на буланом коне батыр Ильчибек-сыргалинец и отправляется, крайне не торопясь, прямо к стреляющему калмыку мелкой рысью. Все ожидали с трепетом, что он сейчас падет. Ильчибек, доехав таким образом довольно близко, вдруг дал шпоры и так стремительно рванул вперед, что у вражеского стрелка произошла осечка, и не успел он снова приложить к своему ружью фитиль, как был изрублен киргиз-казаком.

Когда Ильчибек-батыра спросили от чего он ехал вначале рысью, а не поспешил, как следовало при опасности выстрела, то он отвечал:

– Я знал, что увидев моего иноходца, калмык захочет получить такого отличного коня. И он стал дожидаться, пока я не подъеду ближе. Я же не торопился и на его фитиле образовался большой нагар, вот почему случилась осечка его ружья. А сбить нагар и снова зажечь фитиль он уже не успел, бедняга.

После окончательного разгрома джунгарского государства, киргиз-казаки Средней орды сделали набег на дикокаменных киргиз, но те были вовремя предуведомлены и были готовы для встречи «известных гостей». Киргиз-казаки были вынуждены отказаться от своих планов, снова вернувшись на правый берег реки Или. Родоначальник каракиргиз манап Темиржан-батыр увлекся короткой стычкой и, решив с малым числом удальцов преследовать отступивших, переправился вброд. Тогда кандижигалинец Томача-батыр повернул назад и воткнул свое копье под самую грудинку лошади манапа с такой силой, что благородное животное сразу село на задние ноги. Темиржан быстро соскочил с упавшего скакуна и бросился на обидчика. Томача-батыр был низкого роста, он присел под кинувшегося на него каракиргизского батыра и борцовским приемом опрокинул его спиной на землю. Затем сел на него и распорол кинжалом ему тело от пуповины до горла.

Темиржан-батыр был красив в полном смысле этого слова: бел и дороден. Когда вспарываешь сазана, то из него вываливается по краям раны белый жир. Так появилась присказка о смерти от ножа: «Белеть в поле, как сазан».

Дикокаменные киргизы, узнав о таком безжалостном отношении к уже поверженному на землю своему манапу, страшно обиделись и начали настоящую охоту за убийцей, охоту, в которой никто из правителей киргиз-казакских им не препятствовал, ибо видели в этом справедливость: зачем же резать так человека? Мстителей подгонял и поминальный плач сестры Темиржана:

«Братец, что же я сделаю?
Боже, я готова отдать свои краски-бойяк
и ходить всегда с черным лицом.
Я готова отдать китайские свои ткани-манат
и носить только траур.
Что я могу сделать, братец?
Мое сердце болит.
Есть ли люди среди моего народа,
которые не красят лица румянами
и не тратятся на красивые платья,
а имеют сабли и копья?
О братец, как болит мое сердце, о боже!»

Наконец после долгих преследований плен были взяты батыр Джаулубай, Алтай-батыр и Байгозы-батыр, отличавшийся красотой и тайно гордившийся этим, а перед женщинами – явно. Манапы посчитали, что и этих достаточно и выбрали по жребию Байгозы-батыра, как жертву за смерть Темиржана. Его посадили на землю, обратив лицом к востоку. Отмерили 40 сажен и мерген-охотник с длинным ружьем сел напротив него, сказав при этом:

– Каждому киргиз-казаку по пуле – будет три пули. Больше я тратить был не намерен и оставлю другой свинец на оленей. Киргиз-казак не вкусный, а олень очень даже вкусный.

Его соплеменники расхохотались и будучи довольны шуткой, согласились, что трех пуль достаточно. Охотник стал медленно наводить свое оружие. Каракиргизские манапы, после того как цель была взята, дали Байгозы последний шанс, спросив его: кто убил Темиржан-батыра?

Байгозы отвечал твердо:

– Я не хочу быть доказчиком ни на кого. Пусть стреляет прямо в сердце.

Охотник выстрелил и не попал в батыра. И заволновался. Снова выстрелил и сбил шапку с головы Байгозы-батыра.

Сам Байгозы рассказывал после, что решительно ничего не думал, но боялся, что тот не попадет ему в грудь, а пулей изуродует его лицо, вот почему он встал и близко подошел к стрелку. На шаг от него. Охотник потребовал, что бы тот вернулся на свое место казни, тогда Байгозы-батыр перевязал свою голову тряпкой, наивно пологая, что это спасет его красоту. Охотник выстрелил третий раз, но разволновавшись окончательно, не попал опять. А может быть не был просто убийцей.

Во время моих поездок по степи я побывал у могил многих известных личностей. Среди них я видел и строение над захоронением Байгозы-батыра. Ни крутые ступени, ведущие к этому сооружению, ни купол над ними не отличались особыми затеями. Впечатление же на меня произвели таловый лесок, которым была обсажена глиняная стена вокруг мазара, приятно смотревшаяся на лишенной иной зелени долине, и копье, воткнутое в купол. Это вообще отличительный знак могил батыров. Таким же копьем был отмечен и высившийся рядом купол склепа батыра Аташа.

Проехав благополучно с поляком-инженером Кисыкауз, мы переменили лошадей на Караузе и с конвоем из 6-ти казаков при уряднике на подводах поехали в горы по дороге на Чубарагач. День был несколько жарок, пить – нет кумыса. Одно утешенье – купаться в холодных водах горных рек. Проехали Аксу, сделавши верст 30, и к ночи добрались до Баскан.

К счастью моему, Аллах в милосердии своем не хотел, чтобы его грешные слуги лежали без пищи и крова и направил прямо на наш бивуак кочевавший аул. Хотя местность, где мы расположились, была их привычным и законным кусочком земли, они, увидевши русских, дали тягу. Я спешно последовал за ними, но все мои старания обласкать аксакалов и женщин были тщетны – они были до того запуганы, что не хотели даже брать наших подарков, боясь последствия. Только на следующий день они успокоились и разбили юрты в верстах трех от нас, но при этом невольное соседство очень их беспокоило и они благоразумно удалили всех девок от аула. А тех, кто не успел уехать одели в изорванные халаты и измарали им лица грязью, чтобы были как можно менее привлекательней для насильников! Так запугали бедных кочевников казаки и заседатели. Правда, возглавлял этот род Тынеке, известный в Семиречье батыр и барымтач, не смотря на свои разбои, имевший в этих краях большое влияние. Я узнал, что скоро он должен быть, и нашел этот случай подходящим для демонстрации польскому гостю живого киргиз-

казакского батыра, видеть которого он желал как престарелый Иаков сына своего Иосифа Прекрасного.

Наконец Тынеке прибыл и оказался малым огромного роста. Ясно, что он был чрезвычайно силен. В седле на большой лошади он смотрелся как скала, но встав перед нами, как-то сразу сник. Он привез нам бурдюк кумыса и принялся просить прощение черт знает за что. Мы отвечали ему приветливо и, видимо, Тынеке решил, что перед ним чиновники так себе, выродки среди всесильной чиновничьей рати. Он возвысил голос и продал нам барана по тройной цене, которого прежде предлагал даром. Казаки, сопровождавшие нас, потешались между собой, косо посматривая на нас, и один остряк из них заметил уряднику, «что смиренного Миколу – телята лижут». Урядник, до этого не раз ездивший по этим краям с заседателями, на которых даже местная знать не смела и дышать, застыдился и сделал гримасу обреченного на вечный позор мученика, показывая глазами на меня с польским паном-инженером, мол, я человек служивый и как они, господа, прикажут так и будет.

Освоившись, Тынеке настолько распоясался, что принялся просить водки, а когда добрался до неё, то напился так, что четыре ушата холодной воды не подействовали на него нисколько. Этот несносный господин произвел много неприятностей, зачем-то опрокинул нашу телегу, груженную железом, и грозил ударом моему попутчику, любителю героической старины. Я смотрел на Тынеке и вспоминал лермонтовские строчки: да, были люди в иные времена, не то что нынешнее племя!

Когда и почему началось нравственное падение киргиз-казакского рыцарства?

Где батыры, которые вместе с ханом Касымом разбили узбекских Шейбанидов и вернули своему государству все города по Сыр-Дарье, где палуаны, которые перепрыгивали через крепостные стены булгарских и русских городов, как через изгородь овечьих загонов? Где герои, которые более века изо дня в день бились за свободу киргиз-казаков насмерть с полчищами из Джунгарского ханства и наконец переломили ему хребет?

Наверное, это падение началось, когда ханы и бии сочли более благоразумным вступить в подданство Российской Империи, чем снова и снова проливать свою кровь на границах своей свободной страны. Чужие штыки, наверное, спасли тысячи киргиз-казаков, но народ не защищающий себя сам от своих врагов обречен превратиться из нации батыров в просто стадо под охраной тех же штыков. Когда исчезает сама потребность в героизме, в самопожертвовании и ответственности за своих братьев и сестер,

то исчезает и гордость в людях и чувство достоинства. Когда самым страшным врагом становятся у нынешних «батыров» наглый вымогатель чинуша, судебный заседатель, да полицейский чин, от которого, правда, всегда можно отделаться взяткой в десять баранов, то взамен приходит спасительная робость перед любой властью, угодничество, лакейство. Стыд заливается пьянством и страстью самому натешиться властью над более слабыми.

Я спросил Тынеке, когда он все-таки протрезвел, что он знает о распространенном здесь калыптасе, камне, употреблявшимся при изготовлении форм для отливания пуль. Оказалось – ничего. Что добавить?

А мой неугомонный поляк все интересовался, когда приедет знаменитый батыр, который был ему обещан. Я отвечал: едет, обязательно когда-нибудь мы его увидим. И сам спросил его, не угодно ли ему будет вместе со мной вот так взять и махнуть через границу в Кульджу, биться за свободу восставших мусульман и дунган? Усы у моего застенчивого любителя сказок вдруг зашевелились, как у кота, и он, встав, произнес:

– Едим! Йеше Польска ньэ сгинэла!

В мире миражей мужчине, ценящему женскую красоту, непременнно надо вернуться к красавице Сузге, проплывшей в ладье без весел с севера на юг, с востока на запад по рекам, долинам и по крови мужей знатных. Тем более, если сидишь один , как идиот, в подземной толи мечети, толи проходе. Ободряет, знаете ли...

К осимнадцати годочкам, благодаря стараниям кадетского полубога выездки есаула Костыля и преподавателя изящной словесности К-цкого, я сформировался в существо вполне схожее с кентавром. Младое тело мое ежесекундно стремилось скакать в кавалерийской атаке, а голова витала в филологических теориях.

Профессор Н.Ф. К-цкий в студенческие годы был в тесных приятельских отношениях с известным ныне петербургским востоковедом И.Н.Б., автором прелюбопытнейшей «Библиотеки восточных источников». В своей переписке со своим университетским товарищем он просил найти человека, способного отыскать в киргиз-казакском языке значение нескольких слов из ярлыка Тохтамыша и «Джами ат-тарих» Жалаири Кадыргали Хошума, не употреблявшихся в хорошо известном ему нынешнем татарском. Легкомысленно согласившись ответить светочу столичного Университета, я

не ожидал, что мне придется в поиске провалится во времени чуть ли не на тысячу лет.

Начал я бодро с записей джиров, героических поэм Золотой орды, но потом с головой завяз в вязи текстов, написанных на тюрки. Впрочем, и русские летописи тех времен, коими я так же был увлечен, были не менее зубодробильными. Что стоит, к примеру, одна фразочка Саввы Есипова: «По наипозех днях князь Сейдяк изыде из града Сибири, с ним же царевич Казачьей орды Солтан, да думный карача, с ним же воинских людей 500 человек, доидоша же до места, иже именуется Княжий Луг, и наичаша пущати ястребы за птицами». Ясно одно – солтаном сибирский летописец называл Ураз-Мухаммеда, племянника царя Казатцкой орды Тауекеля. Карача – приближенное ко двору лицо, советник. Надо думать, что сибирский свидетель имел ввиду Жалаири, говорившего о себе: «...писавший эту летопись от отца и матери Ураз-Мухаммед-хана для службы к нему приехавший, имел гребенчатую тамгу», что значило – родом джалаирец.

Язык книги Жалаири киргиз-казакский и по изложению своему замечателен, хотя имеет несколько слов и оборотов для современного уха несколько странных. Но интересно то, что начало книги или «Слово Борису» написано на чисто татарском языке, без всяких арабских и персидских метафор, хотя достаточно витиевато. Во всяком случае, это замечательный памятник панегирики: «Сочинено ради восхваления справедливости государя Бориса Федоровича...».

Здесь басен менее, нежели в персоязычных летописях. Этот сборник летописей излагает тюркские события от времен легендарного прародителя Огуза до первых исторических фактов Киргиз-казакского государства XV века. По мнению самого профессора И.Н.Б., Жалаири написал эту книгу в Москве
уже в зрелом возрасте.

Труд Жалаири сохранен в двух списках рукописной копии и, кажется, копиисты, допустили искажения, из целой книги в 117 страниц я перевел только ту часть, которая касалась киргиз-казакских дел, и составил комментарии к неясным местам. Достаточно верно ответил ли я на вопросы петербургского ученого, не мне судить, да и не о том хотелось говорить. Более всего меня интересовал упомянутый нашим историком некий женский образ, возможно, в силу моих еще неистраченных юношеских романтических порывов. Впрочем, эта особа привлекла к себе не только мое внимание. О ней слагались стихи, писали оперы, имевшие успех, если не на сценах Вены,

то в Тобольске уж точно. Но что нам до Европы, у нас в Сибири свои дамы, свой патриотический нектар любви. Что стоят лишь строки из поэмы о нашенской героине придумщика «Конька-Горбунька» Петра Ершова:

«Царь Кучум один владеет
Всей сибирскою землею.
Обь, Иртыш, Тобол с Вагаем
Одному ему подвластны.
Он берет со многих дани,
Сам не платит никому.
Царь Кучум, сидя в Искере,
С утра раннего до ночи
Пишет царские приказы,
Рассылает повеленья
От Урала до Алтая,
По сибирской всей земле.
Много силы у Кучума,
Много всякого богатства,
Но на всей земле сибирской
Нет прекраснее Сузгуна,
Где живет луна-царица,
Черноглазая Сузге.
На коврах лежа узорных,
Приклонив к руке головку,
То ли розою Востока,
То ли гурией Пророка,
Так казалась Сузге!».

Не правда ли grandioso!

Народ, как ему и полагается, слагал свои байки. Их множество, но все сводились к версии истинно шекспировской. Стало быть пришел в Сибирское царство полк стрельцов да казаков и взяли они все города кучумовы. Только остались непреступны для них стены Сузге-кала, где проживала жена сибирского царя красавица Сузге. Взяли люди военные сей городок в осаду, да не тут-то было. Однако все припасы осажденными были съедены, и начался мор. Тут гордая красавица, брошенная мужем, но сама не оставившая без защиты отчизну, говорит воеводе: «Ты отпусти свободно моих поданных, тогда я открою ворота». Сговорились. Когда последний струг с сузгенцами скрылся за излучиной Иртыша, захватчики вошли в

опустевший терем хозяйки деревянной крепости, и застали ее заколовшейся кинжалом в своей ложе. Соболиное одеяльце в ногах, да подушка утонула в слезах.

Жалостливая история, но вернемся к нескольким листочкам, исписанным тоже Жалаири отдельно от исторического труда и определенно в эпистолярной форме некой Манреу. Имечко еще то. Как мне известно, есть у нас слово «монреу» – идиот, простак, в данном случае – Глупышка.

На сгибах письма текст был стерт, иные слова и даже целые выражения, к сожалению, остались для меня не понятны и мною были пропущены, но так или иначе я читал: «...да известно тебе будет, моя радость, что согласно мусульманской истории, а также Пятикнижия еврейского народа, Ной, да будет с ним мир, Землю разделил: во-первых, Хаму, чьи дети стали отцами Судана или черных народов зенги, есть его потомки и в индустанском государстве. Середину Пророк отдал Саму, он – отец арабов и фарсов. Третий сын Яфес, отец тюрков, был направлен на северо-восток к некнижным народам...

...подобно ему был, сдвинут в края, где день зимой длиться чуть более часа, а копнешь хвойную почву летом то найдешь под ней лед...

...распорядился Всевышний, что каждому дано испытание. Не минули беды и дом чингизов. Узбеки ушли в Мавераннахр и Бухарию, киргиз-казаки же остались в степи. Затем пришлось нашим дедам и отцам не один десяток лет воевать за туркестанские земли, незнающие утомления от зерна. О северных владениях все забыли. Первым вспомнил о них бухарский хан Абдулла и послал в дальние холодные края приближенного к себе султана Муртазу с узбекским войском. Султан Муртаза привел в подчинение тамошние народы Бухаре. Сын его Кучум возгордился и объявил себя самовольно ханом, а доверенную ему провинцию назвал своим Сибирским царством. Так нельзя.

Если каждый султан будет звать себя ханом, то не станет Земля любима Аллаху, Милостивому, Милосердному, да и народам жить в таком лоскутном мире одно беспокойство. В 960 году Хиджры Властительный самодержец киргиз-казаков победоносный хан Тауекель, окончательно утвердив свое знамя и в Туркестане и в Ташкентском вилайяте и принудил бухарского хана навечно отказаться от незаконно захваченного им наследства. Его Величество хан Тауекель племяннику своему султану Ураз-Мухаммеду велел сходить на север и подтвердить киргиз-казакское право и на эти земли. Следовало спешить, так как стало известно от ногаев, что Московия уже

вышла за Уральские горы и идет с огненным боем туда, где сплелись, как две косы холодной красавицы – Тобол и Иртыш.

...Ермак разбил войско Кучума и города его взял. Султан Кучум же бежал и просил вступиться за его дом...

...Достопочтимые отец и мать Ураз-Мухаммда звали меня на службу к своему отроку, посчитав, что по малолетству своему он нуждается в таком опасном походе в опеке и учению более чем раньше. Однако вскорости мне пришлось видеть, что султан Ураз-Мухаммед, не смотря на свои юные годы, был уже весьма искушен в выборе друзей и врагов своих. Я знаю, как вредны для черных глаз твоих, лебедь моя, Монреу, ученые изложения, но не узнав всех причин того похода, ты не поймешь волнующею тебя тайну любви. Если уж слишком много мудреных слов вдруг встретится тебе по пути к истине, ты просто не задумывайся над ними, если сие замятие тебе знакомо, надеюсь, до сих пор нет...

...родинка твоя оставила черную отметину на моих... ...жжет, то ты не...

...И да сияет над нами мудрость Аллаха, Милостивого, Милосердного, одарившего одного одним, не давшего другое другому. Выйдя с двумя пушками к Иртышу, мы у крепости Кулары встретили султана Кучума, потребовавшего от нас полного подчинения его сыну Али. К моему удивлению, столь дерзкие слова султан Ураз-Мухаммед выслушал со спокойным духом и велел всем воинам своим перейти под кучумовских бунчуков, а сам удалился к кочевью сейтековских кипчаков, с некоторых пор отделившихся от Кучума, так что у старика осталось не больше чем тысяча сабель. По своему долгу, я последовал за ним и на мой вопрос о его неожиданной покорности отвечал, что Ермак – обидчик Кучума и нельзя лишать султана радости самому убить врага. Наш же черед и суд еще...

...бек Сейтек был молод, но бараны его ходили с курдюками подобными сугробам в этих краях...

...не прошла и семидневка, как наши воины вернулись к нам и сообщили, что была у них битва на реке Валгай и, что батыр Кутугай, по прозвищу Ящерица, зарезал Ермака. Сам Кутугай рассказывал так: – Говорили Ермак джин, хотя и в образе человека. Я спрашиваю: – А сколько с ним людей на стругах. Кучумовы же воины мне в ответ: – Он огромен как скала, волосат, как медведь. Спрашиваю: – А видели ли они, как он бьется мечом, левой рукой или правой или меч его двуручный. Они же мне в ответ: – Много раз мы видели, как он в бою с лучшими нашими воинами уже истекал кровью, но тут же на наших глазах страшные раны его заживали в миг. Я спрашиваю

опять: – А стреляет ли он сам из пищали. У них же глаза в пустоту и только твердят: У него из рта идет огонь и дым...

...с такими вояками и на...

...решил я плыть сам и посмотреть на Ермака, как смотрят на любимую женщину. Говорю им: – Свозите меня к нему. Они же: – Он на лодках своих плавает быстро, как осетр, хотя на нем стальной панцирь с заговоренным царским орлом золотым, где он сейчас, знать нельзя и достичь его невозможно. Тут я: – Как это невозможно, когда он вас преследует уже третью неделю и вцепился зубами, как ласка, в кучумовский затылок.

...у устья Вагая вижу, что ермаковцы спят, даже караул не выставили, думал... ...взглянул на лица, на них усталость, как пепел под котлом, в котором год вываривали кости. Сам те ночи и дни не спал, так даже сердцем почувствовал, как они глубоко ушли в сон. Вернулся, говорю султану Кучуму: – Хорошо бы под утро ударить по ермаковскому стану.

Нет, не верит, говорит: – Ермак спит с открытыми глазами и все видит.

...И тут сказка вершит победу. Я снова на остров и вернулся уже добычей в три ружья да сумкой с порохом. Говорю: – Только мертвые так легко расстаются с оружием, так давай и похороним их на нашей земле, коли она им так приглянулась.

...Только здесь Кучум велел сынку своему брать людей и плыть на остров. Напали мы на рассвете. Слева утки взлетели, а мы – со всех сторон. Так и осталась крещеная сотня лежать, кто на траве, кто на песке, кто сразу понесся на небо. Видел я как бьется Ермак. Шел он один к стругу по мелкой воде, как пеликан среди рыбешек и меч его клацал о бритые головы наших удальцов, как клюв по рыбьей чешуе. Верно, никто не в силах был победить его ни на земле, ни в воде. Я же сам устроился в первой к нему лодке с коротким копьем и сижу, жду. Подошел русский батыр к борту, встал и тоже принялся ждать, я не шелохнулся. Тогда он и шагнул на струг достать и меня, лодка под ним качнулась и тут он на мгновенье и потерял себя. И в этот миг я и вонзил копье в его открывшийся подбородок. Иначе никак.

Ураз-Мухаммед воскликнул: – Ловко же, как и чем наградить тебя, Ящерица.

Ящерица-батыр отвечал: – Теперь ты мне послужи, султан-друг. Я спать лягу, а ты не дай меня будить от зари до зари.

Мой султан ему: – Буду тебе охранником, мне все равно спать не дают кипчакские мастерицы шить щелком, уж постараюсь, что бы их ловкие пальчики не проткнули тебя случайно в темноте иглой.

Кутугай, извиваясь на месте, превозмог сонливость и воскликнул: – Если я уж ухитрился проткнуть Ермака, то уж самую опасную мастерицу как ни будь сам проткну...

...только бек Сейтек вздохнул горько и говорит: – За одну волнистую прядь волос несравненной Сузге отдал бы я весь щелк кипчаков, за один жест ее руки отдал всех своих мастериц.

Джигиты воскликнули: – Вот как, и кто же она такая эта Сузге? Отвечал Сейтек: – Младшая жена этого старика Кучума.

Так мой султан впервые услышал имя Сузге. Она была дочерью знатной семьи, но какой – никто не знал. Говорили, что ее принесла к стенам Искера золотая ладья и говорили, что плыла она против течения с севера на юг.

Тут воскликнул Кутугай: – Кстати, уже слышал это имя, если это было именем, это имя выкрикнул сквозь кровавую дыру в своем горле Ермак: – Сузге!

Здесь мой султан весомо возразил, что Ермак не мог взывать перед смертью к какой-то там девке Сузге, а обращался к Исузге.

Батыр Кутугай принялся оспаривать: – Я не глухой, друг-султан, и слышал ясно – Сузге, а не к какому-то Исузге. Обязательно это имя кучумовской женки. Непременно он ее поимел всласть, так что она завязла в его рту, как жвачка хакы из мякоти хивинской дыни, что и умирая...

... в безумство пришел бек Сейтек. Он принялся хватать за ворот батыра и орал при этом: – Никак ты не смеешь так говорить о прекраснейшей Сузге.

Намечалось смертоубийство, чего не мог допустить Ураз-Мухаммед, но и его султанского слова было не достаточно, что бы парни перестали размахивать тесаками. Тогда он сел между ними и повел опрос: – Почему ты, Ящерица, считаешь, что Ермак кричал то, что ты слышал. На это Кутугай вполне разумно отвечал, что слышал от знающих людей, что Ермак хотел было взять и городок красавицы Сузге, да сам попался ей в петлю, что у нее между ног, будь, говорил, моей, будешь как и прежде царицей Сибири, она же ему в ответ: – Не могу при живом муже.

...Сейтек кричал: – Все это сплетни болотных старух.

Видя, что собеседники его впали в непонимание, султан Ураз-Мухаммед пояснил, что у русских есть такой бог – Исузге Кристос и Ермак взывал к нему – Исузге. Я мысленно порадовался, что мои знания упали на плодородную, как земли Туркестана, почву и делают моего ученика достойным сыном правящей династии. Однако тьма невежества неотступна, как ночь над костром.

А Кутугай ему: – Русские сильны в городах, зачем же Ермак три года гонялся с малым отрядом за дряхлым и никому не страшным Кучумом по пустынным степям и незнакомым рекам, где не жить ему, а умереть. Не за богом же своим! Сидел бы сам с ханской шапкой в Искере и властвовал бы в нем, растя сынов и внуков. Кучум не кровник Ермаку, Ермак отнял у него все, что мог уже отнять. Остались у него лишь его жены...

...сам же смотрел круглыми немигающими глазами прямо в раздувавшиеся в гневе ноздри Сейтека.

...Кутугай рассмеялся: – Ай, я не прав, должно быть со мной приключилось умопомрачение, зачем Ермаку, батыру, удальцу, мечтать о какой-то чужой бабе, должно быть он, отправляясь на небеса, вспомнил имя своего бога.

На такой поворот мой султан сказал: – Ящерица, ты и есть ящерица, показал свой длинный язык и юркнул меж камней в кипчакском краю, отвечай за свои прежние слова.

Но и Сейтеку ссора не к чему была в походе, он сказал: – Кутугай-батыр известный воин и не он возжелал то, что немыслимо для честного человека...

...однако река событий неумолимо в те дни текла и меж других берегов.

Прострелив выловленное из реки мертвое тело Ермака стрелой, а доспехи его и нательную одежду раздав тем, кто верил в их чудодейственную силу, хан Кучум, бросив нас, поспешил с сыном своим в свою столицу, снова открывшую перед ним свои кованные железом ворота. Ураз-Мухаммед, конечно же, не дал закрыться им перед нами. Сейтек бросился убивать кучумову родню, а султан Ураз-Мухаммед имел долгую беседу с самим сибирским правителем, благодаря его за верную службу трону киргиз-казакских царей и именем хана Тауекеля прощая его за самозванство, ибо заслуги его оказывались выше чем проступки. Гордыня и старческое слабоумие помешали Кучуму примириться с судьбой, он впал в немощный гнев и принялся запальчиво оспаривать: – Я сам чингизова корня хан, а Сибирь была страной хана Абу-л-Хайыра Шейбанида, а я сам из дома Шейбанидов, значит Сибирь моя! И народы ее мне подчинились и клятву верности дали. Меня царь Московии звал к себе служить ханом на его землях в обмен на мое царство, признавая право мое.

На что мой султан отвечал: – Народы сибирские не мусульмане, а клятвы неверных не имеют силы, а кипчаки с беком своим Сейтеком давно с нами и лишь терпели до времени от тебя, дохлый хивинский пес, беззаконие. Сибирь, конечно, была окраиной государства хана Абу-л-Хайыра Шейбанида, но прежде самим Чингиз-ханом была отдана своему сыну

Джучи, а киргиз-казакские ханы и есть самые прямые потомки Джучи-хана, следовательно и наследники его земель вплоть до самых окраин.

Так говорил мой султан и душа моя вновь радовалась, что и уроки логики не прошли для него даром. Но что спорить, когда за и впереди всех дворцовых дверей стоят с булавами и цепями те, кто принес с нами правду в кучумовскую обитель. И мой султан Ураз-Мухаммед с чувством исполненного долга удалился, а мне же оставалось опросить султана Кучума о числе черного народа и числе знати из жителей этого края и о том, какой сбор с людей был и как платили. Мы долго обсуждали заботы страны и заметил я, что султан Кучум, перечисляя свои города и селения, не назвал городок Сузге-кала. Я напомнил. Старик удивился и ответил, что никогда у него не было ни укрепления, тем более городка с таким названием, ни женщины с таким именем, а жен он своих, как истинный раб Аллаха, всегда держал при себе и не бросал никогда и все они с ним, разве что старшую Сумбуле с детьми он отправил жить в Бухару. Я сам лично проводил Кучума за ворота города...

.. отъезжая, кричал, что вернется и всех нас перережет. Такая у людей благодарность...

...нас, посланцев хана Тауекеля, везде на Иртыше и Тоболе встречали радостно и с почтением, только лесные князьки ушли в свои глухие чащобы, пряча там своих деревянных идолов с прядями из конского волоса. Моим занятием стало устройство законной власти, а молодой султан увлекся охотой. Однажды он приехал со своей забавы и сказал, что видел городок с дворцовой постройкой, не открывший перед нами ворота. Ему сказали, что это город младшей жены хана Кучума красавицы Сузге. Мой молодой султан отличался деликатностью и утонченностью натуры и не стал воевать с женщиной, а велел ей через своего посланника собраться и следовать за мужем, как сделали то все остальные его жены. Ответа не последовало. Но слова лишь движение воздуха, а так как окрестности Сузге-кала чрезвычайно пришлись по душе моему султану, то они и сделались излюбленным местом для его охоты. На Сейтека, обитавшего там в одиночестве и одичавшего до образа лесного животного он не бросил даже своего высокого взгляда...

...как я не проезжал по указанным султаном местам, но того городка я не нашел. Просил я моего султана взять меня с собой на охоту, но Ураз-Мухаммед всячески отказывал. Просил я и батыра Кутугая, но смелый юноша наотрез отбился. Он говорил: – На меня эта ведьма посмотрела из дыры в

стене, не стану я перед ней прохаживаться, у нее дурной глаз и она силу из меня сосет. Мы много смеялись над его предрассудками.

Между тем прошел год, чуть больше. Русские вернулись с тысячной пищальной дружиной и встали перед Искером. Мы со стен ответили тоже пороховым огнем и они отойдя, принялись вокруг нас строить свои города, так что и не проехать по стране, ни проплыть мимо них не стало ни какой возможности. И они на нас не наскакивали и мы их не воевали. Молодому султану Ураз-Мухаммеду все было недосуг, никак со своей охотой не мог сладить. А ведь стрелок он был знатный. Батюшка его Ондан имел прозвание Длинностреляный и как султан красного знамени правил от имени киргиз-казакского хана землей кураминцев при Ангрене. Известно, что курама народец собранный из разных племен. Были среди них и богобоязненные сарты, а были и не опасавшиеся гнева небес ногаи. Стало быть и Одан непременно должен был слыть в двух ипостасях. И как ходжа и как батыр. Задумали как-то кураминцы его убить и перейти под власть Хивы. Но как? Долго гадали, наконец надумали посадить на одного коня двух убийц, второму дали копье, а первого оставили без оружия, но в чалме муллы, так как знали, что любивший Аллаха Ондан не убьет служителя мечети. Однако заговорщики забыли, что конь под убийцами был мусульманский. Он на всем своем скаку сбросил того, кто под зеленой чалмой задумал злое дело и открыл путь стреле Ондана. Тут же кураминцы обвинили Одана, что он преднамеренно убил святого человека. На что тот отвечал, что он не видел муллу, а в седле был лишь всадник с копьем.

... в конце месяца наурыза, когда цветет вся земля, а в Сибири лишь пар идет из медвежьих берлог, известно стало, что русские схватили женку Кучума Сузге с прислугой и отправили ее санным путем в Московию. С того времени мой султан прекратил выезжать из Искера и, слава Аллаху, принял из моих рук дела государства. Подсчитали убытки. Земель за нами по берегам всех больших рек не осталось. Печаль охватила молодого султана, он грустил, но жалоб не высказывал, как и следовало фигуре ханского рода.

Скоро мы с большим отрядом взяли в осаду Тобольск. Воины горящими стрелами принялись поджигать бревенчатые укрепы, однако султан Ураз-Мухаммед велел прервать войну и один отправился в город говорить с воеводой. Я не мог его оставить одного в этом преопасном деле и конь о конь въехал с ним в открывшиеся только перед нами ворота. Воевода, муж хитрый, встретил нас ласково и поил медом...

...воевода отвечал: – Царь мой Василий Иванович есть тоже родня по бабке своей Чингиз-хану и отец его Иван Васильевич принял на себя волей божьей титул царя золотоордынского, а по сему и эти земли его по наследному праву и не токмо эти, но и вся чингизханова орда до самых крайних морей и к югу и к восходу солнца, и по его воле здесь мне и быть.

Затем этот грубиян стал требовать, что бы мы выпили за здоровье государя царя всея Руси и Сибири. Имел я слово, говорил, что нам, людям ислама, вера не позволяет пить хмельного, надеясь, что после этих слов нас отпустят с миром, но мой султан кинул чашу в лицо воеводы. Началась ссора, и нас схватили и связали.

...наши воины кинулись на стены. Многие полегли, да все тщетно. Смерть их радовало воеводу, а как узнал он, подлый, что средь убитых с его стороны есть и последний атаман Ермака знатный батыр Мещаряк, то даже руки принялся от радости потирать, приговаривая: – Вот теперь ни татарского духа, ни казачьего. Дело государево верное.

...скоро нас вывезли в Московию трудной дорогой, много мучений телесных и душевных принято было, но мой султан веселел с каждым переходом, такой он обладал стойкостью сердца...

...царь Федор усаживал моего султана Ураз-Мухаммеда по левую руку от своего трона и пожаловал ему чин воеводы. А так же жаловал поместьем, хлебом, солью и птицей, к тому же ведром вина доброго, вином ведра рядового, четвертью ведра заморского, ведром меда малинового и пятнадцатью ведрами медовухи. Однако ж просил меня мой султан отписать лист: Государю царю и великому князю Федору Ивановичу всея Руси холоп твой царевич Казацкие орды Ураз-Мухаммед челом бьет. Присылал ты, государь, ко мне своего государева дворянина Петра Новосильцева да с ним посла Казацкие орды Кулмагамета да на мое подворье. И как велено было мне, говорил я с послом дядюшки моего Тауекеля-царя и сговаривались мы против бухарского царя идти с огненным боем, и отпустил их к Москве в третей день. И с ними твое государева жалованье, что пожаловал ты меня, сто рублев денег. Твое, государь, денежное жалование ценю, но бью челом, верни, государь, мне девку по имени Сузге, взятую войной у Кучума-царя. Она есть мне рабыня и быть при мне она должна. Писано 29 генваря лета 7103 года.

Ответ был таков: От царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси царевичу Уразмухаммеду Ондановичу. Посылаем мы с Москвы в Казатцкую орду к дяде твоему к Таукелю-царю Вельямина Степанова. И как к тебе ся

грамота придет, и ты б тотчас написал бы грамоту к дяде своему к Таукелю-царю, что послали есмя к нему и как он у них будет и о наших делах учнет говорить и они б ему во всем верили, и тое бы еси грамоту тотчас к нам к Москве прислал в Посольский приказ к диаку нашему к Василию Щелкову. Писано на Москве лета 7103 марта в 18 ден».

Как видишь, о девке Сузге ни слова. Только шурин царя боярин Борис Годунов обнадеживал вестью, что он сам озаботился просьбой Ураз-Мухаммеда и этим полюбился моему султану...

...в войне со шведами мой султан со свойственной ему алмазной храбростью командовал полком в пять тысяч воинов и в походе русского войска на крымского хана вел за собой полк.

...и хотя мой султан Ураз-Мухаммед восьми лет лишился великого деда своего хана Шигая в смятениях междоусобных, а в тринадцать отец его султан Ондан отказался навечно от царского трона и сделался шахидом, в свои двадцать лет он все же удостоился титула хана. Государь русского Христианстана Борис Федорович по тариху в год Мыши в месяц священный Рамазан 15 дня в удел пожаловал ему Касимовское ханство с городом Касимов...

...удел, ранее всегда принадлежавший принцам Золотой орды. Слава и благодать...

...изображение престола хана касимовского Ураз-Мухаммеда я привожу в особой книге с надписями в центре: Вид престола этот.

На правой стороне мое место, как бека...

...женку кучумову Сузге царь Борис велел непременно разыскать и отдать в гарем касимовскому хану Ураз-Мухаммеду за верную службу да в знак дружбы. Однако дни проходили за днями, год за годом, повозка за повозкой мимо по тракту на Рязань, но особу ту не везли. И хотя хан Тауекель великодушно соизволил прислать из Киргиз-Казакстана племяннику его жену да родню ее с ней, Ураз-Мухаммед скучал и нравом отяжелел. Жаловался мне: – Отчего так случилось, что я блуждаю в чужом краю и души не моих врагов гублю мечом, стрелами. Отчего и ради я стал псом злобным при чужых вратах. Я любил, но почему не при моей руке моя любовь...

...отчасти я отношу это помрачение к причине пития вина всякого. Стал говорить он опасные слова мне же: – Царь Борис Годунов вовсе и не царь и веры ему нет.

К тому времени стало известно, что якобы убиенный в Угличе царевич Дмитрий жив и идет с польским войском вкупе с северцами на Москву. От него приезжали послы и сулили моему хану честь и новые земли с поселениями. Ураз-Мухаммед будучи в умопомрачении от хмельного, отвечал им, что ежели они вернут ему вывезенную из Сибири прежним воеводой бабу, дорогую для него больше чем злато, то он готов склониться к стороне новоявленного государя. Те обещали исполнить. Хан Касимовский ушел со своими людьми к царю Дмитрию. Оставаясь верным клятве данной его достойным родителям и я с ним...

...а как взяли Москву, польские лыцари сообщили: – Нашлась твоя баба в городке на Оке.

Мой хан так поспешил в уготованный поляками капкан – в тот городок, что мы, свита, и не знали. Там он и был подло убит. Я видел его растерзанное тело...

...отвечал я им твердо, что баба Сузге не есть никакой золотой сибирский истукан, а обыкновенная женщина – женка кучумова... ...спрашивают: – Ты ее видел... ...отвечаю: – Нет.

...кричат: – Так отчего врешь, пса...

Морили меня голодом в тесном каменном мешке, жгли раскаленными щипцами... Мой глаз висел, как вишня, над моим обеззубленным ртом и я его касался языком, все стараясь...

...и каждый час орут: – Отдай бабу. Как я отдам то, что нет, даже если и где-то есть... и бьют, бьют...

...был зорким маленький батыр Кутугай Ящерица, сразивший непобедимого батыра Ермака, но убоявшейся той проклятой бабы...

... а как пришел под Москву истинно православный народ и выбил проклятых латынян из Кремля, так я на радостях чуть было не крестился...

Кости моего султана Ураз-Мухаммеда, хана Касимовского, я сам упокоил на мусульманском кладбище города Касимов. На камне надпись: Сказал Господь Преблагословенный и Всевышний перед Богом Иисус то же что и Адам Адама он создал из мрака, потом сказал ему будь, и тот был Сказал Господь Преславный и Всевышний всякая душа должна вкусить смерти затем вы к нам возвратитесь Сказал Господь Преславный и Всевышний не ведает никто в какой стране и за что он умрет. Всеведущ и Всезнающ Аллах Сказал Пророк да будет над ним мир Мир сей есть поле на котором сеют семена для будущей жизни. Сказал Пророк, да будет над ним мир Мир сей падаль, а идущие его собаки Истину сказал

Пророк божий В 1019 году мусульман месяца Рамазана в 16 день скончался сын султана Ондана хан Ураз-Мухаммед Господь Всевышний да помилует его

Я же своей волей позже велел выбить с краю плиты: Мир земной должен рушиться Оставаться вечным он не может Мы чувствуем, что мир весь погибнет Всегда не будет длиться прочности в нем нет пока мы жаждем сосуд греховности Да проститься и мне

...к могиле седой странник. Не признайся он беком кипчакским Сейтеком, я не узнал бы его. Сотворили молитву. И стал он говорить, что вот уже второй десяток лет блуждает по Сибире и Руси в поисках Сузге... Тут я закричал: – Прочь от меня!

На этой страстной отповеди и заканчивается странное донельзя письмо Кадыргали Жалаири некой Мореу. Зачем оно писалось, с какой нравоучительной идеей или исповедальной целью – понять нельзя. Да и кто она такая эта Глупышка? Однако лингвистические и смысловые загадки веков, канувших в Лету, только усилили во мне тягу к ним. И хотя я не стал ученым, но люблю этак в кавалерийском мундире, но с портфелем в руке пройтись иногда по Невскому проспекту. К казачьей сабле своей думаю приобрести и профессорские очки.

О происхождении тюрского народа Казак существует множество versios, начиная от наивных сказок до вполне исторически обоснованных легенд. Одна из версий наполнена столь высоким религиозным пафосом, что оспаривать её так сразу поостережешься. Лучше просто упомянуть её без комментариев.

В конце своей жизни Пророк Мухаммад узнал от архангела Гавриила о своем скором оставлении сего тленного мира и, прежде чем отправиться на покой в вечный Эдем, призвал к себе друзей. Он поведал им о своей скорой кончине, прося прощения, если он сделал кому-нибудь из них обиду. Все плакали и говорили: «Ты друг Аллаха, мог ли ты сделать обиду!». Только один сахаба – сподвижник по имени Оксе, объявил претензию, что Пророк при осаде какого-то города ни за что ударил его по хребту. Мухаммад действительно вспомнил свой поступок и в свою очередь предложил ему свою спину. Абубакр, Омар, Осман, Али и другие святые вельможи тщетно отговаривали Оксу от его безрассудного намерения. Однако Оксе никого не хотел слушать и, при общем проклятии народа, подошел с плетью к любимцу Аллаха и просил его обнажить плечи. Пророк безропотно снял свое верхнее

платье. Оксе того и нужно было: он знал, что на спине Избранного есть божья печать в виде родинки, приложившись к которой смертный делается недоступным адскому огню. Оксе только наклонил голову, поцеловал ту печать и отошел прочь. Но за неудовольствие, причиненное Пророку Бог обрек его и его потомков жить на самых северных землях, где еще они могли пасти свои стада, дабы совсем не лишить их пропитания. Во истину, Аллах милостив, милосерд. От этого претензиционного Оксе и произошел киргиз-казакский народ.

Из преданий другого вида особенно замечателен эпос акына из тайпа Аргын, рода Атыгай и поколения Кудайберды, современника моего прадеда хана Аблая. Знающих эту эпопею теперь очень мало. Говорят, что этот сказитель в своем джире собрал все народные сказания, относящиеся к происхождению киргиз-казаков, и составил полную генеалогию ханов, затем родоначальников и так вниз по этнической пирамиде до своих современников.

Давно, очень давно, был в Туране государь по имени Абдул-Азис-хан. У него родился сын, отмеченный немыслимым числом больших родинок, названный поэтому Алаш – Пестрый. Отец его, решив, что сын отмечен какими-то темными силами, исполняя древний обычай, изгнал его в степь, лежавшую к северу от реки Сыр. Но за царевичем отправились недовольные жестокостью хана молодые люди и начали там казаковать. Храбрые и удалые батыры умножились до трех сотен, и приобрели в скором времени известность, силу и богатство. Но затем настали междоусобия, поражения от соседей и голод. Понимая, что в своем несогласии они погибнут, степные бродяги-казаки выбрали своим ханом Алаша и сразу сделались благоустроенным народом.

Далее предание говорит, что когда правили киргиз-казаками ханы Амет и Самет, то хан южной страны Хромой Тимур разгромил их улус и повесил этих двух наследников Алаша. А к киргиз-казакам направил исламских наставников машаих для распространения истинных правил веры в Аллаха.

Конечно, это только предание, передаваемое устно от отцов детям. Но, как и в любой сказке, в ней есть намек.

Отец мой сказки не любил, а к ханской родословной относился трепетно и требовал знать все имена дедов и прадедов наших без всяких выдумок и вольностей. И как только мы, его сыновья, произносили в колыбельках свои первые звуки: «А-а-а...», он уже, склоняясь над нами, добавлял: « А-а-аблай–хан! Повтори, А-а-блай!»

– Аблай!

– У-у...

– Урус-хан!

– Е-е...

– Есим-хан!

Слава Аллаху, наше родословное дерево оканчивалось Чингиз-ханом и не шло дальше в добиблейские времена. Осталось достаточно времени, что бы мы кроме имен овладели и остальными словами человеческой речи. Впрочем, надо согласиться, что такие упражнения для народа не забава.

Каждый юноша к своей зрелости должен знать minimum семь имен своих предков. На деле же киргиз-казаки помнят и десятое и двадцатое колена. А так же, что проще, свой род и тайп. Европейские ученые уже поспешили перевести понятие «тайп» на свой манер как «племя». Действительно, тысячу лет назад в наших краях жили разные племена – осколки от прежних исчезнувших народов. Их первые арабы, появившиеся в нашем краю, и назвали своим словом «тайифа». С ними – тюркскими тайпа и столкнулись, пройдя Персию, в междуречье Амударьи и Сырдарьи в X веке тюрками. И тысяча семей тюрок, кочевавших в местах между городами, Исфиджабом и Шашем, приняли ислам и признав центром мира Мекку. И с того времени была прорыта подземная дорога от туркестанских городов в том же направлении. Наверняка, ею пользовались торговцы. Святым угодникам Бога она была ни к чему. Святой Ахмед Ясави в Мекку летал на верблюде.

Мой заботливый отец преподавал свои домашние уроки истории, прежде усадив меня на кованный сундук, полный старых книг и рукописей, видимо предполагая, что знания и из него каким-то чудесным образом так же переберутся в мою вертевшуюся во все стороны голову. Поначалу я тоже надеялся на это, но пришлось книги из сундука достать и банальнейшим образом читать. А узнал я из них, что древние историки старались не обращать на киргиз-казаков никакого внимания, что и вызвало справедливое негодование почтенного описателя моей родины, господина Левшина. Он заметил, к примеру, что историк Абульгази хотя бы в знак благодарности за то, что киргиз-казакский хан Есим три столетия назад укрыл его от врагов в своей столице – Туркестане, мог бы сказать что-нибудь подробное и обстоятельное о его стране, а не несколько брошенных вскользь фраз о правивших династиях Киргиз-Казакстана. Но сие и не удивительно. Города, заселенные большей частью уйгурами и отюреченными арабами с таджиками всегда высокомерно относились к кочующим народам, не признавая за ними

ни элемента культуры, ни большой значимости для судеб мира. Ханов же кочевых орд, становившихся надолго хозяевами населения, к которому принадлежали придворные писаки, сочинители своих исторических трудов на фарси и арабском языке, нисколько не смущаясь, величали достойнейшими монархами и героями своей цивилизации. А о тех, кто снова отправлялся кочевать в степь опять или ничего или через губу, не задумываясь даже над фактами.

Песок подземного караванного пути и не прохладен и не источает жар.

Первым ханом киргиз-казаков был Джанибек Сайид Счастливый из фамилии Джучи-хана, сына Чингиз-хана. Если ехать на северо-восток от гор Алатау, то вы найдете глубокие следы в земле. Они остались от прорытого по велению хана Джанибека Счастливого для охоты на куланов. Говорят, будто бы одно преследуемое охотниками стадо сманило и увлекло за собой лошадь, на которой ездил маленький ханский сын, и сбросило в этот ров. Мальчик погиб. Тогда взбешенный хан загнал в него всех джунгарских куланов. Только один жеребец с кобылкою спаслись в степях Сары-Арка и завещали своему потомству не ходить в эту страну.

Святой Ходжа Ахмед Ясави, прожив до 63 лет – столько длилась земная жизнь пророка Мухаммеда, устыдился своего долгожительства и сошел в подземную мечеть и больше, проводя все время молитвах, не видел солнца. Без солнечного света сидеть под землей тяжко, но есть и хорошая сторона моего пребывания в подземных переходах – никто не мешает думать и вспоминать. Хотя и воспоминания мои не очень то забавны и интересны. Хотя, воспоминания ли это? Иногда мне кажется, что я проживаю заново жизнь какого-то моего далекого предка.

Большинство из сыновей хана Джанибека погибло в битвах, но к счастью один из них – Касым, дожил до преклонных лет и сам пошел за куланами, попутно расширив границы доставшегося ему в наследство ханства. А сдвинул он пределы своего владения, прежде скромно пристроенного ханом Джанибеком лишь по берегам реки Шу, через весь Туркестан с десятками городов и крепостей при поливных пашнях по Амударье до Арала, а на севере за Балхаш и горы Улы-тау.

Заилийским краем при первом знакомстве русские назвали длинную полосу земли, лежащую между рекой Или и снежным хребтом Кунгей-Алатау, слегка расширяющуюся к западу. Полоса эта имеет большой склон к северу и прорыта множеством рек, сбегающих с гор Алатау, и все они без исключения впадают в Или – одну из самых больших рек в Киргиз-казакской степи.

Весенний разлив Или бывает не ранее марта, а к осени она так мельчает, что образует броды, удобные для прогона скота. Один из них замечателен историческим проходом бежавших из России калмыков, через второй идет караваны по пути из Ташкента в Кульджу и на Семипалатинск, названном Джанай-жол.

С октября по всему протяжению Или останавливаются на зимовку киргиз-казакские роды, занимающие оба берега, начиная от китайских пикетов до русского укрепления при устье Талгара. Ниже в песках и саксаулах зимой пасутся их лошадиные табуны. При сходе снегов с подножья Алатау киргиз-казаки выступают и на эти урочища, где начинают пахать пашни. Пахотные места киргиз-казаков лежат в десяти верстах от гор, где берега речек не так круты и позволяют им удобно выводить воду арыками на свои пашни. Урожай здесь бывает еще обильней, чем на Копале, яблоки здешние даже в диком состоянии мало уступают садовым кульджинским, как на вкус, так и величиной своей.

Зима 1853 года, первая зима, проведенная русским отрядом за Или, была самая жестокая, какой не припомнят аксакалы. Это дает повод местным тюркам очень оригинально думать, что русские так сроднились с зимой, что не могут с ней расстаться, и таскают ее с собой, куда ни придут. По крайней мере, они говорят, что со времени основания казаками крепости Копал там зимы стали холоднее и снега глубже.

Заилийский край занят двумя главными родами Большой орды: албанами и дулатами с частью чапраштов, никогда отсюда не отходивших. Дулатовские киргиз-казаки превосходят все другие роды этого жуза как своей многочисленностью, так и воинственностью и богатством.

Древние насыпи и курганы в Заилийском крае свидетельствуют о древнем присутствии многих народов. Уйсуни, уйгуры, буруты, джунгары сменяли друг друга. Последние были завоеваны китайцами в 1755 году, и все их земли Китайская империя взяла в свои пределы. Хан Аблай тут же двинулся на восток и после продолжительной, но удачной борьбы вытеснил китайцев за Малый Алатау, и киргиз-казаки вновь заняли свои исконные места.

С 1824 года эта область считалась уже под покровительством России, но мандарины не переставали посылать в Заилийский край свои отряды для сбора ничтожнейшей дани. В 1840 г. они потерпели еще одно горестное и обидное поражение от киргиз-казаков при урочище Тирен-Узек. В это же время с юго-запада с еще большим корыстолюбием беспокоили Большую орду ее единоверцы кокандцы, считавшие своим долгом собирать с нее зякат. По всему видно, что это обременяло киргиз-казаков и кокандцам нелегко было принудить ордынцев к платежу подати. Одним из первых стал разрушать кокандские замки султан Рустем. А Тойчубеково укрепление, восстановленное в новейшее время для сбора все того же зяката, опять разрушил казачий полковник Карбышев. Сидевшие в нем 50 сартов вместо охраны караванов сами занимались грабежем купцов. Теперь можно надеяться, что страна эта, через которую идут важнейшие пути в Кульджу, Кашгар и к горным киргизам, в скором времени свободно зацветет своею торговлей.

Сбор податей еще продолжался кокандцами в крепости Аулие-Ата, но уже только у реки Чу. О возможных новых военных действиях против Кокандского ханства, теперь уже со стороны Заилииского края, говорили давно. Впрочем, малая война между киргиз-казаками Большой орды и войсками кокандского хана шла уже давно с переменным успехом. Но особенно об этой проблеме заговорили после того, как известные батыры Суранчи и Супатай захватили в плен пишпекского коменданта Алишера-датха, естественно, подданного хана, и передали его русским. Теперь он сидит в Омске и утверждает, что он со спутниками как раз-таки ехал к русскому царю посланником, а киргиз-казаки устроили над ним произвол. Быть может, это и так, однако в любом случае лучше было бы прежде начала похода отпустить Алишера и его спутников домой, не обращая на него особенного внимания. Это имело бы больше нравственного значения, чем речи, которые он выслушивает в Омске. К тому же кокандцы были все убеждены, что этот комендант будет отправлен скоро в Пишпек на том основании, что под Ак-Мечетью все их пленные выпускались очень быстро. Им казалось, что русским нечего держать Алишера или другого какого-нибудь среднеазиатца долго у себя. Для кокандцев личность Алишера только фигура, и если бы он совершенно погиб, то и тогда это не явится для них большой потерей. Между тем великодушное сознание нашего превосходства нравственно подействовало бы гораздо благодатнее на кокандцев и киргизов, чем наш страх выпустить Алишера-датху. Очевидно, что кокандцы и в Пишпеке и в Аулие-Ате ждали русских, идущих взять эти крепости, якобы числом в 5

тысяч человек. Народная молва в Кокандии представляла всех наших воинов в сажень ростом и одела их в непроницаемые для пуль латы. Здесь всякое обыкновенное происшествие принимает фантастический характер, количественно увеличиваясь в прогрессии, равносильной действию сильнейшего микроскопа. Войско это должно было идти под начальством старого вождя с одним глазом на лбу. «Кто это мог быть?», – думали тогда все.

Последний вопрос я задал генерал-губернатору Западной Сибири Дюгамелю, когда по его просьбе составил для него небольшой обзор о современном состоянии Кокандского ханства и его границах. Он неохотно отвечал: полковник Черняев из Санкт-Петербурга.

Так вот кому предстояло после султана Рустема и полковника Карбышева оторвать еше один кусок от пирога кокандского хана в нашу пользу. Дюгамель так же довел до меня, что этот Черняев просил его поговорить и со мной о моем участии в его миссии. В отличие от своего простецкого казачьего коллеги Черняев сделал все, чтобы в его походе участвовало не меньше знаменитостей, нежели у Наполеона в его Египетской экспедиции (ну не могут наши доморощенные покорители Востока не схлестнуться со славою героев прошедших времен!). Впрочем, тогда я думал, что зря так злословлю. Черняев оказался человеком благообразным, и на неизведанный Восток действительно неплохо было бы взглянуть глазом и художника и археолога. И положение мое было такое, что мне не приходилось особенно выбирать, и я выехал к месту дислокации черняевских пехотных частей и киргиз-казакской вооруженной милиции 25 марта 1864 года, хотя еще неделю назад думал ехать в Петербург, куда уже об этом написал друзьям.

Зиму я прожил в Омске, здоровье мое поправлялось неровно, однако вел я себя не совсем хорошо: играл в карты, таскался по клубам и шампанское стал пить. В четыре месяца проиграл около трех тысяч и бросил лишь оттого, что денег нет, а просить у отца еще было совестно. И вот тогда, как проштрафившийся офицеришка, я поехал от отчаянья на войну пожинать победоносные лавры, а если честнее – за чином. Ехал с надеждой оттуда через Ак-Мечеть проскочить на Оренбург, а потом уже, несмотря ни на что, в Петербург.

Смущало только одно: в верных подданных кокандского хана ходило и немало киргиз-казакских родов и, говорили: неудовольствия между зачуйскими и илийскими кочевниками уже начались, и все сношения разорваны, особенно после пленения дулатовцами и чапрашты того самого Алишера. Не хотелось бы влезть в спор между своими и особенно против них.

Коканд разделяется на несколько наместничеств, или военных округов. Правители этих округов – хакимы, бывают вместе с тем и главными начальниками военных сил, расположенных на границах их ведомств, и получают свои места в аренду. Доходы они получают бесконтрольно, и сами довольствуют свои войска жалованием и фуражом. Хану отправляют ежегодно известную часть от доходов и дары от своего кармана.

Тайпы киргиз-казаков кочуют в наместничестве Ташкентском, среди них и рода Средней орды под предводительством сыновей мятежного султана Кенесары, моего, что становилось особенно неудобным, дядюшки.

Вообще тамошних киргиз-казаков и каракиргизов-бурутов можно разделить на совершенно подданных Коканда и не признающих его власть. Если таджики и другие оседлые народы Кокандского ханства по преимуществу занимались торговлей, ремеслами и хлебопашеством, то кочевники были воинами и, следовательно, составляли самостоятельный элемент в ханстве. Особенно силен было киргиз-казакский тайп кипчаков, он узурпировал и самые важные государственные должности, чем вызвал к себе ненависть со стороны всех остальных народов. Наконец, воспользовавшись несогласием в стане кипчакских старших офицеров, хан Худояр в начале 1853 года с войском в 60 тысяч сабель между реками Нарын и Сыр разбил кипчакский военный корпус, и его остатки по его указу подвергались смерти везде, где только показывались.

Освободившись от влияния кипчаков, этот хан первым и принялся разваливать Кокандское ханство, безумно увлекшись забавами и мистицизмом. Во дворце своем он задумал читать лекции о мусульманском праве и об обрядах, а в походах запрещал своим воинам курить анашу, сгоняя их всех вместе на каждую молитву. Везде он устраивал арены для боя животных (собаки, свирепые самцы верблюдов, куропатки воспитывались в его дворцовом зверинце, а любимых злых кобелей он выписывал даже из Китая). Делами государства управляли дворцовые чиновники, а у самого хана Худояра появилась новая страсть к браку. Какой-то мулла сказал ему, что совершить тысячу женитьб дело не менее важное, чем покорить страну, где были бы все семь климатов. И он немедленно приступил к сему «великому» делу, за весьма короткое время, женившись на 80 девственницах.

Стоит ли удивляться, что хан таким своим беспечным поведением стал навлекать на себя народное неудовлетворение. Но меня интересовало больше отношение к нему со стороны моего народа, а оно становилось с каждым годом все более нетерпимым.

Один только Ташкентский правитель, молодой человек, служивший когда-то доверенным у богатого купца и сделавший карьеру исключительно благодаря своей красивой наружности, предпринял два вторжения в наши границы: одно на правый фланг, на реку Сарысу, а другое со стороны Пишпека на Большую орду в Заилийский край. Он окружил себя великолепием, которое превосходило двор самого хана, и для его поддержки наложил на кочевой народ чрезмерно обременительные налоги. В 1858 году, когда этот красавчик повесил нескольких почтенных биев Большой и Средней орд, киргиз-казаки отказались ему повиноваться и с оружием подступили к Аулие-Ате, Чимкенту и другим городам. Посредником между кокандским ханом и восставшими киргиз-казакскими султанами и батырами стал тогда известный минбаши Малибек. Посол хана удовлетворил ультимативные требования киргиз-казаков, тот правитель Ташкента был смешен со своей должности, и вместо суда получил от своего хана новое высокое назначение. Это окончательно возмутило всех, прежде всего самого Малибека. Малибек отрекся от Худояр-хана и, обратившись с деньгами к купцам Маргелана, а за воинами все к тем же киргиз-казакам, лихо сверг хана, так много сил отдавшего девственницам своего государства, и сам сел царствовать в Коканде, Первое время своего правления Малибек ознаменовал усердной деятельностью и справедливостью. Он даже оплатил личные долги Худояра, а взятые ханом-сластолюбцем вещи из казны, вернулись обратно в дворцовые сундуки. Однако в нем сохранилась, между всем хорошим, одна поразительная сторона, заимствованная им, как кажется, у всех среднеазиатских эмиров – это коварство и двуличность. Он силился поддерживать миролюбивое отношение с соседями, но ни Россия, ни Бухара, ни Китай ему уже не верили.

Прибыв в расположение войск, я сразу, к великому своему неудовольствию, был введен Черняевым в его блестящую свиту из ученых и литераторов. Позже, признаюсь, несколько успокоился, ближе познакомившись с теми, кто бы призван освещать этот не имевший аналогов в мире «величайший» поход. Это оказались действительно люди умные и не лишенные талантов. Чего стоил хотя бы один тобольский художник Знаменский, сотрудник газеты «Искра», знавший и моего отца. Михаил Степанович организовывал выставку киргиз-казакских предметов в Санкт-Петербурге при каком-то конгрессе, а отец мой в чем-то содействовал ему.

Этот Знаменский, доставил, пожалуй, мне больше всех хлопот своей неуемной любознательностью. Ему мало было срисовывать каждое чуть

заметное строение или всякий приятный пейзаж, так он при этом обязательно умудрялся оказаться рядом со мной и непременно приставал с вопросами, прескверными уже оттого, что заставляли непременно при ответе задуматься.

А надо сказать, тогда мне было совсем не до бесед.

С некоторого времени я стал пренеприятно осознавать, что лодка, в которую я чуть ли не с колыбели был пересажен, плывет помимо моей воли и желания. Я незаметно для себя потерял весла из-за, ну, скажем, подчиненности армейскому племени или из-за принадлежности к избранному сословию, да мало ли почему! Ничего катастрофического в этом нет, плывя в русле, я и без руля и парусов стану генералом или самым наиглавнейшим султаном (имею в виду административный чин), но вот так и плыть меж двух берегов с невозможностью причалить по своему хотению хотя бы к одному краю, признаюсь, стало просто тошно, да и скучно. Вялость тела и апатия мыслей стали моими спутниками. Желания не было ни говорить, ни писать, ни знакомиться еще с кем-то или с чем-то.

У подошвы Александровского хребта в самом начале военного продвижения солдаты начали закладывать первое Зачуйское укрепление, что очень удивило киргиз-казакских милиционеров. Они группировались подальше от лагерей и бурно толковали между собой при этом восклицая недоуменно и возмущенно: «Орыс!..» А один бравый парень в малахае обшитом железными пластинками, лихо выкрикнул: «От такого соседства держи топор под подушкой!».

– Кажется, поминают нас, – начинал Михаил Степанович с интересом, который невозможно было игнорировать. – Я отдал бы сейчас левое ухо, лишь бы узнать, о чем они так взволнованно шепчутся, султан?

– Так.., – отвечал я. – Пытаются постигнуть психологию дружественного им народа.

– Вот вам мое и правое ухо, режьте, но скажите!

Я, оглядывая некогда сказочную землю этих давно обжитых человеком мест, сам между тем впал в недоумение:

– Тут были сады. Все вырубили, даже пенька не осталось.

– Да, только трава с красным маком и незабудками – пейзаж уже приевшийся... Но все же, султан, о чем говорят ваши казаки?

Я отвечал неохотно, разглядывая остатки глинобитного Токмака и полуразрушенную башню, у которой там и сям валялись влажные лоскуты войлока да расколотая деревянная посуда:

– Они не понимают, любезный Михаил Степанович, почему русские два года ходили по этим местам и только разоряли городки, а теперь сами строят там же.

– Вот как! Интересно. Я не знал... Можно было бы и не ломать.

– И я не знал, что еще более интересней, любезный Михаил Степанович.

Выехавший из узких Токмакских ворот штаб-офицер Добровольский приблизился к нам и невесело озирался вокруг. Не удовлетворенный моим ответом, художник громко обратился и к нему:

– Скажите, пожалуйста, что за цель была разрушать Токмак и вырубать сады?

– Та же самая, что и в теперешнем походе, – ответил тот, ловко перескакивая на своем высоком скакуне через разделявший нас Токмакский крепостной узенький ров – Но не это должно занимать наши умы, господа, – загадочно добавил штабной офицер.

– А что? – не преминул тут же спросить жадный до всего и бывшего и предстоящего Знаменский.

Добровольский подтянул уздечку, заставив своего коня, пританцовывая, остановиться. Затем, предложив нам свой портсигар и прикурив папиросу, принялся весело размышлять:

– Меня, признаться, больше беспокоит развившаяся у всех нас воинственность, наверное, после надоевшей всем долговременной стоянки. И прежде всего у нашего бравого полковника. Минуты, господа, не пройдет, как он хватает за зрительную трубу и, кажется, уже сейчас готов скомандовать: «Всем орудиям, пли!». Вы взгляните, господа, на вон ту старуху.

У первых скошенных ворот виднелась сухая фигура слепой Бабы Яги. Клочки ее седых волос да белая тряпица на голове отделялись от темной стены, прочее же – ее полунагое бронзовое тело и разодранное рубище – было одного цвета со стеной.

– Всякий, понимающий киргизский язык, узнает от нее, что четыре дня назад все жители Токмака, узнав, что идут русские, убежали в Аулие-Ата, бросив и свои стены и все на произвол судьбы. Вот вам и вся война с Кокандом. Вот вам и «все орудия: пли!». Но боюсь, что это «пли!» по старухам и детям непременно состоится! – закончил свой монолог Добровольский, вызвав к себе своими весьма и весьма неглупыми, но черными размышлениями симпатию.

Я предложил вернуться в лагерь, но любопытный художник стал настаивать на продолжении поездки:

– Вы были там, в крепости, господин Добровольский? Скажи же султану, что на это очень увлекательно взглянуть. Я зову, а он никак не желает.

Штаб-офицер отбросил в сторону докуренную папиросу и хмуро проговорил:

– Вам не достаточно зрелища рваных циновок и арбы со сломанным колесом, брошенных бежавшими от наступающих цивилизаторов жителями этого райского уголка? Что ж, рекомендую проехать и в саму крепость. Вы увидите там несколько живописных трупов.

– Кто же их убил, этих несчастных? – возмутился художник, хотя видно было по его лицу, что он готов поехать смотреть, скажем, для впечатлений и композиции будущего полотна «Взятие Токмака».

– Не скажу, – еще более тоскливей произнес Добровольский. – Были ли это больные, брошенные в поспешном бегстве и умершие от голода, или убитые – неизвестно. У одного нет головы, у другого объедена зверьками рука, в третьем копошатся черви. Однако, скоро обед, господа. Так что лучше подобные вещи не рассматривать, чтобы не портить аппетита.

И мы двинулись мимо городских ворот, у которых начальством было поставлено два казака в предупреждении расхищения жалких остатков, какие еще могли иметься в городке. При нашем приближении они сочли долгом лениво крикнуть вниз на солдат, забравших остовы чьей-то юрты на дрова:

– Не трогайте, ребята, не приказано.

Ребята посмотрели на них и потопали со своей ношей дальше восвояси. У этих ворот на маленькой платформе, словно на пьедестале, сидел тоже брошенный на произвол судьбы сухонький мальчик с большими черными глазами. Он мельком взглянул на нас и снова принялся с жадностью за сухари, данные ему солдатами.

Солдаты, уроженцы коренных русских губерний, как мне говорили, считают долгом принимать на свое попечение подобных подкидышей, и на привалах иной раз лишают себя последней котомки, чтобы уложить бедняг по-мягче. Если это так, то они очень мало в этом случае походят на казаков наших, киргиз-казакстанских линий.

– Аман, – крикнул Знаменский.

– Аман, аман, – весело заговорил тот в ответ на приветствие, и, колотя себя по голому пузу, заулыбался.

От края его покрившегося рта потекла густая слюна с хлебным крошевом. Штаб-офицер, предпочитая больше поглядывать на белевшие вдали горы, сказал, теперь совсем уж уныло:

– Мальчуган – идиот. Плетется за нами третий день, – и замолк, притрагиваясь пальцами к своему виску.

Видно, его, как и меня, мучила головная боль. Поторопив своих лошадок, мы, никуда не сворачивая, поехали в лагерь, чтобы утолить свою жажду горячим чаем. В дороге Знаменский, чувствуя вину за свое любопытство, ввергнувшее всех, как ему теперь казалось, в мрачные мысли, теперь пытался отвлечь нас от них:

– А мне муфтий рассказывал о той башне прелюбопытную легенду! Давным-давно тут был город...

– Верно, был, однако, не очень-то давно, – заметил Добровольский все так же кисло.

– Однако, господа, послушайте! И жил тут бай, а у него родилась дочь красавица, ну он и спросил у ученых мужей, что с ней будет? Те сказали, что умрет она от каракурта. Ну, бай и велел построить высокую башню и устроил там жить свою дочь. Все обязаны были строго следить, чтобы она не сошла с башни на землю. Только не помогло это. Принесли ей раз плодов, да недосмотрели, а там был каракурт, укусил ее, и она умерла. Этот сюжет может быть интересен для писателя, если вдуматься, то и в киргиз-казакских историях есть некий смысл, не так ли, султан?

– Без сомнения, любезный Михаил Степанович, – решил я подразнить художника. – Если, правда, допустить что и мы способны что-то осмысливать. Отец-бай засадил в башню свою дочь, опасаясь за ее девственность. И, видимо, на это были причины. Соблазнитель же, выведенный в облике мерзкого паука, не отступился. Заметьте, что он притаился в блюде с фруктами, символизирующими соблазн, сладость и сладострастие. И вот он падает на обнаженное тело девицы, замершей в истоме. Вам непременно, любезный Михаил Степанович, надо после завершения работы над полотном «Взятие Токмака» написать картину, нечто вроде.., – и здесь я назвал все так, как назвал бы рядовой солдат. – И она затмит собой «Данаю» Рембрандта.

– Что вы такое говорите, султан? – надулся прямодушный Знаменский.

– Это, однако, обидно.

– Нисколько, любезный Михаил Степанович.

– Можете не извиняться.

Копившееся весь день во мне раздражение от всех этих героических эпизодов нашего «великого» похода искало выход, и ничего с собою я сделать не мог:

– Можно каракурта изобразить с черными кавалерийскими усами... в этаком сатирическом духе, – и добавил совершенно серьезно. – Если этот поход изображать, то уж только так, как на лубке.

Впрочем, зря я так. Художник, любивший приключения, меньше всех, пожалуй, виноват во всем происходящем вокруг.

– Совершенно верно! – воскликнул, снова воодушевляясь, Знаменский. – Именно сатирой надо все это изобразить! Этот поход мне видится уже преступным!

Подъезжая к лагерю, можно было увидеть подле него местечко, представляющее собой некогда садик, обнесенный глиняной стеной. Теперь тут желтеют только два деревца. Остальные вырублены еще в прошлом году для поправки крепости, разрушенной одним из отрядов войск Его Императорского Величества. Там стоит полотняная палатка, прикрывающая холмистую насыпь. Это могила знаменитого батыра Джан-Карача, дожидающаяся, когда над ней возведут каменный свод.

Джигиты из милиции спешились здесь и, отложив оружие в сторону, совершают молитву. Но не праху батыра, а двум этим чахлым деревцам, увешенным белыми тряпочками. Ведь по древним преданиям в этом садике сидел, отдыхал и стриг себе ногти святой Аулие-Ата.

Как все просто и в то же время возвышенно и мудро: люди остановили бег своих коней и совершают намаз там, где сводом мечети им служит небо, а стенами – горы. Разве не стоит совершенно искренне позавидовать им? Не нам, прочитавшим кучу философских книжек, а этим кочевникам известна реальная гармония жизни. Только они еще способны верить неписаным заповедям религии сердца. Потому что живут на родной земле и не мыслят жизни вне ее границ, а значит, любовь к ней и есть их вера. Вот тогда все неразрывно: Бог и человек, истина и дело, совесть и поступки.

Мне кажется, самым страшным итогом жизни человеческой является открытие того, что именно с тебя началось иссушение религии сердца.

Мы подъехали к палаткам и увидели солдат и певчих, собравшихся вместе. Полковой поп в своем казинетовом полукафтане и серенькой шляпе все осведомлялся, не проснулся ли наконец полковник.

– Хочется отцу духовному сегодня молебен отслужить, – заметил штаб-офицер Добровольский, снова закуривая свою папиросу, и добавил он неизвестно зачем. – Очень кстати.

25 мая мы вышли к Мерке, к первой не разрушенной крепости на нашем пути к Аулие-Ата.

Знаменский поспешил сравнить Мерке со средневековым феодальным замком. Зубчатые стены, угловые башни действительно напоминали нечто подобное, но все мы прекрасно знали, что собою представляют эти глинобитные строения, возведенные во времена Чингисхана. Хорошему молодцу раз упереться плечом в эти стены, и останется разве что столб пыли.

С утра мы в зеленом шатре ожидаем начала исторического военного совета. Штабные разместились около длинного стола на том, что Бог послал: ранее пришедшие сидят на складных стульях, опоздавшие садятся или на бочонки или на пустые ящики с надписью «киевское варенье». Полковника все нет. Гораздо раньше пришел даже известный своей любовью поспать Знаменский. Он устроился подле меня и принялся меня же укорять на правах давнего приятеля моего отца:

– Вы мою персону совсем избегаете, господин хороший. Это не по-товарищески. Вы обещали зайти за мной.

– Помилуйте, Михаил Степанович, вам, художнику, совсем не будет интересно здесь. Впрочем, я заходил за вами. Но ваш денщик Алексей Федорович, как вы его изволите величать, наотрез отказался будить вас. «Извольте, говорит, будить сами, я не могу, как же я буду будить, ведь, они благородные». Я изумляюсь: «Братец, говорю, а разве благородных не будят?».

-И что же вы?

– Он так был непоколебим в своем убеждении, что я и сам, признаюсь, засомневался: можно ли будить благородных? И не рискнул.

Знаменский рассмеялся, однако укоряющего тона не оставил:

– Я был уверен, что вы отговоритесь, султан. Человек вы не злой, но ужасно хотите казаться таким. Как все же вы разнитесь с батюшкой своим. Верно он говорил, вас, султан, наш образованный брат испортил, – и смутился. – Впрочем, извините, совсем не о том хотел говорить.

Офицеры и господа ученые за столом, нисколько не обратив внимания на вошедшего художника, беседовали о своем, и речь их из повествовательной перешла скоро в полемическую.

– Это слово не русское, прежде оно не употреблялось и теперь не употребляется в языке, – слышалось с одного конца.

– Господи! Опять что-то новое, – произносится с другого. – Право, и в университет ходить не стоит, за один поход энциклопедистом станешь.

– А употребляют ли это слово московские просвирни? Они утверждают, что только от них можно услышать чистый язык.., – прорезывает общий хаос третий голос из центра.

Художник снова склонился ко мне и отвлек мое внимание от общего разговора:

– Я к вам собственно с вопросом... Вчера на марше я свернул в сторону за версту... помните, день оделся в какую-то мрачную одежду, солнца нет, по небу быстро летят клочья серых туч, и растянувшийся наш огромный отряд с пушками, верблюдами и волами должно быть казался очень грозным... Я теперь понимаю, почему местные жители так отчаянно бегут от нас, лишь завидев издалека...

Мне еще нужно было просмотреть пришедшие с вечера штабные бумаги, и я прервал праздную речь восторженного художника:

– Так в чем же состоит ваш вопрос, любезный Михаил Степанович?

– Я и говорю, отъехал я посмотреть на одиноко торчавшее священное дерево, все увешенное мелкими подношениями, но по дороге одна муллушка заставила меня остановиться и срисовать ее.

– Извините, Михаил Степанович, – снова перебил я его. – Что заставило вас остановиться?

Знаменский тоже не понял меня, призадумался, а потом, сообразив, еще азартнее стал объяснять:

– Ах, да... Муллушка – это здешний могильный склеп.

– Мола, – поправил я, хотя знал по давнему опыту, что такие вариации без толку подправлять.

– Конечно, молушка. Она походила на небольшую церковь с легким куполом, с разными украшениями над дверьми и ярким фантастически изящным орнаментом изнутри. Войти в такую молушку в жаркий день – истинное облегчение. Так вот, в ней я встретил под куполом ряд нарисованных человеческих фигур, сражающихся между собой пиками. Затем шли караваны зеленых верблюдов и даже женщины, подносящие кубки наездникам. Рисунок первобытный, что-то среднее между рисованием ребенка и нашими суздальскими росписями. Каким это образом попали в молушку изображения людей, когда у мусульман это строго запрещено?

– Ну киргиз-казаки только слова, что мусульмане, даже я их мусульманее, – отвечал я ему легко на вопрос, на который давно сам искал и не находил более-менее правильную гипотезу.

Знаменский задумался над моим ответом, запутанным в достаточной степени, чтобы серьезный человек мог над ним поразмышлять от души, а отвечавший мог бежать от него. Но куда бежать?

Общий спор и шум поутих и оказалось, что ученая свита нового завоевателя Востока говорила о слове «барымта».

– А вот мы спросим у султана. Господин штабс-ротмистр, – раздался крик. – А каково ваше мнение о происхождении слова «барымта»?

Все взоры обратились на меня и пришлось отвечать, снова прикинувшись всезнающим мужем, да не привыкать, коли всем так этого хочется.

– Само слово «барымта», я думаю, чуждо великорусскому языку хотя бы потому, что это явление чисто тюркское и допускается только нашими законами. Это не более как угон скота у провинившегося, но не желающего каяться хозяина. Нечто вроде народных судебных исполнителей. Но можно предположить, что у слов «барымта» и барышничать «один корень «бар», что переводится как «есть, взято». Не исключена и связь между «барышом» и «борышом» – долгом.

Снова поднялся хаос голосов. Ласточки из встревоженной крепости, нашедшие с ночи штабной шатер вполне удобным для себя и начавшие было лепить свои новые гнезда на его подпорках, испуганно разлетелись в разные стороны.

– Нет, как вам, господа, это правосудие самовольными действиями! Да творящих такое правосудие нагайками надо сечь и розгами следует драть! – стало раздаваться теперь с двух краев стола.

– Разумеется, против этого взгляда на вещи спорит нельзя, оно существует у многих еще, вот, например, у плантаторов. Но я должен заметить, что у киргиз-казаков телесного наказания не существует и не существовало, – неслось другого.

– Ну, вот вещь! Это новость!

Ласточки попытались возвратиться, но хор стал таким громким, что они совершили облет над нашими фуражками и исчезли совсем.

– А если теперь существует в степи культ нагайки, то он внесен нами, – продолжал новый оратор, выдержав очередной залп голосов противников.

– Ну да, сказать вы можете, докажите!

– А в доказательство я вам укажу на приказ областного губернатора – генерала Клейста. В нем меж всяких проектов об улучшении быта кочевников есть и о нагайках.

Здесь ко мне вновь склонился художник и тихо, дрогнувшим голосом рассказал то, что меня просто взбесило:

– Вы помните, султан, того мальчишку-идиота? У Токмакской башни? Он шел за войсками, и солдатики его подкармливали, а вот казаки на своем мудром совете решили, что он только притворяется дурачком, а на самом деле лазутчик, и пришибли насмерть.

В эту минуту в штаб явился и наш главнокомандующий – полковник Черняев. Разговоры разом закончились, но многие были еще так разгорячены, что еще некоторое время с величайшим недоумением молча взирали на человека с полным на то правом прошедшего между ними с видом римского консула и неприступно вставшего у торца стола.

Черняев, нисколько не смущаясь тем, что битый час заставил стольких людей ждать себя, как истинный полководец склонился над расстеленной на столе картой и сурово проговорил:

– Доложите дислокацию противника, господин штабс-капитан.

К карте подошел хорошо знакомый уже мне Добровольский и браво доложил:

– В крепости Аулие-Ата по последним сведениям 1000 человек гарнизона, сколько киргиз-казакских джигитов – неизвестно. Вооружены кто чем, у коменданта только 30 ружей, две пушки, по нашим сведеньям вот такие, – офицер показал руками величину в аршин. – Одна треснувшая, горохом не выстрелишь.

Черняев нахмурился то ли от грозного числа кокандцев, то ли от последней фразы господина Добровольского. Возможно, последовал бы выговор, но тут в разговор на непринужденной и товарищеской ноте вступил зоолог и горный офицер Северцев:

– Между прочим, господа, жители Аулие-Ата уверены, что царь русский разрушать Аулие-Ата не позволит, точно так же как и Туркестан. Придут-де русские, как в прошлом году, посмотрят и уйдут. Действия они наши считают совершенно противоправными и послали посольство с жалобой к оренбургскому генерал-губернатору. Полковник сердито взглянул на Северцева и недовольно спросил:

– Откуда это вам известно? Что за чушь!

– Как откуда? Об этом толкует каждый встречный киргиз.

Наступило молчание.

Удивительные метаморфозы случаются с людьми. В самом начале экспедиции Черняев представился мне человеком отменных для полковника качеств. Был в меру строг, однако не был лишен и либеральных черт, по крайней мере, позволял собеседнику высказываться на любой предмет и в любом ключе. Любил порассуждать на отвлеченные темы и подчеркивал, что наша миссия – это прежде всего братская помощь страдающим народам. Теперь же он выглядел просто самодовольным солдафоном и, кажется, гордился этим. Бедняга, видно, и он заразился скоропалительной болезнью имя которой «завоевательство», а симптомы ее, как известно, весьма дурны.

Черняев откинулся от стола, прогнулся спиной и, – Бог мой! – заложил совсем по-наполеоновски руку за отворот кителя.

– Штабс-ротмистр, – обратился он ко мне, всем видом показывая, что замечание о каких-то попытках аулие-атинцев закончить дело миром его совершенно не касается. – Вы разобрались с письмами?

Я, особо не выбирая из пришедших бумаг, прочитал одну – письмо манапов дикокаменных киргиз:

– Услышали мы, что идут русские, и просим принять нас в подданство царя белого, желаем всю жизнь есть соль царскую. Мы прежде были подданными хана и ели его соль, но власть хана ослабела, просим охранять наши пашни от потравы. Пашни царские и скот наш – скот царский. Если мы будем хорошими подданными, то жалуйте нас, коли худыми, то наказывайте.

– Знаю я этих пройдох. Ни им, ни кавказцам веры нет. Только стремительное наступление укрепит наше положение в этом крае! – воскликнул грозно Черняев.

– И все же, – возразил, стараясь сдержать голос, – вся наша политика на мусульманском Востоке до сих пор держалась на добровольных начинаниях. В российское подданство киргиз-казакские и каракиргизские рода и ханства вступили путем мирных договоров, и за какие-то полвека без единого выстрела мы установили новые границы чуть ли не на Памире.

Черняев, словно возжелав немедля сам удостовериться наличии границ на Памире, схватился за свою смотровую трубу, однако, к нашему удивлению, принялся использовать сей тонкий оптический прибор противно его прямому назначению.

– Полвека! – вскричал он, размахивая трубой, как дубинкой. – Как легко вы, султан, распоряжаетесь временем!

– Так же легко, как другие, намерены распорядиться судьбами целых народов.

Наш наполеончик побагровел лицом и, кажется, надумал замахнуться и на меня своей трубой.

– Вам следовало бы подумать...

– Что я и делаю, но, кажется, один.

Черняев смог и на этот раз сдержаться и, оглянувшись на внимательно следивших за нашей дискуссией офицеров и ученых, симпатии которых явно были на моей стороне по многим на то причинам, как человек не глупый, успокоил в руке смотровую трубу и смягчил тон:

– Мы в походе, а в бою часто не до взаимных упреков, штабс-ротмистр...

– Господи, какой ещё бой? – со смешком на устах воскликнул наш любезный Михаил Степанович.

В эту минуту раздались орудийные залпы. Я со всеми офицерами вскочил и с недоумением огляделся. Быть того не могло, чтобы кокандцы вдруг так близко могли подойти к нашему лагерю, да и не было у них никакой полевой артиллерии. Лишь один Черняев сохранил спокойствие и на случившуюся между нами тревогу ответил отеческой улыбкой, снисходительно промолвив:

– Успокойтесь, господа. Это наши пушки.

– Как наши? – с еще большим изумлением проговорил Добровольский, в штабные обязанности которого вменялся и ход полковых орудий.

Полковник взял свою зрительную трубу и направился к выходу палатки, на ходу бросив:

– Я приказал дать несколько залпов по крепости Мерке.

Не помню кто, кажется, Северцев, застонал, словно орудийный снаряд разорвался у него где-то под ребрами, и сказал:

– Да вы с ума сошли! В этой глиняной дыре Мерке, кроме пастухов и коменданта с его гаремом, никого нет. И комендант сбежал бы, да боится, как бы ему хан за это голову не отрубил, только на наш плен и надеялся, бедняга!

Полковник с улыбкой на лице обратил свой взор на зоолога:

– Господин Северцев, ваше дело – наука, наше – ратное и поверьте.., – вкрадчиво заговорил он.

Но Северцев и не подумал поклоняться Марсу и возмутился еще больше:

– Я, признаться, поражен вашими действиями, господин полковник, и думаю, простая логика не менее важна в военном деле, чем в науке.

Штабс-ротмистр зачитал нам письмо манапов, а таких посланий достаточно. Следовательно, если племена дикокаменных киргиз и другие народы придут к нам добровольно и у нас хватит минимального терпения спокойно дождаться этого, то надо думать, и кокандский хан, лишившись своих подданных, действительно без единого выстрела с нашей стороны легко падет.

Северцева поддержал писатель и этнограф Южин, и тогда полковник завопил... Более всего на свете мне противны всякого рода скандалы, выяснения отношений, ажиотаж, когда люди не просто перестают понимать друг друга, но и не слышат, что выкрикивают оппоненты. На достаточно сдержанные упоминания Добровольского и Знаменского о Христе и его заветах, Черняев разразился такой бранью, что всех присутствующих взяла оторопь. Прежде всего, он объявил всех нас, сибиряков, в интриганстве. Якобы мы с омским генерал-губернатором сговорились всячески вредить ему, в силу того, что Император доверил петербуржцу, а не нам миссию умиротворения Коканда, сиречь завоевания. И что он имеет свои инструкции на предмет как вести войну и нисколько не намерен подчиняться омским завистникам и...

Нет, увольте описывать подобные сцены. Единственное, что следует сказать, дабы не оборвалась линия повествования, мы немедля и на удивление дружно представили ему ультиматум: если он не откажется от таких варварских, в духе Кортеса, методов приведения в подданство Империи народа, который сам желает такого исхода, мы покинем его лагерь.

Черняев категорически отказался принять наши условия. Впрочем, чему удивляться: человек поставил себе цель добыть под свой зад генерал-губернаторство, а как – это, понятно, было точно обговорено им со своими невскими покровителями. Уверен, что придворные чиновники считали, что России следует установить свои новые южные границы непременно орудийными залпами, кулаком и страхом, чтобы разом продемонстрировать всяким бухарским эмирам да авганским шахам тщетность их любых возможных ответных шагов и заранее отбить у них охоту соваться сюда.

Пока все выговорились, откричали свое, прошло времени достаточно, что бы трижды с боем взять Мерке, впрочем, лучше без боя – глинобитные дувалы от орудийных снарядов дают такую пыль, что отступать от неё придется до самого Омска. И надо же – конечно не от моих мыслей – вдруг явился есаул с окровавленным лбом и сдавленным голосом попросил пить.

– Что там? – вернулся к своей полководческой роли Черняев, с раздражением наблюдая как казачий офицер пьет, обливаясь, из большого ковша.

Есаул вылил остаток воды на свое лицо, отчего на нем появились красные потеки.

– Виноват, Ваше превосходительство, – офицер вытянулся и тише добавил. – Вошли в городские ворота, но здесь с северо-запада наскочила конница кокандцев... Никак не ждали.

– И что?!

– Отступили. Остереглись быть запертыми на улочках городка.

– Как! Разве это возможно! Отвечать! Как случилось?

– Виноват, Ваше Превосходительство... не могу знать. Господин подполковник говорил.., – лепетал измученный курьер. – Говорили Садык сам её привел...

Вот на сцену явился и мой брат султан Садык.

После гибели известного мятежного хана Кенесары, его сыновья жили при туркестанском хакиме, где обучению грамоте предпочитали упражнения по ружейной стрельбе и джигитовке, а по достижению совершеннолетия все поступили на военную службу к кокандскому хану. Садык за выказанное им удальство скоро получил чин пансат-басы и под его началом всегда ходило от 500 до 700 отчаянных киргиз-казакских рубак. Однако большой частью Садык служил советником при командующем кокандской армией, так как знал неприятеля с севера более всех других ещё со времен, когда сопровождал своего отца в боевых походах. Ещё известен был султан Садык тем, что, как говорили солдаты: «Его пуля не берет, чалма на нем заговоренная». В бою с пехотным полком, наступавшим на Чимкент с запада в местечке Ак-Булак, картечь и плотный ружейный огонь положил на землю мертвыми несколько сот воинов муллы Алимкула и только Садык с зеленым знаменем в руке простоял с час в сотне шагов от русской линии. Солдаты стреляли в него так ожесточенно, что от полотна стяга остались лишь лоскутки. Но Аллах сохранил султана невредимым, пока Алимкул приказом не отозвал его назад.

Генерал Веревкин год назад осадил Туркестан и вел подкоп под городскую стену с восточной стороны, чтобы взорвать её порохом. Видя, что кокандский военачальник в панике лишь курит опиум и не знает как предотвратить взрыв, Садык же со своими джигитами ночью просто перерезал всех тех бедолаг,

которые охраняли туннель и работали в нем. И взял в качестве трофея 30 ружей и весь инструмент – хоть пальцем копай.

Имя султана Садыка произвело на полковника не самое радостное впечатление, но как не парадоксально, прозвучав, действенным образом помогло ему подавить бунт на корабле. Все приняли озабоченный вид, военные отправились в свои части.Только художник и зоолог согласились с моим афронтом и в знак протеста отказались от дальнейшего участия в войне, предлагая и мне сразу ехать в Омск или Петербург, где немедля разоблачить новорожденного тирана. Однако я отказался, через день, отделившись и от них по направлению в знакомый мне Заилийский край.

Господа, что мне ваши столицы? Да, я был глуп, еще лишь день назад мечтая о Петербурге, но знаете ли вы, как обильны заилийские реки османами, маринкой, а Талгар, кроме того, – судаками. В горах эти реки образуют красивые водопады и там плещется форель, а киргиз-казакам до них и дела нет! Все твое.

К самой Или исчезают обильно растущие в предгорьях малина, барбарис и смородина, не растут абрикосовые деревья, зато среди простого тростника – чия, курая и камыша водятся тигры, рыси и изредка леопарды. Шкуры их охотники продают русским за 20 рублей серебром, так что как-нибудь обойдусь и без вашего жалованья, тем более, что я уже отчислен из Азиатского департамента. Я уже не говорю о возможностях охоты на архаров и красных лисиц и прочей мелочи вроде зайцев. А птиц там просто бесчисленное множество, лебеди и журавли проводят на Или зиму. Так неужели и я там не перезимую?

В ответ на отказ продолжить войну с генералами мои соратники по протесту сразу же обвинили меня в отступничестве, опять и опять призывая к немедленной борьбе за правду, честь и справедливость. Сами они ни за что не отступят, а вот якобы мое отсутствие в их рядах скажется самым неблагоприятным образом. Я, видите ли, был обласкан Императором и имею связи в министерствах, а Черняева без петербургских знакомых не сразишь.

О Господи, причем здесь Черняев?

Господа, я не правнук великого хана, не адъютант генерал-губернатора, не герой кашгарской экспедиции и не деятель Военно-ученого комитета Генерального штаба, а о некоем членстве в Географическом обществе я уже не говорю.

Я тот мальчик-идиот, которого следует прирезать за то, что он непонятно как и неясно зачем существует и таскается там, где ему не положено.

Пусть обвиняют меня в отступничестве от борьбы за правду, честь и справедливость. Хорошо родным детишкам жалится царю-батюшке. Я же – приемыш ему, не взирая ни на какие мои чины, связи, заслуги перед странными сейчас для меня учеными комитетами и обществами, Генеральными штабами и верноподданными царю другими султанами и ханами с майорскими погонами. Не хотите признать меня сиротой, значит я теперь никто. Только голая степь кругом и путь в никуда. И мы разъехались в ней в разные стороны.

Прожито тридцать лет, жизнь промелькнула как метеор.

Но как бы ни были скверны мои обстоятельства, я несу свой крест, как Иисус, но только с ропотом.

Но вот вопрос: что предпринять с сердцем, которое болит и болит? Печально размышляя подобным образом и горько сожалея, что не умею расплакаться от жалости к самому себе в этот как нельзя лучше подходящий случай, я увидел на дальней каменистой сопке пожухлой степи того самого мальчишку-идиота, которого, говорили, умертвили казаки. Он стоял совершенно один и не двигался. Крайне удивившись его появлению, я направил коня в его сторону, но когда въехал на вершину, то нигде не обнаружил вдруг исчезнувшего ребенка. «Показалось», – решил я и надо же! в версте от себе на уже другом холме опять увидел все того же побирушку. Он по-прежнему стоял один и смотрел в мою сторону. Теперь я двинулся к нему скоро, рысью. Но этот маленький бродяга ещё раз исчез. «Ну и черт с ним. Совсем мне он ни к чему», – решил я, правда, в сильном замешательстве оглядывая вокруг себя вечернее пространство. И увидел. Его же. У каких-то еле заметных вдалеке развалин, надо думать средневекового замка, которых много в близь Кулана. Но он не мог за такое короткое время так отбежать, учитывая, что я преследую его уж не менее получаса. Следовательно, он мне мерещился в сумерках, если к тому же взять во внимание и мое нервное состояние. Однако стены разрушенного строения мне показались удобными для предстоящего ночлега и я, не спеша, поехал к ним, зная наперед, что там никого не встречу. Каково же было мое удивление, когда там под полуобвалившимся куполом я увидел человека моих лет, лежавшего навзничь на земле и призрака, за которым я только что гонялся. Здесь следует уточнить, что чувства мои были поражены не видом поднадоевшего мне приведения заблудшего недоразвитого умом сорванца, а тем, что я как-то сразу узнал в лежавшем мужчине Садыка. Он приподнял голову, взглянул на меня и, кажется, тоже узнал. А ведь мы встречались с ним только раз,

когда нам было то ли семь, то ли восемь лет. За время очень короткой встречи и разговора наших отцов в каком-то особенно безлюдном урочище, я тогда прокусил ему ухо, а он расцарапал в кровь все щеку. Пинки и зуботычины в счет не идут.

Сейчас Садык был ранен в грудь, и пуля осталось там. Я перевязал его и удобно переложил на конскую попону. За всю ночь мною было сказано всего несколько фраз, несколько им. О том, как и в каком сражении он был ранен я узнал гораздо позже.

После конфуза при взятии Мерке, Черняев лично возглавил свои войска.

Двигаясь уже на следующий день от Мерке к Таразу, он трясся в седле впереди пехоты в сопровождении офицеров и больше сотни человек конницы. Садык же с отрядом приблизительно в шестьдесят человек наблюдал за передвижением его колонн. Так случилось, что на пустынной дороге появился пеший странник. Генерал послал вперед двух казаков захватить его для расспросов. Султан Садык, заметив это, не менее стремительно отправил за ним своих двух воинов. Видя такой маневр, полковник выслал ещё четверых, то же сделал и Садык. Эти шахматные передвижения продолжались до тех пор пока и эта и другая сторона не отрыли стрельбу и не поскакали навстречу к друг другу всеми силами. А сойдясь лицом к лицу, вступили в схватку на саблях и батиках. На каждого садыковского джигита пришлось по двое вышколенных драгун и, может быть, они не полегли бы все в том бою, если бы ещё в миг начала атаки, меткая пуля не сбила Садыка с седла, и он не остался бы лежать без сознания, как всем показалось, убитым, в стороне.

А как он оказался в пятидесяти верстах от своего падения в кулановских руинах, я так и не узнал никогда. Не мальчишка же, который оказался вполне телесным и ужасно сопливым, перетащил его сюда. Хотя здесь стоял и конь Садыка... Но все равно, не мог он поднять раненого мужика на седло. В общем, мистика какая-то, но в наших степях со времен Адама и Евы случались вещи и более странные, так что не стоит эти тайны тщиться разгадывать, а то можно самому умом повредиться.

Садык понимал, что он уже не жилец на этом свете. Кусок свинца застрял возле его сердца и рано или поздно должен сделать свое черное дело. Чтобы жить, он должен был лежать неподвижно. Как только он вставал и делал несколько шагов, возникала боль и кровь лилась из горла. По бледному лицу видно было, что не смерти страшится он, а того, что его найдут и возьмут враги. Видимо ещё в раннем ранимом возрасте на него крайне тяжелое

впечатление произвела весть, что дикокаменные киргизы отрубили его отцу голову, а царские власти возили её для опознания по всем городам и штабам. И тут мне пришла в голову дикая, надо признаться, циничная мысль.

Я предложил Садыку поменяться судьбами. Я готов был перевезти его в моей форме и под моим именем в тезековский аул, где меня ждали как жениха султановской сестры. Аллах милостив, быть может в заботе новой родни выживет, протянет более моего на этом свете. Не принять меня даже в виде умиравшего от раны Садыка и отказаться от свадьбы для султана Тезека в силу одной, получившей уже огласку причине, было совершенно невозможно. А так как я решил жениться без отцовского благословения, я был уверен, что никто из Валиханидов – потомков хана Уали, не приедет на свадьбу. Включая сюда и мою мать и её братьев.

1 ноября 1782 года под грохот артиллерийского салюта и звуки литавр с принятием ханом Уали подданства Российской империи Киргиз-казакское государство окончательно потеряло ставшую уже призрачной независимость. После смерти последнего хана правящая киргиз-казакская элита окончательно разделилась на пророссийскую партию и партию Ак-Арка. На стороне нашего дома стали султаны Джантюрины и Букейхановы, а вот лагерь противников возглавили султан Губайдулла и сын хана Уали от старшей жены – мой родной дядюшка султан Кенесары. И здесь свою самостоятельную политическую игру начинает молодая, младшая вдова хана Уали ханша Айганым. Она знала несколько восточных языков, интересовалась русской культурой, переписывалась с Азиатским департаментом Министерства иностранных дел и Сибирским комитетом в Петербурге. Под давлением ханши Айганым главным управлением Западной Сибири было принято в 1831 году решение запрещающее линейным казакам занимать места, принадлежавшие киргиз-казакам пяти волостей Кокчетавского округа и проводить рубку леса и сенокошение.

Сегодня и мы, Валиханиды, вряд ли способны ответить на вопрос что двигало ею: личные амбиции или материнское желание обезопасить и самым благоприятным образом устроить будущее своих родных детей. Но как бы там ни было, ханша Айганым сделала верный выбор – в любом случае судьба Киргиз-Казакстана геополитически в будущем будет на столетия связана с Россией. В ноябре 1822 года, как мне позже из документов канцелярии омского генерал-губернатора стало известно, ханша Айганым начала долгую переписку с Главным управлением Западной Сибири. Далее дело о водворении вдовы хана Вали, как он стал

именоваться в казенных бумагах, будет рассматриваться в Санкт-Петербурге влиятельнейшим графом Аракчеевым и в завершении самим Императором.

Перед экспедицией в Кашгарию, к краю Китайской империи, в Семипалатинске, я несколько дней скучной осени провел в компании своего друга Демчинского, и через него познакомился с Семеновым за свои географические подвиги в горах Тянь-Шаня и науку награжденным государем почетной фамилией – Тян-Шанский. Так вот, мы детально и секретно, чуть ли не под письменным столом, укрывшись картами Центральной Азии, обсудили мою возможную опасную поездку и придумали план. Кроме прочего, уже за обеденным столом с непременным провинциальным самоваром Пётр Пётрович доказал мне, что не даром есть хлеб скрупулезного и знающего даже излишне востоковеда:

– Знаете, султан, что дворянская усадьба, где вы родились, с домашней мечетью и с залом, где орган играл до двенадцати пьес, и стоимостью в 5 тысяч золотых рублей, была построена в Сырымбете по личному указанию благодетеля нашего и царствующего батюшки–императора Александра. Принимая во внимание записку ханши Айганым генерал-губернатор Западной Сибири Вильяминов указывал в приказе: «Во-вторых, так как служащие в Кокчетавском приказе старший султан и заседатели от киргиз-казаков переслужили уже положенное по уставу время, то для пресечения домогательств, что самое было уже доказано на опыте, даже члены приказа и старший султан отнюдь не вмешивались бы в выбор, а что бы при сем случае действовал один только глас народа». Удивительно, но женщина, не имевшая ни малейшей возможности проникнуть в тайны имперской канцелярии и не имевшая для этого соответствующего юридического образования, тонко разбиралась в хитросплетениях имперского законодательства о выборах, точно указывая в своих требованиях на соблюдении Главы первой, отделения второго с параграфа 25 по 50. Вызывает уважение и продуманный до конца подход ханши Айганым в деле производства хлеба. Она не ограничивается просьбами прислать ей высокосортные семена и земледельческие инструменты с человеком, хорошо знавшим науку землепашества. Она желает сооружения для неё мукомольной мельницы, на которую, вследствие неожиданности просьбы, начальству приходится изыскивать средства из внебюджетных источников.

Бабушка устроила, переговорив, как благородная барыня, с омским областным начальником де Сент-Лораном, в Казачье войсковое училище не только своего сына султана Чингиса – моего отца, но и пасынка султана Торежана. Опасаясь, что дети могут быть в казарме накормлены пищей не соответствующей их званию, она поместила их жить в собственном доме вдовы омского переводчика с платой 40 рублей с каждого. На эти деньги, как рассказывал уже в старости отец, ушлый переводчик тайно от начальства содержал свою вторую семью. Через полгода едва овладевшие русским языком ленившиеся степные барчуки Чингиз и Торежан стали жаловаться приехавшей проведать их родовой матери: «Хозяйка одним ржаным хлебом нас заморила, к чему мы не привыкшие. Слуги таскают нашу одежду, износили, притом белье не стирается неделями. Но важнее всего в училище оттого ходить и учиться мы не в состоянии». «От чего не противились?!», – возмутилась ханша Айганым, больше всего желая в сию минуту не детские жалобы слушать, отдохнуть с дороги. «Мы жаловались переводчику Дабшинскому, чтобы он кому следует о переводе нас на другую квартиру донес, но никакого удовлетворения не получили», – слезливо отвечали недоросли. – Мы благородной крови, а тут... разбой! Хотим снова писать жалобу». Ханша ответила: «Знайте, что в Империи чернила сильнее любой благородной крови», – и затем совсем рассердилась ханша. – Но благородная кровь против кляузных чернил!». Чингиз поспешил за дверь: «Я в лавку за чаем и булкой для вас, мамаша. Здесь они сладкие!». Он был смышленей единокровного брата и хотя дослужился только до звания полковника, как мечтала мать, прожил свою жизнь удобно и славно, как турецкий султан: имел и власть, и хорошую семью. И все потому, что с тех молодых пор не любил чернила.

В случае кончины лиц, игравших значительную роль в жизни Российской Империи, делалось официальное сообщение. Трагическая весть о нашей героине звучала так: «19 ноября 1853г. в четверг, или в Мухаммеданский день бисембе, во время намаза скончалась вдова покойного хана Средней киргиз-казакской Валия Айганым, урожденная Саргалдакова, на 70 году от рождения. Предана земле в пятницу, или джуму, 20 числа. Имела девять сыновей, из которых двое умерли в детстве, а два в 20 лет».

Души мусульман, умерших во время молитвы – намаза, сразу попадают в рай.

Бабушка моя Айганым – дочь главного имама при дворе хана Абылая Саргалдака. Саргалдак-кожа являлся прямым потомком Али. Значит и во мне течет капля крови сподвижника пророка Мухамада. К тому же и шейха Ибрагим-аты – младшего брата основателя суфийского братства Йасавийа ходжи Ахмеда Йасави. Уверен, бабушке моей Айганым с такими родственниками хорошо в раю.

Природа так распорядилась, что мы с Садыком были одного роста, одного телосложения и если бы я отрастал бороду, то и лицом мы оказались бы схожи. Но главное, мы были оба из тех чингизидов, которым по крови передались тонкие, маленькие, словно женские руки Чингиз-хана, что встречается среди нас крайне редко.

Я же мог продолжить его дело в его роли на среднеазиатском театре войны.

Садык молча выслушал меня, и так же молча протянул мне свою озарившеюся печать из зеленого камня. И сказал:

– Спасти его.., – и показал глазами на сироту, устроившегося рядом с нами и с глупой улыбкой уставившегося куда-то мимо нас.

Он не просил о своих неизвестно где теперь находившихся сыновьях и я должен был, по меньшей мере, изобразить на своем лице недоумение. Садык угасающим голосом продолжил, нисколько не смущаясь аргументации своей нелепой просьбы:

– Теперь он хан...

Несмотря на высокопарный стиль, коим были произнесены эти три слова, я удержался от смеха в продуваемом всеми ветрами приюте умирающего оракула, но... вдруг расхохотался, да так, как не смеялся уж давно. Пожалуй, даже с детства.

Надо думать, Садык, завещая трон этому заблудшему отроку, имел ввиду сказку о Скрытом хане, появившуюся после смерти Аблай-хана. Будто бы мудрый монарх, умирая, сказал, что его сын станет последним ханом на киргиз-казакском престоле. А после последнего хана появиться Скрытый хан, которого никто не узнает в лицо, но жить он будет всегда среди нас. И он или его потомки вновь создадут Великое Киргиз-казакское ханство, где люди будут жить гордо, сытно и жаворонки опять будут вить гнезда на спинах овец.

Raison этой легенды был в том, что сам Аблай-хан, прежде чем султаны и бии всех родов подняли его на белой кошме над собой ханом, в детские годы несколько лет сиротой скрывался под чужим именем, работая

подпаском у какого-то бая. Это одно. Второе, что естественней и правдоподобней – Садык, конечно же, просил меня стать хранителем жизни хотя бы одного его сына. Его собственная семья теперь обязательно станет предметом торга сильных мира сего. Киргиз-казаки никогда не высказывают своих сокровенных просьб прямо, считая такое стыдным. При этом, конечно же, был намек на то, если ему, сыну Кенесары, не суждено теперь стать ханом, то мне и подавно.

Потом, думаю Садык настолько ненавидел врагов своих, что согласен был воевать дальше, используя даже другого вместо себя.

Два года назад братья Садыка султан Тайчик и султан Ахмет, служившие как и он Коканду, настолько разочаровались в своей восточной политике, что решили перейти на службу России, где им обещали имущество и унтер-офицерские чины. Они уговаривали идти с ними и Садыка, на что он им отвечал:

– Я не пойду к русским, если возьмут Коканд, перейду в Бухару. Если возьмут Бухару, я пойду в другое мусульманское государство. Таких много...

Я все никак не мог остановить свой хохот, принимавший все более истерический характер. Вдруг наш будущий спаситель и правитель страшно завыл, вытягивая шею. От этого жуткого звука у меня перехватило дыхание. Даже у не убоявшего самой смерти Садыка в это мгновенье мелькнула гримаса страха на лице. Через секунды мы услышали в ответ из глубины поднимавшейся из мрака степи волчий вой.

Через день я внес в юрту султана Тезека Садыка, одетого в штабс-капитанский мундир, и, не ответив на немой вопрос тезековских глаз, поехал на юг.

Я оставлял за своей спиной донельзя разоренную степь татарами-ростовщиками, за щепочку чая весной отнимающими осенью у кочевника не менее барана, и угнездившимися во всех даже Богом забытых уголках русскими казаками, у которых украсть у киргиз-казака быка или лошадь считается молодечеством, так что офицеры даже не делают выговоров нижним чинам, а частенько и сами опустошают аулы. Есть даже господа, которые составили себе этим манером знаменитость, например есаул Бутаков. Полковник Абакумов ограбил Копальский округ до того, что почтеннейшие старшины в орде ездили на единственных клячонках. Карьеру свою Абакумов начал еще в знаменитые времена Кенесары, когда русские отряды долго преследовали по степи восставшие рода этого

султана. Тогда, лишившиеся источника доходов от войны после гибели Кенесары, наиболее разбогатевшие удалились на казачью линию и там обустроили свою жизнь. Полковник Карбышев в Омске купил свечной завод, Волков занялся торговлей, а Абакумов же остался в степи, грабя все до чего мог дотянуться.

Но кто бы из них, где бы ни был, теперь я уже по другую линию от них.

Золотой песок времени... Золотой песок безвремнья... Золотой песок иного времени... Вывести отсюда такие огромные тюки времени возможно разве что на слоне. На деле же вся протяженность поземных дорог была покрыта обычным кварцевым песком. Я наклоняю голову и ищу в подземном полумраке глазами следы слонов... Наверное, схожу с ума.

Золото, рассыпанное самородками по каменистому дну высохшей, должно быть еще во времена Македонского, речушки в глубине хивинской пустыни, желтело капельками меда. Такая fix idea в моем отупевшем мозгу торчала не случайно: уже три дня как я и Осман – беглый русский солдат Васильев, шли через пески без воды и провианта. Я жадно сунул в пересохший рот драгоценный камешек и даже попробовал, ломая зубы, его разжевать. Так и сидел, посасывая золотой самородок, а Осман Васильев все полз и полз на коленях по блестевшему руслу и собирал адский металл. Да и я набрал его уже порядочно, в оба кулака. Можно было снять халат, придуманный тюрками почему то без карманов, и ссыпать в него золотишко, но солнце так пекло, что сама мысль о сожженных плечах и спине ... Впрочем, что лукавить. Я так и сделал, но выдержал недолго. Теперь золотая кучка высилась прямо передо мной, и я зачем-то время от времени прикрывал ее согнутой рукой, хотя кроме меня и Османа Васильева вокруг на десятки верст не было ни одной живой души.

Новоявленный мусульманин Осман командовал артиллерией в моем уже несуществующем воинстве и с дедовскими пушечками должен был вместе с ним лечь костьми перед продвигавшимся к Хиве русским корпусом. В сей час мы с ним были последними, кто, как говаривал один французский маршал, выполняли самый сложный военный маневр – отступали. Хивинцы о нас забыли, а пехотинцы во главе с Его императорским высочеством Великим князем Николаем Константиновичем должно быть уже пили воду из Сараба-купя, питаемого разливами Амударьи почти у стен Хивы.

Первые посланцы хивинского хана появились в Москве при Иоанне Грозном. Они ли начали говорить о золотом песке, устилающим дно Амударьи, неизвестно, но сия легенда оказалась на редкость живучей. Через пару столетий с тревожной вестью о том, что хивинцы, де, с умыслом скрыть свое золото засыпали каспийское русло реки и отвели Амударью в Аральское море, прибежал в Астрахань туркмен Ходжа Нефес. Он подружился в городе с князем Самоновым, уроженцем гилянским, принявшим христианскую веру, и вместе они отправились в Санкт-Петербург к Петру Великому бить тревогу. Предложение их донельзя было заманчиво: пойти вместе с туркменами и завладеть Хивой. По странному совпадению, в это же время прибыл в Москву сибирский губернатор князь Гагарин с представлениями о песочном золоте Малой Бухарии. Все они вместе да князь Бекович-Черкасский, лихой кабардинец, составили компанию. К ним переметнулся посол хивинского хана Ашур-бек и сам предлагал построить на восточном берегу Каспия укрепление на 1000 человек гарнизона дабы добраться до речного золотишка. Ко всему прочему, Петр Первый хотел ближайшего пути в Индию для покупки в ней попугаев и барсов. Кончилась вся эта авантюра тем, что Бековича-Черкасского и всю его военную экспедицию хивинцы перерезали в песках.

Одно время хивинцы звали править ими киргиз-казакских султанов из Младшего жуза, но те как приехали в одном парчовом халате в эту древнею столицу, так и уехали из него в том же одеянии, не прибавив к своим узорам на обшлагах ни одной золотой ниточки. Через этих пророссийски настроенных правителях и заезжих англичан да капитанов Муравьевых, все пытавшихся в строго научных целях исследовать этот край, узбеки упорно твердили, что нет у них никакого злата ни в сундуках, ни на дне реки, ни вдоль неё. Однако ж дерзость хивинцев простиралась так далеко, что, несмотря на свое долготерпение, Россия несколько раз решалась наказать их. Два раза в 1801 и 1804 годах завладение Хивою было высочайше велено Павлом и Александром Первым, но смуты в Оренбургском крае не позволили. Прежде надо было пройти без урона киргиз-казакские степи, и генералу Перовскому этот подвиг удался. На севере Арала он взял городок Ак-мечеть. Впрочем, самой верной дорогой в Среднею Азию был Ташкент. Вот почему поход генерала Черняева в Туркестан и Тараз был предопределен. Зная это, я и шел на огонь, перебираясь из одной страны в другую, но на этот раз по своей исключительно воле.

Мы обычно посмеиваемся, поглядывая на то огромное значение, кое женщины придают фасонам своего платья. Но стоит обратить взор и на себя. Стоит мужчине сменить партикулярный сюртук на мундир и вся сущность его меняется. Вчера мы, казалось бы, не способны обидеть и мухи, сегодня в военной форме готовы идти убивать. Что и происходит. Более того, даже разные погоны на плечах могут изменить человека, так что он, пожалуй, и в зеркале себя не узнает. Особенно, если они меняются на знаки чужой армии. Прежде я никогда бы не подумал, что оружие и другая соответствующая облику киргиз-казакского сардара атрибутика таким скорым, магическим образом повлияет на меня. Теперь на моем плече блестели три золотых шнурка командира войск Кенесары, о котором еще помнили живо. Теперь я чувствовал себя не ведающим европейских правил воеводой кочевого государства, за которым вот-вот готовы стать полчища батыйевы. Вот что значит преемственность крови. Тут не до шуток. Мое сознание, вдруг сузившись, стало как летящая стрела. В нем сохранилось лишь одно: пришпорить коня и жаль, если кто-то попадет под его копыта. Такова значит будет его планида.

Скоро я был на берегу Сырдарьи. И как судьба, мне навстречу бежала война. Толпа людей устремилась мимо меня с криками и плачем в пески. Силой остановив одного беженца, я узнал, что к реке вышли русские казаки и грабят всех, кто попадался им на пути. Я выехал на бархан и увидел, как сотня героев гнала перед собой гурт верблюдов, нагруженных тюками и разный скот. Притаившиеся за мной киргиз-казаки молча следили за ними, страшась одновременно и скорой гибели от пуль, если вдруг решаться силой вернуть свое добро и долгой смерти от голода, если так и останутся лишь следить глазами, как уходит от них с захватчиками то, что должно уже варится у них в казанах.

Когда я читал о походах Суворова или об Отечественной войне, то желал победы русскому солдату над французами. Когда присутствовал в споре сибиряков с россейцами, то желал, чтобы мои земляки переспорили москвичей с волжанами. Но когда русские казаки принимаются грабить киргиз-казаков, я не в силах не встать на сторону моего народа. Здесь как бы одна любовь вставлена в другую, другая в третью... Вроде того, как ирбитские сундучки – маленький вложен в большой, тот в еще больший. И не моя вина, что теперь все крышки сундуков раскрыты и ветер выметает из них и добро и хлам, разделяя все.

Используя прием «величественной отстраненности» своего прадеда хана Аблая, я спокойно созерцал горизонт, пока мои бежавшие соплеменники наконец не сообразили подойти ко мне. Выслушав их салем и просьбу о защите от врагов, я отдал короткие приказы. Зная, что Кенесары при нападении на русских атаковал их, защищаясь от пуль толстым непроницаемым валом травы, я велел десятку джигитов с угрозой перемещаться перед казачьей сотней, а остальным бежать плести из прибрежного тростника маты. Награбленное мешало казачкам быстро маневрировать и они заняли оборону. Наконец мы, прикрываясь плотными щитами, пошли на них. Те встретили нападение выстрелами из ружей, но видя, что пули не достигают цели, вынуждены были вступить в рукопашный бой. На меня бросился на белом коне сотник и выстрелил из револьвера три раза в мою сторону. Чудом свинец не задел меня. Видимо, это смутила лихого рубаку и он, дрогнув, схватился за шашку. Но моя сабля уже зависла над ним...

На месте схватки вместе с офицером были убиты шестеро казаков, оставшиеся спешно отступили, бросив и лошадей и отары овец и все отнятое у аулов имущество. В моем отряде оказалось лишь с десяток раненых. Мои новобранцы хотели преследовать обидчиков и добить их, но я то знал, что нынешние казачки смелы на чужой земле лишь тогда когда рядом с ними части регулярной армии. И я направил подчинившийся мне род на другой берег Сыр-Дарьи пока его боевой пыл не остыл.

Кокандское ханство, скрепленное кремневыми ружьями, шариатом и длинными, как бороды аксакалов, заверениями разноплеменных братьев не вспоминать давние обиды, крепкие, как огниво на их дедовском оружии, рассыпалось, как плов, остывший к трапезе чуть запоздавших гостей. Первой пришла к дастархану Российская империя.

Большая часть аулов, признавших меня своим султаном, отправилась кочевать южнее Ташкента, где они обычно оставались только зимой, а несколько сотен джигитов я призвал защищать Ташкент.

Входили мы в Карасарайские городские ворота. Оказалось, что кокандская охрана давно бежала от туда и они оставались не запертыми. Наступавший русский генерал, видимо, не знал об этом казусе, и обстреливал ворота издали. Я тут же распорядился засыпать все двенадцать ташкентских ворот землею, для чего мы согнали к ним жителей из близко лежавших улиц. Видя наши активные действия по городу, горожане быстро распространили слух, что султан Садык, сын киргиз-казакского хана Кенесары, взял в свои руки власть и ко мне стали стекаться со всех базаров и площадей люди, не

желавшие сдаваться кафирам. С каждым часом мое положение становилось все запутанней, опасней, но и весомей. Уже невозможно было просто исчезнуть, даже ночью вокруг моей постели стояли не только верные соратники, но и незваные соглядатаи, представлявшиеся телохранителями. Днем я осматривал укрепления, и вывод мой был крайне пессимистичен. Гарнизон города, по обширности оборонительной линии, был разбросан на весьма большом протяжении. Артиллерия была рассеяна на расстоянии 15 верст по всей южной стороне и также не могла действовать совокупно. Но самое печальное то, что в городе действовали многочисленные партии, представлявшие разных ханов и эмиров и сговориться с ними представлялось невозможным. За столетия кокандские правители ничего не сделали, чтобы сплотить тюркские народы в одну нацию. Наоборот, в конную гвардию брались киргиз-казаки, что бы их ненавидели уйгуры и узбеки, занимавшиеся ремеслом и пашней.

Но главная червоточина в кокандском престоле состояла в том, что в этом государстве никто не желал соблюдать даже те законы, которые достались им в наследство от гораздо более основательных предков. Суд шариата муллы Коканда превратили в фарс, трактуя суры Корана и изречения Мухаммеда как им вздумается или как угодно стоящему выше сановнику. Отчасти из корыстолюбия, отчасти из-за невежества. Я встречал азиатских святош, не умевших вообще читать, но бойко водивших пальцами по страницам Святой книги, причем по верхней строке справа налево, по нижней – слева направо. Один из представителей шариатского законодательства оправдал при мне взятку в виде рубинового перстня тем, что якобы сам Пророк, по свидетельству супруги его Айши, получал подарки.

Мнением народа здесь пренебрегает всякий, кто имел чин или саблю. И хотя мнение народа не всегда может быть выражением действительной национальной потребности, привилегированные классы убеждены, что надо отрицать все нужды низов. Меньшинство богатых и в гораздо более цивилизованных обществах враждебно интересам большинства.

Народ груб и туп и вследствие этого пассивен, поэтому направление народных чаяний зависит от тысячи случайных обстоятельств, по-видимому, мелких и ничтожных.

Человек дикий и неразвитый подобен дитяти, не умеющему вполне владеть своими внешними чувствами. Ему, как ребенку, трудно согласовать свои ощущения с действиями. Хотя стремление к улучшению жизни и

присуще человеку и было так во все века и во всех степенях человеческого развития, но, тем не менее, цель эта редко им достигалась. Не понимая самого себя и не имея никаких твердых знаний даже об окружающей его природе, человек-дитя должен идти ощупью, подобно слепому. И понятно, что он был обречен больше ошибаться, принимая ложь за истину, вред за пользу. Поэтому нет вопроса для любого государства, который был бы так всемогуще важен, как вопрос о реформах.

Без сомнения, что все реформаторы пекутся об общественной благе. Но понятия о том, что полезно и что вредно для развития в разные века отличались меж собой и теперь ходит много гипотез, которые и по рутине и по привычке к прошлым преданиям принимаются многими на веру, как непреложные аксиомы, хотя наука ясно доказала их ошибочность. В наше время самыми первостепенными считаются реформы экономические и социальные, а реформы политические допускаются как средства для проведения новых форм экономики, ибо каждый человек отдельно и все человечество вместе стремится к одной конечной цели – к улучшению своего материального благосостояния, видя в этом так называемый прогресс.

Не спешите, господа. Ничего не выйдет с вашими умными экономическими и прочими реформами, пока и элита и плебс не станут скрупулезно соблюдать законы, какие уже есть. А потом только начнут их реформировать. Да не наскоком, а всем фронтом, здесь не конница, а пехотный строй должен идти впереди.

Для страны мусульманской неизбежны устои шариата, но высокая мораль Корана должна составлять только дух закона, а букву должны ясно и кратко прописать законоведы, учившиеся в европейских университетах, где юриспруденция имеет научные традиции и не зависит от мистики. Вот когда разовьется и торговля и образование, а значит и богатство и патриотизм.

Для успеха судебной и правовой реформы нужно множество качеств, но в монархическом государстве прежде всего надо иметь корону на голове. Голова твоя может быть не слишком обременена новыми идеями, умные чиновники при желании всегда найдутся. Если собрать все записки и проекты, составленные мной и моими коллегами по этому вопросу хотя бы в области сибирских киргиз-казаков, то они составили бы целый трактат, но все в Санкт-Петербурге уходило как в песок.

Трудно себе представить закат Российской империи, но если она пойдет по пути среднеазиатчины, где с трона не увидать улицу и лавки с мастерскими

на ней, то результат будь схож. Все развалится. Но это уже, слава Аллаху, не моя головная боль.

Если фантазировать и дальше, то для своего государства я выбрал бы основой законодательства древний тюркский кодекс адат – обычное право, где преступник прежде всего преступник, а не грешник и ни какая индульгенция не оправдание ему. Грех – личное дело каждого, государству нужен порядок, а не душевные переживания каждого гражданина.

Но адат не только мое предпочтение. Все киргиз-казаки, en masse, требуют оставить его в силе, причем в самой древней форме. Красноречивый случай произошел в Каркаралах. Губернское начальство решило учредить в добавок к суду каких-то биев над биями, явно желая иметь еще один доглядывающий и довлеющий орган. Когда проект переписывался в приказ, о нем стало известно, и квартира моя оказалась осажденной протестующей толпой конных и пеших киргиз-казаков.

Шариат среди киргиз-казаков стал распространяться только в наши дни под влиянием татарских мулл, среднеазиатских ишанов и доморощенных прозелитов. Некоторые султаны и баи стали даже запирать своих жен в отдельные юрты, как в гаремы, ездить в Мекку, а бояны наши вместо народных героических былин поют нынче мусульманские апокрифы, переложенные на стихи.

Хранителями заповедей адата были и есть бии, выборные судьи из числа родовых грамотеев. Мне известно, что к суду биев прибегают и русские переселенцы и казаки Горькой линии, избегая многомудрых хитросплетений судебного чиновничества.

Но справедливости ради надо сказать, что я знаю случаи, когда ордынцы, избегая своего суда, обращались в имперский. Но это были заклейменные негодяи, которым уже никто не верил, что бы они не сказали в свое оправдание. Значит, видели возможность в бюрократическом суде всех объехать на кривой козе.

Суд биев и их съездов заключают в себе все начала мирового суда. Вообще говоря, суд мировой не есть еще суд идеальный, лучше которого нельзя было и ожидать. В Англии, в этой образцовой стране, юристы Блекстон, Гнейст и Конт указывают на недостатки британского суда. Следовательно, если и есть различия между мировым судом и судом биев, то значит они лежат необязательно в худшей стороне последнего.

Главное достоинство суда биев, по моему мнению, заключается в отсутствии формальностей и всякой официальной рутины. Значение бия

основано на авторитете и звание «бий» есть патент на обладание справедливостью. Кто же рискнет потерять среди своего народа такое мнение о себе? Нет ничего страшнее в кочевом обществе, чем презрение. Ведь тяжущимся фигурантам дано право не только вызывать на суд известных лиц, способных выступить с миссией адвоката, но и отказывать конкретному бию судить, если его renomme доказательно подмочено. В суде биев в тяжелых случаях всегда приглашались для участия присяжные в решении так называемого у англичан вопроса о виновности – question of fact.

История народов – это, прежде всего, история законов государств, в которых они имели удачу или несчастье жить. Следовало бы каждому новому правителю не забывать дела минувших веков. Много скверного и ненадежного они могли бы избежать. «Однако, как только дело доходит до утверждения республик, сохранения государств, управления королевствами, создания армии, ведения войны, осуществления правосудия по отношению к подданным, укрепления власти, то никогда не находится государя, ни республики, которые обратились бы к примеру древних», – как когда-то изрек Макиавелли, и мне ясна вся печаль и изумление, которые он, видимо, испытывал, высказывая эту мысль.

Главный казий Салибек-ахун возвел меня в звание эмир аскера. И я смог более-менее полноценно действовать. Одни лишь приказы о всеобщей мобилизации и казарменном положении солдат уже позволили создать нечто похожее на армию. Но прошло несколько дней удачной обороны, как иногородние кокандцы, хивинцы, бухарцы и еще черт знает, кто стали шептать по углам: «Кажется, русские не смогут теперь взять город. Если они отступят, то вышедший из киргиз-казаков султан будет вечно править Ташкентом, а завтра и всеми ханствами». Верные мне из ташкентцев военноначальники донесли, что против меня уже составился заговор, и просили разрешить им казнить всех, кто участвует в нем прямо там, где они будут захвачены. Мне такая Варфоломеевская ночь при азиатской луне была не по душе. Я, сославшись на то, что мусульманам не следует убивать мусульман, отослал отказать им. Я думал их судить по позже, но прежде они должны были совершить само предательство. Как-то сразу прийти к убеждению, царившему во властных элитах этого края, что даже невыраженное ничем побуждение к преступлению уже есть преступление, было нелегко. Инстинкты Чингиз-хана, говорившего, что враг уже тот, кто может стать врагом, через века слабо проступали во мне. Интересно, что главными заговорщиками против моей персоны явились как раз те, кто

предупреждал меня о нависшем надо мной кривом ноже. В конечном итоге, я бы мог с ними справиться силой своей киргиз-казакской дружины, если бы не другой неприятель, дисциплинированными рядами стоявший под стенами города. В таких тисках я прибег к аблайхановской дипломатии, суть которой передача другому того, что не является абсолютно твоим. Иначе говоря, когда сама реальность заявления о твоем даре заменяет реальность самого подарка.

В скорых поисках союзника, я поручил временно распоряжаться в Ташкенте бухарскому сановнику Тайчибеку и выехал из цитадели. Этот простенький акт я произвел в целый ритуал с пышностью и таинственностью, которые только могли быть. В деле иллюзиониста очень важны жесты, все следят за тем, как происходит действие и никто не замечает того, что скрывается за ним.

На следующий день русские колоны вошли в город и уже никто не оспаривал мое звание правителя Ташкента. Звание правителя в изгнании. Однако это положения позволяло мне теперь открыто претендовать, как генеральской вдове, на более высокий статус в настоящем и будущем. Хоть ханом себя заяви, никто не станет возражать.

Еще месяц назад я, как степной кузнечик, скакал по открытому простору, как мне желалось: то туда, то еще дальше. Нынче, прыгнув лихо и весело, попал в паутину персидского сада. И все по доброй своей воле. Я сам себя впутал в мнимую реальность созданную мной самим. Как это не глупо, но я сам стал верить, что действительно был ташкентским ханом. И печалился, что потерял свое ханство. И во мне начала клубиться новая черная обида. Отбросив в сторону sentimentalisme, я принялся строил планы возвращения себе трона. Сомнения и иные культурные мысли исчезли, я был готов, если надо, перейти и море крови.Ход размышлений стал предельно короток и прост: отдайте мое, не отдадите, сам возьму и вас смертельно накажу за обиду. Но кроме самодержавного эгоизма в моей душе еще клубились и патриотические чувства.

Конечно же, глупо было мечтать об освобождении и возрождении Киргиз-казакского ханства времен хана Касыма Великого или даже хана Аблая, царившего уже в стране, урезанной со всех краев до неприличия. Смысл моего патриотизма был в ином и выстраивался на политических аналогиях, связанных с событиями в Китае.

Захватив Восточный Туркестан, китайцы ввели в этой мусульманской стране свое правление со всей присущей им бюрократической

тщательностью с прикормленными туземными хакимами и чиновниками, которые поднявшись до шестой степени уже честно служить родине не могли. Усвоив одни дурные стороны китайской цивилизации, они стали недоступны и важны к своим подчиненным, унижаются перед маньчжурами и проводят дни свои в пьянстве и в обществе женщин сомнительного поведения, предоставляя эти же удовольствия китайским ревизорам, которые приезжают к ним в гости. Мелкие чиновники копируют высших, но более грубы и дерзки. Сами китайцы всегда готовы творить грабеж, разрушение мечетей и весьма склонны к публичным казням. Они бьют на улицах всех, кто не сходит с лошадей при их появлении, отнимают ценности и бесплатно берут товары в лавках, даром обедают в ресторанах. Всякий китайский чиновник имеет при своем доме туземцев, которыми распоряжается как рабами. Все эти преступления и притеснения тюркских мусульман были бы гораздо сильнее и повсеместней, если бы с Восточным Туркестаном, теперь называемым китайцами своими Новыми территориями – Синьзянем, не граничило Кокандское ханство. Не Бог весь какое сильное, мудрое и заботящееся о братьях своих, но все же свободное тюркское государство со своей армией и деньгами. Наличие его уже само по себе – фактор давления, возможной угрозы поддержать множество восстаний. Свидетельством этому служит уникальный персонаж на сцене Синьзяна – кокандский аксакал, именуемый на официальном языке имперцев шань-я (торговый старшина). В сущности, этот титул равен губернаторскому. Прежде аксакалы направлялись к китайцам как торговые представители, но явочным порядком расширили свои полномочия до ранга посла Кокандского ханства. Они должны были отстаивать интересы самих кокандцев, но покровительствуют и туземцам и даже скрывают и предоставляют должности при себе участникам антикитайских мятежей. Таким как Михтяр-Валихан, ставшим сборщиком налогов при аксакале – удачей. По старой привычке вначале китайцы и калмыки продолжали бесчинствовать на улицах, толпами разъезжая в базарные дни, немилосердно наказывали нагайками всех, кто не успел отстраниться и очистить им дорогу. Аксакал Насыреддин остановил эти бесчинства, воспользовавшись следующим поводом: пьяный солдат сибо, въехав верхом в кокандский караван-сарай, за что-то ударил ногайкой человека. Кокандцы сбросили его с лошади и, избивши до полусмерти, отнесли в караул. После этого и других случаев насилие и буйства китайцев были остановлены. Насыреддин позволял себе вмешиваться и в дела китайских городских властей. По его требованию были закрыты публичные

дома, и был назначен в звании раиса его ахун – блюститель благоверия. После джангирского восстания китайцы думали наказать кокандцев и, прервав торговые отношения с Кокандом, направили к Бухарскому эмиру посла, желая восстановить его против кокандского хана. Эмир проявил солидарность и уклонился от прямых сношений, предложенных китайцами. Говорят, что эмир, как правоверный монарх, заявил, что считает неприличным иметь дело с идолопоклонниками. Пытались эти безбожники найти понимание у авганцев, но тоже безуспешно. События того 1830 года привели к еще одному мирному договору между Кокандом и Китаем. Конечно же, власти Поднебесной империи понимали, что имеют дело с государством ничтожным, но за Кокандом стоял весь мусульманский мир, называемый ими Хой-хой-бу и выглядевший в их глазах как целое море от Оша до Мекки, и о народах которого, как о варварах, не стоящих внимания, они знали очень мало. Незнание порождает опасения, страх – ошибки. Так мусульманские иностранцы получили возможность держать в постоянном напряжении китайцев и продажных туземцев и поддерживать надежду возвратить свободу родине в предводителях восстаний ходжах и простых кашгарцах. Это аксакалы возвели в свой основной принцип. Подобную дипломатию китайцы хорошо понимают и ненавидят кокандских посланников. Вот почему в последнее время они стали отличать Бухару – Айбухань от Коканда – Аньцзи-чжень. Узнали они и о внутренних распрях, которые мусульмане никогда не были мастерами скрывать. Особенно теперь, когда Кокандское государство окончательно погибало, отдавая себя другой империи – России.

До тех пор пока Старший киргиз-казакский жуз находился вне царских генерал-губернаторств и там основал свой передовой форпост султан Кенесары с претензиями на ханский престол, русские чиновники на занятых уже ими киргиз-казакских просторах вели себя сдержано, сохраняя в частности суды биев и власть султанов по родословной. Но как только многолюдный южный край с Таразом и Туркестаном был взят ими, все стало меняться буквально на глазах. Значение титула «султан» сравняли с мелким чином для туземной администрации и императорским указом право владения всеми землями отняли у самих кочевников в пользу государственной канцелярии. Конечно же, они будут заселены выходцами из центральных русских губерний, да уже и заселяются. Только одна ямская повинность превратилась в настоящее бедствие. Многие чиновники берут

по 40 и 60 лошадей под один экипаж и ничего не платят подводчикам-киргиз-казакам, кроме зуботычин. Случается нередко, что некоторые «майоры» (так простой люд называют всех исправников и заседателей) и вовсе не возвращают взятых на время лошадок.

Империи с севера и с востока сегодня получили возможность делать с тюркскими народами все, что им вздумается, не оглядываясь ни на кого. В этом веке просто немыслимо вернуть свободу всем туркестанским народам. Нет ни сил, ни денег, ни народной воли. Остается, следуя логике, удерживать хотя бы одно независимое казакское туркестанское государство. Пахнет идеализмом. Но построив цивилизованное исламское общество, мы могли бы продолжать благотворно влиять на судьбы братьев, ожидая часа, когда нынешние империи, последуют за македонской и римской и рухнут. И правящие дома киргиз-казаков, узбеков, уйгуров вновь поднимут свои знамена. Здесь бы и прослезится от трепетного ожидания, но пока рак на горе свистнет... Но рак ползет туда, куда двинет конь с копытом. Так что: джигиты, на коней, аттандар!

Вот такие теории роились в моей закружившейся голове, а военная карусель сама выводила ко мне новых героев для продолжения драмы, плавно переходившей в фарс. Не успел я отъехать и десять верст от Ташкента, как в первом же кишлаке меня встретили бухарские беки из Шахрисяба, поднявшие мятеж против своего повелителя в пользу его сына Абдумалика и подсунули мне свои отряды и фефту, накарябанную под их диктовку придворными муллами. Бумагу, разрешавшую им воевать против единоверцев, я оставил им, баюкать свою совесть, а сам атаковал бухарского эмира первым, так как среднеазиатцы, если от чего и приходят в ужас и панику так это от резких движений. С подчинившимися мне всадниками в несколько тысяч сарбазов я наскочил на город Нурата и взял его. Помогая принцу Абдумалику, я рассчитывал, что молодой человек на престоле будет более склонен к новым идеям, чем его костный отец, о котором было известно лишь самое мрачное.

В Нурате я занял летнею резиденцию эмира, стены которой были искусно сплетены из ивовых прутьев покрытых китайским красным лаком. Прохлада легко проникала под высокие своды комнат и вся обстановка напоминала мне прелесть аула на горном джайляу. Там же я формировал сотни из киргиз-казаков и кочевых узбеков, еще не разучившихся есть и спать в седле. Во всех странах, подверженных революциям, является особенный класс людей, обожающих мятежи и беспокойства без всяких убеждений, так сказать, из

любви к искусству. В наших краях это дервиши, курильщики гашиша, азартные игроки и салтаны-пролетарии. Они первые поднимают оружие при восстаниях и режут всех подряд, а при бегстве грабят и дома тех за которых они еще вчера заступались. Таких я отметал сразу. Но один из добровольцев этой вольницы так и не отстал от меня, и я вынужден был принять его. Среди них встречаются люди разных народов, и чутье мне сразу подсказало, что этот мужчина средних лет, представившийся Османом, явно из северных краев. Пожалуй, русский.

– Скажи мне, русский, когда ты бежал из армии своего царя и какой имел чин? – кратко спросил я, вспомнив, как меня пытали в моей тайной экспедиции в Кашгаре тамошние держиморды.

В этих беседах важно дать понять, что за тобой вечность и все равно наступит время, когда не станет никаких тайн. И я, возлежа на шелковых подушках, медленно потягивал дымок из кальяна.

Но Осман скоро назвал и полк и свою роту саперов и свое настоящее имя – Олег Васильев, а затем прищурился, и высмотрев во офицерские манеры, добавил: «...Ваше благородие».

Осман-Олег оказался весьма неглупым и много видевшим на свете батыром из смоленских мещан. Был он начитал, знал и тюркский и персидский языки. Одно время пытался выдавать себя за еврея и торговать, но был побит камнями после первого же своего посещения глинобитной самаркандской синагоги щепетильными в соблюдении своих обрядов иудеями. Сейчас решил вернуться к своему исконному ремеслу – взрывам. Характер он имел вздорный, большой спорщик, но для меня в этом была своя прелесть, так как среди моего подобострастного окружения он был единственным с кем я мог по человечески говорить, когда собеседник может с тобой не согласится. Я спросил его, почему он нарушил присягу и верность царю и отечеству. Он ответил односложно, мол, служба была тяжела. Но из долгих разговоров за вечерним чаем, начинаемых им обычно со слона, я стал догадываться, что именно образ этого большого животного явился причиной не только его побега из армии, но и добровольного когда-то рекрутства в нее.

В раннем детстве Алежке, сыну огородника Василия Огородникова некий странник рассказал о существе телом поболе чем купеческий дом и с говорящим носом, подобным иерихонской трубе, живущем в басурманской Индии и именуемом Слон. Алежка Васильев Огородников принялся мечтать увидеть Слона. Домечтался до того, что стал видеть чужестранного зверя в своих снах. Слон ему сказал: обо мне никому не говори, а если скажешь, то и

я и ты погибнем в страшных мучениях. Когда же Васильев подрос, то пошел в Москву, где в городском саду показывали разных животных, среди которых был Слон. Но то животное, которое он там увидел напоминало апрельский стог сена с ушами грязными, как кухаркин подол. Самым противным в нем было то, что это животное тихо подвывало и мочилось, приседая коровой. Васильев не поверил, что это Слон. Он решил идти сам в Индию, но к его везенью Император решил завоевать Персию, а там до заветной страны рукой подать. Однако дело кончилось лишь компанией в Закавказье. И зашагал сержант Васильев к Слонам своей дорогой. Был морским разбойником, был в рабстве, имел семью в Хорезме, умирал вместе с ней от какой-то жаркой трясучки, да выжил в отличие от своих детей...

– А что ж ты не дошел до своих слонов?

– Нет ни каких слонов на свете.

– Как же нет, братец, – засомневался и я. – Вот возьмем Бухару, а там и в Индию заглянем. Индусы на слонах и пашут и воюют. Сам увидишь.

– То-то и оно, Ваше благородие, – отвечал Осман и добавил совершенно загадочную фразу. – Человек все испоганит. Верно как стали индусы эти черномазые на слонах ездить, так и у них они вывелись. Только скотина одна и осталась.

Я не стал расшифровывать его загадки, события ускорились и завертелись, как карусель – не до османовских баек было.

За это время бухарский эмир додумался заявить, что обезумевший отрок его Абдумалик и шарисябские сановники все-таки свои люди, а киргиз-казакский султан из Туркестанского края чужой и не ему зарится на наши земли. И надо же, все с ним согласились. Это было видно и по лицу действительно поврежденного умом Абдумалика, приехавшего со своей мятежной гвардией принять отвоеванный для него нуратский вилайят и внезапно нагрянувший в мой лакированный дворец. Его физиономия всеми гримасами высказывала, что он намерен меня зарезать. Начал он грозно: отдай ему, как сюзерену, все что я нашел в дворцовых кладовых и сундуках и все тут! За этим, прояви я покорность или нет, мне быть непременно обвиненным во всех смертных грехах и секир башка. Я мирно согласился и указал на Османа закладывавшего в стороне под глинобитную стену мешочки, величиной с голову человека.

– Все там в яме.

Глупая рожа буйного царевича опять выдала его мысли. Он был доволен тем, что успел вовремя перехватить мою корыстную лапу, прятавшею злато.

Величественным жестом он послал троих из своей охраны за кладом, от которого стремительно бежал уже Осман. Через минуту стена под жуткий грохот взлетела в воздух и превратилась в пыль.

– Что это?! – в ужасе вскричал претендент на бухарский престол.

– Сокровища здесь были лишь в виде пороха, и я велел сделать мины. Они заложены по всему городу, даже под дворцом. Так что нам никто не страшен. Пусть пробуют взять, взлетят на небеса вместе с нами.

Я ошибся, считая Абдумалика совсем уж дураком. Он быстро сообразил что к чему, и вместе со своими бухарцами стремительно понесся вон. С этой минуты караулам было велено не пускать ко мне и моих союзников. Ошибся я в выборе партнера. Всегда следует поддерживать законную власть, если, правда, таковой ты не считаешь себя. Я списался с бухарским эмиром, как мог объясняя те недоразумения, которые возникли между нами. И искренне клялся верой и правдой служить только ему. А ведь мог объявить Нуратский вилайят своим ханством и держал бы оборону в городе столь долго, сколь нужно человеку, что бы закончить свою жизнь вместе с незваными гостями грандиозным фейерверком для эмира я способен был прикрыть его владения с севера. Но русские войска уже вошли в эту страну по просьбе самого эмира, так и не поверившего мне. Тогда я решил действовать дальше на свой страх и риск.

Помня всю безрезультатность рыцарских конных атак на пехотное каре, я выдвинулся вперед и устроил армейской колонне генерала Черняева протяженную засаду по дороге в садах под Джизаком. И как только солдатики протянулись к базару, по ним был дан ружейный залп. Скрываясь за деревьями и заборами, мы продолжали обстреливать врага несколько часов до тех пор, пока они не отступили на открытое место, откуда они ушли обратно в свой лагерь на берег Сырдарьи.

Есть такая легенда о богатыре Святогоре, столь могучем и огромном, что под ним проваливалась земля и жить он, бедняга, мог лишь на скалах. Так и имперские войска, если куда-то приходят, то тут же под тяжестью уходят по колено в тот край, куда они шагнули, и сами они после не в силах уйти обратно и вытолкнуть их прочь становится невозможно. Но бухарский эмир, как и все его тюркские и кавказские братья, русских сказок не читал.

В начале июня с севера двинулись 18 рот пехоты и 6 сотен казаков при 14 орудиях. Те силы, которыми располагал я, никак не могли противостоять им.

Если учесть, что на юге стояла армия бухарского эмира из 6 тысяч пехоты, 14 легких орудиях и 15 тысяч конницы, то мое положение было аховым. Я

принялся маневрировать, но тут мое войско, набранное все-таки в основном из декхан Шахрисяба и кишлаков окрестностей Нурата разбежались, со мной осталось одни киргиз-казаки и кочевавшие узбеки, отличавшиеся от нас лишь забавным произношением некоторых слов. Все кишлаки таджиков стали враждебны к нам. Мы стояли в поле, своим безводьем и оголенностью больше напоминавшем пустыню...

С юга и востока нас дожимали толпы бухарцев, с севера и запада путь закрыли цепи русских пехотинцев. Утром дело решилось бы далеко не в нашу пользу, так как воинство мое впало в растерянность, уже не понимая зачем и где они воюют. Я не находил способа поддержать их. На какое-то время, совершенно утомленный, я заснул. Приснился мне индусский бог Гамеша, сын Шивы, носивший волею кармы на своем человеческом теле голову слона. Забавный идол. Язык хинди я не понимал и поэтому Гамеша указал мне спасительное направление на запад своеобразным поступком. Он вырвал у себя левый бивень и кинул его, как дротик, в сторону заката. Все это сулило удачу. И я, очнувшись, рассказал о своем виденье воинам, рассчитывая поднять их боевой дух. Какое-то время они недоуменно взирали на меня, а потом дружно расхохотались. Образ слона, раскидывающего свои кости, показался киргиз-казакам очень смешным. Более всего меня обидело то, что вместе с ними усмехался и великий почитатель слонов Осман Васильев.

В эту минуту мне помог рыжеусый, до этого ничем не отличавшийся аргын, выехавший со мной еще с Сыр-Дарьи, по имени, кажется, Кеншилик.

Он вынул из переметной сумки потертую походную домбру и запел, отвлекая иронические взгляды джигитов от моей персоны на себя. Прежде он долго наигрывал незамысловатую мелодию, затем стал грозно вскрикивать, а уж потом завел все возраставшую тоном песню. Даже не песню – целую поэму о батыре Ерзамыре и его коне Ак-Сары. Так как пел он целый час, я приведу здесь только один эпизод из этого эпоса:

«Не стало сил у Ерзамыр-батыра.
Сникли и семеро братьев его.
Пики кололи их налево-направо
от рождения до смерти целой луны.
Все стрелы их с изумрудными наконечниками,
Все стрелы их с слоново-белыми наконечниками
разлетелись во врагов,
но войско вражье вновь поднималось,

как жесткая трава вокруг чистого озера,
дно которого уже открылось почти
от истощения родников подземных.
Сказал тогда Ерзамыр-батыр братьям:
«Сойдем с седел и отпустим коней наших.
Они верно служили нам, как родичи наши,
Пусть теперь не погибнут вместе с нами,
когда нет мочи больше поднимать копье
и от крови глаза не видят врага»
Тогда сказал конь Ерзамыр-батыра
серебрянно-копытный Ак-Сары друзьям-коням:
«Хозяева наши батыры покинули свои седла,
они теперь беззащитны, как тетерева.
В наши хвосты вплетены булавы с шипами,
на наших ногах кинжалы сверкают, как лед.
не дадим же убить наших всадников.
Бросимся, друзья мои, кони, сами на врагов!»
И все кони-друзья согласились с Ак-Сары:
и Чалый, и Багрово-рыжий, и Черно-бархатный,
и Серо-вороной, и Пепельный, и Сухопарый,
И Красногривый...
Кинулись кони-друзья одни в бой
и стали рвать всех клыками острыми...»

При последних словах завороженная былинщиком публика пришла в особое волнение. Джигиты повскакивали со своих мест, стали дико орать и восхищаться конями-друзьями Ак-Сары. Но наибольшее возбуждение наступило, когда рыжеволосый Кеншилик, после того, как рассказал о том, что кони не только смогли разметать по всей степи противников своих хозяев, но и взяли большую добычу, спел:

– Если спрашивают: «Чей это скот тучно пасется на вольных лугах?», – отвечают люди: «Это скот коня Ак-Сары».

Здесь я не упустил фортуну и еле слышно произнес нечто риторическое:

– Эй, джигиты, мы в седле или лошади сидят на нас?

Тут мои сарбазы вскочили в седла, и мы лихо, на одном дыхании прорвались сквозь стрелявшие залпами в нас ряды пехотинцев. Я хотел поблагодарить рыжего Кеншилика за то, что он поддержал мой авторитет, с ходу придумав и о «слоново-белых наконечниках стрел, разивших врагов

налево и направо», но оказалось, что он погиб в том прорыве. За телами убитых мы не могли вернуться, но они остались на мусульманской земле, нашли смерть в войне с кафирами и, несомненно, были похоронены местными жителями, верю, достойно.

И мы ушли в сторону Ургенча. Пора было вспомнить и о своем долге собрать в своем доме внуков султана Кенесары.

Хивинский хан дал мне для дастархана в пользование сад «Патша сайрам багы» в тридцать танапов и доходы с одного арыка, но передать мне мою семью категорически отказался, пользуясь древним правом иметь аманатов, как гарантией, что подданные его не взбунтуются против него же. Я был тяжело ранен и не мог спорить.

Весной я велел подчиненным мне аральским киргиз-казакам и каракалпакам прорыть новый канал и засеял 30 батманов пшеницы. У того же поля прожил все лето, стреляя фазанов и сайгаков.

Потеряв надежду на создание какого-нибудь ханства или захудалого эмирата для своего народа, я принялся терпеливо ждать волнений на землях Киргиз-Казакстана. Люди, посланные мной в киргиз-казакские роды, вернулись удрученные тем, что на мой призыв освободить от захватчиков наше государство, киргиз-казаки лишь вздыхали и принимались пересказывать друг другу героические былины прошлого, похваливая между тем русский самовар и иной фабричный предмет.

Вынужденный покой мой нарушил лишь отряд туркмен. Они пригласили меня погостить у Юлдуз-ханум – жены знатного и знаменитого Кунберды. Эта женщина славилась своим умом и доброжелательностью. У ней останавливались и авганский хан и бухарский эмир по дороге в Россию. Приглашение было весьма и весьма настойчивым. Не желая ссоры, я отправился с ними. Славившуюся своей красотой Юлдуз-ханум я не увидел, зато меня принялись назойливо опекать собравшиеся там текинцы и уговаривать меня: «Киргиз-казаки и туркмены имеют родственное происхождение. Вы сын киргиз-казакского хана. Мы решили помочь вам. Мы дадим вам 10000 всадников под начальством десяти сардаров. Вы привезете нам чарджоуского эмира, а мы поменяем его на ваше семейство». Вот с таким буйным и разбойничьим племенем я еще не имел дела! Туркмены имеют весьма интересную пословицу: «Если враг нападает на кибитку твоего отца, то пристань к нему и грабь вместе с ним».

Конечно же, обидчика своего из Чарджоу они бы никогда ни на какой обмен мне не отдали бы, а непременно нечаянно зарубили бы. Я твердо

отказался, теперь уже искренне благодаря Пророка Мухаммеда, за то, что он дал нам такой неотразимый довод миролюбия, как запрет мусульманину воевать против мусульман. Против Корана и они не могли возразить, но и не думали отпустить меня домой. В знак особого гостеприимства Юлдуз-ханум прислала мне в подарок рабыню Кыз. Она стала являться ко мне по моему желанию укутанная в бесконечные ткани от пят до глаз. Я оставлял на ней лишь один серебряный браслет с замысловатым узором в виде множества линий. Потом моя рабыня стала приходить ко мне тогда, когда ей самой вздумается. И я терпел и ждал.

Если из небесных райских кущ на нашу грешную землю спускаются прекрасные пэри, то Кыз была одной из них. Надо ли говорить, что я выполнял все ее прихоти? Все перевернулось, и я теперь стал ее рабом. Когда ты проклинаешь восход солнца и целый день в оцепенении ждешь лишь наступления ночи, тоскливо гадая: придет она или нет .. , то твоя жизнь уже тебе не принадлежит. И как бы ты не наслаждался этим нектаром, не ты алкаешь, а пьют из твоих сосудов. Но ничего другого теперь в этом мире я не хотел и ни о чем другом и не мечтал. Я готов был отдать за одно лишь прикосновение к ней все царства и все драгоценности в мире. Она уже знала, что я ее полный пленник, но до окончательного приговора не хватало моего признания. А здесь я упорствовал, не отпуская соломинку спасения в глубинах темных вод страсти. Каким-то десятым чувством я осознавал, что, случись мне лишь заикнуться в том, что я ее люблю, я оказался бы в роли лишившегося последней монеты наркомана перед захлопнувшимися у его носа дверьми опиумной курильни.

Чтобы как-то скоротать время, я принялся рассказывать туркменам истории о страданиях святых и праведных людей. И я плакал вместе с ними, не скрываясь. Они – о муках избранников Аллаха, а я – о своем. Сентиментальность всегда кочует рядом с жестокостью. В таких беседах проходили дни и вечера, и вдруг до нас долетел хабар от хивинского хана о движении в его владения со стороны Каспия уральского наказного атамана генерала Веревочкина, а со стороны Ташкента генерал-губернатора Гауфмана. Мои байки настолько полюбились туркменам, что сразу тысяча всадников согласились выехать со мной. Впрочем, им все равно было где и с кем воевать, лишь бы дым и пыль столбом, да трофей был бы побогаче.

Кыз, как только услышала о моем отъезде, впав в страшный гнев, исчезла. Глупо, конечно, говорить любимой о долге, чести и прочем таком, что только злит ее.

Как я выезжал из оазиса Нурберды – отдельная песня. Казалось, движутся только мои кости с лохмотьями от мышц, а содранная с меня кожа с моим сердцем осталась за моей спиной на съедение собак.

Проводить нас соизволила сама госпожа Юлдуз-ханум. Она молча и прямо сидела с парандижой на своем лице в позолоченном седле на ахалтикинце белоснежной масти. Когда она погнала своего скакуна прочь от нас, запястье ее руки, подтянувшей уздечку, заголилось, и я увидел знакомый исчерченный линиями серебряный браслет. Словно молния ударила в меня, и я зашатался в седле. Туркмены тут же преподнесли мне свою белую мохнатую папаху от солнечного удара.

В Уч-учаке нас уже ждали мои семь сотен киргиз-казаков, и мы одним отрядом встали в авангарде хивинского войска. Время от времени я получал рекогносцировочные сведения от своих разведчиков о движении русских колонн через Кызылкумскую пустыню. Когда они двинулись на Хал-Ату, а затем на адово пространство под названием Адам Крылган (Погибель Человека), это всех удивило, так как избранный путь был самый тяжелый и непроходимый для пеших войск с артиллерией. Хивинцы предположили, что если не вся армия, то большая часть ее непременно погибнет в песках. Предположения стали подтверждаться слухами, обраставшие у нас фантастическими подробностями. Киргиз-казаки рассказывали даже о ныне бродящих в пустыне скелетах в мундирах. Хивинские полководцы предложили мне выйти к Адам Крылгану и встретить там русских первым боем. Я захватил с собой 300 верблюдов с водой в турсуках, с провиантом и фуражом и двинулся к противнику.

Туркмены направились в пустыню охотно, а я с киргиз-казаками был очень недоволен. Текинские удальцы, привыкшие к голым и безводным просторам, принялись шутить, громко рассказывая о барханах, мгновенно, как драконы, проглатывающих всадника с его лошадью. Киргиз-казаки в ответ лишь хмурились и с тревогой оглядывали царившие вокруг в пути песчаные гребни и впадины.

Подойдя к русскому лагерю, я увидел, что солдаты нисколько не утомлены жарой. Они встретили нас энергичной пальбой из всех ружей. Но более всего устрашающее действие произвели несколько ракет, разорвавшихся за нашими спинами. В них больше грохота, чем поражающего результата, но каков был эффект! Это сильно смутило мое воинство, и я вынужден был отступить. Здесь и началась трагедия. Туркмены успели к нашему обозу первыми и, нисколько не смутившись, захватили весь караван с водой. Киргиз-казакам досталась два осла с

дранной веревкой. И первые и вторые, разгоряченные случившейся стычкой, были обозлены своим бегством с поля боя. Пожалуй, ничего бы и не случилось, если бы оставшиеся без воды мои всадники пристроились бы в хвост уходившему туркменскому отряду. И, конечно же, всадники пустыни делились бы запасами, достаточными и им и всем другим, включая тех двух ослов с веревкой. Но на крутых плечах сырдарьинских джигитов были головы не менее горячие, чем у их южных соседей. Здесь бы мне надо было поспешить с решением возникшего конфликта, но я был занят тем, что поглядывая в сторону русского лагеря, обдумывал еще одну возможность совершить атаку. Киргиз-казаки наскочили на туркмен и принялись сбивать с их бритых калганов папахи с возгласами, которые вообще были не к месту: «Вас персы в море солили!». И началась обоюдная резня. Если бы мое воинство с таким отчаяньем и лютостью кинулось полчаса назад на русские войска, мы гнали бы их до Урала. Не успел я и глазом моргнуть, как с обеих сторон полегло несколько сотен людей. А ведь тогда от пальбы, от которой все они бежали, был убит один да ранены двое-трое. Но самое ужасное состояло в том, что в ходе этого братоубийства пулями были уложены почти все верблюды, продырявлены кожаные сосуды с драгоценной влагой.

Выжившие в этой безумной битве расхватали оставшиеся в целости торсуки с водой и устремились, устрашась сотворенного, врассыпную, стремясь спастись в одиночку. В стороне остались я и Осман Васильев. Мы было двинулись к одной кучке, увозившей своих родных раненых и мертвецов, но они встретили нас злобными криками и выстрелами, подбили под нами лошадей.

– Убьют, Ваше благородие, – с тоской произнес бывалый солдат. – За воду теперь убьют непременно.

Так мы и остались с ним одни в раскаленных песках. В один час весь мой более чем полуторатысячный отряд исчез в пустыне, как круглоголовые ящерицы, мгновенно проваливающиеся в барханы.

На третий день пути среди голых просторов мы с Османом Васильевым вышли к сухому короткому рукаву золотого русла исчезнувшей в песках речушки.

– Я так думаю... если б среди людей свободно жили и паслись вольно благородные животные, то и люди, глядучи на них, стали бы душой выше, добрее, не подобно скотине ... жили бы вольно, как ангелы.

– Разве тебе мало вольных зверей было на твоей Смоленщине, птиц божьих? Зачем тебе слон?

– Звери-то вольные есть у нас... только слон он для всех заметнее. Его, как церковь, видать со всех сторон.

– Вот в церковь и ходил бы... к ангелам, дурак.

– И правда – дурак, Ваше благородие, – отвечал он мне. – Как подумаю, на что жизнь положил, так тошно станет, хоть вешайся.

– Вешаться не стоит, – благоразумно ответил я. – Сами скоро тут подохнем.

– Только ты тоже не умнее меня, Ваше благородие, – шелестел серыми губами Осман. – Из сопревшего халата хотел новый кафтан скроить. Ты его тащишь с чужих плеч, а он по швам идет, вата лезет...

Говорить, тем паче спорить, не было сил. Да и желания.

– Вставай, Осман Васильев, – приказал я. – Пойдем. – Надо идти, – согласился он, приподнимаясь. – Только золотишко бросать жаль.

– Это не золото, – отвечал я, пытаясь разжать кулаки с самородками. – Это мираж.

– Что за слово такое?

– Мираж? Вот как увидим стадо твоих благородных зверей со слоном во главе, так и будет мираж.

Мы продолжали сидеть в золоте, подгребая его под себя, еще день, еще ночь... Магнетизм этого желтого металла настолько был силен, что даже лицо невозможно было поднять. Оно само казалось тяжелой золотой маской и тянуло голову лечь глазами, ртом в золотой песок. Слиться и скрыться под пластами песка.

Есть буддийский трактат о Золотом Льве. Статуя льва вылита целиком из золота. И каждая шерстинка на его золотой шкуре из того же золота, что и его глаза, когти и прочее... Между ними нет преград и различий, и они, отлитые в форме разных частей, все равно плавно перетекают друг в друга, ибо золото ни там, ни здесь ничем не отличается. Волосок на кончике уха незаметно втекает в голову льва, голова – в тело и во всю суть льва, а сам целый лев в обратном порядке переходит в голову, в ухо, в волосок. И так, бесконечное множество раз, что свидетельствует о том, что каждый волосок содержит в себе бесконечное множество львов, а лев – бесконечное множество волосков, которые сами вмещают в себя царей зверей без числа и различий. Без конца, словно жемчужная сеть Индры.

Спокойно умереть – целая наука. Прежде всего, следует отказать воображению. Однако, когда тело гаснет и стынет, фантазии бурлят, как кипяток. Ты видишь себя в будущем с родными, любимыми людьми, представляешь себя даже в компании до сего дня неприятной для тебя и представляешь, как ты их простил, а они – тебя, и как будет радостно всем. Сотни картинок возможной жизни, иногда взаимоисключающих, годны и волнительны, и ты непременно

должен быть их участником завтра, через год, всегда. А как же иначе? Без тебя никак нельзя, всё и все пропадут, пострадают. Потом воображение рисует перед тобой черный зев могилы, как ты лежишь и гниешь в ней в червях и слизи.

Не надо ничего представлять, а просто думай о том, как золотой лев тонет в волоске своей золотой шкуры, и из золотого волоска выплывает целый царь зверей, никуда не движущийся и никем не движимый. И наступает миг, когда суть золота и форма льва становятся исчерпаны, волнения и мысли больше не рождаются. И нет ничего, что манило бы тебя или теснило. Преграда смерти преодолена без страха, страданий и сожалений, и ты вливаешься в потусторонний мир, как золотой волосок в золотого льва, зная, что остаешься все равно все тем же золотым волоском, в котором все золото льва.

Но к моему глубокому огорчению все эти буддийские размышления не научили меня науке спокойно умирать, видимо, я уже достаточно сильно пропитался истинами ислама, указывающими на другой путь, впрочем, возможно, на ту же вершину. Я добился лишь того, что снова, но уже не во сне, а наяву стал видеть все того же индусского божка Гамешу со слоновьей головой. Он мотал хоботом и говорил со мной. Все было бы в пределах приличия, если бы в нашу беседу не влезал со своими репликами Осман Васильев, дезертир и хивинский золотовладелец.

– Ты кто? Зачем ты? – строго вопрошал меня этот урод с хоботом.

Я не знал ответа. Только спросил:

– Я умираю?

– Да, – был ответ.

– Зачем мне жить, если я жил не так, как думал?

– Не тебе решать. Я согласился с этим последним кратким доводом, встал, вцепился в его хвост, позволив сделать то же самое и моему собрату по несчастью. И мы зашагали. Осман Васильев, правда, все ворчал:

– Слон – не вол.

– Это джин, – отвечал я. – Шагай знай себе.

В Авганистане Осман-Олег умрет болезни хмуру. Я не знаю ее латинского названия.

Уверенность, что моя жизнь наконец приняла естественный ход оказалась иллюзией. Песок подземных проходов не только увлекал меня дальше и дальше во времени, но, как оказалось, старил. Впервые я это понял, когда вдруг оказался среди совершенно незнакомых людей в странной одежде и со странными манерами, составившие некое товарищество. Так они себя

называли: товарищи. Но не торговый дом, а, если судить о том значение, какое они придавали символам и ритуалам, то это было что-то близкое к массонской ложе, открывшееся с приобретением власти. Но самое главное – из моей памяти начисто вымыло лет пятьдесят, словно я и не прожил их. Впрочем, я был настолько стар, что меня особенно не заинтересовало даже то, что царь был давно свергнут с престола. Удивительно, что губернатором, по-нынешнему – комиссаром, в нашей киргиз-казакской области теперь был товарищ Голопузов, из выкрестов. Вот уж не думал, что это племя возьмет такую силу в России. И как водится, при правителе крутился быстрый в своей угодливости толмач из туземцев. Охрана, правда, как и прежде состояла только из русских.

Товарищ Голопузов лично просматривал составленное на меня пухлое дело и характерной речью укорял товарища толмача: «Где же, товарищ, сведенья о его деятельности за последние десять лет?». Здесь и я стал прислушиваться, совершенно не мешало и мне узнать, где я жил-пропадал полвека. Допросили кучу народа, прокопали кипы бумаг, но все безуспешно. А отпустить меня они упрямо не желали, видимо, считая очень важной персоной. Надо думать, они на манер французских коммунаров вели борьбу с аристократами. Но кроме меня, у товарищей было еще много важных забот. Между многих дел они выбирали и концентрационное оседлое место для кочевников еще одной волости.

– Здесь мы будем строить социализм, – наконец решил Голопузов и ткнул пером в карту,оставив на ней черную точку, и, им же указав на меня, добавил. – И этого дряхлого падишаха туда же.

Так я попал в селение вдали от дорог и воды, которое еще не существовало, но уже имело название – Точка.

Но прежде я еще должен был туда дойти, что удалось далеко не всем из тех тысяч и тысяч людей, кто этапировался в точку, указанную, без сомнения, железным перстом.

Перед глазами вычерчивались не отдельные фрагменты движения, третьи, десятые, какие-то, и они не раскручивались лентами в своей временной последовательности, а виделись мной как единое целое, как мы видим даже не разрисованный холст в раме, а скульптурный объем. Мною зрились трое людей, неразделимо спаянных роковым обручем, тяжелым, как серебро. Стояли: высокая старуха с тонкими чертами лица, когда-то, без сомнения, прекрасного, и костлявый старичок, пустой, как тень, за простоватой

физиономией которого скрывался другой облик, неуловимый, коварный. Плотный же старец с широкими некогда крыльями плеч, теперь обвисших, грузно сидел на земле спиной ко мне и молча, сосредоточенно что-то мастерил. И я не то чтобы понимал, а знал всю свою жизнь, что этот старец потомственный бий, еще несколько месяцев назад могущественный в степи, как визирь Порты, извечно богатый, владетель над тьмой народа. О нем говорили с уважительным придыханием: «Байеке». Старуха являлась старшей женой Байеке. Две другие были вне моего видения, но где-то на краю сознания угадывалось, что одна из них уже удачно вышла замуж. А самая младшая возвращена в дом отца, где сидит с полураспущенными волосами и, покачиваясь, бормочет одну и ту же персидскую сказку в стихах о несчастных влюбленных. А эта с Байеке. Ей шестьдесят, еще год назад она выглядела ладной, подбеленной сединой женщиной. Сейчас она просто старуха без возраста. Она была неотделима от своего супруга и звалась «Байбише». Вертлявый старичок был другом детства Байеке, приживалой в его доме. Тень Байеке. Тень, оторванная от ступней хозяина, но топтаемая им. Его кликал «Сая-шал».

У них отняли скот – тысячи и тысячи лошадей рода Байеке были согнаны к безводной, с горькой полынью земле одной из железнодорожных станций, да не было на запад вагонов для животины! Вот и сдохли скоро.

Они были отброшены и гонимы от той жизни, возвышенность которой являлось сутью ее. Когда-то дорогие платья теперь висели на них пестрыми лохмотьями, а сафьяновая обувь покрывалась сухими язвами потертостей.

Они были истощены: то, что перепадало Сая-шалу, попрошайничавшему на дорогах и у аулов не хватало им всем троим даже для птичьей сытости. А сейчас они страдал и от жажды.

Байбише и Сая-шал встали, чтобы идти дальше. Они уже долго так стояли и ждали, когда соизволит тронуться в путь сам Байеке. Никто и никогда не осмеливался указать, что следует ему делать. Всегда ждали, что он скажет. Но Байеке несуетливо продолжал мастерить что-то невидимое никому, неведомое за его спиной и мне. Я пытался понять, узнать... Но предел моих духовных сил все же не позволил мне заглянуть за его плечо. Несмотря на то, что мое старание было столь сильным, что я, кажется, уже превратил себя в насекомое, способное выдавить свой глаз на растягивающимся и гибком стебле из глазницы. Это было не праздным любопытством, это было потребностью, равной потребности дышать. Но я оставался недвижим и что страшнее всего, изначально понимал, что останусь таким.

Байбише и Сая-шал все стояли в ожидании томительно долго в стороне, и, наконец, она, подбадриваемая взглядами старичка, решилась и робко промямлила:

– Байеке, пожелаете ли идти дальше?

Ответом было ничто. Еще через полчаса старуха приблизилась бочком к мужу и было собрались что-то еще сказать, но, нечаянно заглянув за плечо мужа, в ужасе вскрикнула и застыла, как заледенелая полоска ткани на деревце у грузно осевшего древнего мазара. Но вот она под тяжестью ледяных наплывов при резком ветре переломилась, как переломилась в ней покорнонемая ее сущность старой бабки. Она вскричала:

– Байеке, да что вы?! Да разве нам можно? Как же так... Нам не надо этого, не надо...

Но Байеке не слышал ее, продолжая свою работу. Сая-шал встревожено забегал мелкими шажками, но приблизиться к хозяину не посмел. Старуха рухнула на землю, как падают-садятся годовалые дети. Она продолжала вскрикивать, поднимать пыль хлопаньем ладоней о землю, затем принялась умолять отказаться Байеке от своей затеи. Вначале она время от времени замолкала, но затем с каждым разом все в более резких тонах перешла на укор. Совсем недавно подобное вольнословие закончилось бы для нее позорным истязанием, но сейчас Байеке словно не замечал ее дерзости. Он был глух и неистов в своем намерении. Под рыдания старухи он продолжал все также ритмично что-то вырезал, подтачивал. И я мгновенно понял. Байеке создавал примитивный символ своей утерянной власти, похожий то ли на скипетр, то ли на айбалта – древний боевой топор, я не знаю. И никогда не узнаю, что именно, но то, что это должен был быть символ неограниченной власти, я уверен.

Старуха, обреченно всхлипывая, твердила в спину супругу:

– Зачем? Зачем нам Это? Не надо, не надо. Бог мой, как же мы теперь будем? Мы нищенствуем, мы бездомны, отвержены, несчастны, но все еще не смешны! Нас пока никто не принимает за умалишенных. Нас жалеют, Бог мой, теперь, когда мы пойдем с Этим в руках, над нами начнут смеяться... Нас примут за шутов, за помешанных... над нами станут издеваться грязные мальчишки и аульные полуумки...

Она не понимала, что голодный, как и они, народ, давно потерял смех. Во все свои лета красивая, она всегда была чуть глуповатой. Горько стеная, она встала на четвереньки и двинулась к мужу, пытаясь вцепиться ему в руку, остановить, отрезвить... Но Байеке, продолжая свое дело, лишь резко и

больно оттолкнул ее локтем прочь от себя. И она, поднявшись и пошатываясь, двинулась к встревоженному, но в мыслях сосредоточенному на единственном верном для него решении Сая-шалу. Сая-шал тоже обо всем догадался. Теперь надо было идти дальше, быстро уходить от трупа, труп уже смердит. Он ловко схватил старуху за запястье и потащил ее в сухую степь. Шел он не оборачиваясь, Тень без хозяина.

Старуха шла рядом с ним и тихо без слез плакала, причитая как по покойнику:

– Как же так? Как мы без него? Невозможно, невозможно... Я не могу без него, не могу ... Всю жизнь с ним... одним... только с ним... люди, как вы жестоки, зачем вы так к нам? За что? Нет, люди... вы всегда были жестоки, всегда... и тогда... и сейчас... Тогда вы распускали обо мне сплетни... как жестоко... пытались наговорить ему на меня, разлучить. Шептали ему, что я ему изменила ... я была молода, не могла ответить жестокостью на жестокость, а сейчас я слишком стара... Но я никогда, не изменяла ему, ни с кем, никогда ни в мыслях, ни телом... Я всегда была верна ему! Всегда, во всем... как сейчас... верна...

Сая-шал твердо вел ее. К людям с красным знаменем. Они сегодня самые сильные. У них винтовки и они умеют заставить сходить с ума от голода. Великая власть. Сухие губы собрались пупком, но за этим узлом он прятал наглую, широкую, бодрую ухмылку. Кому она рассказывает о своей верности и невинности? Ведь это он, именно он, лет сорок тому назад свел того дерзкого батыра с ней и держал коней за уздцы, когда тот удалец нежился с молодухой Байбише, и уши его помнили все до самых скрытых оттенков воркования ее и того красавчика, и ладонь его помнила тепло слитка серебра, данного ею ему за услугу тайную там, в тальнике... и он молчал... и не только из-за серебра. Его хозяин, его Байеке так и не узнал то, что знал он. А это было так сладко... Теперь не узнает никогда, хотя можно было, и сказать напоследок, но важно ли это сейчас? Да важно ли это теперь самому Байеке? А вдруг – нет?! Если это так, что же тогда важно в этой проклятой жизни? Что?!

Сая-шал остановился, упал на колени и вдруг осознал, что этого никогда не сможет понять, длись его жизнь хоть еще на земле, в раю или в преисподнею. Но он встал, и они пошли дальше, все дальше... дальше... дальше вдвоем.

Я прошагал мимо множество точек, куда голод или конвой согнал мой народ. Я был в юртах белого войлока, где лежали человеческие останки с протянутыми руками к пустой серебренной и фарфоровой посуде. Я видел как отогнанные от хозяев в ущелья или на песчаные берега рек от бескормицы дохли бесчисленные отары овец и табуны. Кони вырывались, их расстреливали из орудия, напоминавшего маленькую пушку, но выпускавшего сотню винтовочных пуль в минуту. Я офицер в прошлом и уверяю вас: с таким оружием война превращается в бойню и становится бессмысленной.

Товарищ Каин добил Авеля.

Никто даже не задумывался: за что? И кому было пытаться понять это, если еще вчера свободные люди не понимали даже что и кто теперь они. Так ведут себя кони, загнанные в тайгу. Чтобы выжить, им надо еще до захода солнца научится жить, как живут медведи, рыть копытами себе берлоги и сложится в них так, что бы не ушли из них остатки тепла от прежнего очага, ведь надо в любом случае переспать снег и морозы. Назвать их лошадиным племенем уже было нельзя. Но и косолапыми они не станут. Быть им что-то вроде коне-медведей.

Никто в истории не сохранил первозданного вида. Дороги длиной в сотни лет проходят народы, чтобы стать иными, чем прежде, хуже или лучше – не важно. Но мыслимо ли, что для этого перерождения отводилась лишь точка?

Вот приметная картина. У железной дороге прилеплены несколько рваных лачуг, в одной кипит котел, в нем картофельные очистки, выброшенные за двор бабой служащего станции в голой степи. Жители этих лачуг празднуют – за три года оседлости в их роду появился первый ребенок. С десяток женщин, прежде рожавшие плодовито, как барсучки, с изумлением и трепетом в животах разглядывают желтое личико младенца. Мужчины говорят о том, что может быть на станции им скоро за работу на насыпях дадут «мертвую ногу» – так они называют колбасу – и их жены округлят, как когда-то, свои зады и будут вываливать из себя им детей, как из мешка. Мое присутствие их раздражает. Прежние привычки требуют от них зарезать для гостя барана, но они сейчас сами скот для заклания. Причем самый паршивый, не стоящий ножа. И им стыдно. Не был бы я седобородым старцем, они бы, пожалуй, от злости на себя, на весь свет и Бог знает еще на что, прогнали бы меня вон.

И все же они по-прежнему еще киргиз-казаки и не могут интересоваться хабаром.

– Аксакал, – пытают они у меня новости, обязательно не напрямую, а околичностями. – По прежнему ли мир движется?

– Нет, – отвечаю я. – Железный кол сорвался со звездного неба и пробил Землю насквозь. И нет теперь в ней движения.

– Вы правы. Но что же делать нам? Что ждать? Есть ли еще сила, могущая нас спасти?

– Есть. Ждите Скрытого хана, – говорю я им все ту же сказку. – Берегите детей. Скрытый хан не узнан и он среди ваших детей.

– Благодаренье Аллаху, – восклицают сбитые с седла всадники и не верят, но на всякий случай добавляют с надеждой. – Теперь мы не так наивны и никому не скажем о нашем Скрытом хане.

Так я бродяжничаю от Точки до Точки. Но меня абсолютно не устраивала судьба Агасфера, вечного жида, проклятого Христом. Теперь я хорошо понимаю этого никому не нужного старикашку, то вышагивающего тоскливо в подземелье вокруг столба кругами, то вымаливающего в монастырях прощения и спрашивающего каждого с надеждой: «Идет ли уже человек с крестом?».

И здесь все возраставшая во мне тревога, даже горе приняло ясную форму моей вины. А что случилось с тем мальчиком, на которого Садык указал, как на Скрытого хана? Каждый раз в каждой жизни я встречал его и... забывал о нем. А выжил ли он? И если выжил, то наверняка остался бродягой, мозг которого остался в девственном состоянии.

В каждом человеке живет и господин и раб – идея сия стара, как мир. Как в груди каждого, пусть даже самого беззаботного и благодушного итальянца, непременно затаился властолюбивый Цезарь, так и у сердца каждого киргиз-казака еще бьется сердце Аблай-хана – Скрытого хана. Герой Эллады Геракл убивал не поражаемых стрелами львов, вепрей, гидр, добывал золотые яблоки, чистил царские конюшни. Эллины не включили в этот идеальный для них ряд двенадцати национальных подвигов подвиг спасения ребенка. Не от того ли они исчезли, как народ, как страна, что все семь подвигов, совершенных Гераклом исключали спасение ребенка? А ведь самого Геракл и памяти о нем не было бы, как героя, не будь его воспитанников – кентавров, обучавших его, отброшенного богиней Герой от своей груди, с младых ногтей искусствам и борьбе?

Я настолько стал стар, что добраться до горы Казыкурт было для меня задачей – как до Луны пешком. Но Аллах милостив – добрался. Я нашел там полузасыпанный ход к подземной дороге, вполз в дыру и, упав в

совершенном бессилии на песок, лишился сознания... и оказался у брошенного жителями из-за угрозы гибелью городка Токмака. Снова офицером и в ту минуту, когда один из доблестных завоевателей штаб-офицер Добровольский объяснял художнику, любителю киргиз-казакской вещи и пейзажа Знаменскому кто и зачем тот мальчик с недоразвитым умом:

– Мальчуган – идиот. Плетется за нами третий день.

Мне хотелось напомнить товарищам по походу, что в античные философы называли идиотами тех частных лиц, кто сам отстранился от племен и полисов, но воздержался и произнес совсем иное:

– Это мой потерянный сын, – сказал я и под изумленными взглядами поднял ребенка в свое седло.

Мистический роман «Восстание Невидимого» рассказывает о восстании казахов Младшей орды с невидимым вождем с телом быка и головой человека против властей Российской империи.

ШАХИМАРДЕН

Восстание Невидимого

роман

Доношение Его Превосходительству господину тайному советнику, кавалеру и Оренбургской губернии генерал-губернатору И. А. Рейнсдорпу.

Ваше Высокопревосходительство, 6 сентября 1775 года я по Вашему же высокому приказу совершил под видом купца Саитовской слободки в татарском платье проезд к аулам солтана Младшей киргис-кайсацкой орды Досали, вставшему своими кошами у речки Илек. Сей Досали-солтан, предполагаю, дознался о целях нашего прибытия и задержал мой караван в двух верстах от своей ставки. Сам же прибыл к следующему дню, до этого же времени принудил нас заниматься разговорами с посланными им старейшинами, поразившими меня способностью есть день и ночь и при этом вести беспрерывно пустые беседы. От вынужденно съеденного мяса целой овцы, я к прибытию самого солтана захворал и имел некоторое ослабление головы. Только этим могу объяснить я то, что людишкам Досалы удалось держать меня в беспамятстве и кроткости. Однако не могу не думать и о возможности поднесенного мне какого дурного зелья. Усердия же я не терял и свидетельством тому являются все те слова, которые были сказаны между ними и мною, несмотря на ихнюю хитрость, услышаны и запомнены, как если бы их речи мне выжгли на коже. А говорилось страшное. Вида я о своем познании не подал и продолжал с жалобами хворать. На третий день я поправился и стал просить вывезти меня в аулы, ссылаясь на невозможность задерживать далее свои торговые дела. Нужным старшинам дана была дача и сукном и серебром. Однако ж меня всячески отговаривали оне, уверяя, что

никто из тех кочевников, что собрались здесь густо, не соблазнятся нашим товаром, что люди эти злы и непременно убьют нас, а их, старейшин, да и самого солтана они де, черный люд, нынче и слушать не желают. Я все же принялся настаивать провести меня в аулы, что собрались близко к сотне и к этому найти мне хоть какого-нибудь служивого человечка, который смог бы меня сопроводить. Такой малый нашелся, назвался Жанболаткой и вид имел тишайший. А худшие мои подозрения в скором времени подтвердились. Не успели мои работники приступиться к нашим товарам, как со стороны аулов подошла к нам большая толпа озлобленных тамошних мужиков, средь которых многие имели в руках дреколье, а некоторые и тесаки. И собралось их вокруг нас тьма. Прежде они принялись требовать от нас ружья и порох. Когда же мы отвечали, что оружия не имеем, а затюкованы у нас только ткани и котлы чугунного литья, они закричали, что мы не купцы вовсе, а лазутчики. Хотели нас тут же смертно бить. Мы же божились особливо шумливым, что мы истинно сеитовские купцы и не шли вовсе к ним, а идем мимо в Бухару, здесь же только с ночевкой да хотели чуть приценицься. Те же кричали, что все одно: раз они, казахи, встали военным лагерем, то и ко всем проходящим у них один счет. Впрочем, работников моих решили после всяческого ора отпустить мирно, а железо, какое есть в караване, самым что ни есть разбойничьим образом взять. Про котлы же и про то, что из них возможно отлить не токмо ствол единорога, но и пушки покрупнее, кричал не азиат, а рыжий дядька и кричал, не скрываясь отчасти и на русском языке и был он до того скотского состояния пьян, что лез драться и обниматься в единое время. Через час весь наш товар был разграблен, сотоварищи мои и работники бежали вспять, а я остался, желая выполнить взятое на себя дело до полной известности, не жалея живота своего. Для естественного вида я плакал и кричал, что разорен и непременно буду судиться с этими грабителями даже под угрозой смерти. Думаю, смелость моя им понравилась да и отчаянье, написанное на моем лице, так вопило о моей правоте, что они меня оставили. На помощь мне пришел Жанболатка. Он меня, рыдающего и взывающего к Аллаху, увел с собой, дал мне коня и мы отъехали от того беспокойного места. Путь наш был недолог, и скоро мы спешились у отстоявшего от всех в стороне маленького аула из трех юрт, одна из которых особенно возвышалась и на куполе своем имела позолоченный полумесяц. Однако ж Жанболатка повел меня не к ней, а в ту, которая была из них самая неприметная.

Он взял меня в нее и словно тут же забыл обо мне. Я же присел на войлок и стал думать, как мне дальше быть. А так как никаких событиев более не случалось, я, незаметно для себя, заснул и только глубокой ночью очнулся от дикого человеческого рева. В испуге я было кинулся вон, но меня успел перехватить появившийся невесть откуда тот рыжий, что собирался отливать из моих котлов пушки. Толком я ничего не понял, да, видимо, Бог спас. Выбежи я в ту минуту наружу, так сразу же нашел бы свою смертушку. Рев продолжался долго, слышался и лязг железа.

Я, дрожа, все же принялся выпытывать у рыжего, что же это такое. А он в ответ скорчил такую пренеприятную рожу, коя раньше вызвала бы у меня разве что усмешку, теперь же я от нее еще более устрашился. До холодного пота. Так что приходившие в Оренбург слухи о атамане мятежа младшей киргиз-кайсацкой орды Невидимого верны. Невидимый этот — Человекобык со стальной спиной.

Он явился и изрек слово свое.

Назвал меня: Несчастная.

Родительница ее, угрюмая коренастая женщина, не раз слышала еще девочкой от аульных старух, что младенцы, явившись на этот свет, еще не зная человеческой речи, лепечут на языке ангелов. Сапура была ее первым ребенком, и она, иногда часами сидя у колыбельки, ожидала еще не звучавший лепет доченьки.

Расчетливая и деловая в быту, мать Сапуры тайно и страстно верила в чудеса, хотя ни раньше в ее шестнадцатилетней жизни, ни позже ничего сверхъестественного, божественного или, пусть не будет упомянуто, дьявольского не происходило и не произойдет. Дождалась она лишь боя, когда ее муж, редко бывавший дома, как-то захотел ночью пить и в полудреме, мучимый жаждой, шлепал губами, когда посланная за кислым молоком его женка вдруг уселась у колыбельки проснувшейся дочери и чего-то там, замерев, ждала.

Бил он ее долго, как бы про запас, так как отлучался он из дома на месяц, иногда на три. К утру она раньше срока родила второго ребенка и больше прежними, почти девичьими, забавами не занималась.

О первенце своем она уже не заботилась. К году стало ясно, что это дитё не удалось. И тельцем, и умишком. И правду сказать, Сапура росла нездоровой, и хотя не стала лепетать, как ангелочек, но все же не хныкала, была не плаксива. Оставленная в каком-нибудь закутке в тряпье, она неделями горела жаром, покрывалась гнойничками и коростой, но не умирала. А вот рожденные после нее сестренки, белые, упитанные, с веселыми и смышлеными глазками, рано начинавшие говорить и бегать, не доживали и до семи лет. Она же почти ничего не понимала, даже когда ее брали на руки и говорили с ней, все втолковывая и ласково. Если ей не давали есть, не ставили перед ней чашку или не всовывали ей кусочек баурсака, она оставалась голодной. А забывали часто и подолгу. Ей бы научиться просить и даже красть какой-нибудь особенно сладкий кусочек, как делали ее сестренки, но она просто не догадывалась, что такое возможно.

Когда в дом приходили гости, ее, слюнявую и нечесаную, заталкивали с глаз подальше. Да и без посторонних взглядов она вызывала раздражение своей неухоженностью и очевидной никчемностью. Даже бить ее не били из-за опасения забить насмерть — не умела она и разжалобить, словно кукла тряпичная.

Животное — вот было ее второе имя, мать так её и называла:

— У-у, мал!

Так она и жила, сидя неподвижно днями и ночами. Так же было и в тот день, когда умерла ее родительница.

Мир не делится во мне на Я и Остальное. И так было вечно.

И вдруг часть моя — большая, разумная, питающая — вначале возбудив тревогу и страх в той малой, лишенной ума, с вялыми, примятыми ручками и ножками части, плававшей плотно, но уютно в лоне первой, отлила от нее воды, хлябь небесную, а затем принялась упруго, безжалостно схватками выталкивать ее из себя в гибельную холодом, жестокостью и хаосом дурных звуков пропасть. Ужас охватил этот комочек-изгой, вот-вот только плод материнского тела, а в этот миг — младенца.

И я, потеряв великую часть свою, выпав в чуждое мне пространство, впала в беспамятство. Я очнулась ни с мыслью, ни с голодом, но с обидой.

С той секунды единственной верой во мне стала всепоглощающая страсть воссоединиться с матерью, и я замерла. Какая-то связующая ниточка между нами появилась почти сразу: струйка молока из ее груди — живого сосуда, с которым меня когда-то единила разорванная пуповина. Родное мне тепло, родной вкус, родное биение живой ткани, родное сияние надо мной ее души, но меня сразу же отнимали от всего этого единственно сущего для меня, как только крохотный желудок во мне наполнялся, — и я помимо своей воли начинала отрыгивать лишнее.

Я возненавидела это ощущение нутряной сытости. Потом, гораздо позже, я осознала, что дышу. Воздух, вливавшийся в меня, соединил меня с небом, и я поняла, что та женщина, малой частью которой я была и которую принимала за весь мир, лишь матка иной Матери, чье величье непостижимо.

Это понимание мне позволило не умереть и сопоставить в этом мире, как глаз в глазницу или ноготь в подноготье, такие, казалось бы, не сходящиеся формы, как солнце и стон, как говно и пепел. Тогда я постигла Землю как Мать свою. И имя ее Умай. И такой я почувствовала себя ничтожной пылинкой, что замерла и ничего не смела.

Но не одни ли одёжи у нас с матерью?! С ноября урочища для тебеневки скота выбирались поближе к зимним поселкам — кыстау, и табунщики чаще бывали со своими семействами. Еще день назад его жена разжигала в полуземлянке домашний очаг, а сегодня, молчаливая и неподвижная, умирала. А он сидел у самой двери, дощатой, обитой кусками войлока, и ждал ее смерти, надеясь, что кто-нибудь и его заберет с собой. Возвращаться к чужому косяку лошадей и снова менять место обкромсанной черной кибиточке так, чтобы бег лошадей при усилении метели пришелся прямо на него, на несколько вздохов укрывшегося там от промораживающего ветра, чтобы он смог вовремя выскочить под копыта с криком: «Айт! Айт!>», не было ни сил, ни надобности. Как одинокого вдовца его в эту зиму прокормит и родня, а собрать скот для второй женитьбы ему, старику, уже не удастся. Ворох одеялец в дальнем углу зашевелился, и из-под них выползла девочка лет тринадцати и устроилась с невозмутимым видом у тела умирающей. Ну да, это его дочь, как некстати он снова о ней забыл — или некстати вспомнил? Еще там, под лоскутным покровом, в своем углу, я неожиданно почувствовала, как некий жар входит в мое тело и стекает воронкой вниз. Это неведомое мне прежде возмущающее тепло принялось растапливать привычную мне неподвижность, словно я была сляпана из пресного теста, а теперь оживаю. Я выбралась в мутный полумрак и приблизилась к матери и, взяв ее за быстро остывающую руку, поняла, что это от нее... Все сразу в один час... Старая сорокалетняя женщина, почувствовав чье-то обжигающее прикосновение руки, взглянула на появившуюся нелюбимую дочь и поняла, что этот нескладный подросток — все, что останется от нее на земле. Ей захотелось закричать от отчаянья, но ее отлетающая душа была уже занята только собой и рот только выдохнул пустоту. Женщина подумала, что вот-вот ее охватит новая, еще более острая боль и тоска, но нет, пришла только светлеющая радость и истинное блаженство предпосвящения. К чему, в кого?! Да откуда ей, дуре, знать. А расскажи ей, все равно не поняла бы. Может быть, поэтому ангел смерти Азраил предпочел с ней не разговаривать, а только плевком погасил еще тлевшие угольки в очаге ее дома и когтем утащил ее душу. Улыбка посиневших губ покойной была прощанием с дочерью. Она увидела Свет. Кровь закипела во мне, закровил нос. Откуда-то сверху, с небесной тверди сорвался осколок и с безумной силой пробил мне затылок, прошил все мое тело и разорвал низ моего живота, и из моего тощего зада потекла темная кровь. Впервые я испытала животный страх перед гибелью, а между тем сквозь ранку в моем затылке в меня проник небесный лучик. Что от того, что тело мое забилось на земле в ужасе, когда душа в это мгновение покинула его и устремилась вверх по сияющей струне. Все низменное, тоскливое и негодное осталось там, внизу, как ил, и так радостно! Как если бы одним мановением святой руки я превратилась бы из недочеловека в человека и в нечто выше его. И подобно тому, как когда-то младенцем стремилась за струйкой молока из материнской груди, я сейчас потянулась за этим все расширяющимся столбиком света. Он вознесет меня, конечно, в божественные чертоги и сады, и я, наконец, стану собой. И душа

моя возликовала: верю, верю! Настало, и нет более никаких исканий вдоль своих кишок — я ли, не я ли. Верю: я, наконец, есмь! Табунщик встал и хотел в своем медлительном, как оползень, горе притянуть к себе дочь, но та мучительно откинулась назад и захрипела, прикусила вывалившийся изо рта язык и, опрокинувшись на спину, забилась в судорогах. Подол ее платья задрался, и он увидел кровь на ее длинных птичьих ногах и покорно решил, что и дочь его сдыхает. Он не знал, от чего умерла его жена, но вот забытая девочка, конечно же, от разрыва какой-нибудь внутренней жилы. Баба плохо кормила ее, если б у этой ее дочери было внутрях побольше жиру, то уж никакая жила не повредилась бы. И он пожалел, что они с покойной женой плохо смотрели за последним родным существом, пусть не совсем удавшимся. Через минуту дочь пастуха тоже стихла, он стер с ее губ розовую пену и, уложив второй труп рядом с первым, как мог помолился и встал посмотреть, нет ли в сундуке белой ткани на два савана. Полотна даже вприкидку оказалось недостаточно, а ведь нужно его еще для омовения тел. Пока он так размышлял, не замечая, что и этот последний отрез ситца он пустил на то, чтобы обтереть свои взмокшие шею и грудь, усопшая дочь его со стоном тяжко задышала. Она не очнулась, но погрузилась в сон. И он заплакал навзрыд, и вспомнил имя своего первенца, но тут же дал ей новое имя: Кайтылган жан — Душа вернувшаяся. Впрочем, в ауле ее по-прежнему продолжали звать Сапурой и считать ее придурковатой. Душа умершей жены не покинула юрту этого неудачника и после годовщины ее смерти. И все тревожила вдовца. Перед рассветным часом она появлялась у изголовья пытавшегося заснуть мужа и вопрошала: «Неужели это больное дитя все, что осталось от меня на земле?» Вдовец, чувствуя, что сходит с ума от невозможности, как прежде, кулаком или криком укротить жену, посадил дочь свою на оседланного бычка и направился с нею в далекий и чудный край Туркестан вымолить у Бога покоя. Или хотя бы денег, чтобы вылечить дочь у хорошего лекаря. Там, на юге казахской земли, въехали они как-то в селенье Карамурт, и услышал табунщик в нем хотя и понятную, но все же отличимую от привычного языка речь и понял — дальше ехать — прямо к дьяволу индусскому попадешь. И решил, что лучше умереть на своей земле, но дальше ни шагу, даже если за собой потащит его неслабый бычок. Близ города Туркестан жили два брата — Акман и Караман. Были они злы и неблагочестивы. Как-то зарезали они украденную ими лошадь и подбросили ее во двор Святого Ахмеда, чтобы опорочить его имя. И Святой Ахмед, лишь взглянув на эту поганую жертву, сразу велел братьям признаться в своих кознях. Те стали все отрицать, тогда Ахмед сказал: «Если лжете, превратитесь в собак». Что и случилось. Люди бросились бить этих псов, но одна собака от них убежала. Началась погоня, и после нее вернувшиеся люди передали ходже, что вторая собака была убита неким усатым охотником. И спросил Святой: «В каком месте?» Но у той местности не было названия. Тогда и велел ходжа Ахмед Йасави построить там селение и назвать его Карамурт — Черные усы. А его население возвел в звание своей правой руки и в своей мечети отдал им правое помещение. Карамуртовцы так были

отмечены. Отсадил на краю селения табунщик свою дочь с бычком и бежал обратно. Хотел вначале уйти с бычком, да тот вдруг заупрямился и начал метить своими рогами ему под ребра. Сапура, как ее оставили, так и стояла на том месте целый день, пока на нее не наткнулась собиравшая в степи травы старуха Доди-амма. Доди-амма, владевшая всеми семью чудодейственными предметами — двухструнным кобызом, бубном, плетью, зеркальцем, ножом, нарукавником и пучком прутьев — сразу решила ее судьбу. Она увлекла Сапуру к себе в дом, раздела догола, осмотрела и, убедившись, что та девица, принялась сразу же готовить ее к посвящению в парихон — избранницу духов. Ибо Сапура была ей послана. В этом не приходилось сомневаться. Неумные Акман и Караман когда-то попытались усомниться в святых делах и, как известно, поплатились за это своими собачьими шкурами. В первый день началось трехразовое радение — зикр. После чтения молитв с небес было послано войско духов. На третий день убили жертвенное животное. На молитвенный коврик поставили сорок тарелочек с разнообразными сладостями для сорока девушек, подразумевая, что это выставлено для духов, и прочитали над головой замершей Сапуры тридцать шестую суру Корана. Ждали: задавят ее духи или поднимут над собой. Она упала, как тень.

Я не ждала Небесный луч.

Ему имя Единица и единожды лишь есть Явление. Было рождение — обратимо то волею Божьей. Будет смерть — обратимо то волею Божьей. И было Явление. Раз и не более.

Я не молила и не жд^ла, не страшилась и не унижалась. Нет во мне Честолюбивых мечтаний и здесь чиста, в сем нет греха моего. Я ошибалась.

Подул горячий ветерок, и небо отекло печалью. Пустынно.

Лишь там, у горизонта, появилась живая родинка. Она приближалась стремительно и опасно, как всадник. Это он. Посланник.

Он сошел с неба, и он Человекобык, не поднимающий пыли бегом. Тело его о четырех ногах и покрыто оно шерстью. Хвост же отлетает по ветру, как гибкая пика. Пах его темен и мощен. Голова с крутыми рогами была мужа прекрасного и сурового. И изрек он: принеси в жертву себя. Да могу ли? Достойна ли?!

Вопрошала, сама же любила его и готова была быть им растоптана с истомой, кроваво.

Да, — вещал он. — Ты облик имеешь светлый, ты не укрощенная, которая не пашет землю и не орошает ее. Сохранена ты в целости и любима. Явление приходит раз это многим и всем. Тебе же, дева, придет Познание. Жди дня своего.

И сказала тогда Великая Доди-амма:

— Пусть выберет одну чашу из трех.

Сапура, с закатившимися под веки зрачками, протянула вперед дрожащую руку и миновала ею чаши с молоком и водой. Она прикоснулась к чаше с кровью.

Ваше Высокопревосходительство, как лицо подчиненное и отмеченное Вашей благосклонностью и великодушием, сознаю, что нужного для службы человека прежде всего отличает верноподданный слог. Однако после всех потрясений, выпавших на мою долю после прибытия в стан мятежного Невидимого, я невольно впадаю в сумбур и дерзкие рассуждения.

Не сочтите меня за литератора, Боже упаси! Однако как все описать партикулярным письмом? Дело уж слишком страшное и неясное.

Однако попытаюсь, придерживаясь фактов и показаний очевидцев и доносителей. Бунт начался среди плебеев рода Тама осенью прошлого года. А известно, что многие выходцы из этого сквернейшего племени принимали самое деятельное участие в разбойных делах вора Емельки Пугачева. Кажись, это самая верная ниточка из этого клубочка.

Примечательно, что в те же дни среди тамаевских аулов появилась некая девка Сапура. Приуральские киргиз-кайсаки прежде ее не знали, и она есть в этих местах личность приблудная. Вот тогда-то и появился первый слушок, что на эту землю явился праведный воитель Невидимый, а она, Сапура, призвана ему готовить пищу, стелить постель и передавать всякие его приказы и назидания всем, кто ниже.

Невидимого этого глазом видеть невозможно, а если он и появляется когда перед людьми, то в образе человекобыка. Потому-де и нуждается в таком доверенном лице, как его служанка или прислужница или... кто ее знает, кем она там у него.

Не лишним, видимо, будет указать, что появилась Сапура на землях Младшей орды вместе с рыжим православным мужиком, о коем уже упоминалось.

Что греха таить, да, бежал Самшуренок к изгою-царю Петру Федоровичу, зная, что не помазанник тот божий, а самозванец. Хоть Петр, хоть Федор, хоть — Емельян. Все одно.

Казалось бы, дурак, сиди, не тебя ли приласкали и звали с чином, с признанием, что Самшуренок, мол, гордость русского ума, что в Европах таким, как он, менее чем звание гения не дают. Нет, бежал. Укрылся от таких

благодетелей, коим другой какой инженер или мастеровой ручки бы целовал и немецкими губками и тутошними, в кровь разбитыми, российскими.

А все от великой обиды. Великой, как был велик сам Петр Первый. И обида была не за себя, гостя ничтожнейшего на земле этой. Обида за дело. За дело подвижения державы Российской к неведомой доселе мощи. Куда там Англии с ее мануфактурами! И, само собой, хотел вернуть ей славу Петровскую.

И не только дело знал Самшуренок, но и цели у него были ясно определены. Что и как, с чего первого начинать. А вот пробить чиновничью рать на дело это свое в Санкт-Петербурге он не смог, хотя упорен был и въедлив, как блоха неподкованная, и язык, хоть и не ломанный латынью пустой, но имел красноречивый, как у Аристотеля, в чем никогда не сомневался сам, да и было сказано ему без лести однажды прямо об этом благодарной публикой в одном казанском кабаке.

Эти кабаки от самой Москвы до Яицкого городка и встали на пути его к Пугачеву, как рогатки и бастионы.

Как-то раз Самшуренок почти уже встретился было с Емельяном Пугачевым в Пензе, да вот незадача — сам он в то утро лежал пьян в полуподвальчике местного целовальника, а надежа — государь Петр мимо проезжал по три же улочке и выпить вовсе не думал, потому как спешил очень. Бегал в тот год Пугачев от генерала-нехристя Михельсона. Так и гонялись они друг за другом: вельможа Панин с Михельсоном за Пугачевым; чудом спасшийся от злых дворян царь Петр Федорович за женкой своей неверной Екатериной; а Самшуренок за правдой. А за ними не один уже год все кружилась и кружилась Империя Российская от Урала да по Волге и под конец все же скинула с этого круга Емельяна Ивановича на Болотную площадь, что в Москве, к эшафоту с обширным помостом и балюстрадой, да столбом с колесом и железной иглой. И не узнал Пугачев ни под своим именем, ни под именем царя несчастного про одного человека, быть может и вправду гения, что мог бы изменить и его судьбу своим делом вместе с судьбой Империи, да затерялся в бескрайних казахских степях, куда и казачки не заезжали. А забрел Самшуренок в эти края неведомые потому, что тоска заела его душу до самого донышка. От того, как ни странно, за Яик-рекой никаких кабаков не встречалось. Совершенно ничего не осталось в его жизни, за что можно еще было как-то зацепиться. Так и пылил и пылил он по степи неизвестно куда, пока не встретил за последние три дня первую живую душу — молодицу из азиаток. Сидит, значит, она на кочке и глаза на него пялит. Раскосые, с зелеными зрачками. Ноги тут у Самшуренка не выдержали, хочешь — не хочешь, а подкосились от усталости, и плюхнулся он на зад прямо перед девкой. — Эй, — говорит. — Что тут сидишь? Девка промолчала, только взгляда своего от него не отводит. Стало как-то не по себе Самшуренку. — Экие у тебя глаза пустые, — говорит. — Да ты, небось,

дурная. Да ну тебя! Пойду. А дальше идти — ступни все сбиты. Решил Самшуренок еще малость посидеть. Но вот странно было с ней соседствовать, обычная баба, а ему, Самшуренку, пожившему дяде, стало боязно. Бывает так, встретишь один где-нибудь на пустынном месте какую-то неведомую зверюшку и бежать от такой малости стыдобушка и страх перед ней мучает дурной, никак разумом не объяснимый. И тогда остается только одно — заговорить это существо. И боязни как бы поменьше, и вроде какой-никакой отпор даешь. И принялся Самшуренок перед этой дикой девкой трепать свой аристотелевский язык:

— Э, да ты, девка, небось, и речи, окромя своей, другой не знаешь? Что с тобой толковать? Сиди тут с тобой пень пнем в этой некрещеной Палестине. Да кто ты такая? Молчишь? Ну, молчи, неумная. Дурка дуру и высиживает. Эх ты! Не, не бельмеса? Я-то другой, из другого, значит, теста. Но не к тому говорю, что народа другого, этим всегда ума хватало не прельщаться. Я, девка, из умственного сословия. Мало нас, терпим мы, но значим поболее, чем иные генералы. Это любой государственный человек скажет, который дело знает. Вот, к примеру, кто тут у вас механику знает? А-а... Ну, что молчишь? И по-татарски не бельмеса? Кайидан килдин?

Девица Сапура все пристальней вглядывалась в этого болтливого человека, проговорила ясно:

— Какой дух от тебя скверный... несет от тебя железом, братец.

Самшуренок, довольный тем, что все-таки разговорил эту степную особу, хмыкнул:

— Какой же я тебе братец, девка, — покорил он ее.—Я тебе, девка, дед, — и, помяв пятерней свою обкромсанную овечьим стригалой бороденку, добавил с солидностью: — Аксакал, значит.

— Уходи прочь, братец, — велела тут особа на своем наречье.

Такие бесцеремонные указы, будь они даже от самого главного министра или самого грозного будочника, Самшуренку по причине его гордости никак не были приемлемы. От них у него в голове бешеное движение происходило, а сейчас даже дрожь от недавней долгой ходьбы в коленях прошла. Хотел он было ткнуть эту дерзкую бродяжку пальцем побольнее, но, снова встретившись с ее глазами, только поводил им перед ней в воздухе.

—Дура! Кому это ты «кет» говоришь? Да ты и думать не можешь, какой я! Не я ли умом своим открыл наук вторые ворота! Не мною ли изобретено да сделано то, что богом не дано — самобеглая коляска, что ездит без лошадей — на пару и правима через инструменты двумя лишь кучерами, на ней же сидящими. Возможно ли было такое? Только в сказках мужик на печи разъезжает, а тут я! Коляска моя бегала хоть на какое расстояние и не только

по ровному месту, но и в гору. Это я, крепостной крестьянин, из деревни Большепольской Нижегородской губернии, Леонтий, сын... — и сглотнул вовремя последние слова.

Спохватился. Девка-то эта больно непроста, кто ее знает. Всю-то правду только филин в ночи ухает в такие времена. Недосказал Самшуренок своего имени, хотя оно уже вписано было в анналы российской инженерной истории. Бегала, не вычеркнешь, не затушуешь, такая самобеглая коляска по булыжникам Санкт-Петербурга с непонятным механизмом и по причине невозможной силы, потому как, скажем, у кипятка и пара какая может быть сила? Не волы и не кони. И ту самобеглую коляску смастерил в 1752 году от рождества Христова никто иной, как Леонтий Самшуренков. И хранится она нынче при музее Правительственного сената за ненадобностью в работах, а для тонких развлечений негодная. Так... курьез. И за такую механическую шутку Самшуренку была награда знатная — серебряная табакерка. Самшуренку бы кланяться да отблагодарить, а он начал выкаблучиваться, ежели, кричал, такая вещь, то должна быть она мне с портретом венценосной особы. Ему и в зубы. Да не в том обида, что стал он щербат, а в том, что на его многочисленные прошения в Сенат и выше об учреждении в России кампании по изготовлению паровых колясок и телег никакого ответа не последовало. Больше того, было ему указано с пренебрежением и остасткой не лезть в государственные интересы. И опять побили, но коли сейчас он попадется, то уж непременно дознаются, куда это он бежал, а в спешке и вздернуть могут.

— Нет... Кажись, ты, девка, ничего не поняла... — пробормотал в бородку Леонтий. — Ну и слава Богу.

Хотел Самшуренок шагать дальше, но сумерки вокруг сгустились. Ночь свою власть взяла, прямо как коварная царица Екатерина. Лег Самшуренок на спину, сплел пальцы рук под затылком и замечтался в ковыльной степи о булках и расстегаях, о горячих щах. Но скоро мысли его ткнулись в медленно вращающийся черный со звездными блестками точильный камень небосвода и притупились. «А если к этому небесному кругу какую ось вставить и туда же стрелки, и будут это часы, время мировое указующие. Здесь на земле целая жизнь проходит, а там на заоблачном циферблате только долька какая-нибудь от секундочки. Прожило свое целое поколение человечье, а там и стрелочка не качнется, лишь звоночек какой — дзинь! А если колокольчики звонят после смерти каждого человека... нет, не надо, звону слишком будет...», — поразмышлял Леонтий и уснул.

Снится опрокинувшемуся навзничь в желтой казахской степи механику нижегородцу малиновая Русь. И над ней колокольный звон. Вот и сам он, Самшуренок, стоит скромно, но в шапке. И едет к нему на пошатнувшемся коне сам Емельян Иванович в звании царя. «Здравствуй, — говорит, — Леонтий. Беда. Конь подо мной ранен и войско мое

обезлошадело. Не взять мне таким престола своего и имени своего не утвердить. Имею я намерение идти на Москву, других дум нет, как то: пойду и умру там со славою, во сражении. Ведь все я смерть заслужил, так похвальней в бою быть убиту».

И отвечал ему Самшуренок: «Не печалься — не горюй, надежа-государь. Вот тебе моя самобеглая коляска. Ее ни пуля, ни огонь не берет. А ежели на ней из стального листа избушку пристроить на манер кареты, то и картечь тебе не страшна. На ней, небось, не погибнешь и царство свое возьмешь на свободу и честь и человека достойные».

И выкатывает свою самобеглую коляску. Обрадовался Пугач, да так, что и перекреститься запамятовал. «Ах, — говорит. — Так ежели таких колясок сотня будет да на них все войско посадить, то тогда всех смести можна!» «Ну так! — загордился Самшуренок. — Что там войско, с таким механизмом и пахать, и дороги каменные класть плевое занятие... Наук вторые ворота!». «А ежели колеса у ней поширше присобачить да с шипами, то, наверное, и давить будет?» «Кого давить-то, Емельян?»» «Как кого? Супротивников моих. Пороха у меня мало, Леонтий. Так что давить больше придется». «Оно, конечно, можно колеса... но...». «А пойдем со мной», —говорит царь-атаман и крепко берет Самшуренка за руку. Вдруг небесный циферблат расслоился и теперь не часы это вовсе, а жернова. Смотрит Самшуренок, а Пугача уже всосало во вращающуюся воронку. К нему же прицепились казачки — сотня да сотня и башкирцев толпа, а они тащат за собой другой люд и какой в рясе и в армяке и в шитом золотом мундире. Только и слышно, как кости — хрум-хрум — трещат, перемалываются в млечную пыль. Тут и Самшуренка самого тянет и он уже кого-то за собой... Только не другого схватил он за запястье, а другую. Хватанул спросонья приблудную девку за руку. И сжал, взвывая от тоски и страха. А она лишь вторую руку над ним подняла и ладонью по его лицу со словами:

— Спи, братец, спи.

И потянуло Самшуренка в сон, но в успокоенный, как бы прикрытый от нечистой силы. Однако в той прикрытости была и доля появившейся его подвластности этой деве, и Леонтий весь в судорогах покривился и с натугой вывалился из своего забытья, как из петли. — Ну ты, девка! — закричал он зло. — Ты не того! Я тебе не дитя. Ишь ты! Из жерновов высунул свою голову Пугач, подмигнул Самшуренку, а Леонтий ему зло кричит: «Я тебе не кто-нибудь! Я каков был, с лицом бритым ходил. Да мне высочайшим Указом жалованье было положено как голландскому инженеру; двадцать копеек на день! Да при всем готовом, то-то. Брился у цирюльника, а у целовальника башмаки заложил, — и захохотал от досады. Пугач не отвечает и бледен уж очень. Подошел Самшуренок ближе, потянул за волосы Емельянову голову, а она без туловища! Отсечена! Вот тебе и побранился с царем... Проснулся Самшуренок то ли от досады, то ли от вновь появившейся

в ногах боли. На душе было кисло, вино перебродило... Должно быть, солнце вот-вот встанет. На горизонте христов свет уже свое благословение миру шлет. Огляделся еще раз по сторонам Самшуренок и перекрестил раззевавшийся свой рот. Девку он уже перестал опасаться, куда ей отсюда бежать доносить. А вот возьмет он сейчас и выкрикнет ей все, что у него на уме, на какую высоту он взошел, какая мощь в его кулаке зажата: кому отдаст ее — тот и господин, князь! Да что там князь, Император всего мира! Будет, будет еще времечко, когда его самосильный котел на колесах все царства покорит. Пусть знает девка, с кем ее судьба столкнула, да не стакнула. Эх, Емельян Иванович, Емельян Иванович, ты бы смог, стоя одной ногой на уральских-то заводах... А больше идти не к кому, не к персидскому же шаху... Захотелось очень поговорить Леонтию, жаль нет вокруг никого. Он бы сказал, пооораторствовал, любил все же он, когда на него народец с восхищением поглядывает да с удивлением... Смотрит Самшуренок, а народец-то невесть откуда собрался подле него... да больно мелкий. Скалится. Волки!

— Ну, девка, смертишка наша пришла, — сказал он и принялся елозить задом по степной пыли. — Эх, не любил я самопалов.

— Не бойся, братец, — услышал он ответ девицы, бестолковой, видать, от страха. — Это сестры мои ко мне пришли. Будь и ты им братом.

— А на куски порвут, вот и буду им кровным братом, — ответил Самшуренок, вращая своей шеей, как болтом коляски самобеглой, потом догадался.

— Слышь, девка, ты все равно пропащая, а я еще очень нужный государству. Ежели я погибну, великое дело со мной погибнет, а? — перекрестился.

— Ты бы с сестрами своими пошла бы куда в сторонку, — и далее забормотал напоследок Отче наш.

Матерая волчица, роняя слюну, первой кинулась на них, но, словно попав под удар свинцовой плетки, взвизгнула и плюхнулась на брюхо. Она подползла к Сапуре, выбрасывая вперед передние лапы, и сунула голову под руку девицы. Та прижала ладонь к широкому и грозному, как шлем, лбу волчицы и заговорила о чем то, — о чем, Самшуренок не понял. Волчица закрыла глаза и уснула. Остальной степной народец разомкнул свой круг и бежал прочь. Леонтий вскочил и, похлопывая себя то по загривку, то по коленям, затанцевал:

— Ай да молодец! Ай да мастерица!

Она очнулась, как от сна. Я девица Сапура, посвященная. Но этот странный, прыгающий подле нее мужчина? Кто он? И где она? Зачем она

здесь? Сапура оттолкнула от себя пальцами волчицу, как отпихивают надоедливых телят, и снова оглядела с недоумением рыжего человека. Но что ей до каждого? Она познала и имеет путь. Думал Самшуренок, что с этой кайсацкой девкой не пропадешь, а оказалась — хворая. Ему, мужику битому, и такое не внове и не в страх, однако, чего тут доброго. И все же душа его православная , притонувшая в винном колодце его нутра, но еще живая, не позволяла ему бросить эту припадочную одну в степи. Так и остался с ней на голых просторах, когда ее стала бить падучая. Вложил он девке меж зубов в опасении прикуса языка замызганное, облезлое ухо своей шапчонки и опять сел ждать. И все же, если бы поднять свой зад да уйти, все к лучшему было бы, но не ушел. Ничего, черт Ваньку не обманет. Ванька сам про него молитву знает. Поколотило девку, повозило в пробитом пылью песке малость, затихла наконец. Вроде и ровней задышала. Склонился над ней Леонтий, отнял свой треух и участливо так, от чистого сердца спросил:

— Что, как тебя, сестрица? Ну полежи, небось доберемся туда, где люди.

Она раскрыла веки. Глаза ее предстали без зрачков, как бока яичек, вкрутую сваренных, и через неподвижную щелочку межгубную загудела нутряным голосом:

— Он явился. Хребет его скрыт сталью, копыта земли не касаются, рога нависли над полем кровавым, и дым клокочет из ноздрей. Он поведет, и за ним пойдут народы.

«Очнется, — подумал Самшуренок. — И моя дороженька в сторону другую». Тут смотрит, а к ним волчица бежит давешняя и несет в пасти толстенького зайца. Прямо перед девкой и положила тушку ушастую. Ежели так, с харчами, то вместе сподручней...

С дуркой недолго теперь пришлось блуждать Самшуренку в этих безлюдных краях. Прямо-таки к вечеру следующего дня вышли они к аулу, к людям, коих назвал Самшуренок про себя как-то сразу войлочными. Немногие аульчане мягко двигались меж юрт за какими-то своими делами, словно не было в них костной опоры, — и лица, и волосы имели серый рыхлый войлочный цвет. «Голод», — сразу решил Самшуренок. И такие видал он, правда, те людишки из деревеньки губернии Новгородской были как бы берестяные. Хотя какая разница: войлочные ли, берестяные ли, скоро будут земляные. Еще с утра у одной бабы умирал от вздутия живота малыш. Не кричал, силенки быстро отлились слезками, а только попыхивал пенистой слюной. И мать особенно не шумела, в ауле этом с неких времен такое стало привычным.

Три величавые реки: Иртыш, Яик, Волга разделили Великую степь на пять великодарных пастбища. Степи от Иртыша до Волги достались от

безмятежных тюркских государей казахам. Вот и кормился их скот травами вдоволь не один век и на левом и на правом берегах Яик-реки. Чингиз-хан был больше государственник, чем все каганы тюркского каганата, и выстроил на всех трех реках казачьи пограничные укрепы, на Яике заселив их православным народцем. Однако, сам до мозга костей кочевник, не препятствовал движениям степняков через реку от зимних пастбищ к летним и обратно. Тем временем в городах за правым берегом Волги поднималась русское царство и понятно, что яицкие казаки смотрели вправо и поклялись царю православному и церкви византийской в вечной верности. Бунтовали, конечно, как не бунтовать на степном пространстве? Пугач тот же…

Императрица Российской империи Емельяна Пугачева четвертовала, и, чувствуя отвращение к самому слову «Яик», переименовала яицкое казачество в уральское, а реку Яик в Урал-реку. Затем решила, что эта землица, еще остававшаяся у казахов, великовата для них и запретила казахским родам, вставшим на вольную сторону Пугача, перегонять на свой скот через свою реку Урал. За минувшие вслед десять лет скот казахов Младшей орды когда-то свободного Казахского ханства отощал до крайности, и стало народу не прокормится.

Сапура подошла к юрте, у которой был прикрытым шанырак, не выпуская дым и не впуская свет. Она вошла в нее и, не обращая никакого внимания ни на отходящего младенца, ни на притихших домочадцев, подпалила в очаге кусок войлока, прежде надрезав его так, чтобы с тлеющего конца болтались пять пальцев. Размахивая этим войлочным кадилом, она запела без чувственности: Богатыри, львы, дэвы, пери, Из Медины пришедшие, на коней лихих севшие, Стоящие, почтительно склонившись, Плети-змеи держащие. С посохами в руках, с белыми шарфами на шеях, Зеркало-дух, Звезда-дух, Дракон-дух, Дух Абдрахмана, дух Карнака. Дух деда моего Ислана, Подскажите! Так она знала. Так и не иначе поступала. Ибо сказано было над ней Великой баксы тетушкой Доди-амма: «Душа ее Знахарка. сильна теперь настолько, что разум и стыд как птицы отлетят, лишь только взволнуется она сама собой. И тело лишь только поспешит за Госпожой своей Душой. Люди, зовите – не зовите ее, когда беда настигает вас, она будет та, за которой войско духов». И здесь она сказала:

— Джины тайно собрались под этим шаныраком и хотят унести ребенка. Не станет им удачи. Люди, совершим же омовение и молитву. Бисмилляи рахмани рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Пусть Пророк будет другом, а войско духов мне помощниками. Пойдете ли, встанете ли — пусть перед вами будет мое слово, а рядом вера. Всегда будете в услужении Матери, — бормотала свою тайную песнь Сапура и, подойдя к очагу, выхватила из разгоревшихся углей нож и лизнула языком раскаленное лезвие.

Люди ахнули. Сапура же, оставив нож, взяла чашу с водой и принялась разбрызгивать воду по сторонам, восклицая; «Вот вино вам, духи. Помогите, гоните, гоните пиками своими джинов прочь!» В чашу она насыпала горячего пепла все из того же очага и опрокинула ее на животик ребеночка. Годовалый малыш, синюшный и неподвижный, вдруг засучил ножками и заплакал. Личико его раскраснелось, и живот опал. — Корми же его, — велела Сапура матери. Отсидевшая ногу женщина испуганно вздрогнула и, прихрамывая, кинулась к ребенку. Тот жадно всосался в ее иссушенную грудь. Самшуренок в юрту заходить поостерегся, но крутился рядом. Знал, что от всего происходящего там, за войлоком, зависит и его жизнь, потому как за самое краткое время успел приглядеться и заметить с удивлением обилие оружия в этом зачуханном поселеньеце, где мужиков-то пяток да шестой без руки. Сабли, пики остро торчали в каждой юрте, и ружьецо одно он заприметил. «Опасный, однако, народец, — подумал Леонтий. — А как разбойнички? Нехорошо». Не раз он пристраивал свой глаз к изрядно дырявой кошме лачуги, в которой скрылась его степная спутница. Все увидел и услышал. И ворожбу ее и младенца воскрешение. И сам не понимая отчего, в мыслях все молил эту девку не произносить тех слов. А она все равно возьми и с истовостью завопи: — Он явился! Поначалу вроде обошлось. Худо-бедно, но пристроились. Однако к ночи войлочные люди зашевелились и принялись — прежде робко, а затем криками — обсуждать, что же им делать с этой странной девицей. Конечно, она спасла ребенка, но уж больно страшно спасла: нет ли в ней черной силы, и не войдет ли вслед за ней и к ним какая-нибудь зараза. И чей, к тому же, приход она пророчила? За последние два года в прежде беспечной степи такое творилось, что не дай Аллах еще чье-то явление! А мужик этот рыжий, что с нею явился из непонятной стороны, кто таков? А главное — рыжий! От рыжих, известно, одна беда... Говорилось все это без определенных намерений и с неясным колебанием чувств, но эта как бы нерешительность не обманула Самшуренка. У иных — затравленных донельзя — она бывает ужасней, яростней и немилосердней, чем вся боевая решительность всех князей Потемкиных с десятком турецких пашей. Так оно и стало. Самшуренок, как совсем стемнело, собирался уже потихонечку выскользнуть из юрты, где их разместили или засадили, как в эту войлочную тюрьму ввалилась толпа с целью выволочь прислужников дьявола подальше от аула и там забить камнями. Хватали за платье, да тут вперед вышел складный парнишка со шрамом от левого уха на всю щеку и произнес:

— Эта баба — моя жена, — и указал на Сапуру.

Имя его было Жанболат, и он был одним из немногих, кто успел возвратиться из недавней войны русских против русских. Где он шлялся-бился, никто толком не знал, но приехал со шрамом. И теперь, как видно, и с женой-албасты И хотя Жанболат — сын Каиржана — был здесь всем близок по крови, вернулся он с русской войны чужим. Разлюбить его еще не

разлюбили, а вот побаиваться стали. Подумали аульчане и пришли к выводу, что если юноша с бабой, то это все же лучше, чем хуже. И оставили Жанболата с его женой в покое. Тем паче, что он был батыр. И о Самшуренке они сразу забыли без всяких особых рассуждений. Потому что Леонтий смел был на министров и генералов в своем деле в Санкт-Петербурге, а здесь на глаза не лез и к тому же, когда Леонтий был трезвый, то одна пристойность от него. Сам же Самшуренок простенько так вздохнул, ах, не хотел ты, голова шебала, совсем недавно на свете этом дальше жить, а жизнь тебе все передышки стелет. «Но ничего, — подумалось ему. — Была бы голова, найдется и булава».

...и я, как чалый конь Тайбурыл батыра Кобланды, почувствовал ноздрями слабый ветер, так лишь дуновение, но знал — быть урагану и уже готов был перелететь за сорок дней все страны, выбивая в скалах тропы, копытами размалывая в песок утесы, переполняя брызгами слюны озера, заросшие кугой и камышом: внизу аулы, караваны, бабы, ханы и цари, над темечком моим лишь солнце и бег такой, что птицы не могли бы выпорхнуть в испуге из-под моих копыт. ...а эти, мои сородичи, готовые в смирении невесть кому весь век елозить по солончакам с десятком коз, как всегда, ничего не поняли. После тяжелых боев и больших потерь под Оренбургом оставшиеся в живых джигиты казахских родов Тама и Табын собрались в сотню и крикнули своим атаманом меченого в резне Жанболата. Кто-кто, а он был самым отчаянным атаманом, что, правда, переводится просто как «сорвиголова». И надумал сей атаман-атарман с прозвищем Меченый поехать представиться казачьему царю. Но царь его не принял, а через третьих лиц передал то, что и раньше слышал новоявленный сотник его войска: «...тебя, степной народ, пребывающий на свете, освобождаю и даю волю детям вашим и внучатам вашим. И пребывайте, как степные звери, в благодеяниях и предерзостях. А мне, вольному вашему государю, служа, душ ваших не пожалейте, против моего неприятеля проливать кровь, когда прикажется быть готовым, то изготовьтесь».

Премного удивился Меченый и страсть как обиделся. На что ему эта дареная воля, когда он и предки его были рождены свободные, и мыслить себе не мыслили о какой-то своей неволе, неспособные быть ни под каким принуждением. И Меченый со своей сотней ушел от царя.

...спросил Алпамыс-батыр у трех великих коней: сколько лет под седлом они могут прожить? Один ответил: двадцать. Второй — тридцать. Третий же конь пошевелил верхней губой, пошевелил нижней губой и молвил: пока бегу... Его и выбрал другом Алпамыс.

...И тогда же, после взятия Магнитной крепости, он покинул со своими воинами казачьего царя. И тут же лихо влетел в первую же попавшуюся ему на пути деревню крестьян, зарезал тамошних богачей и дал от имени своего людям волю. Те, встав в почтительный полукруг, благодарили его сердечно и

между поклонами все довыясняли: от кого воля-то? А ночью били вилами развалившихся в чужих избах нехристей так, что от сотни с лишним воинов осталось восемь десятков да сам Меченый восемьдесят первым. И стала перед атаманом Меченым новая забота — казнить мятежников-убийц. Те же ждать не стали, бежали. Осмотрительное деревенское обчество, прежде чем взять колоть незваных татар-киргисцев, вывело свои семейства с каким возможно барахлом за деревню и спрятало в оврагах, тянувшихся на десятки верст. Три дня гонялся за ними Меченый. Невозможно уйти от таких всадников, как он. Бежавших мужиков с бабами Меченый настиг в поросшей черемухой лощине, по дну которой тянулась вода. Джигиты живо перескакали ее и согнали беглецов в один плотный гурт. Пойманных было достаточно, не считая детей. Меченый, не сходя с седла, тут же учинил строгий допрос. Не сразу, но после посвиста камчи, да не одной, вперед выступили мужики и пожаловались: мы, мол, истинные миряне, жили по-божьи, как велено, да тут явился он и начал людишек-то баламутить, обещал провести их к Земле спасения. — Как Иисус по воде яко посуху! — глумливо закончил один из мужиков и вытолкнул вперед к стремени Меченого черноволосого юношу. Меченый тут же погнал черноволосого небесного посланника к недалекой реке и пихнул его в омут: «Пройди же!» Тот ушел под воду и в ней по дну прошел от берега до берега. Впрочем, ничем не удивил этим Меченого, берегов-то всего два, куда же ему было деться.

— А-а, врал! Ну, веди в свою Землю спасения. Ну, где она? Черноволосый, весь дрожа от мокрого платья, ответил скорбно: — Там, где стоишь.

Меченый заскучал: всегда так, заприметишь и не убьешь какую-нибудь тварь, а потом с ней морока. Уже прошел срок, за который и верблюду напиться просто, а он все никак не мог взять в толк, кто же перед ним — глупец или хитрый враг. А давно пора было мчаться дальше.

— Говори, кто ты есть?

Черноволосый отвечал, подрагивая от холода:

— Я такой же, как и вы все, и иду по той же дороге, какой и вы идете. Не убивайте нас, мы вам ничего злого не сделали, видит Бог.

Как волк с ненавистью рвет глазом все, что прежде не видел, но с клыками не спешит, так и Жанболат долго пытался сообразить, что ему нашептал этот бродяга, однако так и ничего не поняв, с досадой разрубил его одним махом сабли наискосок. Остальных снова согнали в ложбинку и там положили вместе с бабами. Для пущей памяти. ...Он был вял и малокровен, а мое сердце билось в беге, как тарпан в глубоком снегу. Чую ветер, я знаю его запах. Подо мной сотня, а будет тысяча и десять тысяч. Тьма! И мы пронесемся по земле, как ураган, и всем раскидаем богатство, как пшено

птицам. ...и встану я лишь в тот миг, когда перескачу огненную реку по мосту, тонкому, как конский волос. Так случилось, что через день-другой отряд Меченого вернулся к деревне казненных ими мужиков — и ахнули джигиты. Деревенские эти все были целехоньки, платок к платку, борода к бороде. Ужасающее удивление охватило воинов: «Не духи ли это тех?» Оказалось — нет. Поубивали других, эти где-то отсиделись. Ошиблись джигиты, на лицо русские мужики одинаковы... ах! Грех. Страшная вышла месть, но и такое бывает. Здесь главное не забывать, ради чего мстил, скачи и руби дальше, за этим трудным и смертельным делом все забывается, а достигнешь цели, все оправдывается. Старая истина. Но Жанболат Меченый один ушел к той несчастной лощинке в степи, бродил среди уже почерневших человеческих тел и молчал. И чем больше он молчал, тем меньше находилось в нем слов, чтобы хоть каким-нибудь отговором отвести от себя беду. Нашел он и того черноволосого путника. Жанболат плотно в семь раз обвернул убитого войлоком и, закинув этот тяжелый кокон на опустевшее седло, вернулся в дедовские солончаки, где если что-то и движется, то только белая пыль с небес. Жанболат вырыл ему могилу у мазаров своих предков и прогнал прочь всех пришедших поглазеть на его траурный путь. Вернувшийся с русской войны меченый клинком Жанболат сын Кайыржана, сидел тихо, хворал и избегал хождения к тому кладбищу. в Поставив под казарменный устав мятежных яицких казаков и велев строго именовать потомство четвертованного Пугачева фамилией Дураковы, а Светлый Яик рекой Уралом, Императрица из Северной Пальмиры, сиречь из Санкт-Петербурга, послала приказ гнать карательные отряды для памятливого наказания и в киргиз кайсацкие степи, опять же запретив казахам даже близиться к их же древней реке Жайику, обозванной ею, как писалось, Урал-Рекой. Генералы, лихо казнившие проторенную Башкирию, стали было ретироваться, наученные на местах, как мало дает военная экспедиция за народом кочевым, да не долго умничали, зная как легко самим попасть в дураковы. Поставили всю фортуну на внезапность атак да на тактику походов маленькими отрядами, не фронтом, не охватом — веером. И на первых порах кампания удавалась. Тем более, многие казахские родоначальники, желая доказать свои верноподданнические настроения, сами пришли с аулами под Орск и Оренбург... Аул Жанболата Меченого, напротив, решил уходить со всем имуществом и скотом, потому как особой вины за собой перед русской царицей не чувствовал. Аульчане поднялись от Орска без особых убытков. Люди одним караваном, животные гуртом в стороне. Песен и игр, как обычно при перекочевке, не заводили. Унылый Жанболат плелся пешком за отарой овец. И взял их всех скопом у камышового озера майор Голуб с эскадроном Молдавского гусарского полка. Мужчины, завидев скачущих на них царских солдат, велели бабам с детьми уходить в камыши, бросив верблюдов с поклажей, и в полсотни голов кинулись отбиваться. Бой сложился не слишком вязким, без затяжных полевых маневров, на убиение двух десятков людей ушло чуть более часа. Скотоводы, хоть и вольные от сотворения мира, бились против гусар

неспособно, с тесаками больше против клинков заводской закалки и пистолетов. Оставшихся в живых Молдавский эскадрон погнал мимо трупов их соплеменников в камышовое мелководье. Гусары на конях до вечера гонялись за мятежниками в зарослях озера, а за это время доброволец — однорукий капитан Петухов успел спалить весь брошенный скарб бунтовщиков. Пытался сжечь и верблюдов, горели плохо. Ему-то, поднаторевшему в поджогах, майор и велел палить камыши. Знойное лето подсушило камышовые стебли, и они занимались огнем на славу. Однако упрямые инородцы так и не вышли на милость карающей, но законоисполняющей руки, и частью сгорели, а в большинстве своем задохнулись от горького, плотного дыма. Едкая, расстилающаяся гарь округ заставила и эскадрон уйти из этих мест, всего-то имея двух убитых да одиннадцать раненых. К утру, выбираясь из воды по полузатонувшим обгоревшим тряпкам и средь обугленного камыша, Жанболат Меченый оказался среди шести десятков оставшихся в живых родичей из еще день назад многочисленного аула, которых через скорое время и принял Самшуренок за нищий войлочный табор. За все побоище когда-то бешеный Жанболат Меченый ни разу не занес над врагом оружия, не плюнул даже в ярости в его сторону. Пошел вместе со всеми в бой и так же бежал в одном ряду к озеру. Сидя по пояс в водяной жиже с липкими жуками, он чувствовал, как остановилось его сердце, а всю кровь принялась посылать в опавшие вены туговато и редко запульсировавшая печень. Так он и стал жить, придерживая руками то набухшую под ребрами, то разом опадавшую печень и не спеша все подсаживался поближе к очагу или брел под солнечное тепло, все чаще думая: а не мертв ли он сам? А если нет, то, что такое смерть?

Так он и существовал, пока не явилась эта, с гримасой сладострастия облизывавшая раскаленное лезвие ножа. Он увидел ее. Просты в предсвадебных да и в брачных делах девушки в степи. Иные просты до бестолковщины. Падет выбор мужчины на такую девушку, сосватает он ее, и ни сам жених, ни родители невесты не добьются от нее: рада она или нет. Замужняя баба — тень супруга, его казан, его постель, и редко какая балует с молодыми гостями. Хотя и таков встречается в приличных аулах. Но все же больше стыдливых и забитых. К примеру, одна молодая женщина, обладательница удивительного, прекрасного голоса, лишалась всякой музыкальности, когда ее мужик всего-то на всего обращался с ней: «Эй, жена...» Поэтому знающие соседи и родственники старались эту пару приглашать раздельно на всякие там трапезы, чтобы все-таки иногда послушать певунью. «Эй, жена...» Бог знает, в чем сила этих обыденных слов над женским племенем. Сапура в сущности своей, несмотря на все небесные силы, пропитавшие ее, как молоко ломоть хлеба, оставалась такой же простоватой девушкой, какой была и до встречи с вещей Доди-амма, тем паче, что никогда ни аульные женщины, ни сама колдунья не пытались хворую просветить кое в чем, касательно всяких отношений с мужчинами.

Мать же, естественно, не успела. Если этот человек сказал, что я его жена, значит так и есть, решила Сапура и покорилась этому полностью. Но выбравший ее в жены мужчина был не просто мужем, ибо лицо его ни единой черточкой не отличалось от лика Человекобыка, разве что было смуглым до черноты. Ну, пристроились... Вроде и народец приутих. Но вот принялись в сей аул подъезжать и на добрых, и на худых лошадках, а то и вовсе своим ходом вооруженный люд, видать, с соседних поселений. Иногда собиралась мужичья сходка человек в тридцать. Уже сила. Самшуренку, конечно, до этого дела нет, он в стороне, ни перед кем не ответчик, а вот Сапура стала изрядно беспокойна. Наезжавшие парни шумели, толпились, задирались бесконечно. А Сапура, ставшая замужней женщиной, посчитала, впрочем, вполне справедливо, что для начала ее семейной жизни нужен покой и всякое доброрасположение людей друг к другу. Однако, те продолжали выкрикивать, потрясая то дубинками, то пиками:

— Что ждать?! Идти надо на них. Аттандар! — кричал какой-то однорукий. — Что и говорить, без пастбищ за Жайиком нам скот не прокормить.

— Не надо войны! Казачий царь велел своим русским не чинить нам препятствий на берегу.

— И Жайик всегда был нашей рекой! Понасели там!

— Зачем тебе река? Какая от воды польза? Пусть уберут отряды у брода.

— Где Жанболат? Отчего он бегает от нас, как заяц от плетки? Он-то ходил под казачьим царем, знает все русские дела.

— Хватит нам этого царя! Да и не настоящий он царь, говорят.

— Как не настоящий, если он сын своего царя-отца? — Да нет его. Казнен!

— Да не казнен! Жив. Дядя мой по матери, да вы знаете его, Оспан-ага, так тот полнолунье одно назад с русским из Яик-городка траву косил на левом берегу. Так тот русский казак говорил, что царь ихний Петр с войском малым затаился в Крыму, ранен, но скоро опять здесь будет.

— Да помочиться мне в рот твоему дяде! Так значит, они уже и на левом берегу траву косят? А твой дядя им еще и косой подмахивает?! Дайте мне этого племянника! Убью! — особенно не унимался калека и махал единственным кулаком. —Да не я же косил, а дядя моей проклятой бабы! Пусти!

Споривши схватились драться. Пыль от них заклубилась выше, чем дым семейных очагов, и Сапура вышла к задирам и тихо, одними губами произнесла:

— Тает, тает снег, тянет, тянет бег за собой рукой, ногой. Что ж вы расшумелись, как маленькие дети, встаньте друг за дружкой и идите. Бисмилля ир рахмани рахим, пусть Аллах вам будет защитой. Идите, идите, идите хотя бы к реке и собирайтесь там.

Передравшиеся мужчины вдруг вытянулись и телами, и лицами и гуськом потянулись из аула. Сапура хотела было вернуться в юрту мужа, да тут перед ней встал перепуганный Самшуренок...

— Бежать надо... — и тут же потянул Сапурку в степь. — Эка запылили пальмерстон, — увлекая ее, заговаривал ей зубы лукавый Самшуренок. При этом он одергивал на себе расползавшееся пальтецо, когда-то плотно и особенно сзади высоко осанившее его.

— А ведь вещь, девка, это аристократная. Немец шил! Не всякому дано, но мастер мастера чует, знал, выкрест, кому строить. Да, редкий талант имел человек и с понятием был. По моей отдельной просьбе вот лоскуток белого шелка за подкладкой присобачил и шитьем по нему вывел: «Сей пальмерстон есть собственность господина Самшуренка Леонтия, сына Петрова», — и попытался вытянуть из-под рваной подкладки какой-то грязный обрывок ткани.

— Видала, девка? Не таков господин Самшуренок, чтобы армяки всякие носить на своих плечах.

Да, хорош был пальмерстон, и построен, и сшит был из богатого сукна, но когда? Сейчас начало осени, скоро по степи задуют со снежной сечкой безжалостные ветры, и что из того, что вещь сшита немцем и в самом Санкт-Петербурге? Конечно, за войлоком было бы теплее перезимовать, но лучше от греха подальше, надо успеть в какое другое место пристроиться. Снова шагает по степи Самшуренок с спутницей своей диковинной и веселит ее разговором. А он красноречив, ох как красноречив! Как заговорит с человеком, так нет человека, только одно ухо от него. И такой куда хочешь за ним пойдет. А девка эта в пределах киргис-кайсацкой степи, как быстро сообразил Леонтий, еще ему понадобится, хотя б от волков!... ...Однако же, заболтался Самшуренок... Огляделся он вокруг, словно проснувшись, а Сапуры-то рядом с ним нет... И слушает его только ветер да невесть откуда взявшаяся волчица. Причем она как-то обидно, дурашливо вывернула свою большую, теперь почти собачью голову. Показалось Самшуренку, что она даже как бы хитро подмигнула ему, давай, давай, болтай! Не выдержал тут Леонтий и влепил волчице оплеуху. Она свалилась, по бабьи раскинув ноги, и принялась подвывать горестно. Плюнул Самшуренок и пошел себе прочь

один. Обойдется! Неужто христианский мир весь пропал, такого не бывает, ничего, выберется. Шел он, шел в сумерки к горам Уральским, как вдруг наткнулся на... Жанболатку. Случайно это или шел следом за ним парень... Самшуренок гадать не стал. А Жанболат Меченый тоже речей вести не думал. Просто поманил за собой его, и пошел великий мастер и инженер российский, как овца, за этим инородцем из не приведи, господи, какого бродячего рода. Прошли они не столько много, сколько плутали долго, видать, этот резаный таился чего-то. И уже при звездах, наконец, спустились в какой-то узкий овраг, где Жанболат втиснул его в явно тайную полуземлянку-полунору. А в ней, оказалось, засел не то медведь, не то волосатый донельзя мужик и в полной темноте разом навалился на Самшуренка.

— Ты откель? — заревела эта волосатая величина. — Говори!

— Я-то? Мы-то? — задергался Леонтий и носом почуял над собой густой русский дух. — Не бери греха на душу, злодей. Я человек простой, мастеровой. Тебе и взять то у меня нечего.

А волосатый над ним сопит:

— Выследил, упырь? — Знать не знаю, ваше благородие, вот те крест, не знаю!

— Врешь, гнида!

— Отпусти, душегуб, не дави!

— Не дави-и... — передразнил Самшуренка душитель. — Ничего, чуток осталось, потерпи. Христос терпел и тебе велел, — гнул свое убийца. — Говори живо, кто такой?

— Мужик я, мужик как есть деревни вологодской... — заверещал уже Леонтий, погибая окончательно.

Мохнатый верзила приотпустил Самшуренка, но голосом еще более угрожающим продолжил со страшным зевотным звуком:

— Ты, гнида, теперь здеся похоронен. Ляжь рядом... — и мгновенно захрапел сам.

Как ни жутко было Самшуренку всю ночь содрогаться всем телом под храп насильника, но он и не пытался бежать. Да и куда? Если со всей честностью признаться себе, то некуда. Да и как, если злодей ступней одной своей лапищи всю дыру своей берлоги заткнул. Так и лежал он рядом с ним и прел всю ночь, пока не появился снова на осенней заре Жанболат и не разбудил своего товарища. Волосатый силач выбрался наружу и оказался обычным мужиком, правда, с густой медвежьей шерстью. Лоб его был гол и

было на нем розово выжжено недавним клеймением: «В». Пока Жанболат собирал костерок да котелок прилаживал, Вор вновь с пристрастием принялся пытать Самшуренка и вызнал от него все, что Леонтий знал. Однако же на самое главное, на то, что он нес в эти степи к наследнику Петра Великого, что скрывал мастер ото всех, злодей не обратил никакого внимания. Это Леонтий отметил и решил верно, что не великого ума этот медведь. Не понять ему ученость всех возможных будущих побед государства и человека. И действительно, не слышал умом Вор, только глазом черным буравил и видно было по пальцам его беспокойный, как прикидывает он: чем бы тяжеленьким тюкнуть Самшуренка по заумной головушке. А пальцы на руках его все маятно шевелились, словно подговаривали немо: к чему, мол, замах да тяжесть, давай простенько да мягонько придушим странника и покаемся трехперстно. Языка немых Леонтий не знал, но горько понял — этот обязательно придушит, а тот со шрамом и не подумает заступиться. ...Эх, подумал Самшуренок, тута сам спасайся. И, встав перед Вором душегубом гордой статуей, Леонтий поводил в воздухе рукой и прямо в бороду Вору крикнул:

—Ну ты! А вот я Человекобыку доложу, как ты со мной. Он с неба-горы спрыгнет да тебя рогами!

Вор зашелся смехом:

— Ай да байка! Давай, поливай дальше! Люблю. Ну-ну, какой же он, твой бык человечий? — и грозно. — Ну?!

— Какой, какой, — забормотал Леонтий, но снова набрал в рот смелости. — Тебя, душегуб, одной ногой смолотит, копытом заденет лишь, в землю по плечи войдешь. Спина у него стальная. А голова человеческая, воина, значит, страшного голова. Все видит, все понимает, ко мне ласков... Обиду не прощает, потому как за правду стоит.

— Врешь! Такого не бывает, — хохочет Вор. Ври дальше!

— Еще как бывает, сам вначале не верил, а как девка его с неба созвала, смотрю — ах ты, черт! Из ноздрей дым и пар! Жутко. Я, говорит мне, за всех обиженных и слабых. Ты, говорит, Леонтий, не боись, ежели кто на тебя замахнется, ты меня зови.

— Какая еще девка?

— Известно какая. Посланная.

— Кем? Прижал Вор нежнее Самшуренка к волосне на своей груди, а Леонтий только скосил глаза.

Заврался, теперя смертушки не миновать. Позорной — соглядатая и доносчика. И не заговори в сей момент Жанболат, то так и было б. А сказал он такое:

— Девка эта с ним пришла. Может, и не наша. У нее войско духов, а главный там — Человекобык.

Вор, отмахнувшись от Самшуренка, насел медведем уже на Меченого, давил плечи и в ухо ему дышал так, что на другой стороне жанболатовской башки от дыха сего второе ухо колыхалось, как тряпка:

— Я тебя, Меченый, рожа твоя азиятская, сомну. Не видал на Волге плотов с виселицами? Ежели врешь, сам пойду на плаху, но и тебя с собой потащу. Говори, как было.

Жанболат в своем военном путешествии по русским губерниям не овладел лучшим слогом великорусского языка и принужден был отвечать Вору своим малокровным горлом самыми, что ни на есть срамными словами. Выслушав ответ, Вор, сам не увлекавшийся поэмами и трагедиями Михаилы Васильевича Ломоносова, озадачился еще более и осел бездвижно. Самшуренок, опять увидев невероятный просвет в своей нескладной и горькой судьбине, опять воспарил над Вором соколом:

— А знаешь ли ты, обезьяна волосатая, что Сапура-апай из мертвых живых лепит, а мановением одного пальчика цельную рать киргизцев, что собрались походом на яицкие городки, заслала на реку Кобды и Илек, одним лишь движением губ строго-настрого запретив им вольничать прежде ее дозволения?! Что смотришь, медведь? — ослабил голос Самшуренок от праведного клекота до воробьиного писка, — уж больно страшен стал Вор.

Однако продолжил:

— Вот крест тебе... У Жанболата спроси...

Вор глянул на Меченого, а тот лишь кивнул согласно, пробормотав что-то вроде: так оно и есть, да к тому же идут туда и другие роды, в круг садятся и молчат. Задумался глубоко волосатый мужик с клейменым лбом, пыхтел, сопел, чесался, а затем просиял и изрек взволнованно:

— А, может, это от Императора Петра Федоровича знак?

Умный Самшуренок и тут долго не думал, взлетел тут же:

— А как же! Говорил же, не души! Не-е-ет, душит... Медведь. Ответишь.

Но Вор на него даже не моргнул, а говорил только Жанболату:

— Кого же они там ждут? А может, и к нам кто явится с воззванием?

— Кому твое засратое воззвание нужно, — отвечал, как и прежде равнодушно, Меченый.

— Ах ты косоглазый! — взревел Медведь. — Дело святое предаешь? Да я тебя за такое... иуда! —засим как-то уж совершенно нежданно в гневе своем прослезился и проплакал: — Эх, Меченый... Ты глянь, сколько бьемся, сколько кровушки пролили... зря, что ли? А Бог есть, он видит... Да неужто теперь-то уступим, когда такое знамение?

Когда воззвал к народу царь Петр мученик, давший клятву отомстить всем мучителям рода человеческого, Вор первым за казаками встал под его хоругвь. Воевал смело и ловко. Одно время ходило под ним до семи тысяч воинов с цепями и косами, и взят он был в плен только под Казанью, слывя уже полковником. Однако ж в близких к царю людях не ходил. И вот по какой невозможной причине. Он, может быть, один из таких крупных лиц восстания искренне до конца верил в то, что царь его есть самый настоящий свергнутый Император России. Вначале те, кто плотно сидели вокруг Пугачева, считали его хитрецом, хапугой, собравшимся жить своим умом, а потом, убедившись, что он и вправду верит, тем паче поспешили его оттеснить подалее. Такой дурак везде и всем особливо опасен. Если для ближайших генералов и министров женитьба Пугачева на простой казачке было одним баловством, то Вор воспринял свадьбу как преступление. И плакал, когда узнал о таком казусе. После слез ох и резал же он людишек без счета! Такой уж был. Разные церкви христианские: есть немецкая, есть и эфиопская. Кто прежде почитает Деву Марию, кто Богочеловека Иисуса. Но православная вера всех потеснила своим убранством: Троицей. Отцом завещана людям правда, Сын дал страждущим справедливость, а Святой дух — чудо. След а след по Божьим заветам протопал Пугачев Емельян: нисколько не сумлеваясь, дал и казаку и мужику правду крепкую и справедливость царскую, а вот чудом обошел. Не по зубам, значит, ему стало. И виктория у Пугачева от того не случалась, что чуда не было. Ясное дело. Казак, по причине своей измотанности непокоем на окраинах российских, может за чудо принять покой в своем каком-никаком, но сытом доме, а мужик — нет. Мужику чудо надо. Настоящее. И так оно ему нужно, что бьется он без устали)а чудо, забыв о правде и справедливости. Оно, конечно, было чудесным появление царя-изгнанника на яицких берегах, но обратно же, не воскрешение же. От того битва билась всего-то годик-два... А тут» Значит, если появился такой Человекобык, значит, оживет и четвертованный Император Петр Федорович. Эх! Непобедим и незабвенен. Сегодня лишь бы зацепиться и встать. Встать да пукнуть пушечкой, да твердо и знатно, чтоб все стены и колокольни скособочились. Сколько народу еще бродит по землям уральским и киргизским. У Саратова и ниже к Каспию-морю атаман Подметелка с ребятками, да другой пугачевский атаман в уральских лесах. Все ждут своего часа в горьком томлении. Все ждут чуда. Хотя какое чудо может выстоять против чудо-богатырей

екатерининских полков?! Не добившись сопереживающей слезы у Жанболата и перестав рыдать, снова обратил Вор взгляд свой на Самшуренка, выпытывая: — А ну скажи, где того Человекобыка видеть можно? Самшуренок, скоренько припомнив все, что бормотала о своем быке Сапура, спокойно держал ответ:

— Видать его смертным никак нельзя, потому как он Козкормес, что означает Невидимый.

— Значит, все-таки соврал!

— Никак нет! Погоди, дай время, увидишь, — засомневался сам Леонтий, перетряхивая оставшиеся в невредимости от винных паров мозги в своей беспутной головушке, знавшей ведь наперед, что есть в вине, кроме сладости, и дурной дух, что убивает скорую мыслительность.

А мозги эти не студень, в них было то тепло, что сродни теплу гнезда, в коем гладкое яйцо не в один миг, но верно вдруг превращается в пушистого птенца. Был желток в сопле, а вот тебе и птица. Не принимая насмешек кабацких и департаментских чиновничьих интриг, надо твердо признать все ж — Самшуренок, что ни говори, человек гениального ума. Ибо умел мысль обычную болтливую, иногда и сам того не желая, повернуть так, что она уже как бы и не человеком, была высказана. А истинно богами или, по крайней мере, полубогами. Не один любитель философской мысли со времен афинских греков, сунув палец в ноздрю, задумывался над живой сущностью пара над кипящим котлом, ежели, конечно, в нем ничего не варилось, а был чистый эксперимент, но только должен был появиться вот такой Леонтий, такой Самшуренок, чтобы сделать этот котел силой, зверем с паровой душой. И будет настоящий зверь, хотя бы и Человекобык…

Вор-Медведь протянул свою лапу к рыжему болтуну и, опять приподняв его над его же жизнью, а проще — подвесив его за шею, ласково попросил:

—А ну, разъясни...

Однако на этот раз он не только не испугал своего пленника, но и не смутил даже. Самшуренок не то, чтобы смело, а с особым достоинством и во взгляде своем и в шевелении вздернутой бородки огненной, заставил злодея укротить свое душегубство. И словно не губить его собирались, а с уважением поднесли ему рюмку на граненой ножке, Самшуренок чуток покочевряжился, надул щеки, но затем все же снизошел:

— Стоит море на столе, двое о нем спорят. Один говорит: радость моя, другой говорит: пагуба моя. Как, сударь, величать себя прикажешь? Но такого с клеймом на лбу одной натурой лица не взять.

— Ты имечко знать желаешь... — удивился Вор. — Скажу, только как тебя потом отпустить? Подумай.

— Подумал, Медведь Иванович, — опять нашелся Самшуренок, пооббил ладошками пыль с пальмерстона и добавил гордо:

— Без тебя знаю, мне смерть не искать. А что до Человекобыка, то... дело непростое... мозговое. Для явления времечко все ж нужно. Не баклуши бить. Имели от Сената писанную на особом с гербом листе грамоту...

Вор-Медведь уже не слушал спившегося механика, он думал. И вот что надумал:

— Императора нашего Петра Федоровича женка его немка злодейски казнила. И теперя людей поднять на бой никак нельзя, фигура должна быть значима не менее, чем у Пугача. А где такого вожака взять? А тут Человекобык… За ним небось пойдут! А – а, Жанболатка?

Сын мой, легче всего объявить себя ханом, а Нуралы предложить нечаянно зарезаться, как уже никому не нужному беззубому псу. Ты смеешься. Нет, здесь стонать надо от отчаянья, когда такой хан над нами. Убрать мы его вправе, тем более, что он происходит из младшей линии чингизидов Осеке, а не старшей — Жадиге. Меня, султана Досалы, поддержит здесь всякий. Не хуже я, в конце концов, того беглого солдата, объявившего себя Императором Петром Третьим. Он говорил, что жена украла у него престол, мы говорим, что отец хана Нуралы Абулхаир-хан не имел права на ханство. И главное — всем обещать. Что — не важно. Но у меня одна голова и одно горло. Говорят, где-то там у франков есть человек, живущий с перерезанным горлом, и вместо гортани у него серебряная трубочка. Но я как-нибудь проживу без этих вещей. Не забывай, сын мой, трижды повторять себе: будь внимателен и благороден — и с богом в душе. Нет, я никого не боюсь. Никто мне не указ. Есть человечишка — вдруг вскочит, словно вывалившийся из козлиной утробы козленок на ножки, и поскачет невесть куда: я смелый, я знаю, я хан! Кругом люди, а у него тщеславие косо по ножкам льется. Такой особенно опасен и для себя, своей же шкуры, и для народа. Есть такие, кто считает, что договор с русскими перевернул земной диск, и мы летим вниз головой в темноту адову. Что, если бы не русские, то давно можно было бы пнуть Нуралы под зад? Да, за этим ничтожеством стоит русская царица. И ей люб именно такой. Но мы-то, сами мы каковы? Есть ли наша вина в том, что вода стала в наших колодцах гнилой, а по степи бегает безумная девка и люди каждое ее слово готовы принять за откровение Пророка? Рассуди сам. Не думаю, что наш мир перевернулся. Наши отцы умели сноситься с русской страной. И подписывая бумаги о подданстве, нисколько не умалили ни воли, ни имущественного

веса казахов. Разве мы не получили права гнать наш скот на их ярмарки, а оттуда брать все, что нам нужно? Разве русская армия не взяла под охрану наши восточные границы, а мы, тем не менее, не воюем на русских войнах, джигиты не идут в солдаты. Наш мир просто-напросто разломился, как лепешка, надвое, и хотя у нас с русскими одно государство, но власти-то две. Хотим — служим царю, хотим — своему хану, одни могут судиться в русском суде, другие плюют на суд неверных и идут со своими вечными тяжбами к судейским биям. Там у них простолюдин раб и ему есть цена, у нас по-прежнему каждый свободен и цена ему есть только тогда, когда он убит, и убийца обязан платить. Так что, сын мой, не спеши седлать коня, но держи всегда боевого скакуна рядом. Хоть и правы были наши отцы, но, думаю я, в арбу они запрягли вола и оленя. Еще вчера можно было не поднимать головы с атласной подушки, а сегодня — пахнет порохом. В конце концов, все кончится тем, что или вол вспомнит, что он потомок гордого тура, или олень станет быком. Когда наши отцы ставили свои тамги на бумагах договора, там наше вековое право на степь между Илеком и Жайиком не оспаривалось. Теперь же они, называя наши реки Волгой и Уралом, изгнали нас с тех пастбищ. Помолиться у могил предков нельзя! Такое в самом страшном сне никому не приснится. Какое теперь может быть у народа уважение к хану Нуралы, не отстоявшему наши кочевья на правом берегу Светлого Жайика, с которого нас вытеснили калмыцкие полки и яицкие казаки бойней, пожарами, поджогами трав и ссылкой непокорных на Нерчинские серебряные заводы, где ездят на собаках? А наш придурок Нуралы вместо того, чтобы заступиться за своих подданных, только плакался в подол русской царице, что, мол, в нашей орде всякий султан себя отдельным владетелем считает и даже способ имеет вести переписку с Оренбургом да с Петербургом, откуда и есть роптание народное, а политической исправности нет. Мне об этом его письме тут же из канцелярии губернатора сообщили со скрытой насмешкой. Да, если бы Нуралы взял дело народное и с требованием поднялся, мы все в тот же день без раздоров встали бы под его знамя, как тогда, когда отец его Абулхаир повел казахское войско на джунгар. Но нет, сидит и рыдает. А вот мужик простой Пугачев знал, чем взять даже неведомый и чужой ему народ. Недолго думал, да верно пообещал вернуть нам исконное право перекочевок за Жайик-реку, не страшась несогласия своих же яицких казаков, и многие роды сразу же послали в его полки своих джигитов. А мудрый хан Среднего и Старшего жузов Аблай открыто встал на его сторону, чем еще больше вызвал к себе уважение русского двора. А этот же... В год зайца приезжал от Пугачева посол к Нуралы, но наш трусливый хан не дал слова, а послал с тем пугачевским человеком своего придворного муллу Забира, бывшего не раз в Петербурге и лицезревшего настоящего Третьего Петра, чтобы тот увидел — настоящий ли царь объявившийся или нет. Вот где смейся, сын мой! Да самому последнему глупцу ясно было, что Пугачев самозванец. Такое бывает только в сказках, а не в государстве с постоянной армией и чинами. Да если бы он был настоящим принцем крови, все равно ему не проскочить вот так с

Яицкого городка на казачьей лошадке через все управы и канцелярии во всех губерниях. Не то что Императрица, генерал Рейнсдорп не даст себе поверить. Самозванец-то самозванцем, а народ поднял. Два года бился, между двух рек к морю третью реку пустил из крови. И снова, говорят, вот-вот появится, что не казнили его, а отрубили башку подставному солдату с густой бородой. Из-за бороды перепутали. Не смех ли? Я лично писал и получил ответ от одного знающего московского лица, которое лично участвовало в дознаниях и казни Пугачева. Но из этой неоспоримости, заметь, вытекает как бы вторая неоспоримость. Так толкуется: не мог такой царь, будь он ложный или законный, не оставить после себя наследника. А наследник этот обязательно должен быть ужасней и необыкновенней отца. Иначе после такой крови ему никого не поднять. И он явился, коли так ждали. Явился урод. Смеешься? Что за поколение пошло. Смеяться надо, когда твой отец смеется, но ты не в меня. Это оттого, что я тебя русским учителям отдал. Буду теперь знать. Смешного тут ничего нет, так как наследник этот уже собрал людей в междуречье Кобды и Илека. Сидят там, как колючки на загривке у ежа, роды Табын и Тама. К ним бегут роды Кыпшак, Алаша, Шект-и, Шомекей, Байулы, Жогалбайды. Заметь, не самые ничтожные роды, а те, которые славятся и скотом, и в бою. О наследнике Пугачева, якобы, возвестила им никому не известная девица Сапура, — и он урод: тело быка, голова человека. Видеть его нельзя, поэтому он зовется Козкормес. Так-то, знай, сын мой, если народ верит в такую чепуху, то значит народу очень плохо, значит, чаша жизни расколота и не удержит в себе влагу здравомыслия. А это все вместе означает — война. Но мы тоже поверим с тобой. Завтра соберешься и повезешь к новому вождю подарок от меня — походную юрту-мечеть. Мы признаем его, но под именем Аулие. Так и будем звать — Святой. Мало ли святых и убогих бродит по земле, бывают они и в тех местах, где собирается иногда много мужчин и варят мясо в котлах без всякой меры, словно собираются вот-вот умереть. Ничего преступного мы этим пока не совершим, только благородное дело. Ни в какие разговоры не вступай, не решай там ничего, только смотри, кто собьется особенно тесно вокруг нашей дареной юрты. А я думаю, этот Козкормес непременно в ней поселится. Хорошо, что он невидим. А невидимый, заметь, все одно, что пустота. Вот через эту пустоту и накинем на кого надо свою уздечку. Привезенную семиканатную юрту с полумесяцем над шанырaком от султана Досалы сыном его Сейдалы толпа на Кобды и Илеке приняла как должную дань, что даже обидело султанского отпрыска. Сейдалы-султан промолчал. Отец так велел. Юрту поставили в отдалении от заклубившегося на этом междуречье роя людей. Рядом еще две, поплоше.

В сумерках в этот маленький аул пришел Жанболат, и в юрту с полумесяцем завел молодую свою женку Сапуру. Сапура робко присела у нового, не знавшего еще пепла очага и смотрела, как ее муж роется в подаренной ей Доди-аммой торбе, расшитой мелким бисером. Жанболат вынул из мешка девицы какие-то тряпки, сухую траву, прутья, старые

потертые предметы и, убедившись, что ничего опасного в нем нет, бросил его на колени своей жены, проговорив:

— Побежишь — убью, — и пошел прочь.

Однако ж не успел он пройти и пяти шагов от порога юрты, как его скверно выбритую голову с силой потянуло назад, и он, стараясь не упасть, замахал руками, как болотная цапля крыльями. Упал. Слова с угрозой равнодушного к ней мужчины не привели Сапуру ни в обиду, ни в страх, а скорее 8 задумчивость, с которой она подобрала с кошмы один из своих прутиков и без особой цели принялась сгибать и разгибать его. Жанболата же бросало из стороны а сторону и всего вываляло в пыли. Наконец, Сапура вложила прутик в свою торбу и туда же стала складывать и остальные свои вещи, а Жанболат, наконец, приобрел скелетную устойчивость, и вошел обратно в юрту. Увидев, что эта девка снова извлекла из мешка прутик, чтобы приложить его к остальным веточкам, он протянул вперед руку и сказал:

— Дай мне. Сапура с недоумением взглянула на него и протянула ему зеркальце. Он взглянул в него и не увидел своего лица. Что ж, бывает и таков, ежели в это беспутное время на земле развелось столько пакости, что при нужде крайней за ночь можно отловить парочку шайтанов, ну прямо шатающихся нынче вокруг козлиных загонов, а ведьмы-албасты прямо в дома заходят. Сапуру же не занимали мысли о колдовстве. Да и не гадала, кто же перед ней сидит на корточках. Ясно, муж. Думала она о другом. Как это быть женой? Глядеть во все глаза на него и бежать ставить самовар, а, может, смежить веки и ждать объятий... И сколько длится супружеский поцелуй, и если не более того времени, что уходит на кипячение воды, так не лучше ли вначале все-таки разжечь самовар? А если за поцелуем в ней сразу появится ребеночек, то и это забота. И незнание отчего-то сладко разволновало ее. Так душевно и человечно она себя никогда не чувствовала. Увидев, как раскраснелась эта девка, Жанболат, силясь понять, что же происходит с нею, чуть наклонился вперед, как зверь принюхался и услышал только женский запах возбуждающейся плоти. Только-то и всего! От разочарования он сплюнул в сторону и ушел, на этот раз ровно и быстро. Жанболат поселился в юрте поменьше и, хотя жил рядом, к Сапуре больше не подходил. Раз он съездил к одной аульной блуднице, своей еще допоходной знакомой и терся о ее белую кожу то усами, то коленками, но не вызвал страсти, как прежде, ни у нее, ни в себе, пока эта развратница окончательно не прогнала его.

Ваше высокопревосходительство! Почитая Вас как великого стратега и тактика, излагаю ставшую мне известной диспозицию мятежных отрядов. Бунтовщики общим числом десять тысяч всадников расположились лагерем

меж рек Кобды и Илек. Вооружены бедно, большей частью пиками и тесаками тутошней ковки. Есть ружья, но не более семи-восьми десятков, отдельно пистолеты. Имеются пять пушечек, но, кажись, с порохом у них весьма худо, так они больше для пугала выставлены. Однако порох умеют делать сами.

В сторону Яик-городка мятежники соорудили земляной вал длиной в версту и у него же ров в сажень глубиной. За этим бастионом они жгут костры и собираются в толпы. В бухарскую же сторону у них беззаботно бабы шляются. Однако в этом месте у них и главная ставка из трех юрт, одна их них — белая, обширная, со шпилем и полумесяцем. К ней и стекаются на большие и малые советы сотники и тысячники восставших родов.

Есть и у речки Камысбак пять сотен, по-над речкой Енбике тысяча да на Бердыйкеш тысяча всадников отдельным лагерем. Покровительствуют им и ихняя знать, особливо открыто — владетельный султан Досалы, муж зело хитрый и знающий. Сына своего Сейдалы заслал сюда, а сынок то этот известен как бывший сподвижник Пугачева. Ваше превосходительство, вчерась опять мальчишки дразнились. Говорят, что обратно Невидимый велел меня резать. Я ведь с той ночи все плачу и плачу... И как бы немощен Стал умом. И все оттого, что желаю высказать Вам сведений побольше и этим показать все свое усердие. Как уже мною доносилось, привел меня в стан после разгрома караван Жанболатка. Сам он принялся бавить на своей балалайке, а я прилег. Вдруг слышу рев сатанинский. Я хотел сразу же бежать на те стенания, дабы верно знать кто и что, да перехватил меня тут рыжий мужик по имени Леонтий. Ну я вновь прилег для видимости и глаза смежил, а сам потихонечку и подползаю к войлочной стене. Приподнял краешек у самого днища и зрю. Прежде не видно было ни зги. А потом... смотрю: чудище! Облик я его во всех чертах не разглядел, хотя стояли перед ним люди с факелами. Видать, этот Невидимый пришел от чего-то в ярость и в бешенстве порушил часть своего жилища и теперь стоял неподвижно, выставив наружу голову и полтела. Несколько раз, правда, дернулись судорожно его передние ноги с копытами размером ну прямо с солдатские котелки, и из ноздрей и рта его бил струями дым. А стояли перед ним все те же: Жанболатка с девицей Сапурой и Леонтий. Первые вроде как в растерянности, последний же в раздумье, потому как с огорчением на лице почесывал пятерней затылок. Наконец, Леонтий, оставив в покое свой загривок и принявшись чесать бороденку, прошел мимо этого Невидимого через пролом в ту же юрту с полумесяцем и через минуту-другую чудовище рогатое, глазом не моргнув, пустило из себя дым особенно густо, качнулось и исчезло внутри своих покоев. Не думаю, что это Леонтий втащил его обратно за хвост, а просто уже со всех сторон бежали люди, и он, видимо, сам ушел, так как видеть себя не позволяет. С того часа я как бы послабел разумом, и ко мне стали относиться добрее и снисходительнее. Почти как к дитяти. И воевать оставили только с мальчишками, а они гадкие. Вот и брожу я с

собаками... Этот невидимый более не показывался, а приказы его, говорят, передает прислуживающая ему девка Сапура. В полковниках при этом войске ходят, окромя батыров разных родов, еще султанский сын Сейдалы, отцу верный, но умом не особливо в родителя, и некий атаман Медведь. Для установления личности этого лиходея описываю его портрет: рост имеет не менее двух саженей, волос черный, на голове и в бороде прямой и густой, тело тожеть покрыто густо волосом, глаза карие, злые. Правое ухо дюже мято, на лбу не ранее как этим годом, выжжено клеймо «Вор». При ходьбе косолапит, голос имеет густой, речь простонародная, глупая.

Прозвищ своих он никогда не стыдился. Медведь Иванович? Пущай будет. Это даже веселее. Если припоминать, то все его имена сразу рядком и не уложишь, как и не прикроешь одной крышкой горы, реки и леса башкирского края, где он родился. А край был дик и мятежен. С полвека по нему маршировали батальоны с двуглавыми орлами на медных бляшках. Было у него два имени еще при зачатии. Первое, данное ему отцом-гренадером: «Хлопок-по-Заднице-Строптивой-Татарке», а отчество от матери: «Теперь-Убей-Меня-Тварь». При его рождении опозоренная мать все же опомнилась и назвала его по-человечески: Чушкой. Да вот незадача... Башкиры мирными жить не спешили, и посему Императору-батюшке оставалось одно — не только поставить этот заблудший народец под свою верную власть, но и под истинную веру. Весь народ, конечно, нельзя, через край кровью выльется, а вот инородческие деревеньки у важных трактов да у крепостей крестили. Как-то и башкир деревни Улубаевка солдаты вогнали в озеро, а войсковой поп помахивал на комарином берегу кадилом. Это Медведь Иванович помнил, с удовольствием он тогда выкупался, потому как был в те времена лишь несмышленым мальцом. И таким образом получил еще одно имя. Так имена у него и сменялись. Башкиры, только их окрестили, с проклятьями бежали под подол своего мусульманского бога, да бежать к нему далеко, и укрылись они в ближайших лесах. В деревне остались только немощные да алчущие. Так, две-три семьи... ну, двадцать дворов. Землицу беглых в награду за боевую доблесть и раны в сибирских просторах отдали инвалиду капитану Петухову. Однорукий ветеран тут же своей волей объявил оставшихся крещеных башкирцев с семьями своими крепостными, но за протестом этих волелюбивых жителей последовало из канцелярии генерал губернаторства внушение капитану Петухову за самоуправство, ибо принято было считать в Сибири крестьян вне крепости. Неугомонный Петухов однако это депо так не оставил и, решив возместить себе хоть в малом, трех ребятишек, забежавших случаем к нему на подворье, тайно отправил на Орловщину дворовыми к бедной своей матушке. Один из недорослей по дороге умер, другой прижился закрепощенным лакеем у русской барыни, а вот третий, покрутившись год-три то на тамошнем току, то на разоренной конюшне, побежал обратно, теперь уже и не думая срывать со

своей шеи медный крестик. Он добрался до Яика и, подрядившись батрачить у казачьей семьи, получил обидную кличку. Как-то поехал он с хозяином торговать в Саратов сушеной рыбой, да по дороге зарезал недушевного казака и с его ружьишком пошел бродить-разбойничать. За эти походы получил он уже страшное прозвище. Поймали. В остроге он новое прозвание «заработал», а затем — на заводах на Урал-камне — иную фамилию. Пусть себе зовут Медведем Ивановичем. Оно и к лучшему, под этим имечком он еще никого не убил, не зарезал —и то на душе посветлее. Конечно, казнил он не безвинный люд, а богатеев и кровопийц, но все равно — грех. А с неизвестным именем вроде есть надежда, что апостол Петр на небесах, может, и не разберется, кто перед ним, и впустит в рай. Хоть на минуточку. Подпалить, что там увидится и встретится, и хватит... Отъевшаяся на жертвенных приношениях до отвисшего бобровым воротником загривка, волчица Сапуры так разленилась, что не только бросила заискивающе бегать за своей госпожой, но даже не скалилась, если кто случайно спотыкался об нее, валявшуюся где попало. Впрочем, только одна личность все бродила вокруг юрты с полумесяцем, и ею был плененный торговец из разбитого каравана, со скосившимися от всяких бед глазами. Если волчица и вставала, то только затем, чтобы пройти к казану и вяло взять кусок вареного мяса да мимоходом лизнуть пятку своей хозяйки. Сапуре было спокойно, никто ее не тревожил, сама же она не испытывала ни малейшего желания совместиться с той громкой суетой, что повсюду погоняла лошадей и оттачивала ножи да клинки. Иногда только она с грустью замечала, как бедно и нелепо для девушки одета. Часами она сидела в одиночестве и внимательно разглядывала полусферы своего тела. Зачем они такие? И зачем есть вот эта мягкая щель в промежности, между ног? Ей, дурочке, никто этого не объяснял, хотя она кое о чем догадывалась, потому что с нею связан стыд. Но скоро все прояснилось: ее растолстевшая волчица вдруг приползла к ней и, скуля, принялась рожать. И из похожего отверстия появились склизкие щенки. Сапура думала о муже, она его любила, только непонятно было, где все-таки их настоящий дом и сколько у них скота и почему он позволяет ей болтаться без дела. Ведь по крайней мере можно было остричь коз и начесать шерсть. Что сидеть сложа руки! Скоро зима, а у нее не заготовлено ни кусочка молочнокислого курта, ни горсти сладкомолочного иримшика, что же они будут есть потом? А вдруг ее муж — голодранец и лентяй? Ох она несчастная! Похоже, очень похоже, и где он только шатается и зачем ему эта война... Сапура долго думала об этом, ровно столько, сколько думают молодые жены целый вечер. И, расстилая на ночь постель, наконец, додумалась: надо родить ему ребеночка, и он сразу начнет заботиться о семье и доме. Обрадовавшись, она присела на корточки над чистым полотном, широко расставив колени, чтобы, не откладывая надолго, родить дитя. Но, видно, за один раз этого не сделаешь. Надо как все женщины: ребеночка вырастить в животе побольше... Хотела встать, но тут в этой позе и застал ее вернувшийся Жанболат.

— Что ты делаешь? — спросил он, пристраиваясь рядом с ней на корточки. — Ворожишь?

Сапура смутилась, быстренько свела колени и плюхнулась задом на белое полотно. Зная, что мужа обманывать нельзя, она ответила:

— Я рожала вам ребенка.

Жанболата это не удивило. Он помнил, что перед людьми она ему жена. Жена — вещь подчиненная, существо нужное и, как правило, иногда что-то желающее. Помнил он и то, что, несмотря на чародейство, она все-таки дурочка. И не осудил ее.

— Детей делают не так, — проговорил он и взялся было за шнурки кожаных штанов, но развязать их не смог.

И ушел.

По песку ползла степная черепаха, торопилась, напуганная раздавшимся за ней топотом человека.

Жанболат шел на родовое кладбище, не замечая ни окостеневшего у горизонта солнечного круга, ни колыхавшегося черепашьего панциря на песке. Ему хотелось вымучить из себя душевную боль, но и этого не получалось. Боль ведь должна быть живой, однако по-прежнему ни в груди, ни в гортани ничто не колыхнулось, не защемило. Брел отстраненный и пустой. Брел и все. К вечеру дошел. Он спрыгнул в могилу и, упираясь спиной в ее стену, поднял на колени, а затем на руки сверток, подпер его затылком и вывалил на край. Отдышавшись, выбрался наружу сам и принялся распутывать его. Тела убитого в кошме не оказалось. Здесь был только продолговатый камень с округлым концом, в чем-то схожий с человеческой головой. Без глаз. Без губ. Не спросишь, а спросишь — не ответит. Остается одно: вкопать его в землю и выть перед ним. И это он, атаман Жанболат Меченый, тащил на себе триста верст! Звонко гремят такыры под копытами.

Барабанная дробь глиняных дабылов старит кровь врага. Она киснет и липкой пеной льется изо всех возможных дыр. Враг опозорен, ему остается только умереть, а если он еще стоит перед воином, всадник копытом коня снесет ему голову, и черепок его ляжет среди черепков такыра. И будет он так же звонко греметь, когда джигиты пронесутся — только вперед и вперед. Паводки заливают такыры раз в году, и вода стоит на них долго и не зеленеет, а лишь ровным, теплым парком поднимается под распластанные высоко в небе крылья степного орла. Вода на такырах промывает соль, и на них торчком вытягиваются сусликами гипсовые столбики. Орел косится на них с высоты, падает к земле, но одним крылом его опять тянет к морю и к впадающей в него нерестовой реке. Там красная рыба. У осетра на гребне

шипы. Орел отлетает к своим печальным белым сусликам в такырах. У него там гнездо. Ему теперь не быть всадником. И такыры под его конем не зазвенят. С начала войны старики стали особо требовательны к своим сородичам в соблюдении старинных обычаев и законов. Сему никто не возражал, видя в этом старческом усердии как бы еще одно плечо, способное укрепить дух воинов. И если раньше бездонный песчаный зев на кладбище, в коем Жанболат якобы похоронил чужого человека, привезенного им мертвым в кошме из далеких мест, смущал казахов, то теперь все возмутились надругательством над последним прибежищем их предков. И строго потребовали от Жанболата, сына Кайыржана, засыпать могилу, а также прочтения над ней сур из Корана, дабы мертвец, наконец, успокоился и спал, как ему положено, достойно и незримо в земле, а не шатался где попало. Жанболат заплатил сколько надо мулле, и тот пропел на кладбище все полагавшиеся молитвы, нисколько не смущаясь вида этой ямы без покойника, ибо был безнадежно короток глазом, считаясь притом самым дальновидным человеком в ауле. Однако могилу Жанболат не засыпал, а сам взял и улегся в нее. Одни после этого говорили, что этот сын Кайыржана умер от своего немыслимого упрямства, другие шептали, что правоверные, окончательно возмутившись его поведением, забросали его камнями. Как бы там ни было, эти разговоры о могиле и трупе в ней то ли самого Жанболата, то ли его друга, дошли и до Сапуры, которая в своей Ставке, привязавшись к одной из старух, приносившей ей еду, вызнала все же тайну делания детей. Сапура, бродяжка с младых ногтей, тут же решила идти к мужу. Взяла свою шитую бисером сумку, кликнула волчицу и пошла, не оглядываясь на юрту с полумесяцем. Волчица жалобно пустила слюну, стала забегать ей под ноги, горюя по оставленным волчатам и сытой жизни, но покорилась, вспоминая, как надо брать в степи пустых мясом мышей. Так оно и оказалось. В незасыпанной могиле лежал с бледным лицом Жанболат. Сапура спустилась туда и вытащила мужа, потом, задыхаясь, поволокла его в ближайший могильник — глинобитный мавзолей скончавшегося века три назад великого бия Золотой Орды. Там, под полуосыпавшимся сводом, она прочитала, как положено женщинам, — не в голос — суру «Поклон»: — Это — ведающий скрытое и явное, славный, милосердный, который прекрасно сделал вещь, которую сотворил, и начал творение человека из глины, потом сделал потомство его из капли жалкой воды, потом выровнял его от Своего духа и устроил вам слух, зрение и сердце. Скажи: «Приемлет вашу кончину ангел смерти, которому вы поручены, потом вы к вашему Господу будете возвращены». Доверив свои помыслы Всевышнему, Сапура затем обратилась к хозяину могильника — аруаху, духу погребенного там вечность назад бия и попросила его открыть калитку общения с тем, к кому она взывает. К досаде, глиняный мавзолей принадлежал человеку, при жизни своей вредному и злопамятному. Эти качества настолько пропитали его и его кости, что ими продолжал страдать и самый дух древнего покойника. По крайней мере, люди даже через три столетия помнили его именно таким, а острословы всячески поминали его в своих поговорках, когда речь шла о человеческой

зловредности. Никто к нему не приходил, никаких подношений не приносил, и больные подагрой старики и женщины, страдавшие от бесплодия, просили помощи у небес где угодно, но только не у этого могильника. Не удивительно поэтому, что дух бия очень долго не отзывался на призывы Сапуры, а затем молча принялся пылить перед ее лицом. Видимо, притомившись, он все-таки сдался и потребовал от молодой баксы жертвы — крови ее волчицы, за что обещал даже не помощь, а просто свое невмешательство. Сапуре было жаль волчицу как единственную подругу, но мужа она любила сильнее. И как любая подруга в таких случаях, волчица была приговорена. Сапура жертвенным ножом Доди-аммы перерезала горло покорной хищнице и кровью ее обрызгала земной прах. В тот же миг осела серая пыль, и в могильник проник небесный свет. Угасший Жанболат, не разжимая синюшних губ, назвал свое имя.

— Вернись, — велела его душе Сапура.

И черная змея, истекая гноем, выскользнула из гортани трупа и легла на его грудь, вскидывая узкую головку с жалом к лицу целительницы момосы бар авльды Сапуры-тавун Женщины-матери госпожи Сапуры. И она, момосы бар аель Сапура-талиб, обратилась к Небу:

— Тот, кто был, приди именем Аллаха!

Сапура под тяжким жаром в затылке откинула голову назад, зная, что боль неминуема. Но все одно! И Игла Небесного луча впилась в ее темя, и по ней она вознеслась к Свету. Нет земли зеленой, желтой, белой. Есть только цвет — и он зелен, желт и бел. Он сошел к ней, тот, у кого лик героя и четыре копыта быка. Посланник. Он, посланник, манил: «Иди же за мной!» «Нет», — отвечала ему та, к которой он явился, беззащитная перед ним, как лебедь перед рассветом. «Да, — говорил. — Но оставь то, что заберет в свою долю ангел смерти Азраил. Вот тень его крыльев». «Когда б душа того, за кем летит тень Азраилова, была чиста, я тот же миг оставила бы его. Я ждала часа своего, но он не наступал. Пришли же войско мое». Он не ответил и распался, как облако. И оставил после себя лишь след — змейку с белой чешуей на ее плече, змейку с желтою головой и зелеными глазами. Она светилась полудугой, как радуга. С небес слетело ее войско — подобные львам дэвы и прекрасные пэри из садов Эдема. И велела им Сапура:

— Во имя Аллаха слушайте меня, о мои помощники! Возьмите душу этого человека и ведите к Тому, кто сковал ее. И тут же принялись дэвы и пэри гнать черную змею под землю, дабы она там проторяла путь, а светлую змейку с плеча хозяйки направили за облака, дабы и там была проложена вечная дорога. И вслед черной и белой змейкам они повели душу Жанболата к тому, что был назван. И только когда все утомились, как катящиеся в гору камни, а змейки иссушились и лежали как выползни, душа Жанболата была доставлена на землю к Джаханнам. Стоны и скрежет зубов возвестили им об

этом. По раскаленной пустыне бродили миллионы теней, одни истекали гноем, другие — кровью. Горизонт же закрывала стена пламени, пылая жаром, не обжигающим кожу, но проникающим в сердце. И то был огонь, который стоял, как плита из красного гранита. Как стареет мать, из года в год кормя и взращивая своих детей, так и Сапура, пытаясь воскресить мужа и на глазах увядая, проходит по жизненному его пути — от самого рождения и до конца... Войско ее вернулось и испуганно твердило ей:

— Мы не смогли... Он отказал.

Сапура заплакала, раздирая ногтями щеки. Когда же рассудок вновь вернулся к ней, она вскричала:

— Тот, кто был, вернись именем Аллаха! Небо посерело и закапало нудным дождем. Из набравшихся луж, кривляясь, выходили жабы. По ним ползли длинные дождевые черви. И Он явился, возник перед ней, и был удручен, и не бил копытами землю. Молчал. Сапура, встав перед ним, повелела:

— Всеми знаками, известными мне, всеми заветами, мной познанными, заклинаю тебя во имя Истины, что выше всех знаков и заветов, иди к Всевышнему и проси вернуть мне мужа моего.

По прекрасному лицу Посланника потекли то ли слезы, то ли струйка дождя... Влага та имела печальный рисунок. Он был нем, но Сапура уже знала. Голос, у которого нет ни тембра, ни силы, но есть суть, донес до нее решение. Того, Кто властен. Ей предстояло выбрать. Между этим, чей лик божествен, а тело налито звериной мощью, и тем, кто лежит бездыханным у ее ног, вял, изуродован шрамом. И сказала она, рыдая и тоскуя, протягивая от девичьих своих грудей ладони к тому, что был послан Небом:

— Пусть вернут его...

Дождь внезапно кончился, и жабы проглотили всех червей. Жабы попрыгали в лужи. А вода в лужах испарилась. В тот час того года и исчез с четырехугольной земли и Человекобык, как некогда до него Единорог, о коем кроме какого-нибудь франка-живописца да китайца стихотворца никто сегодня и не вспомнит. Дух кладбищенского мазара с трудом дождался конца мучений этой женщины. Прямо на его глазах придурочная отказалась от покровительства Неба, прогнав такого сильного демона с лицом человека, но с рогами и копытами зверя. Теперь она в его власти. Противный аруах, правда, колебался с выбором мести: хотелось наслать на эту бабу бородавки, хотелось запустить ей в волосы вшей, хотелось защекотать ее до икоты, хотелось... множество есть приятных вещей на свете. Однако, пока он подпрыгивал над ней, выбирая наказание, труп, лежавший рядом, засучил ногами, завертелся, застонал, открыл глаза и приподнял разбитое долгим недвижением тело свое. И встал. И этим так перепугал зловредного, но

трусоватого аруаха, что тот провалился в землю и даже куда-то дальше, очутившись над немыслимой бескрайней толщей соленой воды. Опомнившись, он попытался просочиться обратно, но не нашел проделанной им дыры. Вокруг молча летали крылатые рыбы. Аруах заплакал. Разве эта водяная гладь может сравниться с его бесконечно теперь далекой родиной, где в траве муравьи бегают, как кони, а полынь пахнет терпко, как женские подмышки, где всякий чтит могилы предков и приносит к ним всяческие жертвоприношения и новости, жалобы, конечно, тоже, ему хоть и давно почившему, но судебному лицу своего народа. Дух бия зарыдал еще горше и поплелся по волнам в сторону Мекки. Эта дорога всегда была отмечена солнечным лучом, откуда бы путник ни начинал свой шаг. Напрасно так отчаялся аруах, пусть даже не самого лучшего казахского бия. Без сомнения, картина оживления мертвого сама по себе жутковата, но в том-то и дело, что никакого воскрешения не было. Да, Жанболат умирал, но ведь и смерть человека почти такая же долгая дорога, как путь в Мекку, ее еще пройти надо, а он так и не дошел. Говорили, что его спасла жена. А как — никому ведомо не было. Правда, болтали о какой-то жертве в виде серой волчицы, но если бы дело обстояло именно так, то в степи скоро не осталось бы ни одного волчьего следа. Сапура увела Жанболата с кладбища, устроила жилье из всего, что попалось ей под руку у поросшей кустарником каменистой сопки, усадила мужа у очага и напоила горячим настоем из трав. И он тут же уснул. Она накрыла его пестрым одеялом. Сновидений Жанболат никогда не видел и не верил ничьим россказням про сны. Разве способен человек видеть что-то или кого-то, если глаза его плотно закрыты, как кожаные чехлы для пиал? Что — у него под переносицей третий глаз? Чушь да и только. Жанболат спал, и сон его был наполнен льющимся из-под безымянного края светом. Но разве это сновидение? Просто свет. Если комариным летом 1775 года роды казахов съезжались к Стану Козкормеса — и с бабами, и с детьми, то после разгрома каравана мужчины сразу выделились в войско, а неспособных к ратным делам домочадцев отправили по прежним кочевым местам. И все были уверены в одном: не мы, тихие, а они, злонамеренные, виноваты и начали первыми. Кто «они» — царица, царь, генералы, однорукий капитан, купцы, казаки с ружьями — не важно, — важно, что начали. Бас! Баста, пожили в дружбе с русскими, хватит, сыты по горло. К тому же за три дня до разгрома каравана пропал трехлетний мальчик. Искали и день, и ночь, а когда нашли трупик дитяти, густо покрытый мошкарой, в нем не осталось ни капельки крови. Не страшный ли это знак?! И как тут не взяться за сабли и пики?! Мятежникам не составило особого труда соединиться по родственным линиям в десятки, в сотни с сотником во главе. Сотни сложились в тысячи, где уже командовал мынбаши — обязательно знатный батыр. Отдельно был сформирован отряд из чужого народа. И над этим отрядом атаманом был поставлен Медведь. Теперь вставали рано, прежде солнца, строились, бились тысяча на тысячу в боевых играх. Казна устроилась в Стане. От нее шли средства на съестное. В двадцати трех кузницах застучали молоты и наковальни, затачивались клинки. Бранить

русских и бабу-царицу стали реже, а резали чаще свою овцу, молились да крепили сбрую. Хотели, согласно вековым традициям, кликнуть из военного совета хана на войну, но из Стана Козкормеса пришла радостная весть. Человекобык, чей облик невидим, хребет стальной, а имя свято, сам изволил взять власть в свои руки, и несет полный ответ за эту войну и перед Богом, и перед любой властью во всех сторонах Земли. Были, конечно, и такие, кто потихонечку сомневался: мол, а как он возьмет все в свои руки, коли рук вроде быку не положено? Но таким отвечали, что есть у него еще рога, и на них болтаться не сладко. Такие уж шутки у простолюдинов, но из Стана вскоре пришли полные разъяснения. Прежде всего. Вождь Козкормес-Коктемир-Аулие не лишен облика, а бывает всяким. Смотрите, смотрите! Вон тот бык, который сейчас там, вдали, рушит степь, гоняясь за телками, может быть и есть Он сам. А, возможно, Он, приняв сегодня облик могучего старца, бродит между нами. Завтра же — станет могучим балуаном,

Борец, в данном случае богатырь, способным поднять телегу с десятками людей, и поведет воинов в бой.

Он разный, а следовательно, такой же, как и все, но в отличие от всех живших и живущих на земле людей, он непобедим. И с ним быть, идти за ним — значит тоже стать непобедимыми. Мятежное войско с разъяснением согласилось, и все же, прежде чем принять клятву, батыры просили Вождя хотя бы разок появиться перед ними. А там можно и выступать в поход. Забредшие первыми на берег Кобды по воле Сапуры, невзначай рассердившейся на их шумливость, ходили в междуречье и в лагере более чем нетерпимыми и непримиримыми. Среди них особенно злобствовал однорукий калека, за что скоро получил прозвище Атеш-Петух. Числом они были малы, но даже жены их путали, дети пугались. А одна баба уверяла, что у ее супруга, затесавшегося в эту толпу, даже запах стал иной. — Раньше от него воняло слаще, — уверяла она. Ей верили. Знатная — из роду Тама — семья Жанболата рождала известных в Младшем жузе батыров. Сия последовательность не только никого не удивляла и не восхищала, а была ожидаема. «Исмаил» — имя их далекого предка — было их же боевым кличем. Услышав истошный вопль, каждый вспоминал пословицу: «Полумесяц рождает только Луну, потомки Исмаила — только богатырей». Без сомнения, все предки Жанболата были истинными умельцами в боевом искусстве, и за каждым из них числился прославленный в стихах подвиг. И они очень обижались, если степные певцы забывали тот или иной стих, а значит, ничего не забывалось. Еще бы! Если один из них со стрелой, пронзившей ему горло, бил и забил насмерть напавшего на него огромного, как гора, калмыка, другой, наоборот, попав в засаду к туркменским лучникам, не дал себя задеть ни одной, пущенной в него с расстояния менее чем в сто шагов, из семидесяти семи стрел... Батыры из клана Исмаил рода Тама разнились, но одно объединяло их безусловно. Все они гибли в возрасте не старше тридцати лет. Отец Жанболата — мерген Кайыржан,

прославившийся тем, что из мушкета с невинным названием «Каракоз» без промаха и одним выстрелом убивал двух врагов, разбился в скалах, когда его сын только появился на свет. Черный глаз. Вдовы батыров дома Исмаила всегда очень высоко почитались и ценились. К ним начинали свататься сразу же, как только проходила годовщина смерти мужа, ибо считалось негласно, что семя таких знаменитостей уже создало в чреве их жен ту благодатную почву, на которой ничто дурное уже произрасти не может.

Жанболат отчима не признавал и рос сам по себе. Грамотой овладел достаточно, что видеть в букве « ن » гораздо позже, чем луком.

Со времени вхождения в подданство Российской империи хана Абулхаира в Младшем жузе войн не стало. Стычки были — то с казаками, то с башкирским улусом, но более-менее кровопролитной войны не было, это верно.

В едином государстве воевать не полагалось. На то был закон, и закон сей был суров. Подписанные дипломатические бумаги тем и сильны, что оговорены с двух сторон, а значит исключают и те причины, что заставляли народы сражаться меж собой. Сильны-то сильны, но и эти документы дряхлеют и рвутся по сгибу, когда с годами появляются новые люди. И занят был бы всю свою жизнь Жанболат драками — особливо при угоне косяков лошадей, или ушел бы служить Хивинскому эмиру, но тут с тайного разрешения Оренбургского губернатора Неплюева султан Большого жуза зарезал хана Абулхаира — за предательство казахского народа, ибо дело свое он уже сделал, а прощен не был. Санкт-Петербургом был назначен новый хан Младшего жуза Нуралы, но сын сыном, а что-то качнулось в аулах. А может быть, все оставалось по-прежнему, только подростки стали юношами. К тому же в самой России появились престранные перемены и новые персоны. Казахов мало интересовало, что происходило на русских землях западнее Царицына да севернее Саратова. Надобности в том не было. Их не обязывали воевать в армии белых царей, а ярмарки с купцами добирались до них сами. Да что там торговые гости, если даже русский царь, наконец, сам к ним пожаловал. Правда, говорили, не от хорошей жизни — жена-царица обидела. Конечно, прежде всего, царь заехал к своим — яицким казакам, пошел с ними возвращать отнятый у него же Оренбург, но потом, подумав, послал письма к казахским ханам с воззванием встать под его справедливые знамена. А в аулы прияицкие просто направил верных ему татарских и башкирских джигитов, и они разъяснили казахам, в чем обида русского царя на князей своих и жену-царицу. Жанболат, кажется, и не дождавшись царских гонцов, был уже в одном из его полков, потому как суждено ему было биться, если не за землю предков, то за униженных, ограбленных и оскорбленных. Можно еще за девицу, но это потом. В тот первый поход палице его появился шрам. С каждым днем он расширялся, грубел, а за год искривил Жанболату всю левую щеку — от уха до губ. Что только ни делал молодой батыр с этой напастью. И парил рубец темным конским навозом, и

мазал салом сурка — все напрасно. Тогда его и прозвали — Меченый. Жанболат спал. Сапуре очень хотелось прижаться к мужу, и она украдкой чуть сдвигалась к нему, но вдруг, невесть кого и чего стыдясь, отстранялась, хотя вокруг их лоскутного приюта верст на пять не было ни одной живой души. Сапуре не спалось. Она волновалась и вздыхала. Правы, правы были соседки из ее родительского аула, ну не дурочка ли она... Ей очень хотелось сделать для мужа что-нибудь хорошев и, недолго думая, она решила убрать шрам с его лица. Наклонилась над Жанболатом, подтянула к себе шитую бисером торбу, но оказалось, что все семь предметов, вложенные туда самой Великой Доди-аммой, потеряли свою чудотворную силу. Круглое зеркало стало обычным мутноватым зеркальцем, а заговоренный прутик только хрустнул в ее руках и переломился надвое. Сапура огорчилась, но ведь есть у нее еще и войско духов. Она вышла под открытое небо и со всей заложенной в ней страстью стала призывать преданных ей дэвов и пэри, но как ни старалась, на зов ее подлетали только разбуженные жаворонки. Посидев на ветках кустарника, они снова улетали в степь, где пели тонко, предвещая зарю. В отчаянье Сапура бросила в догорающий костер никчемный теперь прутик, хотела отправить туда же и зеркальце, но вовремя одумалась: эта редкая для женщин вещица цену имеет высокую, за нее можно сторговать и трех баранов. Отплакав, она вернулась к спящему мужу. Светало. Сапура, поборов, наконец, стыд, вгляделась в лицо спящего Жанболата и с облегчением отметила, что этот страшный шрам не так уж и уродует его. Да что там уродует, наоборот, — со шрамом он еще более мужественный... Да! Муж ее со шрамом очень пригож! Пожалуй, она, Сапура, теперь вовсе не умалишенная или придурочная, а просто обыкновенная женщина. Женщин порой вообще трудно понять, вот и возникают некоторые недоразумения относительно оценки их умственных способностей. Жанболат Меченый проснулся и увидел, что Свет ему не приснился. Он был. На склонах сопки, приютившей в эти дни двух нелепых молодоженов, росла трава. Розовые, паутинопушистые, словно покрытые белой нежнейшей шерсткой стебли огей-шопа — мать-и-мачехи — несут золотистые цветочные коробочки. Но попробуй смахни это хрупкое создание. Под стеблями огей-шопа разрослись подземные корни, мощные и крепкие.. Стебель же угргасына неприметен, но высок, дерзок, крепок. Соседи казахов называют его еще и как волкобойник или боец-корень. Листья угргасына жесткие, как отточенные с зубцами клинки, а верхний лист зависает, как шлем. Воины Тюркского каганата и легионеры Древнего Рима варили из него яд для стрел, а бывало, и для последней чаши приговоренного к смерти человека. Трава огей-шоп хороша в смягчающих настойках, снимает воспаление и вызывает аппетит. Малой дозой ядовитого угргасына знахари останавливают кровотечение и снимают боль в костях и суставах. Долго ли здоровому мужчине понять, что женщина, с которой он оказался под одним пологом, красива, если она действительно такая, да к тому же юна. Не успеет глазом моргнуть, как все, что нужно, нальется в нем до несгибаемой упругости. Больному на все это потребуется больше времени. Часа три-четыре, а если сразу глотнуть горячего бульона из

бараньего копчика, то и часа достаточно. Жанболату, извлеченному из темной дыры, ведущей в потусторонний мир, надо было гораздо больше времени. И усилий. И в силу того, что он все-таки был мужчиной, эти усилия прилагала опять его женщина. Она побудила его на седьмой день улыбнуться, затем научила ходить и даже кормила его своей девичьей грудью. Молоко присыхало на краешке его губ и осыпалось млечной пыльцой. И он видел. Она была луноликой, и коса ее струилась, как ночь, до земли. Она желала. Жрец и даже ученик жреца, только-только переступивший порог храма, узнали бы в ее трепетном коленопреклонении ту зовущую покорность, которая делает ритуальный нож святым, а саму жертву — угодной богам. Она была его женой. Он обнял ее все же на Своем ночном ложе из трав огей-шона и угргасына, переплетенных стебельками осенних маков, пылящих счастьем, и почувствовал, как горячий озноб бьет все его тело и как стыдная малая часть его там в паху ожила в божка не божка, идола не идола, но нечто, требующее поклонения и исполнения ритуалов... Он сказал ей ласково, теряясь и сбиваясь со слога: — У меня есть две телки, одна, правда, говорили, яловая, но ее можно зарезать на зиму. На что она, поддаваясь его рукам и колену, давившему в сомкнутый проем ног, отвечала, счастливо пугаясь: Хорошо бы от... от второй иметь весной... приплод... Сын мой, ты пойдешь к ним и молча сядешь с ними в один круг, колено к колену, отказавшись от презрения и неприязни, как от слишком дорогих сладостей. Сейчас наша пища — жареная немолотая пшеница.. Опираясь на беков и батыров, будь для них братом, но пусть помнят, чей ты сын. А для этих... ты — султан Сейдалы. У тебя на камзоле висит витая золотая цепочка с костяной зубочисткой и прочими предметами для ухода за ногтями и усами. Вот и не забывай о ней. Когда говоришь с беками и батырами, расчесывай усы, говоришь с этими — чисти ногти. Тот рыжий русский опять, я думаю, будет пьян и встать не сможет. Значит, на совет придет лишь один русский по имени Медведь. Если они — клейменые рабы, кроме них некому, — не напомнят о царе Пугачеве, согласись с ними, но скажи о нем сам. К чему нам бунчуки и знамена своего ханства, когда можно поторговаться за оставшийся лоскут пугачевского знамени. Продадим вначале его, а там посмотрим. Подумай сам, к чему сейчас выставлять себя, когда появился этот Козкормес? И к тому же, поговаривают, явился он не случайно. Так пусть и будет наместником царя Петра. И мы признаем это. Зачем же разжигать новый пожар, когда еще тлеют угольки прежнего? Только раздуть. Сделай все, чтобы приблизить к себе Жанболата из рода Тама. А к этой Сапуре, живущей у Козкермеса, приставь двух старух. Не думаю, что она согласится говорить людям от нашего имени, так пусть эти старухи говорят за нее. Оу, Аллах, откуда же я знаю, что это за чудовище Козкормес? Что оттого, что его видели — я не видел! И видеть не хочу. Есть он, значит есть. Если он от Бога, то когда-нибудь нас поправит, а если нет, то поправлять его будем мы. Отложим все это в сторону и прочитаем молитвенную суру «Преграды» Алиф лим мим саад. Писание ниспослано тебе — пусть же не будет в твоей груди стеснения от него! — чтобы ты

увещевал им и чтобы оно было напоминанием верующим. Следуйте затем, что ниспослано вам от вашего Господа, не следуйте вместо него за покровителями; мало вы вспоминаете. И сколько селений мы погубили! Приходила к нам наша ярость ночью или когда они покоились... Что ты сказал? Что значит — нет ее в Ставке? Так что же ты до сих пор молчал, недоумок? Постой, верно ли, что эта девица ушла с Жанболатом? Это тот таманец? Когда? Ах, да, ведь он назвал ее женой... Как же я это упустил? Впрочем, мы тогда и знать о них не знали. Вставай! Немедля скачи к Ставке Козкормеса, проверь все досконально, сам, слышишь, сам убедись, что Сапуры нет ни в юртах, ни в округе Ставки. Не найдешь ее, скачи в аулы в отряды, ищи этого Жанболата. Если и его не найдешь, значит, они ушли вместе. Найди их, где хочешь. Каковы, а? Оставили в дураках... Выходит, что я, сделав Ставку этому несуществующему Козкормесу, назвав его к тому же святым, весь этот мятеж и начал? Нет, не мы первые закричали об этом Невидимом Вожде, не мы собирали толпу его поклонников на Кобде и Илеке. Да кто же позволит им теперь уйти?! Когда названы имена! Ах, как я проглядел... как проглядел... А смотрел-то, кажется, в оба. То-то, Невидимый... Смотри, сын, теперь судьба нашей семьи в твоих руках... Скачи, да поможет тебе Всевышний. Сапура, став в ту ночь настоящей женой, увидела, как весь мир сказочно преобразился: небосклон был осыпан алмазами, а звери заговорили кругом приветливыми голосами о ее счастье, дома же у нее полным-полно муки и вяленого мяса. Не видение ли все это? И у Жанболата сквозь слепоту отступившей полужизни прорезался свой взгляд, и он был очень рад этому. Он видел, как, скрипя, кренится на ветру их шалаш, как хмурится небо, а значит, будет дождь — и непременно холодный, видел, как изорвана его и ее одежда... Наконец-то вновь пространство перед ним развернулось из объема бесконечного пещерного лаза в открытую, пусть и холодную и пустую, но степь. Исчезли мелькавшие перед ним тени, вернее, тени снова стали обыкновенными тенями от него, вставшего перед слабым восходящим солнцем, от шалаша, от камней. С удивлением он вспомнил, что еще совсем недавно ему казалось, что земля круглая и что он катится по ней куда-то в бездну, наполненную вселенской мглой. Теперь он снова твердо уверен, что Земля квадратная. И это очень прочно. Это — здраво. И больше нечего мудрить. Надо заниматься хозяйством. Пока жена кипятила воду для варева, он продумал все, что ему нужно сделать сегодня и завтра. Остальное придет само собой. Прежде всего, он твердо решил именно под этой сопкой, ближе к роднику, ставить на камне зимовку. Не было жердей для крыши, но он знал, где находится небольшой березовый колок. Жилище его будет из одной комнаты, разделенной на жилую часть и угол для молодняка. Нужен еще загон для скота. Успеть бы хоть чуть накосить сена. До снега. Еще нужно съездить к отчиму в аул и забрать все, что осталось ему от отца. Ведь когда-то он взял себе лишь оружие Кайыржан-батыра. И все. Ну, еще седло с серебряным и костяным узором. И больше ничего. А хорошая у него баба! Ловкая. Сама устроилась здесь. Не помешает осмотреть сопку. Здесь могут быть змеи. Змей не оказалось, это был хороший знак. Жанболат оставил

всякие никчемные, доводившие его прежде до отчаянья мысли, суть которых он и сам не понимал... Ведь он был рожден батыром, как и его отец, дед, прадед, а не кем-то там еще. Жанболата Меченого с Сапурой нашли. Отчим сдал Жанбопата молодому султану Сейдалы: ему жаль было расставаться с доставшимся ему от Кайыржана батыра добром. Им подвели двух лошадей. Жанболат от одной отказался. Он вскочил на кобылицу с широкой спокойной спиной. Сейдалы-султан подумал было: а не хочет ли этот Меченый бежать от своей бабы, но Жанболат склонился, легко поднял стоявшую рядом Сапуру и усадил ее перед собой.

— Эй, да он что, — глумливо воскликнул один из парней, — хочет умыкнуть сам у себя свою женку?!

Сейдалы-султан тут же перетянул шутника камчой по спине. Отец султан Досалы велел к приближенным Козкермеса относиться с должным почтением. Они вернулись в Ставку Козкормеса, и хотя их обещали щедро наградить за пребывание в трех юртах, Сапуре эта воля Невидимого Вождя пришлась не по душе. Не умела она одновременно любить одного и прислуживать другому. И совсем не важно было то, что этот второй невидим. Более того, она уже знала, что его нет и никогда не будет, но все равно — люди что подумают... Такая, мол, эта Сапура, успевает и тут и там... стелить постель. Ей сразу захотелось уйти отсюда, и она сказала об этом мужу. Он долго не отвечал, и лишь когда наступили сумерки, он сел рядом с ней под открытым небом и сказал тихо: — К той зимовке нам уже никогда не вернуться. Сапура вздрогнула, взглянула на него повлажневшими глазами и прижалась лицом к его руке. Рядом ходили две старухи, и в большой с полумесяцем над сводом юрте стучал по наковальне рыжий орыс. Все было налажено из рук вон плохо, но это была инженерная идея. Пусть нет чертежа на бумаге, ну так что же... Такое на бумагу и не нанесешь... Да и к чему она, такому мастеру, бумага — подтереться ею? Пускай немец все вычерчивает да вымеряет — он, Самшуренок, берет не цифрами — умом. Придумал, представил, приладил, припаял — и поехали. Ни износа, ни ремонта. Эх, ему бы еще трубочки латунные да шестеренки вроде часовых, но величиной поболее, да ничего! Не впервой ему так работать, когда кроме девяти и одного негнущегося пальцев ничего нет. Тут механический талант надо иметь. Такой уж он — Леонтий Самшуренок! Из юрты он и не выходил, весь прокоптившись от скверно сложенного горна. Ну и народ кочевой: печь исправно поставить не могут. Спасибо, хоть уголь ему выжигают. Но на порог он никого не пускал — нечего! Пользы в том нет. И вдруг, ба! — является к нему Сапурка. Давненько не виделись.

— Ну чего тебе, девка? — заторопил ее сразу Самшуренок.

А она ему:

— Братец, ты другие страны знаешь, проведи меня к ним с мужем.

Задумался Самшуренок и бормочет:

— Знаю, знаю... — и дальше мозгует. — Рычаг тута не такой надо бы, а такой — с вывертом, с замком таким хитрым...

А Сапура не унимается, идет за ним, и что совсем на нее не похоже, просит жалобно:

— Проведи...

Изумился было Сапуркиной на себя непохожести, но тут замок нарисовался у него в голове, не пускает разговоры разговаривать:

— Постой, девка. Тута надо бы присобачить два штыря коротких и концы в желоба, чтоб скользили по дуге... Да отстань ты, не видишь — занят! Что тебе, девка, среди металла? Металл духа вашего бабьего не переносит, тем паче механический металл. Однако, без пружины и замок не сложится. Где взять пружину-то? Беда-а! А она ему все поперек, да глазами жжет: — Да ты, братец, разве не видишь, что этого делать нельзя? Уйдем. Глядит на нее Самшуренок и не видит ее. Не видит ее братец и не слышит, потому как в его гениальной башке пружина застряла и рвет там все. Чем же эту распроклятую пружину в замке-то заменить? Хоть сам крутись! Обхватил Самшуренок свою головушку руками и задумался особливо горько, потому как таким манером достигал он самых невероятных курьезов. Под стальным месяцем, нависшим своим краем над затылками столпившихся у Стана воинов, тихо. Он показал свой лик. Человекобык. И Он взошел над ними. Вождь. От дымного рева его заколебались факельные огни и расширились зрачки зривших его. От Верхоуральска и Орска до берега Каспия встало восстание Невидимого Козкормеса — на протяжении двадцати дней конного пути. Кони нынче шли не шагом, а неслись галопом и аллюром, захлебывались слюной и вставали на дыбы от картечи. Табынцы под руководством батыра Калыбая, таманцы с батыром Кадыром и воины из рода Жагайбайлы ударили по крепости Колпаковской, роды Шекты, Шомекей и Кердери ударили по городам Гурьеву и Кулагине; ополченцы же из рода Алаш пошли на земляные валы Ильинска. На самарской стороне Яика-Урала восставшие сожгли все казачьи станицы. И, наконец, взяв удачно укрепы Краснояра да Чернояра, султан Сейдалы с другими батырами принялся собирать всех в одно соединение для похода на Самару. Из всего добра, что правдой и неправдой было добыто для покрова и нутра Человекобыка, особенно волновала Самшуренка бутыль со спиртом. А как впервые дохнул паром да шагнул монстр, так Самшуренок вообще крепко приложился к бутыли. Ничем другим невозможно было унять волнение. Так он весь спирт до донышка из посуды дутого стекла и вытянул. А никто ему не указчик! Через этого Человекобыка никакие Жанболатки и Медведи Ивановичи ему не ровня. И это они сами признали... Однако вторую бутыль, несмотря на самые страшные угрозы его, не доставили ему. Бьет Самшуренка дрожь, но где тут, в проклятой пустыне, опохмелишься? Кабаков и целовальников здесь нет. Чуть не помер Самшуренок, но целинная живучесть не дала... Пошел Самшуренок по аулам и нашел бузу — ячменное пиво. А, сойдясь со знающими людьми, узнал и о молочной водке. И среди сотен юрт выискал одну, где жил со своей старухой-калмычкой старик с винным духом. Посмотрели они друг на друга и сели рядом, а черная хозяйка водрузила на очаг огромный котел с кислым молоком, а наверх хитроумно устроенный

березовый бочонок с бороздкой, вьющейся по внутренней гладкой стенке. Вскоре простокваша закипела, забурлила и из дырочки в бочонке закапал мутный арак в подставленную пиалу. Пошел запах, да пока накапает! От нетерпения Самшуренок елозить задом стал. А чтобы не выдать нетерпения, пустился в разговоры:

— В Санкт-Петербурге, дед, слон, даренный персидским царем, живет. Так той скотине помимо горы капусты со свеклою еще выставляют двести ведер вина!

Старик хоть и не понимал, о чем говорит гость, но внимательно выслушал его и протянул ему первую пробу. Потянул Самшуренок из чаши и высказал знающе одобряющее слово:

– Жаксы

Так сидели они со стариком, сидели и вдруг необычайный шум и толчея заколебали прокопченный войлок маленькой юрты. И суток не прошло после выступления в поход, как стали прибывать исколотые железом и осквернённые порохом трупы. И встречали их с плачем и траурными песнопениями. Женщины царапали свои лица в кровь, а дети взвизгивали то ли от восторга перед всем происходящим, то ли от страха за своих матерей. Слушать все это Самшуренку было невмоготу, но что поделать, если Бог слепил человека с ушами. Хоть засунь свою башку в кипящий котел, да старик не даст. А потому сидел так рядком с хозяином и считал капли арака. В одну деревянную пиалу до самого краешка вмещалось ровно двести пятнадцать капель, а во вторую — двести шестьдесят три. А сколько пиал Самшуренок вытянул, он не считал, потому как это не тонкая сфера умонапряженья. Тронул Самшуренок рукой старика и пробормотал:

— Парень, слышь... А зря мы... Того, что думалось, уже не будет, потому как при Емельке-то мы все прогуляли, а теперь тока похмелье. Зря-я... И что за страна у вас такая, хоть скачи, хоть на коленях ползи, — кругом ни одной церквушки. Слышь, дед, покаяться хочу... — и опять ткнул своего собеседника.

Старик не ответил, а только опрокинулся на спину, перевалился на бок и подтянул коленки под самый свой жидкий волосом подбородок. Ну не младенец ли в материнской утробе, на лице блаженная неземная улыбочка. Самшуренок в отчаянье огляделся по сторонам, поднял голову и закрестился на крестовину шанырака, что крепил свод юрты, но все же сквозь пьяную топь в голове сообразил, что крестится не на крест, и взвыл от тоски. Кренясь, он встал, пошатался чуток по голой юрте и наткнулся на крепкую веревку, свисавшую сверху для подвязки просоленного мяса, подергал его на прочность и сказал трезво:

— Я к ним с умом... эх! Прости, русский народ, сына своего грешного, Леонтия. Аминь, — и, связав петлю, сунул в нее свою головушку.

Вздохнул еще раз Самшуренок, гений механики, и завис над глиняным полом чужого ему жилища в непонятном крае. Старуха-калмычка поглядела на него из темноты с дальнего сундука, поглядела и пропела свою буддийскую молитву:

— Упала звезда. Взял Эрлик Номин-каан душу на небо ваджры — Очир Тенгир. Скажи, душа добрая, Эрлик Номин-каану, пусть меня скорее возьмет туда, где светло и плоды с кибитку. Забыли совсем обо мне.

И загорелось восстание. Казахская рать Козкормеса кинулась к Гурьев-городку, сожгла пристань, лодки казаков, дошла до Саратова и сожгла полгорода деревянного. А к Яицкой крепости, а со времени казни Пугачева городку Уральску, подошел со своим отрядом атаман Медведь и встал над ним, как когда-то Емельян, царь народный. Бородатые казачки молча взирали со стены на казахские сотни и, что удивительно, в этот раз не оскорбляли их срамными словесными выкрутасами. Медведь Иванович, подбоченившись, подъехал ближе к стенам и закричал:

— Эй, чего не палите?! Аль вам в пушечки воробей накакал? Погибель ваша пришла — открывай ворота!

— Мы не откроем! — сердились казаки. — Прохвост.

— Тогда чё? Воюй!

— Сами знаем.

Сметливый вор-атаман тут же уловил раскачивающееся настроение казачков и, как задумывал, принялся сманивать их на свою сторону. Себя называл, вспоминал, чего не было, но красочно, крестился, чтобы видели: не басурманин он. А как стал рассказывать о любимом своем государе Петре Федоровиче, горько расплакался.

— Слыхали, — отвечали ему. — Ежели ты православный, чего со зверьми якшаешься? Они наши станицы жгут, и ты туда же, иуда.

— Тогда воюй, — не унимался Медведь. — У них, казак-киргизцев, нынче небывалый от царя Петра Федоровича посланник есть.

— Слыхали, — твердили свое казаки. — Ежели кто есть, пусть покажется. Поговорим. А нет — беги отседова.

Медведь Иванович на это горько усмехнулся и опять заспорил:

— Так он невидимый! Врешь!

— Я вру! Во крест! Он бы вам показался, только не желает уральским, а желает токо яицким казакам!

— Ах ты, паскудник! Ты нас не зли.

— Рыбку-то красную, говорят, сейчас токо с генералова разрешеньица берете? А за свою охоту – батоги!

— Ты не зли!

— Стреляйте, черти!

— Сами знаем.

Так и стоял без боя и штурма Медведь под казачьей столицей и толковал с казаками без толку, пока не пришла рота солдат и не дала залп. Совещательный круг беков и батыров восставших войск собрался у юрты с полумесяцем. Все с опасением поглядывали на жилище вождя Козкормеса, но тот ни единым звуком не проявлял себя. И все же толковали вполголоса. И порешили: отряды более не сдерживать, пусть теснят стены всякой крепости, а как сожгут для страха с десяток, тогда собираться всем вместе и

брать Яицкий городок и идти на Самару. А там, божился Медведь, и русский народ вновь встанет. В этом атаман был уверен и побожился перед не верующими в Христа сотоварищами. Султан Сейдалы важно молчал и занимался своими ногтями. А как русский кончил, то сказал с обидой:

— Трудно будет без братьев наших башкир, давай напишем им письмо, пусть и они возьмутся за оружие.

Никто не возразил, и Сейдалы поманил к себе писаря и надиктовал, что отец велел: «Если на то воля Аллаха, то между нашими и вашими улусами сообщение было; ибо хотя у казахов с Россиею, со времен Абулхаир-хана и было мирно, однако с прибытием нового государя с генералом мы находимся в раздоре, а с теми, кто государю поклонные, хорошо живем. Причем детям мусульманским бесчестие одно быть может: от враждующих с нами русских никакого осуждения мы не имели, только от преклонившихся государю башкир великое разорение претерпели, которые весною отовсюду как людей, так и лошадей и верблюдов много взяли, девок, женок да служанок погубили немало. А лучше, ежели бы мы, обе стороны, будучи мусульмане, утвердясь между собой в согласии и мире и войска совокупя до прибытия нового государя, на Россию воевали. С самого основания Орды нашей такого башкирского разорения мы не имели. Мы не могли вытерпеть вашего проступка, один улус забрали, а могли бы половину орды сокрушить. Только мы по упованию на нового государя никого сокрушать не хотим. А вы. видно, от государя отчаялись? Сей ваш проступок советуем вам оставить. Ежели не оставите, то нас в середине ваших улусов найдете, готовьтесь». И так далее, и тому подобное. Когда писец, наконец, дописал письмо, Сейдалы-султан торжественно, как мог, поставил на сей бумаге свою печать, и подписался: «Сейдалы-султан, Дусалиев сын собственноручно печать положил». Припечатав к листку свою тамгу и расписавшись, султан Сейдалы снова принялся поигрывать своей золотой цепочкой на камзоле, но ногтей более не чистил и усы расчесывать воздержался. Он ждал. Но никто не спешил высказывать своего мнения о письме, ибо оно написано было столь высоким стилем, что совершенно стирало всякие грани между вроде бы укором и в то же время благодарностью, между обидами и признательностью, угрозой и надеждой на верность и составляло образцовый дипломатический документ, суть которого иные называют полуправдой, а некоторые напротив — полуложью. Только атаман Медведь простодушно возопил:

— Так чего, господа мурзы, с башкирцами мы воевать собрались или же все вместе биться?!

На что Сейдалы, опять занявшись ногтями, отвечал:

— Разве не ясно? Русский плохо понимает нашу речь.

— Так чего же тогда там написано...

— У нас так в народе принято... Или русский против наших обычаев?

Беки и батыры покачали головами и укоризненно оглядели атамана с буквой на лбу. Один из них хотел было тут же биться с ним, но его удержали. Неудобно, человек плохо понимает — не убивать же его за это... И здесь

султан предложил это секретное послание пока придержать у себя за невозможностью сразу решить, кого с ним послать и кто из джигитов вернее и ловчее: Матай, сын Катая, или Катай, сын Матая. И все окончательно с ним согласились. Надо подумать, кто все исполнит в срок и верно.

Оренбургский губернатор генерал-поручик и орденов кавалер Иван Андреевич Рейндорп был озадачен сверх всякой меры. После долгих размышлений Иван Андреевич, пропалывая ровные грядки овощей в игрушечном огороде, устроенном на заднем дворе своего представительного дворца, пришел к выводу, что не всякая трава сорняк. Иная, особливо из благородных, весьма пригодна для оригинального бульона. Хороша она и заваренная как успокаивающее средство. Хан Нуралы, признанный овощ, но арбуз арбузом, хорош и весьма представителен в своем шелковом полосатом халате и зеленой чалме, однако слишком округл и хрупок. И взять нельзя, и опереться невозможно. Засел в Орске и делает глупое лицо, только стоит заговорить с ним о мятеже. Хан Аблай, владетель Среднего и Старшего жузов, слишком независим и дерзок. Пожалуй, он мог бы посодействовать в успокоении волнений на Урале, однако непременно потребует официального признания своего верховенства и над Младшей ордой, потому как считает хана Нуралы своим подданным. О том, что сам в 1740 году принял русское покровительство, он нагло забыл. При первой возможности такого хана надо пересадить. Многое в империи ведется неразумно. Введенные, как всегда торопливо, параграфы наказаний не столько утихомирили яицкое казачество, сколько озлобили. Важна не только форма, но и ее исполнение. Положены батоги преступнику — исполни с легкой душой, ибо он знает за что. Жив останется, поблагодарит. Но зачем при этом битье ему еще и в морду харкать? Этого Иван Андреевич понять никак не мог. К чему эти переименования реки и городка? Не мудрено тут не появиться надеждам на чудесное спасение лже-царя Пугачева. Все это очень беспокоило. Карательные операции в киргиз-кайсацкие степи оказались пустой тратой казенных средств. Не гоняться же за этими ордынцами до самой Хивы! Можно, конечно, и когда-нибудь срок придет, пойти и на Хиву под Индию, но вот незадача: те, за кем охотились, сами пришли под пограничные городки да еще, якобы, с регентом Пугачева во главе. Кто он, зачем и откуда взялся? По донесениям лазутчиков из логова Невидимого впрямь выходило, что мятежный главарь несколько необычный. Это очень опасно. Хозяина зеленого огородика средь просторов дикой губернии, вмещающей две Франции, мистическая фигура Невидимого пугала. Генерал-поручик участвовал в семи европейских войнах и даже в Испании ни о чем подобном не слышал, мавры стали грандами. Но здесь Азия, и один Бог знает, какие существа тут водятся! Это все надо продумать. Натрудив всего-то за полчаса поясницу, Иван Андреевич понял, что стар, и пусть кто-нибудь другой пересаживает какого-то несуразного Аблая. Надо строго заняться положением в Младшей орде, мятеж погасить, и тогда можно будет с чистой совестью уйти на заслуженный пенсион. И подальше, в Вильно! — от этих

здешних верблюдов и человекобыков... Припомнив по спискам всех беков и султанов губернии, генерал остановил свой выбор на султане Досалы.

Ваше Высокопревосходительство, следуя пересланным мне указаниям, я тайно встречался с султаном Досалы, и он склонен был вести переговоры. Правда, говорил он со мной насмешливо, намеренно путая и мое имя, и чин, и все отказывался принять меня за официальное лицо, хотя я уверен, что он о моей службе знал всегда. И все же со мною государево дело султан обсуждать отказался, а предложил как бы приторговаться, насмехаясь над моим купеческим обличием. Я вынужден был принять такую игру и выставил товаром за примирение народа его свободу и благополучие. За что был бит в лоб костяным концом нагайки. Своей свободе, кричал этот султанишка, я сам хозяин. Я, как человек пленный, смолчал, но прошу при поимке этого бунтаря в суде внести в протокол случай моего избиения и истязания. Своим товаром он выставил вчерашний день. Что это значит, я не понял, а объяснять он не стал. Взамен совершенно серьезно потребовал беспрепятственного перехода казахских родов, кои подчинены ему, через реку Урал на прежние их пастбища. О хане Нуралы не упоминал. Так же не вел речи о самом Невидимом, словно это и не главное. Затем поспешно ушел, кивнув напоследок: так, мол, и передай: даю за замирение вчерашний день. Впрочем, у азиатцев такие нравы, в коих я еще не просветился до окончательного знания. Ваше Высокопревосходительство, ну к чему тебе мои донесения? Оставь ты их в покое, все одно в делах ихних один лишь диавол разберется, а от тебя, душа немецкая, что ждать, окромя как приказа окончательно погибнуть мне в этих диких краях средь чурок узкоглазых. Я ведь болен. Эх, знал бы ты, Ваше Превосходительство, как я тебя, селедку, ненавижу! Так бы и разодрал бы твою рожу поганую на лоскутки, да, видно, погибнуть мне тут суждено. Сколько раз я пытался уйти отсюда — и тайно ночью, и открыто с кинжалом, да только чуть отойду, а меня уже назад тянет. Так кругами все вокруг этой Ставки и хожу. Пока не оголодаю вконец, а там и назад поплетусь. Хоть вой, да что сделаешь. При нечистой силе живем! Аульные огольцы живо привели Жанболата к черной юрте старика-молчуна. Жанболат, переступив порог и пройдя в полутьме жалкого жилища шаг, два, уперся лбом в покачнувшееся тело Самшуренка. Он потрогал рыжего от стянутой петлей шеи до запястий покорно удлинившихся рук и огляделся. У потухшего, покрытого пеплом очага сидел старик и подшивал, укалываясь подрагивающей иглой, стоптанный ичиг.

— Давно висит? — спросил Жанболат дряхлого хозяина.

— Давно, — себе же на удивление слишком словохотливо ответил старик. — Хорошо висит, не пахнет, — затем задумался надолго и вовсе разговорился: — Совсем не пахнет.

Самшуренку и дела нет до комментариев своего сопропойцы, а телу его вонять никак не положено, так как проспиртовано оно, как уроды кунсткамеры, еще чуть ли не со времен Анны Петровны Романовой, праматери русских царей Гольштейн Готторпской линии, когда впервые отметил он, Леонтий, свой успех, выпив вина с обучавшим его сельским дьячком по причине освоения им же всей науки арифметики. И хотя старику-молчуну по той же причине не грозил в будущем могильный тлен, но он об этом догадываться не мог и восхищался повесившимся искренне:

— Не пахнет.

Стариковская старуха на это происшествие имела свое мнение. Она просто считала, что умершего следовало бы похоронить, а сапоги его продать, оправдывая то и другое не заветами своего тибетского бога, а полным отсутствием в своем продуктовом ларе пшена и муки. Но в ответ от старика она не дождалась ничего, кроме брошенного метко в лицо ей залатанного ичига. Меченый Жанболат простоял еще рядом с повесившимся, потрогал пальцем белый опавший вниз из-под рубахи живот Самшуренка и срезал веревку. В чем действительно легко помочь заблудшему человеку, так это в его похоронах. И дело движется гладко, и на душе становится покойно. Помогли.

На Орские укрепления злее всех, всех настойчивее ходил однорукий Атеш со своими джигитами. Солдаты отличали их от других степных киргизцев. Били по ним прицельно особенно охотно, заложив голову каждого за штофик вина. Собьешь — пей за здравие Ея Императорского Величества. Отстреляли отрядик Атеша скоро, не трудное дельце — они ж, дикие, не пригибались, скачут себе как на сабантуе, стоя на стременах, да вопят во все горло невесть что. Можно было и ночью на голос бить, пуля дура, найдет, небось, крикунов. Накричались, наскакались. Остался на лошадке один Атеш. Скорую гибель своих сарбазов он не заметил, ходил в атаку, как прежде, азартно и громко, словно за ним все продолжали скакать десятка с три рубак. И хотя бы царапина прошлась по нему, — нет. «Бес однорукий, — называли его солдатики, советовались: — Как сбить-то?» «Такого только пуля из серебра возьмет. Верно говорю». «А у кого рубль есть? А не то в казне полковой взять на дело. Майор, небось, не откажет. Знает про беса этого однорукого». Майор отказал, накричав на них и заметив, что бесы всякие — сказка. Солдаты же все продолжали волноваться, несмотря на ругательства майора. «Казны у бессовестного уже нет». «Вон у Никифорыча медаль серебряная». «Еще чего! Мне оно не мешает». «Не меша-а-ает... Ты, Никифорыч, свое прожил, конечно, а нам такой черт здеся никак не нужен! Дай медаль!» «Я вот что скажу. Слушай старого. У этого беса вашего обида, а не рога с копытами. Он от обиды этой слепой, смерти не видит. Он и нас-то не видит. Так пускай себе скачет». Не дал майор рубль, Никифорыч —

медаль — делать нечего. Расступились на миг солдаты и пропустили скакавшего на них однорукого казаха, а затем опять сомкнулись. Но того Атеш не видел: все скакал вперед и рубил перед собой страшным тесаком воздух...

На уфимском тракте будки не стояли, полки отмаршировали свое, зато ехал в голубом тарантасе капитан Петухов. Во-первых, почтить в родовом именьи память почившей в бозе матушки своей, во-вторых, принять наследство — веники на полке в баньке пересчитать, в-третьих, жениться, как указано было в завещании, на девице, выбранной родительницей еще лет так двадцать назад... Ехал под ясным солнышком, трубку покуривал, в положенные часы откушивая у разостланного кучером полотна круто варенное яйцо и чай из походного луженого самовара, как следовало человеку его возраста и фасона. И пересекся сей весьма и весьма прозаический путь капитана Петухова с прямым долгим наскоком Атеша. Возница — раб, подлец, черная душа, сбежал стремительно в дальние кусты, а сам Петухов тем не менее браво принялся биться не на жизнь, а на смерть с подскакавшим к повозке разбойником. Как сложилась та битва по причине бегства единственного свидетеля неизвестно, но и клинки звенели, и гремел пистолет, а затем, видать, схватились врукопашную. Один левой рукой, другой — правой, одноруким — беда, душить друг друга уже нечем, вот и тягайся по всей Азии. А когда подустали оба, то оказалось, что теперь и расстаться с миром не могут. Не то что кожа на руках, косточки срослись в одну мозолистую, но ажурную раковину.

Не сказать, чтобы старухи были особенно надоедливы, но сыновних чувств у Жанболата они не вызывали. Соглядатайки не смели ни ему, ни Сапуре перечить ни в чем, угодничали, не спуская с них глаз, а одна, более глуховатая, выставляла из-под платка свое большое ухо и старательно подкладывала его чуть не под ноги прислужникам Козкормеса. Тут и о своем семейном не поговоришь. Наконец, Жанболат не выдержал и как то, встревожено выскочив из юрты Человекобыка, громко зашептал жене:

— Он взбесился! Требует теперь старушечьего мяса!

— Ах, — сказала Сапура. — Да я ему только что целый бок баранины поднесла. Неужто не сыт?

— Нет. Дай ему старух — и все тут.

И старые женщины тотчас бежали. Любимые дети спрятали их, да так, что и сами забыли где, опасаясь, как бы султан не велел им быть съеденными чудовищем во имя блага остальных. Его Высокопревосходительство генерал-

губернатор и кавалер орденов Иван Андреевич Рейндорп решил: пора! И торжественно велел поднять на кухню кадушку засоленных, собственноручно выращенных огурцов. Испытывая приятное возбуждение, кое испытывает любой праведный труженик от возможности вкусить плоды своего труда, он, не дожидаясь часа, распорядился внести самый крохотный огурчик к себе в кабинет. И закусывая им По-русскому обычаю после рюмки водки, он с радушием поглядывал на сидевшего перед ним в тяжелой шубе султана Малой киргис-кайсацкой орды Досалы. Благорасположенность же к нему визитера, наоборот, сильно поколебалась после того, как генерал прямо у него на глазах опрокинул в себя одним глотком дурной напиток. Однако отношения между этими людьми зависели не от желудочных капризов, а от той бумаги, которая будет составлена и уйдет в Санкт-Петербург из этого кабинета с красной мебелью. Иван Андреевич промокнул губы салфеткой с готическими буквами монограммы и бросил ее на фарфоровую тарелку, где минуту назад влажно блестел средь кружочков лука огурчик, слегка политый постным маслом и, продолжая благодушно улыбаться, еще раз с удивлением обратился к султану:

— Нет, каковы башкирцы? Коварный народ! А вы верно говорите, султан?

Досалы горестно вздохнул и, выслушав перевод толмача, вздохнул еще раз.

— Видит Аллах, мы, казахи, мирный народ. И орда наша Мала Киргис-кайсацкая – мирная. Я и не думал, что после прошлогодних испытаний нам снова придется страдать, — посмотрел на переводчика. — Что же нам оставалось делать, как не подняться на защиту наших жен и детей. Покорнейше просим от русских знатных людей заступничества и суда над башкирами. Рейндорп, поцокав от приятной солености во рту, в то же время посуровел в голосе:

— А нас извещали, что ваши рода поднялись против порядка и законности Ее Императорского Величества матушки Екатерины Второй. И на верных слуг Ее дерзко нападаете да сжигаете станицы и под крепостями собираетесь. Будто бы есть и такие, кто поминал преступника и вора Емельку Пугачева!

Султан Досалы воздел было руки к небу от возмущения лживостью подобных слухов, но подумал и сказал:

— Мир сейчас полон лжи и всяких небылиц, и мои разум и сердце отчаиваются. Как жить? Не так давно глупые люди в степи болтали даже о том, что явилось к нам некое существо с телом быка и головой человека.

Иван Андреевич рассмеялся и рассмеялся хорошо. Сквозь приятный смех он спросил:

— С телом быка и головой человека? Надо бы не забыть рассказать супруге... А как народ ваш относится к таким сказкам?

Досалы вдруг необычно зло ответил:

— Народу перегнать скот надо на свежие пастбища, — и уставился маленькими своими глазками на генерала, — а не сказки слушать.

«Такой и зарежет, — подумал Иван Андреевич. — Это надо помнить». Подумав, он проговорил:

— Да, да... Это и моя как генерал-губернатора забота. Думаю, писать в Петербург и твердо просить Императрицу дозволения кочевать вам на прежние пастбища на правом берегу Урал-реки. Всякое стеснение народа противоестественно великодушному сердцу нашей государыни. И в Азиатском департаменте есть кому замолвить словечко и подтолкнуть бумагу. Да, это и моя забота. Если вся эта кутерьма в орде поднялась только из-за споров с башкирцами, то непременно.

— Непременно дней так через десять к вам и сами башкирцы приедут с жалобами на казахов...

— А сказки нам про человекобыков, минотавров нам ни к чему.

Султан Досалы о минотаврах и не слышал никогда, но если генерал-губернатору они не нравятся, то пусть так:

— Ни к чему. Башкиры все мутят. Скоро сами убедитесь.

— Вот тогда окончательно и решим наши дела, султан, — ответил генерал губернатор и прибавил: — Там в степи у вас заплутал один купец, как бы мне его достать... Да сможете ли, султан?

— Да, — твердо ответил Досады. — Я там живу.

— Это верно, — заключил про себя генерал.

Восстание, между тем, после страстных проклятий врагу, клятв братьям, веселой суеты и нетерпеливых первых наскоков и атак, постепенно перетянулось в вязкую колею долгих походов под холодными дождями. И это занятие вооруженных мужчин уже более не туманило разум, не пугало и, хотя еще не тяготило, но и не радовало своим страшным ходом. Многие к такой жизни стали привыкать. Боевые отряды, набегая на вражьи рубежи, полагались теперь во всем на своих батыров и родичей, присылавших им из аулов вяленое мясо и соленое масло. О Вожде Святом Козкормесе вспоминали немногие. Тем паче, что сам о себе он не давал знать и Ставкой своей не передвинулся к фронту сражений. Повалил первый снег, и семикрылую с полумесяцем на игле Невидимого накрыло мокрым белым покровом. Султан Досалы после возвращения из своей тайной поездки в

Оренбург сразу же послал двух своих слуг разузнать, как там дела и чем там живут, велел при необходимости подправить юрты, подчистить их снаружи. Мужчины поехали к Ставке Козкормеса в полдень, не сходя с верблюда, прокричали издалека, но ни одна живая душа им не ответила. Тогда они принудили верблюда опуститься на землю, а сами, поплотнев запахивая на себе шубы, залезли под теплое брюхо животного и проспали там до сумерек. Ночью они вернулись в аул и рассказали своим бабам о том, как удосужились лицезреть грозного, но великодушного Вождя Козкормеса. Один из них сгоряча прихвастнул, что Святой Козкормес наградил его за хорошую работу золотой монетой, а когда его хозяйка потребовала ее на расходы, не растерялся и воскликнул с негодованием:

—Да я ее, как только отъехали, выбросил прочь!

Был бы он ханом или султаном, а то даже не человек. От такого что-нибудь в дом принести — ходи несчастья... — и сплюнул в сторону.

— Ну его — от греха подальше, — и тут же получил по голове деревянным половником.

После недолгих размышлений, особенно приятных, когда цели заблаговременно продуманы и осмыслены все возможные исходы, султан Досалы извлекает, сын мой, то самое письмо башкирам, как помнишь, написанное от имени всех восставших родов, что очень важно. И отдает опять тебе в руки. Я хочу, чтобы это послание через верного человека, желательно башкира, ну, скажем, Исямгулова, ушло в башкирские улусы, но тем не менее попало не к тем, к кому мы взывали, а к коменданту крепости Озерное Корфу, как бы несчастным случаем. Затем снова совещательный совет беков и батыров. Пусть непременно будут батыр Калыбай, затаскивающий к бабам в постель свое ружье «Простреливающее все!», батыр Кадыр, батыр Исдебаи, — ты садись от него подальше — этот слон обязательно придавит кому-нибудь ногу; пусть будет и батыр Жолбарыс — он хорош уже тем, что именем его пугают детей в калмыцких аулах. Обильной трапезы им не устраивай, не смущаясь отступлением от наших обычаев — от еды батыры добреют и тупеют сверх всякой меры. А заплачь без слез и напомни им о письме в Башкуртостан. По уговору они должны будут встретиться отрядами с башкирами на реке Ор, так поезжайте туда и ждите день-два. Пусть они сами убедятся в предательстве соседей — даром, мусульмане — ждите и третий день, до того времени держи там батыров, пока они сами не возопят: нас предали! Месть! Что же касается этих беглецов — Жанболата с бабой, — они мне не нужны, как, впрочем, и остальным. Таких уже никто не примет, даже самые близкие родственники. Что бы они теперь ни говорили, они связаны с Человекобыком, а люди не любят непонятного. Тем более, что сам этот урод уже никому не нужен. А вообще я в его существование не верю, такого не бывает. Башкиры на Ор-реку не пришли, и тогда первые казахские отряды кинулись по Ногайской дороге на башкирские деревни Осергенского уезда. К зиме земля подсохла от осенних дождей, и под легким редким снежком дома сгорели дотла. Джигиты рубили саблями перекладины крепких башкирских ворот, а пленным кричали: «Так

вам Козкормес не Вождь?» Пойманные башкиры никак не могли взять в толк, что хотят от них казахи и что означает для них этот загадочный вопрос и, не отвечая прямо, соглашались на Вождя, но говорили о том, что они не виноваты в его невидимости. В ответ казахи кричали им: «Предатели!», чем озлили башкир окончательно. И привычный к военному делу и вековым стычкам с южным соседом башкирский народ взялся за хранимое в домах оружие. Башкиры весьма славны лесным медом и веселым нравом. Грустят они лишь, когда играют в длинную тростниковую дудку сарнай, а звучит она часто. Потому как такие уж времена наступили — грустные. Маленькую казахскую семью, мужа и жену, они приняли хорошо. Сразу видно было, что это влюбленные, бежавшие от насилия над их чистыми чувствами, а таких везде и всегда принимают сердечно. Главное, чтобы женщина не оказалась чужой женой... Но протеста со стороны казахских родов не последовало, и на совете башкирского села, куда добрались Жанболат с Сапурой, решили: пусть себе живут. Дадено было право новому селянину, и рубить лес для дома, благо того было здесь обильно. С соседской подмогой Жанболат поставил дом скоро и ладно. Башкиры этого села пахали поля и сеяли пшеницу и ячмень. Жанболат же ковырять землю не хотел и не умел. Ему представлялось, что пахать степь — это все одно, что вспахивать небо. Заберешься туда с сохой и бац головой вниз! Сапура очень смеялась, когда ее муж изобразил падающего с неба пахаря, понимая, что ее Жанболату пойти с сохой все одно, что таскать по небу тучу. Он не видел в этом толку, а значит его и не будет. Сверху льет дождь, снизу растет трава. По травке пасется скот, люди едят мясо. Начнут все пахать, так и до неба доберутся. Небо трещинами покроется и рухнет, что хорошего? Ни хлеба не будет, ни мяса. Жанболату полюбился русский топор, ничем не отличавшийся от оружия — айбалты, только разве лезвием шире и ударом тяжелее. Ладная вещь. Он ходил с топором у дома и помахивал им, а потом, недолго думая, взял да и вытесал им сани без короба. Дровни эти сразу приглянулись его соседям, и каждый из них предлагал за них большую плату, рубль давали! Правда, башкирцы недоумевали, как это, казах взял да и сделал сани. Жанболат помалкивал. Смешно не суметь вырастить или смастерить то, что видишь. А сани — это не зерно под землей, не видимое глазу, — они имеют сверху вязки, а снизу полозья с накопыльниками, которыми и скользят по снегу. Чего проще. И еще оттого не отвечал соседям Жанболат, что до этого ничего никогда не продавал и не представлял себе, насколько скверно подобное занятие. Башкирские хозяева не отступали, и, наконец, изголодавшийся Жанболат ночью пробрался к одному из них и согласился поменять свое изделие на мешок муки. А когда с едой снова стало плохо, принялся теперь уже с ухваткой мастерить еще одни дровни, подумывая: а не попробовать ли ему сделать телегу и выменять ее весной на корову. Сапура тоже не сидела без дела и перезнакомилась со всеми женщинами села и многое с разумом у них переняла. И как печь хлеб, чтоб вышел пышный каравай, и как самой сшить шапку с лисьим хвостом. О войне и Ставке с Козкормесом они не говорили, наверное, забыли обо всем этом. Да и зачем вспоминать о том, что

не вносит в дом достаток и не затепливает радость в груди. Но не успели они прожить и зиму, как война сама прискакала к ним в дом. Нападение казахов вызвало во всех башкирских улусах грозное возмущение. Не каждый, конечно, счел нужным немедля сесть с оружием на коня, но все кричали, а в тех селениях, где жили казахи, приходили возмущаться к их домам. В дверь Жанболата вчера еще любезные и щедрые соседи стучали нагайками и орали:

— Эй, ты, отвечай, что вам от нас надо?! — а дальше шла ругань и обещания порушить все юрты в степи.

Жанболат снова не отвечал им. Хотели поджечь его дом, затем, за неимением огня под рукой, приостыли: казахи казахами, а наш казах-то здесь при чем? К тому же мастер... Не он же напал. Пусть живет, но на защиту своего села его не позвали. И тогда Жанболат велел Сапуре собираться и с караваном направился в ее родные края – Святой Туркестан.

Есть богоугодные места, где рассказывают истории, изложенные в хикметах Святого ходжи Ахмед Йасави. Истории эти, особенно те, в которых повествуется о посещении Святым рая и дворца с Троном Аллаха, просветляют души человеческие и наводят на глаза слезы. Но одна из них невероятна, так как в ней Святой подвергается избиению палками по приказу некого Баба Мачина.

В поучительных рассказах известны такие примеры, когда эмиры имели наглость покушаться на исполнение суфиями своего непреклонного служения Всевышнему Богу. Один из них – Баба Мачин, любил доносчиков, и услышал он в то время, что Святой шейх Ахмед в Туркестане проводит свои проповеди якобы в присутствии девушек и молодых женщин. «Запрещено!», — вскричал эмир Баба Мачин и с запретом приехал в Туркестан. Приехав, глянул он на шейха и заявил: «Ты шейх, вводящий в заблуждение народ?» Шейх отвечал: «Так названный заблудшим – я, знай это, надменный господин, – ответил Святой. И здесь эмир велел Хакиму Сулейману, указывая на святого шейха: «Этот суфий Мухаммаду противник! Привяжите его к столбу, ударьте пятьсот раз этого невежду». Ходжа Хаким имел честь быть учеником шейха Ахмеда Йасави и известен был тем, что имел доступ в подземную келью-хылует ходжи Ахмеда, которая была очень тесной. Тогда туркестанский шейх велел своему ученику: «Хаким! Расширь!». Хаким-ата уперся в земляную стену хылуета и прочитал молитву. И стены тут же расширились достаточно для того, чтобы в хылуете большое число мусульман могло проводить молебны и зикры.

Конечно же, ходжа Хаким отказался, но шейх велел ему не противоречить эмиру. Двое мужчин, взявли святого старца Ахмеда Йасави, и привязали к столбу. И пятьсот раз, отсчитав, ударили. Но не услышали ни одного аха и оха. Ударили камчой на один удар больше, чем пятьсот раз, и от этого удара камчи ходжа застонал. Когда старца Ахмеда отвязали от столба, ходжа Хаким поспешил к нему обмыть его раны и спрашивал: «О,

благочестивый шейх наш, когда наносили пятьсот ударов, ты не противодействовал никак и не издал ни одного стонущего звука, но от одного удара проявилась слабость. Почему?». Старец ответил: «За моей спиной стояли ангелы, и вся сила пяти сот ударов камчи пришлась на них. Так велел им Всевышний Аллах. Но затем они исчезли, и тут наступил черед лишнего удара. Он и вызвал боль во мне». Слышал объяснение и эмир Баба Мачин. Он был поражен словами ходжи Ахмеда и сказал: «Стал я опозоренным среди народов, я мертв, это состояние соединено со мной». Навзрыд рыдая, эмир, отказался и от своей власти и от несметного богатства, и попросился в ученики шейху Ахмеду Йасави.

Эту историю еще не отряхнувшие с одежд пыль дорог Жанболат и Сапура услышали от суфийского поэта Юсуфа Бизауани, плакавшего горше, чем когда-то эмир Баба Мачин, и нудно все твердившего: «Поэзию лишь подхватил, друзья».

Сказать, что Жанболат извлек из сказанного какой-то душеспасительный урок было бы неверно. Но то, что уставший от смерти воин (попробуй, потаскай на спине каменный балбал весом в пять пудов!) вдруг почувствовал душевный покой – достоверно.

Хорошо живется странникам у мавзолея ходжи Ахмеда Йасави. Мусульмане идут к ней с молитвой и слезами со всех четырех углов земли, богатые пригоняют баранов и режут с молитвой для казана, вмещающем триста литров воды. Кормись и молись. Жанболат стал разъедаться и лежать в святой пыли у стен некрополя слишком долго. Начал толстеть. И однажды приснился ему сон, словно оказался он среди разбойников, которые никак не угомонились.

Разный народец ходил в отряде под атаманом Медведем. И кочевой, и пришлый с заводов. Но каждый был отчаянно зол. Никак не могли взять их башкирских всадники. И с этим отрядом Медведя Жанболат встретился в ледяной степи. Многие знали его в лицо и слышали о нем, звали к костру и удивлялись, когда он велел им убираться прочь с военных рубежей. «Это почему же?!— завопил Медведь». Но Жанболат, не умевший долго говорить, предложил биться с ним. Один вышел к нему с кистенем, поломал его Жанболат, второй кинулся с пикой, покалечил и его Жанболат, бросился на коне и с сабелькой третий, убил его Жанболат. Такой язык бунтари понимали. Они задумались. А действительно, что им надо в этом краю, где для одних степь не степь, поляна при лесе, а для других — пустыня голая без городов с храмами и речных пристаней с ярмарками? Тогда Медведь Иванович слукавил и принялся стыдить бывшего соратника. И свободного царя Петра Федоровича тревожил, и упоминал о воле народной и погибших товарищах... В ответ Жанболат только хмурился и сплевывал. « Чего уж тут, Меченый», — наконец сдался Медведь. «—Веди нас в плен». «Сами идите, куда хотите», — отвечал Жанболат. «Нет», — настаивал смиренно Медведь,

—«Ты нас в плен взял, твоя и слава. Веди». Подумалось тогда Жанболату в недобрый час: а что, пусть и башкиры видят, какой он батыр. От таких мыслей он даже похорошел, покрылся румянцем. «Пошли за мной», — велел он всем и шагнул вперед. И как только развернулся к толпе затылком, тут же Медведь и тюкнул его по головушке окованной железом дубинкой. Да так, что мозги разбрызгались вперед крови. Хотела была душа Жанболата без всяких там сомнений и мытарства отлететь на небо стрелой, но вспомнила, что пребывает в спящем теле. Затрепетав, разбудила Жанболата, а он умирать и не собирается. А собирается снова в дорогу.

— Пойду, — сказал он жене.

— Зачем? — испугалась Сапура.

— Они мой народ.

— Что вы им скажете?! Они и слушать вас не станут!

— Я скажу им: «Эй, отвечайте, что вам от нас надо? И пусть ответят.

Сапура не желала слушать таких слов, и не хотелось отпускать от себя мужа. В отчаянье она попыталась обратиться к духам, к ведунье Доди-амма, да испугалась, что скверно их явление скажется на появившемся в ней крошечном ребеночке, его сыне, бьющим ей в живот правой ножкой. Хотела сказать о нем мужу, но застеснялась, принялась что-то бормотать, а он уже опоясывался кушаком.

Как только пришло сообщение, что основные отряды восставших казахских родов ушли от уральских крепостей в реке Белой, и там завязли, как в старых обидах, в боях с башкирами, сразу же из канцелярского подъезда губернаторского дворца в Санкт-Петербург, в Азиатский департамент, были отосланы секретные бумаги, в которых по пунктам излагалась вся ситуация и политика, сложившаяся на землях уральских казаков и казахов Малой орды. Первое: слухи о противоправительственном мятеже лживы. Второе: а есть большая драка меж казахами и башкирами. Третье: причина сего кровопролития в крайне стесненном положении подданных Ея Императорского Величества киргиз-кайсацких родов Тама, Табын, Алшин... (семнадцать родоначальников тамгу приложили к жалобе). Пастбищ годных мало на левом берегу, скот голодает, люди мрут…

Ответ из столицы Империи Российской был на удивление скор: разрешить туземцам перегонят скот на прежние земли. Не успел курьеру с императорским указом проскакать и сотни верст из трех тысяч, разделявших северную столицу от Уральска, прежде именовавшегося Яицким городком, как яицкие казаки уже знали с чем к ним летит фельдъегерь. И стали показывать со стен крепостей кочевникам кукиши. Казахи смотрели, смотрели на обидные жесты и донесли до султана Досалы. Султан поковырял в зубах можжевельниковой зубочисткой и сказал:

— Значит, гонец от царицы скачет.

Старейшины родов заинтересовались:

— Значит, дано разрешение переходить на правый берег?

— А как они кукиши свои выставляли: молча или с руганью?
— Молча.
— Значит, в нашу пользу решилось.

И движение началось.

Переходили у станицы Калмыкова. Там удобно. На реке длинный песчаный остров, лошадям и людям есть где передохнуть. Добрались до острова и дальше не решались двигаться, потому как на правом берегу стояла сотня казаков и грозилась поубивать всех, кто посмеет выбраться на их берег.

С левого берега с седла высокого белого иноходца кричал застрявшим на острове табунщикам султан Сейдалы:

— Давай, что стали! Нет им теперь прежней воли! Первого убьют со злости и все!

А кому погибать хочется. Вот и топтали песок на острове казахи, пока не вышел вперед Жанболат и не скащал:

— Я пойду.

Убили казачки наглого басурманина и ускакали в свою крепость, а, отходя, напомнили через реку о том, что красная рыба все равно им одним предоставлена:

— Эй, султан! Балык тиме, башку кесемиз!

Батыр Чапрашлы хвалил коня своего Карагули:

— Я берегу арабского коня в день битвы. В этот день я живу под его тенью. С ним я убиваю в схватке героя. Берегу коня Карагули, щитом железным вооружаясь! В день битвы я натягиваю железный лук, Сижу прямо на коне, ничто меня не сбросит с него. Я единственный сын у родителей, нет у меня ни брата, ни сестры. Берегите, о братья, коня Карагули! — хвалит ловко своего коня батыр Чапрашлы, не ведая о скорой гибели его.

Пугачева взяли его полковники, а пугачевского полковника Медведя Ивановича скрутили босяки. Но им хотелось разойтись живыми, и у них был свой стыд. Отдали они атамана своего башкирцам: а то размахался тут больно палицей своей засратой! И башкирские беки увезли торжественно связанного атамана Медведя судить среди своего народа. В первой же деревне они бросили его в бревенчатый сарай и поставили сторожить скрепленные железом двери двух тамошних мужиков, а сами собрались в богатом доме одним кругом обсудить, не схитрили ли где на этот раз казахи и не проиграли ли они сами в чем-то. Можно было еще повоевать — помахать клинками — у них нашлись бы охотники — и немало! — однако больно строгий пришел приказ из Оренбурга: мириться, а еще против и русской армии идти сил не оставалось. В улусах одни подростки. Атаман Медведь лежал на смерзшейся соломе и не обижался. Он за свою беглую

жизнь так попривык к веревкам да колодкам, что принимал их за нечто вроде одежки.

За дверьми сарая горячо заговорили, один — с волнением, другой — с раздражением. Медведь прислушался. Язык понятный. Наконец стражники пришли к согласию, и кто-то из них торопливо ушел. Атаман еще чуток выждал и мучительно-протяжно всхлипнул, завыл как бы от боли, словно кончался: вот-вот душа отлетит. Смерть не свадьба, что на нее глазеть, однако скрипнула створка, и в сарай осторожно заглянул оставшийся караульщик. Медведь мелко-мелко задрожал всем телом и со стоном облегчения вытянулся. А на лице, в глубине мохнатой бороды на устах застыла блаженная улыбочка. Башкир с пикой шагнул к нему, бормоча молитву и, став у ног покойника, подивился, как легко умер этот волосатый могучий батыр. Медведь резко вскинул ноги и ударил ими в грудь охранника. Мужик охнул и, отлетев к бревенчатой стене, бах затылком. Насмерть. Медведь же подполз к оброненной пике, тупой конец ее упер в угол, а острым краем наконечника перерезал веревки на запястьях. Пока он выкручивался и подстраивался, вспотев и порезав кожу до крови, в сарай вбежал вернувшийся второй охранник. Бог знает, отчего в его руках не оказалось оружия, видимо, в спешке где-то пику свою пристроил да забыл. Встал он перед освободившимся из пут пленником и замер, невесть зачем принявшись объяснять извинительно Медведю причину своей отлучки. О ком-то прихворнувшем говорил, проведать, мол, бегал... Медведь второго башкира проколол не спеша. И побежал по падающему с неба снегу. К вечеру приустал и пошел ровно, как сапоги идут без хозяина: не ведая ни холода, ни голода. И, как положено паре сапог, притопал туда, куда надо. Они, сапоги, как жвачные животные, по степи вольно бродят, — так думают фантазеры, а люди серьезные знают, что сапоги, как любая другая обувь, выбирают хоженые места, по дороге или по тропинке шагать всегда удобней. Как бы то ни было, хотел этого Медведь или нет, но к концу своего побега он оказался у брошенной всеми юрты с полумесяцем. Пирамидам — вечность, каждому храму свой век, шатрам же, пусть даже с полумесяцем, свой час. Ибо им даже не положено зарываться в кочевой жизни столбами в землю. И все же стан Невидимого устоял в безвременье и в безлюдье, разве что чуть обвис и обветшал. Медведь ввалился в жилище жуткого существа и тут же впервые весь продрог до самых костей. Набросав на себя какое было в юрте тряпье, Медведь Иванович забрался под брюхо Человекобыка и затрясся в лихорадке. Тело его разгорелось, а на лбу выступил холодный пот, высветив капельками — приметней — знак «В». Сколько он там пролежал, он не в силах был понять, потому как забылся. От немощности своей и понимания окончательной погибели Медведь пришел в ярость и, вытянув вверх руку, разорвал пальцами живот человекоподобного зверя и, ухватившись за какую-то железку, вырвал из его нутра котел с припаянной к нему крышкой, откуда по трубочкам шел пар в ноздри животного и к рычагам, уподобленным костям четырех ног с натуральными копытами. Посыпались на Медведя всякий сор и пепел, а пустая винная посудина ударила его в переносье,

безжалостно раскроив кожу. Медведь попытался приподняться на локте, чтобы вовсе откинуть Человекобыка в сторону, но Козкормес вдруг сдвинулся сам и, скособочившись, пауком перебирая ногами, перебрался через атамана. И по обыкновению своему не попал в двери, а разрушил стену и ушел в метельную степь, хрюкая и глупо вертя башкой по сторонам, не слыша за собой страшного крика:

— Ну, сверши! Генерал, не по твоему ли приказу люди этого султанишки Досалы кинулись резать меня? Эх ты, твое превосходительство... Продал меня, своего лазутчика. Ну, тогда и твоя жизнь для меня копейка. Вам человек что? Вы любви к человеку не знаете, а потому попомни: придет и ваш черед. Встанет еще народ, возьмется за топоры, и вы, деспоты, ответите! Слезками кровавыми плакать станете. И ты меня жди, генерал, я приду к тебе, и ответишь вместе с султанишкой своим перед людом! Еще будут суды кровопийцам и тиранам.

Когда она родила сына, слетелось к ней в осиротевший дом войско ее духов. Прекрасные пэри и могучие дэвы сошлись над младенцем и восхищались им. Не спустился с небес только Человекобык. Сапура сама перевязала сыну пупок, а духи принесли к мокрому дитяти двух ягнят, и те облизали его тельце розовыми язычками. Имя мне и нам Единица и единожды есть Явление. Было рождение — обратимо волею Божьею. Будет смерть — обратима волею Божьей. Я не молила и не ждала, не страшилась и не унижалась. Гордостью не упивалась и знала: Любовь не есть чувство человеческое. Любовь есть сила Господа Бога. Она в зеркале твоей души. Разбей сосуд и ты получишь тысячи никчемных и искаженных в своих режущих гранях осколков: ту же совесть, честь, зависть, ярость, стыд, долг, ревность, радость... А сложи обратно нужный край к нужному и ты увидишь Лик. Я увидела. А когда ее сыну исполнился год, она собралась в путь. Надо было вернуть казахскому роду Тама батыра, сына Жанболата, внука Кайыржана.

Роман «Қазақи» относится к историко-публицистическому жанру и XIX века литературные портреты героев Казахстана, начиная с XV века.

ШАХИМАРДЕН

ҚАЗАҚИ
(литературно-документальный роман)

От автора

«Қазақтар» — самоназвание казахского народа. Казаками до 1718 года называли казахов и русские. А в дипломатической переписке царя московского за 1595 год сосоедняя степная страна указывалась как Казацкая или Казатская: «Посылаем мы с Москвы в Казатскую орду к дяде твоему к Тевкелю-царю Вельямина Степанова». Разгадка этой путаницы заключена в том, что на территории нынешнего Казахстана С XII до первой трети XX века действительно жил тюрко-язычный қазақский народ. А с 1936 года, когда Казакской АССР был придан статус союзной республики с названием Казахская ССР, этот народ стал называться в русских текстах как казахи. Кажется, что следует требовать восстановления настоящего названия. Однако никакой народ не имеет права на ономастический словарь другого народа. Требовать от русских называть казахов казаками так же абсурдно и не приемлемо, как требовать от казахов заменить в казахском языке слово «орыс», означающее «русский», на название «русский». В этом плане проблемы нет. Но если посмотреть на этот вопрос не со стороны, а изнутри национальной истории, то дилемма «қазақи–казахи» становиться принципиальной. Со временем народы изменяются. И решающим механизмом перемен является переход на иной способ производства общественного продукта, влекущий за собой неминуемое изменение и образа жизни, и коллективного мировоззрения. Римляне превратились в итальянцев не тогда, когда рухнула Римская империя, расколовшаяся в Италии на венецианцев, генуэзцев и тех же римлян. А тогда, когда не рабы, в заводские и фабричные рабочие XIV–XVI веках стали производить большую часть внутреннего валового продукта. В XX веке время немыслимо ускорилось и все социальные процессы стали происходить апокалиптически быстрее.

Қазақи принадлежали циклично кочевой цивилизации, которая просуществовала до начала радикальной коллективизации, которая просуществовало до начала радикальной коллективизации 1929 году. За два-три года от голодомора погибает до трети кочевников. Оставшиеся в живых

испытали катастрофической психической и культурный шок. Инородные большевики, отняв у них скот, оторвали их от привычного, циклично-кочевого труда, веками определявшего мифы, мысли, планы, язык, чувства, песни нации, и даже детские игры. Автор книги о голоде В Казахстане «Великий джут» В. Михайлова совершенно верно отмечает: «Но дело не только в том, сколько погибло людей. Столько погибло в человеке». Единственная возможность выжить для и не деградировать, как североамериканские индейцы, заключалась в быстром освоении агропромышленных профессий и в незамедлительном принятии складывавшегося в то время унифицированного образа жизни советского человека. И, кардинально изменившись, стали другим народом — казахами.

* * *

В первый день священного месяца мухаррамма 944 года объединённые братской дружбой победоносные войска царей и султанов Самарканда и Кашгарии разбили палатки у подножья горы Казыкурд. Целью их было движение от берега реки Сайрам в сторону Қазақстана. Скажу как летописец правдиво и кратко: количество верёвок и кольев военных шатров превзошло в том месте число звёзд и метеоритов на ночном небе.

Каждый из полководцев в этом походе равен был крокодилу, легко переплывающему моря сражений и океан битвы, атакой разрушающий в песок перед собой горы, стрелой пришпиливающий позолоченный диск солнца к лазоревому куполу неба. Наконец-то августейшие войска, согласно законам шариата, приступили к искоренению и подчинению племени мятежных еретиков — общества қазақов, которые, уповая на избыточную свою численность и обилие могущества, поставили ногу в круг мятежа и почли возможным безнаказанно удобно для себя расчленить государство мусульман. История же мятежа такова. Золотая Орда имела к востоку от столицы две провинции: Ак-Орду и Кок-орду. Пришло время, и на трон взошёл правнук Чингиз-хана царь Узбек. Всевышний Аллах более не пожелал терпеть язычества на земле где жили тюркские рода и Своей милостью позволил царю Узбеку принять истинную веру — ислам. А мы, летописцы, в знак восхищения правоверным царём Узбеком стали называть его земли Узбекским улусом, а народ, живущий там — узбек-қазақами, так как они по своей природе больше кочевали и қазақовали.

От сына Джучи-хана внука Чингиз-хана Шибана пошли царевичи правого крыла Узбекского улуса. Они через столетие стали родоначальниками узбекских ханов — Шейбанидов. От другого сына Джучи и праправнука Чингисхана Мухаммада Русого произошли қазақские ханы — Урусиды. Хан Мухаммад Урус правил Кок-Ордой и какое-то время даже был царём всей Золотой орды, но жить предпочитал не в кремле столицы на Итиле, а в степи. Урус-хан построил в городах Отраре, Сауране, Дженте, Барчкенде и в Сыгнаке много мечетей и медресе. Особо он выделял из всех городов Сарайчук, расположенный на реке Жайик. После смерти Мухаммада Уруса знаменитый завоеватель половины мира эмир Тамерлан и его

ставленник Тохтамыш привели Золотую орду к её окончательному расколу и падению. Внук хана МухаммадаУруса хан Барак тоже пытался повоевать за престол Золотой орды, но больше он преуспел в войне с эмиром Улугбеком, внуком Тамерлана Хромого. «Пастбища Сыгнака по закону и обычному праву принадлежит мне, так как мой дед Урус-хан проживал в Сыгнаке и воздвиг там постройки», — заявлял они брал мечом то, что осталось ему в наследство от его предков с великими именами. Он правил на туркестанской земле как самостоятельный монарх. Но, в конце концов, погиб в одном из сражений. «Не нарушайте клятв и их закрепления» – сказано в Святом Коране. Однако государственные мужи больше предпочитали заниматься пиршествами и охотой. И скоро не стало единого государства. Золотая орда окончательно распалась на множество ханств и улусов, в которых проживали самые различные тюркские и монгольские тайпы и рода. Всех их снова объединил в одно государство одевший ещё мальчиков боевые доспехи султан Абу-л-Хайыр Шейбани. В 17 лет он был провозглашён ханом. Его государство включало все земли Золотой орды, за исключением русских княжеств, Казанского и Астраханского ханств. Но взамен он приобрёл большую часть Средней Азии — Мавераннахр. Хан Абу-л-Хайыр был самым ревностным сторонником ислама среди всех прежних ханов и султанов из чингизхановского дома Джучи, и соблюдал все мусульманские обряды и законы особенно тщательно и истово. Армию свою он именовал не иначе как Войском ислама. Правда, его тюркские воины этого не знали. Взяв штурмом Бухару и Хиву, они изумились: как много в этих городах золота, изящных вещей и танцовщиц. Хан Абу-л-Хайыр велел раздать своим воинам все добро, как воинам веры. Они же не богохульно шутили: «Здесь ещё осталось много добра. На каждого придётся ещё по одному мулле, а то и двоих с собой можно прихватить». «Нет, пусть что-нибудь останется и нашему хану», — смеялись воины.

Хан Абу-л-Хайыр же не забывал Всевышнего Аллаха. В краткие сроки всем султанам и иным властным мужам государства было велено собраться у гробницы Святого Ахмеда Йасави в Туркестане. И они съехались и из Сибири и с отрогов Алтая и степей Дешт-и Кипчак. Хана они не увидели, но к ним вышли учёные знатоки Корана. Было объявлено, что они сами и есть язык и указ хана. Все собравшиеся совершили полуденный намаз, а затем услышали как было им сказано одним из бухарских грамотеев: «Его Высочество венценосный Абу-л Хайыр-хан проявляет великое старание. И день, и ночь он проводит во дворце Всевышнего в молитвах и служении Аллаху». «Разве хан умер?» — удивились знатные тюрки. Городской мулла замолк, потеряв дар речи от такого дерзкого невежества степных бродяг. Но заговорил другой мулла, известный как и историк: «Когда мы говорим о дворце Всевышнего, то мы имеем ввиду его земные дворцы — мечети». «Вот как, —удивились степняки. — Наверное, наш хан станет святым — и прикусили свои пальцы». «Но знайте и новую весть. Всеведущий Аллах вновь посмотрел взором сострадания на положение населения нашей страны, и поднял на горизонте рождения звезду существования правильного

устройства. И связал его с ханом нашим Абу-л Хайыром для того чтобы под благословенными лучами солнца его веры и государства мир вновь наполнился светом, и от появления его ззаслуживающего одобрения образа действия, устройства дел государства и
народа, которое до этого было совершенно лишено убранства порядка и завершённости, чтобы законы шариата — прославленной веры и религиозные обряды вероисповедания Мухаммадова значительно упрочились». Султаны и знатные люди стали переглядываться и заворчали: «Говори человеческим языком, мы не ангелы, не понимаем персидских соловьиных трелей». Тогда историк, известный и среди мусульман и среди франков своими научными трактатами рассмеялся и заговорил просто, но строго: «Знайте: государство – это прежде всего законы. Все мы поданные государства Абу-л Хайыр-хана. И призваны жить по законам его государства. А он выбрал законы Шариата. Несогласных с законами бунтарей мы или заставим им подчиниться или изгоним прочь с нашей земли. На небеса». Ещё более шумно заволновались султаны, беки и прочий тюркский люд: «Давно ли наша земля стала вашей, гости из Бухары? Разве мы бунтари, если мы терпим такое?! Разве мы не живём по законам наших предков, по адатовским законам Тюрки. И разве не платим налоги? Мы мусульмане и верим в Аллаха». «У вас женщины ходят с открытыми лицами! А это не положено по законам шариата», наконец вновь обрел способность говорить первый мулла. Тюркские қазақи задумались, затем смиренно ответили: «Хорошо. Жёнам своим мы замотаем лица тряпками, что на них смотреть. А дочерей своих мы не силах принудить никак. Они так носятся на своих лошадках, что ветер срывает с них даже крепко вплетённые ленты с кос». У бухарского муллы снова не нашлось слов ответить на столь нелепые доводы. Разговор же продолжил привычный к спорам историк: «Ваши законы во много справедливы, никто и не спорит. Но нравственны ли? Ведь нравственно лишь то, что одобрено Пророком Мухаммадом. Разве не так, братья?». «Так, — согласились степняки. — Но нам известно, что за проступки и преступления по законам шариата положено человека бить палками по спине. Воры и клятвоотступники есть и среди нас, но нет среди нас мужчины, кто согласиться на такое унижение. Разве мы рабы? Разве не будет преступник достаточно наказан, если согласно нашим законам он заплатит кун и этим возместит весь убыток пострадавшим?». «Но вы не читаете пять раз в день намаз! А значит, не знаете истинного Ислама!» — наконец занервничал и знаменитый учёный. — Один человек однажды спросил Пророка Мухаммада: « Что есть Ислам?» Отвечал Пророк: «Чистота речей и радушие». «А что есть вера?». Отвечал он: «Терпение и благодетельность». «Кто же лучший для Ислама?». Отвечал он: «Тот, чьи язык и руки не причиняют вреда мусульманам». «А что есть лучшего в вере?». Он ответил: «Доброе расположение».

И спросил ещё его человек: «А какой бывает лучшая молитва?». И ответил Пророк: «Долгое благочестие. — прозвучала тут из рядов знатных мужей. «Кто ты? — воскликнул учёный богослов, уставившись на

говорившего пожилого мужчину». «Как смеешь ты, книжный червь, тыкать султану Кирею!» —воскликнули тут тюркские воины. Мулла притих, а султан Кирей продолжил: «Наши тюркские законы охраняют и чистоту речей и защищают благочестие. Он растят в человеке терпение и благодетельность. И они не призывают чинить вред мусульманам. И тот, кто не нарушал в своей жизни наши законы, достигал долгого благочестия. Ответь теперь: разве наши законы против веры в Аллаха? Сам Пророк ответил: нет, не трогайте тюрков, пока они вас не трогают». «-Пускай вам отвечают суфийские шейхи, которых, я вижу, вы у себя уже приютили...». Кирей перебил его: «И передай брату моему хану Абу-л-Хайыру: пусть живёт, как хочет, я буду жить, так как я хочу». Султан Кирей встал и зашагал прочь. За ним ушли многие, но не все. Покинувшие Туркестан султаны и главы тайпов день, покачиваясь в сёдлах, двигались молча, а к ночи сели на вершине сопки и стали думать. Были разные мнения: «Разве мы не мусульмане? — говорил один с обидой. — Мне по душе строгость шариата. Палка хорошо учит народ». «Хорошо учит, но только тогда когда твой народ имеет дом и боится выйти за городскую стену. Тогда он твой и от палки в твоей руке далеко не убежит. А если народ кочует и живёт далеко от тебя, то дело иное. Не станешь же гоняться полгода по всей степи за каждым. И не забывай, палка имеет два конца». «Да, — согласился третий. — Дикий у нас народ». «Почему же дикий? — не согласился другой бек. — По законам шариата вору положено отрубить руку. Такой мужчина уже не воин и не работник. А аул должен его кормить, нельзя же прогнать родича, каким бы он не был. А по нашим законам вор платит пострадавшим стоимость украденного, увеличенную трижды. А не сможет заплатить, отработает в неволе. Умнее и полезней не делать человека калекой, хотя позор он с себя и подозрения никогда не смоет. А значит, поостережется снова красть. Так чьи же законы более дикие, наши законы тюрки или шариат Абу-л-Хайыра?». «Но законы шариата написаны на бумаге, что не позволяет ни кому ошибиться, — гнули своё сторонники Абу-л Хайыра». «Как же! — заявила здесь аргынская знать.

— Разве вы забыли какой лицемерный произвол учинил Абу-л-Хайыр, когда его любимчик кара-кипчак Кобланды убил нашего Даир-ходжу Акжола? За убийство по законам шариата положена казнь. Её мы и требовали. Абул-л-Хайыр тут же забыл про свой шариат и позволил Кобланды откупиться по
адату. А теперь, когда ему выгодно, снова ему не нравятся наши адатовские законы!».

Много было рассуждений и споров. Каждый из собравшихся чувствовал, что сейчас решается судьба целой страны. И лишь когда луна расплылась голубым пятном на полнеба, султан Кирей сказал: «Тот учёный сарт Абу-л-Хайыра прав. Государство — это законы. В одном государстве не могут быть двух законоуложений. Я шел за Абу-л-Хайыром семнадцать лет, я бился в сорока битвах против его врагов, я молился с ним в одним мечетях. Он не отступит от своего. И за ним пойдут верные ему рода и люди. Но будут и такие, как аргыны, которые откажутся принять его шариат. И кто-то из

султанов встанет во главе именно таких. Значит, здесь будут два государства». «Тогда ты будь нашим ханом!» — воскликнули тюркские қазақи. Султан Кирей им отвечал: «У меня нет таких прав. Я такой же султан как и вы все. А государь должен быть признан другими государями. Иначе нас всех признают лишь бунтарями, и бухарский историк окажется и здесь прав. Только наследный принц может равняться хану Абу-л-Хайыру». «Султан-зада Абу Саид Джанибек! Сын хана Барака! Он имеет все права стать ханом. —Воскликнули все разом. –А где же он?». Султан-зада Жанибек сидел молча среди всех, и даже когда назвали его имя, промолчал. Тысячи воинов с угадываемым настроем окружили одинокую, белоснежную, семиканатную юрту в степи и не сходили с седел несколько дней, пока из неё не вышли два человека и не назвали себя:

—Я хан Абу Саид Джанибек. Я возвращаю себе страну отца моего хана Барака!

—Я султан Кирей. Я стал қазақом и те, кто станет қазақовать со нами свободно от хана Абу-л-Хайыра, пусть придут в страну хана Абу Саида Джанибека и живут там, как когда наши предки жили в ханстве Алаш-хана!
И воины тюркских тайпов вскинули пики и закричали первый клич қазақов: «Алаш! Алаш! Алаш!»

В статье А. Муминова и Ш. Кусаинова «Суфийские элементы в казахском эпосе» предполагается связь слова «Алаш» с именем «Халладж». «Халладж» — прозвище великого мученика, суфийского шейха Мансура ал-Халладжа. Шейх Абу-л-Мугис ал-Хусайн ибн Мансур ал-Халладж родился около 875 года в городе Тур, что находится в провинции Фарс на юге Ирана. С юных лет он отличался истовой религиозностью, в двенадцать лет стал признанным чтецом Корана. В возрасте двадцати лет он был принят в суфийский кружок шейха Амра ал-Макки. После совершения паломничества в Мекку ал-Халладж принимает затворничество и жесткий аскетизм. Достигнув, по его убеждению, состояния близости к Богу, ал-Халладж отказывается от внешних атрибутов суфиев, начинает не принятую в суфийской среде демонстрацию своих идей. Он проводил проповеди, в которых призывает искать Бога в своём сердце и оказал определённое влияние на творчество Ахмеда Йасави. Известно, что ал-Халладж дважды побывал на территории Центральной Азии.

Исторической наукой доказано, что ислам, привнесённый суфийскими проповедниками на окраины мусульманского мира, сыграл свою мощную консолидирующую роль на новых принципах. Среди тюрков, живших на берегах рек Амударья и Сырдарья, возникло протогосударственное объединение, известное как «Алты-Алаш (Шесть родов Алаш)». В него входили и кыргызы-мусульмане, считавшие Халладжа основателем своего рода. Очевидно, что в этнический союз Алты-Алаш входили и қазақи, ставшие с XI века насельника ми сырдарьинского региона. С течением времени спустя века арабское имя Халладж в простонародной тюркской среде превратилось в имя эпического хана Алаш — первого правителя

тюркских қазақов. С этого времени қазақам становится известно имя Асана Кайгы — личности описавшей Благословенную страну тюркского мира. Его представления о ней являются оригинальной версией мироздания философа Платона, рассуждавшего в своих диалогах «Государство» о идеальной утопической стране. Асан Кайгы — прямой потомок легендарного правоведа современника Чигниз-хана бия Майкы, о котором қазақи говорили следующее: «У всех слов один корень, корень красноречия — бий Майкы» и оставившего им напутствие: «Станьте стальным наконечником копья, нарастите мышцы, встаньте страной. Если хан ваш будет мудрым и справедливым, а вы, подвластный ему, сплоченными и смелыми, то ваш корабль пройдёт и по суше, выжимая из неё сам своей кормой воду». Отцом Асана Кайгы был Сабит Саятшы — сокольничий царя Золотой орды. Сам он становится советником қазақского царя Жанибека Абу Саида и непосредственным свидетелем и активным участником события, связанных с возникновением первого қазақского государства и войны за Независимость. Умирает Асан Кайгы столетним старцем. Поданным Ч. Валиханова, его могила находится вблизи озера Иссык-Куль. Считается, что Асан Кайгы проехал от Алтая до Каспия, от северной тайги до песков Кызылкумов на своей верблюдице Жельмая. Он дает не только географическое и климатическое описания всех уголков Қазақстана, но отмечает хозяйственный уклад жителей городов и аулов. Его афоризмы точны и наполнены глубоким философским смыслом.

О городах Шымкенте и Сайраме, где Асан Кайгы заметил: «Через шаг базары — нет у купца дохода. Через шаг мазары – лишен народ ухода». Асан Кайгы создал учение об идеальном человеческом сообществе, населяющем Благословенную страну Жер-Уюк. В этом государстве отсутствуют голод и болезни, ему никогда не угрожали враги, а сами люди Жер-Уюка не знают вражды и ненависти. Там царит равноправие и всеобщий материальный достаток. В этой стране не случается природных катастроф, реки и озера полны чистой водой, травы сочны и густы. Все наполнено таким глубоким покоем и безмятежностью, что «жаворонки вьют свои гнезда в густой шерсти баранов». Идеализм учения Асана Кайгы кроется не только в описании общественного строя Благословенной страны Жер-Уюк, но и в описании единственной ведущей к ней дороги. Прямого пути в Жер-Уюк не существует. Можно неоднократно пройти все материки, проплыть все моря, но так и не найти ее. Только узкие тропы воспитания гуманных чувств, отказа от излишеств в материальном плане, усмирения животных страстей в самом себе способны привести человека в Благословенную страну Жер-Уюк.

Философский посыл данного парадоксального утверждения в том и заключается, что Жер-Уюк не имеет конкретных географических границ, а представляет тот край, где люди сами решили встать на путь духовного самосовершенствования и строительства справедливого общества. Как мыслитель и государственный деятель, не оторванный от реального мира, Асан Кайгы отчётливо осознавал невозможность существования созданного его умом человеческого сообщества ни во время его земной жизни, ни в

ближайшем будущем. Осознание им самим данного факта нашло отражение и в его облике — за ним закрепляется прозвище «Кайгы» — Печальный. В середине XV века те, кто решили свободно қазақовать от хана Абу-л-Хайыра, назвали себя қазақами и откочевали вместе с избранным ханом своим Жакибеком в долину реки Шу. А когда собрались они там, царь Жанибек попросил высказаться своего советника Асана Кайгы об этом крае. А сан Кайгы отвечал так: «Здесь на берегах Чу по всему руслу в густом камыше бродят тигры. Здесь ножи останутся в ножнах мужчин, а сами они уподобятся рабочим лошадям. Здесь женщины стали чужими, а дети не сгорают от болезней». Выслушав старого мудреца, царь Жанибек сказал: «Мне понятны твои первые слова. Мое только рожденное ханство окружено бесчисленными врагами, они как тигры охотятся за нами. Чтобы выстоять против врагов, мы должны сохранить единство: пусть ножи у мужчин всегда остаются в ножнах. Чтобы поднять государство наше, надо много трудиться. Станем же, как рабочие лошади, тянуть вперед нашу общую повозку. Но объясни мне, мудрец, почему женщины наши здесь стали чужими, а дети не сгорают от болезней?». Асан Кайгы отвечал: «Ваше Величество, светлейший хан, женщины стали чужими, потому что им предстоит родить новый единый народ, а мы, отцы, останемся прежними аргынами и ногаями, кипчаками и найманами. Рожденные дети не станут страдать от невзгод и раздора, которые как болезни сжигают нас». Многие исторические факты народ хранил в своих эпосах. Один из создателей қазақского Сыпыра Сургылтай-улы жил и творил в начале XIV в. Отдельные эпосы-сказания исполнялись автором речитативом под звучание кобыза в течение суток и более. Корни поэтического творчества Сыпыра Сургылтай-улы ходят в традиции тюркской письменной героической литературы, в частичности, в сохранившееся на каменных стелах времен Тюркского каганата, а также в строках устного наследия таких стихотворцев, как Кет-буга, в поэтической форме донёсшем до Чингизхана весть о смерти его сына Джучи. Сыпыра-жырау дожил до преклонных лет, старость его была настолько глубокой, что, согласно древним описаниям его портрета, под конец жизни его дряхлую, падающую челюсть подвязывали шелковой лентой. О себе Сапыра-жырау говорит с достоинствам следующее:

За век кровавых, страшных дел
Я видел много и царей и ханов.
И каждому в лицо я правду пел.

Говоря об эпическом жанре, қазақов нельзя не вспомнить о Казтугане Суйиниши-улы и Актамберде Сары-улы. Казтуган Суйиниши-улы жил и творил в XV веке. Его биография легко прочитывается в его поэтическом наследии. Родился Казтуган в семье аристократов Золотой Орды. Его отец Суйинищ нашел свою невесту Баштуган в богатом городище на берегу Волги. Она и родила великого поэта на приволжской земле между реками Ахтуба и Бузан. Там же прошли его детство и юность. Казтугана воспитывали как воина, будущего полководца. Однако обращает внимание в его поэтическом

автопортрете то, что Казтуган рисует свой воинственный образ, предпочитает слово, а не оружие:

Я ястреб над стаей серых гусей,
Петля я на шее диких коней.
Последний суд — мой меч-язык.
Я ярого верблюда клык!
От туч очищу лунный лик,
Начищу солнце я до белизны!
Над странами неверных и мусульман
Я вознесу Святой Коран!

Для поэзии Казтугана характерно и глубокое философское осмысление действительности:

Если море желает скрыть в глубине
Рыб, мелькнувших в голубизне,
Блеском солнечным скроет волны.
Достойный сын достойного отца
Прикроет смехом от смешков глупца
Свои глаза, когда они тоской полны.

Слава поэта Актамберды Сары-улы соперничала со славой полководца Актамберды Сары-улы. Актамберды родился в 1675 году. Его отец Сары относился к қазақскому таипу найман. Как поэт Актамберды стал известен ещё подростком, в одиннадцать лет. Уже в первых стихотворениях проявилось присущее ему чувство высокого достоинства, стремление стать равным среди тех, кто вершит судьбу его народа. На формировании его характера сказалось и то, что он был единственным сыном, тяжело переживавшим своё одиночество. Свою жизнь он решает посвятить трудному делу объединения всех қазақов против их врагов. В своих стихах он молит Бога скорее послать его на битву, и в семнадцать лет он становится профессиональным военным, участвуя в войне с калмыками Джунгарского ханства, которая длилась не одно десятилетие. К сорока годам он командует многотысячным конным корпусом найманов. Ко времени жизни и творчества Актамберды Сары-улы искусство поэтов-жырау вошло в период расцвета. Сложились целые школы жырау, исполнявшие свои эпические сказания в свойственной только им манере. Выделиться среди десятков жырау в то время было чрезвычайно сложно. Актамберды удается найти свой язык, свой стиль. Красной нитью через все его произведения проходит образ коня. Никто ни до Актамберды, ни после него не смог в қазақской поэзии создать более возвышенный и точный образ этого верного соратника воина, передать пламенный дух скакуна, высказать горячую любовь к гривастому другу қазақа. Для Актамберды конь представляет собой целый мир: и дикую природу, и колыбель. Боевой конь является для него символом силы народа, его борьбы за свою независимость. Призывая вскочить в седла коней, Актамберды зовёт к наступлению на врага. Актамберды относится к тем

нескольким воинам, которым удалось, пройдя десятки битв и столкновений с захватчиками, дожить до окончательного освобождения своей Родины. Уже в пожилом возрасте он оставляет саблю и становится строителем мирной жизни. В Долине рек Аягуз, Каракол он возводит плотины для орошения полей, засеянных просом и пшеницей. Актамберды прожил долгую жизнь и скончался в 1768 году. Его могила находится на холме Журек Жота на берегу реки Шет в степях Сары-арки.

В XVIII веке в қазақских военных кругах был широко известен поэт Татикара Акыш — современник и сподвижник хана Абылая. Татикара принадлежал роду уак, родился в 1705 году и вырос на землях северного Қазақстана у берегов Тобола. За три столетия непрерывных войн, которые вели қазақи, поэтическое искусство жырау приобрело сильные воинственные ноты. Как правило, поэт-жырау являлся и воином. Его сказания и песни были призваны поднимать боевой дух товарищей по оружию. Не являлся исключением и Татикара. Поэт отличается прямотой и бескомпромиссностью, когда речь идет о защите Родины. Ему принадлежат крылатое выражение: «Можно отрубить голову, но нельзя отрубить язык». Когда в одном из боев погибает первенец хана Абылая, правитель қазақов, потрясённый смертью своего сына, надолго оставляет государственные дела. Татикара акын напоминает хану в своём поэтическом обращении, что его сын стал для него дороже, чем все қазақи в эти военные годы, когда гибли тысячи и тысячи людей. Он требует от хана немедля оставить тоску и подняться на бой с врагами. Эти дерзкие фразы могли стоить поэту жизни. Татикара обращает своё внимание художника и на образы батыров из чёрной кости, видя в них идеал защитников народа:

Говори о Бокее и Сагире из дулатов,
Пой о Дерипсали и Майдане из кипчаков.
Из погибших батыров не все умирают.
Расскажи о Сары и Баяне из уаков.

Қазақи со своими семьями отошли на степную полосу между границей Моголистана и владениями правителя Джетыкента Юнус-хана. И там объявили о своём Қазақском ханстве, а себя стали называть қазақами, что на языке даже персов означало “неподчиненные никому”. Это произошло в 1459 году. К ним стали стекаться и другие султаны и рода и через несколько лет қазақи заняли всю долину от реки Шу до реки Талас. “Всякий, из числа знатных и простых поданных, кто начинал питать отвращение к Абу-л Хайыру, находил у них убежище и веру. История человечества, к сожалению, подтверждает, что религиозные войны отличаются особой ожесточенностью, и что они вспыхивают даже между родными братьями. Появление Иисуса Христа раскололо, казалось бы, такой монолитный народ как еврейский, а французы десятки лет резали друг друга только потому, что один из соседей в доме был гугенот, а другой католик. А в Поднебесной империи было время, когда в течение всего одного года были закопаны в землю живыми миллионы

буддистов. А в случае, когда в стране появляется религия, диктующая новые законы, она приводит к расколу самого государства.

Девять лет понадобилось хану Абу-л-Хайыру, чтобы привести в покорность те тайпы и рода, которые отказывались признать новые законы его государства. Дабы очистить и освободить от колючек мятежа мятежников и бунтовщиков территорию Дашт-и Кипчак и Хорезма, всех крепостей на северных границах до окрестностей Фарангистана он подверг наказанию даже некоторых родственников. Многие покорились воле монарха, но были и те, которые ушли к берегам реки Шу и ту местность стали именовать своим Қазақским ханством. Число поданных ханов Жанибека и Кирея достигло 200 тысяч человек.

У братьев ханов-урусидов Жанибека и Кирея хватило ума и благородства в эти судьбоносные годы все отношения между собой решить самым тактичным образом. Нам неизвестна ни одна ссора между ними. С тех пор их имена пишутся всегда вместе, как имена основателей Қазақского государства.

Царь Моголистана, чьи владения на западе доходили до Шу, счел для себя весьма удобным такое соседство, ибо увидел в қазақах своих союзников против Шайбанидов. Он сразу заключил военный союз с қазақским ханом, обещая ему своё покровительство. Узнав о сем событие, хан Абу-л-Хайыр стал готовиться к разгрому қазақов очень серьезно, и собрал на Волге столько своих сторонников, что из-за многочисленности армии и большого обоза пространство побережья реки Атил стало настолько тесным, что по виду напоминало кишащий муравейник. И в 1468 году хан Узбекского улуса посчитал возможным начать поход. К зиме этого же года он вышел к низовьям реки Талас — западной границе Қазақского ханства.

Так началась война қазақов за Независимость 1468-1485 годов.

К қазақскому Ак-кишлаку у подножий Ала-Тау войско хана Узбекского улуса вышло зимой. Здесь хан Абу-л-Хайыр внезапно заболел и ангел смерти благосклонно ответил: “ Вот я”. Птица души его вылетела из клетки тела и свила гнездо в цветнике вечности. Ханом Узбекского улуса становится Шайх-Хайдар, человек безвольный, не смелый. Он принимает решение отступить в вилайят Отрар. К қазақским ханам присоединяются и восставшие мангытские мурзы ногаев, а также другие тайпы. И в 1470 году, после одного из самых больших и кровопролитных сражений, в котором армия хана Шайх-Хайдара была окончательно разгромлена и он сам погиб, Узбекский улус окончательно распался на Қазақское ханство, Ногайскую орду мангытов и вольные округа городов Туркестана. С тех пор қазақи всецело владычествовали в большей части Дешт-и-Кипчак, а Шейбаниды старались держаться от них подальше на территории Туркестана. Но законный наследник царствовавшего дома Узбекского улуса хан Мухамамад Шейбани продолжал упорно не признавать случившийся раздел его государства. Он скрылся в Ходжи-Тархане. Под давлением мангытских мурз астраханский царь вынуждает юного хана покинуть его город. Но в то же время мангыты-ногаи пропускают Мухаммада в Туркестан. Они снова готовы признать его

властелином всего Узбекского улуса, и поддержать своими многотысячными дружинами, если он оставит их править ногайскими тайпами. На юго-востоке ещё один вчерашний союзник қазақов — могольский хан нанинает теснить Қазақское ханство от Ташкентского вилайята.

Никогда быстрое усиление какого-то государства не радовало его соседей. Правитель города Йасы Мазид-тархан поспешил встретить сторонников Мухаммада Шайбани и приступил к устройству больших собраний и грандиозных пиршеств. Но когда вести о прибытии их всех на территорию Туркестана дошли до қазақских султанов, все они с волноподобными отрядами направились к городу Мазид-Тархана. События эти относятся к зиме 1473-1474 годов. Вёл войска не сам хан Кирей, а его сын Мурындык. Мазид-тархан, осознавая неизбежность поражения, поспешил одуматься и отказался далее поддерживать присутствовавшего в это время в его городе молодого хана Мухаммада Шейбани. Наследник хана Узбекского улуса вынужден был бежать со своей гвардией численностью не более 300 человек. Около Сабрана, уже вошедшего в состав Қазақского ханства аким города султан Еренджи, сын Жанибек-хана разбил этот отряд Мухаммада Шейбани. Сам хан едва спасся со своим братом султаном Махмудом и с ним ушёл в покорённый когда-то его дедом город Бухару. За два года пребывания в Бухаре, где его встречают как царствующее лицо, хан Шейбани смог обильно снарядить для войны своих воинов и опять двинулся на қазақов. Многие правители городов снова без боя стали передавать ему ключи от своих городских ворот. Но господство Мухаммада в них был всегда кратковременным, так как ни он сам, ни акимы вилайятов и городов не могли долго противостоять Мурындыку, ставшему к этому времени ханом и располагавшему 50-тысячным войском. «Прежде этот вилайят принадлежал Мурындык-хану, — говорили самые осмотрительные из них. — целесообразно передать этот вилайят ему же, чтобы тем самым устранить неприятности». Опасность пришла с другой стороны. Хан Могольского ханства передал хану Мухаммаду Шейбани крепость Отрар, опираясь на которую тот смог опять занять ряд городов. Это вынудило қазақского хана начать войну на двух фронтах. Двинувшись на восток, хан Мурындык в двух битвах разбил войска могольского хана Махмуда, который после этих поражений счел за лучшее вновь заключить мир с қазақами. К этому времени с запада приходит войско Ногайской орды и соединяется с гвардией хана Мухаммада с Шейбани. Наконец в бою у горного перевала Согундук, между Сузаком и Сыгнаком войска Шейбани и мангыта Муса-мурзы были разбиты и окончательно рассеяны. Понимая, что дальнейшее противостояние после Согундукской битвы не принесет ему ни новых побед, ни новых союзников, хан Мухаммад Шейбани вступает в переговоры и заключает в 1485 году мир с ханом Мурындыком, признав его равным себе государем и скрепляет своё слово династическим браком, женившись на дочери қазақского хана. Мирный договор требовал от него вместе со всеми султанами-шайбанидами окончательно покинуть большую часть земель, где ещё недавно властвовали

только его дед хан Абу-л-Хайыр. С этого времени независимость Қазақского ханства уже никем не оспаривалась, и никто кроме ханов Урусидов не мог претендовать на власть в Дешт-и-Кипчакском пространстве от гор Алтая до Каспия. После заключения мира перед десятками родов узбеко-қазақов встал окончательный выбор: за кем идти и, следовательно, кем стать. Раздел проходил иногда между родными братьями. Только два тайпа не разделились. Это аргыны, все ставшие на сторону қазақских ханов и кочевые уйгуры, которые пошли за Мухаммедом Шейбани и во многом повлияли на то, что узбеки заговорили на диалекте тюрков-карлуков. Миллион кочевников предпочли быть қазақами, триста тысяч — узбеками. Ворвавшись вместе с ханом Махммудом Шейбани в Среднюю Азию-Мавераннарх и захватив там эмираты Тимуридов Самарканд, Хорезм, Тохаристан, Кандахар, Забул, Хорасан, Кандахар, Астрабад, кочевые узбеки, слившись с уже жившей в этих ираноязычных городах тюркской элитой, создали Узбекское ханство. А сам хан Мухаммад прославился как блестящий полководец и стратег.

Тяжело стоять высокому дереву в степи под снежными или опаляющими зноем ветрами. Ещё тяжелее быть ханом қазақов. В степи мало деревьев, ещё меньше султанов, но каждый мнит себя лесом. Вот они, султаны, сидят полукругом пред ним, ханом Мурындыком и хотят войны. Войны с его зятем ханом узбеков Мухаммадом Шайбани. Вот сидит посланник узбекского хана и в руках его письмо от его самаркандской дочери и жалоба Мухаммада на набеги қазақов на его города. И с ним рядом дерзкий и жадный султан Ахмад, сын Джаниша, одетый в намеренно оборванный переливающийся всеми красками радуги халат. В нем он выглядел как раненый павлин со злым клювом. А воины султанов свезли к Ставке хана горы тюков с овечьей шерстью — не где было поставить казаны. Хан Мурындык хотел бы знать, что пишет дочь о его внуках, но взять её письмо можно только с протянутой ему жалобой. И его руки, отяжеленные серебряными перстнями, не шелохнуться. Лишь губы твердо выговаривают шейбанидскому послу: «...и мы желаем, чтобы Мухаммад наконец отменил свои указы о запрете торговать его городам с нашими купцами. Всегда шли торговые пути по нашим землям, теперь же мы не можем продать персам ни шерсть, ни кожу, ни коней наших, ни овец. И люди наши не могут купить на ваших базарах ни стали для клинков, ни тканей, ни зерна. Не желаете торговать с нами, пропустите нас в Персию, но уже несколько раз караваны наши под Хорезмом были разграблены вами. Мы будем ждать ответа не более трех лун». Человек хана Мухаммада хотел сказать, что сидящий рядом с ним султан со своими воинами сам уже не раз врывался к городам Туркестана и грабил всех, кого встречал на пути. Но говорить ему не дал жест хана, велевший ему встать и уйти немедля. Когда султаны остались одни со своим ханом, они заговорили сразу и громко: «Хан Мухаммад трижды отменял и снова издавал такие указы! Что нам от них? Пока города Туркестана не станут нашими, народ наш будет и по-прежнему беднеть и унижаться! Узбекский хан желает одного: не смог нас убить, так пытается на

колени поставить. Мы не хотим жить в городах, но и жить без них трудно. В городских вилаятах все пашни и арыки. Не сеять же нам самим просо и рис! Дадим войска султану Ахмаду, и пусть он вернет нам то, что было нашим! Война!». «Хан Мурындык молчал. Затем страдальчески произнес: «Похолодало». Тут же стоявший за его спиной раб развернул серый халат, сотканный из пряжи верблюжьей шерсти и с благоговением на лице накрыл им плечи хана. Сие невзрачное на вид и колючее одеяние как бы говорило само: люди, вы хотите войны, что бы носит парчовые халаты из индуской ткани, но разве ваши бабы уже разучились ткать ткани из шерсти? Хан мог добавить к беззвучному укору халата и свои слова: « В плавильных Жезказгана много железа, но вы хотите сабли непременно из дамасской стали. А разве на Или мало заливных лугов, где хорошо взойдет пшеница, но вам унизительно идти за сохой. Люди, нет в мире таких сокровищ, которые оправдали бы своей ценой войну и всегда у всех достаточно простых, но достойных вещей, чтобы жить в мире». Но промолчал. «Султаны не знали, что ответить хану. Лишь султан Касым, молчавший до сих пор, произнес: «Если мы не пробьем опять караванные пути с Китая на Багдат и к Московии, сюда придут другие народы лишь с одной целью — провести купцов и караваны уже без нас. А нас перережут, даже если снять с нас не будет нечего, кроме шкур». «Хан Мурындык не взглянул в сторону брата своего Касыма, сына хана Жанибека. И неохотно, но твердо произнес приказ: «Война. Готовьтесь».

Трудно быть қазақским ханом. Но ещё труднее им быть, когда твои внуки далеко на чужой земле и вас разделяет фронт. Но хан Мурындык, уже знал, что когда-нибудь он скажет им: “Нет, я хочу быть со своими внуками”.
И 50-тысячное қазақское войско переправилось через Сырдарью. Его вёл сын Джаниш-султана по имени Ахмад-султан с благородной знатью, қазақскими богатырями и именитыми султанами. Они направили воинов на область Самарканда и Бухары. Готовившийся к войне с Ираном, хан Мухаммад, быстрый как леопард, ловко развернул в Хорасане свои войска на север. Но к этому времени, взяв ряд крепостей и, быстро утомившись осадой Самарканда, как и положено кочевнику, султан Ахмад вернулся на правый берег Сырдарьи у города Узгенд. Кроме ценных вещей и скота, отряды қазақских султанов увели с собой несколько тысяч человек, в основном, конечно, пленниц. От вторжения қазақов государство царя Мухаммада особенно не пострадало: города остались не разрушенными, власть не изменилась. Как вошли кочевники, так и вышли, оставив страну целой, разве что беднее. Такие времена. Он узбекский хан созвал мулл всех мечетей и спросил их о том, что они думаю о пленение мусульманами мусульман. Священнослужители отвечали ему, что такое недопустимо, ибо запрещено Кораном. «Так можем мы говорить о таких захватчиках, что они не мусульмане?» — настаивал хан. «Несомненно, именем Всевышнего Аллаха, преславен Он и возвышен», отвечали ему. Сам Мухаммад Шейбани желал услышать и другое, поэтому задавал и задавал один и тот же вопрос. Наконец муллы произнесли то, что ему было нужно: «Такой народ заслуживает один

приговор —газават». И қазақам была объявлена священная война, как не вероотступникам. Теперь дороги назад не осталось и сделалось невозможным как прежде все уладить путём переговоров и взаимных уступок. Так началась самая долгая война между Қазақским ханством и государством Шейбанидов. 19 февраля 1509 года шейбанидская армия начала переправу через Сырдарью и была настолько многочисленной, что её переправа заняла 3 дня. Уже на правом берегу к 50-тысячному войску, состоявшему в основном из таджиков и согдийцев, присоединились ещё 10 тысяч всадников и 20 тысяч пехотинцев султана Кучума, а так же 10 тысячный корпус султана Суюнджи-Ходжи, состоявший чистых по происхождению кочевых узбеков, самых боеспособных. Своей Ставкой хан Мухаммад Шейбани избрал местечко Кара-Абдал. Там он приказал: «Идите боевым строем вдоль реки, сколько потребуется, пока не настигнете султана Ахмада». Через десять дней всадники султана Суюнджи-Ходжи приблизились, как волки к барсучьей норе, к қазақскому султану, скрывшемуся на землях своего отца и, видимо, уверенного, что как и прежде хан Мухаммад не решится опять воевать с қазақами. Но в начале марта 1509 года произошло кровопролитное сражение, в котором полураспущенное қазақское войско было разбито и рассеяно по снежной степи. Раненый султан Ахмад был схвачен и казнён, а его голова была направлена на обозрение в Мавераннарх. Султан Джаниш, также получивший в ходе боя рану, с остатками воинов ушел к Ставке қазақского хана Мурындыка, расположенную в кишлаке “Аб-и Сыр” в 15 днях пути от Каратала. Оставшиеся же қазақские султаны вследствие снегопада, льда и сильной стужи совершенно не имели никаких сведений и известей о положении друг друга. По всей степи воцарились паника и смута. Действительно, только при появлении узбекских отрядов қазақи спешно отступали, давая возможность войскам Шейбани захватывать огромные стада скота и иного добра. Одних пленных для продажи в рабство было схвачено не менее 10 тысяч человек. В это катастрофическое время всю инициативу ведения войны взял на себя султан Касым, до сих пор командовавший только конницей в войске хана Мурындыка, явно потерявшего свой неоспоримый авторитет за неудачную войну. Прежде всего, султан Касым всеми доступными путями поддерживает сложившееся у хана Мухаммада и его окружение мнение, что қазақи окончательно разбиты и не способны к дальнейшему сопротивлению. В течение года он заново формирует погубленное султаном Ахмадом войско, особое место отводя в ней разведке, во главе которой он ставит батыра Мойынзыз Хасана. Султан Касым избегает всяких столкновений с узбекским войском, заняв оборону в отрогах Улу-тау, перед которыми располагает свою неукреплённую Ставку. Наступление на позиции султана Касыма хан Мухаммад Шейбани начал зимой 1510 года силами 30-тысячного корпуса своего сына султана Тимура, считая, что это одно соединение вполне справится с задачей. К тому же в этом походе принял участие и султан Убайдулла — герой войны в Туркестане, что, казалось бы, делало победу совершенно обеспеченной.

Султаны Тимур и Убайдулла легко взяли Ставку қазақского военачальника, не обратив внимание, что она была отдана им без боя. Не задумывались они и том, почему на протяжении 15-дневного похода они не встретили ни одного қазақского отряда, ни мирного аула. Затем, посчитав врага презренно ничтожным и попранным, они в течение нескольких дней предавались наслаждениям с обозными розоволикими женщинами с белоснежными телами. И это в Ставке Касыма-хана. Какое бесстыдство! Ведь известно, что царская Ставка хана Касыма всегда отличалась аскетизмом. В ней постоянно пребывали суфийские шейхи, творившие молитвы-дуа и зикр. А один джуйбарский шейх укрывался в неблагоприятное для него время. Скорее всего, шахид шейха Джуйбарса, когда-то являвшегося ханом своего народа, но после встречи с ходжой Ахмедом Йасави ставшим суфием без дома и жен. Как и предполагал Касым-хан, узбеки в оставленной им Ставке предались разврату и беспечному сну. И в этот час и нападают на них разведчики Мойынсыз-Хасана. Внезапная атака даже малочисленного, но отлично облученного военному искусству қазақского отряда вынуждает узбекских султанов для восстановления военных рядов отступить. И здесь главный касымовский корпус вышел из засады и много людей пало на поле брани, а вооружение всего войска попало в руки қазақов. В жалком положении султаны соединились с Шейбани-ханом, а затем враг пришел следом за ними и погубил много людей из видных. Хан Мухаммад Шейбани вновь потеряв для себя города Туркестана, включая и самый южный — Сайрам, ушел за Сырдарью и там в ноябре 1510 года погиб под Мервом. После его смерти почти все завоеванные им в Средней Азии страны и земли перешли в руки тимурида Бабура.

Во всех изданиях и научных докладах на русском языке қазақские тайпы назвали и продолжают называть племенами, а упорное определение казахами или дулатами или найманами объясняется трайболизмом. Термин «тайпа (араб. тайифа)» стал известен қазақам с появлением на их землях арабов. Как и арабы, делившиеся на тайифы, қазақские тюрки не увидели в нем разделяющего смысла. Следуя племенной логике, все қазақские тайпы должны отличаться друг от друга по каким-то лингвистическим, этнографическим, религиозным или антропологическим особенностям. Но неоспоримым является то, что ни один этнограф или лингвист или иной специалист по этнической идентификации не зафиксировали хотя бы какие-то значимые различия между қазақскими тайпами. Значит здесь важно не деление, а объединяющее начало феномена «тайпа». Прежде всего, в основе любого единения заложена историческая память. И ради неё деление на тайпы и сохранялось в народном сознании. Названия қазақских тайпов соответствуют именам легендарных пращуров-родоначальников, за исключением тайпа «Жеті ру». Этот же принцип заложен в именовании родов, входящих в тайпу. Мемориальный компонент, в частности, позволяет при сопоставлении устной картотеки исторических имён, участвовавших в тех или иных событиях с циклическим летоисчислением из двенадцати годов возможность достаточно точно выстроить историческую хронологию и

панораму. Основоположник казахской историографии и фольклористики Чокан Валиханов писал о крупнейших тайпах казахов Старшего жуза дулат, суан и албан ведут родословную от Джоркчи (Жарыкшака), сына батыра Байдабека и Бибажар (Домолак-ана). Её, отмечает исследователь, казахи называют аулие — святым. Нет дороги, не ведущей к трону Всевышнего. Но каждый блуждает. Известен случай, когда один из правителей в Туркестане шах Абд ал-Халик обратился к своему родственнику со стороны отца шейху ходже Ахмеду Йасави с просьбой дать ему совет в деле войны правителем-христианином Йусагу, уничтожавшим мусульман. Выслушав просьбу шаха Абд ар-Рахима и его братьев, Ахмед Йасави ответил ему так: «Вы лучше знаете эти дела, и сами сможете принять подходящее решение». Тут горячо заговорил сопровождавший шаха молодой, смелый, но несдержанный воин по имени Байдабек: «Разве пророк наш Мухаммад не велел покорять неверных клинком ради правой веры? Ходжа Ахмед Йасави ответил: «Разве скажу, что цель твоя не верна? Нет. Но истинный путь к Всевышнему — адаб. Что означает молитву перед рассветом, постоянный плач, правильную одежду, затворничество и крайнее смирение и самоотречение. Удалому воину постоянно плакать не хотелось никак, да и смирение с затворничеством ему было совсем не присущи. Правда, молиться он стал после наставления шейха перед каждым рассветом с полным самоотречением и стал носить самую скромную одежду под доспехами, не лишив при этом своего коня излишне украшенной серебром с позолотой уздечки. Вторая супруга батыра Байдабека, отличавшаяся кротким нравом Бибажар ждала в те дни второго ребёнка. Байдабек любил её более всех женщин. И, вернувшись с похода, поспешил к ней в юрту с седла в железе и в сапогах с бурыми пятнами чужой крови. И запах крови стал для неё тяжёл и мучителен. Родив сына Жарыкшака, она тихо, но решительно отделилась от головного аула мужа. Ни угрозы, ни уговоры Байдабека не могли её заставить вернуться к нему. Она требовала от него лишь одного: поклясться, что больше он никого ни когда не убьёт. Но батыр Байдабек был воином Аллаха, а войны, большие и малые, проносились по степи, как ветры и зимой и в летний зной. И он с горечью на сердце отказался клясться. Так муж и жена стали жить врозь. В её доме находили защиту все гонимые люди. И мусульмане и те, кто верил в Христа и Будду. Никому не было отказано ни в утешении, ни в доле от её казана со скромной едой не таящей в себе вкуса крови. В её доме можно было не страшится клинка не устанного батыра Байдабека. Под ее крышей он не смел ни судить, ни карать своей волей. Земляки стали звать её матерью — Домалак-ана. И она приняла это второе имя, словно согласилась, что появилась на этом свете заново второй раз. Её слово лечило больных, облегчала страдания убогим и искалеченным людям. Неторопливая, тихая речи Домолак-аны не только излечивала тела и дыши страждущим, но отличалась изяществом и глубокомыслием. Своим красноречием она покорила не меньше народу, чем батыр Байдабек оружием. Никогда она не позволяла себе оскорбить человека даже взглядом, считая, что никого нельзя назвать ни вором, ни врагом. Однажды ночью под её кров

попросились кыргызы. Благодарные за её гостеприимство утром они предложили ей в дар выбрать из пригнанных ими табуна лошадей и гурта верблюдов столько голов, сколько она пожелает. Домалак-ана сразу же узнала лошадей и верблюдов своего мужа, но ничего не сказала об этом гостям, только остановила свой взгляд на белом коне и белесом буре — двугорбом старом самце. Довольные скромным выбором хозяйки, конокрады поспешили отъехать подальше в свои края. Но какого было их изумление и огорчение, когда на следующую ночь угнанный ими скот исчез. Только позже они поняли, что оставили у дома Домалак-аны вожаков лошадей и верблюдов, за которыми всегда шли табуны. Вернуться назад они побоялись, опасаясь, что их имена уже стали известны батыру Байдабеку. Он действительно пытался узнать, кто осмелился покуситься на его добро, но Домалак-ана только вернула ему скот и никого не обвинила. К старости батыр Байдабек раскаялся в совершенных им насилие над неверными племенами и почти не вставал с колен на молитвенном коврике. Но с любимой Бибажар Домалак-аной так и дожил до смерти порознь.

Мазары Домалак-аны и Байдабек-аты находятся далеко друг от друга в Алгабасском районе Шымкентской области, у села Шаян и села Китаевка. Бесплодные женщины приходят на могилу Домалак-аны просить детей. Спасителем Узбекского ханства стал племянник хана Мухаммада султан Убайдулла. Этот выдающийся полководец в битве при Куль-Мелике одержал вверх над Бабуром, заставив его уйти в Кабул, а затем и в Индию. И власть Шейбанидов в Мавераннархе была восстановлена его рукой, но ханом был избран престарелый султан Кучум, сын Великого хана Узбекского улуса Абу-л-Хайыра. Осмотрительный и дальновидный султан Касым не спешит переходить подобно несчастному султану Ахмаду широкие воды Сырдарьи, а предпочитает прежде укрепить своё государство. Без особого шума он выпроводил хана Мурындыка жить к дочери, крупной самаркандской землевладельце. Естественно, что вслед за этим именно Касыма выбирают ханом қазақов. После этого он с боями расширяет границы ханства на северо-востоке до берегов реки Жайик, заставив ногайских мурз подчиниться его власти, а на севере до Каркаралинских гор. Он обменивается послами с Великим князем Московского государства Василием III, заключает союз с могульским ханом Саидом, поддерживает Араб-шаха в его стремлении отделить Хиву от Шейбанидов. Численность его поданных достигла миллиона человек, что потем временам составляла очень крупный народ.

После гибели хана Мухаммада Шейбани Сырдарьинская война продолжалась с не меньшим ожесточением. Только в 1516-1517 годах хан Касым отразил два похода на него узбекских войск, впрочем, и сам не раз наступал. Основная борьба завязалась вокруг Ташкента. Известно, что первая попытка хана Касыма взять этот город окончилась неудачей. Хан был ранен и сбит с коня во время ожесточенной битвы с узбекским полководцем султаном Суинджи-ходжей Шейбанидом. Правда, это наступление со стороны Талаской долины снова вернуло Қазақскому ханству город Сайрам.

В 1513 году могольский хан Саид прибыл с визитом в Ставку Касым-хану.

Летописец могольского хана Мирза Хайдар оставил для истории несколько любопытных сценок общения ханов. Из них известно, что во время той встречи «возраст Касим-хана перевалил за шестьдесят и был близок к семидесяти, а благословенный возраст Сайид-хана был в самом цветущем периоде — ему ещё не было тридцати лет. Касым по преклонности лет своих заслуживал быть извинительным ханом за то, что сам не может выехать к нему навстречу. Всем же султанам своим, из которых нескольким было под пятьдесят и шестьдесят, числом до тридцати султанам из рода Джучи, приказал отправиться навстречу. Одним словом, Касым-хан настолько хорошо принял Сайид-хана, что хан до самого конца своей жизни не мог забыть его приветливого обращения. И всегда, когда представлялся к тому случай, хан, да успокоит Господь Бог его душу, хвалил Касим-хана и припоминал, как он был чрезвычайно с ним любезен». Впрочем и сам визитёр был чрезвычайно любезен, говоря хану Касыму: «Под владычеством Вашего царственного перстня, сведены в единое владение земли от Отрара до Сибири со знаком покорности и закона, где копье Вашего величества есть ключ от Вселенной, а сокол Вашего полёта известен всему подлунному миру...». «Стар я уже летать, — отвечал қазақский монарх. — Теперь время думать только о своём гнезде. А в нем все просто». «В битве при Улу-Тау произошли все же, говорят, удивительные вещи. Многие утверждают, что шейбанидская стотысячная рать дрогнула и побежала только от атаки ваших разведчиков. Правда ли, что они так грозны и неотразимы в битве, Ваше величество?». Касым-хан без свойственной людям почтенного возраста медлительностью и слабостью в голосе отвечал: «Из удивительных вещей там была только удивительная шея Хасана, она и принесла мне успех в той атаке». Сайид-хан в задумчивости помрачнел, затем изволил все же спросить: «Загадка Ваша очень сложна. Могу ли я осмотреть ту удивительную шею, если она действительно только шея человека, а не ущелье для засады или новое оружие?». Хан Касым протянул свою чашу с кумысом в сторону крепыша средних лет, у которого голова сидела казалось без всякой шеи прямо на могучих его плечах. Мужчина этот вскочил, стремительно приблизился и встав на одно колено принял и с гордостью отпил из неё, замерев при этом перед ханами. «Вот эта шея перед Вами, Ваше величество, — промолвил Касым-хан, — Только она так устроена, что голове никак не возможно развернуться назад». Этот батыр так и вошёл в историю под именем Мойынсыз Хасан — Хасан Без шеи.

Целью приезда хана Сайида к хану Касыму была надежда соединить два войска и вместе взять у Мухаммада Шайбани Ташкент. Он многократно пытался говорить об этом, но старый хан отвечал ему все такими же загадками. Однажды Касым вывел своего гостя из юрты. Лицо было освещено сумерками заката, но мне кажется оно было бы таким же, сияй солнце в зените: «Лето подошло к концу. Я распорядился всем двигаться на зимовки и поход на Мухаммада в это время представит трудности. Сбор и

построение войска не желательны, — он надолго замолк. — Когда отец мой хан Джанибек и брат его Кирей-хан заявили о своём желании жить своим ханством, Абу-л-Хайыр с большим войском двинулся на тех кто решил қазақовать без его власти . Но с небес посыпался густой, тяжёлый снег, затем дождь. И холод. Хан Абу-л-Хайыр упорствовал, но и буря с мокрым снегом усиливалась. Пока совсем не сковала его войска, а он сам смертельно не заболел. С его смертью его государство потеряло границы и города. Его внук тоже воевал круглый год. А ведь если Аллах дал тебе страну, то и ты дай народу своей страны варить в своих казанах мясо столько раз, сколько нужно для полноты тела и дай подольше поспать в своих постелях с женами, что бы рождались здоровые дети. Мы қазақи, у нас есть времена года». Хан Касым говорил так же нашему венценосному хану Сайиду: «Мы — жители степи. У нас нет ни редких, ни дорогих вещей, ни товаров. Главное наше богатство в лошадях. На нашей земле нет ни садов, ни дворцов. Место наших развлечений — пастбища скота и табуны лошадей и мы ходим к табунам любоваться зрелищем коней. Поедем же в табун, поглядим на коней и, кстати, проведём несколько времени вместе, в приятном сообществе одни». Наш государь выразил своё согласие и мы выехали к табунам, когда свод неба, подобный желто-зеленому хризолиту, освещался ещё сиянием звезд и рассвет только-только готовился вытащить свою золотую секиру. Стали виднеться к югу горы, сравнимые лишь с короной, украшенной алмазами. Скоро мы увидели и табуны хана. Это были дикие, свирепые кони. Даже у жеребят уши торчали как у волков, а кобылицы косились на нас глазами шаманок. Однако сам Касым смотрел на них так как смотрят деды на любимых внуков. Он, указывая то на одну лошадь, то на другую, говорил: «Вон тот жеребец с белыми ногами резвый и сильный, но у него короткая шея и он с трудом скачет вниз. Не стоит на нем идти в погоню, враг твой уйдет по склону. У масти же тарлан акбоз ат слабые копыта, остерегись долго идти по камням. У рыжей масти глаза не выносят прямых солнечных лучей. Кони вороной масти страдают коленями, если их останавливать на полном скакуи могут лишиться ног. Мы знаем более сорока одной масти лошадей. Каждая масть имеет свои и слабые и сильные черты. Как и люди, — а затем после долго молчания добавил фразу, которая ввела нас в полное изумление. — В древности кони говорили». И никто не решился переспросить, что он имел ввиду. Когда хан қазақов показал нам все свои табуны, он обратился к хану Сайиду с такими словами: «У меня есть два коня, которые одни стоят целого табуна». Когда привели аргамаков, хан Касым сказал: «Для людей степи без коня жизнь не представляется жизнью. Вот эти два скакуна для меня — самые надежные и достойные. Обоих мы подарить не можем, но так как Вы гость дорогой, выберите себе любого, который Вам по душе — мы будем довольны». И хан Касым описал достоинства обеих коней, чем ввел нашего государя в глубокое раздумье. Наконец он выбрал одного по имени Оглан-Торук. Действительно, подобного коня мне не случалось видеть никогда. А Касым-хан ещё самолично отобрал из табуна нескольких коней для Сайид-хана. Через месяц

после встречи с Касым-ханом, наш государь повел своё войско на Ахангеран, восседая, конечно же, на Оглан-Торуке.

Противник имел неприступные позиции: с одного края у него был высокий обрыв, с другого — глубокая река, так что оставалось только идти на прямую атаку. Не обращая никакого внимания на пеших стрелков, которые были уже готовы выпустить в нас тучи стрел, хан Сайид двинулся к бахадурам центральной тысячи, обласкал и утешил отборных храбрецов увещеваниями: «Не спешите опускать поводья, необходимо всем разом кинуться на неприятеля». Услышав это, бахадуры, сдерживая поводья своих стремлений, стали готовиться к атаке. Первым бросился на врагов сам венценосный хан. Три человека из неприятельских стрелков готовы были выпустить стрелы в него, но бег Оглан-Торука был так стремителен, что меч хана уже до выстрелов достал первого лучника. Второй стрелок бросился к хану с кинжалом в руке, но Оглан-Торук обрушил на его череп своё копыто и тот весь в крови упал на землю. Третий поспешил бежать прочь. Хан хотел принудить своего коня скакать за убегающим, но Оглан-Торук встал как вкопанный и не слушался хозяина, пока вперед не вышли бахадуры хана. Впоследствии оказалось, что в том месте, куда устремился бежавший стрелок, сидела засада и хана Сайида ждала неминуемая смерть. Я сам был и участником и описателем этой безжалостной битвы и видел все своими глазами. В один миг неприятельское войско было смято и уничтожено так, как себе вообразить нельзя. И каждый воин хана Сайида в этой войне мог бы поучить самого кровожадного Марса. Но более всего всех поразил своим боевым искусством конь из табуна Касым-хана по имени Оглан-Торук. С того времени Сайид-хан, когда вспоминал о Касым хане, каждый раз после его имени прибавлял слова: «Господь Бог да учинит ему место в раю». В то время газель Солнца была женой созвездия Козерога, когда и чиновники были лишены права вмешательства в природу, а ветки деревьев, лишившись листьев и соков питания, ожидали зимнего халата и качались на ветру подобно виночерпиям. Поставив юрты рядом с табунами, хан Касым начал новое застолье преподнеся нашему хану чашу превосходного крепкого кумыса, высказываясь при этом: «Если Вы отведаете этот напиток, то сделаете мне большое одолжение». Сайид-хан, смутившись, ответил: «Я незадолго до этих дней отказался от употребления всяких крепких напитков. Как же мне изменить моим правилам?». Хан Касым не уступил: «Самым приятнейшим напитком у нас считается кобылье молоко и то, что из него приготовляется. Кумыс, который я предлагаю Вашему величеству — самый лучший. Если исполнение моей просьбы считается совершением проступка, то каким бы другим достойным почтить Вас гостеприимством, я даже придумать не в состоянии. Нужны годы, чтобы такой дорогой гость, как Вы, переступил порог моего дома, и мне было бы прискорбно чувствовать себя не в силах оказать Вам, дорогой хан, подобающего гостеприимства, — сказав это, он повесил голову и на лице его отразилось огорчение». И Сайид-хан, изменив своему образу поведения, проявил из-за уважения к хозяину великодушие и выпил ту чашу хмельного. Касым-хан остался этим очень

доволен. Общество оживилось. И в течении двадцати дней подряд мы занимались распитием кумыса. Вечера с чашами кумыса были украшены так же музыкантами и певцами. Один из них пел историю о батыре Кобланды, где были и жалоба кызылбашского хана Кобыкты, табуны которого были угнаны батыром:

— Вы думали, без хана наша страна?
... Думали, нет хозяина табунов?
Думали, что народу защита не дана?
... На пастбище были мои табуны,
Кто ты — разогнавший моих коней?
На выпасе были мои табуны,
Кто ты — истоптавший траву на ней?

Здесь хан Касым знаком руки остановил вскричавшего от волнения певца и заговорил сам: «Кобланды — известный герой. Но пока он похищал табуны разных владельцев один за другим, на его пастбищах угнали не только скот, но и весь его род в плен. Мы жили по законам наших предков. В этих законах были и право месть и право на жизнь. По ним мы делили наследство и сирот. Можно ли казнить женщину за убийство мужа, если она беременна? Нет, но предай её презрению и отними в пользу родичей её ребёнка, если он родится. С этим никто не спорил. Не спорили и по всем иным поводам: стоимости выкупа, залога, и доверяли даже слову одного свидетеля. Во времена моей юности люди были благородней, если пострадавший сам называл цену откупа, то никто из виновных даже подумать не мог о том, чтобы оспорить его требу. Сейчас же каждый старается отделаться малым. Суд превратился в насмешку. Народ мой страдал. И я своей волей ввёл в моей стране новые законы. В них каждое преступление теперь имеет свою твёрдую цену, отмерено неизменной цифрой. Сто баранов это цена одного большого пальца, мизинца же — двадцать. За убитого мужчину убийца платит свою жизнь или по согласию с семьёй убитого ровно 1000 голов овец, за женщину — пятьсот. И так во всем». Наш государь возразил: «Разве все люди равны?». «Нет, конечно, — отвечал Касым-хан. — За султана плата как за семь человек, за смерть охотничьей собаки или беркута можно требовать раба». «Какие Ваши законы более всех важны?» — спрашивал молодой хан. «Прежде всего — воинские. Главный из них велит каждому мужчине быть воином и иметь оружие. Безоружный не имеет голоса на всех сборах, его место среди рабов. Вдовы погибших на войне воинов освобождены от налога. Затем по значимости я назвал бы законы о имуществе. Каждый род всегда имел свой значок — тамгу. Я велел эти значки ковать в железе и ими тавровать лошадей. За посягательство на чужое, карать строго. Для этого есть законы кары. За каждую украденную вещь или голову скота — вернуть трижды девять раз больше. Или казнь. Потом идут законы о чести человека или женщины. По ним, к примеру, в поединке нет убийцы. Насилие над женщиной приравнено к убийству. Четвертая связка законов – это законы общинные: свадьбы, похороны... Все кажется тут просто, но ещё недавно самоубийц у нас

хоронили у могил людей праведных. Я запретил такие богопротивные притязания. Если жених и невеста имеют общего предка в седьмом колене, то такие браки мной пресеклись. Ведь они родственники и от них могут родится дурные дети. Я ввел так же закон о церемониях, но они у нас просты. Вы видели их сами. Ко мне, как к наследнику Чингиз-хана, подданные и послы других стран должны ползти на коленях. Я как-то заставил их следовать церемониям Каракорума, но пока они до меня добрались, я уже забыл, зачем их вызывал к себе. К тому же мясо остывает в блюде. — И хотя было ясно, что хан шутит, но опять даже не улыбнулся. — Мы много говорили. Скоро наступит девятый месяц, восьмого дня по закону все должны быть на своих зимних местах. Если я сам буду нарушать свои законы, то кто их будет почитать?». Мой повелитель и мы все остальные люди свиты поняли, что пора возвращаться и решение Касым-хана не идти на Ташкент останется неизменным. И нас с почётом проводили.

Один из учёных, сопровождавший Сайид-хана в той поездке, придумал следующую хронограмму, посвященную дате заключения союза: «Ашти-й и Қазақ» – «Мир с қазақами», где цифровые значения арабских букв означают и как 919 год по мусульманскому календарю.

Ангел смерти Азраил, уважив славный жизненный путь Касым-хана, пришёл к нему во сне, и старец умер с улыбкой на устах в возрасте в 1518 году. Три каравана двинулись от Улы-тау к забытой столице Қазақского ханства городу Сарайчук, там, где засыпало золотым песком кладбище ордынских ханов. Первый караван возвещал о кончине царя қазақов. Во втором двое огромных верблюда несли на своих скорбных горбах носилки с телом Касым-хана, плотно завёрнутым в три слоя белой кошмы. Третий караван отставал на три дня и давал поминальную трапезу встречавшимся аулам. По мнению ученых Кембриджского университета лошади были одомашнены в западной части евразийской степи, которая включает в себя территорию западного Казахстана. На стенках найденных археологами древней посуды были обнаружены мельчайшие частицы продуктов, свидетельствующие, что лошади использовались как средство передвижения, а также как мясопродукты и источник молока, из которого изготовлялся кумыс.

Престол хана Касыма Великого занял его сын Мамаш. Но через три года он погибает от удушья в одной из битв все той же продолжавшейся войны за сырдарьинские города. Доспехи Великого хана оказались для него слишком тяжелы. После его гибели в ходе затянувшихся выборов на ханский престол взошел племянник Касым-хана — султан Тахир. Қазақи продолжали выбирать своих царей из самых достойных наследных принцев дома Урус-хана. С каждым новым ханом народ, видимо, слишком уверовал в свою проницательность и все общий разум. Выбранный теперь царём Тахир-хан оказался человеком чрезвычайно жестоким. Скоро многие знатные выборщики сами стали называть его злобным и презренным. По этой причине сердца всего народа и султанов питали отвращение к общению с ним. Так что вокруг него скоро не осталось больше никого из знатных

қазақских мужей. Между тем, именно этому хану принадлежит заслуга присоединения к Қазақскому ханству земель Семиречья. Зимой 1525-1526 годов хан Тахир вошёл в Моголистан и заставил уйгуров отступить от Кочкара на Ат-Баши. Там он освободил те киргизские рода, которые в 1517 году были ханом Саидом насильно переселены с Кочкара. Окончательный переход кыргызов от могольского хана к қазақскому царю сразу же изменил всю карту власти Семиречья и Прииссыккулья. Узнав об этом неожиданном походе, хан Саид, до этого верный Вечному союзу с қазақами и женивший своего сына на сестре хана Тахира, опечалился и сам с войском выступил из Кашгара на Ат-Баши. Печаль могольского хана просила утолить себя доверительной долгой беседой, но все его попытки закончить все мирными переговорами не удались. Хан Тахир соглашался вести их, но тут же со своим кыргызким корпусом напал на уйгурские военные части Арышляре, и когда уйгуры прибыли туда, они увидели лишь мёртвых людей и множество трупов коней. И престарелому Саид-хану стало ясно, что прошли славные времена благородной дружбы, и что он не может противостоять дерзкому, молодому хану, не признающему рыцарских законов войны, и по этим причинам хан перевёл тогда всех уйгуров из Западного Могулистана, где текли семь рек, как сестры от гор к Балхашу-отцу, в Кашгар. А земли Семиречья хан Тахир заселил своими кыргызами. Қазақи лишь узнавали о деяниях своего хана издалека. Жить вместе с таким ханом они не желали. Смелые кыргызские воины не смогли возместить в войске Тахир-хана қазақско-ногайские военные соединения. А новые земли не могли полноценно заменить Тахир-хану потери в богатейшем Туркестанском крае. И несмотря на громкие, как гром, и быстрые, как ветер, победы на могольском фронте, хан Тахир потерял там все города. А на востоке Могулистан принялся серьезно готовиться к войне с не любимым своим народом қазақским ханом. Спасла Тахир-хана его мачеха царица Султан-Нагир-ханим. Ее отцом был царь Могулистана Йунус-хан. После ранней смерти её первого мужа из дома Тимуридов, она вышла замуж за қазақского султана Адика, сына создателя Қазақского государства хана Джанибека Счастливого. Вскоре умирает и султан Адик, оставив ей на воспитание своего сына Тахира. И как свидетельствуют древние рукописи, Нагир-ханим говорила ему: « Ты для меня как сын родной, и пока ты жив, мне желать другого дитя не приходило и в мысли». Султанша Нагир-ханим становится царицей, вступив в брак с царём Қазақского ханства Касымом Великим, о котором историк того времени Хайдар писал, что он имел могущество, какого еще никто не имел после Джучи-хана, сына Чингиз-хана». Царица Нагир-ханим обладала тонким и сильным умом, отличалась красноречием и после смерти хана Касыма Великого проявила и свой талант дипломата. Царица Нагир-ханим через послов обратилась к своему племяннику могульскому хану Сайиду с просьбой предоставить ей возможность остаток дней прожить в спокойствии и без тревог в родном городе. Хан Сайид понял скрытый смысл её послания и направил своего придворного советника Хайдара за ней в қазақскую степь с желанием видеть её посредницей между

ним и Тахир-ханом. Прибыв в уйгурский город Кочкар на переговоры с ханом Сайидом, хан Тахир и его мачеха царица Нагир-ханим были осведомлены сведущими людьми о настроениях в дворце могульского хана. Все советники могульского хана в один голос заявляли своему государю, что дела в стране хана Тахира теперь так плачевны, что можно сказать и самой страны уже нет: от миллиона подданных не осталось и двух леков — двести тысяч человек. А наследный принц Рашид настаивал: «Значит, и говорить с ним на равных мы не можем. Пусть идет к нам в мулазимат —полное услужение!». Его венценосный отец после некоторого раздумья согласился: «Я не встану с трона и поведу себя с ним, как с человеком, не равным мне. И пусть выбирает: услужение нам или смерть». Хан Тахир после таких известий решил как можно скорее возвратиться назад в свои разоренные пределы, но его мачеха имела другое мнение: «Принц Рашид желает твоего унижения, но он сам попадет к нам в плен». «Но у меня нет Кочкаре войска, что бы напасть и схватить его!», —огорчился еще сильнее Тахир. На что царица ответила: «Чтобы победить, не всегда нужно войско. Чтобы замирится, не всегда надо говорить о мире. Они ждут тебя во дворце завтра и одного, но ты явишься к ним сегодня и со мной». Когда перед ханом Сайидом появились хан Тахир и царица Нагир-ханим, он вынужден был встать со своего трона. При этом он сказал қазақскому гостю: «Хотя по закону подобному мне хану и не подобает вставать ради тебя, но я встаю из-за уважения к моей высокопочтенной тетке». На эти слова хан Тахир отвечал: «Мне она мать, и там где перед ней встают, встают и передо мной. Там где встают передо мной, встают и перед ней». Такое начало разговора не предвещало ничего хорошего, но здесь царица Нагир-ханум сказала: «Не важно, кто и по какой причине встал. Важно, что разговор начался. Пусть даже о том, кто должен первый вставать. Главное — мы начали говорить». «Но говорить о делах государственных мы не можем», — упорствовал хан Сайид. «И не желаем, — продолжила царица Нагир-ханим. — Қазақский хан приехал к тебе, Ваше величество, только вернуть долг». «Что ж, — отвечал Сайид-хан. — Принять долг я согласен». «Я была отдана твоим дедом замужем за қазақского султана. Теперь қазақский хан готов отдать в твой дом свою сестру за принца Рашида. И в приданное ей построенную ханом Тахиром крепость Джатан. Пусть этот укреп станет западной границей твоего царства». «Да, но
если крепость Джатан станет моей западной границей, моим людям нужно будет уйти из Семиречья!», —воскликнул озадаченный хан Сайид. «А как им и дальше оставаться в Семиречье, если крепость Джатан останется за их спиной враждебной им, мой венценосный племянник?» —сказала Нагир-ханим. —Не лучше ли иметь границу, защищённую крепко верной крепостью на ней?». Так состоялась свадьба будущего хана Могулистана султана-задэ Рашида с сестрой хана Тахира. Она прожила долгую жизнь в гареме мужа и имела детей. Могольские войска окончательно ушли из Семиречья, и вновь наступил мир. Созданная кропотливым трудом Касым-хана государство, которую современники сравнивали по могуществу лишь с

империей Джучи, сына Чингисхана, снова превратилось в заурядное и малочисленное ханство, позволившее некоторым историкам, пишущим каламом из чернильниц своих эмиров, говорить, что қазақи вообще исчезли с лица земли. Хан Тахир так и остался жить среди кыргыз и быть им главой. Он пытался позже захватить Ташкент, но не поддержанный қазақами погиб, не взяв город. После его смерти на ханский престол претендовали его брат и ещё несколько султанов-урусидов. Большинство из них вскоре погибали в непрекращающихся неудачных битвах с шейбанидскими отрядами. Только в одной битве с объединённым узбеко-могольским войском погиб хан Тугум и 37 султанов. Долгое время на престоле Қазақского ханства сидел Буйдаш, сын султана Айтика и брат хана Тахира. Точнее, с 1532 года по 1559 год. Хан Буйдаш оказался не в силах восстановить единство расколовшегося Қазақстана. Территория ханства, сжалась до пределов от прибрежных земель реки Шу до Кочкара, включая, правда, Семиречье. С переменным успехом хан Буйдаш вёл войны с могольским ханом Уйгуристана, отстаивая интересы больше подчинявшихся ему кыргызов, чем қазақов. В конце концов после двух десятилетий военных столкновений между Қазақстаном и Могулистаном восстановился прежний мир. В последний год своей жизни царь Буйдаш с войском численностью в 30 тысяч сабель решает вернуть себе города Туркестана. Первый поход его был направлен на город Сайрам. Начало выступления было удачным, но когда начался сам штурм городских стен, внезапно поднялся сильный ураган. С неба обрушились тучи чёрного песка, заставив наступавших искать хоть какие-то укрытия вблизи города. Ураган прекратился так же внезапно, как и возник. Правитель Сайрама со своим войском поспешил выйти из крепостных ворот и напасть на ставшие разрозненными войска хана Буйдаша. В этой битве хан и погиб. Сын хана Буйдана султан-зада Бауш и четверо его братьев сговорились быть в том походе вместе, в одном отряде. Название себе выбрали «Бес-улы (Пять сыновей)». Скоро их военное братство состояло уже из двадцати молодых султанов. Каждый из них поклялся воевать до тех пор, пока қазақи не вернут себе все земли и города, которыми владел царь Касым-хан: от Алтая до Каспия, от Ишима до Сырдарьи. Юноши также обещали друг другу не оставлять брата-султана в беде и не замышлять зло против братьев-урусидов. Когда налетевший песчаный ураган раскидал все қазақское войско, султаны «Бес-улы» стали опасаться, что кто-то из них остался беззащитным в одиночестве. И ни один из них не смог усидеть в своём убежище, которое скрыло его от бури и летящего, секущего глаза песка. А когда ураган затих, все они оказались в числе первых, кто встретил на своём пути врага. И первыми погибли в том бою. Гибель такого огромного числа молодой знати в один день позволила одному историку того времени заявить, что қазақи совсем исчезли с лица Земли. Падение Қазақского ханства остановил сын Касым-хана султан Хак-Назар. Да будет память о нем вечной, ибо дано ему Самим Всевышним. Царь Хак-Назар отличался спокойным нравом и имел прекрасную память на цифры. Его любимой игрой была доска с двадцатью лунками «Тогуз кумалак». В каждой лунке размещалось по девять шариков и

с каждым ходом количество шариков в лунках менялось. И хорошему игроку нужно было помнить, сколько в каждой лунке было и есть, а так же просчитать свой ход и ход противника так, что бы последний шарик раскладываемой по лункам порции оказался четным, что приносило выигрыш содержимого этой лунки. Хак-Назар был лучшим игроком. Начав царствовать хан Хак-Назар, проехал от края до края все земли қазақов, сосчитал в уме и количество скота и головы всех мужчин и подростков. При каждой встрече султаны, бии, беки и баи все жаловались, мол, оскудели совсем, обнищали, и людей совсем не осталось, что и говорить о поставке воинов хану и не стоит. Хан спокойно говорил им: у тебя лошадей пять табунов по семисот, восемьсот, триста, тысяча двести и тысяча голов, а у тебя столько-то. А хозяев очагов в аулах двести, а твой род состоит из такого-то числа людей. С ним пытались спорить, но арифметика наука точная. Некоторые припрятывали свои табуны, да степь гладкая, за горизонт не спрячешь. А дальше чужие земли да враг. Постепенно все согласились, что дела идут не так плохо, как говорилось. А значит, и платить зякат на государственные нужды, пришлось. Так год за годом хан Хак-Назар, вернувшись к политике своего великого отца — политике умиротворения, вновь выстроил дом прочного государства, где есть глава, есть слуги и есть свора и гончих псов и волкодавов. На этот тихий, но тяжелый ежедневный труд уходят десятилетия. Хан Хак-Назар, понимая, что управлять обширным кочевым государством из единого центра трудно, разделил свою страну на три области. Старший жуз протянулся от Семиречья до городов Туркестана, средний – от гор Каркаралы до гор Мугоджары, и младший — у реки Жайик с Прикаспийскими степями. Мудрость и дальновидность Касым-хана передалась и его наследнику. Туркестанские города и пашни вдоль берега Сырдарьи были так же поделены между тремя жузами для местожительства в зимний период года: низовья реки отошли младшему жузу, середина реки – среднему, верховья до Ташкента — старшему. Таким образом он связал все қазақские тайпы и рода и на Сырдарье. Но к сожаленью, слово «жуз», кроме иных значений, переводится и как «фронт». Никто не желал оставлять Қазақстан в покое.

К середине XVI века государство Шейбанидов раскололось на два ханства: Бухарское, во главе с ханом Абдуллахом Шейбани, и Ташкентское с ханом Науруз-Ахмадом Шейбани. Царь Қазақстана заключил с бухарским ханом мир 24 мая 1579 году, а с ханом Наурыз-Ахмадом даже военный союз. В это время могульский царевич Абд-ал Латиф, наместник Аксу, изгнал из мест вокруг Иссык-куля кыргызов, пролив столько крови на берегах этого озера, сколько воды в нем. Ханы Хак-Назар и Наурыз-Ахмад вместе с кыргызами совершили молниеносный поход на Аксу, разбили могульское войско. Раненому и взятому в плен принцу Абд ал-Латифу қазақский хан оказал всяческие почести и приставил к нему лучших лекарей. Но наследник могульского престола все же скончался от тяжёлых ран. Его отец хан Абд ал-Рашид, собрал огромное войско и двинулся на Қазақстан. Перед этим он провёл тайные переговоры с ханом Наурыз-Ахмадом. В это же время сын

ташкентского хана Баба-султан просит қазақского хана встретиться с ним на берегу реки Шараб-хане. К нему выезжают два сына Хак-Назара. Баба-султан им предлагает совместно с его войском напасть на Бухару. Убедившись, что ему вряд ли удастся склонить қазақов к войне с ханом Абдаллахом, Баба-султан приказывает схватить за поводья коней юношей и взять их в плен. Скоро уйгурская армия Могулистана и войска Ташкента напали на Қазақское ханство. В битве при Эмиле хан Хак-Назар погиб и враги захватили семь бунчуков и знамён қазақского войска. В день годовщины гибели хана Хак-Назара была устроена тризна. На неё съехалось столь бесчисленное число скорбящих, что мясо для них резали тысяча молодцов с лицами и руками белыми, как луковые дольки. И если бы нашёлся такой человек, пожелавший обойти все поставленные юрты, то ему пришлось бы шагать скорым ходом от первой до последней юрты целый месяц. Каждому участнику скачек пожаловали в дар верблюда, а тем, кто придет в первой сотне к верблюду, прибавили рабыню. Главным призом было сто верблюдов и на каждом из них по тюку с щёлком, к ним же по одному рабу. Поминальный ас длился три недели. Там же прошёл и всеқазақский совет, где сказано было: «Нет страшнее позора для народа, чем утрата им своих знамён». Предлагали разное. И поднять другие бунчуки и знамена с другим цветом и знаками. И вернуться к тюркским знамёнам. Или принять зелёное знамя ислама. Но решили: до тех пор, пока семь қазақских ханов не победят в судьбоносных для народа битвах семь раз, биться с врагами без знамён. И лишь когда кровь героев смоет позор потери знамён рода торе Урусидов из дома Джучи, сына Чингиз-хана, снова поднять их. До того же, даст Бог, неминуемого будущего дня пусть знаменем қазақом служит невидимый След птицы.

Титул хана қазақов принимает на себя султан Сыгай, немощный старик. Испуганный моголами и ташкентцами, он принялся льстиво угождать бухарскому хану, за что хан Абдуллах подарил ему город Ходжент. Так он спокойно для себя и правил. При его Ставке жилось сытно и сонно. Только двум наследным принцам, двум братьям султанам Тауекелю и Есиму не спалось ни днём, ни ночью. Скука так заела молодых султанов, что готовы они были уже драться меж собой. Пророк Мухаммад разрешил три вида развлечений: скачку на конях, стрельбу из лука и женщин. Но сколько можно без толку носиться в сёдлах по степи, стрелять по куропаткам и таскаться за молодухами? Братья уже твёрдо знали, что теперь их развлечь может только война. Но как только они о ней заговаривали с ханом, старик Сыгай махал руками и твердил одно: «Даже не говорите! Нам, слава Аллаху, не с кем воевать». А потом вообще запретил принцам приближаться к нему. Возможно сам султан Тауекель, как престолонаследник, со временем успокоился бы, дожидаясь в Ханской Ставке своего звёздного часа, если бы не его младший неугомонный брат Есим. Он и стоявшие за ним пять-шесть сотен парней и из знатных и из простых семей, объединены были одним желанием с кем-нибудь да столкнуться. Каждый день они собирались в толпу и только и говорили о том, как славно было бы пойти в военный поход, и какая бы их ждала слава и добыча! Время от времени юный султан Есим

исчезал с джигитами и появлялся через несколько месяцев весь в изодранной пыльной одежде, исполосованный новыми шрамами от чужих клинков. За ним приходили жалобы соседей на то, что қазақи вновь наскочили и резали их неизвестно за что. Каждый раз хану Сыгаю приходилось извиняться и требовать от Тауекеля, что бы он укротил наконец задиристого братишку. Иначе, мол, лишу наследства! Ничего более грозного старик предпринять не мог, так как молодых людей в своей свите и вокруг неё боялся больше, чем угроз со стороны. Последний раз султан Есим, вернувшись из своего похода, стал уверять, что был в Индии. «Там есть животные величиной с юрту с носом до земли. На них садятся погонщики и стрелки. Опасны они, как боевые башни! Самые грозные из этих животных — одноглазые слоны!» «Почему?» — удивлялись люди. «Потому что глаз это единственное смертельное его место. В другие места бей его, коли, все ему ни почём! Выходит одноглазого слона в два раза труднее убить. Поэтому кафыры на одноглазых слонах и перевозят все своё золото». Люди интересовались: «А много у них золота?». «Полно», — отвечал уверенно хан. В общем, Взбаламутил он всех окончательно. Хан Сыгай собрал аксакалов и старейшины родов на совет. Почтенные аксакалы всех тайпов и родов потребовали изгнания беспокойного султана за пределы Қазақстана. На это безусый султан Есим лихо отвечал: «Гоните! Я и сам уйду. Таких, как я, всюду готовы принять и платить настоящие деньги за мою саблю». Султан-зада Тауекель, достаточно начитанный, знавший и персидский, и уйгурский языки, в одноглазых слонов, естественно, не поверил. Но так тошно ему стало жить на свете без них, что он все-таки решился бросить караулить трон қазақских царей, и хотя бы наняться к кому-нибудь из других государей, кто всегда воевал и с войной ходил в дальние страны, вплоть до Индии. Выбор пал на хана Бухары Абдуллаха. Бухарский хан, имея такого покорного союзника на севере, как хан Сыгай, и заполучив вместе с султанами Тауекелем и Есимом не одну тысячу қазақских джигитов, готовых сутками не сходить с седел ради славы и звонкой монеты, задумал наконец покончить с ханами Ташкента и восстановить целостность своего узбекского ханства. Сам город он взял достаточно быстро, но Баба-хан успел уйти от него с большей частью своего войска в Туркестан. Там и по всей қазақской степи началась долгая погоня за Баба-ханом. Когда могущественный из самых бесстрашных падишахов Его величество Абдаллах-хан, охраняемый божественной силой, в победном шествии которого виднелась заря и слава, вместе с великими султанами, благородными эмирами и бахадурами, мстительными, как Марс, поднял стяги сокрушительного похода на Баба-хана, этот ташкентский узурпатор заметался на окраинах Туркестанского вилайята, как слабый голубь перед когтями белого сокола, а войско его рассыпалось, как вьющиеся и растрёпанные локоны красавицы. Кратко говоря, когда великолепное, величественное и счастливое войско нашего государя переправилось через Сары-Су, а слуги ханского двора и фарраши устроили царскую ставку, возвысившуюся до стоянки луны, Его величество узнал, что презренный Баба-хан поспешно ушёл в глубь дашта қазақов к

горам Улу-Тау. После трех месяцев похода тепло начало сменяться стужей, и всем нам стал ясен смысл выражения: «Мороз убивает». Число одних погибших коней и верблюдов превысило три тысячи. В среду 3-го дня месяца раби к хану Абдуллаху, великолепному, как звезда, пришел офицер от караульных и сообщил августейшему падишаху: «Баба-хан собрал войско, в котором люди неисчислимы, как песок в пустыни. И все его всадники и пехотинцы готовы двинуться на поле брани». Его величество по все правилам тактики Чингиз-хана построил своё войско, где на правом крыле встали қазақи со своим падишаханом Сыгаем и сыном его султан-заде Тауекелем, который по храбрости и мужеству являлся единственным во всех горизонтах мира и славится в Дашт-и Қазақи. Войско находилось вдали от благоустроенных и обрабатываемых земель и поэтому в лагере воцарились скудность и голод. Так, например, цена одного мана муки достигла ста тенге чеканки Искандар-хана! Многие воины довольствовались лишь тем, что созерцали ночами колосья созвездий Дев и Близнецов. Гордецы, прежде пренебрегавшие гусятиной и курятиной, питались мелкими яйцами степных птиц и съедобной травой. В Ийланджуке к хану Абдуллаху пришли Сыгай-хан и остальные полководцы. Они взяли за поводья пересекавшего пустыню коня Его величества, непобедимого, как Искандер Македонский и сказали: «Хотя луг упований и надежд, преданных Вам людей, орошается и зеленеет благодаря каплям из облака Вашей милости, великого государя, может ли разум допустить, что бы победоносный повелитель направил свои благословенные стопы в опасное место и обременил себя всеми этими трудностями дальнейшего похода?». И по настоятельным просьбам вельмож и столпов государства, Абдаллах-хан натянул поводья возвращения. Пишущий эти строки слышал от Его величества, что в этой степи по ночам из нор выходят мыши и поют, как соловьи. « — Предоставим султану Тауекелю преследовать врага, ему будет забава, – повелел благороднейший хан. — Приведите этого славного витязя ко мне». Но хану ответили, что султан Тауекель уже как несколько дней идет впереди по берегу реки Саук. Затем стало известно, что этот қазақский принц со своим личным войском настиг и уничтожил врага, а в подарок хану прислал взятых им в плен десять стрелков-мылтыкчийан с ружьями. Только Бабе-хану удалось бежать от него к мангытам к западному морю. Там он скрепил союз с мангытскими мурзами и опять грозил мятежом и резней. Узнав об этом, султан-заде қазақ Тауекель выслал через верного человека послание мангытам: «Баба-хан рожден от дерева измены, которое вы посадили в питомнике ваших мыслей. И от него не соберете никаких плодов. От семян хитрости, что посеял он на полях ваших сердец, вы не пожнёте ни одного зерна, кроме полыни обиды». Действительно так. Баба-хан Шейбани решил устроить пир и пригласить на него мангытских правителей, как будто для угощения. А сам задумал внезапно совершить на падение, а затем овладеть и всей ногайской ордой. Когда мангытские мырзы узнали о злых намерениях своего гостя, они решили проявить снисхождение ко всем воинам Баба-хана, имеющих родственников среди мангытов, а затем ждать, когда виновник сам придет к

эмиру мангытов и поклониться сам. Но Баба-хан презрел преданность и предпочел бегство в сторону Туркестана. Он не ведал, что посланник смерти уже взял его за ворот и тащит под чертоги небытия. Случилось так, что воины султан-заде қазақа Тауекеля взяли двух разведчиков-калмыков Бабы-хана, высланных вперед. Когда Тауекель-султан узнал об этом, то тотчас же отправил вестника к Его величеству Абдаллах-хану и сообщил ему о положении дел. Сам же, не ожидая помощи, выступил вперед с войском қазақов, немного меньшим по сравнению с врагами. Шел он в два-три раза быстрее, чем обычно и высоко поднял руку усердия, чтобы отыскать Баба-хана. Путь к спасению у Бабы-хана стал более узким, чем белый кружочек при начертании буквы «мим», а войско его увидело себя в тусклом и покрытом ржавчиной зеркале поражения. Что касается Баба-хана, то он оказался в таком положении, что мог перенести свою душу от места гибели только с помощью меча и копья. Султан-зада қазақ Тауекель никому не позволил убить хана, но сам натянул тетиву лука судьбы указательным пальцем мести. Оба противника выпустили стрелы, но только одна из них, самая кровожадная, пронзила расстроенного Баба-хана. Он сразу упал с коня и застыл на месте. Дерево его надежд, которое в течении многих лет росло на берегу реки раздора, переломилось от урагана вражды, огонь его счастья, долгое время достигавший высшей точки неба ссор, был потушен блеском изумрудного наконечника одной стрелы. Во вторник 17 месяца раджаба Тауекель-султан привёз к подобному Сатурну дворцу Абдаллаха-хана голову Бабы. Он бросил её к подножию трона халифского достоинства, припал к земле служения и сказал слова, которые пишущий считает долгом передать стихосложением маснави:

«Как рушатся башни от взрыва нефти,
залитой в траншеи под ними,
Так каждый падёт пред падишахом,
кто посмеет поджечь покорность к нему»

Величественный и великодушный падишах Аблаллах-хан объявил об убиении его войском ташкентского мятежника и одарил одного из победителей султана Тауекеля чином наместника города Афарикент и губернатором-вали всего Афарикентского вилайята. Наместник и вали Тауекель отбыл в свой город. Он жил счастливо, имея гарем и лучших борзых псов во всем Мавераннахре. Но скоро городу стало известно: к благороднейшему вали Тауекелю прибыл из қазақской степи брат. Купцы поспешили к дворцу с образцами лучших товаров, а охотничий распорядился готовить коней, повозки и стрелы. Послали за человеком, который, говорят, видел в ближайших горах леопарда. Загон одних оленей был бы явно незначителен в должной степени для такого визита.

Однако вали Тауекель даже не распорядился составить списки гостей для дворцового пиршества, а тут же вместе со своим братом впрыгнул в седла и иноходью двинулся к Самарканду даже не взяв с собой охрану. Его величество хан Абдаллах принял своего афаринкентского вали в Золотом

саду. Только его. Брат же Тауекеля султан Есим остался за резными забором под присмотром шести хмурых злобных узкоглазых хорезмийцев с кривыми кинжалами. Ещё тогда безусый султан Есим подумал: вот станет брат ханом, возьмем Самарканд, этих прикажу повесить первыми на воротах.

Хан Абдалах знал уже, что умер қазақский хан Сыгай и почти знал, зачем к нему так поспешил его вали. «Следовало бы дать ему город побогаче», — подумал он. Появившись перед ханом султан Тауекель лишь склонил голову, и дерзко, избегая всех титулов хана, сказал: «Я возвращаю вам ключи и казну от города Афарикента, — и скинул со своих плеч два коржуна с монетами». Хан Абдалах подумал: «Нет, и город покрупнее его не удержал бы. Ему подавай всю страну, тогда, пожалуй, он остался бы». Подумал так, а произнес только: «Чем тебе не пришлась служба Нам? Ты нужен мне». «Волк рвет свою добычу сам, а собака таскает её хозяину. Если я понадоблюсь тебе, пусть привезут тебе мою голову». Перед тем как выехать за городские ворота султан Тауекель остановил коня у соборной мечети и сказал брату: « — Совершим намаз, как раз время вечерней молитвы». Султан Есим неохотно съехал задом с седла, надеясь остановить старшего брата: «Послушай, мы уже в пути. Сам Пророк говорил, что в пути можно не совершать намаз...» Но султан Тауекль уже поднимался к дверям мечети, где вдруг перед ним встали несколько мулл и таджиков. Они не разошлись перед ним, сказав при этом: «Мы слышали, ты снова стал қазақом. Тебе нельзя молится в одной мечети с нами». «Разве я не мусульманин уже или это не мечеть передо мной? — удивился султан. Хотел он крикнуть им: «Прочь с дороги», но услышав:«Перед тобой мечеть и ор тут неуместен», сдержал свой гнев перед храмом Всевышнего, любившего смирение, за что Аллах призовет смиренного в Судный день превыше всех созданий и вознаградит его велико. Мулла продолжил: «— Вы, қазақи, признаны святой грамотой-фефтой еретиками, и мы не в силах отменить её. Разве ты забыл?». «Я и не знал!» — воскликнул султан Тауекель. «Фефта не имеет срока давности. Лишь только Высший исламский совет вправе отменить её если будет вами искренне доказана ваша вера в Аллаха». «Так соберите этот свой совет!». «Совет соберется лишь, когда пожелает сам совет». Тауекель снова проявил смирение и тихо произнес: «Скоро я соберу ваш совет, — затем обратился к султану Есиму, снова забравшемуся в седло. — Слезай с коня. Я не уйду из города, пока мы не совершим здесь намаз. Под стенами мечети. Аллах слышит наши молитвы, где бы мы не молились». И скинул со своих плеч расшитый золотом халат и, расстелив его перед собой, встал лицом к Мекке. Нищий, подобравший оставленный на земле халат султана, говорят, продав его, купил себе дом и даже куропатку в ивовой клетке. Вернувшийся в Қазақстан султан Тауекель был без особых споров избран ханом. Еще бы, ведь с ним вернулся в степь целый корпус қазақских воинов, за плечами которых было не одно сражение и в каждом они одерживали победы. Да к тому же во главе воевавших головорезов стоял султан Есим, способный любому, кто встал бы на дороге его брата, перерезать горло. И остальным султанам осталось только сунуть пальцы в рот и покорно промолчать. Но

власть в стране это не только войны. Надо и строить. Выстраивать саму власть, ведь при слабом, немощном Сыгае каждый бек, каждый владелец пастбищ делал все, что ему вздумается. Ни кто не собирал налогов, не отсылая и тощего козленка в Ханскую Ставк, и дошло до того, что даже вещи в ней обтерлись, обветшали. Много, очень много предстояло сделать новому царю дел в ослабленной, обедневшей и приунывшей стране.

После раскола государства Абу-л-Хайыра на Узбекское ханство Шейбанидов и Қазақстан, сибирская провинция осталась без присмотра. Властвовать там стали местные князьки. Они не являлись потомками Чингис– хана. По тюркской традиции ханом — монархом государства мог стать только представитель рода торе — дома прямых потомков Чингис-хана. Даже великий завоеватель Эмир Тимур, известный в Европе как Тамерлан, сокрушитель империй, так до самой смерти не провозгласил себя ханом созданной им самим гигантской державы и всегда держал при своём дворе какого-нибудь подставного хана, представлявшего род торе.

Так же поступали его наследники Тимуриды. С юга в Сибирь перестали приходить караваны с зерном и иными товарами и тюрки тех краев с остяками (да простит этих неверных Аллах, Милостивый, Милосердный) стали проситься в подданство все усиливавшегося в то время Московского государства. Первыми вспомнили о далекой северной земле Шейбаниды. Они снарядили небольшое войско и послали наместником в тот край султана Муртазу. Когда же расширившийся от Алтая до Каспия Қазақстан разорвал соединявшие пути между Сибирью и Бухарой, сын Муртазы султан Кучум объявил себя самостоятельным владыкой — ханом Сибирского ханства. Но теперь никто и не думал оставить в покое Сибирь. Наследником империи Чингисхана объявил себя и Иван Грозный, первый из московских великих князей принявший титул «царь», принадлежавший до этого только ханам Золотой Орды. Захватив Казанское и Астраханское ханства, царь Иван в 1582 году оружием атамана Ермака покорил Сибирское ханство, изгнав хана Кучума из его столицы Искер. Скитавшийся сибирский хан обратился за помощью к қазақам, и хан Тауекель благосклонно отзывается на просьбу. Ведь и он считал, что Сибирь по праву наследования должна достаться от его предка хана Джучи именно ему. Он послал на север своих воинов с двумя пушками во главе со своим племянником султаном Оразом-Мухаммедом. Все равно болтался без дела. Каждое утро хан Кучума поднимали в седло. С высоты лошади он вглядывался вдаль и не видел свою страну. Впрочем, и люди, двигавшиеся лишь в сотне шагов от него, появлялись и исчезали перед ним как в сумерках. Хан спрашивал своего льстивого старого лекаря: «Скажи, я слепну или мир меркнет?». Лекарь осматривал его глаза, видел в его зрачках тяжёлую тёмную воду и отвечал: « — Все кругом стало хуже. Даже солнце светит уже не так ярко как прежде». Хан Кучум верил ему, но все же просил: «Ты лечи меня», – и думал, не написать ли снова русским воеводам письмо с требованием вернуть захваченный ими тюк с лекарствами и с мазью для глаз. «Кто там?» — воскликнул он, вдруг увидев двигавшуюся на него стену всадников. «Қазақи», —был ответ. «Велите им ко мне не

приближаться. И так же велите не идти с моими воинами одним отрядом. Я знаю, все они зарятся на моё царство. Я все вижу. Зарежем Ермака, сразу прогоню их прочь». Лекарь промолчал. О чем говорить, если все равно теперь вокруг хана на каждого его человека приходится двое военных қазақов. А если не говорить, то... пора возвращаться в Бухару, там больные гораздо богаче и опий дешевле соли. Кучумовские воины при первом же ночлеге на иртышском берегу пришли к кострам қазақских воинов и принялись пугать их атаманом Ермаком: «Он джин, хотя и в образе человека. Огромен, как скала, волосат как медведь. Его не берет ни стрела, ни пуля. Много раз мы видели сами, как он уже истекал кровью в бою, но тут же на наших глазах все раны его зарастали в миг. А из глаз его пылает огонь». «Не иначе он див, самый страшный из джинов. Такое бывает, — соглашались қазақские джигиты и подтягивали ближе к себе своё оружие». Один лишь батыр Кутугай, невысокий, с телом гибким как у ящерицы, не охал и не ахал вместе со всеми, а только выспрашивал: «А сколько людей с ним? А сколько лодок? Как он бьется мечом, левой или правой рукой? Или обоими сразу? Как он стоит, когда в руках у него копье и стреляет ли он сам из пищали? А какие доспехи на нем?». Ему отвечали: « — Он плавает на стругах своих так быстро, как осетр. Где он, знать не возможно. А на нем стальной царский панцирь с заговоренным золотым орлом». Шли дожди и шли на лодках навстречу друг другу враги. Батыр Кутугай исчезал ночами, да и днем его часто не было видно среди любителей рассказов о джинах. Наступило наконец время, когда Кутугай пришел к хану Кучуму и сказал, что знает, что атаман Ермак со своими русскими казаками ночует на острове в устье Вагая и пора ударить по нему. Хан Кучум протирал свои глаза и не верил қазаку. Тот ушел и, скоро вернувшись с тремя пищалями и тремя сумками для пороха и свинца, стал утверждать: «Я был на том острове, там русские спят, а лодках их нет дозорных. Вот их ружья, мы перережем их всех во сне». Хан Кучум все не решался на битву, но қазақский султан Ораз-Мухаммед настоял на атаке. И Хан велел сыну своему Али вместе с қазақами напасть на русских казаков Ермака. Сто восемь русских казаков разом полегли на мокром песке вагайского островка, лишь один Ермак пробился к воде. Он видел, что на струге с копьем затаился татарин, последний, кто должен был лечь мертвым перед ним, прежде чем он вырвется к Иртышу. Он ступил на свой струг, но тут в его горло вонзилось короткое копье Кутугая. Хан Кучум был счастлив более всех, но не забыл в радости своей обвинить Кутугая, что тот прятался в лодке, когда все бились с Ермаком. На это Кутугай ответил: «Никто не в силах был сразить Ермака ни на земле, ни в седле. Я знал, что он все равно пробьется сквозь всех ваших воинов к своему стругу, и ждал его там. Я знал, что как только он шагнет в лодку, она непременно качнется под ним и только тогда он на миг потеряет себя и не сможет отразить удар. Так и случилось. Хан Кучум поспешил в свою столицу Искер, но вместе с ним в город вошел и султан Ораз-Мухаммед. Расставив везде своих воинов, он объявил Сибирь возвращенной частью Қазақского ханства, себя же акимом Искера. Попытавшегося спорить с ним Кучума он выгнал снова за Иртыш в

калмыкские края. Но и царь Иван не собирался уступать уже раз взятые им земли. В Сибирь пришел полк стрельцов. Воеводы не решились сразу штурмовать Искер, а построили новую крепость Тюмень. Три года шло вялое военное противостояние стрельцов и сарбазов. Сами қазақский и русский наместники одной земли в это время часто пировали вместе. Однажды воевода Мансуров протянул чарку с вином Оразу-Мухаммеду и никак не желал отказаться от своего желания угостить гостя. «Мне Бог мой не велит пить хмельное, — с улыбкой все твердил своё молодой мусульманин и отодвигал в сторону чарку. Выпьет за меня человек мой Кадыргали. Он дядькой моим ко мне приставлен, значит и вправе меня заменить. Все равно, что я будет». Хмельной воевода хмурился и лез к Ораз-Мухаммеду с обидой: «Нет, ты, султан, сам меня уважь. Не желаешь! Ну да мы люди маленькие, служим Богу и государю нашему. А вот выпей за здоровье царя Ивана! Посмотрим, как ты дружен не на словах с русской державой!». Замученный обильным да долгим застольем Ораз-Мухаммед, поколебавшись, взял из рук воеводы тяжелую, льющую через края вино, чарку и пригубил ее. «Пей, казак! Атаманом будешь!» — подбадривал его, крепко держа за плечи, воевода. Ораз-Мухаммед выпил еще. От непривычного напитка его стало тошнить, и он решительно поставил сосуд на стол. Воевода заглянул в его чарку и ужаснулся, словно увидел в ней не лужицу вина, а ядовитую змейку. «Да ты не допил! Пей до конца, султан!». «Не стану я больше пить! — воспротивился юноша. — Противно твое вино мне! И пусти меня, что вцепился?!». Воевода Мансуров вовсе здесь рассвирепел и принялся орать: «Так ты меня кулаками! Меня, воеводу, боярина! Эй, ребята, хватай его!». Стрельцы бросились на Ораза-Мухаммеда и вмиг связали его кушаками. Связали руки и человеку султана Кадыргали. А воевода все ходил вокруг плененного султана и кричал: «А отправим мы тебя, басурманина, в Москву саму! Там тебя, брат, научат пить за здоровье батюшки — государя! Ответишь за бесчестие!». Оставленные за воротами Тюмени воины қазақского султана трижды пытались взять штурмом крепость и освободить своего султана, но все напрасно. Так чарка вина отняла у қазақов сибирское владение. Трудно сказать, научился ли крепко пить султан Ораз-Мухаммед в Москве, но был он принят русским царёмкак царевич и дали ему в удел Касимовское ханство, где он прожил до 1610 года. Служил он и воеводой, командовал правым крылом войск царя Бориса Годунова, а убит был Лжедмитрием — вторым. Обо всех этих событиях от скуки и тоски по родине на писал, сидя в Москве, написал в своих летописях «Джами аттарих» взятый в плен вместе с султаном его приближенный историк Кадыргали Жалаири, сын Хошум-бека. О себе он написал в предисловии к своей книге: «Сочинитель этой летописи был жалаири из рода тарак-тамгалы, служивший ещё родителям Ураз-Мухаммед-хана». Сборник летописей Кадыргали Жалаири содержит исторические события и факты, не только отражающие историю Қазақстана XIII–XVI веков, но и всей Центральной Азии, включая Казанское и Астраханское ханства. Написан данный научный труд на қазақском языке с использованием арабо-персидского алфавита. Кадыргали

происходил из семьи потомственных қазақских правоведов — биев. Его знание персидского и арабского языков и летописей, написанных на этих языках, свидетельствует о том, что он являлся высокообразованным человеком своего времени. Царь Қазақского ханства Тауекель назначает Кадыргали Хошума Жалаири воспитателем и советником своего племянника царевича Ураз-Мухаммеда. Царевич Ураз-Мухаммед в 1585 году на Иртыше разбивает атамана Ермака, захватившего Сибирское ханство, затем сам становится наместником қазақского царя в Сибири. Кадыргали сопровождал в этом походе своего воспитанника и вместе с ним в 1587 году оказывается захваченным в плен русским войском и отправлен в Москву. В Москве он и заканчивает свой исторический труд. Сочинение состоит из 177 листов. Страницы, рассказывающие об истории Қазақского ханства, были переведены на русский язык Ч. Ч. Валихановым. Есть среди них и события, касающиеся непосредственно судьбы самого историка: «Ураз-Мухаммед восьми лет лишился великого деда своего Шигай-хана в смятениях междоусобных. Когда ему было 13 лет, его отец Ондан-султан сделался шахидом (погибшим за веру). В 16 лет он предстал перед государем всего христианского мира Борисом Феодоровичем. От того времени до сего он был на службе Бориса Феодоровича, государя всея России. В год мыши на 15 день месяца рамазан государь дал ему в удел Касимов, сделал подарки и оказал внимание. При престоле хана Кясимовского Ураз-Мухаммеда на правой стороне есть место джалаирца Кадыргали-бека». Хан Тауекель окончательно решил и проблему с Ногайской ордой. Большинство ногайцев давно уже считали себя қазақами, но главенствующий среди них отюреченный монгольский тайп мынгытов при каждом новом хане опять отторгал весь северо-запад ханства от Қазақстана. И вновь приходилось, когда силой оружия, когда переговорами восстанавливать целостность государства. Мангытские мурзы считали себя не ниже султанов-урусидов, ведь из клана вышел когда-то всесильный правитель Золотой орды Едыге, возводивший на престол угодных ему ханов и сам же их свергавший! И хан Тауекель начал преследовать мятежный мангытский тайп, как гонит волк сайгака. Тысячи мангытов погибло, тысячи семей навсегда ушли в Хиву, часть подалась на северный Кавказ. И единство страны прочно воцарилось в Қазақском ханстве. Первый поход хана Тауекеля на Узбекское ханство оказался неудачным. На помощь к узбекам к левому берегу Сырдарьи у Ташкента вовремя подошли крупные силы из Самарканда. Началась долгая, вязкая война, когда один и тот же город или кишлак переходил из рук в руки по десятку раз. В самом Ташкенте зрел мятеж самих ташкентцев-қазақов. Восстание произошло в 1598 году. Горожане изгнали узбекского наместника и открыли ворота воинам хана Тауекеля. Сам қазақский хан двинул свои войска в глубь Мавераннарха. В безжалостном сражении на полпути от Ташкента к Самарканду войско узбекского хана было разбито наголову. Хан Аблалах не вынес этого поражения и скончался от болей в сердце. Приближенные к нему эмиры убили и его наследника. Единое Узбекское ханство раскололось на Бухарский, Гератский, Балхашский и Хивинский

эмираты. Династия Шейбанидов правившая Мавераннархом целый век исчезла с исторической сцены. Взяв Самарканд и оставив в нем своим наместником султана Есима, хан Тауекель взял в осаду и Бухару. Во время этого похода он был тяжело ранен и скоро скончался в Ташкенте в 1589 году. Осенью того же года ханом Қазақского ханства был провозглашён султан Есим. Он сразу же начал сложные переговоры со среднеазиатскими эмирами. В них впервые главными лицами были мусульманские шейхи. Надуманные обвинения против қазақов в их отступничестве от веры в Аллаха были сняты, газават признан незаконным. Все города и на правом и на левом берегу Сырдарьи, включая Ташкент, были признаны владениями Қазақского ханства. Со своей стороны қазақи отказались от претензий на Самарканд и Бухару. Мир был заключён. Хан Есим Храбрый один из самых почитаемых қазақами августейших личностей. Его имя произносят наравне с именем хана Касыма Великого, что уже говорит о многом. Он сохранил границы государства своего в строгой неприкосновенности, отстраивал города, оставил после себя свод законов «Ески жол», в которых развил и упрочил законы хана Касыма, а главное окончательно утвердил право вести суд только за избранными судьями — биями. Но все эти деяния случились в последние годы его жизни. В первые десятилетия своего правления хан Есим был занят только своей единственной страстью — воевал. Воинственность не самое прекрасное чувство в человеке и славится она лишь в битвах за родину. Но если солдат, полководец, хан или император воюют просто потому, что им нравится это занятие, их агрессивность — черта черная. Неудержимой воинственностью и
отличался в молодые, да и в достаточно зрелые свои годы хан Есим Храбрый. После падения династии Шейбанидов вся Средняя Азия и Афганистан расколись на десятки эмиратов, ханств и вольных городов. Могольское ханство уйгуров тоже погибало от гражданской, религиозной войны «белогорцев» и «черногорцев». Қазақское же государство приобрело такое гигантское степное пространство и множество городов на Сырдарье, что всякая попытка завоевания новых земель являлось трудом бессмысленным и крайне обременительным. Кочевой образ жизни не выносит лишних вещей, безопасен и приятен только в своём замкнутом пространстве движения. Если, конечно, достаточно в этом круге пастбищ для скота. А времена, протянувшиеся от правления хана Есима до воцарения хана Аз-Тауке, қазақи вспоминают как райский век, когда разжиревшие на обильных травах бараны не могли сдвинуться с места и птицы вили на них свои гнезда... И все же неспокойный хан Есим находил себе заботу. Со своей 4-х тысячной гвардией он вмешивался то в одну среднеазиатскую военную интригу, то в другую. Проследить и осмыслить его ратный путь чрезвычайно трудно, так как сегодня он мог быть союзником хивинского хана, а завтра уже воевать на стороне какого-нибудь другого претендента на хивинский дворец. Один раз, правда, ему пришлось снова возвращать себе Ташкент, но сделано это было одним лихим наскоком, что никак не встревожило его как государственного мужа, ответственного за свою страну. В конце концов, он влез в запутанные

уйгурские дела в далёком Восточном Туркестане. Есим вступил в родство с одним из внуков Сайид-хана царевичем Абдар-Рахимом и решил посадить его на дедовский престол в Яркенте, вместо законного хана Апака. Так началась в 1619 году ненужная война в Могульском ханстве, которое одни историки стали называть Уйгуристаном, другие — Малой Бухарией. Абд ар-Рахим отличался крайне нерешительным характером и вся борьба шла вокруг города Аксу, который то подчинялся союзникам, то поднимал против них мятежи. И хотя султан Абд ар-Рашид имел сорок тысяч чалышских всадников, он никак не осмеливался идти дальше на столицу Уйгуристана, сколько бы на этом не настаивал хан Есим: «До тех пор, пока Апак-хан будет оставаться на месте правителя страны, важное дело завоевания Аксу не будет нами до конца исполнено. Если даже Аксу и в сотый раз окажется в наших руках, все равно, когда Апак-хан направиться в эту сторону, все начнется с начала. А потому нам надо идти на самого Апак-хана». Абд ар-Рашид отмалчивался и снова не шел дальше Аксу. Тем временем предводитель улуса калмыков Ильдай-тайши с пятью тысячами всадников, пройдя за сутки пятидневный путь, вошел в тыл к Есим-хану и пустил по ветру разграбления все тыловое имущество қазақского войска, за что получил почетное прозвище тайши Ветер, а Есим — мрачное настроение. Но наступил день, когда Апак-хан сам вышел с войском из Яркента и пошел на чалышского мятежника. Есим хан ещё раз попытался ввязаться в решающую битву, заявив родичухану: «Войско у нас устроено и нет в нем недостатков, и среди войска нашего есть много славных рыцарей мубаризов. Будет лучше, если мы один раз выступим против самого Апака». В ответ же прозвучало от зволновавшегося султана Абд ал-Рашида: «Войско из Яркента и Кашгара беспредельно и бесподобно. Сражение с ним будет делом далёким от осторожности и прозорливости. И говорят, Апак-хан прекрасен наружностью и имеет сложение пери. Люди от одного его взгляда жертвуют ему свою сладкую душу». На такие слова Есим смог только и ответить: «Сам ты баба», — и ушел с этой надоевшей ему войны на родину. Историк, автор книги «Море тайн относительно познания добродетельных людей» и сам во всем человек весьма добродетельный, суфий, поэт, путешественник Махмуд бен Вали описывает так конец этой авантюры, свидетелем которой он был сам: «Когда на шестой год ушел в Ташкент Есим-хан, Абд ар-Рахим удержал свою руку от подола нового вторжения и нападения на Аксу и прекратил своё существование в одном из уголков Чалышской области. Смысл сказанного здесь раскрыл певец:

Венец известных притязаний
Связал собой в одном узле
И прожитое, и мечтания.
Венец теперь лишь след в золе».

Есим-хан так долго отсутствовал дома, что оставленный им в Ташкенте султан Турсун уже чеканил монеты от своего имени, а на вопрос, где деньги пошлины и поземельного налога, делал удивлённое лицо: ушли на разные

нужды. Впрочем, где-то он был прав. За время уйгурской прогулки хана он не раз отбивался от бухарского хана. И успешно, так как создал из қазақского племени катаган отличную гвардию, перерезавшую и утопившую однажды в реке Аму-Дарья двадцать тысяч бухарских воинов. Нежданный Есим-хан в Ташкенте не остался, а своей столицей избрал город Туркестан. Там он отсыпался и не раз вызывал к себе Турсуна, навязывая ему своих шпионов. Те отправлялись с султаном в Ташкент и именовали его там ханом, как и все остальные в ташкентском вилайяте. Обиды Есим-хан не прощал, но так как султан Турсун открыто не отказывался ему не повиноваться, то он отправился в набег на калмыков, искать другого обидчика. Ильдай-тайши Ветра он не поймал, но вернул потерянное добро. Турсун времени тоже не терял и в отсутствии қазақского хана напал на его дворец и перебил там множество людей, а детей и жен Есим-хана со всей челядью увел с собой. Битва между ханом Есимом и султаном Турсуном состоялась под Сайрамом. Обе рати грозно сошлись и растопили печь сражений, как пишет историк Абу-л-Гази. Турсуновское войско было разбито и Турсун-султан погиб. Но ярость Есим-хана была такова, что и от қазақского тайпа катаган с тех времен не осталось и следа. С тех времен говорят:

«У катаганов был султан Турсун
У клятвоотступников — хан Турсун».

Страшная гибель целого многотысячного қазақского родового объединения катаган многим не понравилось. Ногайский батыр Джиембек, сам когда-то приведший к трону Есима ногайцев, даже пригрозил хану, что поднимет своих людей на раскол: «Алашыма уран саламын!». Словно не видя и не слыша негодовавших султанов, беков и батыров, хан уединился в мечети мавзолея ходжи Ахмеда Йасави, и принялся там молится день и ночь. В гневе своём Есим всегда был страшен, но молящимся стал страшней вдвойне. Все в трепете и недоумении принялись ждать, что же последует за его раскаяньем в грехах. Кто же может прервать намаз? Возможно, и нашлись бы такие, но и у Есима была гвардия, которая прошла с ним по семи землям и семи смертям. От полнолуния к полнолунию пробыл хан в мечети Святого, а когда вышел из неё, то устроил бедным и сирым еду из одного огромного Тай-казана. А затем уж объявил, что ему открылась причина всех бед в Қазақском ханстве. И она есть безбожие. Всем возмутителям спокойствия, алкающим крови, ворам и сластолюбцам и тем, кто забыл о месяце Рамазан и не постившимся обещал все муки ада, а народ призвал теперь жить по законам Аллаха, как живёт теперь он сам. Народ с ним согласился почаще вспоминать Аллаха, богохульников и греховодников закидывать камнями, а налоги называть зякатом. И муллы должны были быть теперь непременно и на свадьбах и на похоронах. До законов шариата было, конечно, далеко, но в законах Касыма-хана появилось то, что моралисты называют моралью, а ханжи — ханжеством.

В Ташкенте Есим-хан, судя по голубому куполу, построил мечеть. Одна из башен той постройки сохранилась и до наших дней и носит название

Кукема, данное ей самим Есимом в честь киргызкого родоначальника и есимовского полководца. Того самого, который прославился в битве с катаганами Турсуна. О них никто не вспоминал. Рассказывают, что в давние времена один хан достиг такого могущества, такой славы, что стал ставить себя вровень со сподвижниками Пророка Мухаммеда, перед которыми покорились целые империи. Себя он считал особенно богоугодным человеком, но старость все равно пришла и к нему. И решил хан построить себе мавзолей величественней чем мавзолей Святого ходжи Ахмеда Йасави, возведённый самим Эмиром полумира Тамерланом. Хан собрал всех лучших мастеров строительства Балха, Хивы и Кашгара и они построили ему то, что было выше и занятней всех зданий Туркестана. Хан осмотрел строение и остался доволен. Он щедро наградил мастеров и ушел спать. Когда же проснулся, то увидел людей своих в смятении. Оказалось, что за ночь мавзолей хана уменьшился до размеров не выше человека, вставшего на коня. Хан принялся заново и заново отстраивать свой мавзолей, но превращения не прекратились. Пробуждение от сна стало нелюбимым занятием хана. Он созвал со всех концов света лучших знатоков волшебства, магии и предсказаний и просил их разгадать тайну и дать ему совет как ему преодолеть его несчастье. Все они в один голос сказали, что если хан желает осуществить свою мечту, то прежде должен разрушить до последнего кирпича мавзолей ходжи Ахмеда Йасави, а только потом на его месте строить свой. Тогда все и получится, как того ему хочется. Хан Есим Храбрый умер в довольно почтенном возрасте не позже 1643 года и был похоронен вблизи от мавзолея ходжи Ахмеда Йасави в невысоком склепе кубического вида. Қазақские ханы и султаны вели множество войн, совершали почти ежегодные походы, в которых побеждали или терпели поражение. Так был устроен весь мир в те столетия. Случались битвы, где погибали десятки тысяч воинов и такие столкновения войск, в которых число погибших исчислялось двадцатью-тридцатью солдатами. Но даже если во время войны за Независимость и двух Сырдарьинских и других войн, Қазақстану случалось терять города или целые края, то все эти потери не несли всему населению смертельной угрозы. Воевали между собой тюрки, никогда не стремившиеся к уничтожению друг друга, как народа. А полководцы, водившие войска на смерть, не редко переходили служить к вчерашнему своему противнику. И это особенно не осуждалось, ведь все ханы и султаны тюркских государств были родственниками. В начале XVII века на северо-восточных границах появилась иная, чуждая по крови, языку и религии сила, которая втянула Қазақское ханство в череду кровопролитных битв и походов и настолько истощила и обескровила қазақов, что даже дав себя, в конце концов, победить, надолго лишила достойного будущего самого победителя. Имя этой силы — Джунгарское ханство.

В 1594 году в Москву прибыл посол царя Қазақского ханства Тауекеля Кулмамет. Государь царь Федор Иванович посылает своего посла Степанова к хану Таекелю, называя его в своём послании «царёмКазацкой да на Колмыцкой орды». Қазақское государство с первых десятилетий своего

существования на карте мира сложилось как многонациональное. Кроме тюркских народов, таких как кыргызы, семиреченские уйгуры и ногаи Каспийского региона, подданными қазақских ханов всегда являлись принявшие ислам монгольские рода и индоевропейцы десятков городов: персы и арабы. Из последних вышел қазақский род с высоким статусом — қожá. Многие из представителей этих народов признали себя қазақами и вошли в состав қазақского этноса. Хотя тринадцать родов так и не были включены в единое генеалогическое древо қазақское древо. К ним, кроме выше названных қожá, относятся и потомки Чингиз-хана — төре. Қожá воспринимались как духовное сословие мулл и учителей религиозных и условно религиозных школ, а төре — аристократическое. Синонимом төре является титул султан. На Иртыше жили западные монголы. Қазақи называли их «калмыками». По тюркской мусульманской традиции это слово означало — язычники. Калмыки были давними соседями узбеков-қазақов. Двигаясь на запад, они селились и на свободных землях Қазақского ханства вдоль берегов Иртыша и в районах озер Зайсан и Алаколь. К концу XVI века калмыки составляли достаточно значительную часть населения Қазақстана. Многие калмыцкие аулы под различными родовыми названиями вошли в состав қазақского народа, к примеру, толенгиты. Но были и непокорные калмыкские племена. В начале XVI века хан Тахир у подножья Ала-Тау вблизи горного перехода Кочкар-Ата построил крепость Джатан, по свидетельству Зайн Васифи, «для отражения войск калмыков». Их набеги не прекращались десятилетиями и были привычны, как плохая погода. С ними тюркские народы научились справляться скоро, жёстко и малой кровью. Но XVI веке все изменилось. Две быстро растущие империи Россия и Китай с несокрушимой внешними линиями двинулись на Центральную Азию, где между ними как в неумолимо сужающихся тисках ещё отстаивали свою свободу қазақи и калмыки. Чтобы не умереть с голода, каждый кочевник должен только для скота своей семьи иметь 200 га пастбищ, а их с каждым годом из-за опустынивания и роста населения становилось все меньше и меньше. С юга чувствительное давление оказывали среднеазиатские государства. В 1635 году чороский князь Батур создал за правым берегом Иртыша Джунгарское государство, приняв на себя титул хан-тайши. Создатель Джунгарского государства обладал большим организационным талантом, являлся дальновидным стратегом и дипломатом. Во внешней политике он начал с установления дружественных отношений с Россией, уже включившей к этому времени в свои рубежи северный Алтай и отстроившей на реках Сибири города. Там начала бурно развивается рудная и металлургическая промышленность. Внутри же страны хан-тайши Батур прежде всего реформировал свою армию. В ней появились огнестрельные части. Взамен на право строить русские укрепления на правом берегу верхнего Иртыша, царь Михаил Фёдорович не раз благосклонно исполнял просьбы хан-тайши Батура «о присылке необходимых ему вооружений, мастеровых людей, домашних животных и, наконец, денежных сумм. На Кузнецких заводах для калмыцкой армии отливаются пушки и ружья. Между

тем қазақские ханы, начиная с Тауекеля-хана, так и не добились возможности приобретать современное оружие у Москвы. Для своих устаревших кремниевых ружей порох изготовляли кустарным способом, что, естественно, часто делало огневую поддержку в ходе боев неэффективной. В отписке сибирскому губернатору за январь 1718 года говориться, что на реке Ангус «они-де, қазақи, стреляли по них из фузей и калмыки-де напали на них... и их людей побили...».

По горному склону Тарбогатая быстро шагал лама в жёлтом истрёпанном халате и в шапочке, затейливой, словно буддийское святилище. За три последних дня пути он встретил лишь калмыкского всадника с луком и колчаном, полным стрел. Воин окликнул его: «Эй!». Затем, видя, как внимательно прислушался к нему странник, сказал: «Монах, вот наша семейная молельная мельница, — и протянул ламе небольшую курдэ с серебрённым колёсиком. — Отнеси в монастырь к богам. Мужчины нашего дома стали қазақами и верят теперь в Аллаха». «Что же ты сам не отнесёшь свой дар?». «Я тоже ухожу с қазақами и сам теперь қазақ». «Куда же уходят қазақи?». «Далеко, — с тоской произнёс воин. — В южные степи. Нам здесь уже нельзя жить. Хан-тайши Батур вырезает все наши аулы». «А разве не кому вас защитить?». «Хан наш умер, а сына его Джангира хан-тайши взял в плен и стража стережёт крепко. Будь у него даже шапка-невидимка, то и тогда ему не ускользнуть от них». «Если найдёшь шапочку ламы, то и шапки-невидимки не надо, — ответил монах, наполняясь чёрной печалью от смерти своего отца хана Есима.

— Я султан Джангир! Я ваша защита». Так сказал Джангир, будущий царь Қазақского ханства, сын царя Есима.

Джангир-хан царствовал в Қазақском ханстве с 1635 по 1652 год. Он обладал высоким ростом и мощным телосложением, за что получил прозвище Салкам — Видный. Известие о смерти своего венценосного отца султан Джангир получил, находясь на северо-востоке Қазақстана, охраняя границы страны от калмыков — западных монголов. В это же время в пределы Қазақского ханства ворвалось многотысячное калмыкское войско хан-тайши Джунгарского ханства Батура. Отряд султана, насчитывавший не более шестьсот сабель, был легко окружён, а сам султан Джангир попал в плен к захватчикам. Безусый Джангир ни чем не отличался от своих воинов. На нем была такая же лёгкая кольчуга и войлочный колпак с железными защитными пластинками. Никто из калмыков и подумать не мог, что перед ними наследник трона Қазақского государства. К тому же Джангир свободно говорил на монгольском языке и знал все обычаи соседей. Во время первого же привала он принялся молится богам Нижнего, Среднего и Верхнего миров. Видя, что пленник покорно обращается к важному богу Очир-тенгиру, калмыки приняли его за своего собрата — Толенгита. Правда, эти толенгиты для них были предателями, так как подчинились қазақам и сами стали уже как қазақи. Как бы там ни было, к этому парню, вспомнившеему родных богов, и отношение стало лучше. Ему даже развязали руки. А как

только он освободился от верёвок, так в первую же ночь исчез. «Не всем молитвам следует верить», — любил говорить своим батырам Жангир-хан. Новость о спасении наследника трона обрадовала қазақскую знать, но как сразу избрать человека, побывавшего в плену, ханом? «Вдруг этот Джангир сам привёл хантайшу Батура в Қазақстан? — шептались меж собой все кому ни лень. — Не могли же джунгары сами завоевать чуть ли не пол страны...». Султаны принялись думать. Только самаркандский правитель, қазақ черной кости Джалантос из рода алим с 20-тысячным войском поспешил на помощь к бившемуся с врагами на восточных границах, Джангиру. А между тем тридцать тысяч джунгар гнали своих коняшек, уже прорываясь в Семиречье вдоль отрогов Алатау. У султана Джангира в живых осталось только шестьсот сарбазов. И он собрал малый совет из командиров сотен – есаулов. «Мы закроем им дорогу в Оленьем ущелье», — решил Джангир. «Наш господин, — отвечали ему есаулы. — Какой же разумный человек поведёт войско через горы. Там же душно!». Султан Джангир, поживший на Алтае, посмотрел на степняков и не стал спорить с ними о свежести горного воздуха. Все равно не поверят. Он придумал объяснить все по-другому: «Калмыки любят своего героя — великана Алангсара. Его убили враги, разрубили тело и куски разбросали по всему миру. Его жена великанша села на телегу и поехала собирать мужа. Так вот, горные ущелья это следы от колёс ее телеги. Калмыкам нравится по ним идти». «А-а-а.., — подали голос қазақи. И этот звук хан принял за безоговорочное согласие с ним и объяснил свои дальнейшие действия: «Мы перекроем южную горловину, повалив сосны и закидав их камнями, а на скалах посадим стрелков с ружьями. Пусть стреляют разом десять стрелков, пока остальные девяносто перезаряжают ружья». « — Не девяносто, — поправили его командиры, — как десять выстрелят, останется всего двадцать три ствола». Опять не стал спорить султан с мужчинами, ещё согласными идти каждый на десять врагов. «По дну ущелья мы разбросаем расколотые кости оленей». На возражение этой нелепой затее у воинов не осталось времени. Они стали готовится к бою и смерти. «— Скоро здесь будет Джалантос Самаркандский», — заверял воинов молодой полководец. «— Значит, будет кому похоронить нас. И то хорошо», — сказали қазақи и двинулись в неприятную щель между отвесных гор рубить боевыми топорами деревья. Малый страх охватил колону калмыков, когда они увидели на камнях тазовые кости. Отверстия в них хранят прозрачный дух человек от гибели. А если они разрушены, то и жизнь пролилась из них как вода из треснувшего сосуда. Большой страх пришел, когда они наткнулись на горный завал перед собой, и со всех сторон на них обрушился грохот и свинец из фузей и ружей, многократно усиленный горным эхом. Одного опасался султан Джангир. Хан-тайши Батур мог вывести войска из ущелья и, пройдя по степям с севера, ударить ему в спину. Но напрасно он так думал. За короткий плен он узнал о калмыках не все. Стоило бы ему знать, что этот народ долго выбирает дорогу, но если пойдет по ней, то никогда не сворачивает в сторону. Хоть голым лбом об каменную стену, все равно будет пробиваться только вперед. Зато Джалантосу

Самаркандскому, подоспевшему к все не утихавшему бою через три дня, удалось ударить в тыл джунгар. А там и қазақская конница принялась гнать их аж за Тарбогатай. Скоро среди тех, кто поднимал султана Джангира в Туркестане над собой ханом, все помнили только его победу. Правда, один бек все ходил и выспрашивал: «А что делал Джангир у Батура?». «Тебе какое дело?!», — ответили ему кратко, но так внушительно, что зануда с тех пор даже у своей жены боялся спросить, что она делала в юрте у своей матери, куда любила сходить попить чай за беседой. Хан Джангир своё правление начал с создания военного союза против джунгар. На стороне қазақов выступают узбеки Бухары и уйгуры Кашгарии. Послом в Уйгуристан поехал сын хана султан Тауке и уже в те молодые годы проявил свой незаурядный дипломатический талант. Силы Қазақского и Джунгарского ханств сравнялись. Никто уже не может победить окончательно. Погиб царь Джангир в зимнюю военную компанию 1653 года в одном из поединков с калмыкским князем. Но на следующий год умер и хан-тайши Батур. Ханом қазақов становиться султан Тауке, оставшийся в памяти қазақов как Тауке Благословенный — Аз-Тауке. В течение десятилетий калмыкские хан-тайши и князья совершали глубокие военные рейды в Тургайский край, в Семиречье, в Южный Қазақстан. В 1684 году они даже брали город Сайрам. Но все эти походы были удачно отражены ханом Аз-Тауке и калмыки оказались запертыми за Джунгарскими воротами между горными хребтами Тянь-Шани. Памятуя, что в самые тяжкие годы для своего государства его предки цари Касым и Есим начинали с внутренних реформ, хан Аз-Тауке продолжает их дело. Депутат царской Думы, член қазақского правительства «Алаш-Орда», строитель Турксиба, Инженер қазақской исторической науки М. Тынышпаев пишет в своей книге в 1924 году: «Главная заслуга Тауке состоит в том, что он дал қазақам определенный правопорядок общественной жизни. Умный и энергичный Тауке, которого Левшин сравнивает с Ликургом, более замечателен своею административной и законодательной деятельностью. Для управления народом на местах хан Тауке назначил 6 биев: 1) в Старшем жузе — Толе Алибекова (дулат, отделение джаныс), 2) в Среднем — Каздаусты Казбек (аргын, каракесек), 3) в Младшем — Айтеке (Алим, торт-кара, внук брата знаменитого Джалантоса-батыра Самаркандского), 4) у кыргызов – Кокым-бия Карашорина, 5) у каракалпаков — Саск-бия, 6) у других мелких родов — имя бия неизвестно. Далее отдельные роды, отделения, поколения управлялись своими биями. Ежегодно бии на 1 – 2 месяца собирались у ставки Тауке «Ханабад» на холму Куль-тобе на левом берегу реки Ангер в 40 верстах на юг от Ташкента». Сам же Тауке-хан, подобно своим дедам, жил в Туркестане. При нем завершилось строительство государственной административной и судебной системы. Законы ханов Касыма Великого и Есима Бесстрашного усовершенствовались и в расширенном и уточненном виде стали называться как законы «Жеты жаргы» — «Семь уложений». Судили по законам «Жеты жаргы» так, как судили в средневековой Англии: по прецеденту, по похожим делам, рассмотренным раньше. Все старались вести такую жизнь, какой она была в

старину. Время, когда правил страной Тауке-хан считается у қазақов веком мира и изобилия. Толе би, крупнейший қазақский мыслитель конца XVII века — начала века, решавший сложнейшие дипломатические и судебные задачи, родился в 1663 году в урочище Жайсан — Простое число. Там, в ауле его отца Алибеке на берегу реки Шу, его образованием занимался специально вызванный из Бухары религиозный учитель мулла Абушакир. Свою учебу он продолжил в Ташкенте, в библиотеках при мечетях Каракамыс и Акбурхан. В пригороде Ташкента, городе, который по убеждению Толе би был қазақским, была его зимняя резиденция Акбурхан, а в самом Ташкенте похоронен после 93-х лет жизни рядом с мавзолеем Шайхан Тура. Среди қазақов Толе би стал известен как Уйсун Толе би, а сами же уйсуни звали его по названию его рода — Жаныс Толе би. Толе би удостаивается звания судьи уже в двадцатилетнем возрасте. При рассмотрении каждого судебного вопроса Толе би старался подчеркнуть важность единства қазақского народа для настоящего и будущего страны. Решая случай с мелким воровством, Толе би велел привязать украденный кожаный к ногам трех лошадей и постановил, что если треножник разорвется, то вор будет наказан штрафом, если нет, то будет освобожден от уплаты штрафного куна. Коней погнали и, конечно же, треножник ожидаемо был разорван. На что Толе би заметил: «Краденная вещь не способна ни сдержать, ни укрепить». Высказанная сентенция не имела ни какого отношения к сути судебного дела, но уже через самое краткое время во всех трех қазақских жузах, забыв о воришке, это высказывание Толе би трактовали как предупреждение — воровство, каким бы оно не было, способно разрушить не только судьбу одного человека, но и единство народа. В то же время Толе би отличался необычайной суровостью при вынесении приговора. Қазақи тех времен говорили: «Упаси Бог от слов и взгляда Толе би!». Мудрость Толе би проявлялась уже в том, что он не считал человека, умеющего умно высказываться, непременно умным. Известно его четверостишье:

«Бывает сладко соловей поет.
Бывает ловко книжник речь ведет,
Бывает прав, бывает, врет,
Но не накормит, не спасет».

Иногда Толе би выносил своё суждение только жестами. Ему достаточно было оттопырить нижнюю губу, как все понимали, что к нему обратились сплетники. Толе би стал одним из самых видных вдохновителей и организаторов освободительной войны с Джугарским ханством. Есть сведенья, что он лично участвовал в сражениях с калмыками с оружием в руках. Вот несколько его известных афоризмов: «Не ты тащишь вола на гору — вол тебя тянет вниз»; «Не ври другу — потеряешь себя, не болтай много — погубишь себя»; «Не подпускай к кобыле непородистого жеребца — сам измельчаешь»; «Не ссорься с чужим из-за родного — оба станут твоими врагами»; «Если нужно оружие — сразу бери ружье, если надо пройти

пешком – посох»; «Если станешь охотиться с собаками, станешь крикуном»; «Опасны не овраги и сугробы, а строптивый конь под тобой; «Народ осчастливит не богатство, а закон». К концу жизни Толе би тяжело заболел.

Эта весть стремительно, как стрела, облетела всю степь. К великому бию поспешили прощаться многие известные люди. Была среди них и поэтесса Жаныл. Она и спросила старца: «Остались ли у Вас не осуществлённые мечты?». На что Толе би ответил: «Я так долго живу, что мечтаю не о том, что будет, а о том, что было уже». Изучавший в XIX веке қазақских судей — биев, и судопроизводство Ч. Валиханов писал, что только глубокие познания в судебных обычаях, соединённые с ораторским искусством, позволяли получить звание «би». Чтобы приобрести его нужно было не раз показать перед народом свои юридические знания. Молва о таких людях быстро распространялась по всей степи, и имя их делалось известным всем и каждому. Таким образом, звание «би» делалось патентом на судебную и адвокатскую деятельность, которая являлась часть суда биев. Далее учёный пишет, что дети лиц, носивших звание би, проходя школу судебной практики отцов, наследовали знания и вместе с ними и звание би: «В каракесекском роде Средней орды, в конце XVII века, был известен Казбек, потомство его до сих пор носит звание биев». Юридической п. Главный судья Среднего жуза Казыбек би родился в зимнем ауле рода каракесек на берегу Сырдарьи в 1667 году. Скончался он в возрасти 97 лет в своём летнем жилище у источника Теректи, скрытом среди сосен каркаралинской горы Семизбуга. Его дедом по отцовской линии был знаменитый родоначальник Шаншар из тайпа аргын Среднего жуза, отцом — Келдибек би. Как сын потомственных биев, он получил самое доступное в қазақской степи образование, дополненное в исламских учреждениях южных городов. Свою дипломатическую карьеру Казыбек Келдибек-улы начал в 19 лет, находясь в составе делегации посла Қазақского ханства Тайкельтира би, направленной к враждебному государю Джунгарского ханства Галдану. Во время этой миссии в нем впервые проявился талант дипломата. Именно благодаря ему переговоры с джунгарскими калмыки прошли успешно, завершившись перемирием и возвращением на родину девяносто воинов, взятых в плен в предшествовавшей этой поездке войне. Казыбек би обладал внушительным, низким тембром голоса , за что получил прозвище Каздаусты — Гусеголосый. В қазақской мифологии гуси всегда приносили добрые вести. Уже в качестве посла Казыбек Каздаусты трижды ездил в Джунгарское государство. Во время последней поездки Казыбек би сосватал для своего сына невесту из знатной калмыцкой семьи. Уже этот факт говорит о том доверии, с которым к нему относились в неприятельской стране. В конечном итоге Казыбек би добился заключения мира на долгое время. Казыбек би пользовался особым уважением у хана Аблая, который не раз говорил: «Во мне вызывает удивление, почему только Казыбек каракесековец решает, кто из послов будет допущен ко мне». Отчего так сложилось — не важно, но власти и Российской и Китайской империй предпочитали вести переговоры с ханом Қазақского ханства через Казабека

би. Здесь следует сказать, что хотя Казыбек би был настроен пророссийски, он открыто поддерживал взбунтовавшего башкирского националиста Карасакала — Мендугула Юлаева, скрывавшегося у него после разгрома восстания. Санкт-Петербургский департамент иностранных дел неоднократно требовал выдачи мятежника, но все время получал твердый отказ. Требовали передать им не спокойного башкира и Китай, так как время от времени Карасакал заявлял о себе как о джунгарском принце Шона, известном тем, что бился за свободу захваченных китайцами земель Джунгарии. Таким образом Толе би олицетворял политику нейтралитета хана Аблая, выраженную словами самого хана, при попытке императора Китая склонить его к военному союзу против императора России: «Вы знатные два монарха между собой будете иметь войну, а нам, малым людям, в то же время между вами мешаться не надо, а будем в то время в стороне». Казыбек би Каздаусты был настолько высоко почитаем қазақами, что после его смерти было принято решение о захоронении его праха только в пантеоне қазақских ханов у мавзолея суфийского шейха ходжи Ахмеда Йасави. Тело в плотно сшитом кожаном саване месяц везли от Каркаралинских гор в Туркестан, где упокоили у святых стен. Некий Кыпшак би известен был всему степному миру полным телом и гордился своим огромным животом. Худых людей он считал неудачниками и скрягами. «Бабе без брюха детей не рожать, мужчине без пуза дум не поднять», — любил повторять толстяк. Еще известен Кыпшак би тем, что любил затевать ссоры. С ним пришлось как-то столкнуться на суде Казыбек бию. Задиристый Кыпшак би встретил не обладавшего жировыми достоинствами Казыбека би словами: «Что умного сказать способен худой бий аргынов!». Казыбек Каздаусты ответил ему с печальной улыбкой так:

— Верблюд, блуждающий в песках, худеет,
В сиротстве девушка дурнеет.
И голодают люди, если
Раздора семя кто-то сеет.
Я не худой, я – костяной,
В могиле я уже одной ногой.
А что же ждет тебя, Кыпшак?
Под горло — жир, под сердце — гной.

Третий автор законов адата «Жеты жаргы» — Айтеке би. Родился Айтек (настоящее имя Айтеке би) в 1689 году в просвещённой семье священнослужителей. Его дед Акши получил в Бухаре классическое исламское образование, его отец Байбек почитался как знаток Корана и норм мусульманского законодательства — шариат. Айтеке би, как сын, составил славу западно-қазақскому тайпу алимулы и его часто называют Айтеке би Алим. Айтеке би отличался поразительной уравновешенностью характера, умением выслушивать до конца каждого жалобщика. Известен спор из-за лисицы двух охотников, обратившихся к Айтеке би. Один из них говорит: «Добыча моя, так как я выследил её». «А я раскопал её нору», — твердил

другой. Айтеке би решил так: Если это лисица, то она принадлежит тому, кто выследил её в степи, то добыча принадлежит тому, кто раскопал нору. Самка бежит к норе к своим детёнышам. Если это лис, то добыча того, кто высмотрел её в степи, так как самец предпочитает носится по ней». О политических воззрениях Айтеке би известно лишь то, что он был противником отсоединения Младшего жуза от Қазақского ханства и вхождения, пусть даже добровольного, своего края в состав Российской империи. Известный султан Барак после того как Младший хан Абулхаир привёл подчинённые ему қазақские рода в подданство русскому царю, счел еще вчера Главнокомандующего қазақского войска предателем и в 1748 году убил его в поединке. Убийца имел право выбрать одного из судей, которым предстояло судить его. И султан Барак, принадлежавший к туркестанским урусидам, назвал имя Айтеке. И не ошибся. Судьи единогласно оправдали его. Когда хан Тауке Благословенный достиг преклонных лет, он стал чаще печалится и проводить время в одиночестве. Никто не мог понять причин такого настроение, но раз самодержец Қазақского ханства изволил сам сказать своим сановникам: «Все говорят приятные слова о моей стране. Хотелось бы своими глазами увидеть приметы счастья моего народа». «Нет ничего проще, мой хан, — выразил свою готовность седой Толе би. — У вас есть города». Поехали посмотреть. Товары и китайских мастеров и франков и персов и индусов громоздились, висели связками, сверкали драгоценными камнями и манили к себе в лавках базарных рядов Тараза, Сыгнака, Шымкента... Хан Тауке проехал мимо них и сказал печально: «До Чингиз-хана здесь шел Шелковый путь, и караваны были богаче».Тогда наступила очередь Казыбек-бия Каздаусты утешать своего государя. Он вывез его в степи Сары-Арки, где по изумрудным пастбищам бежали табуны аргамаков, сливших в масти своей кровь ахалтекинцев и долгий бег алтайской породы. Прекрасное зрелище! Вся свита хана застыла в изумлении и восторге. «Таких коней, какие были в косяках Касым-хана, теперь нет, — вздохнул хан Тауке. — Они разговаривали со своим хозяином». Третьим вышел Айтеке-би и с надеждой молвил: «Быть может мне удастся утешить нашего хана, — и, предложив хану простую одежду, да и сам одевшись по проще, провез его по всем аулам». Всюду молодежь пела песни, а старики вели неторопливые умные беседы за чашками с кумысом. «— Когда я был молод, и песни были звонче и кумыс пьянил сильнее, — разочаровался и в этой поездке хан. — Видите, я не вспоминаю Золотой век, но даже при моем отце народ жил лучше». «Да, — расстроились все приближенные султаны и грамотеи. — Если такие мудрецы не смогли порадовать Его Величество, то нам и не стоит пробовать». Но тут хан сам обратился к ним с вопросом, вглядываясь в даль со своей высокой коляски с серебреным верхом и железными колесами: «Ответьте мне, почтенные мужи, мы третий месяц кочуем по стране, и много раз я видел, как жаворонки вьют свои гнезда на спинах овец. Так никогда не было, и быть не может. Что бы это значило? Не предвестник ли сей знак беде или мору? А может быть, мы в своих праздных утехах не заметили, как весь мир сошел с ума?». А так как никто не смог вразумительно объяснить хану

такое странное явление, то пригнали к его стопам пастуха и допросили строго. «Разжирели так эти бараны, —пробубнил чабан и, зевнув невольно, добавил. —Лень им стряхнуть с себя даже птичку». И только тут хан улыбнулся и больше не был ни чем обеспокоен. Так что и люди его двора могли снова заваливаться сладко поспать после полуденной еды.

В 1715 году после смерти хана Аз-Тауке на қазақский престол поднимается султан Болат, слабый, безвольный, слишком зависевший от мнения корыстолюбивой аристократической толпы. Многие достойные султаны, бии и батыры отказывались поддерживать его. Единое государство стало распадаться на отдельные ханства, регионы, султанаты, своёвольные города и городки, в которых появились самозваные правители. Как государственник и дипломат Толе би понимал, что нестабильность во внутренних делах возможно было укрепить сильной внешней политикой. Сильный сосед опасен, но демонстративная дружба с ним заставила бы многих перестать ссориться и бряцать оружием. К этому времени единоверческие государства Средней Азии вступили в период долгого застоя. На востоке на тюрков-уйгуров наступали китайцы. А на северо-западе Российская империя строила крупные города с военными гарнизонами с пороховым оружием и богатым рынком товаров. И Толе би возглавил пророссийскую партию правящей элиты Қазақстана. Но в отличие от султанов он не спешит вступить в подданство русскому царю, а вместе с Казыбек бием шаг за шагом определяет те условия, на которых его страна могла бы ради спокойного будущего уступить часть своего суверенитета. Ему хотелось, чтобы қазақи получили статус свободных граждан Российской империи, получили право на дворянство, на офицерские звания, право вступать во все купеческие гильдии и беспрепятственное обучение в гимназиях и Университетах. При всем этом желалось, что они же не призывались в регулярную армию, а внешние границы охранялись бы русскими солдатами и казаками. И непременно, что бы судили қазақов по-прежнему суды биев, а не губернские суды по законам Империи. Ведь справедливей суда, чем суд биев, не бывает. И это убеждение было присуще не только Толе би и Казыбек би. По свидетельству адъютанта Омского губернатора султана Ч. Валиханова к суду биев часто обращались русские казаки Горькой линии и Семиречья. Меньше волокиты и поборов. И, на удивление, все эти права лучили, правда, не заметили, как вся қазақская земля стала собственностью русского правительства. Наверное, и предположить не могли, что данные Всевышним навечно пастбища, заливные луга, лес могут быть кем-то отчуждены. Немыслимое ведь это дело! Видя как власть в Қазақстане слабеет день ото дня, джунгарский хан-тайши Цэван-Рабдан задумал широкомасштабное наступление на Қазақское ханство. К нему правитель калмыков готовился десять лет, уже не только закупая огнестрельное оружие в России, но и часть изготовляя у себя в государстве. Так началась одна из самых кровавых и трагических войн в истории человечества — Отечественная война в Қазақстане 1723–1730 годах.

Эта 7-летняя катастрофа унесла жизнь не менее 3-х миллионов людей, став предтечей исчезновения с лица земли целого народа. Эта война с джунгарами шла уже ни за обладание какими-то пограничными городами, а за само отечество, на котором в иные годы враг бесчинствовал от края до края, убивая и детей и женщин. Она приобрела совершенно другую форму, нежели войны қазақов до сих пор. Если прежде инициаторами и командующими в военных походах, завоеваниях, сражениях и замирениях были государи или султаны, то теперь она стала поистине народной. Почётное наименование сильного и мужественного человека — «батыр (богатырь)» во времена Столетней войны с Джунгарским ханством стало фактически соответствовать офицерскому званию. Аул-батыры являлись младшими командирами, ру-батыры — командирами среднего звена. В главе войск, кавалерийских корпусов и отдельных родовых отрядов в начале XVII века становятся простолюдины. Это из их среды выходят блестящие полководцы — ру-батыры Тайлак Ошакты, Каракерей Кабанбай, Канжыгалы Богембай, Шапырашты Наурызбай, Уак Сары, Баян и десятки других прославленных героев. В воюющем целый век народе неизбежно выделяется сословие профессиональных воинов. Дед батыра Богембая, служил в коннице у хана Есима, отец его — батыр Акша командовал 80-тысячным корпусом у хана Тауке, а его сыновья вместе с ним служили у хана Аблая. Чуть ли не с колыбелек игрушками их были оружие и специально для каждого из них воспитывали боевого друга — коня, с которым они росли с младых ногтей.

Богембай Акша-улы из рода Канжыгалы родился в местности Ерментау на Акмолинской земле. Даты его рождения и смерти определены как 1690 год и 1775 год. Всенародную славу Богембай завоевал, успешно защищая от врага столицу Қазақского ханства город Туркестан в 1725–1727 годах. Затем возглавляя южное крыло қазақского войска, великий полководец освободил Ташкент и Сауран. Как командующий отдельным армейским корпусом он участвовал в победоносных битвах на Аягозе Кокпекты, Буктарме и в Иртышском сражении. Достигнув преклонных годов Богембай за свою мудрость и непререкаемый авторитет получил прозвище Карт — Старец. Старец Богембай оставил значительный след и на дипломатическом поприще. В 1761 году он возглавил посольство, направленное ханом Аблаем в Китай, и привез из Пекина мирный договор с Поднебесной империей.

Всех батыров рано женили, так как они, как старший 15-летний брат батыра Кабанбая, могли погибнуть уже в первых боях. Сам Кабанбай участвовал в 103 битвах и схватках с противником. Ру-батыр Ерасыл из рода Каракерей получил прозвище Кабанбай за свою безумную неуступчивость, которая была присуща балхашским диким кабанам. Он родился в 1691 году в семье ру-батыра Кожакула и умер в 1781 году в возрасте 78 лет. Опасаясь поругания его могилы врагами, народ выстроил несколько мавзолеев, которые, кроме, естественно, одного, были ложными — на Иртыше, в Семиречье, в степях Сары-арки и на севере страны. В котором из них покоятся его останки — неизвестно. Начинал свой боевой путь Кабанбай как сотник, и на пике своего могущества командовал в туменами — военными

соединениями, насчитывающими несколько тысяч сабель. Детство Ерасыла Кабанбая было омрачено не только гибелью старшего брата, но и смертью отца во время нашествия джунгар. Юный Ерасыл Кабанбай клянётся мстить врагам до последнего часа своей жизни. И за неуклонное следование своей клятве получает ещё одно прозвище — Избасар (Преследующий). Наиболее знаменательные победы қазақское войско под руководством Кабанбая одержало в битве при озере Алаколь — в 1725 году, в битве при Шубатенизе — 1728 году и на северном берегу Балхаша — в 1728 году, а так же во время Шаганской военной компании, длившейся в течение целого года (1735) и в 80-ти дневном Шоргинском противостоянии (1740). Отличался необыкновенной физической силой и спокойно поднимал на плечах лошадь. Здесь надо сказать, что батыр Кабанбай обладал удивительным конем Дарабозом — Особым. Крыльями скакуна, понятно, не обладал, но летел, едва касаясь копытами земли, быстрее птиц. В одном из столкновений с захватчиками у ставшей мелководной в том году реки Или Дарабоз тяжело ранен в шею. Кровь настолько сильно хлынула из раны, что животное не в силах было стоять на ногах. Беда была в том, что лагерь своих оказался на другом берегу. Молодой Кабанбай взвалил своего коня на свои плечи и перенёс его через Или. И выходил. Соратники Кабанбая были удивлены: зачем ему кривошеий конь? На что Кабанбай отвечал: «Может быть шея у него кривая, за то нужная штука прямая и даст мне новых дарабозов». Действительно, отпущенный к кобылам Дарабоз постарался и каждые три-пять лет батыр Кабанбай садился на свежего, почти крылатого Дарабоза. У ру-батыра Наурызбая из рода Толемис — Шапрашты в боях с калмыками находят смерть все его три брата, сам же он начал воевать в 16 лет, а став чуть постарше прославился, как полководец, выбивший войска калмыков-джунгар из Турфана. Наурызбай Кутгымбекулы родился в 1706 году в предгорьях Сериктас на западе Семиречья. Его звезда взошла на небосклон успеха после того, как он в молодости сам один сразил до того непобедимых калмыкских богатырей Чамалгана и Каскелена. В военную компанию 1756–1757 годов полководец Наурызбай вытеснил джунгарские отряды с территории юго-восточного Қазақстана и нанёс им окончательное поражение в Восточном Туркестане в битве под Турфаном. Семь дней бились қазақи с меднолобыми перед Джунгарскими горными воротами с калмыкскими воинами, семь дней они не ели, не спали, а только преследовали врагов. Не осталось ни одного живого захватчика на родной земле. Пора было отдохнуть и хотя бы что-то съесть. Возле кипящего пустым кипятком котла собрались самые близкие султану Аблаю соратники. Здесь стояли каракерей Кабанбай, канжыгалы Богенбай, шапырашты Наурызбай, шакшакулы Жанибек с сердцем балшахского тигра, сиргели Тлеуке Черный,
каракалпак Кылышбек с незаживающими ранами, тигединец Естенбек, убивающий волка одним ударом кулака, заботливый подросток Райимбек, будущий строитель укреплений и каналов в Семиречье, холодный, как северный ветер Жикебай, Секербай и Шуйбекбай с руками сплетёнными как ловушка для сотен злодеев, балгалы Барак из Младшего жуза, разрывающий

пальцами грудь врагу, катарга Сасан с метким ружьем, матаевиц Шакарим, борец с поясом, бура Бонанбай, сильный как верблюд-самец, непревзойдённые мастера боевой палицы Даримбек, дока, Садыр, и уак Сарман, попадающий стрелой в глаз летящего ворона, найман Тортуыл, Багарым, пугающий взглядом, Рыскул, Сакан, Догалбай — такие широкие, что встав рядом, составляют целую стену, горец с Алтая Олжабай, друг лисов Кулжадай, спящий лишь с клинком Естербек, каракесек Карабек, ловкий как рысь Каркаралинских скал, темеш Нура Стальной, атыгаевец Агындык, хозяин огня, тарактинец Тогайым, командующий караулами, Айнакул с железными локтями, пушкарь карааuыл Касым, Калабек, поражающий пращой, текеновцы Сатай и Болек на ахалтекинских скакунах, срывающий с гор лавины Каскары, сын Казыбек-би, рядом с ним Даулет, цепкий, как коршун, и Сенкибай с Шойбеком, стрелки из бак-даулетовцев, знающий все молитвы Тансык-кожа, и Багай-силач... Они не боялись ни смерти, ни плена, они презирали боль и болезни. Каждый из них мог за один присест съесть барана, но теперь в их перемётных сумках затерялся в каких то складках лишь кусочек сухого творога — курта. Тут султан Аблай принёс из своей насквозь прожжённой, изорванной ветрами походной юрты последний небольшой мешочек риса. И сказал командирам: «Война окончена. Время наград за вашу победу. Разделим честно, каждому отсыплю. Немного, но завтра за каждое возвращённое мне зёрнышко я дам золотую монету». Все раздал султан. Ему самому осталось лишь рисовая пыль и шелуха. Он потряс вывернутым мешочком на котлом и кипящая вода чуть побелела. И сказал султан Аблай: «Отличный выйдет навар. Разделите, удальцы, со мной трапезу!». Кабанбай-батыр, Богембай батыр и Наурызбай-батыр посмотрели друг на друга и бросили в котёл свои пригоршни золотого риса. За ними кинули вариться в одном котле своё богатство и остальные батыры. Густая вышла каша, сытная. Интересно, что будущий қазақский хан Абильмансур (Аблай), окончательно покончивший с джунгарской царством, начинал как простой ополченец, затем стал батыром и только потом его узнали как султана. Вот как пишет о своём великом прадеде лингвист и этнограф штабс-капитан султан Ч.Ч. Валиханов: «Дед его, тоже имени Аблай, был владетелем города Туркестана и прославился такими воинскими доблестями, что получил грозное и почётное название Кан-Ичер (Кровопийца). Сын его, Вали, не смог удержать славы отца. Один из соседних владельцев, взял Туркестан, убил его, и только преданность одного из рабов спасла жизнь тринадцатилетнего сына его, Абульмансура. Верный слуга бежал со своим питомцем в Қазақскую степь. Юный Аблай (Абульмансур), отвергнутый знатными родственниками своими, вступает в услужение к богатому қазаку, рода якшилык». Скоро замечают за мальчиком-табунщиком по прозвищу Сабалак — Лохматый, что он никогда не сидит на голой земле, не ест из общей посуды, как бы не был голоден, никогда ничего не просит. «Участвуя во всех набегах, сначала как рядовой воин, он показал подвиги необыкновенной храбрости и хитрости. Полезные советы его и стратегические соображения упрочивают за ним имя Мудрого». С каждым,

кто обривал впервые голову в знак согласия погибнуть ради победы в святой войне, Великий законник Толе би желал говорить лично. Но таких юношей и мужей в год Мыши, в год поражений становилось все меньше и меньше... Были дни, когда из стана ополчения никто не переходил в лагерь ханской гвардии. Тогда он беседовал с филином, которого стал прикармливать последний месяц. Старый мудрец уже не понимал, почему безжалостная ко всем кровавая война позволяет ему каждый день подниматься и сходить с седла боевого коня без ран. Филин не понимал, за что его ждут кусочки кровавого мяса у одинокой походной юрты, но пролетая низко над степью, искал ее как только солнце срывалось с неба. Стемнело и вот села на хрупкую створку дверцы птица. Толе би сказал ворчливо: «Рви своё мясо и прочь от меня. Человек должен ночами спать». Прошел час, они так и сидели друг против друга: птица и человек. Прошла ночь. Они все смотрели, не мигая, друг на друга. Тут близко застучали конские копыта, и птица отлетела. В юрту к Толе би с поклоном вошли троя молодых воинов, сияя лунной белизной выбритых затылков. Джигиты спешили побыстрее отбарабанить свои приветствия, оглядываясь назад, словно там их ждали невесты. Но за спиной их ждал только враг. Раньше Толе би всегда говорил об этом с новыми уланами, но теперь не стал. Только промолвил по привычке: «Что сильнее меча?». Ответ был всегда прост. Воины должны были себе уяснить, что только сильные духом победят в этой страшной войне. Так двое и ответили. Третий же промолчал. «А ты что скажешь? — спросил Толе би у него и хотел было добавить своё уже привычное: «...спутай, благодаря Аллаха», но вовремя сдержался. «В ответ я скажу своё имя», — произнес безусый малый. «И каково твое имя?» «Мое прозвище — Сабалак. А имя настоящее первым услышит враг», — отвечал дерзкий юноша. «Тогда, Сабалак, отправляйся к батыру Богембаю, — рассердился Толе би. — Он сегодня встретит на реке князя Шаршу и скажешь калмыку своё имя». Тут же поняв, что быть может этот мальчик может сегодня погибнуть, патриарх всем сердцем пожалел о своих резких словах и постарался смягчит прощание: «Вы стали уланами на всю вашу жизнь. А жизнь у воина коротка. Встретимся ли мы снова? Вы идете защищать Родину, и мне надо было бы сказать вам много нужных слов. Но я вам скажу так. Если встретите филина, прислушайтесь к нему. Это буду не я», —и напоследок, раскрыв Ал-Коран, прочитал им две суры, хотя глаза его вместо букв видели теперь лишь беспрерывный узор. Когда юноша с именем для врага галопом прискакал к степной реке, на разных берегах которой с рассвета уже стояли два войска: джунгарское и қазақское. Перед боем намечался поединок — гимн батыров. Из рядов джунгар выехал исполинского роста нойен, весь закованный в латы. По всем знакам — князь. Он направил огромного черного коня своего, не ища брода, прямо в воду и застыл в середине реки. Вороной жеребец только фыркал от близкой к ноздрям воде и стряхивал рыбок, запутавшихся в его густом хвосте. Среди қазақских воинов царило смятение. Один из батыров было двинулся навстречу к гиганту-калмыку, но повернул коня назад, низко опустив свою голову. Второй так же, натянув поводья, заставил своего коня

попятиться назад. Третий тоже опустил своё приподнявшееся копье..., остальные сотни и сотни джигитов только хмурились, слыша хохот джунгар. В эти долгие, как болезнь, мгновенья из задних рядов қазақов и выехал улан, состригший лишь вчера свои локоны, чтобы вернуть себе прежнее имя. Он смело двигался по реке навстречу с нойеном. Но вел себя при этом очень странно. Он на ходу отбросил в сторону своё копье, щит, снял медный пояс с простенькой саблей в ножнах и его утопил в воде. Скинув с плеч кольчугу, он остался лишь в красной шёлковой безрукавке, из которой торчали тонкие, но жилистые руки. Если бы каменные холмы могли смеяться, то они грохотали бы так, как сейчас веселились толпы джунгар. Қазақи же только проклинали этого глупого выскочку и жалели, что еще вчера не погибли в бою, не узнав этого стыда. Между тем юноша безумно близко подвел свою почти потонувшую лошадку к джунгарскому князю и тот, забавляясь, принялся тыкать в него копьем, как в зайчонка. Юноша же, ловко уклоняясь, упрямо лез к нему. Когда джунгарский батыр наконец решил убить дерзкого мальчишку, тот подтянул ноги на седло, и прыгнул прямо на нойена. Вцепившись обоими руками в князя, как степной стриж в хомяка, он откинулся назад, увлекая вместе с собой и врага. Здесь и проясняется весь замысел хитроумного юноши. Закованный в железо тяжелый князь в воде стал не опаснее горячего казана — главное перетерпеть боль от ожога на пальцах. Дважды появлялась из воды бритая голова молодого қазақа и ни разу — князя джунгар. Он утонул, бедняга. Из горла вынырнувшего в третий раз юноши вместе с брызгами воды вылетело имя: «Аблай!». И в этот же миг қазақское войско с гортанным ором: «Аблай! Аблай! Аблай!» кинулось через реку на войско калмыков и смело его, как бурный разлив сносит сухой лес с песчаного брега. Через несколько дней, когда все стали говорить о явлении нового батыра Аблая с титулом султана, хан Семеке повелел в Ставке своей собраться верховным судьям во главе с Толе би. Решали, признать ли юного героя тем, кем он, наконец назвался. Был строго допрошен сам юноша и прежде всего: какое право он имел на боевой уран Аблай? «Аблай — имя моего деда, а сам я султан Абильмансур, сын правителя Ташкента султана Уали. Но теперь моим именем будет боевой клич «Аблай». Аблая отослали к его друзьям к костру с кипящей бараниной, а сами бии и султаны продолжили спор. Спросили и султана Абульмамбета: «Если этот юноша действительно внук султана Аблая и сын султана Уали Красивого, то вы ему приходитесь близким дядей. Он ли тот, кем представился?». Султан Абульмамбет не спеша ответил: «Я слышал, что от Уали остался единственный наследник... Это он, — и вздохнул печально, поясняя далее свою уверенность. — Только его отцу я когда-то проговорился, что в моем лучшем табуне родился самый быстрый на
свете жеребенок Шалкуйрук с красно-белым хвостом. Вчера он, — и все поняли кто, — явился ко мне и потребовал Шалкуйрука. Такого коня у меня теперь никогда не будет». Молчавший досель хан Семеке изволил сказать, обращаясь к Толе би: «Пусть решит суд». Толе би отвечал сразу же: «Ваше

Величество, позвольте напомнить вам. Наш суд не должен решать этот вопрос о родстве и правопреемственности. Ведь ни сам юноша не просит подтвердить его право и никто другой не оспаривает его имя и титул». «— Конечно это он, – признали своего младшего брата султаны. – Да только дед его Аблай крови чужой не жалел. Лучше бы его внук остался просто Абильмансуром. Спокойней было бы для всех». Весной 1723 года джунгарская армия, опрокидывая все қазақские укрепы, начала стремительное наступление на всех направлениях. Мирное население, бросая скот и имущество, в панике спешно бежит к узбекским братьям: аулы Старшего и Среднего жузов за Ташкент и в Бухару, аулы Младшего, султан которого своевольный Абулхаир до этого успевший своими набегами на русские губернии испортить взаимоотношения с Россией, ушел в Хиву. Это всенародное бедствие получило название «Ак-табан шубырынды» — «Время сбитых пяток». Только от голода и надрыва жизненных сил погибло не менее полмиллиона қазақов. А впереди вставали во весь страшный рост ещё десятки боев и сотни кровавых стычек. На север от Шымкента в местечке Теректы имел зимние жилища батыр Джомарт со своими 9 сыновьями. Услышав о нападении калмыков, он отказался бежать от трусливых, по его мнению, калмыков. К тому же, в его табуне много было жеребят, а они не смогли бы выдержать долгий скорый переход. И он оказался со всей своей многочисленной семьей прижат врагами к отвесным скалам Улкен-тура. «Я с ребятами уведу этих воров по ручью, туда вверх на Теректы, а вы.., — обратился он к женщинам аула. — А вы... вы не бойтесь. Здесь кустарник и камыш, спрячьтесь там с детьми. А как проскочат они за нами, бегите по берегу к аулам Куат-батыра. Да спешите, родичи наши вот-вот отойдут к Ташкенту». Когда показались калмыки в ущелье, так и получилось, как и предполагал старик Джомарт. Схватка быстро завязалась и поднялась по ручью за джомартовскими сыновьями, а невестки, подхватив малышей, побежали в заросли. Только не все калмыкские всадники последовали за отрядом в десять воинов. За ними они выслали всего лишь сотню, другие всадники встали у входа в ущелье, где быстрая вода Теректы уже несла к аулу порозовевшие от крови струи. И только самая младшая невестка осталась у своей юрты. Женщины ей кричали: «Беги, пустоголовая!», но она уселась у огромного перевернутого казана и принялась, низко опустив заплаканное лицо, чистить огромный котел. Она все терла и терла песком черные края казана, а над аулом появились выжившие в горном бою чужеземцы. Значит, все мужчины джомартовского рода оправились прямо на небеса. С вершин скал — быстрее. Но и враги многих потеряли из своих рядов. Обозленные потерями калмыки стали обстреливать стрелами с горящими пучками соломы у наконечников все, что видели. И юрты и густые кусты у ручья. И только тут глупая молодая женщина побежала к горевшим уже в сухом кустарнике свекрови с пылавшими внуками и невестками. А за ней полетела стрела. Догнала, бедную. Когда на следующий день Куат-батыр рискнул еще раз обратится к разуму Джомарта, и вернулся за ним в Теректы, то нашел там живым лишь крохотного младенца под начищенным до блеска

перевернутым котлом. Он орал, не понимая, почему его мама засунула его туда и почему не спешит вытащить на Божий свет и не даст теплую сладкую грудь. От этого везунчика — внука Джомарта в 5 колене, произошел Мухамеджан Тынышпаев, так подробно и интересно написавший о хане Аз-Тауке и славивший подвиг многих батыров Народной Отечественной войне с джунгарами, за что был обвинён в қазақском национализме и расстрелян. Более полусотни маленьких и больших людей исчезли тогда с лица земли, взамен лишь горный родник на Теректы стал называться «Джомарт-калмаган Исчезновение джомартавцев). Под командованием батыра Тайлака едва опомнившиеся от страшного нападения қазақи на берегах рек Буланды и Белеуты в Тургае впервые нанесли поражение калмыцкому войску. Место кровопролитной битва стало называться Калмык-крылган или иначе — Погибель калмыков. Из века в век, из уст в уста передавалась история қазақов. К концу XIX века қазақские юноши, изучив и восточные и европейские исторические книги, принялись записывать и хронику своего народа. Слава Всевышнему, еще живы были те деды, которые возможно еще подростками слышали о тех боях, в которых участвовали их отцы и старшие братья. Таким был А. Диваев. С неповторимым восторгом свидетеля он писал: «Весть об этой блистательной победе моментально распространилась по степи, подняла упавший национальный дух и вызвала всеобщий энтузиазм и горячее желание отомстить врагу. На горячий взаимный призыв сбросить иго неверных калмыков, на отчаянную борьбу не на жизнь, а на смерть, откликнулись сыны трех Алашов (трех жузов). Натренировали лучших скакунов, перетянули султаном их челки, заплели в косички гривы, туго перетянули хвосты, и с пиками, айбалтами, луками ринулись со всех концов степи, ведя победоносное наступление...». Войска Младшего жуза наступали по западному склону Каратауских гор. Войска Среднего жуза поднимались севернее от них. Войска Старшего жуза вышли к потерянным землям через Келес-Бадамский хребет западнее горы Казыкурта. Қазақские военные колонны соединились в междуречье Арыс-Бадам, где на горе, получившей название Орда-басы — Главная Ставка. Младшим ханом, а значит Главнокомандующим всего қазақского войска, составившего 40 тысяч сабель, был выбран султан младшего жуза Абулхайыр. Весной 1730 года в 120 верстах на юго-восток от озера Балхаш қазақские полки встречают джунгарскую армию и наносят ей сокрушительное поражение. Битва и место, где она происходила стали называть Аныракай — Стонущее. Малочисленные остатки джунгар бежали в родные края, бросая орудия и тыловые обозы. В кратчайший срок қазақская армия вышла к Джунгарским воротам, в которых уже никто не стоял, защищая Джунгарию. Достаточно было просто пройти их, что уже привело бы к мирному договору на самых выгодных условиях. Но в эти все решающие дни умирает не покидавший стен Туркестана, хан Болат. Вместо наступления на столицу разбитого врага қазақские султаны занялись выборами нового хана. Среди претендентов на престол был сын почившего в бозе хана султан-зада Абульмамбет и главнокомандующий қазақской армией султан Абулхаир. Ханом был выбран самый

посредственный султан — Абульмамбет. Главнокомандующий младший хан Абулхайыр счёл себя крайне обиженным. Он увёл войска левого крыла қазақской армии на запад и объявил о выходе Младшего жуза из состава единого Қазақского ханства и объявил себя ханом. Понимая, что его правление может продлиться лишь краткое время, хан Младшего жуза Абулхаир сразу же поспешил вступить в подданство Российской империи.

Стараниями писателей, пользующих исторические темы, особенно много казахских ханов появилось в XIX веке: хан Абулхаир, хан Букей и т.д. Здесь уже видны детали примитивного подлога. В царствование Императрицы Екатерины II Казахстан начинает часть за частью попадать под протекторат Российской империи. Принимавшим российское подданство казахским султанам Указами Канцелярии Российской империи присваивались титулы: «хан киргиз-кайсацкой орды». Сей российский титул по значимости был не выше титула князя. Разница между ним и августейшим титулом «хан» такая же, как между президентом какой-нибудь коммерческой или благотворительной организации и Президентом страны. Подлог состоит в том, что описывая деяния какого-нибудь киргиз-кайсацкого хана автор опускал первую часть титула и превращал титулованного подданного Российской империи в қазақского хана. Что же касается аристократического титула тюрского мира «султан» то он был низведён до уровня волостного управленца. Царскими генерал-губернаторами на должность «султана такой-то волости» стали назначаться не только лица, претендующие на происхождение от Чингиз-хана, а нужные люди «черной кости». Как бы ни сложилась жизнь и смерть султана Абулхаира, он остался в истории Қазақстана прежде всего как великий полководец Народной Отечественной войны с Джунгарским ханством. Отстояв свою отчизну от уничтожения в тяжелей шей, кровавой войне с джунгарской ордой, қазақи приграничных с Россией земель вполне охотно приняли подданство русского царя. Как бы несерьезно это не звучало, но наверняка не самую последнюю роль в добровольном вхождении в состав Российской империи сыграл... самовар. Отказаться от такого медного заводского аппарата кочевник, любитель чая, был не в силах. Ремесленники среднеазиатских и южно-қазақских дряхлеющих городов не могли предложить такое чудо. Как не могли представить дешевый, но качественный фабричный ситец, скорострельные ружья, стальные ножи, чугунные котлы... Вдоль русских границ с қазақской степью мгновенно появились десятки ярмарок, товарооборот которых стал составлять не один десяток миллионов рублей.

Кочевые народы не в состоянии поддерживать свой материальный ресурс на должном уровне без рынка городской продукции. И если они оказывались не в состоянии завоевать города с их рынками, то или вступали с ними в цивилизационный симбиоз или покорялись агропромышленным государствам. На северо-западе в центре Қазақстана стали строится военные укрепления, а на границах қазақской степи — станицы нового казачьего войска. В православные казаки новой Горькой линии принимались все желающие калмыки, башкиры, и, конечно же, кочевые қазақи. Достаточно

было креститься и получай избу, корову с лошадью, семена и землю, отнятую и тех же қазақов. Получай и служи верно царю-батюшке. В аулах же царские эмиссары появлялись лишь от случая к случаю. Большая часть докладов, направляемых в министерство иностранных дел России, составлялась со слов лазутчиков или случайных людей, по какой-то причине побывавших среди қазақов.

Султан Аблай в ходе Народной отечественной войны приобрел огромную славу и почитание, особенно среди батыров, с которыми всегда ел из одного походного котла и спал с ними на одной кошме под звездами и дождями. Его пригласил к себе султанствовать один из самых сильных аргынских родов. Став ру-батыром, он принял на себя командование и всеми военными силами среднего жуза. При этом султан Аблай демонстративно подчеркивал свою преданность законному монарху Қазақского государства хану Абульмамбету. Но войны, которые вели қазақи после 1730 года можно с полным на то основанием называть Абылаевскими. В 1740 году хан Абулмамбет, так и не приобретший реальной власти в своём государстве, тоже принял решение укрепиться свою власть, войдя под покровительство Российской империи. Вместе с ханом Абулмамбетом отправился принимать присягу на верность русской императрице Екатерине II и султан Аблай, считавшим своим долгом во всем поддерживать своего государя. Донесения по этому поводу, поступавшие в Коллегию иностранных дел Санкт-Петербурга были составлены подробно на множестве страницах казённой бумаги, но суть их сводилась к следующему докладу русского офицера.

Августа 24. На встречу с Абулмамбетом-ханом и Аблай-салтаном я прибыл с драгунами штаб-квартиместера Новоксченова. Хан удивлялся, зачем я приставлен к нему, ежели языков ихних не знаю. Через толмача хану ответили, что мое присутствие при нём означает согласно церемониалу императорского двора особое значение визитера. Хан и салтан не пожелали останавливаться в городе, а встали близко в степи с людьми своими. Вечером послана была к Абульмамбету-хану и Аблаю-салатану одна большая палатка. Хан за онную благодарил, а Аблай-салтан со своими людьми переговаривался: «Для чего-де мне особой палатки не прислано, ибо-де я вместе с ханом не стою». На вопрос, отчего так, Аблай-салтан отвечал, что это знак последний Абулмамбету-хану, пусть подумает, почему ему одному стоять пред принятием чужого подданства. И по лицу его видно было, что задумал он не простое дело. Впрочем, ежели он задумал заколоть хана во время присяги или навредить иначе, то наоборот держался бы вместе с ним.

Августа 25. Поутру посланы к Абулмамбету-хану на пищю одна корова и два барана, голова сахару, один фунт чая чёрного. К Аблай-салтану — два барана, голова ж сахару и один фунт чая ж чёрного. Потом подарено было хану парча золотая мерою 10 аршин, 5 аршин сукна кармазинного лучшего, 1 лиса чернобурая. Аблай-салтану — парча золотая мерою 8 аршин, 5 аршин сукна кармазинного. Аблай-салтан отдал все подаренное ему одному из своих старейшин.

Августа 28. В день учинения присяги, когда коляска с хана и салтаном поравнялась с Астраханским полком, от шума барабанного боя и музыки в их честь, многое ими сказанное меж собой не было, как и не было никакой возможности слышать достоверно. А как артиллерию миновали, выстреляно было из девяти пушек больших, Аблай-салтан говорил хану, что-де «пушки бьют ему в сердце». А как повели их затем мимо Билярского полку, они боле не переговаривались. По возвращению в свою ставку Абулмамбет-хан укорял Аблай-салтана в том, что тот затребовал поставить ему кресло такое же большое, на которых сидел сам хан и генерал-лейтенант князь Урусов. Хан говорил салтану: «Тебе-де своё кресло непокойным казалось притворно, а через эту вещь хотел ты сравняться со своим ханом». На что Аблай-салтан отвечал, что ты теперяча мне не хан. Ты-де ныне имеешь не самодержавный титул, а тока даденный тебе Императрицей титул хана киргиз-кайсацкой Средней орды. И где она такая орда, он-де, салтан казацкий, не знает. И звание твое ныне-де не выше княжеского, и ему-де, салтану, ровня. Ежели народ наш был бы присягой этой верно подчинён русской царице, то сие значило бы полбеды. А так нет нынче над ни какой власти, значит, беззащитен он пред врагами как потерянное дитя». Абулмамбет-хан указал Аблай-салтану, что тот сам искал покровительства российского. На что Аблай-салтан отвечал, что «он теперя сирота, а наши предки, ханы қазақов, были честные и знатные люди и всегда знатных у себя приятелей имели, почему-де и ему также поступать надлежит. А тебе, Абулмамбет, скажу. Ты уронил знамёна государства нашего, но есть ещё вельможи чингизхановской белой кости, они-де ещё встанут с колен». На что Абульмамбет кричал ему, что он тоже присягу принял Ея Императорскому Величеству. А Аблай салтан отвечал, усмехаясь, что ты-де ханом был и государем и хранителем всего государства. Принимая подданство российское, ты-де отдал свою власть Императрице над всеми ордами. И когда ты свершал сей поступок предательский, я с тобою рядом не стоял, а был в отдельной палатке и не отвечаю за твое решение, а отвечаю за малый свой поступок только за себя. За мной целый народ не стоял. Ты, как
хан, правил один и тебе одному перед потомками отвечать за то, что страну отдал в чужие руки. К тому же присягу давал не императору, а императрице, лицу хотя царского дома, но в седле сидящему боком, потому как баба». Люди его смеялись. Засим Аблай-салтан повернулся ко мне и сказал «А ты, пес, все понимаешь, хотя и делал вид, что не знаком тебе наш язык. Иди и скажи господам своим — будет так, как я захочу». На этом все и расстались в степи.

В феврале 1741 года джунгарская 30-тысячная армия под командованием князя Септеня вновь ворвалась в пределы Қазақстан, используя в качестве предлога желание освободить своих соплеменников, оказавшихся в қазақском плену. Война пишет кровью на полях сражений имена полководцев. Кто помнит, как звали того қазақа, который, один погубил целый отряд врагов? Осталась только запись русского историка

Левшина, гласящая, что пленный из Казачьей орды человек был вынужден показывать дорогу захватчикам. Вел он их нехожеными путями обманом, водил нарочно через снега и мороз великий. И так не один день, пока многие калмыки от холоду не померли. В отместку они проводника сожгли, но понесли такой урон в своих рядах, что наступать на қазақские аулы уже не смели и так ни с чем возвратились. И все же отдельные отряды захватчиков добивались успеха. Отряд в двести человек захватил в плен самого Аблай-султана, выехавшего с друзьями на охоту. Находясь в плену у калмыков, султан Аблай имел своих слуг и наложниц. Правда, при постоянной внешней охране. Были дни, когда его сковывали и цепями. Но он был приглашаем на приёмы при дворце хантайши и, выучив монгольский язык, завёл много друзей из числа джунгарской аристократии. Среди них были князья Даваци и Амурсана. Қазақская правящая элита ясно осознавала, какого лидера потерял народ. После длительных переговоров, весной 1743 году султан Аблай был выменян на сына хана средней киргиз-кайсацкой орды. Отрёкшийся от қазақского престола хан Абулмамбет не в силах был изменить такой выбор. Даже в этом Аблай превзошёл по значимости для народа прямого наследника престола. Вернувшись в родные края, султан Аблай увидел полный политический и экономический хаос, царивший в қазақской степи. И он начинает действовать как законный правитель. Он понимал, что для восстановления государства понадобятся годы и большие деньги. Вот почему султан Аблай начинает широкую торговую деятельность с русскими городами для пополнения своей казны. И в тоже время он не только никогда не согласовывал свои деяния с царской администрацией, а более того, открыто участвовал даже в тех акциях, которые были направлены прямо против русского императорского двора. Так, он охотно откликнулся на просьбу Пугачева о помощи ему и в течение всего пугачевского восстания нападал на русские войска по всей крепостей Горькой линии. Но главный его враг стоял на Востоке. Прекрасно зная слабые места калмыцкого ханства, султан Аблай принялся расшатать Джунгарию изнутри. Он выдаёт одного башкира по имени Карасакал за исчезнувшего когда-то наследника джунгарской короны Шуну-батыра. Все это вносит волнения у калмыков, усилившиеся после смерти хан-тайши Галдан-Цэрена. В Джунгарском ханстве началась гражданская война между княжескими кланами. Проигравший князь Даваци вместе с князем Амурсаной бегут к султану Аблаю. Победивший хан-тайши Лама-Доржи требует выдачи мятежников. Россия тоже желает получить Даваци, как прежде требовала выдачи её подданного башкира Карасакала, но не получила его. И на этот раз Аблай отказывает всем, вызывая этим огонь на себя. Народ был готов поддержать его во всем. Главный бий старшего Толе в письме к Аблаю, зачитанном по всей степи, одобряет дерзкую абылаевскую политику.

Раздражённый хан-тайши высылает вперёд на земли Қазақстана 20-тысячную армию. Султан Аблай собирает свои дружины в урочище Баян-Аул и осень 1752 года наносит калмыкам поражение. На плечах разбитого противника қазақская армия впервые ворвалась на территорию самой

Джунгарии, старательно разорив прежде всего аулы и владения самого калмыцкого главнокомандующего. Произошедшее было уже близко по своей сути к карательной акции, которая затем стала повторяться и стала правилом последних двух десятилетий взаимоотношений Қазақского и Джунгарского ханств. Скоро он добивается свержения неугодного ему хан-тайши и ставит на его место князя Даваци. Но через некоторое время султан Аблай начинает поддерживать князя Амурсану, поднявшего мятеж против своего друга хан-тайши. Таким образом, султан Аблай окончательно сломил джунгарский хребет, время от времени свободно совершая путешествия по Джунгарии со своим корпусом не более 4 тысяч всадников и наводя там такой порядок, который был угоден ему. «Ни один қазақский хан не имел такой неограниченной власти, как Аблай. Непонятно, каким образом этот хан, действуя деспотически против свободных льгот, освященных временем, умел облечь свои действия в такую форму, что потомство считает его святым и при набегах для придачи себе храбрости призывает его имя», — напишет его правнук Ч. Валиханов. Султан Аблай гроссмейстер политической интриги, где идеология и дажемораль подчинены видимой только ему цели. Он никогда не говорил ни «нет», ни «да». Свои обещания, заверения или отказы он связывал с таким количеством условий, что в любом случае оказывался формально прав. К примеру, постоянно выражая своё согласие выдать царской администрации всех российских преступников, бежавших в Қазақстан, тут же, ссылался на необъятность степи, просил содействовать ему войсками, подчинив их непременно лично ему. На такой шаг, естественно, ни одно государство не могло пойти. И вопрос зависал надолго. Вообще для Аблая была характерно иносказательное выражение своих мыслей. О себе и о своих потомках он выразился так: «Я — лев, мои сыновья — тигры. Внуки станут не крупнее волков, а их дети не страшнее собак...», понимая под этим, что после него династия чингизидов неминуемо обмельчают, потеряв все своё былое величие и уважение народа. Хан Аблай обладал ярким литературным дарованием, он автор слов и музыки десятка известных песен. Многие его высказывания стали афоризмами и пословицами. Джунгарский государь Галдан-Церен так сказал о нем: «Управляет малым народом, но достоин большого народа». Султан Аблай прекрасно понимал, что его людские и экономические ресурсы крайне ограничены, народ устал от нескончаемых войн. Не забывал он и о том, что его личный статус правителя не подкреплен ни одним законом, не признан ни одним государством. Казалось бы, в этом положении он должен вести себя более чем тихо и скромно. Однако ведет он себя совершенно иначе.

В 1755 году в обессиленную, неспособную защищаться Джунгарию вошли китайские войска. Цинский император из Пекина решал свои колониальные задачи просто: в течении двух лет вырезал 1 миллион калмыков. Еще через несколько лет джунгаров, как не желавшего покориться китайцам народа, не стало вообще. Хан-тайши Амурсана снова бежит в Қазақстан и обращается за поддержкой к султану Аблаю. И правитель Қазақстана принял его как брата. Китайцы требуют выдачи им Амурсаны. В

ответ султан Аблай объявляет себя гарантом независимости Джунгарского государства и начинает
военные действия против китайских войск. Весной 1756 года қазақско-китайская война переместилась и на территорию самого Қазақстана. В войсках султана Аблая служат қазақи всех жузов. Отличался в битвах и сын Абулхаира султан Ералы, не смотря на то, что большая часть младшего жуза так и осталась в составе России. Вместе с қазақами воюют и несколько сотен калмыков со своим хан-тайши Амурсаной. В ходе летней компании 1756 года 10-тысячная қазақская армия в сражениях при Калмык-Толагае и на р. Аягуз нанесла поражения гораздо превосходившей её в численности китайской армии. В одной из битв султан Аблай был ранен. Но уже зимой китайцы под ударами манёвренных кавалерийских отрядов султана Аблая отступили из Қазақстана. В это время умирает последний калмыккий хан-тайши Амурсана и правитель Қазақстана султан Аблай наконец произносит: «Теперь же время с китайцами помирится». Его сын султан Абульфеиз встречается с командующим цинскими войсками Фу Дэ и через некоторое время қазақское посольство выезжает в Пекин. Ход переговоров показывает, что действия қазақского правителя, казавшиеся вначале самоубийственными, были исключительно верны. Внешняя политика Поднебесной империи извечно строилась на том, что все государства мира являются вассалами Китая. А соседние народы как изначально подданные китайского императора. Султан Аблай прозорливо понимал, что непременно наступит день, когда китайские войска войдут в Қазақстан, воспользовавшись любым, даже надуманным поводом. И выбрал единственно верный вариант, первым предъявив Китаю политические требования. Этим самым он придал конфликт перерос противостояние двух стран, а стал вопросом трёх государств и следовательно уже никто не мог отрицать его международный характер. И начав переговоры с қазақами о судьбе Джунгарского ханства, китайцы невольно признали Қазақстан как самостоятельное государство, а не в качестве своей бунтующей провинции. В связи с этим император Цяньлун в 1757 году издал Указ, в котором говорится: «В том случае, если мы говорим: «Қазақи покорились», то это значит, что они подчинены (нам) так, как государства Вьетнам, Бирма, Таиланд, постигшие наставления Поднебесной и не больше». На переговорах китайские мандарины требуют признать Джунгарское ханство частью Китайской империи и отказаться от военной поддержки оставшихся в живых джунгарских князей. Верно следуя инструкциям своего правителя қазақские послы в обмен на своё согласие требуют признать границы Қазақстана неприкосновенными. Война с Китаем завершилась взаимоприемлемым мирным договором. Тщательно продуманная султаном многоходовая комбинация этим ещё не завершилась. Қазақский правитель постоянно побуждает қазақские рода перекочевывать на опустевшие джунгарские степи, снова переводя борьбу на чужое поле. Китайцы прекрасно понимают, что появление на севере Восточного Туркестана тюркского народа может способствовать усилению мятежных настроений в среде лишь недавно покоренных ими уйгуров, тоже тюрков по

происхождению. О том, что этому в Пекине придавалось серьезное внимание свидетельствует Указ Императора Цянлуна 1758 года требует от қазақов «строго держаться своих границ». Правителю Қазақстана султану Аблаю необходим новый территориальный буфер между Китаем и Қазақстаном вместо исчезнувшего Джунгарского ханства. Уйгуристан — вот следующая страна, которую султан выбрал в данном качестве. Обеспокоившийся вдруг судьбой мусульман, султан Аблай рассылает послания всем правителям исламских государств Центральной Азии с предложением вступить в военный и политический союз за освобождение братского народа от гнета неверных. На его обращение особенно активно отвечает шах Афганистанской империи Дуррани Ахмад. Поддержали идею союза и Коканский хан Ирдан-бий, а так же Хива и Бухара. На съезде нескольких тысяч представителей власти всех трех қазақских жузов в Туркестане осенью 1763 года правитель Қазақстана султан Аблай добивается и от них согласия воевать против китайцев вместе с союзниками. Все это надолго усилило национально-освободительное движение уйгур. И до тех пор, пока Китай будет силой удерживать Синьцзянь-Уйгуристан, правители Қазақстана и Средней Азии могли не беспокоится о дальнейшем продвижении китайцев на запад. А на попытку Китайской Империи склонить қазақов к военному союзу против Российской Империи, султаном Аблаем было твердо сказано: «Вы знатные два монарха между собой можете иметь войну, а нам с малыми силами между вами мешаться не стоит, а будем мы в то время в стороне». Такая позиция была стержнем внешней политики правителя Қазақстана.

О жизни и борьбе хана Аблая и о его государстве в первой половине XVIII века многое можно узнать из творчества поэта Умбетей Тлеу-улы. Его исторические поэмы начинаются со скорби по поводу гибели полководца Богембая, случившейся после разгрома ханом Аблаем кыргызов в 1770 году. Затем жырау Умбетей повествует о юных годах султана Аблая, который бежал от убийц своего отца к қазақскому тапу аргын, «считая Сары-арку родной землей, считая казақов своим народом». Наконец он разворачивает целую панораму событии борьбы қазақов под руководством хана Аблая за независимость, в которой рисует полноценные образы сподвижников хана: канжагалия Богембая, каракерея Кабанбая, уаков Сары и Баяна. Через весь эпос проходит красной нитью трагедия қазақского народа, подвергшегося нападению безжалостного врага, но в конечном счёте победившего его. Қазақи с ханом Аблаем не просто отстояли свободу своего государства, но и сделали свою жизнь достойной, подтверждающей славу героических предков. Таким образом, сказание Умбетея Тлеу-улы о батыре Богембае является одним из самых бесценных образцов исторической литературы казахского народа. Достигнув в почтенном возрасте крылатой славы, облетевщей всю степь, жырау Умбетей как-то навестил своего друга Бухара-жырау. К своему удивлению, он не заметил привычного для қазақов гостеприимства. Бухар-жырау сослался на внезапную болезнь своей супруги и, как мог, пытался отвлечь внимание гостя от пустого достархана лестными

фразами, начав рассуждать о том, что Умбетей-жырау высится над всеми как гора... Умбетей-жырау ответил стихом:

Если над аулом зависла гора,
Да недоступна она,
То для чего нам это гора,
Пусть и стоит себе так одна.

Бухар-жырау, не смутившись, попытался намекнуть, что гость богаче его и гурт верблюдов и табун лошадей Умбетея кормят его сытнее, чем то, что имеет Бухар-жырау. А также о том, что Умбетею живётся лучше, так как он окружён сыновьями и невестками. На все это Умбетей отвечал; что не видит особого смысла в перечислении всего этого достатка, так как все имеет в жизни человека и обратную, чёрную сторону. Затем заключил:

К чему нам пустая хвала,
Она как чужая жена.
Та, что здорова всегда,
Да при госте уж очень больна.

Бухар Калкаман-улы родился в Баянауле в местечке Суйхар-Ния в 1668 году и умер 113-летним старцем. Прах знаменитого жырау покоится у подножья горы Далба. Его отец Калкаман был известным батыром. Предания, связанные с именем Бухара Калкаман-улы, особенно отчётливо свидетельствуют, что қазақские жырау являлись не просто поэтами, красноречивыми ораторами, но и носителями сакральных знаний. Достоверно известно, что им были известны тайны минералов, а хан Аблай вызвал к себе перед крупным сражением Бухар-жырау и просил предсказать по положению луны и звёзд исход битвы. Иногда Бухар-жырау предсказывал будущее по поведению животных. Так, по словам жырау, если верблюд — самец подходил к знамени хана и, глядя в сторану, яростно бушевал, то ханское войско ожидала удача. Если зверь ложился у знамени, то стоило воздержаться от наступления. Ещё молодым человеком Бухар Калкаман-улы продолжил традицию, связанную с правом жырау указывать правителям страны на их заблуждения и ошибки. В своём обращении к царю Қазақского ханства Тауке Благословенному он говорит так:

«Не к месту сказано здесь будет:
Во всех делах хан верно судит.
Смерть не минует никого.
В подлунном мире прав один Аллах.
Раскроет пусть Коран мулла».

Ораторы особенно высоко почитались в кочевом обществе қазақов. Бухар-жырау знал цену красноречию, говоря:

«Кочевья караван вести не сложно —
сама в пути вода вам попадется.
Отряд в набег вести не сложно —
добыча верная всегда найдется.

Один лишь тяжек труд под звездным сводом —
трудно речь начать перед народом».

Живший в сильном государстве при царе Аз-Тауке, Бухар-жырау с болью видит, как всего лишь через полвека Қазақское ханство стало слабеть и поглощаться частями соседними державами. Бухар-жырау призывает хана Аблая восстановить независимость всего Қазақстана:

«Рваные дороги прочертили
Там, где раньше зеленели травы,
У Сабана петли свили
Над простором Кокшетау.
Сколько войск скопил ось там, подумай,
На твоих прадедовских угодьях.
Крепости подняли там, подумай,
От тебя в степи твоей исконной.
И в вершины гор Каркаралы
И в ладонь долины Жаркаина
Вбили гвозди, ты подумай!
Где теперь найдут твои орлы
Край, где могут гнезда свить, подумай!
Даже в глубине на Кокмуруне
Срубы зимние поставили они!
Вся земля на юге от Сузака
Не қазақов нынче, ты подумай!
Если мир, так мир, а драка — драка,
От войны нам не уйти, подумай!

В отличие от многих поэтов предшествовавших веков и поэтов-современников Бухар Калкаман-улы проявляет глубокое знание Корана, часто в своих произведениях обращаясь к героям исламской мифологии. Он твёрдо верит и говорит о том, что искренне верующий в Аллаха человек будет вознаграждён за свою веру... Бухар Калкаман-улы видит в своём творчестве и служение Всевышнему:

«Аллах!», —промолвит пусть язык.
Пусть говорят и мальчик и старик
О вере истиной, спасающей от мук,
О том, как истинный Коран велик».

Воины қазақи до конца XVШ века сохраняли рыцарский дух и поэтому война и поэзия ещё сосуществовали, как соратники. Стремя к стремени. Случилось, что Аргынский род мейрам, способный выставить многочисленный отряд вооруженных всадников, посчитал несправедливой казнь одного своего сородича, за совершенное им непростительное преступление. И взбунтовался. Хан Аблай, уже почитавшийся как победитель Джунгарского ханства, готовился подавить мятеж, но здесь перед

ним выступил никому не известный семнадцатилетний Котеш. И смог остановить хана, переведя этот частный случай в общенациональную проблему. Чем и побудил хана Аблая не идти на кровавое столкновение, близкое к гражданской войне, и решить дело справедливым соглашением. В то же время поэт посредством этой своей известной басни о овцах и волках поставил на место особенно вольнолюбивые қазақские роды:

«Куда вы из загона так безумно рветесь?
Вам рассказать о том, чего дождётесь?
Вам оторвут в степи от зада курдюки.
И не пришить обратно их, когда очнетесь».

Поэт, зачинатель современной формы айтыса Котеш родился в середине 40-х годах. В ауле Сексен, на левобережье Иртыша. Его отец Райымбек принадлежал к аргыновскому роду суюндик. Всенародная слава пришла к нему именно в ту минуту, когда он выступил с резким обвинением в адрес разгневанного хана. Котеш-акыном особенно был развит жанр сатирического айтыса. В нем он проявил себя как непревзойденный мастер. Его айтыс с девушкой, прозванной Арсыз — Бессовестная, показателен тем, что акын мог спокойно противостоять поэтическим словом и прямым, грубым оскорблениям, унижающим его достоинство. Котеш акын всегда относился к жизни с ироничным юмором, любил посмеяться и над собой. В конце жизненного пути им написаны такие строки:

«Старость, что тебе по вкусу, старость?
Может, мясо сладкое и жир бараний в радость?
Может, холм могильный с камнем
Станет для тебя теперь не в тягость?».

Нет народа без поэтов. Нет народа без душегубов. Одни создают стихи, другие убивают создателей этих стихов, но не могут убить стихи. Слава Котеша акына покрыла қазақскую степь, как покрывают ее травы весной. Не осталось ни одного акына, кто бы мог победить его в поэтическом состязании — айтысе, где стихи слагаются сразу на самые жаркие для взыскательной публики темы. Никто не осмеливался более вызвать его на состязание, боясь быть осмеянным людьми. И старый Котеш акын от скуки принялся сам выискивать себе соперников. Иногда он заезжал в самые безлюдные и глухие уголки страны. Вот в таком месте на него и напали шестеро грабителей, отобрали коня, а самого поэта ударили топором. Они думали, что смогли скрыть следы своего преступления, так как не было там ни единой души, кто бы мог стать свидетелем этого страшного деяния. Но в разных краях, в разных аулах стали звучать песни, в которых мертвый Котеш акын рассказывал, кто, как и где его убивал. Куда бы ни приезжали убийцы, везде они слышали о себе и погубленном ими поэте. По этим песням родственники акына нашли и наказали убийц. И как говорилось в этой песне, цена их жизней не превысила цены старой кобылы. Поэзия переплеталась не только с деяниями хана Аблая, но касалась иногда каких-то бытовых моментов его жизни. Как в случае с поэтом, новатором қазақского стихосложения Тлеуке

Кулеке-улы. Он родился в 1748 году в местности Азат вблизи Кокшетау и умер в 1819 году. Его могила находится у холма Аютас на правом берегу Есиля. Отцом Тлеуке был известный общественный деятель батыр Кулеке, неоднократно входивший в посольство хана Аблая при дипломатических переговорах с властями Российской империи. К старости батыр Кулеке стал судьей и прославился своими беговыми скакунами. Один из сыновей хана Аблая пытался купить одного коня, но получил отказ. Молодой султан настаивал, и батыр вынужден был дать ему на время поездить на своём скакуне. Прошло достаточно много времени, но ханский сын и не собирался возвращать коня. Батыр Кулеке вместе со своим пятнадцатилетним сыном Тлеуке направился в Ханскую Ставку на Кушмуруне и обратился с просьбой к хану Аблаю вернуть ему жеребца. Хан, зная любовь своего сына к этому несравненному аргамаку, отказал батыру, переведя весь разговор в шутку: «Я не узнаю тебя, своего батыра. Батыр Кулеке всегда был славен своими богатыми табунами. Наверное, не батыр, а судья Кулеке притащился в такую даль судиться со своим ханом из-за какого-то жеребенка». И дело, казалось, на этом бы и завершилось, если бы хан Аблай не вздумал размять свои старые, но железные кости в седле. Проезжая мимо какого-то болотца, хан увидел гибнущего там барашка и самолично спас бедное животное от верной гибели. На следующее утро, когда разочарованный батыр Тлеуке собирался уезжать из Ханской Ставки, мудрый Аблай-хан решил подсластить горькую утрату своего батыра прилюдно обратив своё высокое внимание на его малолетнего сына, заметив,
что чувствует в нем особые таланты. До этого подросток всю ночь удивлял молодежь своими песнями, за что девушки прозвали его Шал-акыном — Пожившим поэтом. Призванный к хану Тлеуке достойно ответил ему за «гостеприимство», оказанное его отцу. Он взял в руки домбру и запел:

Любая песня Шалу не длинна.
Кустарник в непогоду — не стена.
Босым, без шапки хан спасал ягненка,
Так, значит, высока его цена.
Хан чтит народ от мала до велика,
И истина для хана не безлика.
Но почему же, хан, тебе дороже человека
Скотины круглые бока, скажи-ка.

Услышав этот недвусмысленный намек на корысть, хан Аблай тут же велел своему сыну вернуть спорного аргамака батыру и бию Кулеке. Творчество Шал-акына является переломным этапом в қазақской поэзии. Шал акын отходит от консервативной поэтики жырау. В его стихах почти нет эпических образов, нет стремления к глобальному осмыслению судьбы страны, народа. В его поэзии мир раскрывается через личность самого поэта, через его страдания, поиск истины. Крайне важным является то, что Шал акын возродил традицию суфийской поэзии, уходящей корнями в бессмертные хикметы ходжи Ахмета Йасави. Шал акын — зачинатель новой

қазақской поэтической школы, вершиной которой станет Абай. Используя стихотворный опыт ходжи Ахмета Йасави, Шал-акын описывает свою жизнь по годам. В каждом четверостишье звучат лирические ноты, возникают пейзажные картины, Шал акын строго придерживается религиозных обрядов, обращается к людям с предостережением, что несоблюдение поста и 5-кратного намаза отдаляет их от милости Всевышнего. Образ жизни Шал-акына близок к аскетизму: он пишет, что человек должен довольствоваться и в еде и в иных бытовых потребностях самым малым. К своим сородичам он строг, и открыто говорит им, что ни одна душа, непрощённая Богом, не попадёт в рай, для него ничто не может произойти без воли Всевышнего: Голова человека — лишь мяч в руках Аллаха, Куда захочет Он, туда катиться ей без плахи. Можно по-разному оценивать деяния хана Аблая и приводить ещё десятки неоднозначных примеров из его жизни, но одно неоспоримо: все что он не задумывал и не совершал, было сделано во имя блага своей страны и своего народа. Не избежал правитель Қазақстана и традиционной для қазақских ханов задачи — возвращения Ташкента. И после двух лет с Кокандским ханом он марте 1768 года вновь присоединил к Қазақскому ханству этот город вместе с торговыми путями, проходившими к нему через владения кыргызских манапов. Калмыцкие женщины всегда высоко ценились среди казахских мужчин. Они считались семижильными, в круглосуточной работе ни какая казашка в выносливости не могла с ними равняться. Видимо были у калмычек и иные достоинства, более нежные, так как большинство из тринадцати жен хана Аблая, не далеко не отягощённого думами о домашнем труде, были дочерьми джунгарского народа. Именно от этого народа, жившего восточнее Иртыша, отделились несколько крупных племён и перекочевали под именем «калмык» на запад, за Волгу. В 1771 году несколько сотен тысяч калмыков решила вернуться на историческую родину. Путь им предстоял через земли яицких казаков и степи Казахского ханства, северо-западная часть уже перешла под протекторат Российской империи под названием Киргиз-кайсацкая Младшая Орда. Конечно же, власти попытались вернуть беглецов на место. Однако казахи увидели в этом ни кому неугодном походе и возможность пополнить свои юрты нужными невольницами, что и удалось им после нескольких кровавых сражений. Взял себе наложницу и султан Нуралы, получивший к тому времени от Императрицы Екатериной II титул хана Киргиз-кайсацкой Младшей орды. Калмыцкая девица имела тонкий лик и имя Рысс. Она родила ему сына Каратая, крепкого, ширококостного мальчика с непокорным нравом. На азиатских окраинах Российской империи всегда было неспокойно. Тем паче в тех краях, где еще не была установлена полноценная административная власть, а правили марионеточные князья и ханы. Соседствовавшие в междуречье Волги и Урала два кочевых народа сталкивались часто. И хан Младшей Орды Нуралы тоже считал своим священным долгом время от времени врываться к калмыкам за добычей или ведомый местью. Как-то он собрался в очередной набег, готовил оружие, собственноручно оттачивая саблю и чистя ствол ружья. Столь приятное для воинственного мужчины

занятие было прервано приходом Рысс, которая вела перед собой малолетнего сынишку Каратая со связанными руками. «Эй!» — только и смог воскликнуть удивленный Нуралы. «Мой господин, — ответила Рысс. — Я решила облегчить твои заботы и успела сама привести к нам в пленного калмыка». Образное выражение своих мыслей высоко ценилось среди казахов и Нуралы, услышав восторженные восклицания окружавшей его свиты из соратников, больше не наподал на мирные калмыккие аулы. Так впервые наложница Рысс напомнила о том, что она есть и имеет сына — наследника султана Нуралы. Но по настоящему её вес в казахском обществе северо-западного Казахстана возрос с развитием приграничной торговли с Россией. Ежегодно только через Оренбургскую таможню проходило 11 000 лошадей и 90 000 овец. В 1759 году в представлении Коллегии иностранных дел сообщалось: «... казахи в торг уже влюбились, часто случалось в один день человек до восемьсот, а иногда и до тысячи на здешний меновой двор приезжают, и редко находится в них такой, кто б чем-нибудь сам не приторговывал». Однако степная аристократии считала торговлю делом зазорным, хотя многие из султанов и обеднели до того, уже не могли содержать свою прислугу и охрану. Хан Нуралы имел два аула: старшей жены и младшей, которой стала его прежняя наложница Рысс. С каждым годом жизнь в них становилась все более трудной, новых вещей не было, на достарханы ставили лишь то, что имели от своего скота. После смерти Нуралы аул Рысс стали обходить и мелкие бродячие торговцы, раньше всегда снабжавшие её в порядке добровольного налога отрезами тканей и всякой бытовой мелочью. Ну а когда обветшала вся одежда, Рысс присоединила свою корову и несколько баранов к стаду, направлявшемуся казахами в Оренбург на обмен. И сама поехала с караваном. Там, на базаре она могла на вырученный рублю с полтинником купить себе на платье парчу и шелк, но она к ним прибавила две золотые монеты, срезав их со своего головного убора, и купила рулоны простого ситца и бязи. Вернувшись в степь, она обменяла свой товар на лошадей в ближайших аулах и скоро вернулась домой с целой телегой всем нужного добра. Наверное, её пытались осуждать злые языки, но большинство белоручек из султанских семейств вспомнило, что она как бы не своя, а наложница-калмычка. Значит и позора своей торгашеской натурой не навлечет на весь знатный род Чингиз-хана. Рысс выставляла на русском базаре не только скот. В пустынях северного Прикаспия не мало соленых озер, соль в них даже не надо выпаривать — она лежала пластами там на берегах. Только ездить туда было опасно, могли захватить в полон враждебные калмыки. А к Рысс они сами стали привозить соль, которую она затем выставляла на продажу в Сибири. И дела её пошли настолько успешно, что среди русских и татарских купцов она стала известна под прозвищем Ордынская Рысь. Теперь никто не обходил с пренебрежением её аул, наоборот все старались почаще побывать у её белой юрты и деревянного большого дома, который она выстроила себе за стенами новой крепости Орск. После убийства очередного киргиз-кайсацкого хана Младшей Орды на эту должность стал претендовать и юный сын Рысс султан Каратай.

Однако в Оренбурге сделали ставку на другого султана. Султан Каратай не признал этого решения. После трех десятилетий столкновений и интриг среди казахской западной элиты, царь вообще упразднил ханскую киргиз-кайсацкую власть. Решено было по выбору знати и родоначальников и представлению оренбургского генерал-губернатора назначать султана-правителя этого края. Но снова удача уходила от сына Ордынской Рыси. Ему не хватало голосов выборщиков. И тогда его уже состарившаяся мать Рысс поехала к калмыкам, кочевавшим в пределах Орды. О чем и как она говорила с ними — неизвестно, возможно не только её красноречие там сияло золотым блеском, но старейшины подписали прошение в пользу султана Каратая. Противники Каратая принялись опровергать право калмыков голосовать в этом деле, но те заявили, что являются давно казахами, только не значились так в списках. Генерал-губернатор немец Эссен наконец махнул рукой: «А черт их разберёт! Asiatischpolitik». и подписал прошение в пользу султана Каратая с выделением ему жалованья 100 рублей серебром и 60 четвертей муки в год, а так утвердил его аппарат управления, подчинением ему же двух сотен яицких казаков для решения грубых споров. Когда старая Рысс умирала окруженная почтением и заботой, никто и вспомнить не мог о том, что когда-то она была всего лишь рабыней.

В этом же 1771 году умирает последний хан Абульмамбет, своим поспешным принятием подданства Российской империи прервавший существование государственности қазақов. И только теперь султан Аблай выдвигает свою персону на роль государя Қазақского ханства. Он не мог допустить в это крайне неопределенное для Қазақстана время, что бы существовал даже малейший шанс для обвинения его в самозванстве и со стороны российских марионеточных ханов киргиз-кайсацких орд и их хозяев и со стороны других августейших соседей, у которых тоже были сторонники в среде қазақских султанов. В 1771 году представители всех сословий трех қазақских жузов, кыргызов и жителей сырдарьинских городов провозгласили в древней столице Туркестане самодержавным ханом Қазақстана султана Абильмансура Аблая. «Правительство русское вопросило его, почему принял он сей титул, — отмечал А. Левшин. — Аблай смело отвечал, что приобрёл победами над тургутами и по смерти Абульмамбета, избранием не только от всех орд киргиз-казачьих, но и от туркестанцев и ташкентцев, прибавляя, что подобно независимым предкам своим и предшественникам, в достоинстве казачьего хана, намерен жить в Туркестане при гробе Хаджи-Ахмета». Никто не должен был потревожить молитву султана Аблая у праха Святого Ахмеда Йасави. Суровые видом, сильные и ловкие туленгуты, оставив оружие и плети за резными дверьми мавзолея, прошли все огромные залы и обошли вокруг самой усыпальницу. Заглянули и в казанлык и в библиотеку, высвечивали факелами даже глубокий внутренний колодец. Всех людей они, не взирая на их духовный долг иль страждущими под этими сводами спасения, выставили вон. Только не заметили они коленопреклонно застывшую в одной из ниш фигуру постоянно молившегося Сьёк-ходжу. Что не мудрено: кости и череп этого дервиша, обтянутые бронзовой

истончившейся до дыр кожей, давно стали привычным предметом и уже с полвека никто не принимал его за живого человека. Аблай долго стоял в гулком пространстве здания и с удовольствие принимал на себя всю свежую прохладу высоких каменных сводов. Затем в мечети мавзолея продолжительно молился, а уж потом подошёл к малахитовому бруску самой гробницы и, утроившись рядом с ней, трогал зелёный камень ладонью и думал. Глубокий покой влился в душу этого пожилого человека, всю свою жизнь простоявшего между огнём и клинком. Грохот и стоны кровавых боев, плач бегущих женщин и детей, рёв поминального скота, льстивые речи приближенных людей и угрозы с проклятьями тех, кого он гнал и карал своей рукой, давно заполнили его уши, как талая вода горные озера, и неумолкаемо, правда, тихо, звучали. И только тут на него сошла тишина, и он услышал своё сердце. Оно билось неровно и устало. Но вот через недолгое время старый человек почувствовал, как светлая радость разлилась по всем его жилам, и его сердцу стало легко. Сердце — храм Аллаха. И никуда не хотелось теперь Аблаю уходить отсюда, не видеть ни кого, ни слышать ничего. Освободившимся от всех, одиноким сердцем своим Аблай почувствовал, что где-то рядом с ним редко стучит сердце ещё одного человека. Многие хотели его смерти, многих подосланных убийц ловила его охрана, от клинков нескольких он защитился сам. Но сейчас даже мысль об опасности не пришла ему в голову. Может быть впервые, после смерти в далёком детстве его матери, он стал так доверчив и беспечен. Слезы наполнили его глаза, словно у маленького ребёночка. А ведь никто на свете даже предположить не мог, что Аблай способен разрыдаться. Скорее люди поверили бы в то, что скала Окжетпес, до вершины которой не долетает ни одна стрела, вдруг расплакалась. Аблай вытер мокрые веки полой халата и, поднявшись, решил поскорее уйти из этого места, делающего человека столь мягким и ранимым. И тут услышал: «Йасави хикметов мудрость пусть услышат....».

Султан Аблай прошел вдоль стены и увидел в одной из дыр Сьёк-ходжу. «Ты — мне?— возмутился повелитель северных степей и южных гор. — Что ты можешь понимать в мудрости, сучок? Пять тысяч человек ждут меня, выстроившись по достоинству своему, там за стеной. Трехмиллионный народ прислал сюда свою знать, своих воинов, своих мудрецов, чтобы поднять меня над собой ханом қазақов! И моя жизнь это жизнь моего народа, а мой народ бессмертен. И каждый қазақ через сто, двести, триста лет будет возвращаться памятью ко мне». «Увы, о горе, плач и рыдания составили все дни. Слез арыки свежи, знай это...», — пробубнил опять тихо Сьёк-ходжа». «Не болтай ерунды. У меня нет никаких причин для тревоги. Да, мой народ беспечен и доверчив. Со всех сторон цари посматривают на него и готовы проглотить тут же, что бы земли наши освободить для себя. Да, я знаю, сынам моим не удержать власть и враги повалят в пыль мой трон. Но страну қазақов не повалишь, она плоская. Как черепаха, на которой стоит Земля». Мумия в нише продолжила словесную пытку: «Раскаявшимся влюбленным пить свежесть. Нераскаявшиеся из арыков не выпьют, увы. Раскаивайся, раб

Божий». «Какие арыки? И причем здесь раб? Ни я, ни мой народ никогда не был ни кому рабом. Я только призывал людей уважать себя, потому что я — власть. А без сильной власти пропадет любой народ. Потом, я не был деспотом и ничегобез совета биев не предпринимал. Слово Казыбек-бия для меня было равнозначно закону. Но младший брат его был пустоголов и давно в походе сбил с меня шутки ради шапку. Я приказал зарыть его живым в могилу. Каракесеки стали требовать мести. Но мудрый Казыбек Каздаусты рассудил, что на войне шапка на голове хана дороже шутки любимого брата». Опять странный человек в стене заговорил о ненужных Аблаю чувствах, но на этот раз угодил: «Любовь хозяина невольнику свободу принесла...». Султан Аблай даже несколько смутился, что с ними тоже никогда не происходило: «Я просто воевал... Прощай. Меня ждет народ»,— зашагал к двери с вдруг засевшей в груди тоской. Гул восхищения людского моря вместе с ярким солнечным светом обрушился на султана Аблая. Он был тут же поднят над головами на беловом
войлоке. Он стал государем, а земля его — государством. После коронации и чтения ташкентским ахуном Ал-Корана, был утроен той, на котором было поданы блюда из тысячи туш мясной конины, тысячи туш жирных коров, а баранина для чёрного люда вообще шла бессчётно. Хан Аблай удалился от всех в самый тихий зал туркестанского дворца. Он велел привести к нему акына Умбетея и когда тот явился, велел: «Ну-ка спой мне что-нибудь хорошее».Умный Умбетей запел, наигрывая на домбре с перьями филина: «Эй, Аблай, Аблай. Злую весть узнай...». Аблай при этих словах насторожился и сразу же уныние, охватившее было всем его существом, схлынуло: «Это что за весть? Это кто же и что злое замыслил против меня?». Между тем акын продолжил:

«Сдержи слезы свои, Аблай,
Мести долг свой ханский отдай.
Прикажи обнажить клинки.
Ведь убит твой батыр Богембай!»

И хотя весть о смерти Богембая за давностью лет никак не могла быть новостью, хан чрезвычайно возмутился. С возмущением пришла бодрость — хоть сей миг в седло. «Да, — подумал Аблай. — Хорошая песня. А эти всякие стихи: плачь, плачь всю ночь, никуда не годятся». И наградил щедро певца. Автором целого ряда героических баллад, посвященных хану Аблаю и его батырам, и следовательно, хроникёром того времени, являлся и Орынбай Бертагы-улы — поэт XIX века. Орынбай родился в 1816 году в ауле вблизи кокшетауских озер Акбас и Сары. Грамотой он овладел в пять лет. В девятилетнем возрасте перенес невротический шок от страшного сна. Пытаясь вылечить сына от пережитого ужаса, мать везет его к знаменитому Шал-акыну. Там на вопросы акына мальчик стал отвечать в стихотворной форме. И Шал-акын заявил, что в лице Орынбая в роду атыгай карауыл появился великий поэт. Польский публицист и этнограф А. Янушкевич сравнивал айтыс Орынбая с акыном Жанаем с диспутами Демосфена и

Цицерона. Вершинами қазақской поэзии можно назвать его стихотворение «Загадки», «Песни двенадцати месяцев» и поэму «О человеке». Именно Орынбай выбран қазақами для того, чтобы сообщить о безвременной смерти правнука хана Аблая Чокана Валиханова его родителям. В своём «Обращении к Шынгыз-хану и Зеинеп-ханше» он называет Чокана шахидом — воином погибшим за высокие идеалы. Сам Орынбай умер в 1891 году.

Двенадцать жен хана Аблая родили ему 40 дочерей и 30 сыновей. Осенью 1780 года хан Аблай ушел в мир иной в возрасте 68 лет и был похоронен на пантеоне қазақских ханов в Туркестане. Там же ханом Қазақского ханства был избран его сын Уали. Хан Аблай оставил своему наследнику целостное государство, включавшее в себя весь Мангыстау до р. Эмбы, внутренние районы Младшего жуза, Средний жуз до р. Иртыш, Старший жуз со всеми сырдарьинскими городами и Ташкентом, земли до истоков реки Шу и северный берег Иссык-Куля, а так же аулы каракалпаков. Это был достойный, но последний акт монархического Қазақстана. Қазақское государство ещё некоторое время сохраняло свою независимость. В 1780 году ханом Қазақского ханства был выбран сын хана Аблая султан-зада Уали и оставался в этом звании до самой смерти в 1821 году. В выборах хана Уали участвовало свыше пяти тысяч самых знатных и влиятельных людей, прибывших в Туркестан со всех концов Казахстана. В соседние страны были направлены послы с извещением об избрании қазақами нового хана своей страны. Однако императоры России и Китая предпочли разговаривать с ханом разваливающегося кочевого народа только через своих генерал-губернаторов. К концу своей жизни хан Уали, не обладавший умом и политической волей своего великого отца, лишился реальной власти, достойной самодержца. Созданное в боях с врагами второе Казахское ханство распалось. Султаны и родоначальники, приносившие клятву верности своему хану, один за другим стали испрашивать сами подданства у российского императора. Север и центр Қазақстана в статусе киргиз-кайсацких орд вслед за приуральскими степями вошли в состав Российской империи, а на юге қазақские земли и обедневшие города захватило Кокандское ханство, в гвардии которой служили по найму и тысячи қазақов — и аргынов и уйсуней.

После смерти последнего хана высшее общество қазақов раскололось на две партии: Ак-арку и пророссийскую группу, костяк которой составляли султаны Джантюрины, Букейхановы и Валихановы (Уалихановы) и другие султаны, учившиеся в русских учебных заведениях и получившие различные офицерские и генеральские чины. Партия же Ак-арка ставила целью перед собой достижение независимости ханской власти. Во главе партии встал султаны Кенесары — внук хана Аблая, и Габайдулла. Последний был скоро арестовал и сослан в ссылку в Березов, город на северо-западе России.

Султан Кенесары родился в 1802 году. Воспитывался в традиционном қазақском, кочевом духе. Численность его войск доходила до 20 тысяч всадников из всех жузов. В сентябре 1841 года на реке Тургай султан Кенесары был выбран своими сторонниками қазақским ханом. Русским

регулярным войскам так и не удалось окончательно разгромить мобильные войска, но путем строительства крепостей в глубине қазақской степи Россия вынудила его уйти на юг. Хан Кенесары отличался отвагой, энергичностью, владел тактикой современного боя, но не обладал даром дипломата. Все проблемы он предпочитал решать силой. Кроме того, ему была присуща политическая наивность. Он искренне полагал, что кыргызы, которых еще его дед Аблай не раз усмирял клинком и огнем, являются его преданными подданными. И поэтому в кыргызких пределах передвигался спокойно, без большой охраны. И был схвачен кыргызами и убит ими в 1847 году. Противостояли планам султана Кенесары восстановить ханскую власть не только пророссийская партия аристократов, но гораздо менее знатные фигуры. Среди них своей уникальностью отличается Арыстанбай Тобылбай-улы. Арыстанбай родился в 1811 г. вблизи Кокшетау на землях Койлы-Атыгай. Его отец Тобылбай-би был потомственным судьей и стремился дать своему сыну традиционное мусульманское образование. Несколько лет проводит Арыстанбай в учебных заведениях Бухары и Ургенча. В своих стихах Арыстанбай много размышляет о цене человеческой жизни, об истинном смысле жизни на этой земле. При возвращении из Ташкента двадцатипятилетний Арыстанбай попадает в расположение мятежных войск самозваного хана Кенесары. Воины насильно в течение полугода удерживают Арыстанбая, пытаясь заставить его встать в их ряды. Его отказ вызывает у них и недоумение и презрение. Но, несмотря ни на что, он заявляет воюющим за свободу родины:

«Я удержал коня на перевале грозном.
Как разуму ответ держать здесь сложно!
Мог мстить и я, и суд оружием вершить.
Нет, взять винтовку в руки невозможно».

Это совершенно новая не только для қазақской поэзии антивоенная линия. Арыстанбай по глубине своего гуманистического мышления, зрелости духа опередил время на целый век. Впрочем, даже после двух мировых войн такая позиция поэта еще долго будет восприниматься неоднозначно. Умер Арыстанбай в 1880 году. Кенесары-хан действовал в основном в центре и на юго-востоке Қазақстана. Но и на северо-западе қазақской страны возникали попытки востановить утерянную независимость. Самым интересными военными движениями были постпугаческое востание Невидимки (1773–1775), когда вождем был обявлен Некто Невидимый, имевший тело быка и голову мужчины, и народовластие Срыма Датова. Срым Датов родился в 1742 году в местечке Жетыколь близ Джембейты.

Срым Датов выделился из общего ряда сепаратистов тем, что принял и отстаивал народную власть в пределах қазақского государства. Опыт вооруженной борьбы против монархии Срым Датов приобрёл как активный участник Пугачевского восстания. Свою вооружённую борьбу Срым Датов не прекратил и после разгрома и казни Емельяна Пугачева. Теперь объектами его нападения становятся не только пограничные российские крепости, но и

аулы султанов. Особенно преследует он тех султанов, кто, приняв от российского императорского двора нововведенный титул «хан киргиз-кайсацкой орды», стали считать себя подлинными қазақскими ханами. Народная популярность Срыма Датова растет. Хан киргиз-кайсацкой Младшей орды Нуралы теряет всякую власть в отведенной ему огромной территории Западного Казахстана и бежит в Уфу. Начиная с 1785 году императрица Екатерина II отдает распоряжение о внедрении в казахских степях более действенной властной структуры, основанной на либеральных идеях, приглянувшихся ей на какое-то время. Оренбургский генерал-губернатор и начальник российской границы барон Игельстрем предлагает казахам Младшей орды выбрать Народное собрание как орган власти над собой. Власти предполагали, что выборы завершатся избранием главой Народного собрания одного из своих киргиз-кайсацких ханов, но посланники народа избрали батыра Срыма, которого официально в российских документах называли не иначе, как разбойником. Народное собрание Младшей орды Казахстана, заменив собой ханскую власть, присягает на верность российскому престолу. Оренбургский генерал-губернатор заводит переписку со Срымом Датовым и ведет с ним переговоры как с представителем всего Народного собрания. Резко возросший обмен товарами и скотом на Оренбургской линии, прекращение стычек и увода в плен русских в 1786 и 1787 годов свидетельствуют, что власть Народного собрания оказалась дееспособной и признанной основной массой жителей Младшей орды. Однако вскоре государственные лица и в Оренбурге и в Санкт-Петербурге убедились, что игра в демократию абсолютно противопоказана самодержавию. Укрепив Народное собрание постоянными судебными учреждениями — «расправами» на местах, Срым Датов начинает предпринимать конкретные шаги, направленные к обретению полной независимости от России. Нападения на русские укрепления со стороны казахских отрядов численностью 1000-2000 всадников вновь участились. Сам Срым Датов игнорирует все распоряжения и обращения со стороны русских властей. Более того, в переписке с бухарским эмиром он представляет себя как самостоятельного правителя казахской орды и выражает готовность вступить в антироссийскую мусульманскую коалицию. Имперская администрация решает вернуться к прежней системе власти в Младшей киргиз-кайсацкой орде и назначает ее ханом султана Есима. В ответ Срым Датов созывает в марте 1791 году на Эмбе расширенное Народное собрание и рассылает всем обращение, в котором действия России признаются незаконными. Аулы казахов прекратили торговлю на границе и откочевали в глубь степей. Военные отряды атаковали Илецкий городок, крепость Калмыково и другие укрепления на Илецкой линии. Как пишет А. Левшин, Срым Датов «в бешенстве своём торжественно объявил России войну», хотя прежде соглашался начать военные действия только после того, как их начнут другие мусульманские правители. Он объявляет, что Коран запрещает мусульманам подчиняться власти христиан. В 1779 году Срым Датов под форпостом Красноярским нападает на ставку хана Есима и убивает его.

Разогнал он и ханский Совет султанов и старейшин — Диуан, созданный в противовес Народному собранию. Военные действия, направленные на усмирение отколовшейся от Империи большей части Младшего жуза, ни экономически, ни политически не были целесообразны. И военные потери могли быть значительны. Таким образом, независимая кочевая республика Срыма Датова в Младшем жузе просуществовала в течение десятилетия до самой его смерти, после чего бесследно исчезла. А сам кочевой республиканец умер под Ургенчем в 1802 году, где и был с почестями похоронен. Существует точка зрения гласящая, что история науки есть история предубеждений, постоянно возобновляемая и достаточно востребованная именно в данном ключе. Подлинная же историческая наука, на наш взгляд, должна состоять исключительно из названий, имен и дат. И быть близка в лаконичности к формуле Юлия Цезарь: «Veni, vicli, vici», но все равно остаются вопросы: пришел куда?; увидел кого?; победил когда? Вполне достаточно.

Комментарии же к ним историков, оправдания и обвинения ими участников минувших событий превращают исторический текст в литературный роман, вроде «Истории государства Российского» Карамзина, или в исторический анекдот. Что, в общем-то, и замечательно. Да, обвинения и оправдания историками тех или иных времен, одних или других государственных деятелей, как правило, художественно не украшены метафорами и аллегориями, но какая в них присутствует драматургия, какие разворачиваются сюжеты! Обвинения имеют разную стилистику, накал и степень справедливости. Обвинять другие народы в агрессивности, язычестве, в нецивилизованности можно прямо, можно и в завуалированной форме. Именно последний метод особенно хорош, к примеру, для дискредитации системы власти народов, «нуждающихся» в покровительстве со стороны тех, кто, развив фабрично-заводскую промышленность, нуждался в новых рынках сбыта и минеральных ресурсах. В многочисленных современных исторических книжках авторы, описывая образование Казахского ханства, пишут, что два султана Джанибек и Кирей вдруг откочевали невесть куда и в возникшем Казахском ханстве сразу стали править два казахских хана. Так по-простецки и пишут, начиная от восточных авторов 16 века до санкт-петербургских профессоров нашего времени. Здесь просматривается очевидное, преднамеренное снижения статуса титула «хан», и скрытое обвинение в неумении правильно выстроить властную пирамиду. Хан — есть самодержец, глава государства с правами неограниченной верховной власти. На троне для второго самодержца, называйся он ханом, царёмили королем, нет места, и для него существует вполне конкретное определение — самозванец. Чокан Валиханов в своей статье «Киргизкое (қазақское. Ш.) родословие» пишет, что «...по преданию Джанибек был первым ханом казаков из фамилии Джучи-хана».

После раскола государства Абу-л Хайыра на государство узбеков и государство қазақов из всех известных нам мятежных султанов только Джанибек имел право короноваться, так как был не просто султаном, а

султан-задой, т.е. — наследный принцем. Его отец хан Барак, именуемый в Воскресенской летописи 1423 г., как царь Барак, правил в Золотой орде. И только сулатан-зада Джанибек мог, как пишет летописец XV века Хафиз-и Абру, вслед за своим августейшим отцом повторит, что Туркестанские земли «...по закону и обычному праву принадлежит мне, так как дед мой Урус-хан проживал в Сыгнаке и воздвиг там постройку». Султан-зада Джанибек был единственный человеком на той исторической сцене, кто обладал легитимностью для того что бы его претензии на царство были признаны всеми: и правителями соседних государств, и народом. Мы не знаем точных причин, по которым пребывание хана Джанибека на троне было кратковременным, но только с него начинается законный путь престолонаследия в Казахском ханстве. Дискредитация титула «хан» в Российской империи проходила не только на страницах исторических книг, но и на правительственном уровне. Начиная с царствования Императрицы Екатерины II Қазақское ханство начинает часть за частью попадать под протекторат имперского Санкт-Петербурга. Принимавшим российское подданство казахским султанам Указами Канцелярии Российской империи присваивался титул: «хан киргиз-кайсацкой орды». Сей российский титул по значимости был сопастовим с титулом князя и его привелегии равнялись возможностям наместников. Разница между ханом киргиз-кайсацкой орды и ханом Қазақского ханства такая же, как между президентом какой-нибудь компании и Президентом страны. Таким образом, в XIX веке веке появились ханы Младшей орды Абулхайыр, Внутренней орды Букей и другие титулованные служащие Российского государства, что, в принципе, не вызывает ни отрицательные, ни положительные чувства. Государственная машина России просто перемалывала и встраивала в себя все, что попадалась на пути её движения. Иное дело писанина историков и писателей, пользующих исторические темы, пропускающих такую, на их взгляд, несущественную деталь, как подданство таких «ханов». Здесь явно просматривается примитивный подлог. Пишут о двух ханах, правивших в одно и то же время в Қазақском государстве те люди, кто не верит в многовековое единство қазақского народа и на подсознательном уровне желает раскола Казахстана. Кроме прочего, это унижает память о великих қазақских ханах, раздвинувших границы своего государства от полоски вдоль реки Шу до Каспия и Алтая, и успешно утверждавших независимость своего народа на протяжении веков. Царская администрация понизила и статус титула қазақских султанов, прежде принадлежавший только прямым потомком Чингиз-хана. Звание «султан» было приравнено к категории волостных управителей, и на эту должность стали назначаться генералами-губернаторами не только чингизиды, но и выдвинувшиеся по административной лестнице простолюдины. Достоверность исторической науки фрагментарна. Один исторический факт сам по себе, безусловно, правдив. Факт существует и здесь ничего изменить нельзя. Сомнения вызывают связи, которые историки протягивают между различными событиями и фактами, исходя из идеологических установок и субъективных

мировоззрений. Достичь искажения истории любого народа можно и прибегая к подбору уничижительных определений или неверной трактовкой непереводимых терминов. К примеру, фарисеями в древней Палестине называли особо ревностных, благочестивых приверженцев иудаизма. Однако в христианских странах слово «фарисей» стало означать «лицемер, ханжа». Такой же подход применяется к народам с близким кочевым прошлым. Выделяется, скажем, слово «племя», определяющееся во всех научных справочниках, как тип этнической общности и социальной организации эпохи первобытнообщинного строя. И далее во всех изданиях и докладах казахские тайпы начинают упорно называться племенами (trible — племя). Без сомнения, тысячу лет назад термин тайпа (тайифа. араб.) имел в тюркском мире именно такое значение, но в процессе окончательного формирования к концу XV века единого қазақского этноса произошло очевидное изменение семантики данного слова. Оно приобрело исключительно мемориально-территориальное значение. Как и у ряда народов, заимствовавших множество слов из арабского языка и не имеющих ни лингвистических, ни фольклорных, ни религиозных, ни выраженных антропологических внутринациональных различий.

Мемориальный компонент чрезвычайно важен в тайповой структуре народа. Объясняется это тем, что основные этапы қазақской истории сохранились в устном варианте (если не считать несколько рукописей, прославляющих деяния того или иного правителя). Тайпы и составляющие их роды являлись своеобразной картотекой исторических имен, так как названия тайпов и родов, как правило, соответствуют именам родоначальников. А восточное цикличное летоисчисление из двенадцати годов и знание того, кто из какого тайпа и от кого родился, и кого породил, давало возможность достаточно точно выстроить историческую хронологию и панораму. Территориальный компонент определял принадлежащие тайпам пастбища и водные источники. Строгое требование помнить как минимум семь имён прадедов и свой геральдический знак — тамгу, являлось не сентиментальной прихотью, а единственной возможностью у кочевников не лишиться своей истории и права на свои наследуемые земли. Структура тайпов хранит в себе и глубинные, сакральные чувства нации. Культ предков в некоторых странах является важнейшей составной национальной идеологии, особенно в странах Восточной Азии с множеством богов и божков. В той или иной он степени присутствует и у монотеистических народов. Относясь к последним, қазақи, храня свои древние культовые имена, стали придавать им черты мусульманских святых. Так прародитель всех қазақов Аннес-Сахаба стал сподвижником Пророка Мухаммеда. Романтический период возрождения национального самосознания в 60-х и 70-х годов оставил ряд устойчивых терминологических фантомов, к которым относится и определение казахской цивилизации как «конно-кочевой». Понятен выбор домашнего животного для определения такого конкурентно определяющего явление, как цивилизация: конь, без сомнения, благородней, нежели баран. Тем паче, что в тюркском эпосе встречаются версии рождения

батыров кобылами: от якутской мифологемы «Сын лошади» до башкирского поэтического утверждения: «На третий день серая кобыла (боз бие) разрешилась от бремени ребенком человеческим». Однако ущербность представления қазақого кочевого типа хозяйствования в системе надуманной «конно-кочевой цивилизации» заключается уже в том, что оно не привязывает народ к определённому месту жительства, иначе говоря, лишает право владения родовой землей. И приравнивает қазақов к кочующим из страны в страну цыганам, которым тоже не чужда любовь к коням. Такое отношение и породило, видимо, у А. Солженицына идею, что казахи кочевали, куда глаза глядят, и, следовательно, степь им не принадлежит, а значит и не грех её отнять. Между тем право владения определёнными территориями является фундаментальным, самым важным признаком государствообразующего народа. Касается данный тезисы кочевых этносов. В великом произведении Фердоуси «Шах-наме» подданные царя тюрков отгоняют принадлежащий им скот на собственные сезонные пастбища:

«Как ветер, нетерпеньем окрылённый,
Афрасиаб скакал на луг отгонный,
Где косяки отборных скакунов
Паслись весной у чистых родников.
Афрасиаб — с двухтысячною свитой —
Приехал в этот дол, лесами скрытый,
Приехал он с певцами и вином
Попировать, забывши обо всем».

Как мы видим, с древних времен пастбища кочевников имели свои конкретные географические координаты. Рустем, намереваясь угнать коней царя Афрасиаба, определённо знал, где они пасутся. На свои отдалённые пастбища приглашает полюбоваться зрелищем пасущихся лошадей прибывшего с государственным визитом царя Могулистана Сайид-хана царь казахов Касым-хан. Это не просто приглашение насладиться видом породистых коней, а тонкое государственное заявление, утверждающее, что как бы далеко от центральной ханской Ставки не находилось пастбища қазақского скота, они находятся под пристальным оком хана. О қазақских родовых отделениях путешественник С. Большой в 1822 г. писал, что «Всякое отделение для зимних кочевьев имеет определённые места, а частью и для летних, и владеют оными, как собственностью». Один из первых описателей быта қазақов А. Кауфман отмечал: «Вся степь как бы разбита на длинные и узкие полосы, вытянувшиеся на сотни верст в направлении либо с юга на север, либо от жарких долин на горные летние пастбища; и каждая такая полоса представляет собой обычный кочевой путь, или район кочевок той или иной родовой группы». С. Броневский свидетельствует, что аулы всех волостей зимуют на одних местах, а летом кочуют по известным маршрутам. Учёные К. Струве и Г. Потанин, в статье «Путешествие на озеро Зайсан и речную область Черного Иртыша до озера Марка-Куль и горы Сартау летом 1863 г.» указывали, что все эти районы принадлежат қазақским

родам и они «…безусловно, ведут кочевую жизнь только летом; зиму же проводят оседло…». Все этнографы подмечали, что весной передвижения қазақских аулов начинались при положительных показателях температуры, и имели конечное место пребывания летом — джайляу, у водных источников. На джайлау аулы останавливались и жили у своих колодцев. И так же то, что колодцы или другие водные источники когда-то были созданы работниками конкретного рода, то это давало данному роду преимущественное право на пользование ими. Закрепляя за собой водопой, родовой аул закреплял за собой и территорию вокруг водного источника. Таким образом, наблюдалась очевидная цикличность в кочевание казахских аулов. Аул выходил из зимних жилищ весной, пас скот на пастбищных коридорах во время передвижения к основному летнему пастбищу — джайляу. И к позднему осеннему месяцу, прогнав скот по кормовой петле, возвращался к своим зимовкам. Каждый жуз, каждый тайп, каждый род знал свой степной, пастбищный путь. Границы строго соблюдались, нарушившие их тут же вызвались на суд биев и наказывались большими штрафами. Гораздо суровей, чем за барымту — угон лошадей. Скот — дело наживное, а земля кормит вечно. Именно этот фактор позволил қазақам избежать на протяжении всей своей истории кровопролитных межродовых столкновений. Сказанное и позволяет определить существовавший социально-экономический культурно-бытовой и хозяйственный уклад қазақского народа как пример циклично — кочевой цивилизации. С середины XIX века под воздействием соседних земледельческих и фабричных российских губерний, начинается эволюционная трансформация циклично-кочевой цивилизации қазақов. Она идет на двух социальных этажах. На нижнем происходит множество отдельных семей, лишившихся скота, оседание в русских поселениях или при недопроизводствах и промышленном строительстве, в частности, на Туркестанской железной дороге. Работая батраками или рабочими они теряли статус қазақа, переходя в страт шала-қазақи (полу-қазақи). Верхний слой состоял выделившихся қазақов представлял собой малочисленную, но влиятельную группу. Её составили отучившиеся в русских учебных заведениях отпрыски знатных или просто дальновидных людей. Чокан Валиханов, наверное, один из первых, кто перешёл из кочевых қазақов в категорию городских шала-қазақов. Учеба и воспитание в кадетском корпусе, служба в канцелярии генерал-губернатора и жизнь в Санкт-Петербурге сделали его своим среди чужого народа и чужим среди своего. В письме к писателю Федору Достоевскому от 15 октября 1862 года он с нескрываемой, почти детской обидой пишет: «Ты представь себе положение наше (я говорю о киргизах, воспитавшихся в России). Земляки считают нас отступниками и неверными...». Заметим к месту, что не случайно он в своих научных заметках и в дневниках, подобно своим русским коллегам и сослуживцам, определяет представителей своего қазақского народа «киргизами» или «киргиз-кайсаками». Пожалуй, единственный раз он называет қазақов казаками, когда пишет о первом қазақском хане Джанибеке. Показательно и то, что со времени жизни Чокана Валиханова почти перестали исполняться

джиры — героические эпосы, что свидетельствует о том, что в қазақской среде стали происходить явные перемены. В частности, в силу того, их земли и аулы стали охраняться от внешних врагов русскими войсками, образ боевых героев, прославляемый в джирах, стал менеее востребован. Чокан Валиханов, которому еще посчастливилось слышать, быть может, последнего исполнителя старца Жанака Сагындык-улы, писал: «Можно утвердительно сказать, что форма джира и употребление кобыза вышли из моды сосмертью знаменитого певца-импровизатора Джанака, он был родом кара-кесек, отделение камбар, состоящего теперь в составе Каркаралинского округа». Разумеется, основной пласт қазақской культуры и традиций, не смотря на новые веянья, оставался по-прежнему консервативно устойчивым, плодоносным и жизнестойким. О музыкальном и поэтическом творчестве қазақов самый близкий друг Ч. Валиханова и его одноклассник по Омскому кадетскому корпусу Г. Потанин в статье «В юрте последнего киргизского (қазақского. Ш.) царевича» писал следующее: «Высокое понятие о поэтическом творчестве выразилось у киргизов (қазақов. Ш.) в легенде о происхождении песни. Легенда рассказывает, что некогда, именно в те отдаленные времена, когда люди еще не умели петь, песня (конечно, существо небесного происхождения) летела над землей и пела. Где она пролетала низко, люди хорошо расслышали её и переняли её песни. Где высоко, там плохо были слышны её песни, и народы, населяющие эти земли, остались немымукальными. Над киргизкой (қазақской. Ш.) степью песня пролетала ниже, чем над какой другой страной, и поэтому киргизы (қазақи. Ш.) лучшие певцы в мире. Между киргизскими (қазақскими. Ш.) певцами есть виртуозы в исполнении, которые умеют придать пению выразительность. Это не просто пение, а пение с отделкой, артистическое. Киргизский народ потрудился над обработкой своей песни, и поэтому она вышла такая оригинальная, что при звуках её сейчас же переносишься в своёобразную киргизскую (қазақскую. Ш.) обстановку, начинаешь воображать себя в разгорячённом воздухе киргизской (қазақской. Ш.) степи, среди киргизского (қазақского. Ш.) пейзажа и даже начинаешь чувствовать ароматы степных трав».

Григорий Потанин являлся выдающимся исследователем Центральной Азии и Сибири и автором множества научных трудов по истории, этнографии, литературе и религии тюрков в целом и қазақского народа в частности. Он родился в 1835 году в семье казачьего офицера Ямышевской крепости Семипалатинского округа. С детства свободно владел қазақским языком. Рано став идеологом отделения Сибири от Российской империи Г. Потанин оказался не в чести у российских деятелей политики и науки. Казак Григорий Потанин, естественно, не являлся қазақом, но его вполне можно отнести не только к сыновьям русского народа, но к числу замечательных представителей казахской нации. Степь! — значит это что-то плоское, монотонное, серое, скучное? На самом деле — и это слово степного казачьего рода Потаниных — это край с высокими горами, горными речками и множеством больших пресных озер, покрытый сосновыми борами,

березовыми лесами и луговыми угодьями. Один научный узко специальный вопрос привел меня летом 1895 года в Кокчетавский уезд. Конечной целью был аул Валихановых; это семья, с которой я был давно знаком; с одним из братьев Валихановых, Чоканом, давно умершим, мы были школьные товарищи; впоследствии я встречался и с другими братьями и их отцом. Мой план на лето был такой: заехать в аул Валихановых, поселится в нем, если меня примут, и работать. Я знал, что зимовка Валихановых — просторная барская усадьба с домашней мечетью, правда, и высоким забором от волков — находится в урочище Сырымбет, но теперь лето, аул Валихановых откочевал на летовку. Отправился я в путь со студентом Петербургского университета султаном и казаков из станицы Бабык. Дорога от Петропавловска до Бабыка около 250 верст и стоила мне за пару лошадей немного больше восьми рублей; бабытские же казаки за провоз меня с моим спутником до аула Валихановых, т. е. за 30 верст, заломили тоже восемь рублей — настоящие цивилизованные люди, не дикари какие-нибудь, верно сумели оценить момент. Едем. Вдруг перед нами открывается неглубокая впадина и в ней какой-то аул. Вот и Валихановы, думаем мы, но странно: юрт не было видно, одни только телеги с уложенной на них поклажею, завернутою войлоками, и между ними небольшие балаганы, наскоро построенные из красных юрточных решеток.

— Э, да они кочуют!

Вскоре, к общему нашему удовольствию, мы увидели два других аула, расположенных на противоположном берегу реки Аккан-Бурлук: один — племянников султана Чингиза, другой — его самого. Последний состоял из десятка больших юрт, окружённых телегами, большей частью разгруженными. Подъехав к рытвине, в которой текла река, мы остановились напротив пула. Нас от него отделяла только речка. Проводник, сопровождавший нас все эти два дня дороги верхом на лошади, уехал вперед с нашими визитными карточками. Мы видели. как он поднялся на террасу, подъехал к крайней юрте. Скоро из неё вышли двое молодых мужчин и направились к центральной юрте.

— Пошли докладывать султану, — пояснил я студенту. Он, когда был откинут тюндюк, закрывавший верх чингисовского жилища, сам в ответ проявил полную осведомлённость в делах степного порядка:

— Хотят принять.

Когда наш экипаж подъехал к аулу из дверей одной из юрт вышел прилично одетый мужчина около сорока, красивой наружности, с важной осанкой и меланхолическим взглядом – султан Кокуш — младший из Валихановых. Одет он был почти по-европейски, на нем было белые летний пиджак и узкие пантолоны, только красная феска придавала ему вид мусульманина. Эта смешанный костюм напоминал анатолийского турка в Севастополе или Феодосии в Крыму. Приглашенные мы с султаном Султангазиным вошли в его юрту и, согласно со степным этикетом, сели на бухарский ковер справо. Разговор начался с обычных приветсвий, Кокуш говорил сдержанно, так что мы не знали, приятные ли мы гости или нет.

Через несколько минут из другой юрты пришел Якуб, старший сын султана Чингиса, и разговор оживился. Якуб был одет совершенно в такой же костюм, как и Кокуш. Это, очевидно, была киргизкая мода конца XIX столетия. Якуб властно вошел в юрту, громко поздоровался и, не церемонясь, сел между нами и хозяином, т. е. занял первое место. Он отдавал приказания слугам Кокуша и чуть позже сказал нам по-русски:

— Папаша зовет вас к себе на чашку чаю.

Султан Чингис, несмотря на свои 85 лет, был еще бодрый старик. Года три тому назад он женился на новой жене. В детские годы Чингис Валиевич обучался в русской школе переводчиков в Омске и, следовательно, привык к русским. Вполследствии, когда он служил, управляя Кушмурунским округом и занимая должность представителя при облостном правлении в Омске, он вел дружбу с семействами Капустиных и Гутковских, состоявших в близком родстве между собой и являлвшихся центром омской интеллегенции. В этих домах можно было встретить офицера Генерального штаба, художника или чиновника-литератора, ученого путешественника, заехавшего в Омск по дороге в Центральную Азию, или столичного поэта, очутившегося здесь в качестве «невольного странника». Кстате, о странниках. Чингис Валиевич разъяснил мне чем отличается путешествующий из монгол и праздношатающаяся фигура его народа:

— Странник-монгол, а иногда и светский человек, — все-таки, богомолец, щляющийся из монастыря в монастырь для поклонения святыням. Он плетётся из аула в аул и питается подаянием. На спине он несет узел, в котором связана его походная палатка, а в руке его бадир для милостыни,— и тут почтенный султан, вытянув вперед дрожащую руку, словно тянущую пустую чашку, неожиданно изобразил физиономию такого попрошайки, да так комично, что все рассмеялись.

— Так их и называют: бадирчи. Он идет по степи, подпираясь двумя костылями. Совсем другого рода қазақский странник. Это холостой юноша, на лошадке с такими же юнцами он бесцельно переезжает из аула в аул, и палатка ему на костылях не нужна. Каждая юрта должна его принять и накормить, как получится. В руках у молодого человека не четки, как у монгольского богомольца, а домбра. И в аулах старается увидеть всех девиц, подманивая их своими песнями. Угостившись, рассказав свои новости и забрав новый запас новостей, он отправляется в следующий аул. В конце бадирчи находит покой под камнем при каком-нибудь монастыре, а наш удалец обязан к осени вернуться домой и его, как отгулявшего, женят, — и философски завершил. — Ибо путь к Богу вечен, а поиск невест краток.

Скоро внесли блюдо с варённой бараниной с перепелиными яйцами, обязанными сделать более постным вкус жирного мяса. Судя по голове барана с выбитыми зубами, подданной отдельно, животное специально зарезали для нас. Глядя как старой султан, накинувший себе на плечи для представительности мундир полковника, с удовольствием разделывается с этой паленной башкой, я подумал, что в меняющемся мире кочевники меняются и не меняются, оставаясь по-прежнему открытыми, легкими на

подъем и всегда возвращающимися к своему очагу. мало что изменилось. Число образованных киргиз-казаков, кончивших курс в высших учебных заведениях, с каждым годом увеличивается; к сожалению, по окончания курса молодые люди не образуют живущей в одном месте колонии, а рассыпаются по обширной степной территории или, что еще более невыгодно для кочевого народа, остаются служить в Европейской России, на Кавказе, в Одессе, Варшаве и т.п. Но чуть ли не общее явление в степи — умный и способный киргиз-казак начинает служить, по делам служебным ему часто приходится бывать в русских городах, даже целыми годами жить в них; и он усваивает европейские привычки, и даже некоторые из наших идей, потом он становится стар, прекращает службу, удаляется в степь, связи с русским обществом порываются, а тут еще появляется мысль о близкой смерти; личные земные интересы, может быть, и остаются в прежней силе, но энергия к общественным интересам ослабевает, и человек попадает под влияние народных вкусов. Сидели мы юрте султана с эполетами с поджатыми ногами. В молодости я умел сидать по-турецки без утомления, но отвык, ноги мои не гнулись, и мне было ужасно неловко, хотелось вытянуть их вперед. Султан Чингиз заметил это, но он не мог себе представить, что мои ноги были не в состоянии согнуться, и думал, что вся причина в моих узких панталонах. Он приказал сейчас же достать мне из султановского гардероба одежду свободного покроя, посоветовал переодется и заметил, что один его старый приятель чиновник и ориенталист Сотников, гостивший у него в сороковых годах, приезжая к нему из Омска каждое лето, всегда в ауле одевался в кочевой костюм. Я последовал его совету. Тем более, что через несколько дней предстояла кочевка на новое джайляу. Дня за два или три до прихода на Сырымбет валихановские аулы стали убывать. Народ стал уходить на север, ближе к своим зимовкам, около которых расположены сенокосные луга. Вообще, здесь из-за сенокоса стали кочевать меньше на месяц, чем прежде. В нашем ауле остались только три барские белые юрты и неприглядное жилье слуг из трёх кошм у телег. Тогда же я познакомился с еще одним сыном султана Чингиса — Махмудом. Его аул очутился от нашего аула на расстоянии не более четверти версты. Я сделал ему визит. Мне было приятно с ним общаться — султан Махмуд кончил курс, как и я с Чоканом, в кадетском корпусе, учился потом в Петербурге, служил на военной службе, дослужился до чина поручика, вышел в отставку и теперь живёт в степи, кочует и занимается сельским хозяйством. Ни один из Валихановых не имеет такой большой пашни, как он. Одно лишь портило общение. Султан Махмуд был занят земельными делами и часто ездил в Омск, раза два и в Санкт-Петербург. Султаны Младшей орды представляют астраханский дом чингизидов, у Средней орды своих султанов не было, хан Аблай был приглашен править в Среднюю орду из семейства туркестанских султанов Старшей орды и его потомкам для кочевания свои земли выделили рода атыгай и караул. Но все это в прошлом. Став подданными российской короны все земли кочевников стали государственными. Но урочище Сырымбет было пожаловано за услуги России матери султана Чингиса —

ханше Айганым, как вдове последнего киргизского хана Вали, высочайшим императорским указом.

— В жалованном документе сказано, что земля отдаётся в бесспорное пользование моей бабке, — высказывал мне своё недовольство Махмуд. — Теперь же администрация стала оспаривать у нас это бесспорное владение, которым мы видим как нашу собственность уже полстолетия! Теперь же они без зазрения совести утверждают, что тот Указ был на временное пользование. Буду судиться!

Конечно же, султанские дети, как дворяне, имели на землю полное право, но урочище находилось в пользовании у трех классов людей. Кроме Валихановых, ею владеют и свободные люди из родов, принявшие их когда-то. К тому же к владению были допущены и бывшие крепостные из пленённых когда-то калмыков. Все странно и запутанно. Но если это та цивилизованность, которую мы несли в эти края, то не дай Бог такой цивилизованности! Лет*о*вка для номадов — самое весёлое время. Известно, что англичане зиму проводят в фамильных парках, а лето в Лондоне, и сезон увеселений, театров и оперы у них — лето, а не зима, как на материке, — и у киргизов в том же роде лето есть сезон игр, скачек и всякого рода спорта. Тут устраиваются борьба, бега и разные другие игры и состязания. Накануне кочевки, еще с утра, было объявлено нам, что завтра юрты будут разобраны, и мы ночуем под открытым небом. Когда солнце начало садится, люди стали готовиться к кочевке; прежде всего началась укладка вещей в телеги, покрытые войлокоми и увязаны, начали снимать войлоки с юрт; вскоре там, где недавно стояли беленькие полушария, видны были только красные деревянные остовы юрт — кереге и уаки. Но и эти кружевные сооружения были разобраны на части. Мы были теперь на кочевом положении. Аул получил, если можно так сказать, другой силуэт. Он сделался площе, телеги наполнились и сдвинулись плотнее. Ранее часть огней скрывалась в юртах, теперь они стали наружными. Голоса зазвучали звонче, аул стал оживлённее, поэзии прибавилось. Движение начинается в предрассветный час. Все еще темно, а уже все пространство наполнено скрипом телег, точно в ночном небе совершается перелет ночных птиц; вы припоминаете из «Слова о полку Игореве»: «Заскрепели телеги половецкие, рци лебеди во полунощи». Человеческие фигуры видны только на близком растоянии; контуры окрыжающей стан рощи не выделяются на темном фоне неба. Но вот позади рощи образуется беловатый небосклон, вокруг ослались последние телеги, на которые торопяться сложить наши постели, да тарантас султана Чингиса. Современная картина кочевки не дает понятия о том, как кочевали прежде, когда в здешнем крае держали верблюдов. Лет двацть как это благородное животное в тутошних местах не разводят. Погруженные на верблюдов вьюки покрывали цветастыми коврами. На быках везли только кухонную посуду. Каждую связку из семи или восьми верблюдов вела обыкновенно молодая красивая замужняя женщина в саукеле — в высокой остроконечной шляпе, убранной серебром, маржаном и жемчугом. Все девицы ехали верхом наряду с джигитами и между ними то и дело возникала шутливая перебранка, иногда

весьма рискованная. Кочевка была наряднее, и толпа всадников была многочисленее. Впереди всех на чудесном коне двигался сам султан, окруженный вооруженной свитой. Многие его сопровождающие лица везли на руках ловчих соколов и ястребов. Сегодня же старый султан Чингис мирно дремлет в мягком тарантасе. Замена верблюдов телегами невесть какой технический прорыв, но что-то механическое все же появилось и, как многим кажется, убило естественность прежних кочевок. Да, от прежнего блеска много убавилось. Одно, без сомнения, радовало. Предания, сказания и небылицы рассказывали по-прежнему охотно и с воодушевлением. Особенно множество легенд знал Кокуш. Сам записывать лениться, но охотно расказывает их мне:

— Қазақ елінде Аңшыбай батыр болған.., — и, заглядывая в мой фольклорный дневник, спрашивает. — Почему ты пишешь «У киргизского народа был Аншыбай батыр»? Я же сказал: «У казакского народа».

— Редактор не примет в журнал статью, — отвечаю я ему.

— Скажет, что путаница. Какие, мол, они казаки, ежели не православные и воинскую присягу не принимали.

— Ладно, пусть будут киргизы, — великодушно соглашается Кокуш, который, как я заметил, отличался от братьев своей более сильной приверженностью вере и каждый день читал Коран. — Мы, мусульмане, не делимся на народы. Мы, скорее из казенной узкости и циркулярности, чем от незнания, называем степной тюркский народ, среди которого я родился и жил до кадетских лет, киргизким. Хотя сами себя они называли и называют казаками. Я сам природный казак и так бы, казакуя, и кочевал бы с ними всю свою оставшуюся жизнь. Да и вторую целиком, если бы дал Бог.

Модерная эрозия циклично-кочевой цивилизации во многом была связана с уходом от клерикально-арабского образования и распространением на её территории системы европейского (российского) образования. Одним из самых значительных фигур в этом направлении являлся статский советник Ибрай Алтынсарин. Педагог и инспектор школ И. Алтынсарин родился в 1841 году в ауле своего деда — кипчакского бия и войскового старшины Оренбургской пограничной комиссии, скончался в 1889 году и похоронен недалеко от своего дома на берегу Тобола. За годы своей педагогической и организационной деятельности он открыл четыре центральных казахско-русских училища, одно ремесленное, одно женское, пять волостных и два училища для детей русских переселенцев. Им создана для подготовки педагогов начальных и народных школ Учительская школа в городе Троицк. Подготовлена первая в истории қазақской педагогики учебно-методическая база, написаны и изданы два учебника: «Киргизская (қазақская) хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению киргизов (қазақов) русскому языку», а также разработан казахский алфавит на основе кириллицы. Интересно, что алфавит Алтынсарина не содержит букв «В», «Ц», «Ф», «Ч» так как нет и не было никогда соответствующих им голосовых звуков в қазақском языке. Зато они появились в казахском современном алфавите. И, начиная с 1940 года казахи произносят имя и фамилию внука

своего последнего хана Уали то как «Шокан Уалиханов», то как «Чокан Валиханов». Забавно, что при этом никто не смущается. Ни ученые-лингвисты, ни чиновники Министерства образования и науки РК.

Выход части населения из рамок циклично-кочевой цивилизации сопровождался ростом зрелых политических движений. Қазақи выбирают в депутаты I-ой Думы Российской Империи не только представителей знати, таких как Бахытжан Каратаев, но и учителей, инженеров, судьбы которых схожи с биографией простолюдина Мухамеджана Тынышпаева. Правда, среди них было не мало и таких образованных по-европейски қазақов, которые вернулись в свои родовые аулы. Если вспомнить, как приятно душе и телу неторопливое перемещение по майской степи, когда скот двигается параллельно аулу в нескольких верстах, дабы пыль от ног сотен и тысяч животных не мешала людям наслаждаться ароматом свежей травы, то можно понять возвратившегося в родные пенаты младшего брата Чокана Валиханова Макыжана, учившегося живописи в Санкт-Петербурге и напрочь забывшего о кистях художника. Конечно, он мог как его учитель Тарас Шевченко, таскать с собой по степи мольберт и краски, но это уже нарушило бы гармонию безмятежного қазақского бытия. Как впрочем, и закон рационального ограничения количества предметов в быте кочевничества. Да и своих красноречивых эпикуров, призывавших удовлетвориться достижением минимума естественных и необходимых потребностей в қазақском пространстве всегда было достаточно. Как известно, это одновременно и плюс и минус қазақования. Примером того, как стали принципиально отличаться друг от друга в начале XX века традиционное қазақское мировозрение и оно же, изменившееся в отдельных стратах являются детали национально-освободительного восстания қазақов в 1916 году в Тургайской волости и в Семиречье. В первом случае Главнокомандующий 50-тысячным войском қазақов Среднего жуза Амангельды Иманов начал с выборов хана из среды чингизидов. И хотя хан восставших не имел ни какой власти, вековые қазақские правила были соблюдены. Во втором случае лидер восставших Токаш Бокин действовал без оглядки на вековые традиции қазақского народа. Очевидно, на действия Амангельды Иманова и Токаша Бокина сказалось то, что один учился в медресе дулыгальского имама, а другой окончил мужскую гимназию в г. Верный (г. Алматы). Из числа руководителей Семиречинского (Среднеазиатского) восстания вышел и самый высокопоставленный в советскую шала-қазақ — Турар Рыскулов, председатель ЦИК Туркестанской АССР(1920 г.), заместитель председателя СНК РСФСР (1926–1937 гг.). Являясь с 1921года по 1922 год заместитель наркома по делам национальностей РСФСР тов. И. Сталина тов. Р. Рыскулов написал свой проект Договора об образовании СССР, отличавшегося от сталинского проекта тем, что предлагалось предоставить национальным образованиям не только статус автономных республик, но и союзных с правом на независимое отделение. И председатель СНК РСФСР тов. В. Ленин поддерживает не сталинский Договор, а рыскуловский. Дальновидный стратегический ход

шала-қазақа и национал-уклониста Турара Рыскулова и открыл возможность через 70 лет появится свободной Республике Казахстан, как и свободной Украине, Грузии, Туркмении... На қазақской территории, вошедшей в состав Российской империи, функционировали две иные судебные системы. А именно: губернские мировые суды, исполнявшие императорское законодательство и суды биев, действовавшие на основе законов «Жеті жарғы» исчезнувшего Қазақского ханства. Причём древний традиционный суд қазақов до конца XIX века оставался вполне дееспособным. Ч. Валиханов в «Записке о судебной реформе» отмечает, что «По справкам из дел окружных приказов видно, что в Каркаралинском, Кокчетавском и Баян-Аульском округах жалоб на несправедливое решение биев и просьб о постановлении решений по русским законам в приказы этих округов в течение последних трех лет вовсе не поступало, хотя судом биев было окончено в Каркаралинском округе: в 1860 — 72, в 1861— 77 и в 1862 — 22 дела». Естественно, что властный Санкт-Петербург пытался реформировать қазақский традиционный суд, в частности, отменив народные выборы биев, и постепенно заменяя их назначаемыми властями местными чиновниками — султанами-правителями. Так же проводились попытки сближения уголовных статей российского законодательства и положений «Жеті жарғы». С этой целью к юридической работе губернской администрации привлекались авторитетные личности из образованной среды қазақского народа. В этот список не мог не попасть и великий қазақский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев. В мае 1885 года на Чрезвычайном съезде народных қазақских судей семипалатинских уездов в Карамоле представителем царской администрации Ибрахиму (Абаю) Кунанбаеву было предложено разработать кодекс адатовских уголовных законов для кочевого населения. Свои стихи Абай писал с домброй в руке, даже когда в его голове роились строки поэмы об Искандере Македонском, хотя тема определенно требовала звучая струн древнегреческой арфы. Но написание писем и деловых бумаг требовало иной фигуры речи и тела. Так что, приступив к составлению нового кодекса законов Абай был вынужден сесть в своём просторном семипалатинском доме с железной крышей за письменный стол. Неудобное сидение в жестком кресле не поспособствовало делу, а только усилило его мрачное настроение. Старый человек больше думал о том, что молодые поэты стали пренебрегать персидской лирикой, а больше о угасании великой қазақской эпохи. Думал о героизме и благородстве ушедших поколений... о том, что законы қазақов всегда предполагали не только наказание, но и милосердие. Каждый қазақский очаг обязан был предоставить пищу не только сирым, но путешествующим людям. Но как сегодня совместить древнюю қазақскую традицию с тем, что теперь творится на его земле? Во времена Қазақского ханства люди шли в Мекку, а сейчас спешат на все множущиеся ярмарки, речные пристани, на различные съезды... Весь мир превращается в один толкающийся, ненасытный базар... Станешь тут проявлять гостеприимство, как прежде, сам по миру пойдешь. Абай было вычеркнул правило о кормлении путешествующих, но сидевшее в нем глубоко, в костях, қазақское

начало не позволило ему отбросить этот закон «Жеті жарғы» и он, тяжело вздохнув, оставил этот принцип в пункте № 52 нового Кодекса қазақских законов. P. S. Использование в данном тексте казахского слова «қазақтар» не более чем литературная игра. Впрочем, имеющая свой смысл.